

ВИЛИС ЛАЦИС

Annotation

После восстановления Советской власти в Латвии Вилис Лацис создал роман-эпопею «Буря» — выдающееся произведение многонациональной советской литературы, в котором с эпическим размахом изображена жизнь латышского народа начиная с 1939 года, его борьба за Советскую власть.

- [Вилис Лацис](#)
 - [Буря](#)
 - [Книга пятая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Книга шестая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Рассказы](#)
 - [Паулина Лапа](#)
 - [Собачья жизнь](#)
 - [В метель](#)
 - [Старый кочегар](#)
 - [Полуночное чудо](#)
 - [Соколик](#)
 - [Капитан Силис](#)
 - [Четыре поездки](#)
 - [Возвращение отца](#)
 - [Эдик](#)
 - [Происшествие на море](#)

- [Благодарность Тениса Урги](#)
- [Лангстинь идет на охоту](#)
- [Чувство долга](#)
- [Все люди добрые](#)
- [Самое ценное](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
-

Вилис Лацис

Буря

© Перевод Я. Шуман и З. Федорова

Книга пятая

Глава первая

1

Мара Павулан пешком возвращалась домой из театра. Трамваи все еще не ходили, не было тока, пути были повреждены. Ветер гнал по улицам желтые листья, бумажки, подымал тучи золы, еще не смытой осенними дождями. Все кругом казалось грязным, запакощенным. Оборванные провода тянулись по тротуарам, свисали со столбов, и, переходя дорогу, приходилось низко нагибаться, чтобы не задеть за них. Дворники уже убрали груды битого оконного стекла, и зияющие проемы окон открывали внутренность разграбленных магазинов с пустыми полками, с обрывками гитлеровских плакатов на стенах. В одном окне еще виден был отрывной календарь; ветер отчаянно трепал верхний листок, помеченный восьмым октября.

Темной, холодной, без света и воды была в те дни Рига. Гитлеровцы взорвали городской водопровод, в груды развалин превратили электростанцию. Возле немногочисленных артезианских колодцев с утра до ночи стояли длинные очереди. А впереди ждала зима с долгими темными ночами, морозами и сугробами.

При этой мысли у Мары дрожь по спине пробежала, хотя она была тепло одета. Назябнувшись за день в нетопленном театре, она мечтала о веселом потрескиванье горящих еловых поленьев, о приятном бульканье закипающей в чайнике воды. «Хорошо бы лечь сейчас в горячую ванну, а потом в постель и взять книгу. Когда это будет?»

Уже совсем смерклось, когда она пришла домой. Зажгла керосиновую лампочку, которая хранилась у отца с незапамятных времен, затопила плиту. Отец редко возвращался раньше полуночи: их завод выполнял срочный заказ для водопровода.

Мара присела перед плитой и загляделась на огонь. В комнате было

тихо, но из-за окна все время доносился незатихающий шум улицы: сигналили машины, на станции Земитана тоненько свистел паровоз; вдруг грянула песня — проехали на грузовике солдаты.

Стук в дверь вывел Мару из задумчивости. Она порывисто встала, пошла отворять.

— Это ты, папа?

— Нет, это гости приехали, — громко, весело ответил мужской голос, и от звука этого голоса для Мары весь мир наполнился светом, и теплом, и еще чем-то, драгоценнее света и тепла. Сердце забило быстрее, кровь горячей волной прихлынула к щекам. Торопливо и потому неловко она поворачивала ключ и никак не могла открыть. Наконец, стершаяся за многие годы бородака стала на место.

— Входи, милый. Как хорошо, что ты пришел сегодня! Мне весь вечер было так грустно, так тяжело. Ты, наверно, чувствовал, что я жду тебя.

Жубур вошел в кухню.

Ласково, с улыбкой смотрел он на Мару. Она припала к нему без слов, думая лишь о том, что он здесь, с нею. От его шинели пахло холодом, руки были влажные — наверно, на улице опять дождь.

— О чем же ты грустила, милая? Теперь нам только радоваться надо — вернулись домой.

— Да, домой... в холодный, разоренный дом. Изю всех углов глядит темнота, так и кажется, что где-то на задворках прячется враг и подглядывает за нами. Сними шинель, Карл. Ты ведь не на минутку, посидишь со мной немного?

— Я свободен до завтрашнего утра.

Сняв шинель, Жубур сел на корточки перед плитой и стал греть озябшие руки. Мара суетилась у стола — расставила тарелки, чайную посуду, достала хлеб и закуску, но глаза ее все время смотрели не на то, что она делала, а на Жубура.

— Грустно, говоришь, было, — сказал он помолчав. — Зачем же, Мара, грустить? Дом свой мы приберем и согреем, в нем не останется темных углов, он будет полон радости и света. А задворки мы подметим хорошей метлой и выгоним оттуда всех врагов, которые пытаются там прятаться. Потом украсим двери гирляндами цветов и созовем друзей на великий праздник. Верь мне — недолго этого ждать.

— Я верю, Карл... Но эту зиму нам еще придется потерпеть, трудная она будет. И потом война еще не кончилась. Когда я слышу, как за Лиелупе из орудий бьют, мне это точно напоминание...

Она подошла к плите, сняла с огня чайник: вода в нем кипела ключом.

— Я вот недавно был за Юглой, у моста, — будто разговаривая сам с собой, сказал Жубур. — Что там сейчас делается! Люди стоят по пояс в грязи, в воде и откапывают взорванный трубопровод. Иные по три дня дома не были, но попробуй скажи только слово про отдых — на тебя так посмотрят!.. Да, рижские рабочие... Там есть целые бригады, которые обязались не уходить домой, пока вода не потечет по трубам. Видел я там комсомольцев. Мокрые с ног до головы, все в грязи — а как работают! И еще песни поют. Им там наши саперы помогают.

— Думаешь, до морозов успеют?

— Должны успеть, иначе... иначе плохо нам придется. Свет тоже будет. На Кегуме уже зашевелились. Чуть только появится вода, можно будет пустить несколько местных небольших электростанций, которые немцы не успели разрушить. Тысяч восемь киловатт наберем. И тогда заработают самые важные заводы, главные трамвайные линии. Останется что-нибудь для театров и кино. И вот я увижу Мару Павулан при сказочном свете рампы. Придет время, Мара, когда мы будем с нежностью вспоминать самые трудные дни, — навсегда они останутся для нас дорогими. Через них мы идем к победе.

Они сели за стол. Приятно, как детский смех, звучал в комнате звон чайных стаканов. Руки Жубура и Мары, протягиваясь за чем-нибудь над столом, часто встречались, и они каждый раз медлили разнять их. По временам откуда-то слышался смутный гул, от которого начинали дребезжать оконные стекла. Неподалеку шли бои, но им казалось, что между городом и фронтом пролегли сотни километров, что от него отделяют высокие цепи гор, не доступных никакому врагу.

Они еще не выпили по первому стакану, как пришел Павулан. Увидев Жубура, старик заулыбался и поднял запачканные, совершенно черные руки.

— Здравствуйте, здравствуйте, фронтовик. Вот руку подать вам не могу, измажу. И помыть как следует негде. Как у вас там дела идут? Скоро его, проклятого, из Курземе выгоните? Довольно он у добрых людей на шее посидел. — Не дожидаясь ответа, он с озабоченным лицом обернулся к Маре, что-то ставившей на плиту: — Я ведь только на полчаса. Дай, дочка, чаю и ломоть хлеба отрежь. Закушу немного, да и опять на завод. Нынче ночью все работаем.

— Ты бы, папа, хоть руки сполоснул. Ты не думай, у меня воды еще с полведра осталось.

— Как раз на утро и хватит. Есть тебе время в такую даль за водой бегать. А я все равно через час опять грязный буду.

Он сел за стол. Ел Павулан быстро, но истово, с удовольствием прихлебывая горячий чай. Слушая Жубура, он в то же время старался не очень пристально смотреть на него. Старик давно понял, кем стал для дочери этот сдержанный, серьезный человек, и боялся стеснить своим вниманием гостя и дочь. Поэтому он и торопился уйти скорее даже, чем это требовалось.

— Станки все вырыли? — спросила Мара, подавая отцу второй стакан чая.

— Да, теперь уже все, — ответил Павулан с довольной улыбкой. — А там, в Германии, пускай распаковывают ящики с камнями. У нас на заводском дворе ни одного камешка не оставили — все туда отправили. Вот будут ругаться, когда начнут проверять по накладным. Мои токарные станки и заржаветь не успели. Теперь останется только обтереть тряпочкой, установить, и хоть сейчас пускай — только стружки полетят!

На заводе уже смонтировали несколько машин; слесарный и токарный цехи приняли прежний вид.

— Сегодня в ночь начнем работу. Без нас водопровод ведь не наладят. Сегодня из районного комитета приходил один — партиец, одним словом. Если за неделю, говорит, не дадут Риге воду, большое несчастье это будет для всего города. А сами мы разве не понимаем? Обещали в пятницу к вечеру кончить с заказом.

— А как же вы запустите станки? — спросил Жубур. — Току-то нет.

— Будем вертеть ручную. Нынче попробовали — ничего, дело пойдет. Куда медленнее, но кое-что получается. Обещают на той неделе дать немного энергии, ну, тогда мы заживем. Да, чуть не забыл, заходил к нам сегодня Ян Лиетынь, в полной форме, при всех медалях. Поговорил со всеми рабочими, побывал у Лоренца — тот пока у нас за директора. При нем устанавливали фрезерный станок, вот Лиетынь и не выдержал. Снял свой мундир с ясными пуговицами и часа два проработал. Сам смеется: что, думаете, старый директор на фронте забыл свое дело? Обстоятельный человек.

Кончив ужинать, Павулан встал и взялся за шапку, даже не закурив трубку.

— Идти надо. Без меня не могут начать.

— Придешь утром завтракать? — спросила Мара.

— И сам не знаю, дочка, может, и не выберусь. Сменить меня у станка некому, что же он, простаивать будет? На водопроводе ждут не дождутся деталей.

Но Мара решительно остановила его. Она собрала и завязала в узелок

завтрак, налила бутылку сладкого чая. Старик ворчал, что его задерживают, и, проворно расставив все по карманам, ушел.

— Вот он какой у меня, видел? — сказала Мара. — Впрочем, что я тебе говорю, ты и сам не лучше. И как я буду с вами обоими справляться?

— Придется, знаешь ли, приноравливаться, — с шуточной серьезностью сказал Жубур.

— Почему мне одной? Вам бы тоже не мешало немного приноровиться.

Но ее искрящийся взгляд говорил о другом — о том, что она радуется своей удивительной судьбе, радуется неукротимому кипению жизни.

В то время многие говорили: «Не выйдет ничего из этого, тут не один месяц надо поработать, а они хотят за несколько дней».

Этим скептикам и сверхумникам тоже хотелось, чтобы Рига поскорее получила воду — ведь без нее жизнь в городе скоро стала бы невозможной, — но они мало еще знали советских людей, их представления основывались еще на законах и возможностях старого мира.

Были, конечно, и такие, кому очень бы пришлось по душе, если бы город постигло бедствие. Каждая задержка, каждое промедление радовали их, они дожидаться не могли первого мороза, который, по их расчетам, должен был пустить насмарку все труды восстановителей водопровода. Они со скверными улыбочками наблюдали, как самоотверженно трудились рабочие и саперы, и поминутно справлялись с показаниями термометра. По утрам каждая лужа, затянутая корочкой льда, заставляла их ликовать: вот-вот ударит мороз, теперь уж не успеют.

Но не они одни следили за термометром и затягивающим лужи ледком. Когда стало ясно, что неумолимый враг — мороз — у дверей, борцы за возрождение города не опустили рук, не признали себя побежденными, а заработали еще яростнее. Они перестроили составленные ранее графики, они еще раз сократили все сроки, не считаясь с проверенными и повсюду принятыми ранее нормами. Творцы новых закономерностей — все те, кто, не зная ни сна, ни отдыха, по несколько суток кряду не покидали своих станков и верстаков, все те, кто рассчитал, спланировал и организовал это состязание со временем и с неотвратимой стихией, — они сами являли собой новую норму.

Новые, неизвестные до сих пор имена героев труда за один день становились известными всему городу, всему народу: о них говорили по радио, писали в газетах. Незаметные, простые люди — сварщики, монтажники, землекопы — стали знаменитыми, об их достижениях с великим уважением и удивлением говорили по всей республике.

Давно не испытывали этого в Риге — все долгие годы войны. И тут внезапно, без всякой подготовки, совершенно естественно новая жизнь вступала в свои права, утверждала свою силу.

В один из последних дней октября, когда все пробойны были заделаны, взорванные трубы заменены новыми, заработали мощные насосы станции Балтэзер. Поток воды устремился в трубопровод, очищая его от песка и грязи, испытывая добротность сделанной работы, открывая слабые места. Кое-где появились трещины, кое-где пришлось снова откапывать трубы, снова чинить, сваривать, проверять. И вот чистая вода наполнила водонапорные башни. Наступила минута, когда в домах начали проверять краны. Вода появилась в первых этажах, и весь город облетела радостная весть: пошла!

Обитатели верхних этажей толпами спускались вниз, прислушивались к тихому журчанию воды, которая растекалась, как кровь по жилам ожившего тела. Вода уже достигла вторых этажей, она поднималась все выше и выше, потекла из кранов четвертых этажей.

Время было побеждено. Человек победил злую стихию.

Вечером Екаб Павулан в первый раз не вернулся на завод после ужина. Он влез в старую жестяную ванну и долго мылся в *своей*воде. Потом надел чистое белье, сбрил отросшую за две недели бороду и улегся спать в чистую постель.

Утром Мара, уходя в театр, оставила окна занавешенными и не стала будить отца.

Райком комсомола снова вернулся на прежнее место. Но что случилось с чистым, уютным домом, откуда Айя Рубенис ушла с комсомольцами в памятный июньский вечер 1941 года! Во время оккупации его занимало какое-то гитлеровское учреждение и изрядно опоганило все здание: в комнатах на полу будто дрова кололи, замызганные обои местами отстали и висели клочьями; большая часть мебели — письменные столы, книжные шкафы и диваны были увезены. Назойливо лезли в глаза со всех стен портреты Гитлера, свастики, плакаты, везде валялись фашистские пропагандистские брошюры. Уцелевшая этажерка была завалена порнографическими журналами.

Целый день Айя с товарищами из оперативной группы очищали комнаты от хлама, скребли пол, мыли окна и обтирали мебель. На столах

остались телефонные аппараты, но они молчали; телефон райком получил лишь через несколько недель, потому что в распоряжении временной телефонной станции было слишком мало номеров, их едва хватало для главных учреждений республики и столицы. Под потолками висели темные, безжизненные лампочки — каждый киловатт электроэнергии в это время распределяли Центральный Комитет и Совет Народных Комиссаров. Большинство учреждений, в том числе и райком комсомола, по вечерам работали при керосиновых лампах, свечах или самодельных коптилках. В нетопленых комнатах было холодно, царил неуютный полумрак, напоминая вернувшимся домой, что восстанавливать разрушенное придется им с самого фундамента. Они это знали и не теряли ни секунды.

Вначале Айе пришлось работать почти без помощников. Второго секретаря еще не подыскали; в орготделе работал один-единственный инструктор, третьим членом оперативной группы была секретарь-машинистка, только без машинки. Вся организационная практическая работа, вопросы кадров, хозяйственные заботы и канцелярская переписка легли на плечи Айи. А жизнь заставляла с первого же дня действовать в полную силу. На промышленных предприятиях, на восстанавливаемой электростанции, на работах по водопроводу — всюду надо было создавать молодежные бригады и не только создавать, но и руководить ими. Приходилось думать о комсоргах и на предприятиях и в школах, о литературе для молодежи и в то же время не забывать о дровах, чернилах, бумаге. С утра до поздней ночи в райком приходили все новые и новые люди; почти каждого должна была принять сама Айя. Всякий день она обходила пешком почти весь район, помогая комсомольским группам на заводах и фабриках в их первых несмелых и неумелых шагах на путях новой жизни. Всюду требовались ее совет и поддержка. Да, как бы помогла ей сейчас Рута Залите!

— Не надо было отпускать ее с Ояром в Тукум, — сказала Айя секретарю горкома, когда тот однажды зашел в райком. — Что теперь получается? Нет ни Руты, ни Ояра. И кто знает, что с ними случилось? Ходят слухи, что в Тукуме повесили несколько человек из оперативной группы..

— Не спеши оплакивать, — ответил секретарь горкома. — Оба прошли хорошую партизанскую школу. Кто-кто, а Ояр не пропадет.

— Я и не оплакиваю, но лучше бы Рута была здесь...

— Найди другого заведующего орготделом, хотя бы временного.

— Всех, у кого есть практика организационной работы, давно разобрали. А орготдел нельзя доверить неопытному человеку.

Надо учить, растить, тогда и неопытные станут опытными.

Поздно вечером усталая, озабоченная Айя пришла домой. Опять ее встретили холод и темнота. Даже чай не на чем вскипятить. Поела всухомятку и легла спать, накрывшись всем, что было под рукой: одеялом, пальто, овчинным полушубком. Засыпая, она, точно мысленно обращаясь к невидимому противнику, прошептала: «Ничего ты с нами не сделаешь. Мы не замерзнем... все перенесем».

А утром радовалась: «Ну что — разве я не права? Нас ничем не одолеешь, мы морозоустойчивые. Подожди еще несколько недель, тогда увидишь, что будет с тобой самим...»

И в самом деле, через несколько недель снова потекла по водопроводным трубам вода. Затем зажегся свет, вначале красноватый и такой слабенький, что при нем трудно было работать, но постепенно он разгорался все ярче. Дворники изредка затапливали котлы центрального отопления, и, словно дыхание самой жизни, ласковое тепло разливалось по квартирам. Заработали некоторые театры, кино, школы. Возрождающаяся жизнь с каждым днем хоть и медленно, но неудержимо захватывала одну позицию за другой.

В квартире Айи еще гуляло эхо, так в ней было пусто. А хозяевам хватало и других дел — до уюта ли здесь!

В субботу вечером пришел Юрис. Здороваясь с Айей, он обнял ее за плечи и сказал, понизив голос:

— Наш корпус снова отправляется на фронт. Некоторые части уже в дороге. Мой полк уходит в понедельник утром. Правильно?

Что же оставалось Айе, как не согласиться с мужем! Конечно, правильно... Он снова станет по ночам прокрадываться на занятую врагом территорию, охотиться за «языком» и изучать расположение немецкой артиллерии.

Несколько недель, которые они провели вместе, пролетели с быстротой ласточки; им обоим не верилось, что они могут встретиться и жить почти одной жизнью, в то время как западный ветер доносит еще до Риги гул канонады. Конечно, правильно. Война еще не кончена.

— Все уходите? И Петер, и Аустра, и Жубур?

— Все уходим, Айюк. Отдохнули мы достаточно, повидали и родных и друзей. Нельзя же работу забывать. — Юрис рассказал, как он ходил днем навестить свой район.

— Там теперь председателем Ванаг, Арвид Ванаг. Не слыхала? Ну, ясно, не может район ждать, когда вернется Юрка Рубенис. Познакомились. Он мне показался довольно смышленным, только не мешало бы ему быть поживее, порешительнее. Мы с ним обошли почти полрайона.

Пивоваренный завод уже работает, с понедельника пустят одну линию трамвая. Вот с кадрами плоховато и разрушений много. Я немножко поругался с Ванагом — очень медленно они очищают улицы. А ведь можно устроить субботник, поднять на ноги всех жителей района. Пока одни дворники управятся, у совы хвост расцветет. Обещал на будущей неделе организовать. Грузовиками помогут воинские части.

Юрис не знал, когда вернется к мирному труду, но все его помыслы и заботы были связаны с районом, которым он руководил до войны. Зорким хозяйским глазом он замечал все, что там было хорошего и плохого, спешил вмешаться в жизнь района, влиять на нее. Как понятно было Айе его нетерпение! Этим беспокойством, этой творческой тревогой были полны все, кто вернулся домой.

Воскресенье они провели дома, а в понедельник Юрис ушел со своим полком, и Айя обещала при первой возможности навестить его на фронте — теперь ведь их разделяли не такие большие расстояния, как прежде.

В ближайшее воскресенье после ухода на фронт латышского корпуса Айя должна была выступить на одном собрании с докладом. Следующее воскресенье она была занята с утра до вечера на семинаре комсоргов и только через три недели улучила время навестить мужа. В маленьком газике Айя рано утром выехала из Риги и на рассвете миновала Елгаву. Разрушенный город напомнил ей Великие Луки. Так же, как и там, в этих развалинах ютились люди. Регулировщики стояли на перекрестках и размахивали флажками. На фронт и с фронта шли колонны грузовиков; плакаты с призывами, обращенными к воинам, виднелись по краям дороги.

Еще час езды по Добельскому шоссе, и Айя добралась до расположения части Юриса. Они встретились на краю поросшего чахлым кустарничком луга. Пасмурное небо, под ногами слякоть и лужи. Почти каждую минуту слышалось буханье орудий, взрывы мин или автоматная очередь. Небольшая землянка в кустах, из которой с утра до вечера, через каждые час-два, приходилось вычерпывать по нескольку ведер воды — иначе можно было утонуть. Топчан из необтесанных жердей был покрыт тонким слоем соломы, на маленькой полочке коптило самодельного устройства осветительное приспособление — фитиль, вставленный в сплюснутую гильзу зенитного снаряда.

Айя и Юрис рассказывали друг другу обо всем, что случилось с ними со дня расставания, а иногда умолкали — глядели друг на друга и улыбались, точно виноватые в своем счастье.

Юрис успел уже раза три побывать в тылу врага. Один из его лучших разведчиков наскочил на немецкую мину и потерял ногу. Но «языка» они

все же достали.

— Скоро, наверно, пойдем в наступление... В отпуск никого не увольняют, только в особых случаях, с разрешения штаба армии. Новый год придется тебе, Айюк, встретить без меня, я, по всей вероятности, не смогу...

В обед поели из одного котелка, потом вышли погулять. А когда стало темнеть, Юрис проводил Айю до шоссе.

— Сегодня у меня настоящий праздник... — сказал он прощаясь.

— Если кто поедет в Ригу, ты, конечно, черкнешь мне несколько строчек, — сказала Айя. И они долго-долго не разнимали соединенных в пожатии рук.

Всю дорогу до дома Айе было грустно. «Друг мой милый, когда уж мы будем вместе?» — думала она.

Мокрый снег летел навстречу машине, залеплял стекло и, как рой белых мошек, плясал в светлых лучах фар, когда шофер на мгновение включал их.

Когда театр возобновил представления, для Мары не сразу нашлось дело, потому что брать роль в какой-нибудь старой постановке ей не хотелось. Зато она получила главную роль в новой, советской пьесе, которую недавно начали репетировать. Последние дни проходили у нее в напряженной работе.

Однажды, в конце декабря, была как раз суббота, — Мара сидела на очередном совещании, которое созвал директор театра Калей. Яундалдер докладывал о двух новых пьесах — одной переводной, другой оригинальной. По ходу обсуждения было видно, что совещание затянется до начала спектакля. Мара все время сидела как на иголках и больше следила за часами, чем за выступлениями. Никто, даже всегда такой пронизательный Калей, не мог понять причину ее нетерпения. В три часа она уже начала нервничать, и как раз в это время Калей дал слово новому помощнику режиссера, Кукуру, который обладал способностью говорить пространно и подробно, с неиссякаемым терпением прирожденного аналитика. В Москве он многое видел, многому научился и говорил очень интересно и красочно. В другой раз Мара и сама бы с удовольствием приняла участие в обсуждении, но сегодня даже самые оригинальные высказывания пролетали мимо ее ушей.

Когда Кукур, проговорив с полчаса об отдельных образах и развитии сюжета, перешел, наконец, к идейному содержанию пьесы, Мара так грустно вздохнула, что Калей услышал и оглянулся на нее с удивленным видом.

— Что такое? — шепотом спросил он ее, перегнувшись через спинку стула. — Ты устала?

— Нет. Просто мне через четверть часа надо быть в одном месте, — еле слышно ответила она.

— Что же не уходишь? Кончим без тебя.

— Я должна отлучиться до понедельника, — добавила еще Мара, но Калей уже слушал Кукура. Она тихо поднялась, на цыпочках дошла до двери и постаралась открыть ее без скрипа. Но дверь все-таки закрипела и несколько лиц повернулось в сторону Мары. Посмотрел и Кукур, да так, что Маре стало совсем неловко от его недовольного взгляда. Она с виноватой улыбкой кивнула ему и вышла. «Наверно, обиделся. Подумал, что мне скучно слушать. Ну, ничего, потом, когда узнает причину, простит...»

Мара зашла в свою уборную, поправила прическу, провела пуховкой по покрасневшимся щекам и вышла из театра. В условленном месте ее встретили два человека — подполковник Карл Жубур и капитан Петер Спаре. Они только приехали на машине прямо с фронта, и в их распоряжении было не больше двух часов. Они так старательно вытянулись при появлении Мары, как будто она была генералом.

— Мы уже были там и убедились, что все в порядке, — сказал Жубур. — Нас ждут. Можно хоть сейчас ехать.

— Сейчас? — Мара посмотрела на него и лукаво покачала головой. — А вдруг я забыла дома паспорт, что тогда?

— Тогда давайте заедем на квартиру, возьмем паспорт, — ответил Жубур. — В пять там закрывают.

— За паспортом заезжать не будем, — сказала Мара. — Я вовсе не такая забывчивая.

— В таком случае едем прямо *туда*, — предложил Петер Спаре и, не дожидаясь ответа, подошел к машине и открыл дверцу. Первой усадили Мару, затем в руках Жубура неизвестно откуда появился букет живых цветов, и он галантным, несколько деланным жестом поднес его Маре. Он сел рядом с Марой, Петер — рядом с шофером, и машина тронулась.

Через полчаса, когда было закончено с формальностями и Мара Павулан стала Марой Жубур, машина отвезла их на Цесисскую улицу, в довоенную квартиру Мары, которую она недавно получила обратно и даже

успела прибрать на скорую руку. Конечно, их не ждал там роскошный свадебный стол, а приглашенными были только Петер Спаре и Екаб Павулан, встретивший их в дверях. В честь такого события старик нарядился в праздничный костюм и повязал галстук. Взволнованно и удивленно он наблюдал за происходящим и сам не знал, что ему делать: не то радоваться, не то сердиться. Впервые за свою долгую жизнь он видел, что такое важное событие, как свадьбу, справляли по-обыденному, просто и быстро, и не кто-нибудь ведь, а родная дочь, Мара, которая кое-что знала о хороших обычаях. Где же торжественность, где благоговейный трепет перед будущим, который должен испытывать человек, отправляясь в далекий, неизведанный путь? Как будто они сами распоряжаются жизнью, а не она ими. Или это во всем так при новом строе? Нет, Екаб Павулан не мог уразуметь это, а спрашивать о таких вещах он почел неудобным. Да и трудно было бы ему передать ход своих мыслей. Даже дочь казалась ему в этот час новой, не похожей на прежнюю Мару. Когда все подняли рюмки и чокнулись за здоровье новобрачных, странно стало на душе у Павулана и глаза увлажнились. Но никто этого не заметил.

За столом новобрачные сидели недолго: выпили несколько рюмок вина, подкрепились холодными закусками, заранее приготовленными Марой, и стали собираться в путь. По-настоящему свадьбу должны были праздновать в штабе полка Жубура. Мара оделась потеплее, обула фетровые сапожки, натянула толстые узорчатые варежки, связанные ей покойной матерью. Попрощавшись с Павуланом, который остался сторожить квартиру, сели в машину... По темным уже улицам доехали до райкома комсомола, так как Петеру надо было передать Айе письмо от Юриса.

— Может быть, и Айю уговорим поехать? — сказал Жубур, когда машина остановилась перед райкомом.

Эта мысль всем понравилась. Жубур пошел вместе с Петером, чтобы пригласить Айю от своего и Мариного имени. Все им благоприятствовало: за несколько дней до этого Айе прислали второго секретаря райкома, и он уже приступил к работе. Созвонившись с секретарем горкома комсомола и получив согласие на однодневный отпуск, она оделась и вышла вместе с Петером и Жубуром. По дороге заехали на несколько минут к ней домой и подождали, пока она соберется, затем машина, переехав по временному, понтонному мосту через Даугаву, покатила с предельной скоростью по Елгавскому шоссе. Сидеть было тесно, зато тепло, а в ветреный зимний вечер, когда в поле мела и заносила снегом дорогу метель, это имело немаловажное значение.

Еду, еду, еду к ней,
Еду к любушке своей... —

тихо запел сидящий рядом с шофером Петер Спаре; остальные подтянули, и вот зазвучала песня — светлая, радостно-тревожная, как вызов мраку и самой судьбе. Прижавшись к Айе, Мара без слов улыбалась подруге, глядя на нее блестящими в полумраке глазами. И зачем ей было говорить о том большом, полном счастье, которое вошло в ее жизнь, в жизнь Жубура? Оно не с неба свалилось, как неожиданное чудо, но медленно и терпеливо приближалось к ним... Оно взрастало в далеких странствованиях и на полях сражений, долгожданное, заслуженное счастье.

В полковом штабе, расположившемся в заброшенной усадьбе, их ждали за накрытым столом командир полка Соколов и почти все командование полка. Хозяйничали в этот вечер Юрис Рубенис и Аустра Закис.

В поле свистела и завывала метель. Орудийные выстрелы раздавались совсем близко. Соколова и Жубура часто вызывали к телефону из штаба дивизии.

Так началась для Мары и Жубура новая жизнь.

4

Ранним январским утром, часа за два до начала работы, старый Мауринь пришел на завод — тот самый лесопильный завод, которым до войны руководил Петер Спаре. Но Петер еще находился в армии, и до возвращения его управляющий трестом поручил завод Мауриню — не зря же во время эвакуации старик был директором!

Это было не совсем обычное утро. Не бессонница и не внезапная прихоть погнали Мауриня в такой ранний час на завод. Первым понял это старик сторож Асарит, которого пробудили от дремы тихие шаги.

— Стой! — крикнул он, не разобрав еще как следует, с какой стороны приближается прохожий, и на всякий случай звякнул затвором винтовки. — Кто идет? Отвечай, а то стрелять буду!

— Не горячись, Симан, — ответил Мауринь. — Что это ты вздумал стрелять в собственное начальство? Разве так сказано в служебной инструкции?

— А, это ты, товарищ директор, — пробормотал Асарит и отворил

калитку. — Как тут узнаешь... темень такая, хоть глаз выколи. Был бы фонарь у ворот или хотя бы «летучая мышь»...

— Рыбка-окунь, не скучай, скоро будет месяц май ^[1],— сбалагурил Мауринь. — Когда на Кегуме завертится первая турбина, такую лампу получишь, что будешь без очков газету читать.

— Да когда еще это будет, — протянул Асарит. — Разрушать легко, а строить — не больно-то.

— Как же ты, старый рабочий, можешь сомневаться в таких делах? Если весь народ берется за что-нибудь, он своего обязательно добьется. Мало ли про нас болтали — мол, лесопильные станы нипочем не запустим к Новому году... А что получилось? Кончили к рождеству, на целую неделю раньше срока. То же будет и с Кегумом и со всеми прочими делами. Для себя ведь, пойми ты, восстанавливаем, не для господ. Кому из рабочих это не понятно! Курить хочешь?..

— А можно?

— Если с умом да не шататься по всему двору, тогда можно разок и затянуться.

Мауринь вынул пачку папирос и стал с подветренной стороны будки.

— Ты что-то нынче рано, товарищ директор, — сказал после долгой затяжки Асарит.

— Дела заставляют. С нынешнего дня начинаем работать по-новому. Государственное задание. Ты, когда начнут собираться рабочие, скажи, чтобы все шли в котельную. Надо будет поговорить. Да, еще вот что... В случае придет Петер Спаре, ты к нему не привязывайся. Пропусти без всяких пропусков. В лицо его помнишь?

— Как не помнить! — Асарит чуть не обиделся. — Мальчишкой еще знал. Иль демобилизовался?

— Пока еще нет, но прийти обещал. Приехал на два дня в командировку. Не он будет, если пройдет мимо своего завода, не завернет к старым друзьям.

— Как не завернуть, — согласился Асарит. — Ладно, директор. Пройдет у меня без всяких пропусков.

— Правильно, Симан. И пусть прямо ко мне.

Они докурили папиросы, затем тщательно втоптали окурки в снег.

— С винтовкой ты поосторожнее, — сказал Мауринь уходя. — Если не слушаются с первого предупреждения, надо стрелять в воздух. Тогда будут побаиваться. Попасть в человека недолго, а вот как ты его после поставишь на ноги?

Он обошел всю территорию завода, осмотрел сушилку, элеватор,

станы; шершавыми пальцами поглаживал новые приводные ремни, которые недавно удалось раздобыть после долгих хлопот, — все старые приводные ремни немцы или увезли, или изрезали на мелкие куски. А лесопильный стан без приводных ремней — все равно, что человек без рук. Счастье еще, что не успели взорвать станы.

Всевидающим оком рачительного хозяина Мауринь следил за всякой мелочью. Если что лежало на месте не так, как надо, он сердился и тихо ворчал на несознательных людей, которых еще учить да учить надо, пока и последний разиня не поймет, как обращаться с народным достоянием. На что это похоже? Из сугробов по обеим сторонам подъездных путей торчат концы горбылей, а в Риге люди мерзнут из-за недостатка дров... Так не годится, миляги, каждое полено, каждую щепку надо в дело пускать.

Обойдя завод, Мауринь зашел в контору погреться. Достав лист бумаги, он записал, кому какие дать распоряжения. Он ничего не забыл, ничего не упустил.

Утро уже наступило, стали сходитьсь рабочие. Подождав, когда все собрались, Мауринь пошел в котельную.

Стоявший там гул мгновенно стих, как только рабочие увидели директора. Старые рабочие, которые знали Мауриня еще до войны, здоровались с ним запросто. Новички смотрели на него с любопытством. Подождав, пока аудитория успокоилась, Мауринь откашлялся.

— Товарищи и друзья, — начал он. — Все вы знаете, всем вам известно, что завод теперь в полном порядке. Как говорится, могут работать все лесопильные станы, все наши подсобные цеха. Но нам известно также, что в Риге и во всей Советской Латвии много добра еще испорчено: как проклятые фашисты бросили, так и по сей день разбито и разрушено до безобразия. Возьмем, к примеру, это самое электричество... Кое-какой свет у нас теперь имеется, но посмотрите на эти лампочки: что это за освещение? Нет настоящей силы, так сказать, в этих огоньках. Это потому, что дать надо всем, делить надо на много голов, а делить-то еще почти нечего. Если бы Кегум был в порядке, тогда — да. Но кто этот Кегум будет восстанавливать? Самим ведь придется. Теперь дальше. Как сейчас живется товарищам, которые из Задвинья?

— Плохо еще живется! — раздался возглас из толпы. — Воды нет, а утром и вечером не знаешь, как переправиться через Даугаву.

— Все это верно, друг, — согласился Мауринь. — И пока мы не построим настоящий мост, ни трамвая, ни воды в Задвинье не будет. Значит — мост нам нужен позарез, нужен, как хлеб насущный.

— К старости, может, дождемся! — выкрикнул один из новых

рабочих. — Понтонный мост подо льдом. Когда пойдет лед, понтоны унесет в море. А новый мост надо строить годами. Ульманис пятнадцать лет мудрил с постройкой моста в конце улицы Валдемара, да так ничего и не придумал.

— Верно, все верно, товарищи, — продолжал Мауринь. — Ульманис мудрил пятнадцать лет и ничего не придумал потому, что его заботило не благополучие рабочих, народа, а, так сказать, хорошие барыши для себя и кулаков. Так было при Ульманисе. А при советской власти все по-иному. Пятнадцать лет нам мудрить не приходится. Иной раз хватит и пятнадцати дней, чтобы осмотреть место, обследовать речное дно. После этого правительство решает, что народу нужен новый мост, и строители без лишних разговоров приступают к работе. Вот как это делается при советской власти! Должен сообщить вам, что такое решение уже принято. До ледохода будет построен большой мост.

В котельной снова загудело, как в улье. Многие рабочие недоверчиво качали головами, смеялись, громко высказывали свои сомнения.

— До ледохода? Дуракам пусть рассказывает! Шутка ли — построить мост! Мостки разве какие-нибудь получатся!

— Не мостки, а самый настоящий мост, — громко, на всю котельную, крикнул Мауринь. — Я попрошу, товарищи, немного обождать, не шуметь, самого главного я еще не сказал. — Когда говор затих, он продолжал спокойнее: — Таково решение правительства и партии — мост должен быть построен до ледохода, а к лету — и понтонный мост. Понтоны уже начали доставать из подо льда. Работают над этим водолазы, помогают и войска, а также моряки. В постройке моста нам будет помогать Красная Армия, а вам известно, как идет дело, когда за него берется наша армия. Пospрашивайте Гитлера, чтобы поделился своим личным опытом. Только боюсь, он обидится на такой вопрос. Так вот, товарищи... нашему заводу выпала великая честь участвовать в этой стройке. Пиломатериалы для постройки будем давать мы — каждый день определенное количество. С завтрашнего дня завод переходит на двухсменную работу. Я думаю, придется прихватить и воскресенья, — конечно, если мы захотим, чтобы мост был готов до ледохода. Как, товарищи? Если у кого есть что на душе — выкладывайте.

— Что там много разговаривать, — громким внушительным басом сказал кочегар Вилцинь, высокий старик с пышными седыми усами. — Не срамиться же нам перед другими. Не хватало, чтобы потом рижане говорили: «Этот мост построили бы к сроку, да вот Мауринь со своим коллективом сорвали все дело — вовремя не подавали материалы». От

стыда некуда будет глаза девать. А если узнает товарищ Сталин, что мы ему ответим? «Товарищи деревообделочники, — скажет он, — что же это вы? Всегда были в первых рядах революционных борцов, а теперь не хотите помочь своей родной советской власти». Вели кончать, Мауринь, пора браться за работу. До ледохода не так много осталось.

— Правильно, товарищ Вилцинь! — раздалось в толпе рабочих. — Нечего тут долго рассуждать! Сказано — не подведем! Пусть только строители пошевеливаются — мы их завалим лесом.

Кочегар рванул рычаг, и заводской гудок объявил о начале работы. Рабочие спешили к своим цехам. Вскоре зашипели и заскрежетали циркулярки, и белая древесная пыль стала оседать на лицах и спецовках. Старый Мауринь, став в дверях котельной, с радостным волнением наблюдал эту бодрую суету, которая поднялась во всех уголках завода.

— Могучий у тебя коллектив, Мауринь, — раздался за его спиной чей-то голос. — Он свое слово сдержит.

— Петер! — Мауринь быстро обернулся и стал обнимать гостя, грубовато-ласково похлопывая его по спине. — Слышал? Не хотят лицом в грязь ударить.

— Не ударят. Но многое будет зависеть от тебя самого. Задание не из легких. Чтобы выполнить его к сроку, нигде не должно быть заминки. Заводу придется все время работать на полную мощность. Чтобы не было нехватки в бревнах, укладчики и возчики все время должны находиться на линии огня. Транспорт, бензин, масло, ток — обо всем самому надо думать. Вовремя думать. Главное — нельзя выбиваться из графика, иначе такая лихорадка начнется, такие неполадки...

— Вот ты и поучи меня, Петер, как лучше организовать... Пойдем лучше в контору, поработаем с карандашом в руках. Нам здесь все равно что военный план требуется.

Они обошли всю территорию завода; и, как раньше Мауринь, так сейчас Петер всюду проникал хозяйским взглядом. Пропустив его вперед, Мауринь шагал за ним с бьющимся сердцем: «Ну, как заметит что-нибудь такое и ткнет тебя носом...» Хотя сейчас он был хозяином на заводе, а Петер Спаре только гостем, Мауринь чувствовал себя рядом с этим военным, как школьник перед строгим учителем, который вправе требовать, чтобы здесь во всем был порядок. А если нет порядка, скажет: «Где же ты был, Мауринь, как ты проглядел? Вот как ты меня замещаешь?» Он, может быть, и не скажет ни слова, но сердце все равно почувствует упрек...

Все кончилось в общем благополучно. Только позже, в конторе, когда

они с час поработали с карандашом в руке и «военный план» был детализирован, Петер заговорил об усилении противопожарных средств.

— Вспомни, Мауринь, как было дело осенью сорокового года, когда хотели спалить завод. Не исключено, что и сегодня среди мастеров и рабочих затесался враг. Кого-нибудь из своих гитлеровцы уж постарались оставить. И если на заводе покажется красный петух, что станет тогда с мостом?

— Надо, надо глядеть в оба, — сказал Мауринь. — Придется поставить побольше бочек с водой и ведер. Сегодня же проверю, в порядке ли пожарные рукава, и учения надо провести. Не все ведь старые рабочие, а про новых я ничего сказать не могу. Главный инженер — советский человек, за него я ручаюсь, но двое мастеров — по-моему, чужие люди. Может, я напрасно не доверяю, а может, и не напрасно.

— Хозяйничаешь ты правильно, Мауринь. Но гляди в оба. Доверяй и проверяй, — как учит нас партия.

— А когда мы дождемся тебя? Не думай, что я очень долго продержусь. Кости на покой просятся. Не та уже сноровка и распорядительность. Только и есть что прежний опыт.

— Ничего, продержишься до конца войны... а может быть, и дольше. Вопрос еще, вернут ли меня после демобилизации на старую работу. Да я и сам не вижу в этом большой надобности, раз на заводе есть хороший руководитель.

— Ты погоди, погоди, Петер, — разволновался Мауринь. — Ну, сам рассуди: какой я руководитель для такого большого предприятия?

— Я, брат, говорю совершенно серьезно. Сейчас каждый человек должен делать больше того, что ему кажется по силам. Мы не в игрушки играем, мы строим Советскую Латвию.

Мауринь дошел с Петером до ворот, проводил его взглядом, пока тот не скрылся за углом, и вернулся в контору.

«Беда мне с ними... старого человека — и на такую должность... — озабоченно думал он. — Словно нет людей помоложе».

Рижская командировка Петера Спаре была вызвана необходимостью получить в Наркомате лесной промышленности различные материалы; заодно надо было взять из ремонтной мастерской штабную машину. На боевом участке корпуса в это время наступило относительное затишье, и полк, в котором Петер командовал ротой, находился во втором эшелоне.

Кроме служебных заданий, Петеру нужно было выполнить и поручение Аустры: она просила зайти в один дом на улице Кришьяна

Барона и осмотреть небольшую квартиру на четвертом этаже, которую с месяц тому назад выхлопотала Айя и записала на имя Петера. Квартира была довольно уютная и в хорошем состоянии, только пустая.

«Первое время придется жить по-фронтовому».

Станным, почти непостижимым казалось это: они будут всегда вместе. «Аустра и я... новая жизнь, лучше и правильнее той, прежней... общие мысли и общие мечты... Еще идет война, еще мы оба носим военную форму, но уже разгорается заря завтрашнего дня, и жизнь шумит, как полноводный поток. Во всем понимать друг друга, помогать и поддерживать в тяжелые минуты, делить пополам и горе и радость. Как хорошо будет работаться нам обоим — и Аустре и мне...»

Да, у них теперь было все хорошо. Об этом знали все друзья их, все боевые товарищи. И во всем полку не было такого человека, который не радовался бы их счастью. Даже подполковник Аугуст Закис, который таил в душе незаживающую рану, и тот любил иногда пошутить с Аустрой:

— Выходит, сестричка, что ты пошла на войну, чтобы заполучить мужа. А что, если я расскажу об этом отцу с матерью? Отец рассердится: ты же рассоришь его с Лиепином — они и без того еле ладили.

— Может быть, нам с Петером надо попросить разрешения у Лиепиней? — отшучивалась Аустра. — Так и так, хотим обвенчаться и просим вашего благословения... Интересно, что они ответят?

— Уверен, что Лиепиниене сейчас же побежит за советом к пастору. Уговорит, чтобы он вас не венчал.

Но эту шутку Аустра приняла всерьез и вспылила:

— Аугуст, как тебе не стыдно! Неужели ты думаешь, что мы будем венчаться у пастора? За кого ты нас принимаешь?

— Влюбленные не могут похвалиться строгой последовательностью в своих действиях: чувства у них господствуют над разумом.

— Посмотрим, как ты сам...

— Я? — Аугуст Закис перестал улыбаться. Снова легла на его лоб суровая морщина. Шутливый разговор оборвался, как непрочная нить, которой коснулось отточенное лезвие.

В конце января с очередного московского поезда сошел на Рижском вокзале рослый полувоенного вида пассажир в белых фетровых валенках с отогнутыми голенищами, в синих бриджах, в отличном черном полушубке,

отороченном серым каракулем, и в серой каракулевой же ушанке. Он окликнул двух носильщиков и каждому вручил по два больших чемодана. Пятый, самый маленький и легкий, взял сам и солидной походкой последовал за носильщиками к выходу. Несколько оплывшее и красноватое лицо его выражало любознательность. Он с большим интересом разглядывал толпу встречающих, надеясь, видимо, увидеть кого-нибудь из знакомых.

— Найдите мне машину или извозчика, — сказал он носильщикам на чистом латышском языке.

Машины найти не удалось: такси в Риге тогда еще не ходили. Подъехал на загнанной коняге старик извозчик. Прибывший полувоенного вида гражданин назвал адрес и минут пять поторговался. Наконец, они сошлись в цене.

Тогда Эрнест Чунда — это был он — разместился со всеми чемоданами в старом фаэтончике, и извозчик не торопясь повез его по указанному адресу. Чунда внимательно приглядывался к каждому дому, мимо которого проезжал, будто хозяин, вернувшийся после долгой отлучки в свои владения.

«Ничего, не так страшно, — думал он. — Лучше, чем я ожидал».

В Ригу он вернулся с довольно широкими планами. «Если ничего не выйдет с партийной работой, можно пойти по хозяйственной линии: заместителем наркома или управляющим трестом. Нужда в людях большая. Персональная машина и шофер, кабинет с громадным письменным столом и несколько телефонов, большая квартира в центре города со стильной мебелью... Тогда ты, Рута, не выдержишь, расквасишься. Но мы сначала подумаем день-другой, заставим понервничать и похныкать и потом только простим старую обиду. И чтобы в дальнейшем никаких капризов, никаких сумасбродных выходов, — имейте в виду, мы не привыкли, чтобы нами помыкала женщина».

Так думал Эрнест Чунда, сидя в фаэтончике. Нельзя сказать, чтоб он возвращался из эвакуации налегке. Не о том свидетельствовали туго набитые чемоданы. Там были и платье, и обувь, посуда и продовольствие, а также немало прекрасных вещей, изготовленных искусными руками уральских мастеров. В тяжкие военные годы Чунда отнюдь не сидел на печи. И это было только начало. В Риге он надеялся развернуться по-настоящему.

Извозчик остановился у дома, где Чунда с Руткой жили до войны. На первых порах Чунда намеревался остановиться здесь, пока не будет подыскана квартира побольше и получше. Вдвоем с извозчиком они

втащили по лестнице чемоданы и сложили их на площадке перед дверью квартиры. Затем Чунда расплатился, отпустил извозчика и, поправив сбившуюся на затылок ушанку, нажал кнопку звонка. Но звонок молчал — очевидно, не было тока. Тогда Чунда начал стучать. Он был уверен, что в квартире кто-нибудь есть. Может быть, успела вернуться Рута — вот будет сценка!

Дверь отворила пожилая женщина. Увидев незнакомого человека, она испугалась и хотела захлопнуть дверь, но Чунда уже переступил порог.

— Нуте-ка, посторонитесь, дайте мне пройти, — спокойно сказал он.

— Что вам нужно? — тревожно спросила женщина. — Вы, наверно, ошиблись.

— Я хочу войти в свою квартиру.

— Что вы, это *моя* квартира, — возразила женщина. — Здесь я живу, и муж мой, и дочери...

— С какого времени?

— С сорок второго года...

— С сорок второго. А мне эта квартира принадлежит с сорокового года, — торжествующе сказал Чунда. — Несколько лет я отсутствовал, а теперь вернулся, и квартира нужна мне самому. Так что не удивляйтесь, гражданочка.

Не слушая охавшую женщину, он внес свои чемоданы в переднюю и аккуратно поставил их друг на друга. Когда это было сделано, Чунда запер дверь и снял полушубок.

— Надеялись, что я не вернусь? Сознавайтесь! — смеялся Чунда. — Думали, это навсегда? А я вот вернулся, и вам теперь придется немного уплотниться. Я временно займу одну комнату, пожалуй большую, которая выходит окнами на улицу.

— В ней живут мои дочери, — робко пробормотала окончательно подавленная самоуверенностью Чунды женщина. — Неудобно вам будет... в такой тесноте.

— Если неудобно станет, я попрошу вас выехать из *моей* квартиры. Но весьма возможно, что этого и не придется делать. Квартира для меня все равно мала. Как только найду другую, сразу перееду. Вы мне не порекомендуете что-нибудь подходящее? Так, в четыре-пять комнат — больше не надо. Но только, чтобы была со всей обстановкой. Мне пустого сарая не нужно.

Женщина немного подумала и уже более оживленно сказала:

— Вот в соседнем доме есть хорошая квартира. Хозяин убежал, с немцами. Был каким-то начальством в полиции. Только вы поторопитесь,

пока не заняли.

— Ладно, гражданка, я потом зайду посмотреть, — сказал Чунда. — В данный момент мне надо умыться и побриться. Теплая вода есть? Да, скажите, почему у вас так холодно?

— Ох, господин любезный, дом ведь не отапливается. Чуть нагреется квартира от газовой плиты, и все.

— Это не дело. — Чунда неодобрительно покачал головой. — Я поговорю с управдомом.

— Пожалуйста, поговорите, может он вас побоится, — сказала женщина. Она принесла из кухни теплой воды, оставшейся в чайнике, и Чунда сел бриться. Приведя себя в порядок, он ушел устраивать свои дела, предварительно внушив женщине, что ей придется отвечать перед судом, если пропадет что-нибудь из его вещей.

Чунда намеревался прежде всего разузнать относительно Руты. «Если она вернулась, то по своей глупой откровенности могла черт-те чего наболтать про меня. В таком случае в партийных организациях начнут придирааться, и разговаривать будет трудно. Зато, если никто ничего не знает, можно рассчитывать на поддержку».

Скорее всего он мог получить нужные сведения в райкоме комсомола, где работала Айя. Но Чунда сразу отказался от этой мысли, вспоминая неприятный разговор с Айей осенью сорок первого года. «Кто-кто, а она будет по всему городу трубить о каждом твоём промахе. Много о себе думает...»

Поэтому Чунда счел более благоразумным сходить к родителям Руты. Если они живы, то должны что-нибудь знать про дочь. Может быть, Рута даже живет у них. И он отправился на квартиру стариков Залитов.

Медная дощечка на дверях сохранилась: значит, еще живы. Но на стук Чунды никто не вышел. Простучав несколько минут, он пошел к дворнику и узнал от него, что мать Руты умерла от тифа во время оккупации, а отец работает в какой-то артели и приходит поздно. Дочь еще не приехала.

Чтобы не терять зря времени, Чунда решил осмотреть квартиру, о которой ему сказали. Придя в указанный дом, он отрекомендовался дворнику как представитель райисполкома, и тот немедленно показал ему все. Квартира действительно могла удовлетворить самому взыскательному вкусу: прекрасная гостиная с камином и роялем, ванная, светлая спальня, кабинет и столовая с внушительным буфетом черного дуба, в котором сохранились расписные сервизы и множество больших и маленьких хрустальных рюмок, стаканов и бокалов — для коньяка, вина, шампанского. Очевидно, высокий полицейский чин удрал с такой

поспешностью, что не успел ничего ни увезти, ни уничтожить.

— Я беру эту квартиру со всем, что тут есть, — заявил Чунда дворнику. — Ключи отдайте мне.

Затем он двинулся в райисполком и оформил в жилищном отделе юридическую сторону дела — тогда это еще не было так сложно, как полгода спустя. С ордером в кармане Чунда явился в отделение милиции и прописался на постоянное жительство в Риге. В тот же день он с помощью дворника доставил свои чемоданы в новую квартиру и вечером снова пошел к старику Залиту.

Отец Руты уже пришел с работы и ужинал в кухне.

— Здорово, тещушка! — весело крикнул ему с порога Чунда.

— Эрнест... голубчик ты мой... вернулся? — Старик поднялся ему навстречу, а сам смотрел на дверь — не отворится ли, не покажется ли еще кто. — Один? Значит, правда, что Рута... — печально спросил он и не закончил.

— Да, к сожалению, один, — вздохнул Чунда. — Такая наша судьба. Уехали вместе, а вернулся я один.

Встреча получилась совсем не такая, как представлял себе Чунда: старик чуть не до слез расстроился.

Искусно лавируя с ответами и вопросами, чтобы Залит не догадался, как он мало знает о судьбе Руты, Чунда в две минуты выведал все, что тот знал.

По словам тестя, Рута осенью была с Ояром Сникером в Даугавпилсе, потом они уехали в Тукум и там попали в лапы к немцам. После один человек, которому удалось перебраться через линию фронта, рассказывал, будто фашисты повесили их.

Несколько минут Чунда сидел понурившись, не находя слов. То, что погиб Ояр, его нимало не взволновало, но Руту ему было жалко. Впрочем, жалость быстро заглушило более определенное и сильное чувство: теперь смело можно пустить в ход версию о потере партийного билета во время бомбежки.

— Как вы разлучились друг с другом? — спросил Залит. — Старались бы вместе держаться.

— Обоим дали специальные задания, — объяснил Чунда. — Мне одно, Руте другое. В военное время иначе нельзя. А мы, партийцы, привыкли выполнять все, что нам приказывает партия. Так и разлучились. Да, тяжелая у нас судьба... Но не нам одним пришлось так много потерять. Надо уметь переносить несчастья. Будьте мужчиной, товарищ Залит.

Он быстро ушел, опасаясь, как бы старик не стал задавать вопросы, на

которые ему было бы затруднительно отвечать. И потом слишком долго горевать не было времени. Чунда спешил устраивать свои дела, пока благоприятствовала обстановка. Удобным жильем он уже обзавелся; оставалось теперь оборудовать его получше. А умный человек не может всю жизнь прожить одними воспоминаниями о минувшем счастье.

В течение следующих двух или трех дней Чунда, как хороший охотник, рыскал по Риге, обходил пустые квартиры, а по вечерам под покровом сумерек свозил к себе на ручной тележке горы разного добра. Комнаты скоро стали походить на склад мебели, а он все продолжал привозить столы, шкафы, стулья и зеркала. Одного рояля ему показалось мало, он достал еще пианино. Все углы были завалены люстрами, подсвечниками, картинами, коврами. Среди этого навала вещей негде было повернуться, свободно шагнуть, но Чунду это не беспокоило. «Ничего, все потом пристроим». Он обходил комнаты и наслаждался созерцанием своих богатств — ощупывал мягкие бархатные кресла, смотрелся в зеркала, пробовал одним пальцем, как звучит рояль. Волшебные мгновенья!..

В конце концов он ничего не потерял в этой войне.

Однажды вечером, покончив с хозяйственными делами, Чунда явился на прием к первому секретарю райкома партии, где он некогда работал. Терпеливо выслушав рассказ Чунды о том, как он эвакуировался по распоряжению Силениека, как мужественно перенес несколько бомбежек, как лишился партийного билета, с какой настойчивостью подымал в партийных организациях вопрос о получении нового билета и как всюду ему отвечали одно и то же: разбор дела придется отложить до того времени, когда можно будет выяснить все обстоятельства, то есть после войны, и разобраться в этом придется Центральному Комитету КП(б) Латвии, секретарь районного комитета Озолинь, уже сильно поседевший мужчина, пристально взглянул на Чунду и спросил:

— Почему вы за все это время ни разу не обратились в ЦК?

— Два раза писал лично товарищу Калнберзиню, но мои заявления, вероятно, не дошли... — не сморгнув глазом, соврал Чунда. — Сами знаете, как во время войны работала почта.

— Хорошо работала, товарищ Чунда.

— Но я не знал точного адреса ЦК.

— Могли послать в ЦК ВКП(б). Оттуда переслали бы по назначению.

— Как-то не пришло в голову, — пробормотал Чунда. — И потом я столько всего пережил... потерял семью... душевная депрессия... сами можете представить.

— Почему вы не пошли в латышскую дивизию?

— Здоровье подвело. Легкие у меня не в порядке, товарищ секретарь.

— Туберкулез? Что-то не похоже.

— Выгляжу я хорошо, но это одна видимость. Спросите у специалиста. Но вы не думайте, что я не выполнил своего долга. Всю войну проработал на оборонном заводе.

Секретарь только посмотрел ему в глаза, и под этим взглядом Чунда весь съезжился, как под струей холодной воды.

— Зачем вы врете? Хотите обмануть партию? Ничего у вас не выйдет, нам все известно. Когда начали формировать дивизию, вы поспешили уехать в Среднюю Азию.

«Рута разболтала Айе, — подумал Чунда. — Теперь расхлебывай кашу».

— По существу говоря, вы сами давно исключили себя из партии, и нам придется только довести это дело до конца, — продолжал Озолинь. — Партию обмануть нельзя. К партии человек должен приходиться с чистым сердцем, с открытой душой. А вы приходите, как мелкий жулик.

— Вы меня оскорбляете, товарищ секретарь! — Чунда расправил плечи. — Я требую, чтобы мое дело расследовали. Пусть докажут...

— Все будет расследовано и доказано. Относительно этого можете не сомневаться. К вашему сведению — у нас и сегодня доказательств имеется больше, чем нужно. Живые люди могут засвидетельствовать, что вы были паникером и шкурником. Докажите, что это не так! А теперь можете идти. Когда потребуется, вас вызовут.

После этого разговора Чунде стало ясно, что к секретарю по кадрам лучше не соваться: если в райкоме утвердилось такое мнение об Эрнесте Чунде, значит и здесь кое-что знают. Хорошей службы теперь не получишь...

— Ну и не надо, — сердито бормотал Чунда. — Обойдусь без вас.

Будучи человеком практических взглядов на вещи и людей, он за эти несколько дней успел разглядеть впереди некие заманчивые перспективы. Нашлась женщина, еще во цвете лет, которая с первой встречи в домоуправлении одаривала его благосклонными взглядами. Жила она в том же подъезде, что и Чунда, а главное, владела небольшой, но прибыльной мясной лавкой в центре города. Имя ее было Эмилия Руткасте — и фамилию и мясную она унаследовала от своего покойного мужа.

Итак, мысли Чунды естественно обратились к Эмилии Руткасте.

«С ней не пропадешь», — решил он и, не откладывая дела в долгий ящик, в тот же вечер постучал к вдове. Она сама открыла дверь и, увидев, кто пришел, чуть-чуть покраснела.

— А, вы ко мне, господин Чунда?

— Да, зашел вот. Мне хочется переговорить с вами по очень важному вопросу. Не помешал? Вы, может быть, не располагаете временем?

— Отчего не располагаю? — Эмилия Руткасте улыбнулась в доказательство полной готовности принять гостя. Она была довольно миленькая женщина, несмотря на излишнюю полноту. — Заходите, пожалуйста. Я одна.

— Благодарю вас, — звучным голосом ответил Чунда и последовал за Эмилией в ее апартаменты, которые были точь-в-точь так же набиты вещами и мебелью, как и расположенная этажом выше квартира Чунды.

— Что же это за важный вопрос? — спросила хозяйка, когда гость сел на предложенный ему стул.

Чунда ответил не сразу. Он ястребиным взглядом окидывал каждую вещь и тут же мысленно оценивал ее по спекулятивным ценам. Одни только старинные столовые часы должны были стоить громадных денег. «А гарнитур какой, секретер красного дерева с фарфоровыми фигурками, а хрусталь!.. Не иначе как в начале войны собрано. Не может быть, чтобы мясник или сама вдова приобрели за полную цену. Да, эта женщина знает, что такое жизнь», — с удовольствием подумал Чунда, затем повернулся к Эмилией, поглядел на нее долгим, несколько осоловелым взглядом и, наконец, произнес:

— Плохо мне, товарищ Руткасте.

— В каком смысле, господин Чунда? Не удастся на работу устроиться? Он презрительно скривил губы.

— На работу хоть сейчас возьмут, на самую ответственную. Но разве работа — это все? Человек ведь не для того только живет, чтобы работать. Он хочет личных переживаний, хочет счастья... у него, между прочим, имеется сердце. А у меня с сердцем не все в порядке.

— А вы не советовались с врачами? — Эмилия Руткасте сделала вид, что не поняла намека Чунды. — Многие средства помогают... если болезнь не очень запущена.

— Помочь мне может только одно средство. Это — вы! — воскликнул Чунда, глядя ей прямо в глаза.

— Я? — она пожала плечами и засмеялась. — Непонятно, о чем вы говорите, объясните хоть...

— Тогда я должен объясниться вам в любви.

— Ах, вы вот о чем!.. Интересно.

— Надеюсь, вы не станете смеяться над моими чувствами, если мы даже не придем к соглашению.

— Боже сохрани, как можно смеяться над такими святыми вещами!

Убедившись, что Эмилия действительно готова принять его слова всерьез, Чунда познакомил ее со своими соображениями.

— Мы с вами оба вдовцы, оба одинокие. Вы потеряли мужа, я — жену. Вы бьетесь со своим торговым предприятием, а я не знаю, к чему приложить свой опыт и инициативу. Вам поневоле приходится обращаться за услугами к чужим людям! Ведь не можете же вы выезжать в деревню для закупки мяса и прочих сельскохозяйственных продуктов. Кто же тогда будет торговать в мясной? А чужой человек никогда не заменит своего. Он думает только, как бы побольше урвать для себя. Другое дело, если у вас будет муж — муж со знакомствами среди шоферов и заведующих гаражами; получится совсем иная картина: он — разъезжает по волостям и закупает все, что можно достать у крестьян, вы — торгуете, и вся прибыль остается в семье.

— Ах, сущую правду говорите, — развздохалась Эмилия. — Был бы муж...

— Дальше. Кто же запрещает нам пожениться, если это нам выгодно и если имеется в наличии любовь?

— Запрещать — кто же запретит, но вы очень уж скоро... мы ведь несколько дней как познакомились.

— Это самый верный брак, когда любовь разгорается при первом взгляде.

— Вы так думаете?

— Милая Эмилия, это я точно знаю...

Немного подумав, Эмилия заговорила будничным тоном:

— А как же быть с другой квартирой? Главное, и у вас она такая завидная. Одной семье не разрешат иметь два таких вонунга ^[2].

— Ну, так что же? Через несколько месяцев, когда в Риге с жилищным вопросом станет похуже, мне за нее дадут порядочные деньги. А жить можно и без регистрации в загсе, хотя бы несколько месяцев, пока подымутся в цене квартиры, — это убытка делу не принесет.

— Напротив, одну пользу, — согласилась Эмилия. — Если что случится, легче будет вывернуться. И потом у нас получится вроде обручения. Поживем с полгода как жених с невестой, лучше узнаем друг друга, как полагается у порядочных людей, а потом, если сойдемся характерами, отпразднуем свадьбу.

— Эмилия, это мои собственные мысли. Я вижу, мы сойдемся...

Они проговорили весь вечер. Убедившись, что их интересы совпадают по всем пунктам, Эмилия достала бутылку вина и изжарила яичницу с

салом.

Только что сели ужинать, как пришел какой-то молодой еще, очень маленького роста человек, и Эмилия представила его Чунде:

— Это мой компаньон, товарищ Джек Бунте. Ты, Эрнест, будешь ездить с ним закупки делать. У него много знакомых и в городе и в деревне.

...Спустя две недели бюро райкома на очередном заседании исключило Чунду из партии. Уходя с заседания, он сердито хлопнул дверью и в тот же вечер уехал на грузовике какого-то учреждения в Мадонский уезд за товаром для мясной лавки.

В воскресенье Эвальд Капейка проснулся, по привычке, рано, но встать не спешил. Сквозь трещину в темно-зеленом картоне, которым было затемнено окно, в комнату проскользнул, солнечный луч и начертил золотистую полосу на дверце старого платяного шкафа. В кухне хлопотала по хозяйству мать Капейки: скрипнула дверца духовки, звякала посуда. С улицы доносился монотонный стук лошадиных копыт; Капейка по звуку догадался, что одна подкова ослабла. «Потеряет, если вовремя не перекуют... — подумал он. — Крестьяне жалуются, что нигде не достанешь подковных гвоздей. Мелочь как будто, а без нее не обойтись». Весь мир полон мелочей, но сейчас, когда всего не хватает, а потребностей стало больше, чем прежде, они резче бросаются в глаза.

Капейка достал портсигар и закурил. Положив одну руку за голову, другой он стряхивал пепел с папиросы в старое чайное блюдце, а сам сосредоточенно думал о вчерашней работе, о том, что гаражу, которым он заведует, требуется новая крыша, о том, что на свете еще много крупных и мелких жуликов. Вначале иные и его считали взяточником, которого можно купить за мешок картошки или за свиной окорок. «Одолжите на день машину, и вы на целую неделю будете обеспечены продовольствием... Продайте бидон бензина, а мы вам привезем дров». Будто они не знали, за что Капейка боролся в лесах Видземе, забыли, где и как он потерял ногу. «Время трудное, товарищ Капейка, но если мы будем держаться друг за друга, и нам и вам будет легче. Государство в убытке не останется, если несколько граждан проживут чуть получше, чем большинство населения. Плюньте вы на все предрассудки — все равно одна ласточка весны не делает. В трудные времена порядочностью похваляются только дураки, а вы — Эвальд Капейка, человек умный... Подумайте о себе, о своей старухе

матери, о будущем... Ну что вам стоит немного поспособствовать предприимчивым людям? Машина ведь не развалится...»

Так шли дела вначале, пока Капейка не выгнал из гаража несколько отъявленных жуликов. Новые шоферы сначала работали хорошо, но искушение, видно, было слишком велико, и спустя какой-нибудь месяц два шофера пошли по стопам своих предшественников. Об этом говорил и слишком большой расход бензина в каждую поездку и ломка графика.

Ну, черт с ними, Капейка не возражал бы, если бы они во время поездок за город подсаживали попутных пассажиров, но он весь кипел от возмущения, когда узнавал, что на государственных машинах разъезжали по своим темным делам спекулянты. И Капейка принимал все меры, чтобы помешать этому: кропотливо подсчитывал пройденные километры, время и расход бензина, контролировал, когда и где была машина, и с неисправимыми долго не церемонился.

Вот и сейчас: он сам видел, что не все в порядке — один шофер стал жить не по средствам, кутил в ресторанах, щеголял новыми костюмами и сорил направо-налево деньгами, а в каждую поездку с его машиной обязательно что-нибудь случалось. То камера лопнула, то испортился мотор и пришлось с ним провозиться несколько часов — и вот вам опоздание. Нет, надо будет серьезно поговорить с автоинспекцией, чтобы проследили за этим шофером.

В нем никогда не иссякала готовность к борьбе, настойчивость в достижении цели, недаром он был командиром партизанского батальона. А быть честным и в большом и в мелочах научил его Андрей Силенiek — человек, о котором Капейка всегда вспоминал с восторженной любовью.

Пришли ему на память и тяжелые дни, когда жизнь казалась беспросветной и бесцельной, когда мысль об увечье заставляла больно сжиматься сердце. Он возненавидел свою палку, без которой не мог и шагу ступить, он каждую улыбку воспринимал как насмешку над своей беспомощностью, каждое сочувственное слово — как унижение.

Сейчас все это пережито и преодолено, и хотя на свете осталось еще порядочно всякой дряни, но в общем люди — хороший народ.

Когда Капейка вернулся в Латвию, его один за другим стали навещать старые боевые товарищи, и их дружба, их верность помогли ему справиться со своей тоской, выйти из тупика.

Но это было еще не все. Жила на шоссе Свободы одна девушка, о которой Капейка часто вспоминал в годы войны. Вернувшись в Ригу, он, однако, побоялся пойти к ней, даже письма не послал, заранее решив, что теперь все кончено. Она узнала от знакомых о возвращении Эвальда и

пришла однажды в воскресенье навестить его. Он сразу, едва успев поздороваться, показал ей на свой протез и сказал:

— Ты свободна, Алиса, жалости я от тебя не требую.

— Ты меня разлюбил? — спросила она, и открытое, веселое лицо ее побледнело. — Конечно, кто я такая... простая, обыкновенная девушка... А ты герой, про тебя в газетах пишут.

Капейка разволновался.

— Ты разве не видишь, что у меня нет ноги? Со мной теперь ни танцевать, ни гулять не пойдешь.

— Выходит, вся твоя любовь пропала вместе с этой ногой? — возразила она, и сама же улыбнулась.

Нет, люди оказались лучше, чем о них думал одно время Капейка. Он решил больше никогда не спешить с выводами. А за предложение забыть его Алиса крепко пробрала Эвальда.

— Да какое ты имел право думать так обо мне? За кого ты меня принимаешь? Как будто у одних мужчин есть сердце, будто вы одни знаете, что такое верность!.. Очень много вы о себе думаете! Сию же минуту извинись, иначе пойду и пожалуюсь твоей матери, что ты меня несколько не уважаешь...

Вот так все и устроилось. Жизнь не казалась уже бесцельной Эвальду Капейке, он все чаще и чаще стал забывать о своем увечье. Он снова научился балагурить и даже о своем протезе говорил с юмором...

Позавтракав, Капейка пошел в гараж. Путь был недолгий — перейти только улицу.

В конторе скучал дежурный. В мастерской два шофера ремонтировали какие-то детали. Из двадцати четырех грузовиков, составлявших автомобильный парк наркомата, почти треть находилась в ремонте, потому что машины по большей части были трофейные и основательно поизносились.

— Что, Плицис еще не вернулся? — спросил Капейка дежурного.

— Нет еще. Наверно, заночевал в Цесисе.

— Все равно пора ему вернуться, если и заночевал, — проворчал Капейка. — Каких-нибудь два часа езды.

— Случилось что-нибудь с машиной, закапризничала.

Капейка холодно усмехнулся.

— Машина и пяти тысяч километров не наездила. Рано ей капризничать.

Он замолчал. Стал перелистывать рапортчики диспетчера, квитанции на произведенный ремонт, долго изучал вчерашний отчет о расходе

бензина.

«И налево и направо работают... — думал Капейка. — На два километра литр бензина — слишком жирно. Не по болотам ездят, по гладкому шоссе... Где же тут план выполнить! Машинам придется полмесяца простоять из-за нехватки горючего. Зато спекулянты посмеиваются себе в бороду — им что, они свой план всегда перевыполняют. [Дьявол вас возьми, живоглоты, паразиты проклятые. Пока вас не стряхнут с шеи, вы много крови у народа высосете».

— Товарищ Капейка, вы еще немного побудете? — спросил дежурный.

— А что?

— Хотел сбегать к киоску за газетами.

— Валяйте. Я и сам еще не читал «Цини».

Как только дежурный ушел, Капейка позвонил своему приятелю, работнику автоинспекции.

— Послушайте вы там, черти полосатые! — крикнул он в трубку. — Если вы сегодня не поможете мне изловить этих жуликов, я начну подозревать, что вы с ними заодно. Обижаться не стоит, надо действовать. У меня есть точные сведения, что на Псковском шоссе будет добыча. Номер машины? После скажу. Сам хочу участвовать в охоте. Выехать надо через полчаса. Ждите меня на углу.

Когда дежурный вернулся, Капейка уже повесил трубку. Он взял принесенный номер «Цини», прочел передовую, сообщение Советского Информбюро и статью о партизанах, затем сказал дежурному, что вечером зайдет еще, и ушел. На углу он сел в машину к инспектору, и они поехали.

Между поселком Ропаж и Сигулдой машину поставили в лесу и стали ждать. По ошибке остановили два грузовика и, проверив путевки, сразу отпустили.

Третья машина была та, которую они ждали. Шофер Плицис с довольно независимым видом вынул из кармана путевку и служебное удостоверение. Пожалуйста, у него все в порядке: отвез груз в Цесис, сдал по назначению, а на обратном пути регулировщики посадили пассажира до Риги. Пассажир — плечистый краснощекий мужчина в черном полушубке — сидел рядом с шофером и с подчеркнутым спокойствием наблюдал процедуру проверки. Капейке его лицо показалось знакомым. Когда инспектор велел показать документы, пассажир достал паспорт, а заодно и портсигар.

— Если употребляете, прошу закуривать.

Капейка через плечо инспектора прочел в паспорте фамилию, имя. Эрнест Чунда... это имя он действительно слышал. И не один раз — до

войны этот человек работал в райкоме, кажется в отделе кадров. Пока инспектор проверял документы, Капейка довольно ловко встал на колесо и заглянул через борт машины, чтобы проверить груз. Говяжья туша, две свиньи и четыре мешка картошки были уложены так искусно, что, глядя со стороны на проезжающую машину, нельзя было ничего приметить.

— Чей это груз? — спросил шофера Капейка. — Где ты его принял?

Шофер немного помялся, но, видя, что увернуться от ответа все равно не удастся, сердито кивнул в сторону Чунды:

— Всё его.

— Из Цесиса везешь? — продолжал допытываться Капейка.

— Нет... по дороге принял.

— В каком месте? Не на шоссе же?

— Нет. Пришлось свернуть немного в сторону по дороге в Рауну... Не знаю, как называется этот хутор. Спросите его самого.

Видя, что дело принимает неблагоприятный оборот, Чунда вылез из кабины и выразительно подмигнул Капейке, приглашая его отойти за кузов машины, в сторонку.

— На минутку, товарищ, я вам должен рассказать... Произошло недоразумение. Это все приобретено честным путем. Везу на одну фабрику... Понимаете, для рабочего снабжения.

Но одна рука его уже добралась до внутреннего кармана полушубка, нащупала пачку денег и так же на ощупь отделила от нее несколько сотенных бумажек. Ободряюще кивая головой, Чунда стал совать Капейке взятку:

— Берите, берите, только шума не подымайте. Вечером принесу на квартиру свиной окорочок.

— Послушай, старина! — позвал Капейка инспектора. — Этот дядя предлагает мне взятку.

Подошел инспектор. Чунда, густо побагровев, переминался с ноги на ногу.

— Много у него этого добра? — спросил инспектор. Заглянув в кузов, он покачал головой. — Ничего себе, целый продовольственный склад. Придется составить протокол.

— Неужели нельзя без этих формальностей? — быстро бормотал Чунда и снова начал шарить по карманам. — А как вы посмотрите, если каждому по тысяче? Мало? Ну, тогда по две.

— Довольно, перестань! — прикрикнул на него Капейка.

А инспектор уже составлял протокол.

Чунда понял, что он попал в большую беду, и как ни жалко ему было

денег, но из-за нескольких тысяч рублей садиться в тюрьму вовсе не хотелось. Он выхватил из кармана толстую засаленную пачку денег и протянул инспектору.

Тот сделал вид, что не замечает ее, тогда Чунда ткнул ее в грудь Капейке:

— Чего там ломаетесь, берите. Ровно десять тысяч. Вот еще богатые какие, от денег отказываются!.. Если не хотите деньгами, можно продуктами. Так и быть, полсвиньи отдаю... только скажите, когда и куда доставить? Такого сала вы ни в одном магазине не найдете.

Тут Капейка не выдержал — так толкнул Чунду, что тот упал в снег, но пачку денег из рук не выпустил. Поднявшись, Чунда отряхнулся, сердито и растерянно посмотрел на Капейку:

— Чудаки... формалисты... Я доставляю рижанам продовольствие, а вы хотите сделать из меня жулика.

— Ты и есть самый настоящий жулик, — спокойно сказал Капейка. — Эх ты, спекулянт, партизана хотел за полсвиньи купить...

Спустя неделю народный суд приговорил Чунду к нескольким годам тюремного заключения. Все заботы о снабжении мясной лавки Эмилии Руткасте снова свалились на плечи Джека Бунте.

Глава вторая

1

Секретарь волостного исполкома Скуя — худой, лет сорока мужчина с редкими волосами, в коричневых роговых очках, деликатно ссутулив спину, подкладывал Индрику Закису одну за другой подготовленные на подпись бумаги. Он скучно, как будто что-то давным-давно известное, объяснял их содержание и смотрел, как Закис медленно выводил свою подпись — крупными буквами без росчерков, завитушек и закорючек, — затем выхватывал из-под руки документ и клал на его место другой.

Это, товарищ председатель, циркуляр насчет вывозки гравия на дороги... Это ответ уездному исполкому о бесхозных усадьбах. Мы уже сообщали. Не знаю, чего им еще нужно.

— Им нужны подробные сведения, — ответил Закис, поднимая голову. — Простой список ничего не дает. Что толку, если написать, что хутора Зиемеля или Лиепниека остались без хозяев? Надо знать, какие это

хутора, сколько там земли, скота, какой инвентарь, в каком состоянии строения. Только тогда можно решить, что с такими хозяйствами делать. Можно разделить между безземельными, можно устроить коннопрокатный пункт, а то даже будет база для хорошего совхоза.

— Разве что... — пробормотал Скуя. Собрал подписанные бумаги, но уходить не собирался. Сунул папку подмышку и застыл на месте, глядя в окно на дорогу.

— У вас еще что-то есть, товарищ Скуя? — спросил Закис. — Говорите.

— Насчет пасторского хутора вот... Осенью обложили налогами наравне с кулацкими хозяйствами. Теперь взять эти лесозаготовки... Если подойти формально, ему надо вывезти сорок кубометров. Я думаю, крестьяне возражать не будут, если норму пастора разделить между ними. Ну какой из него возчик!

— Нас пастор не интересуется, нас интересуется его хозяйство, — сказал Закис, еле сдерживая улыбку. — Двадцать пять гектаров. Его преподобие может обидеться, если мы про него забудем. Ничего, товарищ Скуя, пускай повозит.

— Сегодня в приемной полно народу, — вяло продолжал Скуя. — Вы сами думаете всех выслушать? До полночи не кончите. Для чего же у вас заместитель? Я тоже мог бы одного-другого...

— Верно, товарищ секретарь. В дальнейшем так и будем делать. Часть людей принимаю я, часть — вы, часть — заместитель.

— А почему не сейчас?

— Мне сперва надо познакомиться с волостью, узнать, чем кто дышит, что у кого наболело. Какой я председатель, если не буду знать людей?

— Разве что... — снова пробормотал Скуя и как мышь выскользнул из комнаты.

Закис посмотрел ему вслед и усмехнулся. Дай только волю Скуе, он тебе такую поведет политику... Нельзя сказать, что из злостных, но никак в толк не может взять, что времена теперь совсем иные, что с людьми нельзя обращаться, как при Ульманисе. Каждый посетитель для него или обуза, или дойная корова. Сколько он зарабатывает на одних только заявлениях, которые пишет для крестьян... Люди поговаривают, что меньше сотни не берет, а больше всего жалоб и заявлений подают самые денежные. Тут мешочек муки, там кадочка масла или свиной окорочек — так крошка за крошкой и набирается. Удивительно только, почему он такой тощий — ничего впрок не идет; видно, из породы ненасытных, сколько ни ест, а все голодный.

За два месяца работы председателем волостного исполкома Закису пришлось многому научиться. Земельная реформа, хлебопоставки, осенний сев, лесоразработки — на каждом шагу политика. А какой он политик — только чутьем и брал, всегда и везде думал только об интересах трудящихся. С улыбкой уселся в кресло бывшего волостного старшины, подшучивая сам над собой, а серьезным был, только когда сердился. Многие думали, что он одними шуточками и обойдется, пока не почувствовали твердую руку. Вся волость дивилась, когда по его же предложению в Лиепниеках организовали коннопрокатный пункт; думали, наверно, что он сам засядет в этой усадьбе, тем более что Лиепниеки уехали, а хибарку Закиса сожгли при отступлении — немцы. Никак не могли понять, как это он с легким сердцем упускает из рук такое хозяйство. Удивлялись и тому, что он отказался от мебели Лиепниеков и разные там трюмо и пианино, опять-таки по его предложению, отвезли в Народный дом. После этого богачи задумались и стали его бояться, а беднота — уважать еще больше, и теперь никого уже не вводили в заблуждение шутки и прибаутки председателя при разборе серьезных вопросов.

Он стал подлинным хозяином волости. И оказалось, что у него крепкая хватка. Ласковыми словами, лестью и притворными слезами у него ничего нельзя было добиться. Он насквозь видел, что у кого на уме, и откровенно резал правду в глаза, так что дело сразу становилось ясным. Когда кулаки попробовали сорвать хлебопоставки, ссылаясь кто на дождливое лето, кто на недостаток молотилок, кто на последствия войны, — Закис созвал их всех в волостной исполком и сказал. — Как бы вам не просчитаться, любезные соседи. Лучше не старайтесь обмануть советскую власть. Советская власть очень терпеливая и самая мудрая власть: она не требует, чтобы все люди в один день освободились от старых предрассудков, потому что на это нужно время. От запущенной чесотки в один день не вылечишься. Советская власть — самая справедливая власть в мире, она требует от каждого человека по его силам, по возможностям. При ней каждый человек может жить хорошо, если он честно выполняет свои обязанности по отношению ко всему народу, к государству. Но советская власть строга и, когда нужно, сурова с теми, кто пытается ее провести, совать ей палки в колеса. Думается мне, что вы про это забыли. Долготерпение советской власти вы принимаете за слабость. Напрасно. Если вы в трехдневный срок не выполните своих обязательств, не рассчитаетесь полностью с государством, советская власть поступит с вами по всей строгости. А теперь поезжайте домой и делайте то, что вам давно пора бы сделать. Через три дня я лично проверю. Только тогда, чур, не

пенять, если я буду разговаривать не так, как сейчас. Одним словом, все будет зависеть от вас самих.

Через три дня он действительно проверил. И оказалось, что большинство хозяев полностью рассчиталось с государством, а остальные спешили с молотью и везли на заготовительный пункт то, что полагалось.

Весь день проработал Закис в исполкоме. Он принял человек тридцать и с каждым поговорил отдельно. Безземельные расспрашивали о земле, о пособиях на стройку, о приобретении инвентаря. Крупные хозяева плакались, что нормы лесозаготовок велики, и всячески отлынивали от исполнения возложенных на них обязательств: у одного разломило поясницу, у другого кобыла жеребая, третьему назначили дальний участок леса. А один пожаловался, что вот он переругался с обоими сыновьями, разделил свою большую усадьбу на три части — по пятнадцать гектаров в каждой; теперь их трое новоселов, а агент по заготовкам не желает признавать раздел и обложил всех по самой высокой норме.

Слушая его, Закис не мог удержаться от смеха: слишком ясен был смысл этой махинации.

— Ругайтесь и деритесь, как хотите, дело ваше, но обязательства выполнять все равно придется. А перегородки, что вы поставили за вчерашний день в своем доме, никого не обманут. Хозяйство хозяйством и осталось.

Лишь поздно вечером возвратился он в усадьбу Лиепниеки, где временно жил со всей семьей. Но и там ему не дали покоя: старый Лиепинь, карауливший его чуть не с обеда, явился с жалобами. Вот беда, — две коровы у него остались яловыми, и нет никакой возможности справиться с поставкой молока. Нельзя ли сделать так, чтобы с этих двух коров ничего не сдавать? Опять назначили ему отремонтировать участок дороги — ну и участочек: самый что ни есть изъезженный во всей волости. Ему ли, старику, справиться с такой работой? По соседству мог бы и уважить председатель... К слову, если ему до весны не хватит кормов для коровы и лошаденки, Лиепинь всегда готов помочь.

Нелегко было в то время управлять волостью.

Главное, что помогало Закису разбираться в обстановке, это мысль о том, что он должен соблюдать интересы всего народа. Возможно, что именно за это кое-кто его ненавидел, но больше было таких, которые уважали его за неподкупность, за справедливость. Только жена дома ворчала: как взялся за волостные дела, так совсем забросил свое хозяйство. Это вот была суцая правда, но тут Закис пока ничем не мог помочь.

В частом ельнике, близ большака, на стволе срубленного дерева сидели Зиемель и Макс Лиепник. Отсюда они могли видеть дорогу метров на триста в ту и другую сторону. Зиемель был одет, как лесник, только вместо двустволки у него был автомат немецкого образца, спрятанный под зеленым суконным полушубком. Макс Лиепник — в стоптанных сапогах, серых, домотканного сукна брюках и теплом пиджаке, в заношенной ушанке — походил на обыкновенного лесоруба. Но что-то дикое, не то волчье, не то кабанье, было в их лицах, обросших щетиной.

— Еще одна машина, — угрюмо сказал Зиемель, глядя на грузовик, который приближался по дороге. За рулем сидел сержант, рядом с ним спокойно покуривал папироску молодой лейтенант.

— Проклятые, — прошипел Лиепник. — Только двое. Можно прикончить без риска...

— Ах, как умно! Это все равно, что пальцем показать чекистам, где наша база. Завтра же нас облежат со всех четырех сторон и ликвидируют за полчаса. По такому снегу далеко не убежишь.

— Да нельзя же все смотреть да смотреть, — раздраженно перебил его Макс. — Мы сюда для чего пришли — воевать или регистрировать? Красные офицеры ездят взад и вперед мимо нашего носа, а мы укрылись в лесу и боимся поднять шум.

— И шуметь надо с расчетом, Максик, не всякая заваруха окупается. Сам должен видеть, чересчур много войск собралось. Когда станет потише...

— Тогда не в кого будет стрелять, — снова перебил его Макс.

— Для армии мы все равно не в счет. Ты что, хочешь у Шернера хлеб отнимать? А относительно того, в кого стрелять, не беспокойся — на наш век хватит. Только в нашей волости с сотню наберется, если считать всех активистов.

— А кто засел в наших родовых усадьбах, тех ты не считаешь? На твоей земле сейчас хозяйничают трое новоселов. В моей усадьбе — коннопрокатный пункт. Есть чему радоваться! Сам председатель волости со своей семьей изволил поселиться в моем доме. Все заразил своим пролетарским духом. Сколько времени мы еще будем это терпеть?

— Да что ты горячишься? Отлично сам знаешь, что не было приказа.

— А если я без приказа пущу в ход винтовку, что мне будет? Командир дивизии расстреляет?

— Расстрелять не расстреляет, а от командования батальоном, наверное, отстранит. Не понимаю — чего ты дергаешься? Через несколько месяцев, как только стает снег, мы перейдем к активным выступлениям. До тех пор надо все разведать... составить списки.

— И спокойненько наблюдать, как они хозяйничают в моем родном доме! Толстошкурый ты, Зиемель. Очень жаль, что именно у меня такой командир полка.

Зиемелю надоели истерические сетования Макса.

— Ты что думаешь, мне не хотелось бы сегодня нагряться в усадьбу Зиемели и свернуть шеи этим новоселам? Придет время, я первый это сделаю. А теперь попрошу тебя не бередить душу своим бесконечным нытьем. Надоело мне тебя слушать, командир батальона Лиепниек.

— Слушаюсь, господин командир полка, — иронически ответил Макс. — Каковы будут ваши приказания?

— На базу пора — вечер уже.

Они встали и скрылись в лесу. Километрах в двух от большака в чаще были устроены три землянки, так искусно замаскированные, что незнающий человек мог несколько раз пройти над ними и ничего не заметить.

В «батальоне» Макса Лиепниека было сорок шесть человек — бывшие айзсарги, шуцманы, несколько крупных землевладельцев с сыновьями и один-два дезертира, испугавшихся призыва в Красную Армию. Большинство из них работали в оккупационных учреждениях, предавали советских активистов, участвовали в карательных экспедициях и массовых убийствах. Не удивительно, что теперь они боялись показаться дома и прятались в лесу. За них и Зиемель и Макс были спокойны — эти не уйдут, если даже их гнать. Зато их весьма тревожили дезертиры. Поскольку война близилась к концу, они становились все беспокойнее и задумчивее, и, чтобы удержать их в банде, оставалось одно средство — как можно скорее скомпрометировать их. Тому, кто запачкал руки в крови, нельзя больше убежать из банды.

Вернувшись на базу, Макс Лиепниек свернул к большой землянке, во вторую «роту». Это был настоящий подземный лабиринт с несколькими запасными выходами. Постели были устроены на двухъярусных нарах. Посредине стояли стол и несколько скамеек вокруг него. В позеленевшем медном шандале горела свеча. На Макса из всех углов глядело с ожиданием и любопытством множество глаз. Только один, совсем молодой паренек, продолжал, не оглядываясь, подметать пол. Это был Адольф Чакстынь, живший раньше в батраках у Лиепниек, которого Макс удалось в 1944

году запугать рассказами о «большевистских ужасах»; сам не понимая, чего боится, Чакстынь убежал за хозяином в лес и вступил в банду. Здесь на него ввалили самую грязную и тяжелую работу, и он безропотно исполнял все, что ему приказывали остальные бандиты. Чтобы поддерживать в нем дух покорности на должном уровне, время от времени Макс или «командир роты» пугали Чакстыня новыми страшными сказками: объявляли, например, что в волости повешены все молодые мужчины, а тому, кто укажет, где находится Чакстынь, обещано вознаграждение, потому что чекисты усиленно разыскивают именно его.

Макс и на этот раз не обошелся без запугиванья.

— Счастливый ты, Чакстынь, — начал он, садясь за стол. — Твоих родителей вчера сослали в Сибирь, а ты у нас как сыр в масле катаешься.

— Неужто сослали? — изменившись в лице, прошептал парень и выронил веник.

— Сослали. Да ты не очень-то горюй. Это ненадолго.

Потом Макс обернулся к остальным и сказал торжественным тоном:

— Не долго теперь осталось сидеть в лесу. Прошлой ночью была радиопередача из Лондона. К весне события развернутся. Англичане скажут свое слово в Курземе. В Швеции уже укомплектовано несколько английских дивизий.

— Так, так, — бандиты переглянулись и многозначительно кивнули друг другу. — Понятно. Не хотят пустить большевиков в Курземе. Ведь англичане очень заинтересованы в Балтийском море.

— И даже весьма заинтересованы! — подтвердил Макс. — Если красные начнут напирать и немецкая армия отступит, английский экспедиционный корпус тотчас высадит десант на курземском побережье и двинется на Ригу. Мы должны будем поддержать эту операцию с тыла.

— Хоть бы скорее, — вздохнул какой-то кулак. — Не такое уж удовольствие жить в лесу. Опротивели эти землянки. Ни жены у тебя, ни поесть по-людски... Попариться и то негде.

— Теперь долго ждать не придется, — сказал Макс. — Еще немного терпения, и мы с вами выплывем...

Он было начал распространяться на эту волнующую тему, но вошел дежурный по базе и сказал, что в штабной землянке его ждет связной.

— Командир полка просит вас явиться.

Макс направился в штабную землянку. Там сидела молодая крупная девушка в синих спортивных брюках и таком же свитере, сильно обтягивающем грудь. Темные вьющиеся волосы, карие глаза, румяное от холода круглое лицо и очень красные чувственные губы...

При входе Макса она быстро встала, внимательно, даже восторженно глядя ему в глаза.

— Добрый вечер...

— А, добрый вечер, Зайга. — Макс снисходительно улыбнулся и пожал девушке руку, окинув ее фигуру быстрым жадным взглядом. Но присутствие Зиемеля, видимо, стесняло его. Сделав равнодушное лицо, Макс повернулся к девушке спиной и громко обратился к нему:

— Ну, что там нового?

Зиемель молча протянул листок папиросной бумаги, на котором мелким четким почерком было написано: «Командирам полка и батальона 5 февраля явиться на инструктивное совещание в „зеленую гостиницу“. Командир дивизии». В конце стояло несколько букв — шифр бандитской организации.

— Очень и очень приятно, — сказал Макс и снова незаметно взглянул на девушку. — Теперь ты увидишь, что я прав. Получим работу.

— Не знаю, может быть, — сказал Зиемель. — Я работы никогда не боялся.

— Мне никаких поручений не будет? — спросила девушка.

— Скажите, что мы оба будем вовремя, — не оборачиваясь, ответил Зиемель.

— Да, будем оба, — добавил Макс.

— Значит, мне можно уйти? — снова спросила девушка, медленно натягивая варежки.

— Да, можете идти, — сказал Зиемель. — Спасибо за услугу.

Девушка подала руку ему, потом протянула Максу, но тот, не беря ее, сказал вполголоса:

— Я вас провожу с базы.

— Да? Проводите? — Она сверкнула глазами и вслед за ним вышла из землянки.

Зайга Мисынь во время оккупации кончила среднюю школу и уже второй год жила у отца, помогая слегка по хозяйству — к тяжелой и грязной работе мать ее не подпускала. С Максом Лиепниеком ее познакомил прошлой осенью старший брат Висмант. Сам он был убит в декабре во время какой-то неудачной «операции», а Зайга продолжала служить бандитам связной и раз в неделю, а если было чрезвычайное задание — и чаще, приходила на базу «батальона», доставляя новые известия и вводя в соблазн Макса.

Он давно уже бросал на нее жадные взгляды, но каждый раз, когда Зайга появлялась на базе, чье-нибудь присутствие мешало ему поговорить с

нею как следует.

Не пришлось поговорить и теперь — неудобно было перед Зиемелем отлучаться больше чем на пять минут. Проводив Зайгу до просеки, где начиналась дорога, Макс остановился и сказал:

— Яункундзе Мисынь, у меня к вам серьезный разговор. Вы видали по дороге на лесные покосы старый сенной сарай?

— Видала...

— Через неделю в восемь часов вечера я буду ждать вас у этого сарая... Приходите обязательно, очень важное задание. Если по каким-нибудь причинам я не приду, приходите на следующий день в тот же час.

— Приду, — коротко ответила Зайга.

Они простились.

— Что за девушка, что за девушка... — возбужденно шептал Макс, возвращаясь на базу. — Через неделю...

В землянке Зиемель встретил его насмешками.

— Весна, весна действует, Максик? Трудновато, конечно, без женщины, но положение наше не позволяет и думать о таких удобствах. Это в древности, когда мужья шли на войну вместе с женами...

— Что ты болтаешь?! — пожав плечами, отшучивался Макс. — Вежливое обращение с дамами не отменяется в лесу.

Совещание бандитов состоялось в большой землянке, выстроенной по заказу Никура. Летом 1944 года в «зеленой гостинице» произвели капитальный ремонт: настелили новые полы, старые двери заменили новыми, обитыми листовым десятимиллиметровым железом, под холмом прорыли запасный потайной выход в пятьдесят метров длиной, а на некотором расстоянии от главной землянки разместили три хорошо укрытых пулеметных гнезда. Таким образом, «зеленая гостиница» превратилась в маленький, но мощный форт посреди болота.

Лесник Миксит все так же стоял на страже, пока совещались главные господа-бандиты. С ведома Радзиня ему была доверена охрана внутренней двери — снаружи стояли еще двое часовых, они наблюдали за болотом.

«Опять не доверяют... опять стой за дверью», — думал лесник, топчась в темном коридоре. Конечно, это все-таки было лучше, чем мерзнуть на ветру и морозе, но Микситу казалось, что он заслуживал большего. Разные молокососы, сопляки сидят в комнате наравне с главными, а сами, может, не сделали и десятой доли того, что сделал он, Миксит. А ему приходится стоять за дверью и охранять господ. Вот вам и благодарность за исправную пятилетнюю службу. Что он видел за все свое усердие? Только риск, страх, бесконечные обещания... и высокомерие

важных господ. Будто он и не человек вовсе, а безответная скотина. Миксит, сделай то-то... Миксит, отнеси туда-то... да не рассуждай: твое дело исполнять, что прикажет начальство.

Ох, и надоела эта собачья жизнь. Нет, одними обещаниями сыт не будешь. Уйти бы хоть куда-нибудь. А куда уйдешь, если связался с ними на жизнь и на смерть?.. Вон один было попробовал — и вскоре его нашли на дороге с проломленной головой. Эх, сидеть бы сейчас дома, с чистой совестью караулить свой участок и жить бы, как все добрые люди... Важным господам, может, и есть расчет воевать с советской властью, они свои богатства потеряли, нет им того раздолья, что раньше. А он, маленький человек, чего ради увязался за ними?

Так думал Миксит, стоя в темном коридоре. Думал он и о том, что плохо, когда человек берется за ум с таким запозданием. Цепной пес у господских ворот — вот он кто. Разница только та, что пес не может понять, о чем говорят его хозяева, а он может. Если прижать ухо к замочной скважине, все будет слышно. Миксит так и сделал.

— Пришло время действовать агрессивнее... — говорил кто-то. — Террористическими актами против работников советских учреждений и деревенских активистов мы вызовем всеобщее чувство тревоги, неуверенности. Уничтожая самых активных коммунистов и советских работников, мы нагоним страх на остальных, и они не осмелятся последовательно проводить политику советской власти. Мы их парализуем. А для того чтобы население саботировало все начинания большевиков, надо еще энергичнее изо дня в день распространять слухи о близкой войне между Англией и Советским Союзом, об американцах и шведах, об ожидаемых в скором времени переменах. Это нам настоятельно рекомендуют наши заморские друзья — недавно мы получили новые инструкции. Надо всячески подрывать авторитет Красной Армии; все преступления, о каких только услышите, сваливайте на солдат и офицеров. Если у крестьянина очистят картофельную яму или уведут лошадь — говорите, что это сделали красноармейцы. Если рецидивист совершил убийство — приписывайте это убийство советскому офицеру. Пока разыщут настоящего виновника, слухи сделают свое дело. Само собой разумеется, что надо всеми способами мешать хлебопоставкам, то же самое и с лесозаготовками и прочим. Компрометируйте советских работников, как только можно: спаивайте, сбивайте с пути. Если мы так будем действовать, то результаты скоро скажутся. Для пользы дела допустимы любые средства, даже такие, которые обычно считаются преступными.

И так далее.

Миксит слушал и не верил своим ушам. «Что они говорят, что затевают, чего они добьются этим обманом! Ох, попаду я с ними в беду, да еще в какую беду!»

Совещание кончилось поздно ночью. Главари разошлись. Радзиль вызвал Миксита и сказал:

— Тебе опять нашлось дело. Утром сходи в волость и сообщи...

Он говорил, как повелитель, настойчиво и требовательно, и Миксит сжегился, стал смиренным, покорным.

— Да, господин главный лесничий... слушаюсь. Понимаю... будет сделано...

Через два дня Макс Лиепниек вернулся на базу один, потому что Зиемель на полдорогѣ вздумал навестить второй «батальон». На совещании в «зеленой гостинице» Макс убедился, что тактика, которую он последнее время так безуспешно предлагал Зиемелю, не раз применялась в других бандах: там долго не раздумывали, а при каждом удобном случае пускали в ход оружие. Теперь он чувствовал себя победителем и на обратном пути все время поддразнивал Зиемеля:

— Вот видишь, господин командир полка, — в других местах давно стреляют. А мы лежали на боку и ждали приказа. Теперь придется наверстывать, догонять остальных.

Может быть, именно из-за этих досадных замечаний Зиемель и решил вдруг направиться во второй «батальон». Макс радовался: хорошо бы подольше там задержался... пока не состоится разговор с Зайгой Мисынь. Если они столкнутся, Зайга будет через день приходить попозднее на базу. Надо приказать, чтобы ребята убрали штабную землянку...

В условленный день Макс с наступлением сумерек ушел с базы и задолго до восьми был у сенного сарая. Падал снежок. В ближнем ельнике, не переставая, тоскливо скрипело надломленное дерево. Макс этот скрип действовал на нервы, и он выругался несколько раз. Из кустов выскочил заяц и неторопливо запетлял в сторону сарая. Заметив человека, долгоухий понесся со всех ног к лесу, но на опушке его опять что-то испугало, и он вихнул вбок.

Макс проверил, не заперты ли ворота сарая, потом устроился с подветренной стороны и стал ждать Зайгу.

Она явилась ровно в восемь в том же лыжном костюме, немного запыхавшаяся от быстрой ходьбы.

— Как вы вовремя, — похвалил ее Макс.

— Разве приказ начальства можно выполнять с опозданием? — без улыбки ответила Зайга. — Мы ведь на войне.

— Да, да, великая и трудная война... Мы, как дикие звери, вынуждены скрываться в чаще, в подземных норах, но это не убьет в нас геройского духа. Когда-нибудь опять взойдет наше солнце.

— Да, взойдет... — шептала девушка и странным восторженным взглядом посмотрела на Макса. — Знайте, что я ваша душой и телом. Сделаю все, что мне прикажут свыше... Только почему мне не дают какое-нибудь опасное задание? Непременно опасное. Вы думаете, я не выполню? Мне хочется совершить что-нибудь такое, что осталось бы в памяти людей, передавалось из поколения в поколение. Меня никакие опасности не пугают.

Она говорила правду: ее не пугали опасности. Но не голос подлинной отваги говорил в ней, а воспитанный семьей и затем закрепленный школой слепой фанатизм.

Отец Зайги Мисынь много лет состоял в «Крестьянском союзе» и был хорошо знаком со многими деятелями кулацкой партии. В одну из своих агитационных поездок сам Ульманис завернул в усадьбу Мисыня и удостоил преданного слугу получасовой беседой; после этого во всех газетах появился «исторический» снимок: президент стоит во ржи рядом со «славным землевладельцем» Яном Мисынем. Эту фотографию Мисынь увеличил, вставил в дорогую рамку и повесил в гостиной. В 1940 году фамильная драгоценность была упрятана в сундук, но через год опять увидела свет и украшала дом кулака до осени 1944 года. Теперь она вместе со своим хозяином дожидалась «лучших времен», когда «славному землевладельцу» не придется довольствоваться тридцатью гектарами земли и самому ходить за плугом, когда он сможет снова покрикивать на батраков и батрачек и не надо будет всячески жульничать, чтобы не быть причисленным к эксплуататорам. Да, он ждал и надеялся, ждали и надеялись его дети. Сын Висмант пять лет носил форму айзсарга, а Зайга, сидя за партой, прилежно слушала рассуждения учителя истории о великом прошлом латышского народа, когда у него были свои короли и аристократия, для возрождения которой столько потрудился сам «вождь», в ком «истинные» латыши видели потомка самого Намея. Сначала Зайга воспринимала эту фальсификацию истории как занимательную сказку, которая пленяла фантазию подростка идиллическими картинками спокойной, дружной и полной патриархального согласия жизни; постепенно эти вымышленные картины приобретали политический смысл, стали соблазнительным образцом, который стоило воспроизвести в двадцатом столетии. Ах, если бы вернуть это прошлое, ее отец стал бы одним из аристократов, а сама она — кем-то вроде боярышни, в чьих жилах

течет благородная кровь и которая не имеет ничего общего с плебейскими существами, рожденными для того, чтобы работать на Зайгу Мисынь.

Такая возможность, по мнению Зайги и ее учителя, была вполне осуществимой, если бы Латвию не впутывали в большие исторические события, если бы не мешали нескольким энергичным латышам, призванным, как они думали, свыше, устроить жизнь народа по своему вкусу. Пусть где-то разражаются ураганы, пусть большие народы борются между собой, пусть весь мир походит на бушующий океан — Латвия, как маленький забытый остров, будет жить своей тихой, изолированной жизнью у берегов Янтарного моря [3]. Не беда, что так убого это уготованное латышскому народу «счастье». Благополучие рода Мисыня и ему подобных было бы обеспечено: отец как полноправный хозяин стоял бы на своей земле, его слово было бы законом для подвластных.

Но все произошло иначе. История не стояла на месте. Народ — миллионы людей, которых Зайга с детства научилась презирать и считать низшими существами, — захотел строить свою жизнь по своему вкусу и не разрешил горстке «избранных» распоряжаться, как им вздумается. Народный гнев разметал прогнившие устои, и на их развалинах строилась новая жизнь. Боярышня стала обыкновенной смертной, и ей казалось, что наступил конец света.

«Неужели это навсегда? — думала Зайга, наблюдая каждый день все новые изменения, видя, как одна за другой рушатся ее честолюбивые мечты. — Неужели мне всю жизнь придется прожить в этом чужом мире?»

Эта мысль пугала, угнетала, как проклятье, наконец приучила ее к состоянию какого-то судорожного противодействия. «Нет, нет, нет, — внушала она себе, — если мы не захотим и вступим в борьбу — этого не будет. Если мы будем бороться, нам помогут все, для кого это новое означает, как и для нас, конец света. Помогут и непременно помогут, потому что, борясь за свое дело, мы в то же время будем бороться и за них, за все старое».

Одно полено не загорается, но Зайга была уверена, что она не одна. Встретившись с несколькими бывшими одноклассниками, она убедилась, что маленькая группка «избранных» все еще существует и все они горят пламенем, которое когда-то удалось разжечь учителю истории. Тайные сборища, антисоветские воззвания...

Зайга идеализировала всех своих сообщников, смотрела на них как бы сквозь увеличительное стекло. Любой их поступок в ее глазах приобретал особый многозначительный смысл.

При встречах с Максом Лиепниеком ее охватывало чувство

нерассуждающей преданности. Эта болезненная восторженность не позволяла ей догадаться, что беспокойные огоньки, бегающие в глазах Макса, выражали не благородный энтузиазм героя, а весьма низменные вожделения. Каждое слово озверевшего кулацкого сынка звучало для нее торжественно и таинственно, и тому даже не требовалось говорить красиво и умно.

Макс давно понял, с кем имеет дело. С одной стороны, эта восторженность могла осложнить осуществление его намерений, а с другой — если умело повести дело... Черт с ней, раз ей требуется романтика, будет и романтика.

Воспользовавшись настроением девушки, он постарался (правда, времени у него было в обрез) выставить свою личность в самом героическом свете. Намеками, с полуслова он дал понять Зайге, что перед ней один из самых крупных заправил контрреволюционной организации, что ему даны власть и права, что ему принадлежит ведущая роль и сейчас и в будущем.

— Да, да, — шептала она, не спуская расширенных глаз с лица Макса. — Скажите же, в чем состоит задание, о котором вы хотели сообщить мне сегодня?

— Подождите. Первое и главное условие: вы должны исполнять без возражений все, что я вам прикажу.

— К этому я давно готова.

— Идемте в сарай, — сказал Макс. — Сначала я должен многое рассказать вам.

И когда они сели на мягкое сено, он грубо покончил с романтической игрой.

В первое мгновение она была и удивлена и сконфужена, но уверенность Макса убедила ее в том, что он имеет право и на это. Пусть это будет жертва на алтарь грандиозного дела. Макс Лиепниек оказывал ей большую честь, выбрав именно ее. И Зайга Мисынь беспрекословно стала его любовницей.

В начале марта в приемной волостного исполкома, где еще полгода тому назад хозяйничал писарь Каупинь, однажды утром появился незнакомый человек.

Он был среднего роста, лет тридцати пяти, с продолговатым лицом и

светлыми, расчесанными на пробор волосами. На нем была шинель командира Красной Армии, со следами недавно споротых погон, сапоги и фуражка пехотинца. Вместо кисти левой руки — обтянутый кожаной перчаткой протез.

В приемной посетителей еще не было. Секретарь исполкома Ирма Лаздынь — молодая темноволосая и темноглазая девушка — быстро встала из-за стола и подошла к барьеру.

— Что вам угодно?

Она внимательно оглядела лицо и крепко сложенную широкоплечую фигуру посетителя, на несколько секунд взгляд ее остановился на протезе.

— Мне нужно видеть председателя волостного исполкома, — ответил посетитель по-латышски, но с акцентом. Однако у него был такой приятный баритон, что Ирме Лаздынь даже понравилось, как он говорил.

— Председатель сейчас принять не может. Сказал, чтобы с полчаса его не беспокоили. — Потом объяснила: — Только что получили почту из уезда.

— Да, тогда важные дела, — согласился посетитель. — Что, часто вас ругают уездное руководство за плохую работу?

— Ругают, конечно, — откровенно засмеялась Ирма Лаздынь. — Говорят, наша волость в отношении порядка и выполнения плана стоит чуть ли не на последнем месте по всему уезду.

— И вы спокойно миритесь с этим?

— Неприятно, конечно, но мы ничего поделать не можем, не получается. Наверно, не умеем работать. Все работники новые.

— Придется прийти вам на помощь, — улыбнулся посетитель. — Мое имя Владимир Емельянович Гаршин — бывший гвардии капитан и командир роты латышской дивизии, а теперь инвалид Отечественной войны и новый директор вашей машинно-тракторной станции. Будем знакомы.

Ирма Лаздынь назвала свое имя и должность.

— Садитесь, пожалуйста, гос... товарищ Гаршин. — Она покраснела с досады на себя — за почти допущенную ошибку.

— Спасибо, но мне рассиживаться некогда. Товарищ председатель ждет.

— Ах, вы с ним договорились?

— Уговора не было, но если он настоящий председатель, то должен с нетерпением ждать меня. Это его кабинет?

— Да, только позвольте уж предупредить его.

— Зачем? Разве он боится посетителей?

— Боится или не боится — этого я не могу знать, но у нас такое правило. Вы понимаете...

— Беру всю ответственность на себя, товарищ Лаздынь.

Ободряюще подмигнув секретарю, Гаршин подошел к двери, постучал и, не дожидаясь приглашения, вошел в кабинет.

В старом кресле за таким же старым, забрызганным чернилами письменным столом дремал толстый мужчина и время от времени сладко всхрапывал. Шаги Гаршина его не разбудили.

— Не спи, старина, обокрадут! — крикнул Гаршин.

Председатель вздрогнул, поднял голову и испуганно заморгал.

— Кто там? — пискнул он жалобным тенорком, ничуть не соответствовавшим его комплекции. — Вам чего? Как вы сюда попали?

— Вошел в дверь, как же иначе, — смеясь, ответил Гаршин.

Окончательно очнувшийся от сна председатель вышел на середину комнаты и стал сердито рассматривать Гаршина.

— Вы кто такой?

— Гаршин, новый директор МТС. Здравствуйте.

— А, директор? Здравствуйте! Это хорошо. Нам МТС очень нужна. Все, кто землю получили, ждут не дождутся. А много у вас будет тракторов?

— Сколько вы дадите, столько и будет. Потом что-нибудь получим и в другом месте. Сейчас времени осталось очень мало, так что выкладывайте на стол свои богатства. Прежде всего — много ли в волости тракторов и другого инвентаря МТС? Где все это находится? — переходя на русский язык, спросил Гаршин.

— Где находится... Мил человек, откуда мне знать, где находится?

— Кому же и знать, как не вам, хозяину волости? Наверно, давно уж зарегистрировали растасканное во время оккупации имущество МТС. А сельскохозяйственные машины убежавших кулаков тоже взяли на учет? Вот с вашей помощью сегодня же и начнем все перевозить в МТС.

Председатель, покачивая головой, смотрел на пол.

— Есть мне когда думать о таких вещах! Эти самые кампании — с заготовкой хлеба и леса. Не знаю даже, найдется ли здесь что-нибудь для вас.

— Опись инвентаря-то у вас есть?

— И не знаю, товарищ Гаршин. Спросите секретаря, может быть у нее найдется.

— А в каком состоянии строения станции? Можно обойтись без капитального ремонта?

— Кто же его знает, что там внутри. Снаружи как будто в приличном состоянии.

— Вот так так, вы даже не удосужились побывать там? — удивлялся Гаршин. — А всего-навсего полтора километра от исполкома...

— Заместитель, кажись, был раз. Я ведь с этими кампаниями... света белого не вижу — одна кончается, другая начинается.

— Дела у вас неважно идут, — сказал Гаршин. — Ну, что ж, попробуем спасти, что еще можно, товарищ...

— Биезайс, — подсказал председатель.

— Товарищ Биезайс, — задумчиво повторил Гаршин. — Вам не очень приятно, наверно, что волость числится на последнем месте по уезду!

— Радости мало, — согласился Биезайс. — А как выкарабкаться, сам не знаю. Работаешь, сколько можешь, ночами не спишь, бегаешь по волости, с народом ругаешься, а дело не двигается. Очень трудная волость...

«Председатель очень трудный», — подумал Гаршин.

— Посоветуемся и подумаем, с чего начать, — сказал он.

За неделю Гаршин отыскал большую часть инвентаря МТС, который в оккупацию был растаскан по кулацким хозяйствам. Пришлось все делать самому, потому что Биезайс ссылался на свои «кампании», и никакими силами нельзя было вытащить его из исполкома. Гаршин еле уговорил его созвать собрание крестьян, получивших землю. На повестке был только один вопрос — о возобновлении работы машинно-тракторной станции.

Гаршин сообщил, что правительство решило срочно восстановить МТС, чтобы уже во время весенних работ можно было оказать помощь крестьянам, получившим землю, семьям военнослужащих и безлошадным хозяйствам.

— Машинно-тракторная, станция за годы гитлеровской оккупации была разграблена и уничтожена. Война еще не кончена, и нам пока не удастся получить новые машины и тракторы в достаточном количестве. Но ведь помощь МТС вам всем нужна. Вот и помогите мне, как директору, найти раскраденный инвентарь и дайте совет, как нам побыстрее собрать его.

В течение часа он узнал все, что ему было нужно. Оставалось только приготовить транспорт и объехать по порядку некоторые дворы, где были спрятаны тракторы, сеялки, жнейки и прицепной инвентарь. Большую часть всего этого Гаршин нашел в брошенных кулацких усадьбах, но некоторые машины были увезены в лес и так ловко запрятаны, что приходилось звать на помощь волостных активистов и говорить с

укрывателями в присутствии свидетелей.

— У меня эмтээсовская молотилка? — удивлялся потревоженный кулак. — И придет же людям в голову! Ищите где-нибудь в другом месте, может и найдется.

— Не обманывай, сосед, — говорил вчерашний батрак. — Лучше расскажи, где зарыл ее. Ведь еще в августе хлеб молотил.

— Немцы привезли, немцы и увезли. У них и спрашивайте.

— На твоих лошадях везли, сам же ты и правил.

Когда таким порядком удавалось припереть к стене прожженного плута, молотилка обнаруживалась в самой чаще леса, но обычно без приводных ремней или у нее не хватало какой-нибудь другой части. Опять дипломатические переговоры, опять помощь свидетелей, и недостающую часть находили, наконец, то в картофельной яме, то под хворостом или в подполе.

Вскоре на машинно-тракторной станции появились печники и плотники. Ремонтировали строения, на месте сгоревшего построили новый сарай для машин и склад для горючего. Постепенно заполнялись штаты станции — появились механики, трактористы и счетовод. Начали ремонтировать инвентарь, заключали договоры с крестьянами, устраивали коннопрокатные пункты. Гаршин уже организовал бригады и выработал маршрут для каждого трактора.

Однажды к нему явился маленький обтрепанный мужичок. Пришел пешком, потому что жалко было гонять лошадь за четыре километра по грязи.

— По имени я буду Бумбиер, господин директор, — начал он, теребя в руках облезлую заячью ушанку. — Новый трудовой крестьянин с хутора Вилдес. Может, слышали? всю жизнь батраком промаялся, а на старости такое счастье привалило: сам себе хозяин, имею свою землю! Большое спасибо советской власти...

— Сколько земли вы получили? — спросил Гаршин.

— Полную норму — пятнадцать гектаров. Одна беда: как нам со старухой эту землю обработать? Лошаденка, правда, есть, да совсем швах. Люди говорят, будто с такими, как я, МТС не заключает договоров. Правда, что ли, господин директор?

— Во-первых, бросьте вы этого «господина», — сказал Гаршин. — Пора бы отвыкнуть. Во-вторых, ваша лошаденка не так уж плоха, позавчера видел у исполкома. И, в-третьих, в усадьбе Вилдес больше сельскохозяйственного инвентаря, чем надобно для одного хозяйства. Непонятно только, каким путем все это попало в ваши руки. Передайте

инвентарь станции, тогда я заключу с вами договор. Если нет — обходитесь своими силами.

— Как это отдать? — удивился Бумбиер. — Не задаром досталось, своим горбом нажито: хозяин в зачет платы оставил, когда уезжал. В зачет платы, значит.

— Тогда чего же нам попусту разговаривать! — ответил Гаршин. Ему уже тошно стало от заискивающих взглядов старика.

— Стало быть, не станете заключать. — Бумбиер несколько раз шумно вздохнул, и вдруг в руках у него, откуда ни возьмись, появилась бутылка. — А я было собрался распить магарыч. Если не обижаетесь, можно отведать, товарищ директор... Рюмочки у вас найдутся?

— Обойдемся без рюмочек.

— Иль прямо из бутылки? — обрадовался Бумбиер. — Я тоже считаю, из горлышка способнее. Совсем другой вкус.

— Обойдемся и без рюмочек и без бутылки. — Голос Гаршина зазвучал резко.

— Один-то глоточек можно, — не успокаивался Бумбиер. — Не развалитесь ведь.

— Уйдите-ка вы лучше отсюда подобру-поздорову.

— Не знал я, что вы из баптистов будете, — бубнил старик, стоя уже у двери. — Люди говорили — простой такой, как все... Откуда же мне знать... Биезайс — тот, обратно, обижается, если ему не дадут промочить горло. Милиционер тоже не хаёт, если случай подходящий. И что это вы так?

Результатом этого разговора было то, что по инициативе Гаршина уездный исполком предложил передать часть брошенного Вилде инвентаря в распоряжение МТС. Даже после этого у Бумбиера осталось более чем достаточно, но он горевал и плакался на всю волость, что Гаршин сущий живодер: отнял у бедного батрака все заработанное.

Однажды в субботу вечером к Гаршину пришел сын хозяина соседнего хутора и торжественно пригласил его на именины отца.

— Мы как-никак соседи, а соседи должны жить в дружбе и согласии. Приходите, отец будет очень рад.

— Спасибо, но завтра я должен быть на совещании в уездном исполкоме, — ответил Гаршин.

В понедельник вечером пришел обиженный именинник и опять стал звать Гаршина.

— Удостойте своим присутствием, хоть на проводы придите. Все мы люди простые, как говорится, от одного корня. К нам можно.

Но Гаршин знал, что у этого «простого» человека при немцах работали трое военнопленных и держал он их впроголодь, никаких поблажек не давал. Гаршин сослался на дела и не пошел. После этого еще кое-кто из кулаков пытался позвать его в свою компанию.

Убедившись, что здесь ничего не добьешься, они перестали к нему обращаться и со зла прозвали одноруким. А Гаршин понял, как сложна будет работа в волости.

4

Однажды к Капейке прямо в гараж явился гость. В первую минуту Капейка с недоумением уставился на крупного, громоздкого человека, который занял почти все крохотное помещение конторы, а тот только широко улыбался, словно старинный друг-приятель.

— Не узнаете, не узнаете? Ай-ай-ай! И всегда оно так получается: стоит человеку выкарабкаться из беды, он тут же тебе забудет, кто ему помог в черный день. Какой интерес вспоминать картофельную яму...

— Ерум? — радостно закричал Капейка, бросаясь к гостю. — Вот это славно. Я ведь и сам собирался ближе к весне съездить к вам... Рассказывайте, как живется? Доктор Руса как? Передайте ему от меня самый сердечный привет. Видите, вот я опять на ногах и, как говорится, шагаю по запутанным дорожкам жизни.

Симан Ерум, растроганно улыбаясь, сел на стул, который затрещал под его тяжестью.

— Живем помаленьку, товарищ Капейка. Не знаете, что ли, какая у крестьянина жизнь. Круглый год работа и забота. Если бы в волости были стоящие люди, жить бы еще можно было, да только кто же у меня спрашивал совета? Приехал из Риги какой-то чиновник, созвал собрание, и выбрали власть. Посудите сами, что это за председатель, если он никогда не обрабатывал землю и не знает толком, прости господи, каким концом лошадь ставить в оглобли? Любой его обманет, а когда хороший человек хочет его вразумить, он, видишь ли, еще сомневается, он не верит. Вот такие-то у нас дела.

— Почему же вы не обратитесь в уездный исполком? Если у вас председатель не соответствует назначению, его можно сменить. Дельных людей, что ли, не хватает...

— С тем я и приехал — хочу с вами посоветоваться. На прошлой неделе один шофер ночевал у меня, от него и узнал про вас. Я тут же

решил: надо ехать в Ригу посоветоваться с товарищем Капейкой. В волости с гольтепой с этой не стоит и говорить. Слыхал, кулаком меня называют! Только и глядят, как бы лишнего с меня взять. Сами пальцем не двинули, когда народ страдал, ни партизанам, ни Красной Армии не помогли, а чуть я напомню про свои заслуги — не верят, на смех поднимают. А люди смотрят и издеваются еще! «Вот видишь, Большой Тяутис, прятал ты раненых партизан, жизнью рисковал, а что за это получил? В исполком не выбирают, на совещания не зовут, каждый сопляк может тебя обидеть. Стоило ли рисковать, Большой Тяутис?» Прямо стыд головушке. А вы спрашиваете, как мне живется, товарищ Капейка!

Переведя дух, Симан Ерум продолжал:

— Каждый человек в волости знает, что я в государственной работе кое-что смыслю. Заместителем пробыл не один год. У нас в роду есть видные коммунисты — Жубур, например. А если еще принять в расчет, что я при немцах помогал партизанам, то советская власть могла бы мне довериться. Как вы полагаете, правильно я говорю, товарищ Капейка?

Он покраснел от возбуждения, но маленькие, потонувшие в мясе глаза зорко наблюдали за Капейкой.

— Нехорошо, конечно, что они к вам так относятся, — ответил Капейка. — Я напишу в уездный исполком, попрошу проверить, как у вас в волости работают. Сообщу заодно, что вы с доктором Русой спасли меня от смерти. Такие вещи советская власть не забывает.

— Вот спасибо, вот это будет хорошо, — заткнем всем этим зубоскалам рты. Насчет доктора Русы слышал я, что ему предлагали пойти в уездную больницу директором, да он отказался. Очень, говорит, привык к своему району, не хочет расставаться. Значит, вы думаете, меня могут назначить председателем?

«А у него губа не дура, — подумал Капейка, удивленный таким оборотом беседы. — Ишь, куда метит...»

— Ну, нет, для этого одной моей рекомендации недостаточно, — сказал он засмеявшись. — И потом, у председателя весь день уходит на работу по волости. Думать о своем доме времени не остается, а у вас довольно большое хозяйство.

— Да как же так, у человека заслуги имеются, а ничем за это не отличают.

Видя, что Капейка не выказывает особенного сочувствия, Симан Ерум перешел на другие темы.

— Скажите вы мне, как на самом деле обстоит с этими англичанами и шведами — верно ли, будто они собираются походом на Латвию? Люди

болтают, что к весне начнется новая война. Стоит ли тогда сеять?

— Наплюйте в глаза тому, кто это болтает. И послушайтесь моего совета, я вам как друг говорю: держитесь подальше от таких негодяев, если не хотите, чтобы над вами все смеялись.

— Ага, не придут, значит? — задумчиво протянул Ерум. — Чего только не наговорят. Не знаешь прямо, к чему и готовиться. На прошлой неделе разбросали на дороге листовки. Ужасно ругают советскую власть и грозятся, пишут, чтобы не сдавали ни молока, ни мяса, за все-де придется отвечать перед англичанами. Значит, это одни сплетни.

— Это враги народа стараются.

— Ну да, я и сам так думал. А как там Жубур: женился или все в холостяках ходит?

— Жубур недавно женился.

— Ага, женился! А я, признаться, присмотрел ему невесту — у соседа такая положительная дочка. Хорошей женой будет. У отца приличное хозяйство, семь коров, молотилка. Живи да радуйся — все останется дочери и зятю. Сына нет — был один, поступил в legionеры и пропал. А сами вы как? Жены еще нет? Приезжайте на пасху в гости, посмотрите. Может, подойдет, тогда на Янов день сыграем свадьбу. Девушка достойная.

— Да ведь не пойдет она за инвалида, — шутливо сказал Капейка. — Куда мне с одной ногой в женихи?

— Пойдет, — уверял Ерум. — Она сама не того... не то чтобы с изъянцем, это на чей вкус, а так вроде... косит левым глазом. Иначе давно бы выдали.

Капейка написал в уездный исполком и обещал приехать к Еруму в гости. Только в одном он не мог ему помочь: тот хотел повидать Жубура, а Жубур был на фронте. Вести Ерума к Маре у Капейки не хватило духа — начнет еще рассказывать о бронированной для Жубура невесте, а неизвестно, как на это посмотрит Мара. В конце концов Ерум, довольный, уехал обратно в деревню. В Риге, слава тебе господи, еще не забыли его великих заслуг и не позволят всякой мелюзге насмеяться над почтенным человеком. Он и сам без малого партизан, а тут еще важные родственники и друзья. «Вы ко мне близко подойти побоитесь, батрачню несчастную, — думал он, — я еще, может, буду председателем...»

Крестьянам Упесгальской волости ходить на лесные работы было

недалеко, потому что вдоль всей волости тянулся большой лесной массив. Большинство лесорубов и возчиков возвращались на ночь домой, только кое-кто оставался у лесника или у знакомых. По дороге, ведущей к береговой «площадке» и железнодорожной станции, целый день шли обозы с дровами и строевым лесом. Над старым бором постоянно стлался дым костров, всюду весело пели пилы, стучали топоры, с треском валялись огромные ели и сосны.

Упесгальцы дрались за первое место по уезду. Председатель волостного исполкома Индрик Закис каждые два дня бывал на лесосеках и проверял ход работ. Сам старейший лесоруб, он лучше всех мог оценить успехи и неудачи своих людей, помочь дельным советом и примером. Никогда он не уходил из леса, не свалив и не обработав несколько деревьев. Его заместитель Цимур был командирован в лес до конца кампании.

В середине февраля план рубки был выполнен, и все внимание теперь обратили на вывозку заготовленных лесоматериалов. Многие крестьяне продолжали рубить сверх плана.

Как-то Закис, обходя лесосеку, раздавал рабочим свежие газеты. Он задерживался у каждого костра, рассказывал о положении на фронтах, расспрашивал, как заботится отдел снабжения о продовольствии для рабочих, получают ли возчики вовремя овес для лошадей, и везде говорил примерно следующее:

— Соседняя волость грозитя перегнать нас. План рубки они тоже выполнили, а с вывозкой хотят нас опередить. Как вы смотрите на это, упесгальцы?

Упесгальцы покрывали, старики сосредоточенно крутили усы, молодые покусывали губы. Уступить первое место? За какие это заслуги? Нет, уж пусть они раньше времени не радуются... Дни становятся длиннее, дорога еще держится — почему не делать вместо трех четыре конца? Ничего, если и сумерки захватят. Пускай только Цимур договорится с приемщиками на станции и на береговой «площадке».

Крупные хозяева держались особняком и не говорили ни слова. Закис подходил к каждому и спокойно спрашивал, что сосед думает об этом деле. Одни сопели от злости, другие бормотали что-то невразумительное, но большинство отвечали, что как остальные, так и они. Один середняк, которому удалось первому вывезти всю сезонную норму, отозвал Закиса в сторону и, нахмурившись, попросил, чтобы о нем не писали в газетах.

— Почему? — спросил Закис. — Разве плохо, если тебя похвалят перед всем народом?

— Готов вывезти десять кубометров сверх нормы, только чтобы без

огласки... Эти богатеи уже теперь шипят, что мы готовы лбы расшибить ради советской власти — выслужиться, мол, хотим. А у меня дом на самой опушке... не напали бы ночью бандиты... от них всего можно ждать.

— Или кто-нибудь угрожал тебе?

— Мне пока еще нет, но возле станции вчера были разбросаны листовки. Пишут, что не надо работать — иначе будут считать пособниками большевиков, грозят расправой. Если бы я жил подальше от леса, тогда ничего. Оружия у меня нет.

В Упесгальской волости пока было тихо, но в соседней на прошлой неделе сгорел молочный завод и был убит милиционер со всей семьей.

— Ну, хорошо, не будем печатать, — сказал Закис. — Только, смотри, потом не обижайся, что тебя забыли. А касательно этих бандитов, вспомни хорошую поговорку: у страха глаза велики. Осторожность осторожностью, но бояться тоже надо в меру. Ты думаешь, меня они не пытались запугать? Сколько раз! А видишь, я и живу и работаю. Почему нам бояться этой швали? Только потому, что они нас ненавидят? Всё ведь на нашей стороне — сила, правда и воля народа. Ты сам в толк возьми: если Советский Союз справился с таким матерым врагом, как гитлеровская Германия, то много ли значит для советской власти какая-то кучка вшивых бандитов. Они сами нас боятся!

— Это все так, да только живу я очень близко к лесу, — повторял крестьянин.

Вечером, вернувшись в исполком, Закис нашел на своем столе среди почты очередное анонимное письмо.

«Немедленно бросай работу в волостном исполкоме. Убирайся вон из усадьбы Лиепниека и живи тихо! В последний раз даем тебе трехдневный срок. В противном случае тебя ждет смерть. Это последнее предупреждение — впредь мы будем действовать».

«Посмотрим, кто кого», — подумал Закис.

В волости была организована довольно большая группа истребителей. На всякий случай Закис поговорил с командиром взвода, и они условились усилить охрану исполкома, молочного завода, мельницы и магазина потребкооперации.

На четвертую ночь после того, как Закис получил угрожающее письмо, волостной исполком окружили двадцать вооруженных бандитов. В темноте произошла стычка. Бандиты, вероятно, не рассчитывали на серьезное сопротивление, поэтому после первых автоматных очередей истребителей разбежались. В перестрелке один истребитель был легко ранен, зато одного бандита убили и он остался во дворе исполкома.

Убитого сразу опознали — это был Зиемель.

Спустя два дня на дороге был убит заместитель Закиса Цимур. Началась серьезная, открытая борьба.

— Ну, что же, — сказал Закис, — хотите нас запугать? Не выйдет.

Последняя военная зима была суровой. Жителям Риги пришлось порядочно померзнуть в неотапливаемых домах. Хотя несколько мелких электростанций были пущены, многие квартиры до весны оставались без света, потому что ток был нужен предприятиям, трамваю, школам. Вечерами по темным улицам бродили преступники-рецидивисты, которых оккупационные власти перед уходом выпустили из тюрем. Они нападали на запоздалых прохожих и раздевали их до белья. Они врываются в дома, останавливали на дорогах грузовики и крестьянские подводы. Чтобы замести следы и обмануть жителей, грабители и убийцы часто переодевались в форму солдат Красной Армии — пришлось много поработать, пока их переловили.

Крестьяне работали в лесу, помогали рабочим восстанавливать мосты и железные пути, ремонтировать школы и народные дома, мельницы и молочные заводы. И как ни старались враги советской власти пожарами, слухами и террористическими актами запугивать слабодушных, народ уверенно продолжал делать свое дело.

За зиму все МТС были восстановлены; в городах вновь задымили сотни фабричных труб. И вот настала весна — с апрельским солнцем, теплыми ветрами, с могучими потоками разлива и новыми работами. Люди глубоко вдыхали весенний воздух и, щурясь, смотрели на солнце. Да, весна пришла, наконец.

Когда первый трактор машинно-тракторной станции Гаршина выехал в поле и в тихий утренний час шум работающего мотора донесся до усадьбы Вилдес, Бумбиер так же, как четыре года тому назад, вышел во двор поглядеть на происходящее. Заметив проезжавшую по дороге подводу, он вышел за ворота.

— Слышишь, сосед, как разоряется советский конь!

Проезжий — старохозяин Крекис, которому земельная комиссия оставила только восемь гектаров земли, как активному пособнику оккупантов, — остановил лошадь и, криво улыбаясь, посмотрел через поле на трактор.

— Сколько ни стараются, а все равно получится, как в сорок первом году.

— Нового ничего не слышать? Про этих самых англичан? — Бумбиер подскочил к подводе и, будто опасаясь, что Крекис уедет, не ответив, обеими руками ухватился за вожжи. — Скоро, что ль, начнется?

— До Якова дня все как есть выяснится, — ответил Крекис. — Английские тральщики уже вылавливают мины в Балтийском море. Крейсерам путь расчищают.

— К Янову дню... — Бумбиер глубокомысленно покачал головой. — А говорили, на пасху... Наверно, ждут, когда теплее будет. Англичане ведь не привыкли к нашим холодам.

— На этот раз верное дело.

— Смотри ты, а большевики орудуют так, будто и не собираются уходить. Куда ни глянь, ремонтируют, строят, будто навсегда собираются остаться.

— Поработают, поработают, да и спотыкнутся.

— С понедельника начинают поездом возить молоко в Ригу...

— А вот не надо сдавать молоко, и везти нечего будет — не воду же.

— Как же это не сдашь? А если оштрафуют...

— За каждый литр молока, который сдашь большевикам, потом заставят сдать три литра. Не надо торопиться, Бумбиер...

Крекис уехал. Бумбиер все еще стоял на краю дороги и думал. Три литра за литр... Старый Вилде, Герман... Вернутся, заставят отчитаться в каждом шаге.

— Ох, дела. И почему у меня жизнь такая тяжелая?

Он не знал почему.

Глава третья

1

— Ну что тебе делать в Риге? — уговаривал Криш Акментынь Ояра Сникера. — Воевать начал в Лиепае, кончил тоже здесь. Ясно, что надо остаться у нас. Ведь ты почти что коренной лиепаец.

— Сначала сдам в штаб партизанского движения все дела, — отвечал Ояр. — Потом надо позаботиться о наших партизанах, помочь им устроиться. А относительно дальнейшей работы будет решать

Центральный Комитет. В Лиепаю или в Ригу, в Виляку или в Бауску — куда пошлют, туда и поеду.

— Нет, скажи по чистой совести, где тебе больше всего хочется работать?

Ояр покачал головой.

— Сначала посоветуюсь с Рутой, тогда скажу.

— Что же вы так поздно? — Акментынь засмеялся светлым, добродушным смехом. — Мы с Мариной еще в Тукуме обо всем поговорили.

— Ну, и?..

— Она останется в Лиепае и в дальнейшем примет мою фамилию. Марина Акментынь — звучит довольно красиво. Ну и денек, доложу тебе, выдался для моей старушки! Одна новость за другой. Еще бы! Был у матери такой славный, послушный сынок Криш Акментынь, и прошел слух, что он уже четвертый год лежит в братской могиле на побережье у Шкеды. И вдруг — такое, можно сказать, событие — убитый является в гости, и не один, а с приятной чернобровой девицей. Познакомься, мать, это Марина, любить ее придется тебе, как родную дочь, потому что она моя будущая жена. Ох, если бы ты видел, Ояр, какими глазами посмотрела на Марину старая Акментыниене! Она, наверно, как все прочие матери, втихомолку давно присмотрела своему единственному сынку невесту и не раз жаловалась на злосчастную судьбу: мол, такая вышла бы подходящая пара, а теперь что — лежит мой Кришинь в могиле... И вдруг — вот тебе Кришинь, а вот тебе невеста — не обессудь, мамаша. Она всплакнула, повздыхала и поцеловала Марину в щеку. После этого начала серьезный разговор. Одна говорит по-латышски, другая по-русски, а между ними я, то на одном, то на другом языке, и, наконец, сговорились. Завтра становлюсь на работу в управлении порта, буду распоряжаться кое-какими плавсредствами. Эх, Ояр, вот она где, жизнь-то! Криш Акментынь опять на плаву.

— Всяческих тебе успехов, Криш. Вам, лиепайцам, много потрудиться придется, пока уберете развалины да приведете в порядок город.

— Я не гонюсь за легкой работой, Ояр. Не бойся, лиепайцы лицом в грязь не ударят. Не раз и не два еще помянут добрым словом наш порт, наш «Тосмаре», «Красного металлурга», наших рыбаков.

— Не сомневаюсь.

Они приехали в Лиепаю вместе со Звиргздой, капитаном Савельевым и остальными партизанами. Только Имант Селис и Эльмар Аунынь остались у Биргелей. Рута с Ояром целый день осматривали разрушенный

город. От дома, в котором Ояр жил до войны, осталась груда кирпичей, фабрика, где он работал парторгом, была разорена дотла, все оборудование увезли в Германию, из старых рабочих мало кто пережил войну.

Но, несмотря на разрушения, несмотря на то, что на прибрежных дюнах в огромной братской могиле лежали тысячи липайцев, — удивительной бодростью, живительной свежестью веяло в этом городе, который Ояр любил крепкой любовью. Мирное, ласковое море глядело на вернувшихся домой людей, теплый весенний ветер дул им в лицо. Рыбаки уже копошились возле лодок, чинили паруса, выволакивали из сарайчиков сети, канаты и снасти. Детишки с жадным любопытством рассматривали советские танки, орудия и грузовики. По улицам тяжелым, медленным шагом проходили колонны капитулировавших гитлеровских войск. Всюду слышались песни советских бойцов.

Проведя полтора дня в Лиепае, Ояр с Рутой вернулись в Биргели, чтобы захватить Иманта с Эльмаром и ехать в Ригу. Трогательным было прощание партизан, крепко подружившихся за зиму.

Звиргзда уже пошел работать на «Красный металлург», капитан Савельев собирался ехать домой, к семье. Акментынь с Мариной проводили Ояра и Руту до окраины города.

— Подумай только, Ояр, — сказал Акментынь, — моя старушка сегодня утром стала допытываться, как мы будем венчаться: у священника или еще где? И еще, чью веру выберем: мою или Маринину? Я объяснил ей, что у нас одна вера и обвенчать нас могут только в отделе записей гражданского состояния. Ну, а если пойдут дети, где мы их будем крестить? Там же, говорю, в загсе, мы своих детей будем воспитывать в той же вере. Что это за вера, она еще не понимает, и мне придется обучать политграмоте родную мать. Если не справлюсь, попрошу вас обоих помочь. Ну, всего вам лучшего в жизни...

Когда грузовик уже катил по Гробиньскому шоссе и Акментынь с Мариной скрылись из виду, Рута спросила:

- А ты не заметил, Ояр, никаких перемен в Акментыне?
- По-моему, от счастья он стал довольно болтливым.
- Пожалуй что. А больше ты ничего не заметил?
- Конечно, вижу, что он будет хорошим мужем для Марины. Они очень подходят друг другу.
- И больше ничего?
- Больше ничего.
- Какой же ты ненаблюдательный. Ведь Акментынь сбрил свои знаменитые усы. Вчера был с усами, а сегодня их уже нет. Как ты думаешь,

что это означает?

— А ведь и правда. Надо было спросить у Марины — мне кажется, это случилось не без ее влияния.

В Биргелях все были заняты в поле. Опасаясь, что немцы отберут семенное зерно, Биргель прошлой осенью увеличил вдвое против обычного озимый клин: что посеяно, того никто не может отнять. Но, хотя яровое поле в этом году было меньше, чем в прошлые годы, работы хватало. Эльмар и Имант тоже не сидели без дела. Биргель только радовался, глядя на помощников.

Теперь Лавиза Биргель могла больше заниматься скотиной и стряпней для семьи. Славные у нее подросли дети: Жану уже исполнилось восемнадцать лет, Рите шестнадцать. По вечерам, когда родители ложились спать, на дворе долго звенели молодые голоса.

Имант Селис обычно рассказывал Рите о партизанском отряде. Он не был зазнайкой и не преувеличивал своей роли, но ему было приятно, что Рита так внимательно слушала его. Ее вопросы, восклицания удивления или ужаса, ее полные затаенной нежности взгляды заставляли сильнее биться сердце юноши. И сам он был полон нежности, грусти и смутной юношеской тревоги. Он сам не знал почему, но ему было так жаль Риту, так хотелось сделать что-нибудь такое, что доставило бы ей радость. Одолеть сказочно трудные препятствия, совершить геройские подвиги, одна только мысль о которых кружит голову... Если бы он был спортсменом, то обязательно установил бы несколько мировых рекордов, которые долго никто не мог бы перекрыть; если бы — художником, то создал бы чудесные картины, симфонии, пленительные стихи; или лучше стать ученым, изобретателем — сделать открытие, которое облегчило бы жизнь всему человечеству! Если бы!..

А пока это был только девятнадцатилетний юноша, недавний партизан, которому предстояло до всего доходить упорным, настойчивым трудом. Но сам он думал, что прекрасны, достойны осуществления лишь самые великие дела. Быть первым или никем! Иначе не стоит жить, потому что... потому что у Риты Биргель такие милые, мечтательные глаза — таких глаз нет ни у одной девушки во всем мире. Самая красивая, стройная, смелая! У кого еще такие мягкие каштановые волосы, такой чистый, звонкий голос, такая походка?

Одним словом, он думал об этой девушке то же самое, что думают миллионы юношей о миллионах девушек, и только глупец стал бы с ним спорить. Поэтому Эльмар Аунынъ, которому было ясно, что происходит с другом, ничего ему не говорил. В его сердце, не тускнея, жил милый образ

Анны Лидаки, и рядом с ним бледными, незначительными казались все остальные девушки.

Жан Биргель ушел спать. Эльмар зевнул и спросил:

— Имант, тебе не хочется спать?

— Рано еще. Такой теплый, хороший вечер...

— Ты знаешь, Имант, как называется вон то созвездие? — спрашивает Рита. — Моряки должны знать все звезды.

Эльмар встает и тихо уходит в клеть, где им с Имантом приготовлена постель. А эти двое остаются посидеть на крылечке и еще долго говорят о звездах, о далеких мирах, о жизни людей в прошлом и в будущем. Восторженные мечты сменяются серьезным раздумьем. Воспоминания все время возвращаются к дням еще не отгремевшей грозы.

Имант рассказывает Рите о своих погибших сестрах, о матери. У Риты все сильнее блестят глаза от слез, и только когда Имант замолкает, девушка произносит изменившимся голосом:

— Жаль, что я не могу заменить тебе сестру. Но мне бы хотелось...

Тогда Имант в первый раз берет ее загорелую руку, сжимает в своих пальцах. Долго длится молчание.

Время летит незаметно. Ночь проходит. По дороге приближается серая машина, останавливается у ворот усадьбы Биргели, и два человека входят во двор.

— Ты еще не спишь, Имант? — спрашивает Ояр. — Уже два часа.

— Разве так поздно? — удивляется Имант.

— Поздно, поздно. Ты не успеешь выспаться, а мы в шесть часов начнем собираться. Завтра уезжаем в Ригу.

Хорошо, что темно — ни Ояр, ни Рута не видят, как смутился в этот момент Имант. Противоречивые чувства борются в сердце юноши: он рад, что скоро будет свободно ходить по улицам Риги, вернется домой и, может быть, встретится с матерью, но в то же время тоска сжимает его грудь при мысли, что завтра придется расстаться с Ритой. Может быть, они не увидятся долго-долго...

Рита молчит и смотрит в темноту.

Ояр с Рутой уходят, а Имант и Рита все еще сидят на приступках крылечка, думают неизвестно о чем и не говорят больше о звездах. Имант понимает: если сейчас не сказать обо всем, утром у него ничего не выйдет. Но не сказать нельзя, как бы тяжело ни давались слова.

Он вздыхает.

— Значит, завтра я уезжаю в Ригу.

Рита молча кивает головой.

- Ты, наверное, не захочешь, чтобы я иногда писал тебе?..
- Почему не захочу? — Голос ее становится непривычно высоким.
- Просто так. Может быть... будет неприятно?
- Вот еще. Почему мне должно быть неприятно?
- Значит, можно писать?
- Ясно, можно.
- Ладно. Тогда я буду писать. Но ты, конечно, отвечать не будешь?
- Я же не знаю адреса.
- Адрес я могу оставить.
- Если оставишь — буду отвечать.
- У меня одна просьба, Рита...
- Да, я слушаю.
- Ты моих писем никому не показывай.
- Разве там будет что-нибудь такое... про что никто не должен знать? — Теперь она еле сдерживает смех.
- Я не знаю, может быть что-нибудь *такое* будет.
- Если будет, то никому не покажу.
- Не показывай. Я твои письма тоже никому не буду показывать.
- Мои сразу, как прочтешь, сжигай.
- Зачем? Разве там будет что-нибудь такое? И потом они никому не попадут в руки.
- Все равно, так вернее. Обещай, что будешь сжигать.
- Обещай и ты мне кое-что.
- Например?
- Приехать как-нибудь летом в Ригу.
- Если мама позволит... А ты к нам больше не приедешь?
- Ты думаешь, можно?

Некоторое время они глядят друг другу в глаза, серьезно и застенчиво. Потом Рита говорит:

- Обязательно приезжай. Жану будет приятно...
- «Жану... А тебе самой?» Но Имант сдерживается, не задает этого вопроса. Ведь и так достигнуто ужасно много: они будут переписываться, ему разрешили приехать в гости к Биргелям. Будь скромным, Имант.

Утром он уехал со своими старыми боевыми товарищами. В первый раз грудь Иманта Селиса украшали орден Отечественной войны и медаль «Партизану Отечественной войны». Эти высокие награды он получил еще в прошлом году, но носить их ему до сих пор не пришлось.

Больно резнуло по сердцу Руту, когда она узнала о смерти матери. Отцу даже не пришлось сказать об этом: его скорбный взгляд, избегающий глаз дочери, беспорядок и запустение в комнате, которую давно не убирала заботливая рука, сразу заставили Руту насторожиться, догадаться о том, что дома неладно. Она вопросительно посмотрела на отца и прошептала:

— Мамы нет...

Отец молча кивнул головой. И тогда начался рассказ о тяжелой, бесправной жизни в годы оккупации, о болезни матери и одиночестве, которое началось для него после ее смерти.

— Я уж думал, что совсем один теперь остался. Когда Красная Армия освободила Ригу, смотрю — ко многим вернулись сыновья и дочери, а про тебя никто ничего не говорит. Потом услышал, что тебя в Тукуме... повесили фашисты. Тяжело было, дочка, поверить этому, и я не хотел верить, надеялся все. Уж когда серьезные люди сказали, что верно, пришлось привыкать. Как хорошо, дочка, что ты жива-здоровая. Теперь и для меня настали светлые деньки.

Рута сидела рядом с ним, гладила его поседевшую голову, с нежной жалостью вглядывалась в худое, изборожденное глубокими морщинами лицо. Отец выглядел таким старым и разбитым, как будто со дня расставания прошло по крайней мере двадцать лет.

Потом стала рассказывать она. О дивизии, о партизанах, о Курземе. Только про Чунду не помянула ни разу. Старик сразу заметил это и, когда Рута кончила говорить, спросил:

— А про Эрнеста знаешь что-нибудь?

Рута нагнула голову, замолчала, словно заупрямившись. Потом скороговоркой сказала:

— Не знаю. Три года его не видела.

— Он ведь прошлой осенью заходил ко мне... — начал было отец.

— Так он в Риге?

— Не знаю, как сейчас, в Риге ли. Заходил один раз, когда вернулся из эвакуации. Я ему рассказал про тебя, что сам знал. Он как будто опечалился, а вскоре я узнаю... — старик замялся.

— Говори, папа, все, не бойся...

— Узнаю, что Эрнест женился... на какой-то торговке. Но им и не пришлось вместе пожить, — Эрнест начал заниматься спекуляцией и разными недозволенными делами. Сейчас сидит в тюрьме. Одним словом,

ничего хорошего от него больше ждать не стоит.

— Это на него похоже, папа.

К большому удивлению Залита, Рута ничуть не огорчилась, не встревожилась.

— Я должна сказать, папа, что мы с ним разошлись еще в сорок первом году. Эрнест Чунда для меня человек чужой.

— Чужой. — Старик горестно покачал головой, но больше не стал касаться этого вопроса. — Что ты теперь думаешь делать?

— Пойду работать и учиться.

Кому-нибудь это могло показаться и себялюбивым и жестоким, но известие о женитьбе и осуждении Чунды принесло Руте успокоение. Она даже не могла жалеть его: он получил по заслугам.

«Чужой человек... мне нет до него никакого дела. Я ничего больше знать не хочу о нем. А дальше?»

Дальнейшее зависело не только от нее, хотя Рута и чувствовала, что решающее слово принадлежит все-таки ей.

В тот день Ояр Сникер разговаривал с одним из секретарей Центрального Комитета о своих партизанах. Некоторые уже работали в партийных организациях, советских и хозяйственных учреждениях, многие вернулись к себе в деревню; некоторых решили послать на курсы. Было несколько раненых, которые нуждались в длительном лечении и отдыхе.

Когда все обговорили, секретарь Центрального Комитета сказал:

— А теперь надо решить последний вопрос: как быть с тобой? Здоровье у тебя ничего?

— В полном порядке, — быстро ответил Ояр. — Могу хоть завтра стать на работу.

— Может быть, все-таки отдохнешь с месяц? Отдых ты заслужил. Не думай, что работать будет легко. Сейчас каждый из нас несет двойную нагрузку.

— Понимаю, товарищ секретарь. Наваливайте только — я выдержу. Про отдых поговорим в другой раз, когда самое трудное будет сделано.

— Ну, смотри. Тогда поговорим конкретно. Куда бы ты сам хотел пойти?

— Я прошу доверить мне какую-нибудь самостоятельную работу — в промышленности, на предприятиях или в деревне. До войны я был парторгом на одной небольшой фабрике в Лиепае. Могу вернуться туда.

— Вот это уж будет неправильно, товарищ Сникер. За четыре военных года ты вырос, сейчас у тебя совсем иной размах. Зачем же пренебрегать таким богатым опытом, который ты приобрел? Нет, нет, сегодня ты должен

взвалить на плечи ношу потяжелее, чем до войны. Ты хочешь самостоятельной работы, чтобы за все отвечать самому и изо дня в день видеть результаты своего труда? Отлично, товарищ Сникер, у нас есть кое-что подходящее. Заводу «Новая коммуна» нужен директор. Нынешний директор болтун и торгаш, много обещает, но мало делает. Нарком давно просит рекомендовать подходящего человека. Мы больше не можем оставлять такое важное предприятие в ненадежных руках. Как ты посмотришь на это предложение?

— «Новая коммуна» — одно из крупнейших предприятий в Латвии. Справлюсь ли я? Специальных знаний у меня ведь нет.

— Ты коммунист. Доверие партии и помощь Центрального Комитета будут тебе обеспечены во всякое время. Согласен?

— Постараюсь работать так, чтобы оправдать доверие партии, — взволнованно ответил Ояр.

— Желаю успехов, товарищ Сникер. — Секретарь пожал ему руку. — Сегодня же поговорю с наркомом. Возможно, что завтра будет готов приказ о твоём назначении. А за Лиепаяю не беспокойся: мы её тоже не оставим без кадров. Между прочим, на «Новой коммуне» ты найдёшь кое-кого из старых знакомых.

Вечером Ояр зашел в ЦК комсомола за Рутой, которая тоже ходила туда поговорить о дальнейшей работе. Оттуда они пошли в столовую и за ужином рассказали друг другу о своих делах.

— Меня посылают комсоргом в среднюю школу, — сказала Рута. — В ту самую, где я училась. Многие учителя прежние, только директор новый. Айя собирается взять меня к себе вторым секретарем, но мне хочется испробовать свои силы на самостоятельной работе. И потом, правда, Ояр, школа сейчас очень серьезный участок. Многие начали учиться в годы оккупации, — какие вредные влияния испытали они за это время... Здесь тоже воевать придется — и очень упорно. А какое это благородное дело — воспитывать настоящую советскую молодежь!

— Испробовать силы на самостоятельной работе... — улыбнулся Ояр. — Мы с тобой одними словами разговариваем сегодня.

— И ты тоже так? — Рута радостно посмотрела ему в глаза.

— На «Новую коммуну» директором посылают... Почти тысяча рабочих, производственная программа — десять миллионов рублей. Но — трудно! Два цеха совершенно разрушены, в одном не осталось никаких станков. Интересная ведь работа?

— Даю голову на отсечение — через полгода цеха будут работать, а годовая программа будет выполнена к седьмому ноября.

— Ну, право... почему ты так рассуждаешь?

— Потому что ЦК партии посылает тебя туда директором. И уж если ты захочешь чего добиться — обязательно добьешься.

— Товарищ Залите, меня смущает такая оценка. Не всегда мне удавалось это...

— Например?

Ояр долго глядел в глаза Руте, затем, будто собравшись с силами, тяжело вздохнул и сказал:

— Сколько лет думал я о том, что ты будешь моей женой, а вот до сих пор не мог этого добиться. Почему? Потому что я разиня.

Рута покраснела.

— Как так разиня?

— Один раз я прозевал тебя, дождался того, что какой-то Чунда утащил тебя из-под носа. Если продолжать в том же духе, это может повториться снова.

— Этого не случится.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что теперь ты не прозеваешь, и второй раз утащить меня — пользуюсь твоим выражением — не удастся. Ты действительно думаешь, что я могу быть такой легкомысленной и... потерять тебя? Тебя, Ояр... За одни эти слова тебя следовало бы отколотить, но что поделаешь, у меня слишком мягкое сердце.

— У тебя, Рута, хорошее сердце. Если бы мы были не в столовой, я бы прижался головой к твоей груди, чтобы послушать, как оно бьется...

Через две недели они поженились. И опять все старые друзья собрались вместе в квартире Ояра и Руты. Петер Спаре и Аустра праздновали в этот день точно такое же событие и захотели было устроить общий «свадебный бал» у себя, но инициатива принадлежала Ояру, и им пришлось уступить.

Были здесь Мара с Жубуром; он только что демобилизовался и уже начал работать управляющим одного треста. Были и Айя с Юрисом Рубенисом, который в ближайшее время должен был направиться со своими разведчиками в один из уездов, очистить леса от бандитов.

— Последнее слово в этой войне досталось произнести мне, — с гордостью повторял он.

Пришел и подполковник Аугуст Закис. Он собирался вскоре ехать в Москву, в Военную академию. Аустра работала в городском исполкоме и осенью думала вместе с мужем поступить в университет.

Но самым почетным гостем был здесь председатель волостного

исполкома Индрик Закис.

Дойдя до знакомого дома на улице Пярну, Имант Селис остановился и с любопытством огляделся. Пока он шел по городу, его поношенный, собранный с бору да с сосенки костюм привлекал внимание всех прохожих. Но Имант не замечал ни сочувственных, ни насмешливых взглядов — сейчас его ничуть не интересовало, какое впечатление производит он на незнакомых людей.

Он был одет в трофейный немецкий френч и домотканые суконные брюки — подарок Лавизы Биргель; на ногах были порыжелые сапоги с короткими голенищами, а головного убора вовсе не было, так как старую помятую кепку Имант закинул в канаву, не доезжая Тукума. И все-таки приятно было смотреть на этого высокого, очень загорелого юношу, с волнистыми, сильно отросшими волосами.

Вот, пожалуй, взгляд его, острый, наблюдательный и хмуроватый, показывал, что юноше этому рано довелось узнать жизнь во всей ее серьезности.

До войны Имант прожил на этой улице всего несколько месяцев и не успел завести знакомства среди мальчишек. Да и они за это время выросли и стали другими.

«Вон то окно — наше... Если бы мама была дома...» — подумал Имант. Но нет, ни одно лицо не показалось в окнах; большому каменному дому не было до него дела.

Имант расправил плечи. Не мальчик, а солдат возвращается домой! Привет вам, знакомые и незнакомые!

Он прошел в ворота, пересек двор, поднялся на третий этаж и, не задумываясь, постучал в свою дверь. Она приоткрылась, и в щели показалось одутловатое лицо немолодого мужчины. Сердито и подозрительно глядел он на Иманта.

— Что угодно? Вы ко мне?

— Нет, к себе... Я здесь раньше жил... Хочу вот посмотреть свою квартиру.

— Ошибаетесь. Это моя квартира, и я здесь живу три года.

— Вы меня не поняли, — добродушно объяснил Имант. — Я здесь раньше жил, до двадцать второго июня сорок первого года, а моя мать и после этого несколько месяцев прожила...

— Ах, тогда ясно. Вы — из эвакуации?

— Нет, с войны.

— Вон как получилось... — Одутловатое лицо нервно передернулось. — Но только вашей семьи здесь больше нет. Дворник, может быть, знает, где они. Я сам ничего не знаю, ничего не могу сказать.

— Вы мне только разрешите войти, посмотреть комнаты, — попросил Имант. — Ведь это-то можно?

— Пожалуйста, если вам угодно. — Мужчина открыл дверь шире и отступил в сторону, дав Иманту дорогу. — Я сомневаюсь, найдете ли вы здесь что-нибудь интересное. Позвольте узнать, с кем имею честь.

— Мое имя Имант Селис...

— Очень, очень приятно, молодой человек. А я — Антон Фрей, бухгалтер управления городского транспорта. До войны жил в Московском районе, а в сорок втором году оккупанты приказали переселиться сюда, потому что там устроили гетто. Что мне было делать?

Где-то жить надо...

Он почти оправдывался, он просительно заглядывал Иманту в глаза.

— Я вас ни в чем не виню. Здесь хватит места и для меня и для вас.

Конечно, хватит. Неужели два латыша не поймут друг друга? Да, так вы были на фронте?

— Нет, в партизанах.

— Чудесно. Так сказать — борец за свободу. Тогда, конечно, вам нечего беспокоиться. Городской совет даст вам лучшую квартиру. Таким, как вы, — вне очереди.

Имант медленно переходил из комнаты в комнату. Нигде он не нашел следов прежней жизни, только вешалка в передней осталась старая. У бухгалтера управления городского транспорта мебель была получше и поновее, чем у прачки Анны Селис. Дорожки, занавески, посуда на полках в кухне — все было незнакомое.

— Когда я сюда въехал, квартира была совершенно пустая, — рассказывал Фрей. — Немцы все вывезли. Возможно, дворник знает, куда делись вещи — он здесь служил еще до войны.

На том месте, где раньше был простой, закапанный чернилами стол Иманта и Ингриды, стояла зеленая плюшевая кушетка, а вся стена над нею была увешана фотографиями киноактеров и вырезанными из журналов картинками.

— Это комната моей сестры, — объяснил Антон Фрей. — Она в кино контролершей работает. Если захотите, может без билета провести. Вот это ее фотография. Я холостяк, она тоже еще не замужем.

Он засмеялся мелким, угодливым смешком.

Имант не стал здесь больше задерживаться. Антон Фрей проводил его до лестницы с таким подчеркнутым вниманием, будто тот был хозяином города.

— Товарищ Селис, позвольте спросить: могу я быть уверенным, что мне не надо искать другую квартиру? — спросил он, выйдя на площадку. — Знаете, неприятно жить как на колесах. Я знаю, что по закону вы имеете право потребовать квартиру обратно.

— Для меня она все равно велика, живите, пожалуйста.

— Большое спасибо! — повторял Антон Фрей, кланяясь вслед Иманту, пока тот сходил по лестнице.

Имант постучался в дверь дворницкой. Маленького мужчину с рыжеватой бородкой, который открыл ему, он хорошо помнил.

— Ну, в чем дело? — грубо спросил дворник. — Чего вам надо? В этом доме свободных квартир нет.

— У меня к вам дело, товарищ Свикул. Мое имя Имант Селис. До войны я жил в этом доме с матерью и сестрой. Может быть, помните?

Дворник испуганно-недоумевающе посмотрел на Иманта, потом торопливо схватил его руку и стал с силой трясти.

— Вспоминаю, вспоминаю... Так вы уцелели, значит! Такое счастье! Ах, сколько бед на ваше семейство... ах, эти немецкие кровожадные псы только и знали, что губить людей. У вас такая красивенькая, приветливая сестричка была... ужас, что эти немцы делали с невинными людьми. Заходите, заходите ко мне. Я вам расскажу, как все случилось.

Он ввел Иманта в кухню и пригласил сесть. Дверь в комнату плотно прихлопнул и все время оглядывался на нее, будто чего-то опасаясь.

— Про вашу сестру... — начал Свикул, сев напротив Иманта. — В начале июля, сразу как пришли немцы, дело было. Однажды ночью гестаповцы окружили наш дом — с проверкой пришли. Вашу сестру нашли на лестнице — не могла попасть в квартиру, ключа, видно, не было. И не знаю, почему она, бедняжечка, не зашла ко мне. Я бы ее впустил и спрятал как следует. Наверно, не хотела беспокоить так поздно. За свою стеснительность поплатилась жизнью. А месяца через три арестовали и вашу мамашу. Что стало с ней, не могу сказать, меня самого гестаповцы так гоняли, так допрашивали... Почему мой дом полон коммунистов? Почему я не заявил в полицию? Стану я им заявлять, когда сам всей душой за коммунистов и советской власти сочувствую. Немцы, слава богу, про это не знали. Допрашивали, грозили в тюрьму засадить, если, мол, такие вещи повторятся. Как собаку, выгнали из участка. Тяжело нам было, молодой

человек. Все время жизнь на волоске висела. Да, у вас действительно большое горе — все семейство погибло.

— Не знаете вы, куда делись наши вещи? — спросил Имант. — Ценного там ничего не было, но я бы хотел что-нибудь найти. Вы мне не поможете? Каждая мелочь мне дорога, все-таки память.

— Понимаю, как не понимать, милый, — ответил дворник и задумался. — Значит, как арестовали вашу мать, немцы в ту же ночь все ваше имущество вывезли. Наверно, роздали тем, которые помогали им арестовывать и убивать — они ведь так делали. Последнюю тряпку, щепку и ту забирали, — удивительно, до чего жадные были. После нам с женой приказали убрать вашу квартиру. Не оставили ни единой вещички — одни голые стены. Прямо и не знаю, где же вам их искать. Может, в милицию заявить?

Когда Имант поднялся уходить, Свикул стал у двери в комнату, точно боялся, как бы тот по ошибке не отворил ее.

Поблагодарив Свикула, Имант ушел, решив больше сюда не возвращаться.

Он долго бродил по улицам Риги, мимо обгоревших развалин, по загаженным паркам, где еще не успела вырасти трава на истоптанных лужайках, по Зоологическому саду и вечнозеленому сосновому бору Межа-парка, который так горделиво смотрится в тихие воды Киш-озера. В лесу везде валялся железный лом, везде виднелись сгоревшие и взорванные армейские машины. И тут же рядом мирно паслись коровы, играли дети.

«Я буду работать всю жизнь, — говорил сам себе Имант, — буду участвовать в осуществлении великих дел своего народа. Мертвым не нужны жалостные слова и грустные вздохи. Они требуют, чтобы ты строил жизнь и чтобы никогда больше не повторились эти ужасы... Клянусь, всегда буду помнить, что сказал мне однажды Роберт Кирсис: „Что может быть, Имант, прекраснее, благороднее нашей борьбы!“»

Поздно вечером он пришел в Чиекуркали к Ансису Курмиту. И Курмит и его жена Зельма так обрадовались, увидев Иманта живым и здоровым, что у него выступили слезы на глазах. Он рассказал о своих сегодняшних мытарствах и попросил Курмита посоветовать, как быть дальше.

Курмит переглянулся с женой.

— Имант может и у нас пожить, пока не вернулась мать, — сказала Зельма.

— По-моему, это самый лучший выход, — добавил Курмит. — И у Юрки будет хороший товарищ, хоть он и моложе тебя... Ты ведь его помнишь: сын Курмита из Саутыней. Он теперь у нас живет. Пареньку ведь

больше некуда деваться. Мы с Зельмой и решили воспитать его. Как только вышли из подполья, честь-честью усыновили. Осенью поступил в ремесленное училище, хочет стать квалифицированным мастером.

— А вы как, дядя Курмит? Опять на «Вайроге»?

— С «Вайрогом» ничего не вышло. ЦК партии послал парторгом на завод «Новая коммуна». Сегодня звонили из райкома, сказали — новый директор придет. И знаешь кто, Имант? Твой командир, Ояр Сникер.

— Ояр? Значит, его не отпустили в Лиепаяу?

— Наверно, так нужно. А я рад, что Ояр будет у нас директором. Вместе были на войне, вместе поработаем и в мирное время.

Имант поселился у Курмитов. Они с Юркой заняли ту самую комнатку, где во время немецкой оккупации Зельма не раз укладывала спать продрогшего и усталого связного Селиса.

Зельма Курмит помогла Иманту обзавестись новым платьем, сама сшила ему белье, и когда парень приобрел мало-мальски сносный вид, ему можно стало, наконец, появляться на улицах и в учреждениях, не привлекая особого внимания.

Первым долгом Имант собрал все сведения относительно мореходного училища. Узнав, что прием еще не окончен, он подал заявление на отделение судоводителей.

Бабушка Эльмара Ауныня умерла прошлой зимой, когда он партизанил в лесах Курземе. Теперь у него никого не осталось дома, и вначале Эльмар хотел уехать в Ригу или еще куда-нибудь. Но дело обстояло не так просто, как он думал. В партизанах Эльмар вступил в комсомол, а в конце войны его приняли кандидатом в члены партии. И когда парень явился в уком партии за кандидатской карточкой, оказалось, что секретарь укома успел подумать о его будущем.

— Товарищ Аунынь, мы хотим сделать из вас хорошего работника социалистического сельского хозяйства. Вы выросли в деревне, с детства узнали, что такое крестьянский труд. Здесь вам все известно, а в городе надо будет все начинать сначала. Как вы, согласны поступить сейчас в школу трактористов? Изучите трактор, поработаете некоторое время трактористом, а там и в школу механизации поступите. Если хорошо покажете себя, через несколько лет директором МТС сделаем.

Предложение секретаря решило судьбу Эльмара. Он принял его не

раздумывая и немедленно направился в школу трактористов.

Как-то в середине июня Эльмар одолжил у товарища велосипед и поехал в уездный город навестить Валдиса Суныня.

Друга своего он застал в меланхолическом настроении. Валдис подавал заявление в пехотное училище, но не подошел по состоянию здоровья. Медицинская комиссия порекомендовала ему подумать о какой-нибудь гражданской профессии.

Приезду Эльмара он очень обрадовался — по крайней мере теперь было с кем поделиться своим горем и посоветоваться.

— Позор, Эльмар, — оказывается, я не гожусь для военной службы! Это довольно досадно — признать себя инвалидом на двадцать втором году жизни.

— Ну, что за беда? — сказал Эльмар. — Сколько еще есть на свете других профессий! Можешь стать лесничим, инженером, бухгалтером. Если не тянет в высшую школу, учись ремеслу. Неужели ничего подходящего не найдешь?

— Я, понимаешь, уже крепко свыкся с мыслью об армии. А тут вдруг — бухгалтерия... Занда советует учиться переплетному или ювелирному делу — все-таки это художественные ремесла. Сама она хочет поступить в Сельскохозяйственную академию. А по-моему, ей лучше пойти в институт физической культуры.

Занда, девятнадцатилетняя сестра Валдиса Суныня, числилась среди лучших гимнастов и легкоатлетов уезда. Весной она окончила среднюю школу и теперь была занята решением той же проблемы, которая не давала покоя ее брату, — кем стать? Обилие возможностей затрудняло выбор.

— Ребята просили меня достать что-нибудь из спортивного инвентаря, — сказал Эльмар. — У нас пока, кроме перекладины, ничего нет. Не знаешь, где можно достать футбольный мяч, ядро, диск?

— Об этом лучше поговори с Зандой, — ответил Валдис. — Я сейчас позову...

— Погоди, мне не к спеху...

— Чего там ждать! Выпроси у нее все, что тебе надо, а потом сходим на речку, выкупаемся.

Валдис выбежал из комнаты, оставив приятеля одного. Эльмар подошел к окну. Маленький городок избежал разрушений — только здания средней школы и больницы были до сих пор камуфлированы в серо-зеленый цвет и в некоторых домах во время бомбежки выбило оконные стекла. Но за песчаной насыпью лежали, укрытые дерном, несколько сот жителей, которых гитлеровцы убили и замучили в первый год войны.

«Неужели их забыли? — думал Эльмар. — Разве я забуду Анну? До самой смерти будет болеть по ней сердце, до самого конца жизни».

Валдис вернулся сердитый.

— Искал-искал. Понять не могу, куда она девалась. Ну, мы не будем терять времени. Пойдем на речку, Эльмар.

После купанья им захотелось погреться, потому что вода была довольно прохладная, и они стали гоняться друг за другом. Эльмар был сильнее, мускулистее, чем Валдис, хотя они были ровесники.

Валдис с завистью смотрел на своего друга.

— Вот что значит физический труд с самого детства — лучше всякой тренировки! Из тебя выйдет великолепный десятиборец, Эльмар.

— Очень высоко ты метишь, Валдис, — засмеялся Эльмар. — Хорошо бы хоть нормы ГТО сдать.

Дома их ждала Занда — невысокая, но очень стройная, ловкая в движениях девушка в синей короткой юбке, белой блузке и белых парусиновых туфлях на босу ногу. Волосы она стригла довольно коротко, что придавало ей сходство с мальчиком-подростком. Рукопожатие у нее было твердое и сильное.

— Ты меня искал? — спросила она брата.

— Это вот Эльмару ты очень нужна.

Занда с любопытством посмотрела на Эльмара.

— Верно, верно, товарищ сестра. Только ради тебя он и прискакал в город. Чтобы не мешать вам в обсуждении важных вопросов жизни, я сию минуту исчезну.

Он со смехом выбежал из комнаты.

— Что с ним, Эльмар? — спросила Занда.

— Да ничего, просто хорошее настроение после купанья.

— Значит, у тебя никаких дел ко мне нет? — Занда спокойно глядела на Эльмара, но в голосе ее прозвучало что-то похожее на разочарование.

— Как сказать, особенных дел нет, но посоветоваться нужно. Я хочу достать для школы спортивный инвентарь: У нас многие ребята хотят подзаняться, а ничего нет. По вечерам поднимаем штангу с тележными колесами и толкаем камень вместо ядра.

— Жалко, не знала я час тому назад, ведь я только что от председателя комитета. Какой спортивный инвентарь вам нужен?

— Все, что можно достать. Ядро, диск, хорошо бы копье и перчатки для бокса.

— Не знаю, все ли достанем, но кое-что для вас найдется. Скажи, а ты сам чем тренируешься?

— Лучше всего, пожалуй, мне удастся толкание ядра. У нас там есть двадцатифунтовая гиря. Я ее толкаю дальше чем на десять метров. Может, это совсем немного?

— Это прекрасно, Эльмар... — Занда, забывшись, схватила его за руку повыше локтя. — Ого, с таким бицепсом ты сразу толкнешь настоящее ядро на тринадцать метров. Не смейся, я говорю совершенно серьезно. Давай сходим вечером к председателю физкультурного комитета, пока он не уехал. Пусть поможет достать, что тебе нужно. И инструктора тоже надо послать к вам. Скажи, Эльмар, а ты не бегаешь на коньках?

— Не приходилось.

— А на велосипеде ездешь? У тебя есть велосипед?

— Нет еще, только собираюсь обзавестись.

— Обязательно приобрети. Тогда я буду по воскресеньям приезжать к тебе в гости, и мы потренируемся. Хорошо бы будущим летом попасть на республиканские состязания. Если у тебя будет машина, мы начнем тренироваться, как только я вернусь из Москвы.

— Ты едешь в Москву? — с почтительным удивлением спросил Эльмар.

— Ах, зачем я сказала! — засмеялась Занда. — Ведь меня зачислили в делегацию физкультурников от нашей республики — едем на Всесоюзный парад физкультурников. Это пока секрет от домашних, смотри не проговорись брату. Я еще сама не очень уверена, что это так. Но в понедельник надо уже быть в Риге. Домой вернусь только в августе.

— Поздравляю! Какая ты счастливая... увидишь Москву, товарища Сталина.

— Да, конечно, это очень большое счастье, что я попала в делегацию! Но у меня нет еще полной уверенности... А вдруг не возьмут! Может быть, в будущем году поедешь и ты, кто знает. По правде говоря, ты это заслужил во сто раз больше, чем я.

Они сходили в уездный комитет по делам физкультуры, и, благодаря настойчивости Занды, Эльмар получил ядро, диск и еще кое-какой спортивный инвентарь.

— Теперь занимайся всерьез, а не в шутку, сказала Занда, когда они вернулись домой с «трофеями». — Скоро спросим с тебя и результаты. Держись, Эльмар. Мне хочется, чтобы ты стал рекордсменом.

— Попробуемся, Занда, чем черт не шутит.

Третий час продолжалось совещание бандитских главарей в комнате хозяина. Сама хозяйка должна была следить, чтобы их никто не побеспокоил. Дети спали, а Эдит Ланка, которая жила на хуторе в качестве работницы Эрны Озолинь, сидела одна в батрацкой каморке и глядела в открытое окно.

Одного из гостей она знала. Это был Герман Вилде.

«Позовут или не позовут, — гадала она. — Знают же они, кто я такая. А если знают, то должны понимать, что я могу не только доить коров и ворошить сено... Неужели хозяин не сказал, что я здесь?»

Ох, и хозяин... Живя в лесу, он сам стал похож на лесного зверя. Взгляд недоверчивый, ходит, как будто прислушиваясь ко всем звукам и шорохам. Засел на своих тридцати гектарах, как медведь в берлоге, и знать никого не желает. Собаки, издали завидев его, прячутся подальше, даже дети пугаются, когда Межнор выходит из дому.

Его жена, рано состарившаяся, изнуренная тяжелой работой, забитая женщина, редко вступала в разговор. Только раз она первая заговорила с новой батрачкой. Спустя две недели после появления Эдит на хуторе Межнор пришел ночью в ее комнату. Два дня хозяйка молчала, только в ее потухших глазах появилось выражение затаенной боли. Однажды рано утром она зашла к Эдит и присела на край ее кровати. Она не плакала, не ругалась, только вздохнула и тихо сказала:

— Эрна, неужели ты вздумала отнять у меня мужа? Межнор тебе не пара...

— Скажи, хозяйка, а он со всеми женщинами так? — ничуть не смутившись, в свою очередь спросила ее Эдит.

— Он давно такой, с тех пор как я хворать стала, — начала простодушно рассказывать хозяйка. — У двух батрачек дети от него были. Ну, а ты ведь не батрачка, я же понимаю, как ты попала к нам.

— Это хорошо, что понимаешь. Тогда ты должна понять вот еще что: больше чем нужно, я не задержусь здесь ни на один день. Может быть, меня завтра здесь не будет. Вот тогда ты и гляди, как бы твое место не заняли. А мне твой муж нужен не больше, чем любой другой... Тебе ведь не жалко, что я с ним иногда?..

— Ничего, — покорно согласилась Межнориене. — Раз у тебя нет дурного на уме...

После этого разговора она опять умолкла.

В хозяйственных работах Эдит принимала участие только для отвода глаз, чтобы не возбуждать подозрений у соседей. Она носила простую крестьянскую юбку, ходила нечесаной по нескольку дней. Длинные

наманикюренные ногти были коротко острижены, губная помада и карандаши для бровей спрятаны; но как ни старалась опроститься Эдит, это была по-прежнему красивая, сытая женщина, и она с удовольствием сознавала это.

Проверку документов Эдит прошла легко, тем более что в паспорте Эрны Озолинь была отметка местного волостного правления. Можно было бы годами жить здесь, и никому бы не пришел в голову вопрос, кто она такая. Разве только встретился бы кто-нибудь из знакомых, но что делать ее знакомым в этом глухом углу Курземского полуострова?

Над лугами стоял густой туман. С поля доносился крик коростеля. Иногда мимо окна пролетала летучая мышь, с шумом рассекали воздух крылья невидимой птицы.

Совещание у хозяина все продолжалось.

«Нет, сегодня, наверно, не позовут, — подумала Эдит, когда за стеной часы пробили двенадцать. — Не стоит и ждать, лучше лягу».

Словно в ответ на ее мысли кто-то постучал в дверь. Эдит подбежала к кровати и прилегла.

— Кто там? — крикнула она.

— Хозяин... — прогудел за дверью густой голос Межнора.

— Подожди, я оденусь. — Она посидела еще минуты две, потом только пошла отпереть дверь.

— Что такое?

— Зовут на совещание. Иди скорее.

«Наконец-то! Значит, знают... понадобилась...»

— Хорошо, сейчас иду, — бросила она в ответ и стала быстро причесываться. «Перед *нимине* стоит казаться хуже, чем ты есть. Все равно они знают. Ты снова имеешь право стать дамой, Эдит».

Немного погодя она сидела в хозяйской комнате за столом и внимательно слушала Германа Вилде, — он, видимо, был здесь за главного.

— Вы рижанка и хорошо знаете город. Мы решили командировать вас в Ригу с важными поручениями. Дадим вам несколько адресов наших людей и необходимые сведения о них. Согласны?

— Конечно, — уверенно ответила Эдит.

— Вернетесь вы через десять дней, — продолжал Герман Вилде. — Запомните: не позже чем через десять дней поручение должно быть выполнено. Малейшее промедление внесет путаницу в дальнейшую работу организации.

— Понимаю, — сказала Эдит, кивнув головой. — Все будет сделано вовремя.

— А теперь внимательно слушайте, и запоминайте каждое мое слово. Записывать не разрешаю, все надо держать в памяти.

Герман Вилде перечислил несколько имен и адресов, сообщил несколько важных фактов о каждом лице и объяснил, кому какие дать поручения.

— Значит, завтра могу отправиться? — спросила Эдит, когда кончился инструктаж.

— Да, начинайте действовать поскорее, — сказал Вилде. — Рассчитываем на ваши способности.

— Вы не просчитаетесь, — сказала Эдит и вышла из комнаты.

Через час Межнор опять постучал в дверь батрацкой каморки. Она вышла к нему и строго сказала:

— Оставь, Межнор. Я хочу на дорогу выспаться.

Рано утром, едва Бунте и Фания успели встать, к ним позвонили. Джек брился в ванной, поэтому Фания, набросив на плечи халат, пошла открывать сама. На пороге стояла рослая, красивая, одетая по-крестьянски женщина.

— Вы Фания Бунте? — спросила она, затворяя за собой дверь.

— Да, я. Что вам угодно?

— Я пришла по поручению вашего брата.

— Брата? — Фания более внимательно взгляделась ей в лицо: нет, не знакомое. — Заходите.

— Мое имя Эрна Озолинь, — сказала женщина, когда они вошли в гостиную. — Муж ваш дома?

— Он сейчас войдет.

— Тогда подождем. У меня к нему дело. Скажите, а здесь можно разговаривать свободно? Нет в квартире посторонних, например — прислуги?

— Нет никого, кроме дочки, но она маленькая, ничего не понимает.

— Сколько ей лет?

— Пять.

— Лучше, если бы и ребенок ничего не слышал. Поймите, дело очень секретное.

Появился и Бунте. Как человек, имевший дела со множеством разных людей, он раньше видел где-то Эдит, однако не мог вспомнить, где именно. Имя «Эрна Озолинь» тоже ему ничего не сказало.

— Индулис Атауга шлет вам сердечный привет, — сказала Эдит. — Сам он по вполне понятным причинам показываться в Риге не может, и вы его увидите не очень скоро.

— Куда там! — сказал Бунте, махнув рукой. — О нем тут несколько раз спрашивались. А где он скрывается?

— Этого я вам не имею права говорить. Это большая тайна. Но у него есть несколько друзей, которым иногда необходимо приезжать на несколько дней в Ригу. И ваш брат и многие высокие лица надеются, что вы согласитесь принимать их иногда на ночлег. Вам бояться нечего: все они люди опытные и будут соблюдать, осторожность.

— Ой, как рискованно, — качая головой, пробормотал Бунте. — У чекистов ужасно зоркие глаза...

— Кроме того, в вашей квартире будут встречаться кое-кто из наших людей, — чем дальше, тем все увереннее и резче говорила Эдит. — Больше от вас ничего не требуется... пока. И знать вам больше того, что сказано, незачем. Имейте в виду, что через неделю к вам может прийти гость. Вы его узнаете по паролю. Если он скажет: «Скоро будет хорошая погода» — значит, это наш человек, и вы смело ему доверяйтесь.

— А зачем нам это делать? — громким голосом спросила Фания.

— Тише. Это все для вашего брата. Он этого требует. Так нужно. Вы не можете отказываться — в противном случае вас вышлют в Сибирь как родственников активного противника советской власти. А для этого многого не нужно — одно маленькое сообщение в соответствующее учреждение, и все. Договорились?

— Договорились, договорились... — не помня себя от страха, лепетал Бунте.

— Не забудьте и то, что к зиме в Латвии произойдут важные события. Установится новая власть... с помощью некоторых иностранных держав. Вам же будет выгодно, если у вас перед этой властью окажутся кое-какие заслуги. Всего хорошего, уважаемые друзья.

Эдит поднялась, со светской улыбкой пожала Джеку и Фании руки и ушла.

— Ты прямо с ума сошел, Джек, — сказала Фания, как только захлопнулась дверь за посланницей бандитов. — «Договорились»... То есть как это договорились? Пускай Индулис сам разделяется со своими грязными делами, а мы пачкать рук не будем. Нам надо держаться подальше от политики, иначе ничего хорошего не выйдет. Если тебе при немцах удалось удержаться в стороне, то с какой стати теперь отвечать за их подлости? Нет, Джек, никаких друзей мы принимать не будем.

— А если они напишут заявление?

— Сходи к Жубуру и все ему расскажи. Как он посоветует, так и сделаем.

— Да, да, я пойду к Жубуру. Только не стану рассказывать, на какие доходы мы живем... про эти бараньи туши и картошку. Это называется спекуляцией.

— Зачем об этом рассказывать? Не думай, что Жубура интересуют твои бараньи туши.

Эдит в это время вошла во двор большого дома по улице Пярну и постучала к дворнику. Человечек с козлиной бородкой вначале принял ее довольно сдержанно и уклонился от откровенного разговора, но когда Эдит напомнила ему кое-какие факты, он живо переменял тон.

— вспомните, Свикул, как в июле сорок первого года вы явились среди ночи в полицию и донесли на одну молодую девушку, на комсомолку Ингриду Селис, которая жила в этом доме! Вы знаете, что произошло затем с этой девушкой? А мы знаем, как вы были вознаграждены за эту услугу.

— Ну, все в порядке, уважаемая госпожа, — сказал Свикул. — А то нельзя же так, с первого слова, доверяться незнакомому человеку. Теперь я по крайней мере знаю, что вы из своих. Чего изволите требовать?

— Ничего серьезного. В вашей квартире или еще где-нибудь в этом доме будут встречаться наши люди, иногда придется устраивать их на ночлег.

— Раз надо, значит — надо.

— Кроме того, вы будете по указанию наших людей передавать кому следует разные сведения, а иногда разбрасывать листовки.

— Мне за это будут платить?

— Не спешите со счетом. Вы уже авансом получили больше чем достаточно. Все имущество из квартиры Селис. Мебель из двух еврейских квартир... С каких это пор рижские дворники стали обзаводиться стильной мебелью? В каком магазине вы ее приобрели?

Свикул только развел руками.

— Вам лучше про это знать.

— Мы-то знаем, и вы это понимаете. Но будет еще лучше, если вы в ближайшее время освободите свою квартиру от этого роскошного хлама. Вдруг вернуться владельцы и узнают свое имущество — что вы им ответите? Продайте или рассуйте по родственникам, пока не поздно. Так будет безопаснее.

— Золотые слова. Удивительно, как я сам не догадался. У вас прямо государственная голова...

В тот же вечер Эдит посетила молодую женщину, Аусму Дадзис, муж которой — лейтенант войск СС — был убит в начале 1944 года около Опочки.

Вы знакомы с Фрицем Эвартом? — спросила Эдит.

Аусма Дадзис сказала, что знакома.

— Он шлет вам искренний привет.

— Как он поживает?

— Как может жить преследуемый герой? — вздохнула Эдит. — Живет в лесу, кровом ему служит звериное логовище... Борьба, постоянные опасности и вера в будущую удачу. Госпожа Дадзис, я пришла к вам с важным поручением...

— Пожалуйста, я слушаю.

— Поручение от руководства организации. Нам известно, что ваши денежные дела не в блестящем состоянии. Мы знаем, кроме того, что вы сошлись с одним спекулянтом.

Аусма опустила глаза.

— Не волнуйтесь, все это мне понятно. На вашем месте я делала бы то же самое. Но высокие лица находят, что слишком нерасчетливо связываться с мелким спекулянтом, который вот-вот очутится в тюрьме за свою деятельность. С вашей наружностью, с вашей культурой вы можете пленять и более крупных людей. Высокие лица выражают желание, чтобы вы сблизились с каким-нибудь видным партийным работником или даже чекистом. Он должен близко стоять к правительству республики, должен пользоваться большим доверием и знать все секретные планы большевиков. Если нужно — можете выйти за него замуж, вас за это только похвалят. Дальнейшее вам понятно. Через вас мы получим доступ к секретам наших врагов, будем знать их сокровенные мысли. Так мы завербуем вашего избранника, а через него и других. Когда в Латвии установится новая власть, — а этого слишком долго ждать не придется, — ваши заслуги не забудутся. Вы будете одной из первых женщин в Латвии.

— Но я совсем не привыкла так, — жалась Аусма.

— Я вполне разделяю вашу щепетильность, — сказала Эдит, — но ничего не поделаешь, придется на время ее отбросить. Мы этого требуем. Спешить не следует. Выбирайте осмотрительно, лучше сразу нескольких, и затем начинайте действовать. На случай неудачи у нас еще есть шантаж, но я думаю, ваше обаяние будет самым сильным оружием.

У Аусмы Дадзис Эдит осталась ночевать. К утру она окончательно уговорила молодую женщину, которая и без того не могла похвалиться строгостью моральных принципов.

Во второй день Эдит обошла еще несколько квартир и напоследок отыскала молодую девицу Эрну Калме, которую она знала с первого года войны. Кратковременная любовница многих немецких офицеров в годы

оккупации, Эрна теперь устроилась в какой-то ресторан буфетчицей и продолжала вести рассеянный образ жизни. Поручать ей серьезные задания боялись, слишком легкомысленная особа: как только напьется, — а это с нею случалось часто, — тут же все выболтает. Поэтому задание, полученное Эрной, вполне отвечало ее характеру.

— Ты, Эрныня, всю прожигай жизнь. Веселись и кути сколько влезет, только делай это так, чтобы и нам была польза. Пей и кути с советскими работниками, с чекистами и офицерами. Заставляй их больше тратить, пусть влезают в долги, пусть напиваются до скотского состояния, чтобы все смеялись над ними, а когда кто-нибудь из них окончательно разложится, тогда мы за него и примемся.

— Господи, да на что вам нужны такие? — удивилась Эрна.

— Такие-то и нужны!

Выйдя от Эрны Калме на улицу, Эдит чуть не столкнулась с Жубуром и Марой, которые, углубившись в разговор, шли ей навстречу. Между ними оставалось не более десяти шагов, когда Эдит заметила старых знакомых. Дрожь пробежала у нее по спине. Она быстро перешла на другую сторону улицы и поспешила скрыться в первом переулке, но сердце еще долго билось от испуга: Эдит показалось, что Мара остановилась и посмотрела ей вслед. «Наверно, узнала, теперь всем расскажет и даст знать, куда следует... Бледная графиня... Так вот ты какая... совсем красная стала. От своего мужа избавилась, а теперь вешаешься на шею Жубуру... Подожди, милая, придется тебе держать ответ. Как ты тогда запоешь, госпожа Вилде?»

Дела она кончила, поэтому в тот же вечер уехала из Риги, пристроившись на попутном грузовике.

— Подожди, Карл, ведь это Эдит Ланка, — шепнула Мара, заметив рослую стройную женщину, которая в это время переходила улицу.

Жубур остановился и оглянулся.

— Не может быть. Обрати внимание, какая на ней юбка, Эдит ни за что такую не наденет.

— Да нет же, я видела ее лицо, по-моему она тоже меня узнала.

Но женщина уже свернула в переулок.

— Если твоя правда, то я удивляюсь ее наглости, — сказал Жубур. — Неужели она не боится? Вспомни, что рассказывал про них Прамник...

— И все равно я уверена, что это Эдит, — упорствовала Мара. — Может быть, она под чужим именем живет?

— Вполне вероятно. На всякий случай надо будет позвонить в НКВД. Пусть заинтересуются. Нехорошо, что такие экземпляры разгуливают по улицам Риги. Если это Эдит, она попусту время терять не будет.

Вечером Жубуру необходимо было участвовать в каком-то совещании, поэтому они с Марой решили на Взморье не ехать, а ночевать в городе, принять ванну, почитать и просто посидеть вдвоем. Последнее удавалось им очень редко, столько у них было работы.

Жубур собирался с осени возобновить занятия в университете. За войну многое было забыто, и следовало заглянуть в кое-какие книги, чтобы успешно начать третий курс. Мара тоже не желала отставать от мужа и поступила в вечерний университет марксизма-ленинизма.

Но из проекта вечернего отдыха ничего не вышло: едва Жубур успел вернуться с совещания, как прибежал Джек Бунте и объявил, что ему нужно поговорить с ним с глазу на глаз.

— Вспомни старую дружбу, Карл, выручай советом. В ужасном я положении очутился.

Особой радости это посещение Жубуру не доставило, но отказать человеку он не мог.

Бунте начал с рассказа о деятельности своего шурина во время оккупации, а затем перешел к Эрне Озолинь.

— Я сразу догадался — они хотят нас шантажировать, чтобы мы слушались их. Но ты сам знаешь, мы с Фанией порядочные советские люди и ни на какие шахер-махеры не пойдём. Неужели это верно, что из-за Индулиса нас ушлют в Сибирь? Если мы не сделаем, как они велят, они заявят, и мы будем иметь неприятности.

— Ты скажи лучше по-честному, Джек: у тебя с оккупационными властями никаких дел не было? — спросил Жубур.

— Ну, честное слово, с места не сойти! — Джек вскочил и ударил себя кулаком в грудь. — Мне они такие же враги, как и тебе. В конце оккупации пришлось даже прятаться в подвале, иначе арестовали бы. Я в этом подвале такой ишиас нажил, инвалидом стал.

— Я не понимаю тогда, чего ты так боишься?

— Индулис все-таки мне шурин... Лучше бы он совсем не родился...

— Во-первых, ты обязан немедленно сообщить об этой Эрне Озолинь в НКВД. Расскажи все. Там работают люди со светлыми головами, они во всем разберутся. А заодно ты окажешь услугу народу. Дело это серьезное. Если хочешь, я тоже позвоню туда.

— По-твоему, тогда все будет в порядке? — неуверенно спросил Бунте.

— Если все, что ты мне рассказал, правда — можешь не сомневаться.

— Я так и сделаю. Пойду Фании скажу. — И он заторопился уходить.

Жубур, что-то вдруг вспомнив, спросил Бунте, как выглядела эта Эрна Озолинь, которая причинила ему столько волнений. Как она была одета? Бунте все запомнил довольно подробно, и ответ его подтвердил подозрения Жубура.

Когда Бунте ушел, Жубур сразу позвонил в НКВД. Окончив разговор, он вышел в кухню к Маре.

— А ты, женушка, оказывается, не ошиблась. Давешняя женщина и в самом деле была Ланка. Но сейчас она под другим именем прячется.

— Как ты узнал?

Жубур не успел ответить, как снова раздался звонок, и он пошел отворить.

Перед дверью, недоверчиво косясь друг на друга, стояли Эдгар Прамниек с большой папкой подмышкой и Эвальд Капейка. Они не были знакомы и случайно пришли в одно время. Так смешно было видеть на их лицах выражение отчужденности, что Жубур невольно рассмеялся.

— Скажите сначала, что вы подумали друг о друге, иначе не впущу, — сказал он. — Ну, Эвальд, говори первый.

Капейка даже сконфузился.

— Ничего особенного я не думал. Так показалось, что какой-нибудь живописец хочет продать свои картины.

— Почти угадал, — захохотал Жубур. — Прамниек действительно художник, только он не ходит по квартирам предлагать свои работы — их у него вырывают из рук.

— Ну, не совсем так, вырывать не вырывают, — поправил Прамниек, — но особенно навязывать их, верно, не приходится. Вы, молодой человек, не обижайтесь, но когда я увидел, что вы стоите перед дверью и не звоните, а о чем-то думаете, я сразу смекнул: «У него в кармане должна быть отмычка...»

— Мне трудно подыматься по лестнице, я устал и хотел отдохнуть, чтобы Жубур не подумал, будто я бежал сломя голову, — объяснил Капейка. — Особо срочных дел нет. Так, пришел поговорить о жизни.

— Примерно за тем же, за чем и я, — заметил Прамниек.

— Ну, тогда заходите, поговорим о жизни. — И когда гости познакомились и вошли в маленький кабинет Жубура, он спросил Капейку:

— Ну, Эвальд, каково же твое мнение о жизни и людях?

— О жизни я ничего дурного не скажу. Но среди людей еще порядочно

всякой пакости встречается. Иногда прямо диву даешься, откуда только берется это жулье! Ведь они над советской властью издеваются! В магазинах, на транспорте, в жилотделах, — куда ни сунься, на каждом шагу встретишь вредителя.

— Ну, не на каждом, конечно, шагу, но попадаются, — сказал Жубур.

— Хорошо, пусть не на каждом. Но безобразий все же еще много, и я этого не в состоянии переварить. Ну что можно сказать про такую, например, мадаму — да, именно мадаму, иначе ее не назовешь... Заказывает дюжину платьев в месяц, половину сбывает по спекулятивной цене через посредников на толкучке, чтобы иметь оборотный капитал, а потом, как шакал, бегаёт по обувным фабрикам и требует не меньше девяти пар туфель? У нее, видишь ли, муж крупная шишка в торговой сети. Или вот: на днях я столкнулся с одним работником жилотдела. Если ему не сунуть три тысячи рублей, ни за что не получишь ордера. Демобилизованный инвалид Отечественной войны не может получить одну комнату, а разжиревший спекулянт в два счета получает хорошую квартиру в любом районе. Ну, я, со своей стороны, помог отдать его под суд, будет теперь помнить, как взятки брать!.. — и он засмеялся довольным смехом.

— Да, грязная накипь, которая всплывает на поверхность, — сказал Жубур. — И эта накипь будет выловлена и выброшена вон. Только не надо забывать, друг, что, по-настоящему, мы живем в советских условиях только второй год, что на плечах у нас лежит тяжкий груз прошлого и его не стяхнешь за один день. Ясно, что и тебе, и мне, и каждому честному человеку нужно прямо-таки беспощадно драться, чтобы помочь обществу освободиться от этого наследия. Разными способами: и воспитывать, и убеждать, и разоблачать. Главное, чтобы не было благодушного отношения, когда видишь какое-нибудь безобразие. Знаете, как у некоторых: «Это не по моему ведомству, пусть этим другие занимаются...»

— Я иногда готов со злости кулаки в ход пустить, воскликнул Капейка. — Правда, и сам понимаешь, что этим способом многого не добьешься, только в милицию за хулиганство попадешь.

— Все мы нетерпеливо мечтаем о настоящем, могучем, прекрасном человеке, о человеке коммунистического общества, — продолжал Жубур. — Но ведь не надо забывать, что он уже есть, существует и делает свое исполинское дело. Он — хозяин жизни! А мы иногда в порыве раздражения и злости на какую-нибудь мерзость, вот как это случается с Эвальдом, можем и забыть об этом. Я говорю так не для успокоения, а для того, чтобы ты всегда помнил об этом, чувствовал себя уверенным в борьбе. Вспомни нашего Андрея. Он ли не умел видеть врага, но у него в то

же время была удивительная способность замечать все новое, видеть в настоящем ростки будущего, короче говоря, неизбежность победы коммунизма. Да и как же иначе! Что нам показала война? Это ведь не просто одно государство воевало с другим, это была война прошлого, отжившего, с будущим. А кто победил — ты и сам знаешь. Посмотри вокруг, как самоотверженно работают люди на стройках и на полях, в городе и в деревне. У них уже понятие «мое» вытесняется понятием «наше». Нет, Эвальд, нельзя сомневаться в человеке только потому, что осталась еще на свете кучка полуразложившихся трупов.

— Лучше бы ее вовсе не было, — сказал Прамниек. — Падаль, даже если она занимает мало места, может далеко вокруг испортить воздух.

— Это хорошо, Прамниек, что ты чувствуешь, где гниет, — улыбнулся Жубур. — Так легче найти и убрать эту падаль. А теперь показывай, что у тебя в папке.

— Кое-какие работы бродячего живописца, как совершенно правильно предположил товарищ Капейка. Первая часть цикла «Фашистская оккупация».

В комнату вошла Мара. Прамниек разложил на столе большие листы ватмана. Все замолчали при первом взгляде на рисунки. Дегенеративные физиономии убийц и садистов... Виселицы, полные трупов рвы, шествие заключенных к саласпилским каменоломням... Затравленный собаками старик и ребенок, которому гестаповец рассек голову... Тюремные камеры и бесконечное шествие обреченных на смерть к румбульским соснам...

— И все это правда, — прошептала Мара.

— Так это и было в действительности, — медленно сказал Капейка. — Все нарисовано правильно, и я могу это засвидетельствовать.

— Когда ты закончишь весь цикл? — спросил Жубур.

— К весне, наверно. До того времени опубликую лишь несколько рисунков.

— Жаль, что так нескоро. Все должны это увидеть, запомнить навсегда. А то многие уже начинают кое-что забывать, думать, будто фашизм — дело прошлое.

— Мне хотелось показать это в десять раз резче, сильнее. Здесь еще бледно получилось. Но ваше одобрение меня обрадовало. Начинаю верить, что все-таки удалось.

Мара накрыла стол и позвала всех ужинать. За чаем Капейка объявил, что хочет посоветоваться с Жубуром, как лучше сделать: окончить техникум, в котором он когда-то учился, или поступить в вечернюю общеобразовательную школу?

Жубур посоветовал выбрать техникум: его можно окончить за два года, а там видно будет.

Гости просидели долго — вечер незаметно пролетел в оживленных разговорах.

Глава четвертая

1

В конце мая Марта Пургайлис вернулась в родные места. После капитуляции гитлеровской армии она достала из тайника свои документы: партийный билет, паспорт, служебное удостоверение и простилась с добросердечными хозяевами, которые укрывали ее больше восьми месяцев, не сетуя на большой риск.

До Риги Марта добралась на армейской машине и там первым долгом навела справки о своем приемном сыне. Она нашла его в одном из детских домов Наркомата просвещения. Заведовала им все та же Буцениеце, на попечении которой Марта оставила Петерита в 1943 году. Шестилетний мальчуган, сильно вытянувшийся и окрепший, уже учился читать и мог написать свое имя. Марта попросила разрешения оставить его здесь еще на некоторое время, пока она не устроится на работу.

Центральный Комитет направил Марту парторгом в ее родную волость. Ее предупредили, что волость — одна из самых трудных во всем уезде, и посоветовали немедленно взяться за работу. Марта уехала в тот же день. С мешком за плечами, в мужских сапогах, в беленьком платочке, шла она от станции по знакомым местам, замечая внимательным взглядом все перемены, которые произошли здесь за четыре года. И много она увидела этих перемен. Некоторые дома близ дороги были сожжены; от красивого здания Народного дома остались одни развалины; железобетонный мост взорван, и на его месте, видимо совсем недавно, выстроили новый, деревянный.

Крестьяне еще не разделались с весенними работами. То здесь, то там можно было увидеть сеятеля, который медленно шел вдоль борозды и разбрасывал семена. Когда вдали завиднелись крыши усадьбы Вилдес, Марта уловила знакомые звуки, потревожившие в ее памяти какие-то дорогие воспоминания. Работал трактор. И перед глазами Марты всплыло то самое утро, когда два бывших батрака — Ян Пургайлис и его жена —

стояли под весенним солнцем и смотрели, как трактор вспахивает их землю.

Теперь солнце так же сияло над землей, в траве сверкала роса, трактор тащил сеялку по полю какого-нибудь бывшего батрака. Только Яну Пургайлису больше не увидеть этого. Он сам, как семя новой, свободной жизни, лег в землю родины, и народ из поколения в поколение будет собирать обильный урожай, который вырастет из этого драгоценного семени.

Марта Пургайлис стояла на дороге и всматривалась в поля. Глубокой ночью рука об руку ушли они с Яном из дому, не зная, что ждет их в этом пути. Теперь она здесь одна и не знает, что ее ждет дома.

«Не давай сердцу воли. Ты не вспоминать пришла, а работать. Надо крепиться».

И Марта медленно зашагала к усадьбе Вилдес.

Незнакомая, выращенная во время оккупации собака залаяла на нее у ворот и, злобно ворча, проводила через двор.

Из окон хозяйского дома и домишек батраков выглядывали чужие лица. Наконец, Марта увидела возле клетки знакомое лицо, и, хотя это был только Бумбиер, ей стало веселее. Старик, очевидно не узнав, сердито посмотрел в ее сторону, а когда Марта подошла ближе, отвернулся и снова стал возиться с хомутом.

— Добрый день, дядя Бумбиер.

На бородатом лице появилось какое-то странное выражение: оно могло означать и улыбку, и гримасу удивления, и злую усмешку. Узловатая рука нерешительно потянулась к руке Марты.

— Пургайлиене? Батюшки, вот нежданно-негаданно... Вернулась? А сам где же? Как это ты без хозяина?

— Хозяин в могиле. Убит на войне.

— Одна будешь хозяйничать? Ох, земля не любит, чтобы с ней играли, земля любит, чтобы ее потом удобряли.

— Пот она получит, Бумбиер.

Марта положила мешок на порог клетки и присела отдохнуть.

— Расскажи, что у вас нового.

— Есть кое-что, только хорошего мало, — буркнул старик. — И чего можно ждать путного, когда дом без хозяина остался? Прошлой осенью, когда стали подходить красные, немцы угнали все семейство, вместе с Каупинем угнали, который в волостном правлении был. И мне бы не миновать того, да я вовремя убежал в лес.

— Зачем неправду говоришь, Бумбиер, — спокойно сказала Марта. —

Мне известно, что и Вилде и Каупинь сами убежали. Надо думать, немало грехов у них набралось за эти годы.

— Кто его знает, какие у кого грехи. Если ко всем так строго подходить, у самого что ни на есть праведника и то найдется что-нибудь.

— Ну, ладно, ладно, со временем все узнается, — Марта примирительно улыбнулась. — А как с нашим имуществом?

— Ничего стоящего не найдешь. Немцы все конфисковали. Разве мелочь какая-нибудь где завалилась, хламье какое-нибудь.

— Кто в нашей комнате живет?

— Новые землевладельцы, — ответил с сарказмом Бумбиер. — Ведь хозяйскую землю всю как есть поделили, а как увидели, что от Пургайлиса нет вестей, весной вашу землю тоже отдали инвалиду какому-то. Вот и получается, Пургайлиене, что осталась ты и без мужа и без земли. Может, советская власть и нарежет участочек на краю болота. Спорить ведь не станешь — власть твоя же.

— А может, и не понадобится никакого участочка.

— Как же ты жить будешь. Опять батрачить пойдешь?

— Там видно будет.

Марта встала, вскинула на спину мешок и пошла со двора.

— Погоди, куда ты, Пургайлиене?

— В волостной исполком, — не оглядываясь, крикнула Марта.

— Фу-ты, ну-ты — искать правды у большевиков. От Биезайса ты многого не добьешься, Пургайлиене. Ты с ним каши не сварешь.

Через полчаса Марта сидела в кабинете председателя волостного исполкома.

— Центральный Комитет партии прислал меня к вам в помощь, — говорила она, серьезно глядя в сонное широкое лицо Биезайса, в красные припухшие глаза («не то работал всю ночь, не то пил», — подумала она). — Поймите только, что при мне ваше значение ничуть не уменьшается, вы как были руководителем волости, так им и останетесь и по-прежнему будете заниматься всеми хозяйственными и административными вопросами. Я, по возможности, стану помогать вам. По всем важным делам будем советоваться, договариваться, но хозяин здесь все-таки вы. У меня как у парторга найдется много своих обязанностей. В общем, я думаю, дел в волости хватит на нас обоих.

— Чего другого, а дел хватает, — с готовностью подтвердил Биезайс. Но было заметно, что появление парторга не очень его обрадовало.

— Довольны вы своими сотрудниками?

— Ничего, работать можно. Хорошие люди. Лакст, мой заместитель,

правда, любит погорячиться... Секретарь — Лаздынь — тоже способная работница, с бумагами у нас никаких неприятностей пока не случилось.

— А как агент по заготовкам?

— Буткевич, можно сказать, преданный человек. Свое дело знает. С людьми тоже умеет ладить. На Буткевича никто не жалуется.

— Уполномоченный милиции?

— Честнейший человек. Характера довольно хорошего. Горячку пороть не станет.

— Мне надо с ними со всеми познакомиться, — сказала Марта. — А пока подумаем, где мне устроиться.

— Насчет квартиры? Квартирку мы вам подберем.

— Квартира мне пока не нужна, я остановлюсь в усадьбе Вилдес, где до войны жила. Мне нужна комната здесь, в исполкоме, где можно работать и принимать посетителей. Маленькую какую-нибудь.

— Внизу все занято. Если согласитесь, дадим на втором этаже... Там есть две маленькие комнаты.

— Ну и хорошо. Стол, два-три стула, наверно, найдутся?

— Если в исполкоме не найдутся, возьмем из квартиры бывшего волостного писаря. Товарищ Лаздынь занимает там одну комнату, а их три.

Они еще немного поговорили о работе, о положении в волости и уезде. Марте каждое слово приходилось чуть не клещами вытягивать из председателя. Тут же она убедилась, что он многого не знает о своей волости — ни размеров посевной площади, ни поголовья скота, не мог сказать даже, требуется ли помощь семенами и рабочей силой.

— Этими вопросами занимается заместитель, — флегматично объяснил он. — Поговорите с ним, у меня в голове эти цифры никак не держатся.

Марта и сама решила, что первую информацию лучше получить из более верных источников.

Весь день она провела в исполкоме. Сначала познакомилась и поговорила с Ирмой Лаздынь, при этом узнала, что родители у нее старохозяева, имеют 25 гектаров земли, что один брат — легионер и ушел с немцами, а младший — в Красной Армии, награжден орденом «Слава». Больше всего она узнала из разговора с заместителем Биезайса — Лакстом, оказавшимся энергичным и серьезным человеком, — недаром он всю войну пробыл в партизанском отряде.

Агента по заготовкам вызвали на совещание в уезд, а уполномоченный милиции уехал по делам на другой конец волости, так что знакомство с ними пришлось отложить на следующий день.

«Будет мне работа, — думала Марта. — Мне бы теперь твою силу и выдержку, Ян, чтобы справиться со всеми обязанностями».

Вечером, когда она, убрав свою рабочую комнату, собралась уже идти в усадьбу Вилдес, к ней заглянул первый посетитель. Это был директор МТС, Владимир Емельянович Гаршин. В исполком он пришел по какому-то делу, но когда Ирма Лаздынь сказала о приезде парторга, он пошел знакомиться с Мартой. В разговоре выяснилось, что Гаршин хорошо знал мужа Марты, так как командовал ротой в том же полку, что и Ян Пургайлис.

— Я рад, что наконец-то в волости будет настоящая партийная организация. Теперь мы, партийцы, будем работать сообща. Готов помогать вам, как умею. И вы тоже не стесняйтесь, берите меня за бока.

— Спасибо, товарищ Гаршин, стесняться не буду. Мне часто придется обращаться к вам за помощью, потому что член партии я молодой и опыта, признаться, у меня почти что и нет.

— Будьте покойны, мы своего парторга не подведем, — добродушно засмеялся Гаршин.

В дверь побарабанили пальцами, и вошла Ирма Лаздынь. Бросив беглый взгляд на Марту, она обратилась к Гаршину:

— Товарищ Гаршин, председатель пришел, к нему сейчас можно. Придете?

Она говорила неуверенно, запинаясь.

— Знаете что, я лучше завтра приду. У нас с товарищем Пургайлис важный разговор. Пусть Биезайс не ждет меня.

— Пожалуйста, — разочарованным тоном сказала Ирма Лаздынь. И опять бросив на Марту холодный, пронизывающий взгляд, ушла.

Гаршин начал рассказывать про работников исполкома:

— Председатель лентяй и пьяница, за бутылкой подружился с кулаками. Здесь они, к вашему сведению, не дремлют. Уполномоченного милиции и агента по заготовкам опутали взятками. Каждого нового работника стараются приручить. Пытались сделать это и со мной: И к вам будут подъезжать, так что смотрите в оба. Единственный человек, который твердо стоит на ногах, — это Лакст, но он здесь не хозяин.

— А секретарь?

— Секретарь Ирма Лаздынь странноватая девица. Свое дело делает хорошо, аккуратно, но душу в него не вкладывает. Холодок в ней чувствуется какой-то. Советую вам поближе познакомиться с нею, присмотреться... Мне кажется, она не то что враг, но не совсем еще наша. Словом, ни рыба ни мясо, ни то ни се.

Гаршин вышел вместе с Мартой и проводил ее почти до усадьбы Вилдес. Прощаясь, он сказал:

— По-моему, вам лучше устроиться на житье в доме исполкома. Что же вы будете каждый вечер возвращаться в усадьбу Вилдес. Не очень близко ведь. Подумайте об этом.

— Хорошо, подумаю, — сказала Марта. Гаршин крепко пожал ей руку и пошел.

«Какой славный, видать хороший партиец — подумала Марта. — И сразу обо мне подумал. А что может со мной случиться? Война кончилась, и победили мы Ян, Гаршин, Жубур, Сникер... и я».

2

Ранним утром к усадьбе Вилдес приближались две подводы. Обе были нагружены множеством мешков, сундуков, узлов с платьем и разной хозяйственной утварью; позади них плелись усталые коровы. Первой лошадей правил Каупинь, второй — старый Вилде. Одетые в самую плохую одежку, в постолах, они медленно шагали сбоку, беспокойно поглядывая по сторонам, а их жены, закутанные в большие домотканые платки, с важным видом восседали на возах.

У ворот усадьбы Вилдес они простились. Каупинь поехал дальше, в волостной исполком, а Вилде завернул во двор. Собака залаяла, но сразу замолчала, узнав приехавших.

— Посмотри, Эмма, вишь как узнала хозяина, — сказал Вилде жене, отбиваясь от собаки: она высоко прыгала, стараясь лизнуть в лицо, хватала зубами.

— Тише, Карав, не изорви одежду. Твой хозяин уже не тот богач, что раньше.

Во двор выскочил, еле успев натянуть посконные штаны, Бумбиер.

— Добрый денек, добрый денек. Теперь, значит, дома... Я тут изождался — каждое утро, каждый вечер на дороге караулил, не едете ли.

— На дороге караулить нечего, лучше бы за домом глядел, чтобы не обворовали, — сердито оборвал его Вилде. — Что, все тут на месте?

Бумбиер втянул голову в плечи и только кряхтел, не находя слов. В эту минуту он очень походил на провинившегося пса, будь у него хвост — поджал бы.

— Не моя тут вина, хозяин дорогой. Я старался как мог, как лев, можно сказать, грызся за каждую машину, за каждую комнату... Разве они будут

меня слушаться?

— Что? Позволил имущество мое растаскивать? Чужаков напустил в мой дом? Я теперь вижу, что здесь творится. Это что за телега? А это чья кляча за хлевом пасется?

— Разные тут людишки, хозяин... все больше из этих самых, из безземельных. Но только я тут не виноват. Я со всей строгостью, хозяин... Только силенок нет таких. Что с ними поделаешь, когда у них власть?

— Не юли, не юли, вон распрягай лучше лошадь. Устали с дороги так, что с ног валимся. Ты, мать, не стой на дворе, проходи в дом.

— В дом-то нельзя, — испуганно зашептал Бумбиер. — Весь заняли новые жильцы.

— Мой дом? — рассвирепел Вилде. — По какому же это праву? Они у меня сейчас вон вылетят.

— Погодите, хозяин, не круто ли беретесь, — еще отчаяннее зашептал Бумбиер. — Сперва добром попытайтесь. Вы ведь не знаете ничего — без вас дом объявили бесхозным. Думали, больше не вернетесь. Думали, вы у этих — у шведов.

— А куда мне теперь деваться? На улице меня жить не заставят.

— Свободное место в настоящий момент есть только в бане, — раздался за их спинами женский голос. Бумбиер от испуга сплюнул: кой черт выгнал в такую рань из дома эту Пургайлиене? Вилде тоже перестал шуметь, узнав Марту.

— В бане? — переспросил он. — А где людям париться? Людям иногда надобно и помыться...

— Несколько дней пожить можно, — ответила Марта. — Когда я переберусь в исполкомовский дом, тогда вы займете мою комнату.

— А что же ты... что вам в исполкоме делать? Рассыльной, что ли, там?

Бумбиер шепнул ему что-то на ухо. Вилде от удивления разинул рот, с минуту смотрел на Марту, как на диво какое, потом сделал умильное лицо и сказал:

— Двойное горе: то немцы угоняют, заставляют мытариться по чужим краям, то свои из дому выбрасывают. В баню... неужели я больше ничего не заслужил за свою трудовую жизнь?

— Будет вам сказки рассказывать! Видела я вас в Курземе прошлой осенью. Ночевали в одном месте, не доезжая до Ренды. Там вы говорили совсем другое про свой отъезд.

Марта вышла за ворота и направилась к волостному исполкому. Вилде молча смотрел ей вслед, подбородок у него дрожал.

— Боже ты мой, в Курземе была... Эмма, ну чего ты еще дожидаться? Сказано — иди в баню. Мы с Бумбиером разберем воз. И где у этих немцев глаза были, чего они оставили эту бабу разгуливать на свободе?

В каретнике, куда они относили самые громоздкие вещи, в самом углу, лежали два надгробных камня, те самые, которые Вилде в начале войны привез с еврейского кладбища.

— Бумбиер, скотина ты безголовая! — выругался он, увидев их. — Молотилку и сенокосилку выпустил из рук, а эти несчастные камни оставил, чтобы люди над нами потешались.

— А я знал, что они вам теперь не нравятся? — простодушно оправдывался Бумбиер. — Такие богатые камни... еще пригодятся.

Вилде метнул на него свирепый взгляд.

— Хоть бы прикрыл чем-нибудь, чтобы в глаза не бросались. Увидят большевики, начнут допытываться, где взял.

Во дворе исполкома Марта Пургайлис увидела другой воз. Каупинь, заметно спавший с лица и с брюха, сидел на колоде для колки дров и ждал, когда откроют исполком.

— Что вы тут делаете? — спросила Марта. — Вместе с Вилде вернулись? Плохо разве в Курземе было?

— Бездомному везде плохо, — вздохнул Каупинь.

— Как бездомному? — удивилась Марта. — Кто вас гнал из дому? По своей воле уехали, когда Красная Армия стала подходить. На всю Курземе крик подняли, чего только про большевиков не болтали. Своими ушами ведь слышала. У лжи тараканьи ножки, Каупинь.

Не дожидаясь ответа, она вошла в исполком. Каупиня от ее слов холодный пот прошиб. «Чего это она ни свет ни заря в волисполком прибежала? Не жаловаться ли? Хоть бы скорее открыли канцелярию...»

Когда пришел Биезайс, Каупинь поспешил к нему на прием. Биезайс довольно сочувственно выслушал его рассказы о всех бедах, но решить вопрос о приеме на прежнее место не осмелился.

— Сначала надо посоветоваться с товарищем Пургайлис.

— Кто еще такая?

— Парторг волости. Недавно приехала. Если она согласится, тогда пожалуйста. Я с партией ссориться не хочу.

Марта не согласилась. Поняв, что сюда больше не стоит соваться, Каупинь пошел наведаться в другое место.

После обеда шофер МТС принес Марте записку: «Очень прошу вас прийти сегодня в десять часов вечера в МТС. Необходимо ваше участие в

одном важном деле. Гаршин».

— У вас там ничего не случилось? — спросила Марта у шофера.

— Нет, не случилось. Что мне передать товарищу Гаршину?

— Скажите, что сделаю, о чем он просит.

В половине десятого Марта заперла свою комнату и пошла в МТС. Ирма Лаздынь, работавшая в это время в исполкомовском садике, подошла к изгороди и стала смотреть ей вслед. Когда Марта свернула с дороги направо, в сторону МТС, глаза у девушки потемнели, губы презрительно скривились.

«На свидание... к Гаршину».

Ирма Лаздынь ушла в свою комнату, заперлась на ключ и долго сидела у окна в тревожном раздумье.

«Неужели Марта Пургайлис лучше меня? Если бы Гаршин догадался... может быть, посмотрел бы на меня другими глазами. Увидел бы, понял... Им есть о чем говорить, а о чем он будет говорить со мной?.. Я чужая... Хозяйская дочка».

В МТС Марту ждала приятная встреча. У Гаршина сидел капитан Рубенис, с которым она познакомилась на фронте под Великими Луками.

— Не думали здесь встретить? — спросил он улыбаясь. — Правда, я тоже не ожидал, иначе привез бы привет от Айи.

— Проездом, наверно?

— Не совсем. Понятно, старого — боевого товарища, — он кивнул на Гаршина, — все равно навестил бы, но на этот раз попал к вам по делу. Гаршин, начнем, может быть?

— Давайте. — Гаршин вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в обществе молодого капитана — это был начальник уездного отдела НКВД. Гаршин закрыл окно, опустил штору и зажег лампу. Все сели за стол.

— Я явился сюда со своими гвардейцами, — негромко начал Юрис, — чтобы очистить здешние леса от бандитов. Бойцы остались в лесу — не стоит раньше времени подымать шум, спугивать преступников. Меня интересует, сколько истребителей вы можете дать для предстоящей операции и кого порекомендуете взять проводниками. Нужны по меньшей мере четыре человека, хорошо знающие местность.

— Хотя я и здешняя, но вернулась недавно, поэтому пусть лучше товарищ Гаршин укажет, кого взять, — сказала Марта.

— Я думаю, всех истребителей созывать не стоит, — сказал Гаршин. — Биезайс роздал оружие кому попало, не узнав толком всех людей.

Совещание продолжалось около часа. По имеющимся в уездном отделе НКВД сведениям, в окрестных лесах находилась одна из главных бандитских баз. Задача состояла в том, чтобы обнаружить ее, а затем окружить.

— Надо расспросить у лесников, — сказал Юрис. — Они должны знать, что делается на их участках. Как ты находишь? — он обернулся к капитану.

— Это можно сделать, но только побыстрее, до наступления утра.

— Если начнем действовать сейчас, успеем, — ответил Юрис. — Можно разделить на две группы.

К леснику самого дальнего участка поехали Юрис Рубенис с Гаршиным. Поехали на трофейном мотоцикле с прицепом. На всякий случай они взяли с собой автомат, и Гаршин, сидя в люльке, держал его в боевой готовности. В сущности эта мера предосторожности была принята так только, для порядка, потому что бандиты, если они здесь и скрывались, вряд ли вели наблюдение за этой глухой лесной дорогой, где в обычное время редко показывались люди.

Въехав в самую чащу, они остановились возле домика лесника. На стук вышел со свечой в руках невысокий коренастый мужчина с громадными черными усами.

— Кто тут? — сердито спросил он.

— Свои, — ответил Юрис. — Впускайте, не бойтесь.

— Что вам нужно?

— Нам надо поговорить с лесником Микситом.

— Я и есть Миксит.

— Вот вас мы и ищем — повторил Юрис. — Нам надо поговорить с глазу на глаз. Только быстрее, товарищ, у нас времени мало.

Миксит ввел их в комнату, стены которой не раз видели и шумные охотничьи пиры и тайные совещания. Все трое сели за стол.

— Товарищ Миксит, хотите вы помочь советской власти? — начал Юрис.

— А вы кто такие? — глядя на него исподлобья, спросил Миксит.

— Вы разве меня не знаете? — в свою очередь спросил Гаршин. — Вас я где-то видел, может быть и вы вспомните?

— Не директор МТС? — подумав, сказал Миксит. — Весной на одном собрании как будто видел...

— Так и есть. Значит, ясно, что вы имеете дело не с какими-нибудь бандитами.

— Это я вижу, — тихо сказал лесник, опуская глаза.

Юрис сразу приступил к делу.

— Расскажите, в каком месте здесь прячутся бандиты, чтобы нам легче было их накрыть. Мы вас все равно не отпустим, пока не прочедем весь лес. На опушке стоят войска и ждут приказа. Будет плохо, если вы ничего не скажете, а мы потом обнаружим их в лесу.

Несколько минут Миксит сосредоточенно думал, у него даже кончики усов подергивались. Несколько раз он пытливо взглядывал то на Юрису, то на Гаршина. Лицо его становилось все угрюмее. Наконец, он глубоко вздохнул и начал говорить:

— Сам вижу, как скверно получается... Ведь со дня на день, не сегодня-завтра собирался пойти к властям и все рассказать. Может, тогда простили бы... Увидели бы, что я чистосердечно признаюсь. Теперь вон как получается... Одно дело, когда добровольно, другое дело, когда заставляют...

— Если чистосердечно расскажете и поможете нам изловить бандитов, и к вам отнесутся по-другому. Никто вас не тронет.

— Не тронут? Я ведь, правда, ничего такого не сделал... Я в их делах не помогал. Знал, правда, где они скрываются, но давно хотел покончить с этим, ждал, когда случай выдался.

— Теперь этот случай выдался, и у вас есть возможность искупить свою вину, сказал Гаршин.

— Прошу еще принять во внимание, что я простой, необразованный человек... В политике всю жизнь не разбирался, что мне начальство приказывало, то и делал. Думал, так надо, начальство умнее меня. Ну вот... у меня есть жена и дети, мне бы работать лесником, как работал смолоду. А если посадят в тюрьму...

— Погодите, — перебил его Юрис. — Вы нам помогите очистить лес от врагов народа, и советская власть зачтет вам это.

— А они... эти бандиты... не узнают? Мне тогда крышка.

— Не беспокойтесь, бандитам самим будет крышка.

Миксит придвинулся ближе к Юрису и Гаршину и заговорил. Он шептал так тихо, что иногда нельзя было разобрать его слов. Тогда Юрис просил, чтобы он повторил.

Миксит ничего не утаил: рассказал и о Никуре, и историю «зеленой гостиницы», начиная с 1940 года, и о зимнем совещании бандитских главарей, и о роли Радзиня и Ницмана в этом деле. В последние дни, по его словам, в «зеленой гостинице» скрывалось тринадцать вооруженных бандитов.

Выслушав лесника, Юрис и Гаршин сразу решили, что не имеет

смысла поднимать шум на весь лес, достаточно одного взвода, и «гостиница» будет окружена со всех сторон, а если удастся снять охрану, то бандитов можно взять в одном белье.

— Нам надо действовать быстро, — сказал Юрис. — Я сейчас поеду в МТС, посажу ребят на грузовик и через час — полтора вернусь. Ты, Гаршин, оставайся здесь, занимай хозяина. — Он обернулся к Микситу: — Пока операция не будет закончена, мы не разрешим вам выходить из дому.

— Я понимаю, — пробормотал Миксит.

Под утро взвод стрелков Юриса Рубениса окружил «зеленую гостиницу». Часовых сняли без шума, но когда Юрис со своими бойцами бросился в большую землянку, их встретили огнем автоматов. Пришлось пустить в ход ручные гранаты. Но даже после этого бандиты продолжали стрелять из последнего укрытия в глубине землянки.

Когда стрелки уже ворвались в это укрытие, бандитская пуля попала в грудь Юрису Рубенису. Он упал без сознания и не видал, как его товарищи очистили «гостиницу»: пять оставшихся в живых бандитов с поднятыми руками вышли из своего убежища и сдались в плен, восьмерых убили в коротком бою. В «гостинице» нашли изрядный запас оружия, боеприпасов и продовольствия.

Один сержант, нагнувшись над раненым командиром, убедился, что сердце еще бьется.

— Может быть, удастся спасти... — угрюмо сказал он. — Ну, а если нет... если капитан Рубенис умрет, — я своими руками расстреляю этих негодяев. Потом пускай судят.

Пленные забеспокоились. Один из них, запинаясь, сказал:

— Я военный фельдшер. Если желаете, могу оказать первую помощь.

— Обойдемся без тебя, выродок... — ответил сержант. — У нас есть свой врач.

Еще через несколько часов арестовали Радзиня и Ницмана.

Петер Спаре стоял у ската и смотрел, как бревна одно за другим — ползли вверх, отмеряя путь к лесопильному стану. Буксир только что привел новые плоты, и рабочие проворно двигались среди нагромождения бревен, разбирали их и распределяли по запани. Сын сплавщика, с детства приучавшийся держаться на движущемся по воде скользком бревне, Петер Спаре со знанием дела наблюдал за работой. Седоусые плотовщики, в

самой непринужденной позе стоя на плывущих лесах, так ловко действовали баграми, притягивая, поворачивая в нужном направлении и затем точным, красивым движением пригоняя каждое бревно на место, будто у них под ногами была твердая почва. Молодежь, только что начавшая обучаться ремеслу, без особой охоты покидала маленькие мостки. Иной храбрец уже успел выкупаться, вызвав этим веселый хохот товарищей. Это называлось крестинами, потому что ни один плотовщик не обошелся в свое время без такого купания.

Пилы пели свою бодрую песню, солнце отражалось в гладком зеркале воды. Дымилась древесная пыль, благоухали свежераспиленные доски; собранная в большую кучу, сохла древесная кора.

— Дружище, смотри багор не потеряй! — крикнул Петер молодому рабочему. — Слышишь, как стучит? Прибей покрепче к шесту, а то утопишь.

— Есть прибить, — бойко ответил парень и тотчас стал осматривать багор.

Петер шел дальше. На складской площадке он поговорил с носчиками досок, которые, взяв на плечи по пять-шесть досок, заносили их по наклонным мосткам на штабеля.

— Успеваете уносить, что напилят? — спросил Петер.

— Глядите сами, — ответил старый носчик, — из-за нас заторов не бывает. Товарищ директор, куда идет эта продукция?

— В Экспортную гавань; на строительство пристани. Остальной материал пойдет на суперфосфатный завод. Заказчиков так много, что не успеваем пилить.

— Да, материалу требуется много, — задумчиво сказал рабочий. — Пока все военные прорехи не залатаем. Ну, ничего, сообща как-нибудь. Если раньше для господ успевали, неужели для своей власти сил не хватит?

У сушилки Петер встретил старого Мауриня.

— Как дела, друг?

— Жаловаться не на что, — улыбнулся Мауринь. — Теперь у меня голова не болит. Пускай о заводе думает директор, у него голова умнее, а я со своей сушилкой как-нибудь управлюсь.

— Подожди радоваться раньше времени, Мауринь. Нигде не сказано, что ты надолго освободился от обязанностей директора. Меня ведь только временно сюда командировали, пока завод не достигнет довоенной мощности. После этого — до свидания, Мауринь, становись опять на свое место.

— Ну зачем дразнишь старика? — умоляюще сказал Мауринь.

— Я серьезно. Ты же знаешь, что после демобилизации меня совсем было взяли на другую работу. Рано или поздно, а отсюда уйти придется.

— Разве нельзя подготовить кого-нибудь помоложе?

— Зачем готовить, когда есть готовый? Проверенный на работе, с богатым опытом — наш старый Мауринь... Никто так не любит свой завод, как он.

Разговор прервал сотрудник конторы, который прибежал сказать, что директора просят к телефону: срочный разговор. Петер направился к конторе.

Звонил Ояр Сникер.

— Мне надо с тобой как можно скорее увидеться. Ты еще долго будешь у себя?

— До вечера.

— Тогда через полчаса приеду.

Действительно, через полчаса он был на заводе.

— Ну, что у тебя? — спросил Петер, входя с ним в свой кабинет. — Пиломатериалы, наверно, нужны для «Новой коммуны»? Немного могу подбросить.

— Нет, не то, Петер. Я не за этим...

Петер посмотрел на Ояра и тут только заметил, какое у него серьезное выражение лица.

— Очень плохое известие. Про Юриса... Ты знаешь, что он на днях поехал со своими стрелками в уезд чистить леса от бандитов.

— Ну? — Петер с внезапной тревогой посмотрел на Ояра. — Что с Юрисом?

— Давеча звонили из уезда. Юрис... убит при столкновении с бандитами.

— А Айя знает? Ох, ты понимаешь, Ояр, ведь в ее положении...

— Об этом я и хочу сказать. Хорошо, если бы ты к ней сейчас поехал, пока кто-нибудь случайно не сболтнул.

— Юрис убит... Всю войну ни одна пуля не тронула. Ведь разведчик, самые опасные места излазил. Бессмыслица какая! Ты точно знаешь, это правда?

— Начальнику уездной милиции, кажется, можно верить...

— Он сам был там?

— Ему сообщили...

— Нужно позвонить секретарю уездного комитета партии.

— Я могу позвонить, но ты все равно поезжай скорее к Айе. Все же легче услышать от близкого человека.

— Я сию минуту еду, а ты садись к аппарату и созванивайся с уездным комитетом. Если что узнаешь, звони в райком к Айе. Я до твоего звонка от нее не уеду.

— Ладно, Петер. Ты только поскорее.

Через двадцать минут Петер был в райкоме комсомола. Когда он вошел к Айе, сидевшие у нее второй секретарь и инструктор молча встали и вышли.

Айя испуганно посмотрела на брата.

— Ты про Юриса... — запинаясь, сказала она. — Я уже все знаю. Не бойся, Петер. Я ничего... Я выдержу. Разве Марте Пургайлис легко было услышать такое же вот... известие? Разве ей не больно было? Но нет — пока сама его не увижу... не поверю, не могу поверить.

Но как она ни сдерживалась, губы у нее вздрагивали, глаза блестели.

— Подумай, Петер, какая у нас началась прекрасная жизнь... И у нас, и у тебя, и у всех... — Айя говорила тихо, почти шепотом, подперев лоб рукою. — Мы так ждали ребенка... Только жаль, что он... Жаль...

— Я понимаю тебя, сестренка... — Петер погладил Айю по волосам, потом достал носовой платок и вытер ее влажный от пота лоб. — Ты такая, какой я всегда знал тебя, милая моя, сильная сестра, Айя, родная...

— Я знаю, Петер... хорошо, что ты пришел. С тобой мне легче...

Зазвонил телефон. Петер снял трубку.

— Слушаю. Ты, Ояр? Ну, что? И это проверено?.. Точно?.. — Он повернулся к Айе и громко крикнул: — Айя, ты слышишь, он жив! — Потом опять нагнулся над трубкой и стал слушать. Чувствуя на себе взгляд сестры, он время от времени ободряюще кивал ей. — Молодец, Ояр. Приезжай сейчас же. Все вместе поедem к нему.

Он положил трубку и радостно посмотрел на Айю.

— Все в порядке, сестренка. Юриса привезли сюда, в военный госпиталь. Полчаса тому назад оперировали... пуля извлечена... Да, его ведь в грудь ранили... но врачи уверяют, что опасность больше ему не угрожает.

Айя вдруг стала громко всхлипывать. Теперь она, не стыдясь, дала волю слезам.

С середины июля до середины августа Имант гостил в Биргелях. Была самая горячая пора. Не успели кончить уборку сена, как пришло время

косить рожь. Имант с Жаном и Ритой каждый день работали в поле, наравне со старшими. В начале августа зашумела молотилка, а в воскресенье утром красный обоз потянулся к пункту Заготзерна.

Что значит для счастливых людей один месяц? Время летит как быстролетная птица, дни с непостижимой быстротой сменяются ночами, горячая работа — мечтаньями при лунном свете, а день отъезда все приближается, и молодым людям становится так грустно, будто подошла уже осень. Конечно, многое стало ясным многое непреложно решено на всю жизнь, но больно щемит сердце при мысли, что скоро потянутся долгие однообразные месяцы, которые придется прожить воспоминаниями о солнечном лете, нежными, заключенными между строками писем намеками, обещаниями и надеждами. Может быть, так и надо, может быть, это и хорошо, и без этого не возникает та большая красота, неизменно проявляющаяся в сближении двух людей на всю жизнь, но им это испытание кажется досадным измышлением неведомых завистливых сил.

Имант вернулся в Ригу загорелый, как цыган, повзрослевший духовно и физически.

Зельма Курмит ласково расспрашивала, как он провел время: она уже успела привязаться к юноше и радовалась его возвращению.

Дней через пять Имант получил письмо от Эльмара Ауныня, который приглашал его на следующее воскресенье в гости. «В городе состоятся легкоатлетические соревнования. Я тоже участвую в них — толкание ядра и прыжки в длину с разбега. Валдис и Занда Сунынь очень зовут тебя. Ты ведь не знаешь: Занда была в Москве и участвовала во Всесоюзном параде физкультурников. Теперь она, кроме как о Москве, ни о чем не говорит. Когда приедешь, услышишь много интересного...»

Имант собрался было поехать, но его задержали два важных события, следовавшие одно за другим в течение нескольких дней.

Как-то вечером к Ансису Курмиту зашел давний его знакомый, Аугуст Диминь, немолодой, очень болезненного вида мужчина, недавно вернувшийся из германского фашистского концлагеря.

Аугуст Диминь до войны жил на улице Пярну в том же доме, что и Селисы, и теперь пришел рассказать об одном событии, свидетелем которого ему пришлось быть.

— Своими глазами видел, что полицию привел дворник Свикул, — рассказывал Диминь. — В ту ночь больше ни одну квартиру не обыскивали, только эту девушку увели. Интересно, что дворник никому не рассказывал об этом случае. Через несколько месяцев, когда арестовали Анну Селис, он перетащил из ее квартиры всю мебель и вещи. И опять

поздно вечером. Я тогда об этом не успел рассказать товарищам, меня самого вскоре арестовали и отправили в Саласпилский лагерь. Если у Свикула сделать сейчас обыск, там, наверно, что-нибудь нашли бы.

Курмит позвал Иманта.

— Ты ведь был у вашего дворника Свикула? Не заметил там что-нибудь из своих вещей?

— Ничего. Он мне сказал, что все вещи увезли немцы... И потом, мы все время сидели в кухне, в комнату он меня не повел.

— В комнату и нельзя было вести, — заметил Диминь. — Там ты много чего увидел бы.

Когда Имант узнал о наблюдениях Диминя, он не мог спокойно усидеть на месте.

— Мерзавец... Я этого предателя своими руками убью! Товарищ Курмит, пойдете сейчас туда. Мы этого подлеца сегодня же...

— Спокойнее, Имант, — строго сказал Курмит. — Никуда он не денется. Все будет сделано законным порядком. Это ведь дело государства, а не наше с тобой только. Сегодня ты никуда не уходи, — можешь понадобиться.

Курмит с Диминем ушли, а Имант ходил взад-назад, из комнаты в комнату, не в силах унять своей ярости.

«Советской власти он сочувствовал... Не мог понять, почему Ингрида не постучалась к нему... Подожди, скоро постучат...»

Под вечер вернулся Курмит и сказал Иманту, что все в порядке.

— Сегодня ночью ты будешь нужен.

Ночью к дворнику Свикулу пришли несколько человек и произвели обыск. С ними были Диминь и Имант.

— Можете вы опознать что-нибудь из своих вещей? — спросил у Иманта сотрудник НКВД.

Имант внимательно осмотрел мебель, вещи. Из имущества Селисов здесь был только комод, все остальное Свикул продал или спрятал у знакомых.

— Посмотрим в платяном шкафу. Может быть, там что-нибудь найдется?

Дворник подбежал к шкафу, загородил своим телом дверцу.

— Шкаф пустой... только так здесь стоит... — торопливо говорил он. — Мы им и не пользуемся, ключ куда-то девался...

— Ничего, мы откроем...

Шкаф открыли. За висевшей в нем одеждой в самом углу, скорчившись в три погибели, сидел бледный от ужаса молодой мужчина, один из тех, кто

часто появлялся у Свикула после посещения Эдит.

Его обыскали. Оружия при нем не было. Ознакомившись с его документами, сотрудник НКВД с довольной улыбкой сказал:

— Мы вас давно ждем. Где вы так долго пропадали?

В шкафу Имант увидел купленное матерью перед войной пальто. Из вещей больше ничего не нашли, но не в них было дело: важно было то, что предатель, выдавший Ингриду, нашелся, что восторжествовала справедливость. Свикул вначале все отрицал, но доказательства были слишком неоспоримы, а тут еще спрятанный в шкафу, давно разыскиваемый бандит...

Это было первое событие, удержавшее Иманта от поездки к друзьям. Второе событие было еще важнее, и притом самого радостного свойства.

Однажды утром с прибывшего в Ригу поезда дальнего следования сошла седая, сильно исхудавшая женщина. Вид ее казался настолько необычным, что, когда она шла через центр города, многие прохожие останавливались и сочувственно глядели ей вслед. На обветшавшей кацавейке был нашит черный крест, видневшийся из-под замызганного в долгих странствиях, перекинутого через плечо мешка.

Тихим, усталым шагом брела она по городу. На лице ее запечатлелись следы долгих страданий, но взгляд был успокоенный, светлый. Иногда она останавливалась и приглядывалась к домам, наблюдала за уличным движением; заметив, что на нее смотрят, снова медленно продолжала свой путь. Двое-трое любопытных подростков, проводивших ее за несколько кварталов, видели, как она вошла в один из домов по улице Пярну. Минут через десять женщина вышла и, перейдя Воздушный мост, направилась к Чиекуркалну. Миновав несколько улиц, она добралась до старого двухэтажного дома. У ворот немного отдохнула, отерла ладонью с лица пот и пыль, потом вошла во двор.

Так Анна Селис вернулась на родину. Незнакомая пожилая женщина отворила ей дверь.

— Доброе утро.

— Доброе утро, — ответила Зельма Курмит и, подойдя к кухонному шкафу, достала оттуда ломтик хлеба. Не говоря ни слова, она протянула его вошедшей.

Горькая улыбка появилась на лице Анны.

— Спасибо, добрая хозяйшюшка... Не за этим я пришла. У вас живет мой сын... Имант Селис?..

Зельма тихо ахнула, глаза у нее наполнились слезами. Она подхватила Анну под руки и, как ребенка, подвела к стулу. Усадила, сняла с плеч

мешок.

— Товарищ Селис, — шептала она, глядя руки Анны. — Вернулись, наконец-то вы дома... Имант... я его сейчас позову, он в своей комнате занимается. Может, вы сначала закусите? У меня в духовке каша стоит, — вам можно есть кашу?

— Не беспокойтесь... спасибо вам большое... Мне бы скорее повидать Иманта, остальное потом.

Зельма отворила дверь в комнату и крикнула:

— Выйди на минутку, Имант. Тебя хотят видеть.

Через минуту в кухню вошел стройный, широкоплечий юноша в полосатой тельняшке, с густыми волнистыми волосами, с темным пушком на верхней губе. Его голубые глаза вопросительно и серьезно глядели на гостью.

— Что такое? — спросил он, и Анна не узнала этого голоса, таким он стал звучным, мужественным.

Наконец, он узнал. Не сказав ни слова, большими шагами подошел к матери, обнял ее, прижался щекой к седой голове и закрыл глаза.

Несколько дней Анна прожила у Курмитов. Всегда обо всех заботившаяся, Зельма дала ей кое-что из своего белья и платье. По вечерам, когда возвращался с работы Ансис Курмит, вся семья сходилась в комнате Иманта и Юрки и слушала рассказы Анны про фашистскую каторгу.

То была страшная повесть о голоде, побоях, о непосильном труде и постоянной угрозе смерти, о переполненных бараках и зимних холодах, от которых негде было укрыться ни днем, ни ночью; о переходах из лагеря в лагерь, все дальше на запад. Уставших расстреливали и оставляли на краю дороги. Все ближе и ближе подходила Советская Армия, а по дорогам Германии гнали на запад толпы предназначенных для уничтожения людей, которые вечером не знали, суждено ли им увидеть утром солнце.

Смертельно измученных, больных, освободила их Советская Армия. Месяц лечения в больнице, отдых — и только после этого Анна смогла вернуться на родину.

Раньше времени побелели ее волосы; перенесенные страдания подорвали здоровье, но не могли сломить ее стойкого духа. С гордостью смотрела Анна на своего взрослого сына. Больная и утомленная, она была готова заботиться о нем, поддерживать его в трудную минуту. Вокруг шумел ветер новой жизни, и она уже торопилась работать, занять свое место в строю.

Но этого ей пока не разрешали друзья.

Часто, оставшись вдвоем, мать и сын вели долгие разговоры: мечты о

будущем переплетались в них с воспоминаниями о прошедшем, о безвременно погибших Арии и Ингриде.

— Имант, сынок, — говорила Анна. — Ты этого никогда не забудешь! Ведь не забудешь?

— Никогда, мама, — тихо отзывался Имант. — Не забудем и не простим. Я и сам... Я и сам давно про себя решил: жить буду для того, чтобы уничтожать все подлое на свете. Беспощадно бороться, мама!

— Это, сынок, будет трудная борьба. — Анна невольно улыбнулась его полным страсти словам. — Хорошо, что об этом мечтаешь. Помнишь, что «Дядя» говорил — и тебе и мне? Ненавидеть зло, темноту, дикость, бороться с ними всю жизнь... Это и есть самая настоящая любовь к людям.

— Я хочу быть таким, мама, как «Дядя», как Роберт Кирсис.

Через несколько дней, когда Ансис Курмит достал Анне путевку в санаторий, она уехала в Кемери, а Имант переселился в общежитие мореходного училища.

Глава пятая

1

По указу Президиума Верховного Совета СССР, летом 1945 года Эрнест Чунда был амнистирован, не отбыв и четверти срока наказания. Понятно, он радовался этому неожиданному событию, но радость его продолжалась до того лишь момента, когда он очутился на свободе. Тут в нем опять проснулась безрассудная злоба на весь свет за прошлые и будущие неприятности. Что ни говори, а биография испорчена. Кто виноват? Виновата была, по его мнению, прежде всего война со своими ужасами, заставившими его уничтожить партбилет и принять различные меры предосторожности; виновата была Рута, уехавшая искать приключений на фронте и у партизан и, наконец, сделавшая своего законного мужа Эрнеста Чунду вдовцом; виноваты были Эмилия Руткасте и Джек Бунте, втянувшие его в сомнительное предприятие, а больше всех виноват был тот одноногий — Капейка или как его там...

Подумать только, что из-за его сектантской принципиальности и тупости, из-за его равнодушия к таким вещам, как деньги и мясо, бросили в тюрьму безукоризненно честного человека!

Страдалец, жертва судьбы... — так чувствовал себя Эрнест Чунда,

бродя с унылым лицом по улицам Риги. Беспокоила мысль о квартире, о мебели и разных вещах, так удачно приобретенных прошлой зимой. Осталось там что-нибудь, или Эмилия все пустила по ветру?

«С Эмилией у меня будет крупный разговор, — думал он. — Отвечать тебе все равно придется, уважаемая...»

Настроенный очень воинственно, Чунда направился прямо к Эмили Руткасте. В тюрьму он вошел во всем зимнем, в том же виде вернулся теперь на свободу. Солнце пекло немилосердно, и от жары и от любопытных глаз, оглядывающих странно одетого человека, Чунда готов был сквозь землю провалиться. Счастье, что не встретился ни один знакомый, а то бы не избежать насмешливых расспросов.

Вот он и дома. Поднявшись по лестнице, Чунда нетерпеливо нажал кнопку звонка.

Эмилия была сконфужена и удивлена.

— Эрнест!.. Вот неожиданность-то!..

— Не ждала? — Чунда злорадно улыбнулся. — Думала, на всю жизнь избавилась? Мало ли что, не всегда получается, как нам хочется. Радуйся, милая, твой возлюбленный опять дома. Чего такая кислая?

— Я так разволновалась... Опомниться не могу... Почему ты не сообщил ничего? Я бы встретила на извозчике.

— Блудный сын всегда пешком возвращается.

Прежде чем раздеться, Чунда прошелся по всем комнатам. Кое-что из мебели стояло еще на месте, но своего рояля он не увидел, не было и шикарного буфета.

— Где мои костюмы, белье? — спросил он.

— Все у меня в гардеробе.

— А остальные вещи?

— Мне же пришлось оплатить счета по твоей квартире и потом штраф, — объяснила Эмилия. — Вот я и продала. А квартиру твою заняли.

— Могла бы и своими деньгами! Как будто эти счета и штраф касались меня одного. Для кого я вез этот товар, будь он проклят? Для твоей же лавочки.

— А попался все-таки ты, — съязвила Эмилия. — Каждый сам расплачивается за свое ротозейство.

— Спасибо за откровенность, — иронически-любезно поклонился Чунда. — В таком случае позвольте уж и мне быть откровенным.

— Сделайте милость.

— Я принял решение впредь не связывать свою судьбу с подозрительным и преступным элементом. Можете считать себя

свободной, уважаемая гражданка. Продолжайте спекулировать говяжьими костями, а я от вас ухажу сегодня же. Отдайте только мне мои вещи.

— А если мне нечего отдавать?

— Тогда я буду следить за каждым вашим шагом до тех пор, пока не поймаю на какой-нибудь махинации. Пусть и вас отправят на несколько лет туда, откуда я вернулся.

— Можешь забрать свои вещи и засолить впрок! — взвизгнула Эмилия. — Сокровище какое твои вещи! Обманщик, жулик, обезьяна паршивая! Убирайся к своей первой жене, только не знаю, примет ли она тебя.

— Что ты болтаешь, Эмилия! — оторопело пробормотал Чунда. — Ее давно на свете нет.

— Ничего, воскресла. Могу тебе и адрес дать, если не знаешь.

Она назвала улицу и номер дома.

Чунда от такого неожиданного известия даже присмирел.

— Я вижу, из нас пары не получится... — примирительно начал он. — У меня мятежная душа, а ты женщина практичная. Разойдемся полюбовно и не будем мешать друг другу. Отдай только мои вещи, больше я ничего не прошу.

— Забирай и уходи хоть сейчас, — сказала Эмилия. Она была рада-радешенька отделаться таким способом от Чунды, уж очень ее напугала перспектива слезки.

Трудно сказать, на что рассчитывал Чунда, идя к Руте. Просто не мог до сих пор поверить, что жена всерьез решила оставить его.

Рута была дома одна. С детски-ясным лицом, выражающим непритворное удовольствие, Чунда смотрел на нее и крепко жал руку.

— Сегодня самый счастливый день в моей жизни, дорогая Руточка. Как я рад, что ты жива. Тут уж некоторые давно тебя похоронили; когда я услышал об этом, мне казалось, что свет померк.

— Что тебе надо, Эрнест? — спросила Рута. Она не испытывала ни волнения, ни раздражения, как будто перед ней стоял посторонний человек.

— Пора нам с тобой наладить нашу семейную жизнь. Достаточно мы сердили друг друга. Забудем все неприятности и будем жить по-старому.

— Как, ты опять начинаешь этот разговор? Ведь давно все решено, все сказано. Лучше не теряй попусту времени, — тебе здесь делать нечего.

— Почему? — удивлялся Чунда. — Я ведь тебе муж.

— Ошибаешься. Пока ты отбывал наказание, я развелась с тобой.

— Развелась... Воспользовалась несчастьем, чтобы отделаться от меня... А ты знаешь, что это называется предательством!.. Лежачего не

бьют. Я упал, а ты в этот тяжелый момент ударила меня. Разве так поступают близкие люди?

Рута нетерпеливо мотнула головой.

— Эгоисты и трусы не могут быть мне близкими. Иди своей дорогой и оставь меня в покое. Устраивай свое счастье, как тебе угодно: я не буду завидовать.

— А если я тебе предложу свою дружбу? — упрямо продолжал Чунда.

Рута ничего не ответила. На минуту водворилась тишина, которую нарушил звонок. Рута выбежала в переднюю, и Чунда услышал тихий взволнованный шепот. Он вскочил со стула, выпятил грудь, чтобы с благородным, независимым видом встретить соперника, — кто же еще мог прийти?

В дверях показался Ояр Сникер — он пришел прямо с работы.

— А, гость? — сказал он. — Добрый вечер, Эрнест.

— Добрый вечер, — буркнул Чунда. Ему все стало ясно.

Ояр протянул Чунде руку, потом стал приглаживать перед зеркалом волосы с таким видом, будто приход Чунды ничуть его не удивил.

— Мне здесь, пожалуй, делать нечего, — нервно сказал Чунда и направился к двери.

Ояр обернулся.

— погоди, куда ты торопишься? — спокойно и серьезно сказал он. — Садись, поговорим. Я думаю, у нас есть о чем поговорить.

— Не знаю, как у тебя, а мне с тобой говорить не о чем, — резко ответил Чунда.

— Подумай о своем будущем, Эрнест. Свернул ты на кривую дорожку и черт знает кем стал. Одумайся, возьми себя в руки, докажи, что ты способен еще исправиться и стать человеком. Если не сделаешь этого сейчас, то пропадешь окончательно.

— Спасибо, папаша, — огрызнулся Чунда. — Много детей вы воспитали в таких строгих правилах?

— Пойми, что тебе добра желают, — продолжал Ояр, не обращая внимания на его остроты. — Неужели у тебя не хватает мужества признать свои тяжелые ошибки? Ты очень виноват перед народом. Посмотри, куда ты зашел — ведь это же болото, трясина. А возможность исправиться еще есть. Приходи ко мне на завод, я дам тебе работу, помогу тебе...

— Поезжай лучше в Африку миссионером — у тебя к этому способности! — крикнул Чунда и выбежал из комнаты.

Он бежал по улице и чуть зубами не скрипел от душившей его злобы.

Сам он был равнодушен к людям и ни на минуту не поверил в

искренность слов Ояра. Желание помочь он принял за лицемерие, насмешку, желание унижить. Да, унижить. Сами обокрали его, а теперь учить лезут. Жалуют, милостыню предлагают!

— Ну вас всех к черту! Жалеть меня нечего!.. Я еще вам покажу! Вы еще увидите, увидите...

2

На станции Упесгале с вечернего поезда сошла женщина лет под тридцать. Ее платье, правда и поношенное и запылившееся в дороге, свидетельствовало о том, что она знавала лучшие времена. Бледное красивое лицо выражало усталость и апатию. Женщина вскинула на плечо довольно тощий мешок и быстро зашагала по перрону, чтобы избежать встречи с несколькими местными жителями, которые ждали поезда. Миновав полуразрушенное здание станции, она очутилась на небольшой мощеной площади, где у длинной коновязи стояло несколько крестьянских подвод. Глядя куда-то в сторону, женщина прошла мимо подвод и направилась к центру волости, до которого было несколько километров.

У исполкома и магазина потребкооперации тоже стояло много подвод; голоса крестьян были далеко слышны в тихом вечернем воздухе. Поровнявшись с подводами, женщина снова отвернулась, опустила глаза. Позади какой-то крестьянин громко сказал:

— Видала? Как две капли воды — дочка Лиепиня...

— Это которая убежала с немецким женихом? — спросил женский голос. — А что ей здесь делать? Ты, наверно, обознался.

— Что же удивительного? Напрыгалась, наголодалась, а теперь, поджав хвост, ползет обратно к неотесанным латышам.

Элла Лиепинь-Спаре-Рейнхард покраснела, как от пощечины, и ускорила шаг.

«Какие люди бессердечные... — думала она, — только бы порадоваться чужой беде, — больше им ничего не надо. Они знать не хотят, что человек пережил, какие ужасы перенес, с какими чувствами возвращается на родину. Наголодалась, ползет, поджав хвост...» От стыда и злости Элла готова была заплакать, но к чему слезы, если поблизости нет ни одной сочувствующей души.

Меньше года не была она дома, а чего только не пережила за это время. Сколько страху натерпелась, пока ехала на машине крейсландсвирта Рейнхарда по забитым войсками дорогам! Налеты советской авиации...

ночевки в лесу под мокрыми от дождя кустами, угрюмые, недружелюбные лица латышских и литовских крестьян... Маленькая темная комнатка в Кенигсберге, окружение, налеты авиации, уход Рейнхарда в армию и тяжелые принудительные работы по рытью укреплений... Потом этот ужасный штурм Кенигсберга, фантастический огонь советской артиллерии, горящие рушащиеся дома и страх, безумный страх... Настоящее светопреставление. Мороз по коже подирает при воспоминании об этом.

Но еще страшнее думать о будущем. Кто оправдает и простит? Что отвечать на вопросы людей? А вопросы будут — трудные, унижительные, — и ей придется на них отвечать.

Одна надежда, что Петера нет в живых. Хоть бы ему не пришлось ничего рассказывать... Расма еще ничего не понимает, а с родителями можно как-нибудь столковаться. Придется некоторое время жить, как в тюрьме, никуда не показываться, пока людям не надоест говорить об Элле Лиепинь, пока новое событие не отвлечет их внимание.

Элла шла нарочно помедленнее, чтобы попасть в Лиепини в сумерки, — тогда соседи не заметят. Но светлы летние вечера, а дорога от станции до усадьбы так коротка... Солнце еще не спряталось за горизонтом, а Элла уже подходила к отцовскому дому. Мелкими, робкими шажками, боясь потревожить собаку, как вор приближается она ко двору. Вот и я, милые родители... не призрак, не образ воспоминаний, а ваша родная дочь, которую вы и не надеялись дожидаться...

Отец молча сморкался, мать всхлипывала — и от радости и от навалившихся забот, — только маленькая Расма болтала не переставая и тянула ее посмотреть новые игрушки. Больше всего она гордилась большой куклой с голубыми, как незабудки, глазами, одетой в клетчатый национальный костюм.

— Посмотри, мамуся, это мне папочка прислал. И это ведерко тоже... Правда, красивое ведерко?

А Лиепиниене, будто подтверждая скорбную весть, кивала головой.

— Да, доченька, вернулся. Только раз и приезжал, в самом начале. С тех пор не был.

— А зачем ему приезжать? — вмешался в разговор отец. — Он и Расму, дайте срок, возьмет к себе, сколько вы ни войте...

— Ну, что он, — чуть слышно спросила Элла, говорил что-нибудь?

— А когда он был разговорчивым? Приехал такой задумчивый, посидел немного, помолчал, поиграл с Расмой и ушел... к Закисам. Теперь ведь их водой не разольешь. И я вот что скажу, дочка, если не хочешь упустить его — надо торопиться. Прямо завтра же поезжай в Ригу,

повидайся с Петером. Понятно, Закиды ему невесть чего наговорили про тебя, но как ни верти, а ты ему законная жена. Может, он хоть ради ребенка не станет рушить семью. А если долго будешь мудрить, смотри, как бы Аустра не подцепила его, от этой девки всего можно ждать.

— Не выдумывай, старуха, не срамись, — оборвал ее Лиепинь. — Оставьте вы в покое этого человека. Да я бы сам на месте Петера погнал вас поганой метлой.

— И это называется отец! — всплеснув руками, воскликнула мамаша Лиепинь. — Не слушай его, доченька, совсем он ополоумел. Уж кого бы осуждал, а то свое родное детище...

— А, что с глупыми бабами разговаривать. — Лиепинь махнул рукой. — Только вот что я вам скажу: если Петер не примет Эллу обратно, пускай она не думает, что я ей позволю жить здесь барыней. Пускай сама зарабатывает свой хлеб...

После этого мать с дочерью больше не говорили при старике о таких вещах, а уединились в укромный уголок и долго там шушукались.

Несколько дней спустя, отдохнув немного с дороги, Элла нарядилась в лучшее платье, напудрилась, накрасила губы и брови и поехала в Ригу. Поехала не с повинной головой — нет, она уже преисполнилась сознанием своих прав, она спешила получить то, что ей причиталось, — так ее научила многоопытная мать. Элла решила нагрянуть как снег на голову, смело и самоуверенно наступать на Петера: характера он тихого, смиренного, у него просто духа не хватит отказать — и их семейный союз будет скреплен большой заплатой, а потом все как-нибудь заживет.

Прямое вокзала она поехала на лесопильный завод. В конторе ей сказали, что директора нет: вызвали в горком партии. Узнав его домашний адрес, Элла не сразу пошла на квартиру, решив, что муж еще не вернулся. Чтобы не терять зря времени, она зашла в косметический кабинет: там ей подбрили и еще раз подкрасили брови, надушили крепкими,пряно пахнущими духами. Чувствуя себя во всеоружии, Элла отправилась к Петеру.

Дверь ей открыла Аустра.

«О, как у них зашло далеко, — уже по вечерам сидит здесь», — подумала Элла, и ее взгляд, назойливый, вызывающий, ощупывал лицо и фигуру Аустры.

«Зачем она пришла?» — думала Аустра.

— Здравствуй, — сказала Элла, не подавая руки. — Петер Спаре дома?

— Здравствуй. Заходи, садись. Тебе придется немного подождать, он, возможно, задержится.

— Задержится? Ну, ничего. Скажи, а что ты тут делаешь?

— Я здесь живу.

— Живешь? А я думала, ты просто так... зашла.

Элла не торопясь, как у себя дома, сняла пальто и повесила на вешалку, сняла шляпу и долго охорашивалась перед зеркалом. Когда Аустра пригласила ее в кабинет Петера, она надменно улыбнулась.

— Я лучше пойду в спальню, полежу немного. Голова что-то разболелась с дороги... Когда придет муж, разбуди меня.

Теперь Аустра поняла, зачем она пришла.

«Корова, — подумала она. — Ничего не понимает, решительно ничего. Ей кажется, что все осталось по-старому, как было четыре года тому назад. Петер — ее неотъемлемая собственность. А Аустра Закис — босоногая девчонка, которая каждую осень ходила с матерью в Лиепине рыть картошку за полпуры в день».

В первый момент ей захотелось выпрямиться и сказать этой хозяйской дочке какую-нибудь дерзость, но она сдержалась, поборола волнение и почти весело ответила:

— Я думаю, это не совсем удобно.

— Почему? — преувеличенно удивленно спросила Элла.

— Мужу это будет неприятно.

Элла молча смотрела на Аустру с упрямым и в то же время жалким выражением.

«Опоздала... поздно... Мать ничего еще не знала... заставила пойти на такой позор. Значит, это у него не увлечение, как у других, как у меня».

Что-то огромное встало между нею и Петером., и *этонельзя* было ни обойти, ни устранить. Но уже тупое, нерассуждающее чувство поднималось в ней, отталкивало эти мысли.

«Ну и пусть... А все-таки, если он меня увидит живую, привычную, не может разве случиться, как в тот раз, когда он вышел из тюрьмы? Увидит — вспомнит все старое, начнет жалеть, потеряет покой...»

Она стояла, покусывая губы и рассеянно переводя взгляд с одного из немногочисленных предметов, находящихся в комнате, на другой. Но на Аустру она больше не смотрела.

— Хорошо, — наконец, сказала Элла. — Я могу подождать здесь, в передней.

Но когда Аустра отворила дверь в кабинет и повторила приглашение, она вошла в светлую комнату. Аустра оставила ее одну.

Петер пришел через полчаса.

— Тебя ждут, — тихо сказала Аустра, отворяя ему. — Пока вы будете

разговаривать, я сбегаю к Руте, отнесу ей книги. Когда она уйдет, ты мне позвони туда.

Петер сразу заметил, что произошло что-то необычное. Аустра, избегая его взгляда, торопливо надела пальто и завернула в газету две толстые книги.

— Послушай, Аустра, — начал Петер и взял ее под руку. — Ты почему так скоропалительно удираешь?

— Так будет лучше. Все равно этот разговор рано или поздно должен состояться. Так пусть уж лучше сейчас. Ну, ну, не надо так расстраиваться. Я тебя всегда пойму, Петер...

Она быстро поцеловала его в висок, потом погладила по волосам и шепнула:

— В кабинете Элла. До свидания.

Но Петер не выпускал ее руки.

— Прости меня, не сумел я оберечь тебя от этого.

— Я не упрекаю, — ответила Аустра, отворяя дверь. — Ничего ужасного не произошло.

Петер еще с минуту простоял в передней, потом энергично тряхнул головой, будто отмахиваясь от надоедливой мухи, и вошел в комнату. Женщину, которая быстро встала и тревожно-вопросительно смотрела на него, он узнал, но никогда еще она не казалась ему такой чужой, как сейчас.

— Добрый день, — сказал он, сам удивляясь тому, как ровно звучал его голос.

Пожав руки, они сели — Элла на диване, Петер у окна. Заваленный книгами письменный стол стоял между ними, как крепкий забор, который не позволял им приближаться друг к другу.

После нескольких общих фраз о здоровье, о стариках, за которыми оба собеседника чувствовали другие, невысказанные вопросы, Петер твердо посмотрел в глаза Элле и сказал:

— Нам надо поговорить, чтобы все стало ясным. Я думаю, лучше с самого начала называть вещи своими именами.

— Конечно, ясность нам нужна обоим. Когда знаешь, почему и как все произошло, легче найти верный путь.

— Ты ошибаешься, если думаешь, что его еще надо искать, — с живостью сказал Петер. — Для меня он уже найден, хоть и с опозданием, но окончательно. Каждый из нас нашел свой путь. И оказалось, что они расходятся.

— Если бы не война, этого не случилось бы, — торопливо заговорила Элла. — Во всем виновато это ужасное время. Все перепуталось, людей

разбросало в разные стороны, а жизнь требовала своего... Что же удивительного, если кто и ошибался иногда...

— Понимаю, ты хочешь сказать, что в распаде нашей семьи виновата случайность. Это не так. У нас и до войны семейная жизнь не ладилась. Если бы и не было войны, если бы обстоятельства не разлучили нас на такое продолжительное время — конец был бы тот же, потому что морально и духовно мы и тогда были чужими. А война — война для каждого человека была великим испытанием, она показала, кто мы такие. Видно, мы в разных условиях выросли и слишком непохожи были наши интересы, наши идеалы. Нам не следовало жениться, но мы очень мало знали друг друга, потому и не поняли этого. Из моих попыток сделать тебя товарищем ничего не получилось. Наоборот, ты старалась переделать меня на свой лад, приспособить к себе. Этого я допустить не мог, потому что это означало бы для меня духовную гибель, загнивание. Мы не прожили вместе и полугодя, как мне стало ясно, что нельзя быть настоящим коммунистом, оставаясь в то же время твоим мужем, зятем Лиепиней. И когда пришел такой момент, что надо было выбирать, кем мне быть — я остался коммунистом.

— Ты говоришь все это, чтобы как-нибудь оправдать себя, — перебила его Элла. — Мужчины всегда так. Если бы не Аустра Закис, ты бы сейчас не говорил, что со мной сгниешь. Она, наверно, давно у тебя за жену.

— Оставь ты ее в покое, — сердито сказал Петер. — Ты и мизинца ее не стоишь. Когда мы вернулись домой и в первый раз поехали в Упесгальскую волость, я еще не знал, как ты жила при немцах. — Элла опустила голову. — Не волнуйся, я не собираюсь разговаривать об этом, если ты сама ничего не понимаешь. Уж если ты не постеснялась прийти сюда... Да, так вот я не знал, что произошло за эти годы. И все-таки, подъезжая к усадьбе Лиепини, чувствовал себя, как пожизненно осужденный, который приближается к воротам тюрьмы. В глубине души я уже понимал, что в Лиепинях я совсем чужой, что вместе жить мы больше не сможем...

— Ну еще бы, у тебя ведь была Аустра, — съехидничала Элла.

— До того дня мы ни разу не говорили о своих чувствах, хотя это тоже было неправильно.

— Значит, ты даже не любишь свою дочь, — вздохнула Элла.

— Люблю и буду любить.

— Ха-ха-ха! — громко рассмеялась Элла. — Какое сердце, на всех хватает. Ну нет, Расма не захочет делиться твоей любовью с чужой... Лучше не надейся, я ее не отдам.

— Ты не запретишь мне заботиться о своем ребенке.

Элла встала и подошла к письменному столу.

— А если мы обе... и я и Расма, попросим тебя вернуться домой? — заговорила она тихим, вкрадчивым голосом. — Ведь не все пропало. Еще можно... поправить.

Петер понял, что говорил впустую — эта женщина не могла его понять, — и ему стало страшно при мысли, что пришлось бы прожить с ней долгие годы. Глазами Эллы опять на него глядел темный, душный, как тюрьма, мир обывательщины.

— Уходи лучше, Элла, — стиснув зубы, сказал он. — Нам больше не о чем говорить.

Она ушла, с силой захлопнув за собой дверь. В комнате еще остался запах ее духов. Петер распахнул окно и дверь, пока сквозняком не выветрило этот запах. Потом сел за стол и взял конспекты лекций, но прежде чем начать заниматься, позвонил на квартиру Ояра Сникера и сказал Аустре, что в доме опять чисто.

«Милая, милая... — думал Петер Спаре. — Моя жена, мой друг... самый верный».

Элла остановилась в Задвинье у родственников и провела еще несколько дней в Риге; в самом деле, на что бы это было похоже, если бы она на другой же день вернулась домой! На что бы это было похоже, если бы она спокойно подчинилась судьбе и позволила людям думать о ней все, что придет в голову! Нет, она еще должна оставить по себе память. Пусть Аустра не мнит о себе слишком много! Пусть Петер не воображает, что он один прав!

И Элла начала обходить своих довоенных знакомых: посидела часок у одних, посидела у других, рассказала падким до сплетен мещанкам о великой несправедливости, постигшей несчастную женщину, которую так бессердечно бросил муж в самом начале войны. Пока он скитался по разным фронтам, она воспитывала ребенка и жила как монахиня, ничего не зная, кроме тяжелой работы, материнских забот и тоски. Отступая из Латвии, немцы силой увезли ее в Кенигсберг, послали на самые тяжелые работы по рытью укрепления. А он в это время успел второй раз жениться и о семье нисколько не беспокоился.

— Вот глядите сами, каковы эти новые порядки, каковы их нравы...

Понятно, кое-где она находила сочувствующие сердца, и ее печальный рассказ, в достаточной степени приукрашенный и дополненный характерными деталями, доходил и до друзей Петера и еще скорее — до его недоброжелателей.

Одним из первых узнал об этом Эрнест Чунда. Ему было приятно слышать такие вещи о брате Айи, и когда однажды он встретился с Эллой у каких-то общих знакомых, то уже знал, что имеет дело с родственной душой.

Сошлись два мученика — у обоих было одно горе, оба пели на один мотив. Элла ругала Петера и Аустру, Чунда — Руту и Ояра; один кончал, другая начинала — получился слаженный дуэт. Но, ругая Ояра и Руту, Чунда не забывал бросать внимательные взгляды на Эллу и с удовольствием констатировал, что она еще довольно интересная женщина, несмотря на все пережитые передряги. К тому же, по отзывам знающих людей, отцу ее принадлежало не очень далеко от Риги довольно приличное хозяйство, и Элла была единственной дочерью. В тяжелое послевоенное время это имело немаловажное значение. И Эрнест Чунда сказал про себя; «Дело стоящее!»

— Когда вы едете домой? — спросил он.

— Дня через три.

— Как вы посмотрите на мое предложение сходить сегодня вечером в театр? Искусство возвышает человека, помогает забыть повседневные заботы и неприятности. Мы с вами оба в этом нуждаемся.

— Отчего не пойти...

— О билетах я позабочусь.

До вечера у него осталось достаточно времени для размышлений. Руководящих и ответственных должностей впереди не предвиделось, а прозябать на мелких ролях он вовсе не собирался. Может быть, в деревне, где сильно ощущается недостаток в способных работниках, он опять выйдет в люди?

Они посмотрели спектакль, потом Чунда проводил Эллу в Задвинье. Расстояние от трамвайной остановки до квартиры оказалось для них вполне достаточным, чтобы не спеша разобраться в одном из самых серьезных жизненных вопросов.

— Мы оба много вынесли, и буря выбросила нас на пустынный берег, — сказал Чунда, шумно вздохнув. — Мы герои одной трагедии.

— Как это верно... — Элла тоже вздохнула, но тише.

— Такие люди способны понять друг друга как никто, — продолжал Чунда. — И я так думаю... Зачем нам мучиться и страдать на радость

нашим недоброжелателям? Мы знаем, что на земле, говоря конкретно здесь же, в Риге, есть люди, которым наше горе доставляет большое удовлетворение. Они смеются над нашим несчастьем, над нашими разбитыми сердцами.

— И как смеются... — согласилась Элла.

— А если мы положим конец этому смеху? Дорогая Элла, я уверен, что из нас выйдет счастливая пара. Вы как думаете?

Элла очень долго молчала, потом ответила так, как она привыкла отвечать в подобных случаях:

— Вы так неожиданно... мне надо подумать.

— Конечно, конечно... — поспешил согласиться Чунда. — Подумайте до утра. Только не забудьте одного: какую кислую мину сделает ваш бывший супруг, когда он узнает о нашем счастье.

Элла засмеялась резким смехом.

— Это ему не очень понравится. Он ведь думает, что без него для меня и жизни нет.

У ворот дома он крепко пожал Элле руку, галантно поклонился, приподняв шляпу, и сказал:

— До свиданья. С вашего разрешения я приду завтра в одиннадцать. Или можно раньше?

— Нет, раньше не стоит, — ответила Элла.

Она думала всю ночь — и не столько о радостях совместной жизни с Чундой, сколько о громадном впечатлении, которое произведет на некоторых людей этот брак. «Он славный, серьезный человек... Отец уже стареет, и усадьбе нужен хозяин... с ним где угодно не стыдно показаться. Вот будет злиться Петер. И ни чуточки он не хуже Копица и Рейнхарда, и года самые подходящие. А то сколько еще времени я буду жить вот так — без мужа?»

В одиннадцать часов утра Эрнест Чунда прохаживался по тротуару мимо ворот и ждал Эллу, а через десять минут они уже гуляли меж сосен Агенскална, оживленно болтали и называли друг друга на «ты». И хотя лето близилось к концу, им казалось, что вернулась весна.

С послеобеденным поездом Элла уехала из Риги, и с нею поехал ее будущий муж — поехал представиться родителям своей невесты и получить их согласие.

Увидев издали идущую со станции дочь в сопровождении высокого мужчины, Лиепини решили, что это Петер, и порадовались, что Элла так быстро все уладила. Но когда те вошли во двор, недоумение взяло стариков. Кто это еще? Что опять Элла выдумала?

— Добрый вечер, — сказал Чунда и учтиво пожал старикам руки.

А Элла добавила:

— Познакомьтесь! Это товарищ Чунда — мой будущий муж.

От неожиданности старый Лиепинь чуть не покачнулся, а мамаша Лиепинь слегка разинула рот.

Впрочем, она быстро осмотрела нового зятя с головы до ног, как цыган лошадь, и сделала ласковое лицо.

— Ах, вот что! Смотрите, как... Ну, очень приятно... Заходите в дом.

За ужином они познакомились покороче, и Чунда из кожи вон лез, чтобы показать себя перед стариками с самой выгодной стороны. Они давно привыкли к быстрой смене женихов Эллы, и появление преемника Бруно Копица и крейсландсвирта Рейнхарда не очень их расстроило. Нет, здесь таким вещам не удивлялись, и если Элла надеялась с этим, четвертым по счету, номером ввести свой жизненный корабль в более тихие и спокойные воды, то ее родителям и подавно нечего было печалиться.

— Вы и сами взрослые, — сказала мамаша Лиепинь; кому-нибудь ведь надо было говорить, а старый Лиепинь в последнее время стал таким брюзгой, что лучше было, когда он рта не раскрывал. — Товарища Чунду мы будем любить, как родного сына. Нам что — были бы вы счастливы. Ну, а если будет любовь и согласие, — придет и все остальное.

Когда стало известно, что Чунда согласен заняться сельским хозяйством, тесть тоже более благосклонно посмотрел на него: если не будет лениться, работник из него выйдет неплохой, ишь какой широкоплечий...

На следующее утро Чунда с Эллой вышли погулять. Они все осмотрели — и хлев, и клеть, и фруктовый сад с огородом, потом пошли в поле и на луга. Чунда мало понимал в земледелии и не мог отличить пшеницу от ячменя, но тут он сумел на глаз определить доходность хозяйства.

«Ничего, жить будет можно», — подумал он, окинув взором владения Лиепиней и мысленно входя в роль хозяина.

— Чья это усадьба? — Он показал на красивый дом, стоявший на пригорке.

— Теперь там устроили совхоз или коннопрокатный пункт, не знаю хорошенько. Раньше эта усадьба называлась Лиепниеки. Хозяин еще не вернулся из Курземе.

— А кто это? — Чунда показал на мужчину, который вышел из ворот усадьбы Лиепниеки на дорогу.

— Это Закис, — зашептала Элла. — Новый тесть Петера Спаре.

Сейчас он председателем волостного исполкома, а раньше жил в хибарке и кормился всякой случайной работой. Такой негодный человек... Своим друзьям делает всякие поблажки, а с остальных готов три шкуры содрать. Не понимаю, почему советская власть таких уважает. Неужели нет лучше людей?

— Мы его усмирим, — сказал Чунда. — С простыми мужичками он может как угодно распоясываться, а со мной пусть только попробует. Не таких еще видывали.

— Ну да, у него сын, говорят, полковник, учится в Военной академии, — предупредила Элла.

— Имели мы дело и с полковниками, — сказал Чунда, с интересом глядя вслед высокому мужчине, который шагал по дороге в сторону исполкома. «Закис... значит будем знать. Простой мужичонка с большим самомнением... Я с тобой справлюсь, зайчик, я тебе покажу твое место. Я тут скоро первым человеком буду».

Чунда взял Эллу под руку и повел через луг. Пусть соседи видят — идет новый зять Лиепиней со своей невестой. Что вы на это скажете? Посмотри и ты, Закис, тебе не мешает...

Но Закис даже не обернулся в их сторону. Голова хозяина волости всегда была полна забот. Не по щучьему веленью, а в тяжких трудах, в суровой борьбе крепла новая жизнь. Не удивительно, что его так мало интересовали два человека, без дела прогуливавшиеся по владениям Лиепиней.

Ровно в пять часов вечера Герман Вилде приказал закрыть склад до следующего утра.

— Товарищ начальник, а как быть с крестьянами, которые не успели сдать зерно? — озабоченно спросил заведующий складом Адамсон — самый беспокойный и подвижной из всех сотрудников заготовительного пункта.

Во время Отечественной войны Адамсон добровольно вступил в ряды Красной Армии и вместе с латышской дивизией прошел от Москвы до Риги. Месяц тому назад его послали работать на заготовительный пункт, и Вилде сразу увидел в нем врага, с которым нелегко помериться силами. Адамсон интересовался каждой мелочью, которая имела отношение к пункту, работал за троих и, несмотря на сопротивление начальника,

добился того, что к началу августа пункт был образцово подготовлен к приему зерна.

Вилде действовал здесь под фамилией Эварт, а кто он такой, не знал точно даже тайный участник контрреволюционной шайки, с помощью которого он устроился на это место. На пункте, кроме Вилде, нашли приют: бывший шуцман, один из офицеров карательного батальона Арая, и бывшая переводчица отделения гестапо. Не удивительно, что присутствие Адамсона связывало их всех по рукам и ногам, при нем нельзя было так открыто вредить, смешивать в одном закроме высокосортные семена с малоценными сортами, для вида приходилось даже дезинфицировать склад и бороться с клещом и другими вредителями.

— А много там их? — спросил Вилде с плохо скрываемым раздражением.

— Да подвод двадцать осталось. Некоторым далеко ехать, а сейчас самое горячее время. Скоро озимые сеять...

— Пусть подождут до утра, товарищ Адамсон. Мы тоже не можем разорваться. Я не могу приказывать сотрудникам работать сверхурочно, из каких средств я буду им платить? А дополнительных штатов не дают.

— Работники согласны работать и так, — продолжал Адамсон, — каждый понимает, что нельзя заставлять крестьян ждать до утра или приезжать второй раз.

— Да, но что мне делать? — Вилде-Эварт развел руками. — Думаете, я не понимаю, как это плохо, когда крестьян отрываешь от работы? Отлично понимаю, но никто не дал мне права нарушать советскую конституцию. Там ясно сказано, что каждый советский гражданин имеет право на отдых. Пять часов есть — рабочее время кончилось, прошу дать людям отдых.

— Нет, это формальный подход к делу. Крестьяне это поймут как издевательство.

— Они многое неспособны понять, и если мы начнем считаться с их отсталостью, то скоро превратимся в мальчиков на побегушках. Надо быть принципиальными, товарищ Адамсон. Ну что вы так нервничаете? Запирайте склад и идите домой, вам отдых нужен больше, чем кому-либо другому. Всем все равно не угодишь — разве это не так?

Не вдаваясь в дальнейшие разговоры, Вилде встал и вышел из конторы. Путь к его квартире вел мимо склада, но Вилде сделал крюк через фруктовый сад, чтобы не встречаться с крестьянами, которые с озабоченными и сердитыми лицами толпились у подвода. Пусть с ними воюет Адамсон — на то он и коммунист. А если обиженные крестьяне начнут сердиться и ругать новые порядки — тем лучше: это ваши

советские порядки, радуйтесь, любезные хлебопашцы...

Вилде улыбнулся.

В доме старохозяина он занимал две комнаты, выходящие окнами в сад. В одной он работал и иногда принимал посетителей, другая служила спальней. Придя к себе, Вилде снял пальто, зевнул и потянулся перед зеркалом, потом подошел к окну, стараясь разглядеть сквозь ряды яблонь, что делается у склада.

Обе двери еще были раскрыты, и перед каждой стояла подвода. Крестьяне снимали с возов мешки и несли на весы.

— А, ты так, — прошипел Вилде. — Самовольничаешь, товарищ Адамсон? Не подчиняешься распоряжениям начальства, взялся работать сверхурочно, пока всех не отпустишь? Ну хорошо... вышибем из тебя эту дурь и покажем, кто здесь хозяин. А если нет — так у нас найдется средство посильнее.

Он надел пальто и хотел пойти на склад, но в комнату вошла уборщица.

— Товарищ Эварт, вас тут женщина дожидается. Говорит, что родственница, уже с полчаса ждет в кухне. Можно?

— Родственница? Ах, да, верно. Ведите ее сюда.

Пока уборщица ходила за гостьей, Вилде пригладил волосы и расправил измятый галстук.

В комнату вошла Эдит Ланка.

— Добрый вечер, товарищ Эварт.

— Добрый вечер, Эрн. Ну, как вы к нам добрались? Пешком? Измотались, наверно?

Эдит покачала головой и улыбнулась.

— Зачем ходить пешком, когда на дорогах попадаются еще вежливые шоферы? Приехала на грузовике. Здесь можно говорить?

— Пойдемте в другую комнату.

Вилде повел Эдит в спальню. Они сели рядом на старой тахте и стали разговаривать шепотом.

— Недавно опять была в Риге, — рассказывала Эдит. — Эта поездка чуть не оказалась для меня последней. Еще немного, и я бы попала в ловушку. Из наших арестованы несколько человек. В Видземе недавно ликвидировали одну из самых сильных организаций. «Зеленой гостинице» тоже конец, — чекисты ее окружили в очень неудачный момент: там было тринадцать человек. Никому не удалось уйти.

— Дьяволы... Где у них были глаза? Телята, молокососы... и теперь, конечно, разброд во всей организации?

— Так оно и есть. Наши боятся, что скоро начнется разгром, если не принять мер предосторожности.

— Вся беда в том, что мы не умеем держать язык за зубами. Как только попадетсЯ один, можешЬ быть уверен, что грозит арест целой группе.

— Это правда, — согласилась Эдит. — Все выбалтывают. Редко у кого настоящая выдержка. Мне теперь продолжительное время нельзя показываться в Риге. Руководство думает, что вам надо немедленно скрыться. Здесь может остаться кто-нибудь из людей помельче. А вы должны присоединиться к вооруженной группе и перебраться в лес.

— Это совет? — спросил Вилде, подымаясь с тахты.

— Нет, распоряжение... приказ.

— Понятно. Можете передать, что этот приказ будет выполнен. Я и сам чувствовал, что здесь небезопасно.

— Группу вы найдете через Межнора. Через три дня туда прибудет представитель из леса и встретит вас.

— Хорошо, я буду вовремя.

Когда «служебный разговор» был окончен, Вилде позвал уборщицу и велел подать ужин. Стол накрыли в спальне. Блинчики с вареньем, жареный поросенок и клубничный кисель с молоком очень понравились Эдит. Давно она не ела так вкусно.

— Я вижу, вы тут удобно устроились, повторяла она. — Живете, как в мирное время.

— Подсобное хозяйство. Пока есть возможность, надо брать от жизни все, что можно взять, ответил Вилде и двусмысленно улыбнулся. — Я надеюсь, ни сегодня, ни завтра ревизии не будет. А там пусть ревизуют сколько влезет... В лесу таких удобств не будет.

— Летом еще ничего, — сказала, вздохнув, Эдит. — Вот зимой как будет, я даже не представляю...

— Хоть бы что-нибудь произошло до зимы, — покачав головой, сказал Вилде. — Многие из наших начинают отчаиваться и вешать носы. Прямо неудобно предсказывать что-нибудь в политике. Ни одно из наших предсказаний не сбылось, все сроки прихода англичан и шведов давно миновали, и те, кто весной еще верил нашим пророчествам, теперь не хотят и слушать. Это дурная примета. Мне кажется, нам надо меньше заниматься предсказаниями и больше делать самим... Вы не откажетесь от стакана вина?

— Не откажусь...

Вилде достал из шкафа бутылку портвейна, и ужин был завершен несколькими глотками сладкого, крепкого напитка.

— Вы останетесь на ночь? — спросил Герман.
— Если мне предоставят ночлег...
— Пожалуйста, моя кровать в вашем распоряжении, да и сам я тоже!
— Широкая у вас натура...
— Пока есть возможность, надо брать от жизни все, что можно
взять, — снова повторил Герман свой афоризм.

Утром Эдит ушла, как только первые подводы появились на дороге.

Герман Вилде прожил на заготовительном пункте еще день и был необычайно предупредителен с Адамсоном. В пять часов вечера у склада опять стояли несколько крестьянских подвод с зерном, которое не успели сдать. Но Вилде разрешил на этот раз не закрывать склад, всех отпустить. А ночью в маленький домик, где жил один Адамсон, постучали трое мужчин с Эвартом во главе.

— Почему так поздно? — спросил Адамсон, открывая дверь. — Что-нибудь случилось?

— Сейчас случится, — ответил Вилде.

И когда Адамсон повернулся, чтобы войти первым в комнату, ему раскроили голову топором. Потом облили пол, стены и двери какой-то жидкостью и подожгли.

Когда в соседнем доме заметили пожар, постройку спасти уже не удалось, и она сгорела до основания. Утром обнаружили, что Эварт бесследно исчез.

В субботу вечером у счетовода молочного завода Каупиня собралась изрядная компания: сам хозяин, успевший заметно поправиться на хлебах молочного завода, старик Вилде, милиционер Пушмуцан, невероятно сутулый, почти горбатый, с голым лоснящимся теменем мужчины, агент по заготовкам Буткевич, старохозяин Крекис и сам председатель волостного исполкома Биезайс.

Пока жена Каупиня жарила в кухне яичницу с ветчиной, гости прикладывались к рюмочке и закусывали студнем. На почетное место в конце стола посадили Биезайса, остальные разместились вокруг него, как цыплята вокруг наседки. Сознывая важность своей роли, Биезайс сидел с неподвижным лицом, почти не шевелясь, говорил мало, но, когда открывал рот, все умолкали на полуслове. Сначала разговор не клеился, но Каупинь знал свое дело — доливал и доливал рюмки, торопя выпить. Когда первая

бутылка водки была опустошена, он быстро поставил на стол вторую, а третью для удобства поставил на комод, чтобы была под рукой.

— Как дела с заготовками? — справился Вилде. — Сколько процентов плана выполнили?

Биезайс деланно сердито покосился на Буткевича.

— Чего хорошего ждать, если агент по заготовкам не идет навстречу советской власти. К первому сентября надо было сдать десять процентов, а мы только в конце августа приступили к обмолоту. Буткевич, сколько там на сегодня числится?

— Восемь процентов годового плана.

— Ну, вот. На каком месте мы теперь по уезду?

— На предпоследнем. В соседней волости дела похуже нашего.

— Гм-да, — крикнул Биезайс. — Что поделаешь... Наша волость расположена на Вндземской возвышенности, умникам из уезда и Риги надо бы это понять. Здесь всегда позже сеют хлеб, и созревает он позже. Разве сырое зерно можно молотить?

— Правильно, товарищ Биезайс, — поддакнул Вилде. — Здесь Видземская возвышенность, нас нельзя равнять с Елгавой и Бауской, у нас свои сроки — природой установленные. И куда они торопятся? Разве хлеб хуже будет оттого, что его сдадут в январе или феврале?

— О январе и разговору быть не может, товарищ Вилде! — крикнул Буткевич. — Пропала тогда моя голова. Снимут с работы и посадят за саботаж. Пушмуцан сам придет арестовать. А еще говорит — друг.

Милиционер улыбнулся, обнажив желтые, выкрошившиеся зубы.

— Когда я тебя арестовывал?

— О, от тебя, брат, и не того еще дождемся, — улыбнулся Буткевич.

— Если бы все такие были, как товарищ Пушмуцан, жить бы можно было, — заговорил Крекис. — Он понимает, как трудно крестьянам, и ни с кого шкуры не дерет.

— Что смотрите — пейте, — подзадоривал Каупинь. — За здоровье товарища Биезайса! Наша волость счастливая при таком председателе. Пожелаем ему еще многие лета стоять у штурвала нашего волостного корабля и вести его через все бури и штормы! Прозит!

— К этому ничего и не добавишь, — сказал Вилде, и все чокнулись.

Крекис страшно морщился после каждой рюмки, и его кисло-горькие гримасы вызывали всеобщий хохот. Но все опять умолкли, потому что заговорил Биезайс.

— Вот меня все славят, а подумал кто-нибудь из вас, чего мне стоит угодить всем? Раньше, когда нужно было считаться только с уездом, легче

было. Пока оттуда придет бумага, пока приедет представитель, можно денек-другой дыхнуть свободно. А теперь что? В исполкоме сидит парторг и только за тем и следит, не забыл ли ты что-нибудь выполнить. Второй барин на твоей шее — в МТС; иной раз прямо и не поймешь, от кого из них больше неприятностей — от Пургайлиене или от этого русского, от Гаршина.

— И сообразят же бабу парторгом назначить, — заговорил Каупинь. — Хоть бы солидную бабу прислали, опытную, а ведь у этой под носом еще мокро... Кто ее такую уважать будет, кто побоится?

— Не скажите, товарищ Каупинь, — возразил Биезайс. — Ее голыми руками-то не возьмешь. Посмотрели бы, какой крик подняла, что молотилки не отремонтировали. Меня среди ночи с постели стащила и до тех пор не унялась, пока я не поехал в уезд за приводными ремнями.

— Она и сама с удовольствием поедет, — вставил Каупинь. — К примеру, если надо кому-нибудь устроить неприятность, выговор и тому подобное.

Биезайс покраснел и опустил глаза. Замечание Каупиня заставило вспомнить об одном неприятном событии. Около дня Лиго Марта Пургайлис была в уездном комитете партии, докладывала о положении в волости. Вскоре после этого Биезайса вызвали на заседание уездного исполкома и заставили отчитаться в работе за полгода. Конечно, похвалиться было нечем. Хорошо, что один из заместителей председателя исполкома — родственник Биезайса — поддержал его, иначе пришлось бы расстаться с должностью. В тот раз ограничились выговором с предупреждением. От своего родственника Биезайс узнал, что Марта Пургайлис возбудила вопрос о снятии его с работы, но уездный исполком решил в последний раз проверить, может ли он исправиться.

— Мы не так богаты кадрами, чтобы разбрасываться ими, — сказал тогда родственник Биезайса.

— Да, в последний раз тебя испытывают, товарищ Биезайс. Тебе надо стать активнее, расти политически, расширять свой кругозор...

Это значило, что ему придется ссориться с соседями, наживать врагов в лице кулаков, так как иначе их не заставишь выполнять обязательства перед государством. Нет уж, не делал он этого раньше, не будет делать и сейчас, что бы ни говорила Марта Пургайлис. Сама ходи по домам, уговаривай и убеждай — для того ты и здесь, а я посмотрю. Ты будешь плохая, а я хороший. Посмотрим, кто из нас останется в барыше.

— Господа... пардон, товарищи, что же рюмочки-то у вас полные, — напоминал Каупинь. — Не хорошо, оно ведь выдыхается. За товарища

Буткевича! За то, чтобы ему в декабре выполнить план и сделать это так, чтобы волки были сыты и овцы целы.

Угощение продолжалось всю ночь. Опорожня рюмку за рюмкой и закусывая яичницей с ветчиной, трое кулаков и трое «сотрудников» советских учреждений выпили за дружбу на вечные времена. Биезайс и Буткевич обещали сделать так, чтобы Вилде и Крекису не пришлось сдавать зерно по высшей норме, а Пушмуцан коротко и ясно заявил, что в волости кулаков нет — одни середняки.

— Нам надо держаться друг за друга, — сказал Вилде. — Рука руку моет — и обе чистые. Мир — благоденствие, вражда — разорение. Все мы латыши, одна плоть и одна кровь. Зачем нам ссориться?

— На самом деле — зачем ссориться?.. — прошепелявил Буткевич. — Одна плоть, как говорится, и одна кровь. Нельзя давать волю Марте Пургайлис и Гаршину.

— Я их арестую... — лепетал Пушмуцан, окончательно охмелев. — Пойдем скорее, а то убегут...

Вилде переглянулся с Каупинем, и оба улыбнулись: сами они почти не пили, только губы мочили.

— Пусть обождут до завтра, товарищ Пушмуцан, — сказал Каупинь. — Никуда они не убегут.

— Ну, хорошо, обождем до завтра, — согласился милиционер. — Завтра я им задам.

Биезайс ушел раньше всех. За ним, пошатываясь, поплелся Крекис, довольный, что сам председатель исполкома признал его середняком. Буткевича и Пушмуцана уложили спать здесь же, на полу, а Вилде с хозяином ушли в кухню и долго там шептались.

— Обработали, — хихикал Каупинь.

— Умеючи можно и кота охолостить, — сказал Вилде.

Утром Каупинь разбудил Буткевича и Пушмуцана, каждому налили на похмелку по чайному стакану водки, потом проводили немного и пустили по дороге. Буткевич дальше церкви не добрался, тут он упал на краю дороги и уже не поднялся. Пушмуцан с минуту смотрел на уснувшего собутельника, потом увидел собиравшихся у церкви прихожан, и его обуял внезапный гнев: по какому праву они собрались здесь среди бела дня? Что им здесь надо?

— Разойдись! — закричал он не своим голосом. — Да поскорей у меня! Раз, два, три... всех арестую!

Люди растерялись. Несколько старушек отступили к церковной ограде, какой-то старик с перепугу спрятался в придорожной канаве, а остальные с

удивлением следили за пьяным милиционером: какая муха его укусила?

— А, вы не подчиняться! — зарычал Пушмуцан. — Я покажу вам, как не подчиняться!

Непослушными пальцами он вынул револьвер и расстрелял всю обойму в воздух. Площадка перед церковью живо опустела, людей точно ветром сдуло. Пушмуцан, довольный своими успехами, засунул револьвер в карман брюк и, шатаясь, поплелся домой, покинув Буткевича возле церкви.

К концу дня об этом событии узнала вся волость. Старый Вилде смеялся, держась за живот.

— Так-так-так, все идет как по нотам. Больше и желать нечего.

Марте Пургайлис все стало известно еще утром. Она сразу поняла, чьих рук это дело.

«Волки в овечьей шкуре! — думала она о Вилде и Каупине. — Они бы, не задумываясь, перегрызли горло и мне и Гаршину. Только им это не под силу, вот и ищут, кто послабее... Смотрите, просчитаетесь!»

— Mamочка, что с тобой? — спрашивал Петерит, глядя на мрачное лицо Марты. — У тебя болит что-нибудь?

Он приехал сюда в конце июня. В доме других детей не было, и мальчик целыми днями играл на соседних дворах. Иногда Гаршин брал его в МТС, и он ходил по ремонтной мастерской и гаражу, знакомился с рабочими и шоферами и одолевал их бесконечными вопросами.

Марта обняла мальчика и сказала:

— Да, сынок, болит. Но скоро перестанет болеть.

Она спустилась вниз и позвонила в МТС.

— Товарищ Гаршин, вы слышали, каких безобразий натворили Буткевич и Пушмуцан?

— Слышал уже. Об этом вся волость говорит.

— Всякому терпению есть границы... Пора избавить волость от некоторых лиц, которые столько времени мутят воду. Иначе мы не добьемся перелома. У вас не выберется сегодня свободный часок?

— Если серьезное что, найду.

— Хочу созвать после обеда партийную группу совместно с комсомольцами.

— Вот это правильно, товарищ Пургайлис. Я вам помогу оповестить товарищей.

— Спасибо. Собрание назначим на шесть часов.

Кончив разговор, Марта заметила, что в канцелярии сидит Ирма Лаздынь. Нарядившись по случаю воскресенья в лучшее платье, свежая,

ловкая, она казалась очень хорошенькой. Девушка перебирала на своем столе бумаги и улыбалась.

— Вы слышали, что случилось, товарищ Лаздынь? — заговорила Марта. — Ну, что вы об этом скажете?

— Это меня не касается, — холодно ответила девушка и стала читать какую-то старую инструкцию.

— Я думаю, это касается каждого из нас. Если на наших глазах творятся безобразия, никто не может оставаться равнодушным.

— Безобразий так много, что переживать их все нет никакой возможности. К тому же от злости пропадает красота, а я не хочу портить цвет лица.

Она, словно поддразнивая, с улыбкой посмотрела на Марту и вышла.

Вечером состоялось совещание. Узнав о нем, в исполком пришел и Биезайс, но Марта не позвала его наверх, в свою комнату, где собрались остальные. Тогда он открыл окно кабинета и, высунувшись из него, стал прислушиваться. Но наверху окно было закрыто и участники совещания говорили так тихо, что внизу нельзя было разобрать ни одного слова.

«Готовят петлю старику Биезайсу. Вмешиваются в мою личную жизнь. Какое им дело, с кем я выпиваю субботнюю рюмочку? Исполкомовские деньги я ведь не трогаю — хватает и своих».

А в это время наверху Марта Пургайлис говорила:

— Биезайса надо снять с работы. Он пропивает волость, топит каждое начинание. Такие люди, как Буткевич и Пушмуцан, только компрометируют советскую власть и дают нашим врагам пищу для сплетен. Новые люди должны занять их место. Профессоров мы не найдем, но быть того не может, чтобы во всей волости не набралось несколько хороших работников. Если мы хотим, чтобы наша волость из отстающей стала передовой, нам всем на несколько месяцев придется отказаться от отдыха, работать и работать. Кому это кажется трудным, пусть заявит сейчас и не обманывает товарищей. Подытожим наши силы, распределим задания и возьмемся за работу, потому что мы больше не имеем права плестись в хвосте ни один день, ни один час.

Утром Марта уехала в город. Вернулась она через два дня, а вместе с нею приехали уездный уполномоченный министерства заготовок и начальник уездного отдела НКВД. В волости произошли важные события. Председателя исполкома сняли с работы, а исполнение его обязанностей поручили заместителю Лаксту. Новые работники из волостных активистов и комсомольцев сменили Буткевича и Пушмуцана, а старого Вилде и Каупиня арестовали, так как к этому времени были неоспоримо доказаны

их преступления во время гитлеровской оккупации.

Будто свежий живительный ветер пронесся над волостью, будто гроза прошла и очистила воздух. Люди стали спокойнее и деятельнее. У пункта Заготзерна длиннее стали очереди подвод, наконец-то волость начала борьбу за первое место в уезде, вступила в трудное и захватывающее соревнование.

Как-то вечером Гаршин сидел у Марты. Говорили о будущей работе, о сделанном и виденном за день. Было покойно, тепло и приятно. Петерит давно привык к Гаршину и, не стесняясь, расспрашивал «дядю Володю» обо всем, что занимало его беспокойный, пытливый ум. Гаршин гладил светлые, мягкие волосы ребенка, и сердце у него вдруг сжалось, заныло давней, привычной болью.

Он вспомнил такой же вечер, когда в последний раз сидел в кругу своей семьи. Такой же мальчуган ласкался к нему, требовал рассказов и сам что-то рассказывал тоненьким голосом. И тут же рядом самый милый, верный друг — жена.

На другой день вся Советская страна слушала историческую речь Молотова. То было 22 июня 1941 года. Вечером того же дня инструктор Н-ского районного комитета партии Смоленской области Владимир Емельянович Гаршин явился в военный комиссариат и получил предписание. Его направили в резервный полк. Через год, повоевав уже под Москвой и у Старой Руссы, он попал в Латышскую стрелковую дивизию. Еще в роте разведчиков Гаршин начал учиться латышскому языку, а позднее, когда его перевели в штаб пехотного полка, один капитан, работавший до войны учителем в Риге, занялся с ним грамматикой и познакомил с латышской литературой. В конце 1943 года Гаршин впервые получил известие о родных: и жену и сына гитлеровцы убили в первую же неделю оккупации, как только узнали, что глава семьи — командир Красной Армии. Прошлой зимой, выписавшись из госпиталя, Гаршин съездил навестить родные места и родные могилы. Никто не знал и не мог сказать, где похоронены его жена и сын. Через несколько дней Гаршин вернулся в Ригу — помогать своим боевым товарищам латышам. Проработав два месяца в одном тресте, он неожиданно для самого себя согласился поехать директором в одну из восстанавливаемых машинно-тракторных станций.

Собственно, это было понятно — задолго до войны Гаршин года два работал в политотделе МТС. Вспомнилось тогдашнее счастливое время, молодость. Вот так Владимир Гаршин и очутился в этих краях.

Медленно надвигались сумерки. Тихо звучал голос Марты. Петерит

забрался на колени к Гаршину и незаметно задремал, прислонившись головой к его груди. И Гаршину казалось, что он дома и теперь опять будет продолжать прежнюю, прерванную войной, жизнь.

Он молчал и задумчиво глядел в окно.

Когда он простился с Мартой и вышел, было уже темно. На дворе к нему быстро подошла, очевидно поджидавшая его здесь, Ирма Лаздынь.

— Товарищ Гаршин, мне надо вам несколько слов оказать, — торопливо и взволнованно начала она вполголоса.

— Пожалуйста, я слушаю, — отозвался Гаршин, немного удивленный ее волнением.

Она оглянулась, будто хотела удостовериться, что никто ее не слышит, и придвинулась к Гаршину. В лицо ему повеяло ее горячее дыхание.

— Не ходите сейчас домой, — быстро зашептала она, — там на дороге вас ждут... наверно, бандиты. Я с час тому назад ходила погулять, зашла в лес, слышу — голоса, двое мужчин разговаривают очень тихо, я их не могла узнать. Я испугалась, притаилась за деревом... Они спорили между собой — когда вы обратно пойдете. По имени вас, правда, не называли, а так... — она запнулась, — однурукий. Я уверена, они вас убить хотят. Это — бандиты, честное слово. Потом они ушли подальше, а я потихоньку выбралась из леса. Не ходите, товарищ Гаршин...

— Интересно, — протянул Гаршин.

— Интересного тут ничего нет, это просто ужасно. Разве нельзя позвонить по телефону в МТС, оказать заместителю, что не придете домой...

— Я не могу околачиваться здесь до самого утра, — сказал Гаршин. — На фронте у нас было гораздо больше врагов, и то мы с ними справлялись. На что это будет похоже, если гвардии капитан капитулирует перед несколькими бандитами?

— Зачем так неразумно рисковать, товарищ Гаршин? — горячо уговаривала его девушка. — И вам не надо оставаться на улице... вы можете побыть в моей комнате...

— Благодарю вас, товарищ Лаздынь, — сказал Гаршин и, взяв руку Ирмы, крепко пожал ее. — Пусть не думают, что меня можно взять голыми руками. До свиданья...

Он вышел на дорогу. Во дворе исполкома долго еще стояла девушка, вглядывалась в темноту, с тревогой и отчаянием прислушивалась к каждому звуку, доносившемуся до нее в эту осеннюю ночь.

«Господи, хоть бы с ним ничего не случилось... хоть бы удалось пройти незамеченным... Не верит он мне, а это правда...»

Прошло с полчаса. Все было тихо, не прозвучал ни один выстрел. Ирма Лаздынь немного успокоилась и ушла к себе в комнату, но заснуть в ту ночь так и не могла.

Попрощавшись с девушкой, Гаршин пошел не обычной своей дорогой, а свернул в поле и по межам, с противоположной стороны, приблизился к ельнику, который на полпути между исполкомом и МТС острым клином подходил к самой дороге. Если уж кто-нибудь собирался его убить, он должен был засесть только тут, больше нигде было. В Гаршине проснулся бывалый разведчик. Тихой, кошачьей поступью, с приготовленным для стрельбы «вальтером» в руке, он бесшумно крался между деревьев, и глаза его, привыкшие видеть и ночью, буравили темноту, ощупывали издалека каждую ель, каждый куст и кочку.

Наконец, он заметил тех, кого искал. Два человека сидели на опушке леса у самой дороги — в том самом месте, где Гаршин предполагал их найти. Один сосал папиросу, прикрывая огонек ладонью, другой наблюдал за дорогой.

Гаршин улыбнулся.

«Чтобы вас не клонило ко сну на этом трудном посту, позаботимся о развлечении», — подумал он. Сначала у него мелькнула мысль вернуться в исполком, поднять на ноги истребителей и окружить это место, но он тут же отказался от нее: сомнительно, чтобы истребителей удалось так же бесшумно подвести к опушке, как подошел он сам, ведь эти двое тоже не дремали. Только шум подняли бы. Нечего было думать и о том, чтобы самому задержать обоих бандитов, на этот раз оставалось удовольствоваться маленьким переполохом.

Он спрятал «вальтер», подобрал два камня, встал за толстой елью и, прицелившись, насколько это было возможно в темноте, бросил их один за другим в бандитов, громко крикнув:

— Первая группа, вперед! Второй отрезать путь к отходу!

Один камень, кажется, угодил в спину курящему, тот закричал благим матом и ринулся через дорогу, а его бдительный друг быстрее лани перепрыгнул через канаву и умчался в поле.

Гаршин дошел до того места, где сидели бандиты, и подобрал брошенные ими при поспешном отступлении немецкий карабин и автомат.

Обвесившись трофеями, старый разведчик, гвардии капитан Владимир Гаршин вышел на дорогу и спокойно зашагал домой. С теплым, дружеским чувством подумал он об Ирме Лаздынь: «А девушка-то наша. Не стала бы она предупреждать меня, если бы не была нашим другом!»

Приняв завод, Ояр Сникер сказал парторгу Курмиту:

— Вот мы дали слово, что до конца года построим оба новых цеха и восстановим довоенную мощность «Новой коммуны». Подумаем теперь, как выполнить это задание. Легко оно нам не дастся.

— Подумаем, товарищ Сникер.

Они просидели над расчетами и планами трое суток, совещались со всеми инженерами, с руководителями строительства и старыми рабочими; еще раз взвесили все плюсы и минусы, еще раз перелистали календарь, затем созвали общезаводское собрание и единогласно приняли решение: выполнить производственный план 1945 года и план капитального строительства до годовщины Великой Октябрьской революции. Каждый цех, каждая бригада, каждый рабочий приняли на себя четкие обязательства, каждый подумал о том, как увеличить до предельной возможности свой вклад в общую работу. Чтобы лучше контролировать ход этого большого начинания, своевременно оказывать помощь отстающим участкам и согласованно двигать к финишу все работы, выработали подробный график — отдельно по месяцам и на каждую декаду, — назначили ответственных лиц и установили контроль.

Затем началась борьба, борьба за время, борьба с послевоенными трудностями. Нередко приходилось иметь дело с несознательными людьми и даже с явными противниками, с упрямством закоренелых бюрократов, засевших в некоторых трестах и конторах. В то время, когда во всех концах Советской страны подымались леса новостроек, когда на развалинах, как грибы после дождя, вырастали корпуса возрождаемых фабрик, электростанций и жилых домов, когда все нуждались во всем, а возможности удовлетворить нужды были ограничены, — ничто не давалось само собой, без усилий. Каждую малость надо было разыскать, получить и пустить в дело. Надо было верить самим и убедить других. А время не стояло на месте, каждый упущенный час надо было наверстывать ценою упорного труда, бессонных ночей. И все это было бы неосуществимо без энтузиазма, без самоотверженности, без коллективного героизма. Чтобы все это было, нужна была вера, а чтобы поддержать эту веру — нужны были факты, ощутимые доказательства выполнимости плана.

В конце июля Ояр спросил Курмита:

— Какого ты мнения на сегодня о наших делах?

И Курмит отвечал:

— Пока все в порядке, но я не думаю, что так будет продолжаться и впредь, если мы успокоимся и начнем хвастаться. Последний этап решающий. А если мы не сдержим данное партии слово, веры нам больше не будет. Скажут, что Сникер и Курмит — болтуны.

— Точно так же и я думаю, Курмит. Тогда нам больше не поверят. Но этого не должно случиться.

И борьба продолжалась. Главный инженер переселился на завод, в свой кабинет; многие мастера и рабочие спали тут же в цехах; Ояр приезжал домой только на час, на два, чтобы помыться и переменить белье.

В сентябре завод получил во всесоюзном социалистическом соревновании первую премию и переходящее красное знамя. Теперь весь коллектив завода день и ночь думал об одном: любой ценой удержать знамя.

И, конечно, удержали. А за два дня до двадцать восьмой годовщины Великой Октябрьской революции Ояр Сникер и Ансис Курмит пришли к секретарю районного комитета партии Петеру Спаре и рапортовали о досрочном выполнении «Новой коммуной» годовой производственной программы. Было поздно, уличное движение уже утихало. Они втроем сидели в кабинете секретаря, и трудно было бы решить, чье лицо выражало больше радости, чьи глаза блестели ярче.

— Прошу завтра к нам в двенадцать на открытие новых цехов, — сказал Ояр. — После этого отпразднуем Октябрьскую годовщину.

— Спасибо, Ояр, обязательно буду, — ответил Петер Спаре. И как он ни устал, но последних своих посетителей не отпускал больше часа: хотелось расспросить про все подробно и, главное, поговорить о планах завода на будущий год и на всю пятилетку.

Ояр и Курмит по очереди рассказывали обо всем, и для всех троих это было лучшим отдыхом.

На следующий день в цехи завода «Новая коммуна» прибыло много знатных гостей. С интересом выслушали они немногословное сообщение директора — ведь каждый прикидывал: «А нельзя ли и на нашем предприятии так?»

Ояр рассказал, с какими трудностями приходилось бороться коллективу, пока из развалин, груды металлического лома и ободранных моторов рождалось то, чему так радовались все сегодня.

— Теперь этот завод в буквальном смысле — наш. Он нами создан, нами восстановлен — понятно, что мы любим его, как родное детище.

Он говорил, обводя оживленным взглядом аудиторию.

— Но это не единственное детище, выращенное за такой короткий срок рабочими Советской Латвии. В Риге, Лиепе, Даугавпилсе — всюду дымят фабричные трубы и, как легендарная птица, неумирающий феникс, из пепла и развалин подымается новая жизнь. Как, товарищи, есть ведь смысл жить в такую эпоху? Радостно жить и радостно работать — плечом к плечу, одним дыханием со всем советским народом...

После митинга он провел гостей по цехам, показал то, что уже есть, и рассказал, что должно быть через полгода, через два и через пять лет. Представители редакций быстро записывали услышанное, а позади всех стояла молодая женщина и не сводила глаз с улыбающегося лица директора. Это была Рута.

— Ей-ей, завидую я Ояру, — проговорил стоявший рядом с нею Петер Спаре. — Ему не приходится расставаться со своим питомцем.

— Разве ты уходишь с завода? — спросила Рута. Она еще не знала, что Петер перешел на другую работу.

— Я уже почти две недели секретарь районного комитета партии. Странное существо — человек. Знаю ведь, что завод в верных руках, сам я работаю в том же районе, всегда в курсе всех заводских дел и, если понадобится, всячески помогу, но когда в Центральном Комитете мне сказали, что надо идти на другую работу, я несколько дней скрывал это даже от Мауриня... он теперь на моем месте. Мне казалось, что я собираюсь оставить на произвол судьбы старуху мать или раненого товарища на поле боя. А когда прощался с товарищами, они так уныло глядели на меня! Теперь Мауринь каждый вечер приходит ко мне и все по старой памяти величает директором. Дня не проходит, чтобы я не заехал туда и не обошел все уголки. Вот что значит свой! В этом, наверно, и заключается великая сила советского строя, что в нашей стране все свое: наше государство, наша земля, наше право и наш труд. Все наше и все для нас. Только сумасшедший способен думать, что можно это у нас отнять.

— Один подумал, да сгинул с лица земли, — ответила Рута и вдруг, что-то вспомнив, с удивлением оглядела Петера. — Значит, ты теперь секретарь райкома? Поздравляю. А как же с университетом — остается у тебя время на лекции?

— Трудновато, но как-то ухитришься. Я, что ли, один так? А Жубур, а Капейка, Аустра, да и ты сама! Все мы учимся... Сейчас еще легко. Вот скоро мы все получим новые задания, но даже и тогда надо будет со всем справляться.

— Ты имеешь в виду выборы в Верховный Совет?

— Да, выборы.

— У меня уже есть свой участок, я там бываю по несколько часов каждый вечер.

...Следующие месяцы пролетели для них незаметно. Снова началась напряженная и захватывающая работа, с которой они впервые познакомились в предвоенную зиму.

Собрания избирателей, встречи кандидатов в депутаты с избирателями, беседы на избирательных участках, жалобы на бюрократов и на неполадки в торговой сети, неприятные открытия, касающиеся некоторых товарищей, которые начинали забывать о своей ответственности перед народом, демагогические, с подвохом вопросы некоторых избирателей — в общем, работы было много. Каждую жалобу и сигнал надо было немедленно проверять, неполадки исправлять, тому, кому требовалась помощь, немедленно оказывать ее. За это время все обогатилось чем-то новым: и те, кто задавали вопросы, и те, кто на них отвечали.

Из тысяч мелких черточек, которые, взятые в отдельности, заключали в себе какое-то выражение характера, вырисовывалось лицо народа — мудрое, смелое, честное. В день выборов оно улыбалось теплой, солнечной улыбкой, — народ сказал свое решающее слово:

— Советская власть — моя власть, я голосую за нее!

Теперь Петер Спаре, Жубур, Айя, Рута, Курмит, Аустра, Капейка впервые после многих недель получили возможность отдохнуть. В свободные дни друзья собирались то у Петера, то у Жубура, вспоминали о пройденных вместе дальних фронтовых дорогах, делились мечтами и планами на будущее.

И о чем бы они ни говорили — о прошлом или о будущем, — имена Андрея Силениека и Роберта Кирсиса постоянно повторялись в этих беседах. Но не как мертвых вспоминали их ученики, соратники и друзья, — образы Андрея и Роберта вставали перед ними в жизненных ситуациях, они становились участниками сегодняшних дел. В трудную минуту и Жубур, и Айя, и Ояр, и Курмит, и многие другие всегда обращались как к своей совести к памяти Андрея или Роберта.

— А что бы он мне сейчас посоветовал? Как бы он поступил?

Сыны великой коммунистической партии, Андрей Силениек и Роберт Кирсис не могли умереть, исчезнуть бесследно, потому что жили они не узенькой жизнью, истраченной на заботы о собственном лишь счастье, — нет, они жили широкой, огромной жизнью партии, жизнью, исполненной борьбы за счастье всего народа. А народ всегда одаряет таких людей

частицей своего бессмертия.

Эдгар Прамниек был до глубины души горд недавно полученной Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. За прошлый год, кроме цикла рисунков «Фашистская оккупация», он написал несколько картин, декорировал избирательные участки и общественные здания ко дню выборов и, кроме того, каждый день проводил несколько часов в Академии художеств, где вел свой класс живописи. За всю жизнь он никогда так много не работал, и никогда его работа не была такой разносторонней, как теперь. Когда Калей предложил ему оформить постановку новой советской пьесы, Прамниек раздумывал два дня, затем дал согласие и взялся за эскизы.

Конечно, если человек несет на своих плечах такой большой груз, ему уже не хватает времени на то, чтобы сидеть в кафе, для него каждый час представляет немалую ценность. Тем более приятно было Прамниеку, когда к нему забегали старые друзья. Разглядывая его работы, они напускали папиросами и трубками столько дыму, что светлая, солнечная мастерская становилась похожей на овин.

В двери уже стучалась весна, и солнечные лучи грели так сильно, что почки на деревьях почувствовали это, хотя распускаться было еще рановато.

Редактор государственного издательства Саусум чуть отодвинулся от окна, потому что солнце светило ему прямо в лицо. Карл Жубур, став за спиною Прамниека, рассматривал через его плечо новую картину, на которую художник клал последние мазки.

— Послушай, Жубур, можешь ты сказать мне одну вещь: почему это находятся еще люди, которые любят брюзжать на советскую власть? — спросил, не оборачиваясь, Прамниек. — Почему все, что делает советская власть, кажется им плохим, — даже то, что она им лично делает хорошего, даже это они принимают как-то нехотя?

Жубур засмеялся.

— На этот вопрос лучше всего мог бы ответить ты сам — старый брюзга и скептик.

Саусум поощрительно подмигнул Жубуру:

— Отстегай его, Жубур. Пусть за все разом получит.

— Прошли те времена, когда я брюзжал, — тихо сказал слегка задетый

за живое Прамниек. — Нельзя всю жизнь пользоваться составленным раз навсегда представлением о человеке. Человек меняется, а вместе с ним должно меняться и мнение общества о нем.

— Я имел в виду не того Прамниeka, с которым сейчас разговариваю, а того, которого знал несколько лет тому назад.

— Но тогда я ведь еще ни черта не понимал! — воскликнул Прамниек. — Я был настолько наивным, что верил только своим иллюзиям и при этом считал себя материалистом, думал, что я просто не верю ничему такому, что нельзя пощупать руками. Не могу пожаловаться, что никто не пытался мне помочь. Андрей Силениек... Эх, какой был светлый, сильный ум... Я бы, кажется, сейчас несколько лет жизни отдал, чтобы хоть раз поговорить с ним, оказать ему, что теперь стал другим... Когда-то он учил меня видеть не только то, что совершается и существует на свете, но и то, что неотвратимо должно совершиться и существовать. И надо заметить, когда он говорил о железных законах развития общества, я ведь решительно ничего не имел против этих законов, против того, что осуществляется в результате действия этих законов... Социализм и тогда представлялся мне самой лучшей, идеальной формой общественного устройства. Но мне казалось, что жизнь в целом развивается как-то по-другому — как результат многих случайностей и капризов истории, минуя, так сказать, эти законы. Классовый антагонизм, классовая борьба казались мне чем-то вовсе не таким уж универсальным, — я думал, что взаимоотношения между рабочим классом и классом капиталистов могут принимать довольно благодушную форму, думал, что при наличии доброй воли возможно компромиссное разрешение вопроса.

Коммунисты мне казались мечтателями — только очень строгими мечтателями, которые многое преувеличивают, слишком спешат с осуществлением будущего и готовы во имя его жертвовать настоящим. Мне казалось, что они требуют от человека больше, чем он может дать. Словом, я думал, что мир вовсе не так суров и отдельный человек всегда может расположиться в нем соответственно своим вкусам и склонностям, не считаясь ни с какими железными законами... Ну, что же... — Прамниек опустил кисть и на секунду умолк. — Да, жизнь за это крепко наказала меня, крепче не бывает... После разговора с шефом гитлеровской пропаганды, после тюрьмы и Саласпилса, после гибели семьи — тогда только я и понял, что коммунисты самые трезвые реалисты. Понял я тогда еще одно: единственный возможный для меня путь — с коммунистами, и это уже до конца жизни. Поэтому могу еще и еще раз подтвердить: да, я ничего не понимал, много объяснения тогдашней своей тупости не нахожу.

— Вот ты сейчас сам ответил на свой вопрос, почему иным людям все, что делает советская власть, кажется плохим, — сказал Жубур. — Тогда ты многого не понимал. Те, кто еще сегодня ворчат на нас, тоже многого не понимают. Иной не хочет отказаться от старых привычек, боится нового, не зная и не понимая его, а его отношение обуславливается просто грошовым подсчетом плюсов и минусов в собственном материальном положении. Некоторым принцип «каждому по труду» кажется неприемлемым, потому что их потребности больше их заслуг, кроме того, они привыкли при буржуазном строе получать больше, чем заслуживали, ясное дело — за счет других, которые не получали полностью заработанного.

— Это слишком простое объяснение, — сказал Прамник.

— Зато верное, — заметил Саусум.

— Нельзя так элементарно объяснять такой сложный вопрос, — не сдавался Прамник. — Сегодняшний жизненный уровень — величина изменяющаяся, и каждый разумный человек, а среди этих ворчунов не все дураки, понимает, что за несколько лет материальный уровень всего народа может подняться на небывалую высоту. Почему все-таки они недовольны и слышать не хотят о неоспоримой правоте коммунизма? Консерватизм? Идеалистические предрассудки? Нежелание расстаться с богом? Но они сами в этого бога давным-давно не верят, для большинства религия только вывеска над дверями лавочки. Упрямое, принципиальное нежелание воспринять то, чего они сами не искали?

— Суеверие, — заговорил Саусум. — В средние века церковь, как идеология и главная охранительница реакции, объявляла ересь и чертовщиной все новое, прогрессивное; ученых жгли на кострах, каждое новое открытие в астрономии, медицине, физике осуждали, как вмешательство в компетенцию господ бога. Сейчас господь бог капитулировал на всем широком фронте науки, на его когда-то неприкосновенной территории хозяйничают как у себя дома ученые, и никому не приходит в голову обвинить их в ереси и тащить на костер. Наоборот: если у папы римского заболит живот от неумеренного потребления земных благ, он лечит его не молитвами, а принимает испытанное лекарство. Следовательно, в этой области все как будто в порядке. Коммунизм же объявил войну не только духовному, но и материальному суеверию, экономическому консерватизму. Он несет новую правду и новые нормы справедливости. С частной собственности сорван ореол божественности, и в понятии современного человека она становится вопиющей бессмыслицей, злокачественной опухолью, которую необходимо удалить посредством операции, каннибализмом, против которого

направлены законы социалистического государства. Реакционеры и все их приспешники не дают себе труда познать эту новую правду или не в состоянии органически понять ее. Они видят в ней лишь кощунство по отношению к старым святыням, угрозу своему гибнущему миру и, не будучи в силах спасти его в открытой идейной борьбе, прячутся за свои тупые предрассудки, как за крепкий щит. И сколько есть на свете глупцов и подлецов, столько же у них единомышленников.

— Ну, товарищ Саусум, вы здесь что-то путаете, — сказал Жубур. — Во-первых, мы о разных вещах говорим. Эдгар ведь спрашивал о тех людях, которые объективно выигрывают в социалистическом обществе, хотя еще не доросли до понимания этой истины. Мне кажется, что он имел в виду некоторых представителей интеллигенции, зараженных предрассудками капиталистического общества. Об этом разряде людей можно сказать, что они заблуждаются оттого, что не понимают законов исторического развития. Их действительно в большинстве случаев можно перевоспитать и надо перевоспитывать. Но ведь по вашим словам получается так, что империалисты — это что-то вроде жертв собственной темноты и невежества. Право, можно так понять! Это что же, если хозяевам Уолл-стрита, например, прочесть несколько хороших лекций по историческому материализму, так они вам и согласятся, что до сих пор были глупыми, а впредь образумятся и станут вести себя хорошо? Вреднейшая иллюзия, товарищ Саусум. Они и сами давно понимают, что далеко не благополучны дела в лагере империализма. Ну и что же, готовы сложить по этому поводу оружие? Да ничего подобного, они обращаются и будут обращаться к самым жестоким, бесчеловечным формам борьбы, чтобы отстоять мир эксплуатации, общественного неравенства, грубой власти денег. Ведь что такое фашизм? Это и есть оружие отчаявшегося издыхающего капитализма. После поражения Германии и Италии его не выбросили на свалку, нет, его старательно подбирают и подновляют заботливые руки.

Классы, которые должны сойти с исторической сцены, последними убеждаются в том, что их роль окончена. Это товарищ Сталин сказал в беседе с одним талантливым интеллигентом, который не мог понять этой истины.

Классовую борьбу, товарищ Саусум, нельзя подменить просветительной работой. И в науке не так уж просто обстоит дело. Если папа римский при расстройстве желудка обращается за помощью к лейб-медику, а не служит обедню пресвятой деве, этот отрадный факт еще ровным счетом ничего не доказывает. Буржуазия позволяет существовать

науке лишь постольку, поскольку ей это выгодно. Вспомните-ка обезьяний процесс — дело было даже не в католической Италии, а в стране самого развитого капитализма. Или вот вам пример. На что уж как будто «беспартийная» наука астрономия, на дивиденды не покушается, свергать власть банковского капитала не призывает, а что, посмотрите, творится в этой науке — самая ожесточенная классовая борьба.

Понадобилось подновить старого верного бога — пожалуйста, тут же вам доказывают, с помощью математических формул даже, что мир сотворен, что, значит, и бог есть и от него всякая власть. Так что средневековые вы рано похоронили, его всячески подновляют в арсеналах современного капитализма.

— Ну, товарищ Жубур, я все-таки не думал, что господ с Уолл-стрита можно перевоспитать лекциями. Я увлекся своей аналогией... согласен, очень расплывчатой...

— Не спорь, не спорь, — сказал Прамник. — Что греха таить, рассуждаем мы с тобой не всегда последовательно, хотя чувствуем, может быть, правильно. Многого еще нам не хватает...

Он положил кисть и палитру, закурил трубку и сел передохнуть. Пуская в воздух кольца дыма, он задумчиво наблюдал, как они уплывали, делались все больше и понемногу теряли свои очертания.

— Вообразите на один только миг, какой трудной и мрачной была бы сейчас жизнь человечества, если бы на земном шаре не существовало социалистического государства. Ты, Жубур, скажешь мне, что Октябрьская революция не случайность, не выигрыш в лотерее, а неизбежный закономерный результат исторического процесса.

Я все это знаю и понимаю, но все-таки, какое это чудо и счастье, что самая заветная мечта лучших людей стала явью, что для нас она уже привычный факт, будни... Насколько же легче будет путь других народов, — они пойдут по нашим следам, у них перед глазами наш пример. Возьмите страны народной демократии — интересно ведь наблюдать, как они идут по этому пути... Но я не о том, я сейчас рассуждаю со своей, художнической точки зрения. Мне история нашего Советского Союза кажется сказочной былиной о подвигах богатырского племени, какого еще не было на свете. И мне радостно становится — сколько, оказывается, в человеке силы, красоты, ума. Столько, сколько никто еще не подозревал. Да что там, — буржуазное искусство, литература изо всех сил стараются доказать, что человек ничтожество, дрянь, слизняк. Особенно теперь — прямо с каким-то сладострастием наперегонки торопятся изобразить его поподлей. Да и что тут удивительного, буржуазия все меряет своей

меркой... Ах, друзья, ничего мне для себя не надо, только одного хочу — показать хоть в малой мере красоту человека, которая рождается вокруг нас. Нет ничего выше человека...

Их разговор был прерван появлением нового гостя. Это был писатель Калей. Он недавно кончил новую книгу и теперь пришел просить Прамниэка, чтобы тот взялся ее иллюстрировать.

— Книга эта мне очень дорога, я вложил в нее лучшее, что у меня есть. — Он улыбнулся. — Может быть, я и ошибаюсь, но знаю только, что ты постарайся понять мои образы и правильно истолкуешь их.

— Лесть на меня действует безотказно, — сказал Прамниэк с серьезным видом. — Ну, что поделаешь, придется тебе помочь!

3

Послевоенный план развития народного хозяйства был принят сессией Верховного Совета и опубликован в газетах. На заводе «Новая коммуна» кружком по изучению плана новой пятилетки руководил сам директор. Однажды вечером он созвал обще заводское собрание и ознакомил коллектив завода с пятилетней производственной программой их собственного завода. Язык цифр поражал слушателей, им становились ясными величие поставленных перед ними задач и смелость замыслов. На дальнейшее расширение «Новой коммуны» по пятилетнему плану было ассигновано 25 миллионов рублей, не считая строительства шести жилых домов. В 1950 году завод уже должен был производить в четыре раза больше продукции, чем в 1946.

— Будет ли это пределом? — спрашивали друг друга рабочие. — Конечно, нет.

— А зачем обязательно надо дожидаться пятидесятого года? — говорили другие. — Почему мы не можем выполнить свою пятилетку в сорок девятом? Это нам вполне по силам. Пусть инженеры подсчитают, что для этого должен делать каждый из нас, а мы покажем, на что способен наш коллектив.

И инженеры начали подсчитывать, директор с парторгом ночами сидели над проектными расчетами; после этого весь коллектив собрался снова и обсудил организацию социалистического соревнования по досрочному выполнению пятилетки.

Вскоре после этого Ояра вызвали в Центральный Комитет партии.

— Твой завод является одним из самых крупных потребителей

лесоматериала в республике, сказали ему. — В некоторых уездах, где план довольно высок, может быть сорвана заготовка древесины, если мы им не поможем. Сколько людей ты можешь послать от «Новой коммуны»?

— Я бы с удовольствием всех отдал, но ведь нам-то никто не сократит производственную программу. Сколько человек вы хотите взять с завода?

— Сто человек.

— Гм... — Он немного подумал, потом согласился.

— Это еще не все, — продолжал заместитель секретаря Центрального Комитета. — На все важнейшие пункты лесозаготовок мы посылаем уполномоченных от Центрального Комитета и Совета Министров. В списке уполномоченных значится и твое имя. Район можешь выбрать по своему усмотрению.

— Но вы ведь не будете держать меня в лесу до осени? Кто же будет руководить «Новой коммуной?»

— До осени нет... только до момента выполнения сезонного плана. Если закончишь в неделю — возвращайся домой. Если нет — сиди в лесу хоть до конца июня.

— Да, так вы мне и позвольте сидеть до конца июня! — засмеялся Ояр. — Ну, хорошо. Когда я должен выезжать?

— Хоть завтра.

— Завтра я еду вместе с рабочими.

Вечером Ояр сказал Руте:

— Завтра я уезжаю на некоторое время в командировку, так что тебе тогда придется ужинать одной. Веди себя примерно и жди своего лесного брата. Если дела пойдут хорошо, буду писать.

— Куда же ты едешь?

— Надо обеспечивать лесом выполнение пятилетки.

— Ну, смотри не пропади, — улыбнулась Рута.

На следующий день он уехал. После этого в дремучих лесах Упесгальской волости началось невиданное оживление. Пели пилы, с шумом падали сосны и ели, повсюду пылали веселые костры. Ояр сновал как челнок от лесосеки к лесосеке. Горе тому бюрократу или волокитчику, который вовремя не прислал пил, топоров или напильников! Беда снабженцу, если он не доставил вовремя лесорубам обед или ужин!

Ояр действовал с отменной быстротой, как настоящий партизан, используя свои широкие полномочия. Он поднял на ноги всех незанятых трудоспособных людей Упесгальской волости и на десять дней отправил их в лес, после этого свернул работы по рубке, так как план был выполнен, а все силы бросил на вывозку, пока еще не растаял последний снег. У

станции и на «площадке» у реки быстро росли штабеля бревен, баланса, крепежного леса и поленницы дров.

Индрик Закис оставил работать в исполкоме секретаря Скую, а сам со своими помощниками и членами исполкома отправился в лес. Казалось, люди пустились наперегонки с весною: у них было перед ней маленькое преимущество — одна неделя, не больше, но весеннее солнце не считалось с их заботами, а юго-западный ветер делал свое дело. Правда, теперь и до финиша было не особенно далеко.

Штаб «полка» Макса Лиепниека прошлой осенью перебрался на другое место. В глухой чаще, где не ступала нога лесоруба и лесника, под каким-то пригорком, позади которого рос густой кустарник, а дальше начиналось болото, бандиты устроили большой блиндаж. На самой вершине пригорка росло старое дуплистое дерево; взрослый человек мог довольно удобно устроиться в этом дупле и наблюдать за окрестностью. Днем ни человек, ни зверь не могли бы подойти незамеченными к блиндажу. Ночью бандитов охраняли зарытые вокруг пригорка мины и несколько секретов.

Однажды ночью в секрете сидел молодой батрак Адольф Чакстынь, которого Макс Лиепниек сманил за собой в лес. За полтора года парень изрядно пообносился, сапоги были без подметок, одежда висела лохмотьями. Хоть он и привык делать все, что приказывали хозяин и разные большие и малые «командиры», но вечные унижения, которые ему постоянно приходилось терпеть, надоели и этому тихому, покорному парню. Недавно он сам убедился, что известие о высылке в Сибирь родителей — чистые враки и выдумал это скорее всего сам Макс Лиепниек. Только с полчаса побыл Чакстынь у своих родителей, но и за это время успел узнать обо всем, что происходило в родной волости. Мать со слезами уговаривала его уйти из банды и явиться в милицию, — многие уже сделали это и теперь живут со своими семьями, честно работают, и никто их не трогает.

— Неужели, сынок, ты совсем зверем стал?

Сидя в секрете и дрожа от мартовской ночной прохлады, Адольф Чакстынь думал свою горькую думу.

Эх, если бы удалось уйти! Разве это жизнь? Грязный, вшивый, оборванный, как нищий у кладбищенских ворот... Ни к одному честному человеку не подойдешь, дети пугаются, как увидят. Все только командуют

и распоряжаются, будто ты и не человек вовсе. Мало того что приходится чистить сапоги Максу Лиепниеку, — как же, он теперь «командир полка», — но ведь и всем прочим соплякам, у которых еще молоко на губах не обсохло, тоже приходится прислуживать! А там, дома, даже старым Чакстынем никто больше не командует, большим хозяевам давно рты заткнули. Любой батрак сейчас сам себе голова. Закис поставлен председателем волостного исполкома. Ясно, Максу Лиепниеку не нравится, что за беднотой сейчас решающее слово, он слюной брызжет, когда об этом заговорит. А чего ему, батраку, с ума сходить из-за кулаков?

Крестьяне ненавидят бандитов, считают их сущим бедствием и ничего не дают добром, даже краюху хлеба приходится отнимать силой. И на какую поддержку может рассчитывать толпа грабителей и убийц, которые врываются в хутора и убивают невинных детей и больных стариков, лишь бы добыть поросенка или мешок муки или за то, что эти старички узнали некоторых грабителей? Так делают только самые отъявленные преступники.

Так, сидя в секрете, думал Адольф Чакстынь, и у него ум за разум заходил. Хорошо еще, что он не замарал рук в крови, знал только караульную службу, хозяйственные обязанности на базе. Конечно, и это плохо: прямое содействие бандитам.

А чуть только кто-нибудь из банды становится молчаливым или задумчивым, Макс Лиепниек тут же придумывает для него самое мерзкое задание — поджечь кого-нибудь, ограбить, убить. После этого человек связан по рукам и ногам и уже не может уйти из банды. Один-два раза в неделю Макс собирает всех в большой блиндаж и рассказывает, какая ужасная месть ожидает каждого, кто осмелится уйти из банды.

— Мы будем рассматривать такого человека как предателя, и с ним может быть одна лишь расплата — пуля или петля. Хутор спалим, всю семью уничтожим, чтобы и духа не осталось от его паршивой породы, и другим для острастки...

Медленно тянулось время. Влажный ветер раскачивал верхушки елей, с сучьев падали тяжелые холодные капли. Продрогший Адольф Чакстынь туже подпоясал свои отрепья и, наблюдая за чащей, продолжал думать свою тяжелую думу.

Утром ему велели явиться к Максу Лиепниеку.

Выспавшийся, свежий, только что побрившийся, Макс смеющимися глазами посмотрел на парня:

— Я хочу дать тебе возможность продвинуться. Ты честно и верно служил нашему делу. Нельзя же вечно держать тебя в тени. Если хорошо

выполнишь задание, я тебя повышу — сделаю командиром группы.

— Что я должен сделать?

— Ты отправишься на большую лесосеку в Упесгальском лесу и прикончишь большевистского уполномоченного. Фамилия его Сникер. Он остановился у лесника, но приходит туда только по ночам. Переоденься лесорубом и ищи его в лесу. Как ты с ним справишься — это дело твое. Даю тебе два дня срока, после этого буду ждать донесения о выполнении задания. Если выполнишь раньше — честь тебе и слава, Адольф Чакстынь. Все ясно?

— Ясно, господин командир, — ответил Чакстынь, и ни один мускул не дрогнул в его лице, хотя он был потрясен до глубины души. — Могу я задать вопрос?

— Спрашивай.

— Надо одного Спикера застрелить или можно убить еще кого-нибудь, если подвернется случай? Если можно, то кого?

— Стреляй, сколько тебе влезет и сколько хватит патронов, только смотри не угоди в кого-нибудь из наших. Если подвернется под руку его волостная светлость Закис, заместитель его или кто-нибудь из коммунистов — бери на мушку, но только после того, как прикончишь Сникера. Слышишь, что говорю? Мы не можем позволить, чтобы заготовленный лес вывезли до весны, пусть хоть часть останется на месте, пусть потом гниет до будущего года, а крестьяне ругают большевиков, что те губят государственное добро. Сникер этого не допустит, поэтому его надо убрать.

— Понимаю, господин командир. Разрешите идти?

— Иди и приготовься к выполнению задания. Я скажу, чтобы тебе дали надеть что-нибудь подходящее.

Через несколько часов Чакстынь ушел с базы. Оружие — пистолет-маузер — он спрятал под теплым пиджаком, а подмышкой нес топор. На ногах у него были старые постолы, коричневые домотканного сукна штаны с заплатами на коленях, как у хорошего лесоруба.

Время шло к вечеру, когда Ояр Сникер вернулся с береговой «площадки» на большую лесосеку. Было тихо; рубить деревья кончили, и только по временам сюда приезжали возчики за новыми бревнами. К Ояру подошел какой-то парень и спросил, не он ли будет уполномоченный из Риги, Сникер.

— Да, я, — ответил Ояр. — Чего вы хотите?

— Мне надо с вами поговорить по важному делу.

— Так говорите.

— Нет, здесь нельзя, — сказал, оглядываясь, парень. — Я не хочу,

чтобы нас увидели вместе. Люди болтать будут, а дело важное.

Тогда Ояр отвел его в сторону от дороги за купу елей. Там они сели на пенёк, и Адольф Чакстынь обо всем рассказал Ояру.

— Верьте, за мной нет никакой вины, и мне опостылело жить среди бандитов. Сделаю все, что потребуете от меня, только разрешите выйти из леса и жить с людьми.

Ояр немного подумал:

— Ладно, Чакстынь, нам следующей ночью понадобится ваша помощь. А сейчас давайте ваше оружие и пойдём в волостной исполком. Не бойтесь, я вас не покажу ни одному человеку, да и стемнеет скоро.

В исполкоме, из кабинета Закиса, Ояр созвонился с начальником уездного отдела МВД — это был Эзеринь, товарищ его по партизанскому полку.

Около полуночи у исполкома остановились две грузовые машины с бойцами. Приехал и Эзеринь. После недолгого совещания маленький отряд под командой Ояра Сникера и Эзериня отправился в путь. Несколько километров они ехали на машине, потом шли пешком. Дорогу показывал Адольф Чакстынь.

В три часа утра база бандитов была окружена, и боевая группа тихо прошла по указанному Чакстынем проходу — через минное заграждение, сняла секреты и ворвалась в блиндаж. Борьба была короткая и успешная, так как бандиты спали. Те, кто пытались сопротивляться, были убиты, остальных захватили живыми.

Только Макса Лиепниека не было среди них: он выбрался по тайному ходу из своей маленькой землянки и спрятался в лесу. К утру он достиг одной из усадеб на другом конце волости и постучал в окно к Зайге Мисынь.

Двое суток провел он в комнате Зайги, так и сяк обдумывая свое незавидное положение. Командир без войска, разбит, как последний дурак, — куда теперь деваться? Все заметнее обнаруживались признаки разгрома. Одна за другой прекращали свое существование банды, чаще стали случаи ухода из лесу, всяк, кто мог, легализовался, в лесу оставались только те, кому некуда было деваться, чьи преступления были настолько тяжки, что нечего было надеяться на прощение.

В Риге, как это ни странно, прятаться было легче, чем в деревне. Ясно, в городе нельзя будет ни стрелять, ни поджигать, там самое большое, что можно себе позволить — это совершить кражу со взломом, ограбить кого-нибудь ночью в глухом углу парка. Время от времени можно будет выезжать на машине в деревню, чтобы к утру снова возвращаться в Ригу.

Жить можно будет. А там события покажут, что произойдет дальше.

Переодевшись, с фальшивыми документами в кармане, Макс Лиепниек направился в Ригу. С Зайгой условился, что она будет держать связь с остальными бандитами, еще скрывавшимися в лесу. Через несколько недель, когда Макс устроится в городе, она приедет к нему и договорится о дальнейших действиях.

Далеко-далеко за лесом звучала песня Лиго. Вчера еще, едва солнце стало клониться к западу, зазвучал ее чистый веселый напев, всю ночь дрожал он в воздухе и теперь приветствовал рождение нового дня. Золотом засверкали первые солнечные лучи на верхушках деревьев, огненными стрелами пронизывая листву, пробуждая лесную чашу, которая отвечала этому изобилию света тысячеголосым ликующим пением птиц, беспечным лепетом прячущегося в лесном сумраке ручья. Все благоухало, испарения почвы сизоватой прозрачной дымкой стлались над кустами, молодыми елочками и болотными кочками. И сразу же в воздух взвился роскошный рой бабочек, тысячи мелких букашек начали суетиться, летать, ползать, трещать и жужжать, только короед, точивший сухостойную сосну, да улитка, что прилипла к шляпке гриба, знать ничего не хотели о наступающем дне.

Герман Вилде сидел на гнилом пне и прислушивался к отдаленному пению. Нечистое, с неделю уже небритое лицо его казалось старым, изможденным, от лохмотьев шел кислый запах давно немытого тела. Он был грязный и худой; все его раздражало и злило. Песня, которую пели за лесом невидимые веселые люди, дразнила, звучала как вызов. Какое они имели право радоваться, когда он вынужден сидеть в лесу, прятаться от людей, как дикий зверь?

Чему они радуются? Какие золотые горы принесла им эта новая жизнь?

Упрямое, непокорное племя... А ты, Герман Вилде, хотел еще стать одним из его верховодов... Незванный, непрошенный, хотел ты стать во главе его, потребовать, чтобы оно тебе поверило, подчинилось твоей воле. Но что ты можешь обещать и кому?

Только месть для тех, кто не признает твоего верховодства, только кровь, уничтожение и смерть... Они поют веселые песни, а ты сидишь в лесу, и жизнь проходит мимо тебя. Ты ждал и все еще продолжаешь ждать чуда, транспортов с чужестранными войсками, землетрясения, потопа. Не

идут чужестранные корабли, земной шар не сотрясают космические катастрофы, море и реки остаются в своих берегах. Люди, которых ты ненавидишь, не стоят на месте. Они воздвигают фабрики и дома, мосты и порты, они восстанавливают разрушенное и создают новое. А ты бессилён в своей ненависти, как змея, у которой вырвано жало. Тебе приходится сидеть на гнилом пне посреди леса и издали глядеть на них, ибо близко подойти к ним ты не смеешь.

Зачесался бок. Герман Вилде сунул руку за пазуху и долго скреб искусанное место.

Да, ему осточертело жить в лесу, и он охотно ушел бы отсюда, но куда? Целая гора преступлений лежала на его пути и не пускала. Нельзя было смыть кровь, которая прилипла к рукам. Пути назад для него не было.

Герман Вилде поднялся и погрозил кулаком, погрозил радости, которая звучала за лесом.

— Проклятые... Ненавижу и буду ненавидеть...

Он зашел еще глубже в чащу и спустился в сырую нору, где жили его соучастники. Посреди норы на чурбаке, который заменял им стол, стояла бутылка водки.

— Кто разрешил пить? — крикнул Вилде от двери.

Четыре лица, таких же грязных и обросших, как и у него, обернулись к Вилде с вызывающей ухмылкой.

— Никто не разрешил. Сами разрешили, тебя не спросили. Ты что еще за министр? Ха-ха-ха!

Вилде хотел на них крикнуть, сказать что-нибудь грубое, унижающее их, но промолчал, — с пьяными заводить ссору не стоит. В бутылке осталась еще водка. Вилде налил чайный стакан и выпил залпом. Остальные злобно заворчали.

— Ну, чего вы, как собаки? Хватит и вам.

Вилде пошарил под топчаном и достал новую бутылку.

— Придвигайтесь! Выпьем, что ли, за нашу победу.

— Черта лысого! — буркнул самый старший, однако от своей порции не отказался.

Они напились и начали разговаривать о женщинах, похабно, со злобой. Они рассказывали друг другу о своих лучших днях и мечтали об их возврате. Вилде вздумалось вдруг пойти в усадьбу Межнора к Эрне Озолинь, но остальные его отговаривали, — на праздник Лиго туда могли прийти соседи. Он не шел на уговоры, несколько раз порывался встать и выйти из землянки; наконец; двое бандитов повалили его на землю и держали до тех пор, пока он не уснул.

В тот день четверо молодых людей — Имант Селис, Эльмар Аунынь, Рита Биргель и Занда Сунынь — поехали в Межа-парк. Выйдя на берег Киш-озера, они сели на яхту и подняли белый парус. У пристани их ждал пятый — воспитанник ремесленного училища Юрис Курмит, но он не поехал с ними, он хотел только посмотреть, как пойдет яхта, когда развернут на ней все паруса. Юрис Курмит больше месяца проработал в яхт-клубе и за это время закончил под руководством одного старого мастера капитальный ремонт какого-то катера. Через полчаса он должен был встретиться со своими товарищами по училищу, чтобы вместе пойти в Зоологический сад.

Имант окончил первый курс мореходного училища и теперь собирался в свой первый морской рейд. Шеститысячный современный теплоход, несколько больших портов, о которых много прочитано и много слышано... словом, причин достаточно, чтобы молодой моряк чувствовал себя довольным. Но сегодня Имант старался молчать об этом: если много болтать, друзья скажут, что он слишком много о себе думает.

И все же пришлось заговорить.

— Когда ты вернешься домой? — спросила Рита.

— Осенью, к началу занятий.

— Значит, летом к нам уже не приедешь...

— Почему же нет? Когда сойду с судна, обязательно приеду.

— Посмотрим, — сказала Рита. — Побываешь за границей, загордишься.

— Я и сейчас горжусь, — ответил, улыбаясь ей, Имант. — Горжусь тем, что у меня такие славные друзья. А за границей я буду гордиться еще больше — гордиться своим народом, который достиг того, чего не достиг еще ни один народ во всем мире. Быть советским человеком — разве это не достаточная причина для гордости?

Быть советским человеком...

Это означало и для Иманта и для его товарищей очень многое: веру в жизнь, дерзновенные мечты и упорное стремление превращать красоту мечтаний в действительность. Они понимали, что им надо много знать, надо во всей глубине постигнуть ту великую правду, которую коммунисты открыли человечеству и воплощением которой стала вся история советского государства.

Все, все старался охватить их молодой, жадный до знаний ум, но это не было витаньем в облаках, ибо они обеими ногами крепко стояли на земле и, мечтая о будущем, всеми своими помыслами и интересами были

связаны с настоящим.

Эльмар Аунынь этой весной обработал своим трактором на шестнадцать гектаров больше, чем тракторист, достигший до него наивысшего показателя по республике. И Эльмар гордился этим. После окончания курсов трактористов он поехал на работу в МТС, которой руководил Владимир Гаршин.

Занда Сунынь после недолгих колебаний поступила в институт физкультуры и была очень довольна своим выбором. Брат ее Валдис учился в школе прикладных искусств переплетному мастерству: многие самостоятельно переплетенные им тома уже украшали книжные полки его друзей.

Яхта плавно скользила по озеру. Всюду были вода и солнце, а вокруг — кольцо зелени прибрежного леса. Когда вышли на середину озера, стал виден взорванный мост над протокой у Милгрависа и новый корпус суперфосфатного завода. Еще дальше можно было разглядеть дюны Вецмилгрависа и какой-то поставленный на ремонт пароход. Всюду еще были рядом новое и старое, отмирающее и рождающееся, но воля человека властно указывала каждому свое место. И всегда выходило так, что старому нужно было тесниться, отступить перед новым.

— Как хорошо жить, — сказал Имант, и каждый подумал, что он выразил именно его мысль.

— Да, хорошо, — отозвалась Занда. — Мне кажется, мы никогда не состаримся, ведь мы живем в молодом мире, а человек не может быть старше мира.

Рита Биргель запела, и сразу с ее голосом сплелись молодые и сильные голоса остальных. И полилась старинная песня, одна из тех, что часто звучали над водами и при ярком солнце и в тихие вечера:

На волнах качайся, лодка...

Свежий ветер надул паруса, и белая яхта, почти касаясь правым бортом воды, все ускоряла бег, а четверым друзьям все еще казалось, что они движутся слишком медленно. Как же иначе! Они спешили навстречу своему будущему.

Солнце пламенело над городом, лесами и водами, ни одного облачка не было на голубом небе. И молодым людям в белой яхте казалось, что они в глазах друг у друга видят солнце — жаркое, светлое, самое прекрасное и светлое из всех солнц.

Мы знаем, что это за солнце. Имя ему — Юность.

Книга шестая

Глава первая

1

Старый Рубенис проснулся, как только из соседнего гаража выехал первый грузовик. Стенные часы, все те же старые часы, которые четверть века с лишним протикали на стене этой комнаты, показывали десять минут шестого. Можно было поспать еще часа полтора, но чего же зря валяться, если сон не берет? Первые, еще красноватые лучи солнца проникли поверх крыши дровяного сарайчика в окно, и голубоватая полоска обоев возле двери, точно изнутри, прояснилась от мягкого, нежного отблеска. Это было еще не сияние, не блеск — только дружеская, сдержанная игра света, но этого было достаточно, чтобы день вступил в свои права.

Рубенис стал одеваться, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену. Всунув ноги в старые, давно потерявшие блеск калоши, он вышел во двор, зажег трубку и сделал первую, самую вкусную, утреннюю затяжку. Зашел в дровяной сарайчик, медленным, оценивающим взглядом окинул поленницу дров, нет ли слишком толстых поленьев, которые следует расколоть, заглянул за старые пустые бочонки, в которых раньше хранились салака и соленые грибы, перебрал свой рабочий инструмент — багры и крюки — и с недовольным лицом уложил все обратно. Прямо как назло, все стояло на месте, не было никакой надобности что-нибудь убрать или исправить. И не мудрено: вчера только был произведен последний осмотр, и, точно так же, как сейчас, старый Рубенис не мог найти себе занятия.

«Вот и Юрис такой же, весь в меня, — подумал он. — Тоже не может ни минуты посидеть без дела. С утра до вечера бегает по своему району... везде он должен побывать сам, все увидеть своими глазами. Поэтому у него в районе образцовый порядок. Пусть другие приходят и учатся... всегда что-нибудь полезное узнают».

Дойдя до этой мысли, Рубенис больше не мог оставаться в одиночестве, ему требовался собеседник. Утренняя трубка была выкурена. Захватив охапку дров, Рубенис вернулся в кухню и с удовлетворением убедился, что жена уже хлопчет у плиты.

— Ну и денек — как цветочек, — заговорил он. — Такая погода прямо как на заказ для крестьян. Теперь только знай убирай, пока весь хлеб не будет в скирдах. Петом пригонят молотилку. Будет и государству и себе.

— Будет, все будет, — рассеянно отвечала Рубениете, подкидывая в плиту дрова. — Присмотри, отец, за чайником, чтобы не убежал. Мне надо в погреб сбегать.

— Давай я схожу. Чего принести?

— Пока тебе объяснишь, можно два раза обернуться. Мужчины такой бестолковый народ в этих делах...

— Гм-да, если уж так, то иди сама, толковая женщина. Мы, как говорится, со своей любезностью не навязываемся. Но хотя вы и ни во что не ставите нас, мы себе цену знаем. Цена не малая.

— То-то вы и набиваете эту цену.

У них уже вошло в привычку время от времени шуточно поддразнивать друг друга.

Когда жена вернулась из погреба, Рубенис возобновил разговор в более серьезном тоне:

— Что ни говори, а наш Юрис парень ухватистый. За все он берется как следует. Когда еще работал в порту, самые неуживчивые и те просились работать с ним. Тебе бы следовало посмотреть, как летали кипы льна, когда он брался за крюк. А на фронте — как лев дрался. Капитан, командир роты, награжден орденами... Поэтому работа спорится у него и в мирное время. Ты вдумайся, мать: председатель исполкома! Раньше и во сне бы не приснилось этого. Целый район доверили, со всеми домами и фабриками. И все хвалят, все говорят, что лучший хозяин района во всей Риге. Чистота, порядок, вежливое обращение с людьми, а с разными прохвостами — по всей строгости. Вот это, я скажу, по-моему.

— Ты скажи лучше, чего это ему стоит, — вздохнула Рубениете. — Когда только он и спит. Целыми ночами по заседаниям да по совещаниям. Сколько времени может человек это выдержать?

— Юрис выдержит. Не забудь, что он в Рубенисов пошел. Отец, бывало, когда еще батраком в имении жил, мешки по целому берковцу ^[4] заносил по лестнице на второй этаж.

— У Юриса на плечах тяжесть не меньше.

— Но он не для господ носит, ты этого не забывай, — подняв палец, сказал Рубенис. — Для своего народа работает, на пользу своему рабочему классу. Совсем иное дело получается, не та уж тяжесть. Я сам, например...

Но Рубениете не дала ему похвастаться: у женщин есть эта манера — прерывать речь на самом приятном месте.

— Садись есть, пока не остыло, — сказала она.

— Мне, ты думаешь, почетную грамоту даром дали? — все же успел вставить Рубенис. — Из тысячи одному — чаще их не дают. Это ты прими во внимание.

— Я разве спорю? Только не стоило бы об одном и том же тысячу раз говорить. Хватит, если один раз скажешь.

— Ну да, тебе, понятно, не нравится, что я на старости лет выдвигаться начинаю, — полусердито сказал Рубенис и сел за завтрак. — Но это не поможет: я все равно в тени не останусь. Если у меня сын настоящий человек, так почему я буду бессловесным?

— Да ты уж у меня таким бессловесным всю жизнь был, — усмехнулась Рубениете. — Хозяевам всегда норовил поперек горла стать. В пятом году нагайками и то не могли тебя переделать — какой был, такой и остался.

— А тебе хотелось, чтобы они меня переделали?

— Скажешь ты тоже, — хотелось...

Рубенис подмигнул жене, и оба улыбнулись.

За понтонным мостом Рубенис сошел с трамвая и пешком пошел вдоль Даугавы по направлению к Экспортной гавани. Ужасными ранами зияла взорванная набережная. На дворе таможни высились оголенные скелеты разрушенных и сожженных пакгаузов. Хоть и потрудились здесь рижские рабочие, но кругом все еще свидетельствовало о мании разрушения, о безумной ненависти убежавшего хищника. Часть дороги к гавани шла мимо обвалившейся ограды сильно вырубленного и захламленного сада Виестура, а через улицу, с набережной Андреевского острова, на него глядели исполинские руины сожженного зернового элеватора. Когда все это восстановят? Какие огромные усилия предстояло еще приложить здесь, какие горы кирпича и металла израсходовать для того, чтобы из этого хаоса выросла красивая просторная гавань!

«Когда-нибудь вырастет, — мысленно сказал Рубенис. — Своими глазами увижу еще».

У ворот порта знакомый сторож проверил его пропуск.

— Чего так рано, товарищ Рубенис? — спросил он. — До начала работ еще полтора часа.

— Великое дело — полтора часа! Пока дойдешь до другого конца порта да пока осмотришь, все ли на месте — вот и полтора часа пройдет. Это тебе не прежнее время, когда заботился только о своем багре или крюке. Надо подумать и о подъемных кранах, и о грузе, о сроках погрузки.

— Выходит, не из легких ваша бригадирская работа? — усмехнулся

сторож.

— Попробуй денек поработать, тогда узнаешь.

— Мне и на своей работе неплохо.

— Ну и я не жалуясь.

Посасывая трубку, Рубенис продолжал свой путь. Больше всего разрушений было по эту сторону холодильника. Но между горами изуродованного металла и сложенных кирпичей, между оголенными фундаментами уничтоженных зданий тянулись железнодорожные пути, и паровоз тащил вагоны с грузом. За холодильником стояли пароходы. Здесь набережная уже была заново опоясана бетоном. Сваи и бревна, на которых покоился деревянный настил, еще не утратили своей белизны и пахли смолой.

Любовно и с гордостью глядел на все это Рубенис. Что здесь было года полтора тому назад! Поздней осенью 1944 года сюда пришли первые бригады восстановителей и стали осматриваться, с чего начать. Сначала людям казалось, что здесь ничего не исправишь. На набережной через каждые двадцать метров вместо гранитной облицовки зияли огромные ямы. Глядя на это, люди задавали себе вопрос: что произойдет здесь во время весеннего ледохода? Стремительные воды Даугавы подмоют берег, и тогда рухнут последние крепления, река унесет в море то, что когда-то называлось набережной порта. Тогда всему конец.

Нет, рабочие не растерялись и не стали тратить время на лишние мудрствования. Старый Рубенис обошел прежних товарищей и посоветовался с ними. Вскоре рижане услышали о бригаде Рубениса, которая творила чудеса. Пока инженеры планировали и рассчитывали, старые портовые грузчики очистили участок, на котором работала их бригада. Но они не удовлетворились этим: глубоко, до самого основания конструкции набережной вгрызлись они в землю, с помощью водолазов проверили состояние подводной части. Затем стали вбивать в дно реки сваи, спешили опоясать разрушенный берег надежным защитным поясом, чтобы весенний ледоход не мог ему повредить.

Всю зиму продолжалась работа без выходных дней, без регулярного отдыха. Работали круглыми сутками на холоде, на ветру, в снежную вьюгу.

Зато успели. Портовой набережной весенний разлив не причинил вреда. Газеты писали об этом, упоминали имена многих рабочих. Старого Рубениса приглашали на важные заседания, внимательно выслушивали его предложения. Когда выделенный бригаде участок был восстановлен и к причалу подошел первый пароход, выгружала и нагружала его бригада Рубениса.

Вот почему сегодня он так любовно осматривал порт.

То, что ты здесь видишь, — все равно, что ребенок, которому ты дал жизнь, которого ты вырастил. Все кругом принадлежит тебе, твоим товарищам — и великаны-краны, высящиеся над мачтами кораблей, и красивые пароходы, которые сейчас приходят сюда из других портов. Не слышно больше в порту окриков и брани форманов ^[5], за хозяйскую подачку лаявших с утра до вечера на рабочих.

Ты сам теперь руководишь работами по погрузке и выгрузке, и с тобой, как с бригадиром, раз десять на дню советуются штурманы. Раньше латышского портового рабочего называли белым негром, здесь все работы производились силой его рук и спины. А поглядите сейчас, как уголь сам выгружается из трюмов по ленточному транспортеру, насыпается в грузовики, наваливается большими горами. И тут же большой кран берет клювом подъемника машину весом в несколько тонн, поворачивается, как тебе надо, и легонько, будто игрушечку, опускает прямо на платформу. И если только крановщик немного быстрее опустит драгоценный груз, тряхнет или дернет его, сразу же на него закричат со всех сторон — и не то чтобы начальство, а сами же рабочие!

«Рехнулся ты, парень! Хочешь разбить мотор! Ведь это для электростанции, а не на толкучку. Или тебя учить надо, как беречь народное добро?»

Услышав такое, виновный не знает, куда глаза девать от стыда. Теперь такие замечания действуют сильнее, чем раньше окрик десяти форманов.

Старый Рубенис обходит берег, проверяет, достаточно ли вагонов подано и смогут ли грузовики подойти к пароходу. Чтобы нигде не было заминки, работа должна идти как по маслу. Пароход выйдет в море сегодня — на два дня раньше, чем предусмотрено по графику. Это будет новым рекордом бригады Рубениса и, конечно уж, не последним.

Один за другим подходят рабочие, здороваются с бригадиром и совещаются, как сделать, чтобы ровно в четыре часа пароход мог отшвартоваться. Затем матросы открывают люки, вокруг лебедек клубится и шипит пар, и все вокруг наполняется бодрым шумом, лязгом и грохотом металла, гудками автомашин и громкими возгласами. Рабочий день начался...

Старый Рубенис ходит от люка к люку; то он на берегу, то на палубе, но всегда там, где самая тяжелая и сложная работа. Солнце льет на землю золотые потоки света, чайки с криками носятся над Даугавой, выхватывая из воды серебристую рыбешку, но люди не обращают внимания ни на солнце, ни на птиц — они работают. Каждый, иногда даже сам не сознавая

этого, кладет своими руками кирпич за кирпичом в прекрасное здание новой жизни. Ни одна постройка, пока она не закончена, не кажется особенно нарядной, и часто работающий видит лишь мелкие и крупные шероховатости. Но приходит время — и это знает каждый строитель, — когда законченное здание встает во всей своей красоте, и тогда каждому становится понятным великий смысл даже самой мелкой работы.

2

Сколько раз Мара уговаривала отца переехать к ней, но Екаб Павулан всегда отвечал, что это не к спеху, что надо это дело хорошенько обдумать.

— Ты, наверно, боишься, как бы я не женился второй раз, — шутил он. — Не бойся, дочка, такого намерения у меня нет. Смешить людей не собираюсь.

— Меня совесть мучает, когда я думаю, что ты на старости лет должен жить в одиночестве и даже позаботиться о тебе некому... все сам делаешь, — старалась убедить его Мара. — А если переедешь к нам — не будешь знать никаких хлопот.

Павулан тут же придумал новую отговорку:

— Вы мне будете надоедать.

Но в последний раз, когда Мара опять напомнила о своем предложении, он уже был немного сговорчивее и обещал дать окончательный ответ через неделю или две. Дело обстояло совсем не так просто, как могло показаться с первого взгляда; ведь речь шла о переустройстве самих жизненных основ. До сих пор Екаб Павулан жил своей хоть и скромной, но самостоятельной жизнью. А если перебраться к дочери, у него не будет больше своей квартиры, своего «маленького государства», где все совершалось по установленному им порядку; он станет придатком другой семьи, будет довольствоваться ее заботами, разумеется самыми искренними, идущими от чистого сердца заботами, которыми хорошие дети окружают своих дряхлых родителей, чьи дни близятся к закату. Он не был и не хотел быть дряхлым, все, что прямо или косвенно напоминало об этом, причиняло ему глубокое огорчение. Вывести его из строя работоспособных, сильных людей — нет, пусть они немного подождут.

Весной он стал дедом: у Мары родилась дочка. Это обстоятельство несколько усложняло дело, — Павулану каждый вечер хотелось повидать свою внучку. Переодевшись после работы, он пешком шел на Цесисскую

улицу понянчить немного маленькую Инту. Так постепенно он пришел к выводу, что действительно упрямыться нет смысла. Слова еще не давал, но Мара уже прочла в его глазах согласие.

И вдруг все повернулось иначе, и решение о переезде было отложено на неопределенный срок. Причина этой перемены была настолько важной, что Мара согласилась с отцом без всяких возражений.

Однажды утром Екаба Павулана пригласили к директору. Директором опять был Ян Лиетынь, он вернулся на завод вскоре после демобилизации. Лоренц работал теперь главным инженером, а Павулан снова стал начальником токарного цеха. В связи с пятилетним планом завод должен был перейти на двухсменную работу, но недостаток рабочих рук не позволял до сих пор это сделать.

В кабинете директора Павулан увидел и Лоренца и парторга завода Михайлова.

— В чем дело? Что-нибудь случилось? — спросил Павулан.

— Дело важное, Павулан, — ответил директор. — Первого августа мы сможем перейти на две смены.

— Ага. Получили новых рабочих?

— Да, получили, но совсем новичков. Иди взгляни вон в окно, они во дворе стоят.

Павулан подошел к окну. Глядел он долго, серьезно.

Во дворе стояла порядочная толпа ребят-подростков. Самым младшим нельзя было дать больше пятнадцати лет, а самому старшему — в лучшем случае лет семнадцать. Все были одеты в форму воспитанников школ ФЗО. Как и подобает мальчикам, смиренно устоять они не могли — толкали друг друга, затевали борьбу и громко смеялись. Слышалась и латышская и русская речь.

Но напрасно старался директор угадать по выражению лица Павулана, что он думает: доволен ли новым пополнением, или разочарован.

— Ну, Павулан, что ты скажешь? — спросил он, не дождавшись, когда тот заговорит сам.

Павулан отошел от окна.

— Что скажу? Все будет зависеть от нас самих. Если сумеем их заинтересовать и направить по верному пути — первосортный материал получится. Не сумеем — выйдет брак.

— Совершенно верно, — согласился парторг Михайлов. — Все зависит от нас самих. Значит, надо сделать так, чтобы вышло хорошо. Большинство этих ребят сироты, отцы их или убиты на войне, или замучены гитлеровцами. Все они прошли шестимесячный курс обучения,

получили первоначальные производственные навыки. Теперь наша задача — сделать всех их мастерами своей профессии. В ваш цех; товарищ Павулан, мы хотим направить шестерых ребят. Они проработают некоторое время под наблюдением старых токарей, вы их еще подучите, и, когда дело пойдет, мы запустим вторую смену.

— Без хлопот и некоторого беспокойства, конечно, не обойдется, — сказал Лиетынь. — Тут еще необходимо учесть, что большинство этих ребят остались без родных. Завод должен не только дать им работу и пропитание, но и заменить семью, родной дом. Их надо принять поласковой, чтобы они с первого дня почувствовали поддержку старших. Да зачем я тебе буду рассказывать, Павулан, ты и сам понимаешь, что требуется.

— Ладно, директор, мало ли я хороших мастеров вырастил.

— Я и сам один из них, — улыбнулся Лиетынь. — Правда, я отнюдь не считаю себя лучшим твоим воспитанником.

— Когда можно будет начать с ними? — спросил Павулан, пропуская мимо ушей замечание директора.

— Сегодня, сейчас же. Чего же еще ждать?

— У меня будет просьба. Разреши мне сначала поговорить с моими рабочими. Хочу им внушить кое-что. А то иной, может, и не поймет как следует своих обязанностей и испортит дело в самом начале.

— Хорошая мысль, товарищ Павулан, — поддержал его парторг. — Поговорить надо. Такой случай у нас на заводе впервые.

Иронические улыбки некоторых старых рабочих, проходивших мимо ребят, показывали, что опасения Павулана не лишены основания.

В кабинет директора вошли начальники инструментального и механического цехов. Павулан поздоровался с ними и вышел.

Первые слова, которые он услышал, войдя в цех, были:

— Теперь у нас в цехе откроется детский сад...

Говоривший, токарь Траутман, был один из самых молодых рабочих. Павулан спокойно взглянул на него и сказал так, чтобы услышал весь цех:

— Откроется, обязательно откроется, если мы будем вести себя, как выжившие из ума старикашки. Но только не со всеми это будет. Я, например, беру на свое попечение двоих из этого детского сада. Если они за полгода не научатся вытачивать самые тонкие детали, то старый Павулан ни на что негоден. А ты как, Сакнит?

— Двоих сразу многовато будет, но одного я взял бы.

— Одного давайте уж и мне, — послышалось из дальнего угла. — Ребята не виноваты, что они такие молодые. Посесть они еще успеют, это

им не к спеху.

В несколько минут для всех шестерых подростков нашлись шефы. Павулан собрал токарей и сказал:

— Пора забыть прежние времена, когда мы сами были учениками. Чтобы мне не было никакого зубоскальства, дразнить чтобы не смели. У мальчишек нет ни отцов, ни матерей. Мы им вместо родителей должны быть. Будем обходиться с ними, как со своими родными детьми. Ясно, что ребятам иной раз захочется побаловаться, — у них уж возраст такой. Если когда и созоруют, не надо так уж сразу глядеть на это, как на невесть какой грех. Лучше вспомните, что сами вытворяли в их годы. Терпением, я хочу сказать, запастись надо. А серьезность и умение со временем придут, куда они не денутся.

Кончив говорить, Павулан вышел и вскоре привел шестерых пареньков, которые были назначены в токарный цех. Он с каждым поговорил, расспросил, как звать, откуда родом, кто были родители. Четверо были латыши, двое — русские. Павулан рассказал им, какую продукцию производит завод, сколько на нем рабочих, каков месячный и годовой производственные планы. Затем он повел их по цеху, познакомил со старыми рабочими и стал показывать станки. В школе ребята успели немного поработать на токарных станках, но здесь они впервые увидели на них новые своеобразные приспособления.

— Это что за штука такая? — наперебой спрашивали они.

— Эта штука поможет вам увеличить производительность труда, — улыбаясь, объяснил Павулан.

— Кто это изобрел?

— Ну, какое это изобретение. Я сам в свободное время сделал.

— Так это вы и есть Павулан, товарищ мастер? — с удивлением спросил самый младший, шустрый светловолосый паренек. — Нам ведь в школе рассказывали про ваше изобретение. Говорили, что его скоро на всех заводах станут применять.

— Рассказывали? Смотри, как хорошо...

Наблюдая работу токарей, возле которых быстро росли кучи готовых деталей, ребята притихли, лица у них стали серьезными и даже озабоченными, но глаза уже блестели от нетерпения. Им хотелось скорее самим встать за станки, скорее увидеть первую изготовленную собственными руками деталь.

Если бы руководство завода и Павулан придерживались тех же взглядов на обучение молодых рабочих, что и Траутман, то ребят первые полгода совсем не подпускали бы к станкам, их заставляли бы подметать

цех, обтирать станки, подносить материалы. Через несколько недель ребятам все это надоело бы; видя, что здесь не удастся приобрести настоящую квалификацию и добиться приличного заработка, они один за другим разбежались бы с завода в поисках более интересной работы. И полгода, проведенные в школе ФЗО, пропали бы даром.

Там, где еще сохранились отжившие традиции, так и происходило. Но Ян Лиетынь и Михайлов частенько слышали на производственных совещаниях в тресте и на собраниях партийного актива о подобных ошибках на других предприятиях и намотали себе на ус. Вот почему еще за месяц до прибытия молодых рабочих в одном из принадлежащих заводу домов было отремонтировано общежитие на сорок человек; вот почему директор и парторг беседовали в то утро с инженерами и начальниками цехов; вот почему старый Павулан в первый же день поставил своих пареньков за станки и каждые полчаса подходил к ним, терпеливо поправлял их и показывал какой-нибудь новый прием. Услышав, что Траутман дал одному ученику неправильный совет, следуя которому простодушный новичок мог покалечить себе палец, Павулан отозвал рабочего в сторону и строго предупредил:

— Если такая штука повторится еще раз, я попрошу директора, чтобы он убрал тебя из нашего цеха. Прокурор тоже заинтересуется тобой, в этом не сомневайся. Подумай хорошенько...

После этого Траутман присмирел и за весь день не сказал ни слова. Только по его угрюмому взгляду можно было догадаться, что внутри у него все кипело.

Когда вечером проверяли дневную выработку, оказалось, что только один ученик выполнил 60 процентов нормы. У остальных не было и 50 процентов. С унылым, смущенным видом смотрели они на маленькие кучки выработанных деталей.

— Ну и ничего, и все в порядке, — подбодрял их Павулан. — Ведь вы первый день работаете. Всякое дело поначалу нелегко дается. Через неделю вы сами себя не узнаете. Смеяться будете над сегодняшней неудачей. А теперь я хочу посмотреть, как вы живете. Поведите-ка меня с собой в общежитие. Или не нравится, может, что старый хрыч сует нос в вашу частную жизнь?

Поняв, что он шутит, пареньки оживились, заулыбались. Все почувствовали, что на этого старика можно положиться как на каменную гору. И, конечно, они дружно согласились повести его к себе домой.

Хотя общежитие было довольно светлое и чистое, но то, что увидел Павулан, заставило его призадуматься. Для сорока человек места было

маловато, постели были устроены в два яруса. Негде позаниматься, спокойно книжку почитать после работы, ни одного свободного уголка. А учиться всем им надо было.

Задумчивый вернулся домой Павулан. В тот вечер он впервые не пошел навестить внучку и ночью долго-долго не мог заснуть. Наутро, когда он отправился на завод, в голове у него уже созрел план. До окончания работ Павулан ничего не говорил, только расхаживал по цеху и наблюдал за работой своих воспитанников.

Достижения этого дня были гораздо лучше вчерашних. Один ученик выработал 85 процентов, двое достигли 70 процентов, а остальные — около 60. Даже Траутман не глядел на ребят с такой иронией. Впрочем, он был скорее разочарован, чем удовлетворен.

За час до гудка Павулан пошел в контору поговорить с Яном Лиетынем и Михайловым.

— Не смейтесь только, что я с таким чудным предложением пришел, — начал он. — Вчера я заходил в общежитие к нашим ребятам, живут тесновато. Когда все дома, негде и повернуться. И воздух тяжелый, а держать окна круглый год открытыми не станешь, простудиться можно.

— Помещение, конечно, маловато, — сказал Лиетынь. — Но раньше будущего лета, когда выстроим новый жилой дом, лучшего не найдем.

— А может быть, и найдем, — сказал Павулан. — Не знаю, как вы на это посмотрите, но я тут ничего не вижу противозаконного... Я старик, квартира у меня совсем недалеко от завода, две комнаты. Знаете, как одному живется. Как бирюк, по вечерам не с кем словом перекинуться и по хозяйству убираться одному трудно. Да и скучно. Райжилотдел давно уж глаза запускает — нельзя ли кого вселить, а ведь кто знает, какие еще люди попадутся. Что, если я этих шестерых ребят из токарного цеха возьму к себе?

У Михайлова заблестели глаза.

— Предложение прекрасное. Только не тяжело ли вам будет? Где шестеро таких молодых ребят, там возни и шуму всегда достаточно.

— А сам я разве не молодой? — пошутил Павулан. — Да и не может быть, чтобы они все время шумели. Сколько там полагается, пускай пошумят и побалуются, а потом сядут за книги. Сообща договоримся о порядке и дисциплине, установим смены, дежурство по домашним работам.

— Возражений нет и быть не может! — воскликнул Ян Лиетынь. — А ты с ними-то говорил?

— Пока не говорил. Хотел сначала узнать, какое будет ваше мнение.

— Действуйте смелей, товарищ Павулан, — сказал Михайлов. — Необходимое обзаведение для начала поможет достать завод. Теперь я уверен, что с первого августа мы сможем перейти на две смены.

— Чудесный человек этот старик, — сказал он Лиетыню, когда Павулан ушел. — Настоящий советский человек!

— Да, этот настоящий, — ответил Лиетынь. — А ведь представь, недавно еще о политике и слышать не хотел.

— А сейчас сам делает политику, и правильную политику.

Вернувшись в цех, Павулан сказал ученикам, чтобы они после работы не расходились, а подождали его у ворот, он им скажет одну вещь, очень важную. Когда прогудел заводской гудок, Павулан не спешил уйти из цеха: ему хотелось, чтобы остальные разошлись, а то начнут допытываться, что он там еще затевает.

Ребята, как уговорились, ждали его у ворот.

— В чем дело, дядя Павулан? — спросил Виктор Шубин.

— Хочу вам кое-что показать. Идемте со мной. Больше пятнадцати минут это дело не займет.

Сгорая от любопытства, ребята пошли за мастером. Дойдя до его дома, поднялись на второй этаж. Дав им осмотреть квартиру, Павулан спросил:

— Хотелось бы вам переехать сюда из общежития?

— Еще бы не хотелось, дядя Павулан, — быстро отозвался бойкий Андрис Коцинь. — А можно?

— Весьма даже можно, ибо это моя собственная квартира, — торжественно сказал Павулан. — Если хотите, все можете переселяться.

— И мне можно? — несмело спросил маленький, худенький Коля Рыбаков, родителей которого заживо сожгли фашисты.

— Конечно, и тебе, — улыбнулся растроганный Павулан и обнял паренька за плечи.

— А когда будем переезжать? Когда вы позволите? — спросил Виктор Шубин.

— Хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше.

Дальнейшее совершилось быстро и организованно.

За час шесть молодых токарей перебрались со всем своим «имуществом» из общежития в квартиру к Павулану. Андриса Коциня и Колю Рыбакова Павулан взял в свою комнату, остальных разместил в общей. Первый вечер ушел на устройство. Павулан нагрел воды, и все по очереди помылись в ванне, затем сели за стол и поужинали. Только двоим не хватило места на кроватях и на диване, им постелили на полу.

— Завтра мы и кровати привезем, — сказал Павулан. — Может, и еще

что понадобится, всего наперед не предусмотреть. А сейчас устроим военный совет и все вместе решим, как мы будем жить в дальнейшем.

Они совещались часа два. Начали с шуток, но скоро у всех лица стали серьезными. Обсудили во всех подробностях распорядок будущей артельной жизни: поговорили о колке дров, о приготовлении пищи и уборке помещения, о том, что каждый день надо вместе читать газеты и кое-какие книги. Конечно, кино и футбольные матчи нельзя забывать, но в одиннадцать часов все должны быть в постелях. Отдыхать надо как следует, чтобы скорее дойти до выполнения своих ста процентов и тогда подумать о перевыполнении нормы.

Ребята поняли, что дядя Павулан не собирается навязывать им свой стариковский режим: он только хотел с самого начала приучить их к порядку, как это делали бы родители, если бы они были живы. Он ничего не навязывал, он только советовал и предоставлял решать самим, но коллектив всегда решал так, как рекомендовал Павулан.

Так организовалось то, что на заводе окрестили «колхозом дяди Павулана». Сначала кое-кто еще подсмеивался над странной затеей старого мастера, но впоследствии, когда члены «колхоза» быстрее всех новичков начали выполнять и перевыполнять нормы и по трудовой дисциплине стали примером для всего коллектива, насмешливое отношение сменилось всеобщим уважением.

По этой самой причине Екаб Павулан и не переехал к Маре. Когда ребята вполне освоились в квартире Павулана, он снова стал навещать по вечерам внуку, а Жубур с Марой сами время от времени заходили поглядеть, как живет «колхозу». Жубур помог им устроить радио и обзавестись кое-какими музыкальными инструментами — с остальным ребята справлялись своими силами.

В кабинете первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Латвии в этот день состоялось несколько важных совещаний. Первый секретарь Калнберзинь и члены Бюро ЦК почти два часа беседовали с группой крестьян одного уезда об организации первого колхоза в Латвии. Представители инициативной группы — несколько крестьян, осенью 1944 года получивших от советской власти землю, — с воодушевлением говорили о своих замыслах.

— Два года мы хозяйничали на своей земле по дедовским обычаям, —

рассказывали они. — С помощью партии и правительства мы теперь достигли того, что можем жить по-человечески, но по этой дороге мы далеко не уйдем ни за десять, ни за двадцать лет. Поэтому посоветовались между собой и решили, что наступило время пойти по тому новому пути, который хорошо проторили крестьяне старших советских республик. Хотим организовать колхоз и просим помочь нам добрым советом, чтобы новое начинание лучше удалось.

Калнберзиня интересовало все: сколько хозяйств предполагается объединить в артель, какова посевная площадь, сколько трудоспособных людей, какой сельскохозяйственный инвентарь имеется в их распоряжении, сколько лошадей и продуктивного молочного скота.

— Вы должны понять, какое огромное значение будут иметь первые сельскохозяйственные артели, — сказал он, выслушав ответы крестьян. — На вас будет глядеть все крестьянство Советской Латвии, по вашим успехам или неудачам оно будет судить о всем колхозном строе. Если вы достигнете успехов, если закончите хозяйственный год с значительными достижениями, еще раз будет доказано великое преимущество и превосходство колхозного устройства над индивидуальной формой хозяйствования, и тогда тысячи латышских крестьян последуют вашему примеру, и в нашей республике колхозы начнут быстро расти и множиться. Все мы хотим, чтобы было именно так, ибо только коллективизация приведет к расцвету сельского хозяйства Советской Латвии, только в ней — счастливое и богатое будущее для нашего крестьянства. Но если вас постигнет неудача, если вы начнете действовать необдуманно и неправильно, если будете плохими хозяевами и организаторами — вы можете скомпрометировать это великое, прекрасное дело и на несколько лет задержите начало колхозного движения. Видите теперь, какая громадная ответственность ложится на вас — зачинателей и инициаторов? Это не ваше частное дело, это вопрос большой политической важности, и Центральный Комитет вместе с вами несет ответственность за правильное его решение.

— Мы это понимаем и сделаем все, чтобы добиться успеха, — заверяли крестьяне.

— Как вы это сделаете? — спросил Калнберзинь.

И тогда оказалось, что многое еще не продумано до конца, что самим инициаторам нужно еще хорошенько изучить устав сельскохозяйственной артели, что у многих еще весьма туманное представление о бригадах и звеньях, о начислении и оплате трудодней. Все эти вопросы подробно разобрали, после чего предложили нескольким опытным специалистам по

сельскому хозяйству выехать на место и оказать инициативной группе помощь в организации колхоза.

Когда крестьяне и специалисты по сельскому хозяйству ушли, просторный кабинет заполнили директора, инженеры и парторги фабрик и заводов, секретари рижских районных комитетов партии. Среди них были и Ояр Сникер, Курмит и Петер Спаре. Обсуждали вопрос о выполнении годового плана промышленности к двадцать девятой годовщине Великой Октябрьской революции. На совещании выяснилось, что на предприятиях, где в борьбу за досрочное выполнение плана был вовлечен весь коллектив, продвигались к цели быстрыми шагами, но один-два важных завода, где социалистическое соревнование не было организовано как следует, отставали, и это сказывалось на общих итогах. С руководителям таких предприятий члены Бюро ЦК вели откровенный и суровый разговор. Больше всего попало косным и безинициативным — тем, кто при малейших трудностях умели только охать и вздыхать и изобретали всяческие объяснения своим неудачам, а выполнение производственного плана ставили в зависимость от удовлетворения различных их требований.

— Дадите рабочую силу, тогда и план завершим вовремя, а не дадите — провалимся, — ныли они.

Тогда попросил слова Ояр Сникер и рассказал, как завод «Новая коммуна» обеспечил себя постоянными кадрами и теперь готовится перейти на трехсменную работу.

— В чем тут секрет? — заговорил после Ояра один из секретарей Центрального Комитета. — Почему на одном предприятии люди держатся, а с другого бегут без оглядки? Отношение к рабочим — вот что решает дело. Учитесь уважать рабочих и заботиться о них. Если руководитель предприятия не понимает этого, то он теряет общий язык со своим коллективом. Грош цена такому директору, которому безразлично, в каких квартирах живут его рабочие: в сыром подвале с крысами и плесенью или в светлом, здоровом помещении.

— Какой благодарности может ожидать такой руководитель завода, из-за чьей косности не устроены детские ясли для детей работниц? — воскликнул Калнберзинь. — Не думайте, что только ваши жены любят своих детей — каждая мать любит своего ребенка и хочет, чтобы ему жилось хорошо. Это естественно и правильно. А какая мать имеет больше прав на государственную и общественную помощь, как не та, которая работает и создает ценности! Если руководители предприятий оставляют цехи без вентиляции и не отапливают их зимой, засчитывая неиспользованные на сантехнику средства в экономию, их не премировать

надо, а судить как саботажников. Если не механизировать простейшие, грубые и тяжелые работы, а заставлять людей тратить физическую силу на то, что гораздо быстрее и дешевле можно выполнить с помощью механических приспособлений, это нельзя назвать иначе, как издевательством над человеком. Такое положение мыслимо только в капиталистической стране, где на рабочих смотрят как на скот, но не в нашем социалистическом государстве. Если мы будем думать об этих вещах и выполнять наши обязанности так, как этого требуют наша партия и правительство, то выход из того положения, какое создалось на некоторых предприятиях из-за нехватки рабочих рук, не надо будет искать ни в каких особых мероприятиях. Уважайте человека, если хотите, чтобы он верил вам и шел за вами. Внимательнее прислушивайтесь к голосу нашей великой партии и делайте так, как она нас учит, — только тогда вы всегда будете на правильном пути.

Что эти упреки были уместны и своевременны, подтвердили выступления некоторых секретарей райкомов. Они с возмущением рассказали о фактах бюрократического, нечуткого отношения к молодым рабочим, которые приходили из школ ФЗО, чтобы стать в ряды великой армии труда рядом со старшими товарищами, но часто вместо товарищеского отношения встречали тупое равнодушие и даже зависть. Сказывался, может быть, один из пережитков капитализма в сознании людей: еще мерещился отвратительный призрак конкуренции, когда само это хищническое понятие давно перестало существовать в стране.

И все должна была предвидеть партия — вовремя распознать, правильно оценить и сделать выводы. Она чутко прислушивалась к поступи нового, любовно и заботливо оберегала каждый росток новой жизни; она терпеливо и мудро строила мост от настоящего к будущему, все время оставаясь на боевом посту, заботясь, чтобы болезни старого побежденного мира не заражали новую жизнь, чтобы ничто не задерживало прекрасного цветения.

Великая, мудрая партия...

Каждый раз, направляясь в Центральный Комитет, Петер Спаре внутренне подтягивался. И каждый раз, уходя с совещания или заседания этого партийного штаба, он чувствовал, что стал зорче, множество новых мыслей освещали далеко вперед предстоящий путь. И всегда ему казалось, что он неоплатный должник партии, ибо всю свою сознательную жизнь брал и брал из неиссякаемых хранилищ ее мудрости.

После совещания в Центральном Комитете он до самого вечера, ходил задумчивый; ему казалось, что упреки, которые Ояр Сникер и другие

адресовали руководителям некоторых предприятий, направлены и в него. Ведь он — Петер Спаре — был политическим руководителем целого района, и ему следовало знать о всех безобразиях, которые происходили в районе, он должен был вовремя вмешаться и устранить их. Его нельзя было назвать бюрократом или равнодушным человеком, он много работал и каждый вечер мог сказать, что за этот день им сделано что-то важное и нужное. У них с Аустрой вошло в привычку по вечерам подводить итоги прошедшего дня; оба они жили напряженной жизнью, у них было столько обязанностей, что редкий день казался им проведенным без пользы. Аустра училась в университете, выполняя в то же время обязанности комсорга факультета, и каждую неделю по несколько часов работала в редакции комсомольской газеты; на ее плечах еще лежала большая часть забот по домашнему хозяйству. Петер, загруженный текущей работой в райкоме, часто с трудом урывал время для занятий, хотя летом он успешно окончил первый курс университета и оставшиеся четыре собирался проходить в том же темпе. Нет, никто не мог бы упрекнуть их в том, что они мало работали и избегали трудностей. Но откуда все-таки это недовольство собой? Почему они многого не успевают сделать?

Он и у других замечал это недовольство собой, это постоянное стремление наверстать упущенное. У Юриса и Айи, например. Когда Айя перед родами оставила на несколько недель работу, она по десять раз на дню звонила в райком комсомола и расспрашивала о каждой мелочи. И когда родился маленький Андрей, она не высидела дома даже положенного срока.

Но возможно, что это увлечение работой и явилось причиной того, что они иногда были недостаточно внимательны к другим людям? Нет, надо будет впредь строже контролировать себя!

— Почему ты такой угрюмый? — спросила Аустра, когда он пришел домой. — Не люблю я, когда ты так хмуришь лоб — остаются морщины. Давай лучше станцуем вальс. Ты, наверно, и не помнишь, какая сегодня замечательная годовщина.

Аустра часто так делала, когда Петер приходил домой усталый, озабоченный; она начинала тормошить его и до тех пор не оставляла в покое; пока к нему не возвращались хорошее настроение и улыбка.

— Что же это за годовщина? — спросил Петер, все еще хмурясь.

— Сегодня исполнилось пять лет, как нас зачислили в дивизию. Помнишь, как мы стояли в сдвоенных рядах на шоссе — там, у штаба дивизии? Тебе, конечно, ничего, ты был уверен, что тебя не отошлют, а у меня сердце так и замирало: зачислят или нет? Вдруг забракуют.

— Ведь верно, — сказал Петер. И с мягкой полугрустной, полумечтательной улыбкой обернулся к Аустре.

Они взглянули друг другу в глаза — одни и те же чувства отражались в них, вызванные одними и теми же воспоминаниями. Повинуясь общему порыву, они сели рядом и заговорили о тех днях. Заснеженные задумчивые просторы русских равнин, долгие марши... ночные бои... и много дорогих могил на голых пригорках. Иногда одно слово, одно название села или реки вызывало в памяти множество картин. Все это отошло в прошлое, но не умерло, не отжило, а стало неотъемлемой частью их самих, хранилось в сердцах и отзывалось, как чуткая струна, на настоящее, на события, совершающиеся сегодня.

— Ты ведь не жалеешь, — тихо спросил Петер, глядя руку Аустры, — не жалеешь, что прошла через все это?

— Жалеть?.. Чем я была бы сейчас, если бы осталась в стороне?.. Мне кажется даже, что и тебя я любила бы не так, если бы ты там не был. Нет, никогда не пожалею.

Они достали старые фотографии, долго разглядывали их, вспоминали своих друзей, снова и снова возвращаясь к незабываемым дням войны.

— Да, я ведь получила письмо от Аугуста, — вспомнила вдруг Аустра. — На, читай.

Письмо было длинное. Аугуст писал, что в Военной академии ему приходится заниматься с утра до поздней ночи: программа серьезная, надо напряженно работать, чтобы усвоить ее.

«И все необходимо знать, ничто не окажется лишним. Пожалуй, теперь только я понял, какое всестороннее образование надо иметь командиру, если он хочет быть хозяином положения на поле боя. Учусь я с удовольствием, со вкусом, и такие вещи, как скука или что-нибудь в этом роде, для меня не существуют. Еще год — и твой брат будет образованным военным специалистом. Не прими это за самохвальство. Я отдаю лишь должное своей академии. Будущей весной или в начале лета получу отпуск, тогда все вместе навестим старого Закиса и погостим у него, как в прежние времена. Ты ведь помнишь, как нас встречали — с горячими лепешками и свежим пахтаньем.

Несколько дней тому назад один талантливый генерал прочел нам интересную лекцию о правильном и порочном стиле в штабной работе. Я подумал тогда, что все, что он нам рассказывал, можно с таким же успехом Применить к работе любого большого учреждения или предприятия. Первое и самое основное, что должен разглядеть каждый командир и руководитель среди множества своих обязанностей, — это самые главные

дела, решающие вопросы. Если они определены верно, то его работа будет плодотворной и успех обеспечен, если нет — человек распылит свои силы, утонет в мелочах. Главное, решающее меняется, не стоит на месте; часто то, что вчера еще было самым важным, сегодня уже потеряло свое значение, и какое-нибудь другое дело, другая задача стала главной. Начальнику надо уметь вовремя предвидеть и заметить эти перемены и вовремя переключиться на это новое, иначе жизнь пойдет мимо него и он попусту растратит свою энергию. Кроме того, большое значение имеет правильное распределение обязанностей между начальником и ближайшими его помощниками. Даже самый лучший начальник не может один охватить и сделать все...»

Петер задумался. Один не может охватить и сделать все... Надо уметь заметить главнее, решающее... Главное и важное меняется, не стоит на месте... Не в этом ли следует искать причину его неудач последнего времени? Нельзя сказать, что он никогда не слышал, не знал об этом. Ведь руководители партии изо дня в день учат коммунистов выработать правильный стиль в работе, отличать главное от второстепенного. Только иногда — упустишь что-то из виду, потеряешь самоконтроль — и глядь, получилась ошибка.

«Да, сегодня уже не осень сорок четвертого года или начало сорок пятого... — думал он. — В то время любой ценой надо было вдохнуть жизнь в разоренное и замершее хозяйство Советской Латвии. Надо было добиться того, чтобы сердце республики забилося, надо было в главных чертах охватить все и создать из хаоса порядок. Сейчас осень сорок шестого года, первый год послевоенной пятилетки близится к концу; мы уже не хватаемся за что попало; мы знаем наперед, что нам делать, у нас имеется план. И если мы хотим оставить за собой руководящее положение, управлять и строить жизнь по нашему плану, — мы должны уметь заглядывать в будущее и предвидеть, что потребует от нас жизнь через год, через два и через пять лет. То, о чем говорили в Центральном Комитете, было одним из предупреждений завтрашнего дня: я иду, будьте готовы, иначе стремительный конь истории выбросит вас из седла».

— О чем ты задумался, Петер? — спросила Аустра, заметив, что он улыбается про себя.

— О том, что мы можем быть полновластными хозяевами жизни... и будем ими. Только надо уметь глядеть далеко вперед. Но у нашей партии есть такой телескоп, с помощью которого можно заглянуть даже в будущее века!

К концу октября завод «Новая коммуна» досрочно выполнил производственный план 1946 года. Ояр Сникер рапортовал об этом правительству и Центральному Комитету партии и попросил у министра трехдневный отпуск. Рута, все время переписывавшаяся с Мариной Акментынь, последнее время все чаще поговаривала, что надо бы съездить в Лиепаяу, посмотреть, как поживают старые друзья.

— Теперь мы можем съездить, — сказал Ояр, получив отпуск, — только не вздумай известить Криша и Марину. Давай свалимся как снег на голову.

— Еще не забыл старых партизанских привычек, — засмеялась Рута.

Заодно Ояр хотел договориться на «Красном металлурге» относительно небольшого заказа: «Новая коммуна» нуждалась в чугунных отливках, а их изготовляли только в Лиепаяе.

За день до Октябрьской годовщины они выехали рано утром на маленьком трофейном «оппеле». Рижское взморье миновали еще затемно. На рассвете достигли Тукума, быстро промелькнули церковка в Пуре, Кандава; затем целый час ехали по живописной долине Абавы. Здесь начались знакомые места.

— В июле сорок первого года я раз ночевал в том лесу, — Ояр показал на сосновый бор, темневший за рекой. — Айзсарги напали на наш след, и рано утром нам пришлось перебраться через реку — иначе я не сидел бы сейчас рядом с тобой. И знаешь, кого я в ту ночь видел во сне?

— Конечно, не знаю, ты мне никогда не рассказывал об этом.

— Тебя... Когда я проснулся и увидел прикорнувшего рядом Криша Акментыня — бородатого, оборванного, с винтовкой в руке, — на меня напала такая тоска, что впору заплакать. Я вообразил, что и ты вот так же бродишь по незнакомым лесам, одна, беззащитная, — и до того захотелось, чтобы ты была со мной... Потом целый день я обманывал себя: воображал, что ты шагаешь рядом и иногда смотришь на меня сбоку. Да... я, кажется, несколько раз заговаривал с тобой, потому что Криш все переспрашивал: «Что ты сказал, Ояр?» Чудно ведь, Рута?

— Это грустно и... прекрасно, — ответила Рута. — Грустно и прекрасно, — повторила она. — Если бы я тогда была с тобой, может быть, было бы не так грустно, но и не так прекрасно. А я — я в те дни думала, что больше никогда не увижу тебя... что ты погиб в Лиепаяе. Но все вышло гораздо, гораздо лучше. Вдумайся только, Ояр, что означает настоящее...

хотя бы вот это самое мгновение... Сколько народ работал, всевал для того, чтобы мы были сейчас вместе.

Ояр затормозил машину и обнял Руту. С бугра, на котором остановилась машина, они видели всю расстилающуюся впереди долину. Хлеба были давно убраны, вдалеке пыхтел мотор молотилки, покатый южный склон пестрел от множества ульев. Величаво высились кое-где огромные деревья в желтом, опадающем уборе; воды Абавы лежали в своих берегах тихие, свинцово-серые, как ноябрьское небо.

Они старались охватить все, что открывалось их взору. И то, что одни и те же впечатления одинаково ложились в их души, наполняло обоих неизъяснимым чувством полноты жизни, счастья.

И снова понеслись мимо деревья, кусты, хутора и редкие встречные. Потом они въехали в большой темный лес и долго не встречали на своем пути ни одной живой души. А когда, наконец впереди посветлело, завиднелась неясная еще даль открытого поля, Рута вспомнила что-то.

— Тут где-то произошло несчастье с Мартой Пургайлис, правда, Ояр? По-моему, недалеко должен быть хутор, где мы ее оставили.

— Да, недалеко. Хорошие это люди. Давай на обратном пути остановимся, зайдем поговорить. Не думаю, чтобы они забыли этот случай.

— Какие мы с тобой богатые, Ояр, — везде у нас есть друзья.

Они заговорили о товарищах, о работе (им уже казалось, что они давно уехали из Риги). Рута начала рассказывать о разных случаях из жизни школы, где она еще недавно работала комсоргом. Первое время ее называли «барышней», и довольно трудно было приучить детей из мещанских семей к иному обращению. Однажды какая-то мадам — жена торговца — пришла в школу поговорить по поводу приема в пионеры ее единственного дитяти.

— Что это такое — пионеры? Все равно, что скауты? — спросила она. — Чем они отличаются от скаутов? Красным галстуком?

— Решительно всем, — ответила ей тогда Рута. — Скаутов воспитывали в духе буржуазного национализма, а пионеров воспитывают гражданами социалистического общества.

— А если моя девочка поступит в пионеры, будут ей ставить хорошие отметки? А разрешат ей конфирмоваться в церкви? Ведь скаутам можно было...

— Ну, и чем это кончилось? — спросил Ояр. — Стала пионеркой?

— Ну, не сразу. В конце учебного года и то без ведома родителей. Девочка даже некоторое время скрывала это от них, а когда мать узнала, такая буря поднялась... Успокоило только то, что девочка стала хорошо учиться и перешла в следующий класс без переэкзаменовок.

— Да, много еще у нас обывательщины, мещанства. Пройдет еще некоторое время, пока в головах рассеется этот туман, — сказал Ояр. — Само по себе это, конечно, не произойдет. Нужна работа. Очень многим людям надо помочь открыть глаза.

Летом Рута перешла на работу в райком комсомола, которым руководила Айя. Шли разговоры, что Айю выдвинут на партийную работу и Руте придется занять ее место. Рута знала об этом и заранее старалась подготовиться к новой работе — много читала, занималась. Ответственности она не боялась, но по временам с сомнением думала: «Справлюсь ли? Здесь нужен человек стальной воли и упорства, способный воодушевлять и увлекать других». Она видела эти качества у многих — у Айи, Ояра, у Петера Спаре, Аустры, а себя рядом с ними чувствовала маленькой и слабой. Она сама не знала, что в ней за внешней хрупкостью скрываются и незаурядная сила воли и упорство. Но это видели и знали другие, те, кто должны были это видеть.

Уже за полдень Ояр и Рута остановились отдохнуть у Биргелей. Самого хозяина дома не было, повез на заготовительный пункт зерно. Жав Биргель учился в Лиепае и жил там у своего дяди Жана Звиргзды. Рита окончила весной курсы и работала на соседнем молочном заводе помощником директора.

«Какая ясная, светлая, — подумала Рута, глядя на нее уже глазами старшей женщины. — Что за глаза — точно два золотых солнышка... так и кажется, что они готовы осветить и согреть весь мир».

У Риты на столе, между книгами и безделушками, стояла фотография в деревянной полированной рамке — молодой моряк в матроске с орденом Отечественной войны и партизанской медалью на груди.

Заметив, что Рута увидела фотографию Иманта Селиса, Рита покраснела и начала быстро объяснять:

— Это он осенью, когда вернулся из плавания, приезжал сюда погостить. Прямо ужас какой высокий стал. Десять дней работал у нас в поле. Хотел помочь и во время молотьбы, да уезжать надо было.

— Как вы думаете сейчас хозяйничать? — переменяла тему разговора Рута, чувствуя, что Рита много рассказывать об Иманте не станет. — Жан в школе, ты работаешь на молочном заводе... не тяжело будет отцу с матерью одним управляться?

— Конечно, не легко. У нас дома все говорят, что надо скорее организовать колхоз. Некоторые соседи тоже согласны объединиться. Если бы и остальные согласились, то к весне у нас был бы колхоз.

— А что говорит мать?

— Мама-то первая согласилась. Отец больше сомневался, но и он, когда познакомился с уставом артели, стал соседней уговаривать.

Услышав, о чем идет разговор, к ним присоединился Ояр.

— Если вы организуете колхоз, я обещаю, что мой завод возьмет над ним шефство, — сказал он. — Я серьезно говорю! Поможем вам отремонтировать сельскохозяйственные машины, общими усилиями проведем во все дома и хозяйственные постройки электричество, а там еще в чем-нибудь поможем. Хорошая будет жизнь.

— Почему ей не быть хорошей — без помещиков, без господ, — согласилась Лавиза Биргель. — Я все время об этом говорю.

Гостей не отпустили, пока они не закусили вместе с хозяевами. Рита написала брату записку, а мать собрала целую корзинку разных гостинцев. Ояр обещал самолично вручить все Жану.

5

— Господь один ведает, что только из этого ребенка выйдет, — вздыхала старая мамаша Акментынь, наблюдая за первенцем Марины и Криша. — И умный и здоровый — на десятом месяце бегать стал, — но разве такая маленькая головка удержит все, что в нее пичкают?

Маленькому Валерию в июне уже исполнился годик. Мать называла его Валенькой и Валькой, бабушка — Валитом, а отец шутя величал Валерием Кришевичем. Бабушка, которой больше всех приходилось бывать с мальчиком, иначе с ним не разговаривала, как по-латышски. Марина, та учила все предметы называть по-русски, но Валерик и не думал смущаться: с матерью он лепетал по-русски, а бабушке отвечал только по-латышски, и не было еще случая, чтобы он сбился.

— Обезумели, как есть обезумели, — причитала мамаша Акментынь. — Такого малышку сразу обучать двум языкам — где это видано? Этак он ни одному как следует не научится. Будет как столпотворение вавилонское... Людям на посмешище. Криш тоже хорош: как заговоришь с ним о чем-нибудь таком, он только скалит зубы. Больше ничего от него не добьешься.

— Чего ты все беспокоишься, мать? Валерий скоро будет для вас с Мариной переводчиком, — отшучивался Криш. — Тогда больше не придется вам объясняться с помощью пальцев.

— Так уж и пальцами! — вскинулась Марина. — Первое время — пожалуй, но теперь вполне прилично объясняемся.

Это была правда: за полтора года они обе кое-чему научились и могли столкнуться довольно быстро. Одно слово русское, другое латышское, между ними выражения, которых не найти ни в одном словаре (слова с латышским корнем и русским окончанием или наоборот), понятные только им одним, — и средства общения были обеспечены. Со стороны это могло показаться очень смешным, но необходимость заставляла забывать о смешной стороне и больше думать о практических результатах. Важно было понимать и быть понятой, а этого они достигали вполне.

Подобно многим свекровям, у которых с женитьбой сына не все получилось так, как было задумано, мамаша Акментынь вначале довольно нелюбезно и выжидательно отнеслась к Марине. Долго изучала ее и по мелким наблюдениям составляла представление о характере невестки. Если бы и Марина проявила такую же сдержанность и замкнутость, то их отношения, вероятно, стали бы несносными, а Криш Акментынь очутился бы в таком же положении, как зерно между двух жерновов. Размолоть бы его не размолотило, — не позволил бы его жизнерадостный характер, — но маневрировать и лавировать пришлось бы на каждом шагу. Марина избавила его от такого испытания. Понимая, что первый шаг надо сделать ей, она своей прямоотой, своей непритворной искренностью достигла того, что старуха мало-помалу начала оттаивать. Акментыниене убедилась, что веселость, а иногда и беспечность Марины выражают не легкомыслие, а только избыток молодости.

Жена и мать рабочего, она больше всего боялась, как бы невестка не оказалась лентяйкой, неряхой, белоручкой — мужу придется ухаживать за ней, как за барыней. Но и эти страхи скоро улетучились: Марина сама готовила обед, сама штопала, чинила и стирала и деньги на ветер не бросала. Криш всегда был опрятно одет, в квартире все блестело, в семье все были довольны.

Шаг за шагом, слово за словом — и они подружились. Благотворное влияние Марины Акментыниене заметила, во-первых, на своем сыне: Криш и раньше не был особенным любителем выпить, но теперь он водки и в рот не брал, только по праздникам выпивал кружку пива, после чего заводил какую-нибудь старую моряцкую песню (он знал их пропасть, как всякий липаец). Старуха это оценила. Узнав, что родители Марины погибли во время войны, она поняла, что на нее ложится еще одна обязанность: надо заменить бедняжке мать, чтобы она не чувствовала себя здесь, как на чужбине. Что ни говори, а все не на своей стороне...

Осенью Марина поступила преподавательницей в русскую школу-семилетку, и это еще больше возвысило ее в глазах свекрови. Но подлинное

счастье и смысл жизни она обрела с рождением Валерия. Бабушка без всякого стеснения деспотически завладела внуком, даже родителям его не доверяла.

— Откуда вам знать, как надо обращаться с такими малютками? С него ни на минутку глаз нельзя спускать.

И она рассказывала всякие страшные истории, в которых фигурировали обожженные личики, сломанные ручки и ножки, горбуны, ставшие несчастными на всю жизнь из-за небрежности родителей.

Но Валерий уже к концу первого года так и норовил взобраться куда-нибудь повыше. При виде внука, стоящего без поддержки на стуле или диване, гордого своим подвигом, у бабушки от страха подкашивались ноги. Ясно, что она вконец избаловала бы внука, но не зря Марина была педагогом: чем старше становился Валерий, тем заметнее сказывалось ее влияние на ребенка.

Так жила эта семья, к которой приехали вечером 6 ноября Ояр и Рута. Акментынь с Мариной ушли на торжественный вечер и могли задержаться до полуночи, если бы Жан Звиргзда, которого Ояру удалось еще застать дома, не побежал сообщить им о прибытии гостей. Первая, сразу же после торжественного заседания, пришла Марина. Оставив Ояра с Акментыниене, они обе с Рутой, захватив с собой Вальку, убежали в соседнюю комнату и целый час проговорили неизвестно о чем.

— Марина, да ты помолодела на пять лет, — сказала Рута.

— Я и тогда была не очень старая, — смеялась Марина. — А помнишь Урал, помнишь, как мы после госпиталя дожидались поезда, чтобы вернуться на фронт... Тогда была весна, но ты почти не улыбалась. Сердце тосковало по пропавшем друге. Ну, как вы с ним? Не деретесь?

— А вы?

— Спроси лучше Вальку. Ты что, Валюнчик, трешь глазки?

— Бай-бай...

— Хорошо, сынок, сейчас мы тебя уложим.

Тем временем Ояр беседовал с бабушкой о жизни, о международном положении.

— И чего этой Америке нужно, что она не может никак уняться, — спрашивала Акментыниене. — Что, у ихних министров в Нью-Йорке хлеба, что ли, не хватает, — не дают и не дают покоя другим государствам! Как шелудивый пес — только и ищет обо что потереться.

— Хочется весь мир в свои руки заграбастать, — ответил Ояр. — Хотят все человечество запугать атомной бомбой, потому что сами трусят. Кризис наступает, опять будет безработица и разруха, потому и ненавидят и

завидуют, что у нас нет никакого кризиса. Не хочется ведь признаться, что у них устройство хуже, чем у нас. Вот и шумят.

— Или эти англичане... У самих в брюхе, как у выпотрошенной трески, а они еще про войну болтают, ужас, до чего горазды других науськивать. Разве нельзя внушить им, чтобы успокоились? Неужто позабыли, что случилось у Гитлера? Так ведь кончится и с другими, коли им вынь да положь войну.

— Обязательно, если до того дело дойдет.

— Болтают, будто Трумэн — латыш, из земгальских баптистов. Тогда и дивиться нечему, что он такой дурной. У нас в Лиепаве, давно это дело было, собрались на мосту, все в белых простынях, и хотели вознестись на небеса. Ничего у них не вышло, только людей насмешили. Видать, эти американские баптисты не лучше наших.

Ояр громко рассмеялся. За разговором он не заметил, как вошли Криш Акментынь и Жан Звиргзда. Корзина в руках у Акментыня объяснила причину его задержки: встречу со старыми друзьями надо было отпраздновать честь-честью.

Когда маленького Валерия уложили спать, взрослые сели за стол, и до поздней ночи не умолкал разговор в квартире Акментыня. Пока вспоминали партизанские дни и всех старых друзей, пока рассказывали, что каждый за это время успел сделать, как жил и работал, — в городе потухли огни, шум утих и только рокот морских волн, как вздохи вселенной, звучал в ночи.

Они были удовлетворены своей жизнью, уверены в своем будущем и с глубоким, непоколебимым спокойствием, свойственным только сильным, сознающим свою силу и правоту людям, вместе со всей своей страной прислушивались к темному, хаотическому шуму, который долетал с Запада. Пусть ворчит, пусть грозит одряхлевший старый мир, нас тебе не настигнуть. Тебе суждено сгинуть с лица земли, и ты сгинешь, как записано в книге твоих судеб. А мы пойдем дальше, отряхнув твой прах со своих ног.

Звиргзда показал полученное им вчера от Савельева письмо. Савельев работал инженером на большом заводе в Кузбассе. Недавно перевез туда семью. Он не забыл никого из старых боевых товарищей, обо всех спрашивал и просил всем передать привет.

— Давайте ответим ему коллективным письмом, — предложил Акментынь. — Грех порывать старые связи, да еще такие связи. Пусть видит, что от Кузбасса до Лиепавы совсем не так далеко.

— Во всяком случае гораздо ближе, чем от Лиепавы до Швеции, —

сказал Ояр.

Предложение Акментыня всем понравилось. Писала Марина, как самая сильная в русском правописании, но в конце каждый приписал еще несколько строк собственноручно. Письмо получилось солидное.

Был уже четвертый час, когда Звиргзда ушел домой. Рута легла с Мариной, а Акментыню с Ояром постелили в общей комнате на полу. И это было как нельзя более кстати: можно было поговорить еще часок. Акментынь рассказал про свою работу. На землечерпалке он больше не работал — перевели в отдел кадров управления порта.

— Послушай, Криш, когда ты успел отпустить усы? — поинтересовался Ояр.

— Марина меня в конце концов амнистировала, — засмеялся Акментынь. — Всемиловнейше разрешила отпустить. Сказала, что мне они идут. Ведь золото, а не жена?

Но Ояр и сам давно понял, что в этом доме живет дружная семья.

Они проспали до десяти часов. Женщин уже в восемь разбудил Валька. Позавтракав, они вчетвером пошли прогуляться по разукрашенным флагами, празднично оживленным улицам. Потом отправились на пляж и сами не заметили, что зашли довольно далеко. Акментынь показал рижанам мрачную, одинокую дюну, которая, как старинное военное укрепление, тянулась вдоль берега.

— Знаете, что это за место? Здесь осенью сорок первого года фашисты расстреливали наших. Прошлой осенью ветер сдул песок и открыл кости. Говорят, что и Бука был здесь расстрелян — один из первых. Точно никто не знает, но как бы там ни было, это место для нас свято.

Они сняли шапки и стояли с непокрытыми головами, молча думая об одном — о драгоценных великих жертвах, принесенных народом в борьбе за свою свободу.

— Безумец, кто думает, что ее можно у нас отнять.

Глава вторая

1

Зимним вечером Эрнест Чунда, выгрузив на станции воз березовых кругляков, сел на дровни и, не понукая, пустил лошадь — домой сама добежит. Особенно спешить было некуда: приедешь очень рано, сейчас же

заставят натаскать воды в большой котел для варки месива, рубить дрова или чистить хлев. Старый Лиепинь уж умудрится найти что-нибудь: ему лишь бы зять ни минутки не сидел без дела. Да и старуха не лучше. Приторно-ласковый тон ничего еще не значит.

«Эрнестынь, ты не сбегаешь в погреб? Эрнест, милый, будь такой добренький, привяжи в саду веревки для белья... Ты рессорную тележку смазал? После обеда надо бы в лавку съездить... Эрнестынь, зятек...» Перворазрядные эксплуататоры, настоящее кулачье. И кого эксплуатируют — своего же человека, которому придется в конце концов тащить на себе все хозяйство. Загоняют, все соки выжмут, а ты потом забота о них на старости лет. Такие долго живут...

Чунду обогнало несколько упряжек. Он сердито посмотрел им вслед: мчатся как угорелые, торопятся, пока лавку не закрыли. За водкой, за чем же еще. Ему вот хоть и не будь ее. Задумавшись, он стегнул кнутом по снегу, и лошадь (вот глупая скотина!), решив, что это относится к ней, перешла на рысь. Пришлось попридержаться.

— Куда ты, дура! И так успеем — ты к кормушке с овсом, а я к жене. А в баню тебе, скотине, идти не надо.

Началось это еще с прошлого лета, когда Чунда потерпел неудачу со своими грандиозными планами. Прежний председатель волостного исполкома Закис вскоре после того, как его приняли в партию, был назначен парторгом, но Чунда тщетно пытался занять его место. Наверно, зять Закиса, Петер Спаре, который иногда бывал здесь, постарался расписать прошлое Чунды. Председателем исполкома утвердили новосела Цирцениса, а про Чунду в уезде и не вспомнили.

Надо сказать, в то время Лиепини и Элла крепко надеялись, что он станет хозяином волости. Две недели старики ворковали, как голуби, и дорогим зятьком называли, и не донимали черной работой. Потом все сразу изменилось. Старуха несколько дней не глядела даже в его сторону, старик стал покрикивать, словно барский приказчик на крепостного, а Элла прямо в глаза сказала:

— Из тебя, видно, уж ничего путного не выйдет.

Стать рядовым активистом Чунде не хотелось; это полезно новичкам, рассуждал он, которые ничего еще не смыслят в политической деятельности, для них это и начальная школа, и практика, и тренировка. А работник с богатым опытом только сойдет на нет, деквалифицируется на такой роли.

Зато осенью, когда начали организовывать окружные комиссии по выборам в Верховный Совет Латвийской ССР, пришлось ему раскаться:

поработал бы до этого несколько месяцев как активист, показал бы свои организаторские таланты, тогда бы его наверняка выбрали членом избирательной комиссии, а может быть и председателем. Ничего не было бы удивительного, если бы на предвыборном собрании какой-нибудь человек с головой назвал его фамилию: вот у нас есть подходящий кандидат в депутаты... И такой благоприятный случай упустить из-под носа. Чунда ругал и грыз сам себя и с досады не пошел ни на одно предвыборное собрание.

Когда объявили план лесозаготовок, он сразу сообразил, что выполнять норму придется ему одному: не таков Лиепинь, чтобы морозить в лесу свои старые кости. В прежние времена были на это батраки, при немцах — пленные, а теперь — зять. Ну, что же, зато у тебя красивая жена, зато тебя кормят и одевают, а если придет охота выпить — найдется для тебя и водка.

Поживей беги, мой коник,
Нас с тобою дома ждут,—

затянул было Чунда, но на душе такая горечь была, словно едким дымом подавился. И замолчал. Только снег визжал под полозьями да каркали вороны. Полный красный месяц вышел из-за рощи и уставился ему в глаза.

Во дворе его встретил тесть. Первым делом спросил:

— Сколько раз за день обернулся?

— Как всегда — три, — отрывисто ответил зять, распрягая лошадь. — Пять плотных кубометров. Если так каждый день, через неделю норма будет вывезена.

— Смотри ты мне лошадь не запори, — ворчливо сказал Лиепинь, — куда спешишь? Лучше лишнюю неделю поездить. Дорога еще до конца февраля продержится.

Обошел кругом лошадь, пощупал спину под седелкой: не натерта ли. Не помог даже упряжь отнести в сарай.

— Баню истопили? — опросил Чунда.

— Когда еще. Давно все попарились. Воды тебе оставили.

Чунда отвел лошадь в стойло, наскоро вытер ей запотевшие бока и пошел в дом. Элла с матерью, порозовевшие и разомлевшие после бани, повязав мокрые головы платочками, суетились в кухне.

— Ты ужинать с нами будешь или сначала в баню сходишь? — спросила Элла, равнодушно глядя на мужа.

— Сначала попариться надо, а то спина зудит. Как бы не завелись... — попробовал он пошутить.

— Тогда пойду соберу белье.

Элла вялыми мягкими шагами вышла из кухни. Чунда зачерпнул ковшом воду и стал жадно пить.

— Сходи, сынок, на колодец, парочку ведер принеси, — сказала Лиепиниене. — За ночь немного согреется, скорее вскипит.

Чунда взял порожние ведра и вышел во двор. Полный яркий месяц уже на добрую пядь поднялся над вершинами деревьев и стал из красного желтым. Вокруг колодца выросла толстая неровная ледяная корка. Обледеневший сруб еле возвышался над землей.

«Всю неделю не скальвали, меня ждали. Пока не свалится кто-нибудь, холодной воды наглотается. — Он поскользнулся, наливая ведра, и еще больше обозлился. — Командиры... Распорядитель на распорядителе... Был бы я в партии...»

Что бы он тогда сделал, Чунда не придумал. Ставя в кухне на скамейку полные ведра, плеснул немного на пол. Лиепиниене метнула в его сторону разъяренный взгляд, хотела что-то сказать, но вовремя сдержалась: потемневшее лицо зятя не обещало ничего хорошего.

Чунда взял белье, бритву и пошел в баню. Долго парился, ложа на полке, и до тех пор поддавал пару, что камни перестали шипеть. Неторопливо соскреб отросшую за неделю щетину, провел рукой по подбородку и еще раз прошелся бритвой, пока он не стал гладким, как точильный брусок. Потом опять влез на полку и долго наслаждался ощущением полного отдыха.

Снаружи раздались шаги. Кто-то вошел в предбанник.

— Эрнест, ты еще моешься? — услышал Чунда голос жены.

— А что же еще тут делать? — отозвался он. — Неужели я не имею права попариться с мороза?

— Ну что ты говоришь, — ответила из-за двери Элла. — Мы думали, с тобой что стряслось...

Она ушла. Ее беспокойство польстило Чунде. «Ишь, испугалась... не стряслось ли... Не все, значит, равно, польза от меня все-таки есть...»

Он засмеялся, вытянулся во весь рост, с удовольствием вдыхая теплый, пахнувший прелым березовым листом воздух.

Пожинав в одиночестве, Чунда пошел в спальню почитать газету. Элла сидела перед зеркалом и накручивала волосы на папильотки. Расма,

не находя себе места, подбегала то к одному, то к другому, пока Чунда не посадил ее на колени.

— Ну, что скажешь? Что ты сегодня делала?

— Дядя Эрнест, покажи мне лисичку и волка.

— А, вон тебе чего? Ну хорошо, давай вместе посмотрим, как волк рыбу ловил. — Он отыскал книжку с картинками и стал ее перелистывать.

— У волка хвост примерз к проруби! — радостно крикнула девочка и оглянулась на Чунду: понял, какая она умница, вспомнила, о чем они вместе читали. Чунда погладил ее по головке и сделал серьезное лицо.

— Примерз. Так примерз, что нельзя было оторвать. Так ему и надо, серому. Ну, а потом такую трепку ему задали, что шерсть во все стороны летела.

— Как пух из подушки, когда мама бьет! — радовалась Расма.

— Как пух из подушки. Только подушке не больно, когда ее взбивают, а у волка все кости болели.

— Дядя Эрнест, а тебе больно, когда тебя бьют?

— Конечно, больно. Только я никому не позволяю себя бить.

— И маме не позволишь?

Чунда покосился на Эллу, но та была увлечена своим занятием и не следила за их болтовней.

— И маме, — ответил он тихо. — Никому не позволю.

— И бабушке? — допытывалась Расма, — и дедушке, и дяде Закису?

— Я сказал — никому не позволю.

Расма потрогала Чунде лицо, подергала за уши, потом ухватила кончик носа и зажала ноздри. Когда он заговорил, девочка рассмеялась до слез — такой у него был смешной голос.

— Почему у тебя такой большой нос, дядя Эрнест?

— Потому что я сам большой. У больших у всех большие носы.

— А когда я вырасту большая, у меня тоже будет большой нос?

— Не такой большой, как у меня.

— А какой же?

— Ну, такой, как у мамы.

— И я буду большая, как мама?

Кончив свой ночной туалет, Элла отвела Расму в горенку к старикам, где она спала с тех самых пор, как Бруно Копиц начал приходить ни ночь к Лиепиням. Девочка упрячилась, ей хотелось поиграть еще с дядей Эрнестом.

Наутро Лиепинь сидел за завтраком сердитый, нахмуренный. Старуха, догадавшись о приближении момента, когда старик начнет отводить душу

разом за всю неделю, сидела как ни в чем не бывало, только изредка краем глаза посматривала на мужа и на зятя. Поели молча. Одна Расма, сидя на коленях у матери, щебетала как птенец, но никто не обращал на нее внимания.

Лиепинь рыгнул, отодвинулся от стола и взял трубку. Долго подыскивал подходящие для начала слова поехиднее, но ничего особенного, нового в голову не приходило.

— Так хозяйничать не годится, — наконец, заговорил он. Несколько раз сердито потянул из трубки так, что в чубуке захлюпало, и глянул одним глазом куда-то вбок. — Недаром я говорил, нельзя постольку накладывать. У дровней полоз треснул. Натрешь вот лошади спину, а весной неизвестно, кого в плуг впрягать. Самому разве надеть хомут на шею?

— Который полоз? — встрепенулся Чунда. — Я вчера ничего не заметил.

— Где тебе заметить, — уже гремел Лиепинь. — Орудует так, будто больше одного дня жить тут не собираешься. Если не смотреть каждую минуту, такой цирк устроил бы... Не знаю, что ты будешь делать, когда придется одному хозяйничать. За год все спустишь. Прямо иной раз сомнение берет: и как на такого дом оставить?

— Что же ты, Эрнест? — Элла с укором посмотрела на Чунду. — Пора бы усвоить... Сколько тебя отец учил.

— У него не это в голове, — поддала жару Лиепиниене. — Где ему про такие мелочи думать. Взять хоть крышу у клетки... Сколько раз говорила — заделать надо, и доски есть под рукой. Как об стену горох. А крыша протекает. Скоро хлеб негде будет держать.

— Поезжайте в лес, а я крышу заделаю, — буркнул Чунда. — Не могу я надвое разорваться.

— Там и работы на час, не больше, — сказал Лиепинь. — Будь я помоложе, давно бы сам сделал. А теперь где же — упадешь, разобьешься... Хотя иные, может, только того и дожидаются.

— Послушайте, черт вас дерит! — выйдя из себя, крикнул Чунда. — Имею я право отдохнуть хоть раз в неделю или нет? И кто я вам, наконец, зять или батрак? Чего вы на меня наускаиваете? Досадно, что я один день не поработаю? Лошади и той дают отдых, а мне нет...

— Тогда не следовало жить в деревне, работал бы лучше где-нибудь на фабрике, — не утихал Лиепинь. — Там как гудок прогудел, и отдыхай. А нам так нельзя.

Чунда встал и махнул рукой.

— Что я буду с вами языком трепать. У вас одна забота: как бы из меня

побольше выжать. Однако напрасно вы думаете, что мне деваться больше некуда. Человек я свободный, если мне где не понравилось, я другое место найду.

Он так и сделал. Набросил на плечи полушубок, надел шапку и выбежал во двор. В комнате наступило тяжелое молчание. Всем было неловко смотреть друг другу в глаза.

— Не надо было так на него накидываться, — заговорила, наконец, Элла. — Рассердится, наделает глупостей.

— Не наделает, — зло засмеялся Лиепинь. — Побегает-побегает, пока жрать не захочется, к обеду тут как тут будет. Видал я таких.

— Не стоило бы больше об этом говорить, — просительным тоном сказала Элла. — Подумали бы о том, что мне с ним жить.

— Что я такого особенного сказал? — удивился Лиепинь.

— Ну как же — одно и то же, одно и то же...

— Не нравится, когда говорят, пускай делает, как его учат. Я не плохое говорил, я из него хозяина хочу сделать. Давно пора бы понять. Не простая это штука хозяином стать.

2

Выскочив из дому, Чунда пошел куда нети понесли. Ни разу не оглянувшись, он шагал и шагал, сначала по аллее к большаку, потом прошел изрядное расстояние в сторону волостного исполкома; дойдя до первого перекрестка, свернул направо, опять не думая, почему именно в эту сторону, и зашагал дальше. Он никак не мог остыть, все продолжал про себя спорить с домашними.

— Ах ты, образина, — вполголоса бормотал он. — Бойтся дом оставить. А что вы будете делать, если я сам его не возьму? Засолите, что ли? Может быть, в могилу с собой захватите? Нашли дурака — крышу им чини в воскресенье! Этак, пожалуй, один раз согласишься, они тут же еще что-нибудь придумают. В струнку перед ними вытягивайся, а тебе и спасибо не скажут. Эллочка тоже хороша: как отец заведет свою песню, она ему в тон своим сопрано подтягивает. Заодно с ними поедом ест... Вечером опять и добрая и ласковая. «Я ничего плохого не думала, потерпи немного, Эрнест, скоро все будет по-другому».

Когда это будет — лет через десять, не раньше, и то кто-нибудь из них останется, будет кому пилить. Нет, больше этого нельзя терпеть. Или обращайтесь по-человечески, или разойдемся. Элла как хочет: или со мной

уходит, или остается. Когда стариков возле не будет, и она по-другому запоет, по-моему. Стариков я к себе и на порог не пущу. Нет и нет!

Последние слова он выкрикнул так громко, что сам испугался. Еще больше он испугался, когда увидел в пяти шагах от себя парторга волости Закиса, который шел навстречу.

— Чего нет? — спросил Закис, широко улыбаясь из-под усов.

— Так это я, сосед... Мало ли у рабочего человека забот... — и чтобы повернуть разговор на другое, спросил. — Куда так торопитесь, сосед, в воскресенье?

— Да вот хочу поглядеть, как волость живет. Узнать, все ли очнулись от медвежьей спячки, или кого надо еще разбудить.

— Ну и как же? — принаравливаясь к его тону, спросил Чунда.

Они остановились посреди дороги.

— Ничего, начитают просыпаться. Если так дело пойдет, к весне в волости будет кое-что новое.

— Например? — пытливо спросил Чунда.

— Пожалуй, будет у нас свой колхоз.

— Вон вы куда метите!

— Да, к тому дело идет. Двенадцать крестьян уже согласны вступить. Если еще двенадцать присоединятся, тогда можно начинать. Жизнь на одном месте стоять не хочет.

— И вы тоже вступаете?

— Как же иначе. Первым запишусь.

— А Цирценис... председатель?

— Он в другом конце волости живет, пусть свою артель и организует. А вы как, сосед, смотрите на это дело? Долго еще думаете мучиться на липиньской земле? Никакого смысла нет.

— Какой там смысл, — согласился Чунда. — Я колхозы видал. В годы эвакуации бывать приходилось и за Уралом и ближе. В одном колхозе меня председателем хотели выбрать, но я занимал тогда крупную должность на большом оборонном заводе.

— Если Лиепинь не войдет, их земля будет как остров посреди озера, — сказал Закис. — Кругом все крестьяне с охотой вступают. Смешно ведь будет: со всех сторон на тракторах выезжают, а вы посередине за сохой плететесь. Куда это годится?

— Никуда не годится, — опять согласился Чунда. — Я, как глубоко советский человек, хорошо это понимаю. Лично я ничего не имею против, но вот вопрос — что старики скажут. На них иногда дурь находит...

— На кулаков все оглядываются, так, что ли?

— Есть такой грех, как говорится.

— Беседуйте понемножку, время еще терпит. Если решат, скажете мне. Стыдно будет, если мы вдвоем старикана не убедим.

Закис спросил Чунду, как у него идут дела с лесными работами. Услышав уверения, что к следующему воскресенью норма будет выполнена, похвалил его и попрощался.

«А он не такой уж пустой человек, — подумал Чунда. — Проворный — успел и о колхозе подумать. Что же, и организуют, и заживут... Почему и не быть колхозу в Упесгальской волости...»

Все, что он сейчас услышал, снова взволновало его. Но это было не то чувство, с которым он выбежал давеча из дому. «Эх, если бы удалось уговорить Лиепиней пойти в колхоз! Тогда бы не пришлось ждать десять — пятнадцать лет, пока избавишься от стариковских капризов. Свободный человек, полноправный член коллектива. Ах, какие возможности выдвинутся, какие перспективы перед способным организатором открываются!»

Дойдя до леса, Чунда повернул обратно к дому, не очень торопясь, впрочем, чтобы успеть подобрать и взвесить все доводы, которые должны убедить Лиепиней. Сознывая всю важность предстоящего разговора, он даже попробовал прорепетировать его: сам задавал вопросы и сам же на них отвечал, спорил с собой и, наконец, припер своего невидимого противника к стенке: «Твоя правда, Эрнест, пиши заявление от всей семьи».

Но когда он пришел домой и увидел опять те же самые лица, которые так сердито смотрели на него утром, Чунда упал духом и, следуя примеру искушенных дипломатов, отложил серьезный разговор. Лучше потом, когда у остальных прояснится настроение. Ждать бы пришлось до самого вечера, если не дольше, но тут Чунде пришла в голову счастливая мысль. Он разыскал приготовленные дощечки и гвозди, взял молоток и взобрался на крышу клетки. Почти час проработал не переводя духа и заделал, наконец, злополучную дыру. «Ради великого дела можно и пострадать, — с сознанием собственного благородства думал он, — колхозное добро беречь надо».

Когда крыша была почти починена, во двор вышел Лиепинь посмотреть, как двигается работа, и сам придержал лестницу Чунде.

— Осторожнее, осторожнее, Эрнест, — предупредил он — тут одна перекладинка подгнила. Сам видишь, не стоило такой шум поднимать. Оглянуться не успел — и работа сделана.

Он примирительно улыбнулся. Улыбнулся и Чунда, хотя после принесенной жертвы он не расположен был к этому.

— Заделано прочно, — скромно сказал он. — Теперь никакой дождь не страшен.

Теща тоже благосклонно смотрела на зятя и даже не послала за водой. Но Чунда оказался настолько догадливым, что без напоминания взял ведра и пошел к колодцу. Тут и Элла улыбнулась и задорно подмигнула ему.

За обедом Чунда пошел в наступление.

— Великие дела творятся на свете. Люди с каждым днем становятся умнее и устраивают свою жизнь по-новому.

— Это по-каковски еще? — не вытерпев, спросила Лиепиниене.

— В нашей волости, можно сказать под самым нашим носом, колхоз организуют. Я давеча с Закисом разговаривал. Желающих много, но принимают только самых надежных крестьян. Нам тоже предстоит вступить. Я, с своей стороны, дал согласие, так что к весне заживем по-новому.

Лиепиниене побледнела. Старик побагровел, как петушиный гребень. Элла безмолвно смотрела на мужа неприязненным взглядом. Все перестали есть.

— Колхоз, говоришь? — медленно, задыхаясь, проговорил Лиепинь. — Согласие дал? Да ты нас со всей шкурой продал, не спросившись, хотим ли, не хотим... Это же разбой!.. В дом умалишенных тебя надо отправить!

— Ну, ну, полегче, — пробормотал Чунда. — Чего так расхотелись?

— Он и правда с ума сошел! — обрета дар речи, крикнула Лиепиниене и заголосила: — Боже ты мой, боже, и что теперь будем делать! Придут, выгонят со двора, заставят жить в землянке, отдадут наш дом голодранцу какому-нибудь!..

— Какое ты имел право!.. Как ты посмел это сделать!.. — с натугой вопил старик. — Грабители только так делают... Под суд надо отдать... За мошенничество, за растрату чужого имущества. Преступник ты — больше никто... Для того я тебя в семью принял, чтобы ты меня на старости лет нищим сделал? Нет, покуда я жив, ни в какой колхоз не пойду. Выписывай меня, сейчас же выписывай. Беги скорее к Закису и скажи, чтобы он мою фамилию в свои списки не ставил.

— Беги скорее, пока не поздно, — стонала Лиепиниене. — Может, не успел записать нас в эти грамоты.

— Эрнест, неужели это все правда... про колхоз? — дрожащим голосом спросила Элла.

— Ну да, правда, — пожимая плечами, ответил Чунда. — Колхоз будет. А ваша земля на самой середине находится, вам теперь деваться

некуда, как ни вертите. Честное слово, не понимаю, чего вы все так нервничаете. Другие бы радовались, не всякому такое счастье выпадает.

— Смотря что называть счастьем. Я никак не думала, Эрнест, что ты такой легкомысленный. Поговорил бы хоть сначала с домашними.

— Я начал говорить, но вы такой вой подняли, словно на похоронах.

— Я тебе запрещаю вести такие разговоры в моем доме, — снова закричал на него Лиепинь.

— Говорить ты, старик, никому не запретишь, — хладнокровно ответил Чунда. — Подумаешь, султан какой. Пока я говорю, ты молчи и жди, когда тебе дадут слово... У вас, правда, как в сумасшедшем доме. Я вам всем заявляю: колхоз дело хорошее. Сами вы не зияете, чего брыкаетесь. Заладили одно: «не хотим, не хотим, не хотим», — передразнил он. — Как маленькие.

— Я про этот колхоз слышать не желаю, — чуть сбавив тон, но все еще сердито сказал Лиепинь. — А если уж я не имею права приказывать в своем доме, то Христом-богом прошу: не говори ты при мне об этом.

Значит, нет? — угрожающе спросил Чунда.

— Нипочем, — ответил тесть.

— Ну хорошо, теперь я знаю, что мне предпринять.

Элла отчаянно моргала мужу, стараясь его унять: она чувствовала, что совершается что-то непоправимое. Но он не обращал внимания на ее знаки.

— Если вы отказываетесь идти в колхоз, тогда и я отказываюсь жить с вами. Ни одного дал больше не останусь у вас в батраках. Себе и жене заработаю на хлеб в любом месте. В последний раз спрашиваю: пойдете или нет?

— Нипочем не пойду, — повторил Лиепинь.

— Хорошо, — сказал, поднимаясь из-за стола, Чунда. — Все понятно. Завтра можете сами ехать в лес, гражданин Лиепинь. Только смотрите, чтобы лошади спину не натерло. Она у вас нежная.

— Вон из моего дома, безбожник! — снова потеряв самообладание, заорал Лиепинь. — Видеть тебя больше не хочу.

— Мало ли чего ты не хочешь! — Чунда кивнул Элле: — Начинай собираться, жена.

— Куда собираться? — встревожилась Элла. — Что ты хочешь делать?

— Мы сегодня же уезжаем отсюда.

— Что ты, Эрнест? Куда мы поедем?

— Туда, где меня не будут унижать.

— Ты уж не выдумывай, Эрнест.

— Ты отказываешься ехать?

— Если бы я еще знала, куда и что нас ждет... А так разве можно? И тебе бы лучше успокоиться, хорошенько все обдумать, когда голова поостынет... Отец скоро перестанет сердиться.

— Не хочу, чтобы у меня голова поостыла. Если вам нравится, можете положить свои мозги в погреб на лед. Их и крысы не тронут — очень уж плесенью от них несет.

Он ушел в спальню и начал энергично укладывать в мешок свои вещи. Время от времени он с горьким упреком в глазах оглядывался на Эллу. Она сидела на кровати и молчала.

— Так. Теперь можно идти. Желаю счастья, дорогая женушка.

— Эрнест, — жалобно зашептала Элла. — А как же я? Зачем ты меня бросаешь?

— Я тебя звал, могу еще раз повторить. Но если тебе кружка молока дороже мужа...

— Ты меня бросаешь? Совсем?

Чунда поглядел на Эллу и разжалобился.

— Если, конечно, ты меня любишь... можешь приехать в любой момент. Как только устроюсь, напишу. И он ушел.

Обычно Ояр уходил по утрам из дому раньше Руты, потому что на заводе работать начинали в восемь часов. Только по понедельникам они выходили вместе, и Ояр провожал Руту до райкома комсомола. Она имела обыкновение составлять в этот день план работы на всю неделю и потому приходила за час до начала занятий; пока молчали телефоны и не было посетителей, Рута просматривала свои заметки, самые важные и неотложные вопросы, которые следовало разрешить в ближайшее время, распределяла по дням.

В воскресенье они с Ояром были на Киш-озере, катались на буере Юриса Рубениса; вечером пошли в театр, смотрели один из замысловатых современных балетов, от которых больше получал наслаждения глаз, чем ухо: красочные декорации, великолепные костюмы, виртуозные танцы... и ни одной запоминающейся мелодии.

— Когда тебя ждать вечером? — спросила Рута Ояра.

— Часам к одиннадцати, наверно, буду, у меня сегодня семинар по международному положению. Если тебе скучно будет...

— Когда мне скучать, Ояр. А сегодня к тому же я принимаю дела

райкома.

— По акту или на честное слово?

— Это уж позвольте звать нам с Айей, — преувеличенно серьезно ответила Рута.

Они кивнули друг другу на прощание, еще раз оглянулись — оба в одно время, — улыбнулись и пошли каждый в свою сторону.

В это утро и Айя пришла раньше обычного.

— Как вчера катались? — спросила она, снимая пальто.

— Такой день был, Айя, такой день, — и Рута с воодушевлением стала рассказывать о подробностях вчерашней прогулки. — Мы с Ояром решили непременно построить к будущей зиме буер. У меня за вчерашний день легкие столько свежего воздуха набрали, теперь на всю неделю хватит.

— Я бы тоже покаталась, но мой Андрей что-то капризничал, наверно зубки режутся. Ну, а если я не еду, Юрис из солидарности остается дома.

— Юрис, наверно, не нарадуется на него.

— Оба мы не нарадуемся. Ваг погоди, Рута, когда он подрастет немного и начнет гулять со мной, какие дела мы будем делать.

— Да, хорошо, — тихо сказала Рута, задумавшись о чем-то своем. — Может быть, и я когда-нибудь испытаю это.

Они сели за работу. С формальностями они покончили за каких-нибудь полчаса, тем более что Рута была знакома со всеми делами и во время болезни Айи два месяца замещала ее. Но Руте хотелось еще о многом посоветоваться, получить последние указания. И хотя Айя никуда не уезжала и оставалась работать в том же районе, так что и позвонить ей можно было и забежать к ней, но все-таки у Руты было такое чувство, как будто впереди ее ожидало плавание по бурному морю.

— Да не бойся, Рутыня, — ободряла ее подруга, — ты и фронт прошла и в партизанах была, что же теперь-то бояться? Главное, что нам всем постоянно надо помнить, это — не крохоборствовать, стараться не утонуть в мелочах. Они тебе не будут давать ни минуты покоя, но ты не бойся того, что их так много. Если ты пожертвуешь этим мелочам часа два в день, этого будет предостаточно. Но помни и о том, что иная на первый взгляд мелочь имеет принципиальное значение. Так вот надо уметь ее разглядеть острым взглядом, взглядом коммуниста.

Рута осталась одна. С чувством непривычного волнения взяла она трубку, когда ей позвонили из Центрального Комитета комсомола и поручили срочное задание. Это не был страх, или малодушие, или стремление убежать от трудностей — нет, скорее всего это было обостренное чувство ответственности, сознание, что от твоего успеха

зависит в какой-то мере успех одного из великих и прекрасных начинаний эпохи.

— Выше голову! — сказала ей, уходя, Айя.

— Выше голову! — сказала себе и Рута. Она внутренне вся подобралась, как бы подставляя плечи для великой, почетной и трудной ноши, нести которую поручила вырастившая ее партия. Один этап будет пройден, начнется новый, еще более трудный и сложный, а когда будет завершен и он, никто не скажет ей: вот и все, теперь ты можешь остановиться, дальше пути нет... Никогда не будет конца пути развития и успехов советского человека. Не существует оград, загораживающих ему горизонт. Он шагает под солнцем, как исследователь, строитель и творец. Горы и моря расступаются, дают ему дорогу.

Поздно вечером возвращалась Рута домой. Голова у нее отяжелела, во всем теле чувствовалась глубокая усталость, но она была счастлива.

Холодный зимний воздух, словно чья-то ласковая рука, освежал своим прикосновением разгоревшееся лицо Руты. Так хорошо было идти по пустынной улице, хотелось продлить путь до дому.

«А почему бы и нет? Семинар у Ояра еще не кончился, а чай можно вскипятить в несколько минут».

Рута пошла по дороге, которой они с Ояром часто пользовались для воскресных прогулок. Снег перестал идти, на темном, почти черном небе заблестали бесчисленные звезды... И ей представился покрытый дерном шалаш в чаще дремучего леса... Кругом снег, вековые ели и в вышине, над уснувшей землей, звезды... Молодой партизан стоит на посту, охраняет драгоценную жизнь своих товарищей: ни один враг не подкрадется к умолкнувшему лагерю, рука злодея не застигнет героя...

Прекрасна была та жизнь, но теперь она во сто крат прекрасней.

Рута жадно вдыхала свежий ночной воздух, постепенно рассеивалась ее усталость. Новая жизнь радовалась тому, что она есть, что она существует.

Глава третья

Наконец-то в Упесгале состоялось долгожданное собрание,

посвященное организации первого колхоза.

Индрик Закис немало поработал со своими ближними и дальними соседями. С каждым поговорил — и не раз поговорил. На первых порах его все засыпали вопросами. Но он давно уже начал подбирать нужную литературу — устав сельскохозяйственной артели, постановления правительства, книжки по специальным вопросам — и главные места назубок знал. А если на какие вопросы не мог ответить, обращался в уездный комитет партии.

Целый месяц волость кипела как в котле. В каждом доме велись страстные споры; все крестьяне разделились как бы на три лагеря: одни стояли за колхоз, другие руками-ногами отмахивались, а третьи говорили:

— Мы пока подождем, поглядим, что у них выйдет. Если что доброе, тогда и мы вступим, а если путаница получится, не нам ее распутывать.

Кулаки извлекали из закоулков памяти ульманисовских времен сказки и болтали всякие страсти: и жены-то в колхозах у всех общие, и если у кого есть одежда поновей — отнимут, отдадут лентяям; везде нужда-де и голод... Но эти рассказы давным-давно потеряли свою силу, охотников слушать их находилось мало. К тому же многие упесгальцы во время эвакуации повидали настоящие колхозы и могли рассказать и про животноводческие фермы, и про колхозные электростанции, и про детские сады.

Такой серьезный вопрос нельзя было решать без ведома всей семьи, поэтому Закис настоятельно советовал тем, кто выразил желание вступить в артель, сначала поговорить с женами, а старикам — и с молодежью.

— Чтобы прежде всего вам было ясно одно: силой никого вступать не понуждают, — напоминал он каждому. — Только на строго добровольных началах. Кто сомневается если, пусть лучше не спешит, а то начнет других винить, что, мол, хитростью втянули его, простоту сердечную, в такое опасное дело.

— А в Сибирь не угонят, если откажемся вступить? — спрашивали некоторые.

— О каком же отказе может идти разговор, — отвечал Закис. — Отказываются тогда, когда человеку насильно навязывают или предлагают. А кому не предлагают, от чего же ему отказываться? В колхоз заявление надо подавать. Да не на словах, а на бумаге. За личной подписью. И в этой бумаге будешь вежливо просить, чтобы другие члены оказали такую любезность, приняли в сельскохозяйственную артель крестьянина такого-то. А коллектив еще поглядит, кто ты такой есть, обсудит твою просьбу и постановление вынесет. Не всякий еще достоин этого, не всякого примут в колхоз, так что вы со своим отказом не навязывайтесь — никого он не

интересует.

— Так и правда, что только добровольно?

— Только так, не иначе.

В середине мая, когда сев был закончен, в воскресенье состоялось собрание инициаторов колхоза. Приехали из уезда и первый секретарь комитета партии, и председатель исполкома. Собрание началось в десять часов утра и затянулось чуть не до самого вечера. Некоторые семьи явились почти в полном составе, дома оставался кто-нибудь один — присмотреть за скотиной. Но все пришли с женами, как говорил Закис. Привел и он свою.

После краткого вступительного слова, в котором секретарь уездного комитета партии охарактеризовал всю важность предстоящего события и еще раз предупредил, что никого принуждать к вступлению в колхоз не будут, что каждый сам должен решить, как ему вперед вести хозяйство, собравшимся зачитали примерный устав сельскохозяйственной артели — сначала целиком, потом по пунктам, обсуждая и разбирая каждый по отдельности! После обсуждения каждой статьи Закис обращался к собранию:

— Всем ясно? Если что непонятно или хотите что изменить, говорите сейчас.

Но устав был написан так просто, ясно и понятно, что каждое слово в нем убеждало слушателей своей правотой и мудростью. Каждый пункт принимали открытым голосованием и шли дальше. Потом проголосовали устав целиком.

— А теперь, товарищи, обсудим некоторые практические вопросы, — сказал Закис. — Где у нас будет центр колхоза? Я, со своей стороны, предлагаю остановиться на усадьбе Лиепниеки. Не потому, что сам там живу, мне, может, придется и уйти оттуда, а потому, товарищи, что усадьба эта находится на самой середине нашего колхоза. И надворные постройки там самые подходящие для обобществленного хозяйства.

— Да там же коннопрокатный пункт, — возразил кто-то. — Усадьба в ведении Министерства сельского хозяйства находится.

— С министерством мы уже договорились, — объяснил председатель уездного исполкома. — Если в Упесгале будет колхоз, усадьба Лиепниеки передается ему, а коннопрокатный пункт объединим с другим каким-нибудь.

— Тогда и мудрить нечего, — раздалось несколько голосов.

Лиепниеки — самая подходящая усадьба для центра!

— К тому же народное достояние! У нас половина бедняков и батраков

на нее работали!

— Значит, в Лиепниеках? — еще раз спросил у собрания Закис. — Других предложений не будет? Тогда с этим вопросом покончили. Теперь насчет животноводческой фермы. Обобществленный скот у нас будет находиться в одном месте, чтобы обеспечить надлежащий уход и присмотр. Потребуется большой скотный двор и помещения для переработки молока. Какие есть предложения?

В одном из последних рядов встал молодой парень.

— У меня есть предложение.

— Слово товарищу Чакстыню, — объявил Закис.

Адольф Чакстынь не был прирожденным оратором и потому страшно сконфузился и покраснел как рак.

— Я так думаю, товарищи... Мне так кажется, товарищи... насчет фермы... Что, если подумать насчет усадьбы Зиемели. Там скотный двор такой — во всей волости лучший. Пастбищ кругом сколько хочешь. Там и механическая дойка и всякое благоустройство. Я сам там одно время работал, когда его строили. Я считаю, это правильно... Выйдет, что не живоглотам на пользу пот проливал, а для народа, для всех нас...

— Правильно, Адольф! — поддержали его несколько голосов.

— Тогда в Зиемелях? — сказал Закис. — Я тоже думаю, лучшего места для животноводческой фермы не найти.

— А кого там держать, на этой ферме? — закричал в среднем ряду Лиепинь. Он не подал заявления и на собрание пришел больше из любопытства. — Где скотину-то возьмете?

— Об этом не тревожься, сосед, найдется скотинка! — весело ответил Закис. — Это мы и будем сейчас решать.

Когда вопрос о ферме был решен, стали обсуждать, сколько бригад организовать и какие именно. В артель подали заявления тридцать восемь крестьян. Двадцать четыре хозяйства граничили друг с другом, образуя главный массив пахотной земли; остальные четырнадцать находились на другом берегу реки, и в земли их врезались клиньями и отдельными островами хозяйства кулаков и выжидающих. Мост же через реку был километра на три ниже по течению.

— Заречным, пожалуй, придется организовать отдельную бригаду, — сказал Закис. — А на нашем берегу следует две бригады создать — способнее хозяйствовать будет. Теперь такой вопрос: как нам лучше распределить усадьбы по бригадам, чтобы и рабочих рук и тягла приходилось поровну на каждую?

Пришлось взяться за карандаш и бумагу. Руководители уезда тоже

приняли участие в расчетах, и через час вопрос был разрешен, даже бригадиров успели выбрать.

— Остается еще один важный вопрос, — объявил Закис. — Надо твердо, раз навсегда решить, сколько скота и земли будем оставлять в личное пользование. Кто желает высказаться?

Крестьяне переглянулись. Одни шептались с женами, другие подталкивали соседей, чтобы те выступили, но никто не подымал руку. Наконец, попросил слова Заурис, крестьянин-середняк из зареченских. Лиепинь глаз с него не спускал: как-никак, свой брат, и по достатку и по интересам, только вот с заявлением поторопился.

— Парочку коровок и три-четыре пурвиеты земли, я думаю, надо людям оставить, — начал Заурис. — По крайней мере не придется надеяться на один общественный котел. У меня при усадьбе как раз подходящий клинышек...

— Ишь, какой умный! — громко крикнул из рядов Клуга — получивший после войны землю крестьянин, бывший гвардеец латышской дивизии; на груди у него красовался орден Красной Звезды и три медали. — Пару коровок и четыре пурвиеты, — повторил он. — А у самого только двое трудоспособных в семье... Тут хватит возни с приусадебным участком и со скотиной, а общественную землю пускай, значит, ангелы обрабатывают, так? Здорово получается!

— А ты что предлагаешь, товарищ Клуга? — спросил Закис.

— Достаточно одной коровы и теленка. А ведь, кроме того, будут и свинки, и овцы, птица в неограниченном числе, да еще и пчелы со всеми трутнями, — перечислял Клуга.

— Лучше без трутней, Клуга! — крикнул какой-то остряк. — Колхозным пчелам трутни не нужны.

— Так я же про индивидуальных пчел говорю, — отшутился в свою очередь Клуга. — А что касается приусадебных участков, так мне, например, и полгектара будет довольно. У кого семьи побольше, тем можно прикинуть еще соток десять. И прекратим разговор о четырех пурвиетах — иначе незачем было в колхоз идти. Пусть все остается по-старому и каждый корпит над своими пурвиетами.

— Правильно, Клуга! — закричали со всех сторон. — Нечего устраивать из колхоза вывеску для частной лавочки.

— А когда подойдет конец года, у таких двухкоровных да с четырьмя пурвиетами ни одного трудодня не будет. Не надо нам таких!

— Да я того и не думал, — оправдывался Заурис. Он почувствовал, что остался без поддержки; те, кто втайне были с ним заодно, скромно

помалкивали.

— Дело в том, товарищ Заурис, что вы меньше будете заботиться о процветании общего хозяйства, чем о своей скотине, о своей земле, — с улыбкой ответил секретарь уездного комитета партии. Колхозную собственность надо оберегать и любить так же, как вы до сих пор оберегали и любили свою частную, даже еще сильнее.

— Я и не настаиваю на своем предложении, — глядя в землю, сказал Заурис. — Как большинство решит, пускай так и будет.

— Других предложений нет? — спросил Закис. — Если нет, тогда порядка ради проголосуем оба. Кто за предложение товарища Зауриса, то есть за двух коров и четыре пурвиеты, прошу поднять руку.

Поднялись три руки — сам Заурис от смущения забыл поддержать свое же предложение и руки не поднял. Один из трех, видя, как мало голосуют, проворно опустил руку, а одному из тех двоих, которые продолжали храбро держать поднятые руки, Закис сказал:

— Товарищ Лиепинь, а вы чего руку подымаете?: Вы же не член колхоза.

— Ну что же! Все равно имею право показать, как я думаю.

— Ну хорошо, показывайте. — Закис махнул рукой и засмеялся. — Один голос. А теперь кто за предложение товарища Клуги, то есть за одну корову и полгектара земли, прошу поднять руку... Тридцать пять голосов. Значит, принимается предложение товарища Клуги. Теперь можем перейти к последнему вопросу — к выборам правления и председателя.

Несколько человек попросили слова, но прежде чем Закис успел дать кому-нибудь высказаться, какая-то женщина высказала общую мысль:

— Председателем Закиса!

Раздались аплодисменты. Через полчаса правление было выбрано, и Индрик Закис стал председателем нового колхоза! Руководители уезда поздравили его и пожелали успехов в работе. После этого все единогласно решили назвать Упесгальскую сельскохозяйственную артель именем Сталина.

Когда участники собрания, поздравив друг друга, стали расходиться, секретарь уездного комитета партии отвел Закиса в сторону и сказал:

— Подготовьте краткий отчет о состоянии артельного хозяйства: сколько земли, сколько скота, какой инвентарь. Через неделю вам придется поехать в Ригу. Весьма вероятно, что будет вынесено решение об оказании самой необходимой помощи новому колхозу. Подумайте как следует, какие у вас самые неотложные нужды.

— Нужды можно придумать самые различные, только я полагаю, нам

надо привыкнуть с самого начала на своих ногах стоять, а не ждать, что все будет с неба валиться, — ответил Закис. — Вот если помогут искусственным удобрением и стройматериалами, нам этого на первых порах вполне достаточно.

— Вот об этом и скажите. Думаю, что дадут.

Руководители уезда уехали в город, а Индрик Закис задержался еще немного в Народном доме. На сердце у него было много новых забот и новых радостей. «Вот теперь ты можешь быть и счастливым и гордым, — думал он, — исполнилась самая твоя заветная дума, и ты сам помогал, чтобы она исполнилась. Пришли они, новые времена, теперь учись жить по-новому...»

Закиене после собрания скорее побежала домой, к ребятишкам, и он одиноко шагал в наступающих сумерках по дороге. Добрым, ласковым взглядом окидывал он окутанные дымкой поля и луга. Сотни раз ходил по этой дороге, наблюдал эти же самые пашни, и никогда они не казались ему такими прекрасными, родными.

— Наша земля, — сказал он негромко.

2

Дома Закиса ждала приятная новость: пока он был на собрании, в Лиепниеки приехали гости — Аустра и Петер Спаре со своим сыном Аугустом, а с ними и Аугуст Закис. О всех домашних делах их уже успел проинформировать Янцис, а Закиене, вернувшись с собрания, рассказала, как там все происходило.

— С ума сошел ваш отец — за такое дело взялся, — жаловалась она. — Тридцать восемь дворов... это все равно, что большое имение. Да еще по-новому берется хозяйничать. Поглядим, как он будет управляться.

— Ты, мама, за отца не беспокойся, — сказал Аугуст, — если он за что взялся, то на полпути не остановится. Уж наверное обдуманно будет действовать.

Закиене весь вечер глаз не сводила с обоих Аугустов — маленького и большого. Первый еще не умел говорить, — он одно только знал, как бы схватить ручонками каждый блестящий предмет. Но уже и сейчас проявлял заметную настойчивость характера — не успокаивался до тех пор, пока не получал требуемого. И мил он был сердцу женщины, как только может быть мил первый внучек, но и на другого, старшего, она налюбоваться не могла. Не спуская с рук младшего Аугуста, она счастливыми глазами

глядела на старшего сына, жадно ловила каждое его слово. Не все ей было понятно, когда он разговаривал с Петером и Аустрой, но матери довольно было слышать его голос, видеть его не частую улыбку. Правда, когда Аугуст обращался к матери, речь его становилась простой и понятной до единого словечка.

Днем еще, до возвращения матери с собрания, Янцис и Мирдза сбегали в Лиепини и попросили бабушку отпустить к ним на часок Расму: девочка и раньше нередко приходила поиграть с Валдынем. Если бы Лиепиниене знала, что приехал Петер Спаре, она бы заставила прийти его самого.

— Ты меня узнала, Расминя? — спросил Петер, посадив на колени дочку. Он раза два в год приезжал навестить ее, а в день рождения и на именины непременно присылал подарки. И на этот раз он приехал не с пустыми руками. Получив большую коробку конфет, Расма поделилась с Валдынем, Мирдзой и Янцисом, потом нарядилась в голубое летнее пальтецо и лаковые туфельки и ни за что не соглашалась снять их.

— Узнала, — медленно ответила девочка, не глядя на отца от застенчивости. — Ты мой папа. А где у тебя медали?

— Я их не каждый день надеваю.

— А у дяди Эрнеста нет медалей, он никогда не надевает. Дядя Эрнест теперь у нас не живет.

— Где же он?

— Уехал на работу. И мама уехала.

— А тебе не хочется уехать?

— Не знаю. Бабушка говорит, я никому не нужна! Придется мне жить с бабушкой и дедушкой. На тот год меня пошлют коров пасти, а сейчас пока не посылают.

Петер оглянулся на Аустру. Она ласково, ободряюще смотрела на него своими чистыми, ясными глазами. Переборов волнение, Петер нагнулся к девочке и сказал:

— Нет, дочка, пасти коров тебе не придется. Ты будешь учиться. Осенью начнешь учить буквы, а потом в школу пойдешь.

— Мирдза говорит, в школу далеко ходить. А я все равно пойду.

— Тебе, доченька, не надо будет далеко ходить. Осенью ты поедешь в Ригу. Тебе хочется жить со мной?

Расма опять застеснялась, молча уткнулась лицом в грудь отцу.

Потом она почти до самого вечера играла с Валдынем и детьми заведующего коннопрокатным пунктом — это были единственные ее товарищи.

Под вечер, когда стали загонять скотину, из-за сада Лиепиней вышла пожилая женщина и стала звать:

— Расминю-у-у! Иди домой, Расминя!

Голос далеко-далеко звучал в неподвижном вечернем воздухе. Эхо прокатилось по реке и замерло в лесу.

Валдынь и Мирдза пошли проводить подружку. Стоя на пригорке, Петер долго смотрел за луку, пока на дороге виднелась маленькая фигурка в голубом.

Он почувствовал на плече ласковую теплую руку.

— Хорошо, что девочку привели к тебе, — заговорила Аустра. — Для нее это такое великое событие. Только знаешь что, Петер, зачем ждать до осени? Разве нельзя увезти ее сейчас?

— Понимаешь, я думал взять ее, когда Аугуст немного подрастет, тогда ей интереснее будет. — Петер взял лежащую на плече руку жены. — Но это, конечно, не так важно, я и сам теперь вижу...

— Не надо нам ждать осени. Ты сам слышал — мать уехала к какому-то дяде Эрнесту. Второй раз бросает ребенка... словно кукушка. Жалко девочку, получается, что она и правда никому не нужна.

— Ты думаешь, лучше сейчас увезти? Ладно, так и сделаем. Где Аудзит?

— Мама им завладела окончательно. Еле дала покормить и опять отняла. Что поделаешь — бабушка!

— Да, когда Валдынь — и то имеет степень дяди...

Оба засмеялись.

Индрик Закис не ел с утра, но, придя домой, забыл и про голод.

— По всем линиям сегодня праздник, — захохотал он своим громоподобным смехом. — Жалко, нет поблизости фотографа, а то бы историческую картину снял: Индрик Закис и его потомство в день основания колхоза. Ну, на будущий год, в день первой годовщины, мы это устроим. Ты, секретарь, совсем извелся, ишь какой бледный, — сказал он Петеру. — Так ты не выдержишь. Надо почаще на солнышке бывать, пожить с месяц на плотях, как в прежнее время, тогда опять станешь на человека похож. И что это вы, право: не то дел у вас пропасть, не то работать не умеете.

— И дел хватает и работать можно бы лучше. Но только если человек и работает и учится в то же время, нельзя от него требовать румянца.

— Да, все мы так... — Закис засмеялся, потом вздохнул. — у меня вот голова седая, а ученье, как малому ребенку, требуется. Оказывается, с

одним тем умом, который нажил за долгую жизнь, далеко не уедешь. Не хочется, чтобы одни молодые без тебя строили эту самую новую жизнь, вот и приходится самому молодеть и по ночам, когда старуха не видит, браться за книгу. Не так легко, как прежде, входит в мозги эта премудрость, однако кое-что зацепляется. Да и как не учиться, ведь на той неделе самому лично придется отчитываться перед Центральным Комитетом. Станут допытываться — а много ли ума у Закиса? Начнут задавать такие вопросы, что только в затылке чесать придется. Вдруг не ответишь — сгоришь со стыда на старости лет. Жена в дом не пустит, скажет, на что мне такой неотесанный мужик.

— Побольше бы таких неотесанных, — сказал Петер.

Пока еще не стемнело, Закис хотел показать гостям, как будет устроен колхозный центр. Они обошли двор, заглянули во все строения. Председатель артели внутренне кипел от избытка энергии. И в то время как сын его на каждом шагу возвращался к событиям детских лет (здесь он впервые пас стадо, там пошел за плугом, там подрался с соседскими мальчишками, а вон на том дереве вывесил под Первое мая красный флаг), отец на крыльях воображения летел навстречу будущему.

— Эти межи и канавки будущей весной мы сровняем и сведем все поля в одно. Поле-то какое получится! И трактору будет где развернуться. Если в Риге возражать не станут, пониже моста построим плотину, и будет у нас своя электростанция. В каждый дом проведем электричество, доить будем механическими приспособлениями. И воду подавать и дрова пилить — все с помощью техники... Заведем свой лесопильный стан, мельницу построим, чтобы и на сита молола и с крупорушкой. Будут у нас свои инженеры и агрономы. В каждой бригаде и в каждом звене — на столе телефон, а в Лиепниеках — центральная. Вам какой номер, товарищ? Пожалуйста, даю птицеферму. Все дети будут учиться в средней школе, в техникумах, а кто поспособнее, тех в университеты и академии станем посылать. Нам много разных специалистов потребуется, с полужайками связываться не будем. Вот и скажи мне, Аугуст, чем тогда городская жизнь будет лучше нашей? Чем, скажи, горожане будут выше крестьян? И там и тут больше головой работать придется, чем руками.

— К тому идем, — ответил Аугуст. В этот вечер отец казался ему больше похожим на юношу, чем на пожилого человека. — К тому идет весь наш большой народ. И чем скорее вы исполните то, что задумали, тем скорее достигнет своей цели весь народ.

— Мы ждать себя не заставим, только поспевай за нами, — подхватил Закис. — Очень возможно, что со временем у нас свой аэроплан будет. Как

свободный день — молодые за милую душу могут слетать на Кавказ или на Урал. В экскурсию, так сказать.

Янцис внимательно слушал отца, и глаза у него блестели все сильнее и сильнее. К пятнадцати годам он так вытянулся, что только на полголовы был ниже отца и Аугуста. Он уже и в комсомол вступил. Когда колхоз заработает в полную силу, комсомольцы возьмут под свое наблюдение участок кок-сагыза; они еще зимой подумали об этом, как только в Упесгале стали разговаривать об организации колхоза. Можно будет еще разводить разные редкие плоды — дыни, арбузы и даже виноград. Жалко, что осенью надо ехать в сельскохозяйственный техникум! Неизвестно, как остальные справятся без него с кок-сагызом.

3

В понедельник утром, когда Петер Спаре пошел к Лиепиням за дочкой, Закис не стал дожидаться его возвращения: у него в тот день было много важных дел в волостном исполкоме; к тому же он не знал точно, когда его вызовут в Центральный Комитет партии, и решил на всякий случай сегодня же подготовить отчет о состоянии дел нового колхоза. Поэтому он проводил Петера до большака, а там обоим надо было идти в разные стороны.

Объяснение с Лиепиниене было недолгое, но бурное.

— Так, — протянула она, точно передразнивая кого-то, — когда девочка из пеленок вышла, тебе захотелось увезти ее. Где же ты раньше был? Что же ты ее с самого начала не брал?

— Тогда я находился в армии, не на кого было ее оставить.

— А когда демобилизовался? Тогда чего дожидался? Чего уж там, скажи лучше, молодой жене с чужим ребенком возиться не хотелось — и все.

— Расма жила с матерью.

— А сейчас она с кем живет, с чужими?

— Мать два раза ее бросала, а я не хочу, чтобы ее и в третий раз бросили.

— Поезжай-ка ты с богом, — раскричалась вдруг Лиепиниене. — Не дам я ребенка чужой бабе на посмеяние. И больше не говори об этом, нет такого закона на свете.

Петер нахмурился.

— Не подымайте шума, — сухо сказал он. — Соседи скажут, что у

Лиепиней драка.

Старый Лиепинь до сих пор в их разговор не вмешивался, только хмыкал и время от времени бормотал что-то нечленораздельное. Наконец, ему показалось, что пора отверзть сокровищницу своей мудрости.

— Что ты дуришь, мать, что споришь с чужим человеком! Лучше спроси Расму, чего ей самой хочется. Не захочет уезжать, насильно взять не позволим. У нас в волости есть своя милиция.

Лиепиниене ухватилась за предложение мужа:

— И правда... Пусть спросит и убирается... Расминя, детка, поди к бабушке, что я тебе покажу. Ты где, цыпленочек?

И когда Расма вышла из дому, старуха подбежала к ней и зашептала на ушко:

— Беги, прячься, детка, этот чужой дядя хочет взять тебя и посадить в мешок.

— Какой дядя?

— Вон тот... Он сердитый дядя, он таких маленьких девочек дерет за волосы и сечет.

Но Расма, увидев Петера, заулыбалась и, вывернувшись из рук Лиепиниене, побежала к нему, весело крича:

— Да ведь это папа, ну да, папа! А бабушка говорит, что сердитый дядя, который в мешок сажает... Доброе утро, папа!

Петер взял ее на руки и, крепко обняв, сказал громко:

— Не бойся, Расминя, никто тебя в мешок не посадит, я не позволю.

— Папа, ты опять уедешь отсюда, — прижимаясь к отцу, сказала девочка.

— Да, я сейчас поеду в Ригу. Хочешь поехать со мной?

— Хочу, хочу.

Петер посмотрел на Лиепиниене.

— Слышите?

— Ишь, удивил чем... Подарками сначала задарил, ребенок глупый, к кому хочешь пойдет так. — Старуха уже досадовала на себя, зачем вчерапустила девчонку к Закисам... — Пусти ее, не дам я увозить!

— Поедем, дочка? — спросил еще раз Петер.

— Поедем, поедem, папа! — закричала девочка, подпрыгивая у него на руках.

Петер повернулся и быстро зашагал по тропинке вдоль берега — прямо в Лиепниеки. Ему кричали вслед, чем-то грозили, что-то предлагали, но он больше не слушал, крепко прижимая к груди ребенка, быстро прошел мимо того места, где когда-то стояла хибарка Закисов, и стал подниматься в

гору.

— Мы с тобой еще приедем сюда, — говорил он Расме. — И к бабушке с дедушкой сходишь в гости и с Валдынем будешь целый день играть.

— Приедем, — рассеянно повторяла девочка.

Через полчаса Петер с женой и детьми уехали из Лиепниеков. У Аугуста было еще несколько дней в запасе, и он остался у родителей на три дня.

На дороге машину ждал Лиепинь с довольно большим узлом.

— Тут ее одежонка кое-какая, — примирительным тоном заговорил он, когда Петер вышел к нему из машины (старухи поблизости не было, и Лиепинь чувствовал себя свободнее). — Нельзя ребенка чуть не нагишом из дому пускать... Ты не очень обижайся, Петер, у старухи характер такой несговорчивый. Иной раз сама себя не помнит. Ну, не поминай лихом...

— Ладно уж. — Петер засмеялся и махнул рукой.

Машина тронулась, поднимая за собой клубы пыли.

— До свидания, до свидания, дедушка! — кричала Расма, маша ручонкой.

Лиепинь вынул изо рта трубку и тоже помахал рукой, а сам косился в сторону дома: как бы жена не заметила.

Закис, как всегда, допоздна засиделся в исполкоме. Зная, что скоро в волость будет назначен новый парторг, он торопился закончить накопившиеся за последнее время дела, чтобы преемнику не пришлось расплачиваться за его долги. Но больше всего времени ушло у него на отчет. Закис не был искушен в составлении такого рода документов, — туго складывались у него предложения, но обращаться за помощью к секретарю исполкома не хотелось: ведь партийный документ.

«Когда будет готов, дам отшлифовать Аугусту, — решил он. — Пусть расставит как следует и точки и запятые, да и слова кое-где получше подберет. Но за содержание я ручаюсь — содержание у меня не трогать...»

Сумерки уже сгустились, когда он запер бумаги в несгораемый шкаф и вышел из исполкома. В тишине далеко слышался каждый звук: ночная птица, шумя крыльями, пролетела над полем, в траве возились какие-то мелкие невидимые существа, а справа от большой ямы, где обычно крестьяне брали глину и которая каждую весну превращалась в пруд, доносилось сплошное безмятежное кваканье лягушек.

«Эк их разбирает, — засмеялся Закис. — Скоро везде запрыгают лягушата, некуда будет ступить. Тоже живая тварь, зря давить не хочется.

Говорят, во Франции едят их... Видно, нравится людям, а меня хоть золотом обсыпь, и то я в руки не возьму, не то что есть».

Он вспомнил один слышанный в детстве рассказ. Тогда в имении еще барон жил. Изверг, каких мало, и до девок охочий. Постоянно по заграницам катался, всего там испробовал. В день своего рожденья он собирал у себя в именье баронов и графов со всей округи, и начинался пир горой. Ради такого случая выписывал барон из-за границы и вин разных и редких яств — и слизней, которых живьем глотают, и зеленых лягушек... Однажды приплелся в такой день и пастор — не то нарочно, не то — нет, но только пришел он незванный. Барон рассердился и решил над его преподобием подшутить. Любезно так приглашает его за стол, а сам что-то лакею шепнул. Тот ну подкладывает пастору на тарелку всякой всячины. И очень понравилось ему одно кушанье, он раза три просил подложить. Барон увидал, что пастор в охотку ест, и говорит своему главному лакею:

— Приготовь увашаем пастор две душин этот кушаний, штоп угостил свой госпоша.

Лакей приготовил узелок и, когда пастор стал уходить, сунул ему в дверях — «так и так, это вам в подарок от господина барона, что вам больше всего по вкусу пришлось за столом». Пастор поблагодарил, а придя домой, скорее развязал узелок с баронским подарком. А в узелке том были две дюжины сушеных лягушек. У его преподобия тут же все, что съел он в тот вечер, — все назад пошло, и после этого он целую неделю есть не мог — нутро не принимало. С той поры он до конца жизни не садился за баронский стол.

Впереди, там, где большак пересекала дорога в лес, стоял человек. Когда Закис дошел до него, тот шагнул навстречу и, кашлянув, спросил:

— Сосед, не найдется ли у тебя спичек? Страх как хочется курить, а спички дома забыл.

— Может, и найдутся.

Закис остановился, нащупывая в кармане спички. В этот момент из канавы вылезли еще два человека и подкрались к нему сзади.

Внезапно что-то тяжелое ударило его по голове, из глаз посыпались искры, мгла беспомыслия заслонила весь мир, и он упал на песок.

Когда Закис открыл глаза, вокруг него, тесно сгрудившись, стояли четыре или пять человек. Кричать он не мог — рот ему чем-то заткнули; руки тоже были связаны за спиной.

— Теперь живей в лес, — громким шепотом приказал один из бандитов. — Ну, шевелись, проклятый! — И с силой толкнул Закиса в спину. Еще двое схватили его за локти и поволокли с дороги.

Закис не вполне пришел в сознание — страшно болело в затылке, в ушах стоял звон, но одна мысль придала ему силы. Он начал отчаянно вырываться, извиваясь всем телом, упал наземь и, придавив правой ногой каблук левого сапога, последним усилием стащил его с ноги. Кучей навалившиеся на него бандиты даже не заметили этого. От ударов и пинков Закис снова потерял сознание, а когда через несколько минут очнулся, его уже волокли по дороге к лесу. Войдя в лес, бандиты свернули влево.

«Сапог на дороге... Хоть следы останутся... Кто-нибудь из прохожих заметит», — думал Закис. Он уже ни на что не надеялся и был готов к самому худшему. Но, даже зная, что его ждет смерть, он упрямо думал: «Все равно найдем, разорим их логово...»

В голове у него немного прояснилось, но он шел, тяжело волоча ноги, чтобы следы были явственнее. Он старался чаще задевать за сучья и ветви. Все эти усилия стоили ему лишних пинков.

«Эх, Закиене, — с горечью думал он. — Одной тебе придется выращивать Валдыня и Мирдзу. Мало нам пришлось вместе порадоваться на своих детей. Ну, что же, порадуйся ты, мать, и не убивайся чересчур... С тобой будут Аугуст, Аустра, товарищи мои. Они помогут и младших вырастить. Живите, милые. Жизнь и без Закиса будет идти своим чередом. И колхоз наш расцветет. Видно, борьба без жертв не обходится. Видно, и мне вот...»

Миновав небольшое моховое болотце, бандиты остановились. Это был глухой уголок бора, куда лесорубы могли проникнуть только в зимнее время, в самые морозы.

— Ага, зайчик, опять ты в наших руках? — громко заговорил один из бандитов (всю дорогу они только изредка переговаривались шепотом), и Закис по голосу узнал Макса Лиепниека. — На этот раз не ушмыгнешь, твоя песенка спета. — Он выдернул изо рта Закиса туго свернутую в комок тряпку. — Тебе придется немного поговорить.

— Ни на какие разговоры не рассчитывай! — крикнул Закис. — С бандитами я разговаривать не стану.

Справа засветили «летучую мышь». При мутном красноватом свете Закис увидел сморщившееся в усмешке лицо Макса. Рядом возникло другое — заросшее бородой, нечистое, с одичалым взглядом глубоко сидящих глаз.

— Вот это он и есть — знаменитый коммунист, — сказал Лиепниека. — Разгляди его хорошенько, Герман, — потом повернулся к Закису: — Где же твой полковник, что же не идет на помощь? Ни черта не стоят эта ваши полковники! — И он набросился на Закиса. Он бил его по лицу кулаками,

пинал ногами и, задыхаясь, повторял: — Это за дом! И за колхоз! Получай, что заслужил, красная собака!

Остальные только смотрели на них: ведь жертва принадлежала Максусу.

— А это за мою сожженную хибару! — крикнул Закис и, изловчившись, ударил его ногой под ложечку. Макс завертелся волчком от боли.

Теперь на Закиса навалились разом несколько бандитов. Его привязали к дереву и стали пытаться. Но больше ни одного слова, ни одного крика не слышали от него мучители. Пока Закис не потерял сознания, он смотрел на них полным презрения и ненависти взглядом.

Бандиты пытались разыграть комедию суда, но из этого ничего не вышло: Закис не ответил ни на один вопрос, а когда Макс подошел ближе, плюнул ему в лицо.

«Мало еще я вас ненавижу, хорьки кровожадные, — думал он, умирая. — Нет вам прощения перед народом... Сгинете вы, и рано ли, поздно ли выполнят вас, как вредный сорняк, до последнего корешка».

Бандиты торопились добить его. Герману Вилде уже надоело это зрелище — оно вовсе не доставляло ожидаемого удовольствия. Он думал увидеть на лице жертвы страх смерти, унижительное малодушие, но жертва не желала унижаться. Спокойная ненависть Закиса заставляла бандитов, вопреки их воле, чувствовать исполинскую силу, что стояла за ним как гора, как море.

Завалив тело Закиса валежником, они разбрелись в разные стороны. Вилде с тремя бандитами ушли еще дальше в чащу, к одной из барсучьих нор, в которых они обитали в последнее время. Макс Лиепниек торопился затемно дойти до усадьбы, где он прятался.

Аугуст целый день провел с Янцисом. Он не забыл, каким был сам в этом возрасте, и почтительное внимание мальчика к каждому слову старшего брата глубоко трогало его. Они долго бродили по лесу, а потом вышли к речке. Янцис с увлечением показывал, в каком месте, в каких кустах находил он самые редкостные экземпляры своей коллекции птичьих яиц, которую он собирал несколько лет. Там были яйца воробья и дрозда, и перламутрово-белое яйцо дятла, и совершенно круглые яйца совы, мелкие горошины из гнездышек соловья и крапивника, и, наконец, огромное журавлиное яйцо, которое Янцису посчастливилось, правда ценою

больших трудов, отыскать на самой середине болота. В его коллекции набралось уже больше пятидесяти образцов; некоторые оставались пока необозначенными, потому что Янцис не знал названия птицы.

— Куда ты денешь эту коллекцию? — спросил Аугуст.

— Сначала я соберу образцы яиц всех видов птиц, которые водятся в Латвии. Мне еще с дюжину не хватает — из тех, что я знаю. Нет яиц бурого ястреба, нет желны, потом еще некоторых водяных птиц. Беда вся в том, что период кладки почти у всех у них приходится на одно время — не успеваешь отыскать. А когда яйцо с птенцом уже, не стоит и брать... Да, куда я дену? — вспомнил он братнин вопрос. — Отдам в школьный кабинет естествознания или в какой-нибудь музей. Видел я в одном музее — там и половины моего нет, а еще называется коллекция.

У Янциса, кроме того, был гербарий местных растений и коллекции бабочек и минералов. Он живо интересовался окружающей природой, в ней все вызывало его любознательность; зато и знал Янцис много такого, о чем большинство людей не имеет и представления.

Аугусту нравилось это увлечение.

«С пяти лет ведь пас коров, — думал он, — природа не через книжки ему открывалась, потому и чувствует себя с ней так уверенно. Да, Янцис, пошлем тебя в университет. Будешь учиться у настоящих ученых, и, может быть, вырастет из тебя новый Дарвин или Тимирязев. Посмотрим вот, как ты сельскохозяйственный техникум кончишь».

Они долго прогуливались вдоль берега, наблюдая, как быстрая, мутная еще после весеннего половодья речка несла вниз сплавляемые бревна и дрова. У излучки время от времени образовывались заторы: стоило одному бревну, что побольше, повернуться поперек течения и зацепиться за берег, и через несколько минут повыше него собирался целый плот. Требовалось появление нового исполина, который могучими ударами разворачивал это нагромождение бревен, и плот распадался, бревна по одному подхватывались течением и, будто стараясь догнать друг друга, быстро исчезали за изгибом берега.

Янцис раньше еще поставил в заводи несколько вершей. Братья проверили их и нашли несколько хороших щучек и налимов. Верши снова поставили в воду и, захватив улов, пошли домой обедать.

Ничто не говорило им, что это последние беззаботные часы в жизни семьи.

Вернувшись из школы, Мирдза объявила, что учитель спрашивал, почему не пришел Янцис, не заболел ли.

— Ты бы сказала, брат приехал в отпуск и у нас с ним срочное дело, —

сказал Янцис и стал быстро объяснять Аугусту: — Ничего особенного. Я за весь год нынче первый раз пропустил.

— И комсорг спрашивал, что случилось, — докладывала Мирдза.

Янцис покраснел и отвернулся.

— Комсорг... Он же вчера сам приходил, я ему обещал попросить Аугуста, чтобы рассказал нашим комсомольцам про латышских гвардейцев.

Аугуст покачал головой.

— Что же ты мне не сказал? Я бы с удовольствием встретился с молодежью.

Янцис покраснел еще сильнее.

— Я думал после сказать... вечером. Сначала хотелось самому поговорить с тобой о разных вещах.

— Завтра скажи комсоргу, что я непременно приду. Как же это так, уехать, не встретившись со своими земляками-комсомольцами.

— Спасибо, — пробормотал Янцис. Он втайне был доволен своей хитростью. За день по крайней мере вдоволь наговорились с братом.

Наступил вечер. Все домашние с нетерпением ждали отца. «И чего он так долго сегодня?» — спрашивал то один, то другой.

— Хоть бы про то подумал, что гость в доме, — ворчала Закиене. — Как засядет за свои дела, так все на свете забудет. Жалко, телефона нет здесь. Сейчас позвонили бы, напомнили, чтобы кончал работу.

Младшие давно спали, не ложились только мать с Аугустом и Янцис.

— Пожалуй, я пойду встречать его, — сказал Аугуст. — Дорога до исполкома одна, не разминемся.

— И я с тобой, — решительно сказал Янцис.

— Ложись-ка ты лучше, тебе завтра в школу надо. Нехорошо два дня подряд пропускать, — сказал Аугуст.

— Да они все равно старое повторяют к экзаменам, и спать мне вовсе не хочется...

— Ну, идем, идем, что с тобой поделаешь. — Аугуст махнул рукой.

Ночь была теплая, и они не стали одеваться. На дороге им не встретилось ни души. Те же звуки и шорохи, что несколько часов назад слышал Индрик Закис, раздавались вокруг. Аугуст и Янцис шагали молча, не торопясь, как на прогулке. Иногда они останавливались прислушаться — не идет ли кто навстречу.

Они уже ушли далеко от дома, как Аугуст вдруг задел ногой за какой-то предмет. Он поднял его, повертел и негромко засмеялся.

— Совсем крепкий, кажется, сапог. Кто же это мог бросить? Или потеряли...

— Ну-ка дай, — сказал Янцис и тоже повертел сапог. — Похож как... У отца такие сапоги, — сказал он испуганно.

— У отца? Погоди, как же так?.. — Аугуст снова взял у брата сапог и, сжимая в руке мягкое голенище, с минуту о чем-то думал. — Скорей идем, Янцис, в исполком.

В исполкоме света не было ни в одном окне. Аугуст постучался к секретарю Скуе, разбудил его. Тот сказал, что Закис ушел поздно, но тому уже часа два будет, а то и больше.

Теперь Аугуст стал действовать. Он заставил Скую вызвать председателя исполкома Цирцениса, уполномоченного милиции, командира истребительного отряда, а пока сам позвонил начальнику уездного отдела МВД Эзериню. Полусловами, намеками, как в военное время, когда приходилось докладывать в штаб обстановку на своем участке, подполковник Закис сообщил вкратце о случившемся. Эзеринь ничего не стал спрашивать, сказал, что сейчас выедет.

Уполномоченный милиции, узнав, почему он понадобился в такое позднее время, сказал, что надо послать за Адольфом Чакстынем, — он сам некоторое время был у бандитов и знал кое-что об их тактике.

К тому времени, когда Чакстынь пришел в исполком, приехал и Эзеринь с группой бойцов, с ними была дрессированная собака-ищейка.

В два часа ночи бойцы и истребители под командой Эзериня и Закиса вышли из исполкома. Впереди шел инструктор с собакой.

Янциса Аугуст еще раньше отослал домой с Цирценисом, который должен был сообщить Закиене о случившемся.

Ищейке дали обнюхать сапог Закиса. Она быстро нашла след и повела всю группу в лес.

— Вы догадываетесь, чья это работа? — тихо спросил Аугуст Эзериня. Они шли рядом вслед за собакой.

Тот кивнул головой.

— Прошлой осенью в уезде было разгромлено последнее бандитское логово. Но двоих коноводов не изловили до сих пор. Один — бывший уездный агроном Вилде, — в банде его звали Эвартом; второй — Лиепниек, и о нем вы знаете. По-видимому, это его рук дело. Последнее время о нем ничего не было слышно, предполагали, что он перебрался в другой уезд. Зимой и последние бандиты попритихли. Надо было ждать, что весной, с появлением зелени, они зашевелиются. Так оно и случилось.

— Так оно и случилось, — повторил Аугуст. — Индрика Закиса уже нет.

— Это пока неизвестно, — начал Эзеринь; ему хотелось сказать еще

что-то обнадеживающее, но он замолчал: не нужны утешительные слова закаленному солдату, он должен смотреть правде в глаза.

Они уже вошли в самую чащу. Собака уверенно, не останавливаясь, вела по следу.

Было почти светло, когда Аугуст, Эзеринь и бойцы, сняв шапки, столпились вокруг тела Индрика Закиса, молча глядя в его изуродованное до неузнаваемости лицо. Все молчали. Бойцы хмурились. Они знали, кем приходится убитый молодому подполковнику. Аугуст не плакал. Больше четырех лет прошло с того дня, когда он вот так же стоял у могилы Лидии. Тогда он был намного, намного моложе, и та великая скорбь впервые закалила его душу...

— Товарищ Эзеринь, — наконец, сказал он. — Будем выполнять задание?

— Да, пока дождь не смыл следы. — Эзеринь показал на небо, заволоченное серыми дождевыми облаками; холодные капли изредка падали на лица.

Бойцы сделали на скорую руку носилки, тело Закиса уложили на них, накрыли плащ-палаткой, и четверо истребителей понесли его из леса. Остальных разделили на две группы, и поиски продолжались. Ближайшая часть леса изобиловала мокрыми болотцами, собака здесь помочь не могла, поэтому ее передали другой группе, которая пошла на розыски в противоположном направлении. Несколько истребителей, хорошо знавших местность, наудачу повели группу туда, где, по их предположению, должны были скрываться бандиты. Часам к двенадцати дня они наткнулись на барсучью берлогу, приспособленную под жилье. На дне ее валялись гильзы от патронов и окурки, — видимо, совсем недавно здесь были люди.

Начался дождь — частый, затяжной, но розыски не прекращались почти до самого вечера. Излазили вдоль и поперек всю чащу и ничего не нашли.

Другая группа шла по следам Макса Лиепниека до самой реки. Там следы исчезли.

Вечером уставшие до изнеможения руководители операции встретились в исполкоме. Эзеринь задумчиво рассматривал карту уезда, барабаня по столу пальцами. Аугуст молча ходил из угла в угол, покусывая верхнюю губу. За день он осунулся, глаза ввалились, даже нос заострился.

— А все-таки они будут в наших руках, — ударив кулаком по столу, сказал Эзеринь. — Это дело дней. И не такие задачи решали.

— Думаете? — непривычно резко спросил Аугуст, подойдя к столу. Его ладный мундир еще не просох и был запачкан смолой и глиной, сапоги

облеплены грязью. — Вы знаете, как мне этого хочется. Я не уеду отсюда, пока мы не разыщем бандитов. Дам телеграмму начальству, попрошу отсрочить отпуск.

— Я тоже не уеду отсюда, пока они не будут пойманы, — сказал Эзеринь.

Индрика Закиса хоронили в воскресенье на так называемом «кладбище безбожников», где покоилась его младшая дочка Майя, умершая во время оккупации. Пастор не позволил хоронить ее на приходском кладбище, потому что она была некрещеная, и ей вырыли могилку за оградой, у самой опушки леса. Прошлым летом «кладбище безбожников» тоже обнесли оградой и похоронили там замученных гитлеровцами жителей волости, чьи останки удалось найти.

Даже старикам не приходилось видеть за всю долгую жизнь такой процессии провожающих, как на похоронах Закиса. Больше половины жителей волости шли за красным гробом; приехали люди из соседних волостей и из уездного города. У ворот кладбища шесть партийцев подняли гроб на плечи, и под звуки траурного марша Шопена огромное шествие медленно направилось по тенистой каштановой аллее к месту погребения. Многие пошли боковыми аллеями, чтобы раньше подойти к могиле, многие столпились на пригорке у самой опушки.

Аугуст и Янцис вели под руки мать, они, казалось, ничего не видели и не слышали. Только Валдынь, идя возле Аустры и Петера, с детским любопытством разглядывал и музыкантов, и военных, и пожарных.

Аустра старалась не плакать, но то и дело какое-нибудь всплывшее из глубины памяти воспоминание об отце жгучей скорбью отзывалось в сердце, и слезы, не переставая, бежали по ее щекам.

«Если мы и стали людьми, то только благодаря ему, — думала она, торопливо глядя головку шагавшего рядом Валдыня. — Бывало, весь в заплатках ходит, недоедает, — только бы нам с Аугустом дать возможность учиться. И всегда веселый, всегда шутит... Даже когда ему было тяжело, больно...»

Во время митинга, когда секретарь уездного комитета партии говорил надгробное слово, кто-то осторожно тронул Аугуста за рукав. Он обернулся — это был Адольф Чакстынь.

— Что, Адольф? — вполголоса спросил Аугуст.

— Я бы не стал беспокоить, — зашептал Чакстынь, — надо одну важную вещь сказать... Сейчас надо. Отойдем подальше.

Аугуст взглядом показал Петеру на мать, чтобы тот поддержал ее, а сам стал осторожно пробираться сквозь толпу вслед за Чакстынем. Они отошли за огромный разросшийся куст сирени, где никого не было.

— Тут я одного человека... девушку одну увидел... Не знаю, как ее звать, и живет она где, не знаю, только когда я еще... (он запнулся и покраснел) в лесу был, она много раз приходила на бандитскую; базу. К Максу Лиепниеку...

— Где она стоит? — перебил его Аугуст.

— Недалеко от могилы, ближе к ограде. Я вам покажу.

— У меня сейчас нет времени — пока похороны не кончатся. А вы разыщите Эзериня и покажите ему. А потом постарайтесь встать рядом с этой девушкой, тогда я ее увижу.

— Хорошо, товарищ Закис.

Аугуст вернулся к могиле и до конца похорон не отходил от своих.

Когда взвод войск дал первый залп прощального салюта, он снова увидел Чакстыня, стоявшего рядом с высокой красивой девушкой. Странно напряженным, почти навязчивым взглядом смотрела она на Аугуста. Он еще несколько раз оборачивался в ее сторону, и каждый раз встречал этот неотступный взгляд.

Аугуст нагнулся к Аустре.

— Ты не знаешь, что это за девушка стоит возле ограды, в голубой блузке с сактой? ^[6] Не удивляйся этому вопросу, мне очень нужно знать ее фамилию.

Покрасневшие, распухшие от слез глаза сестры с грустным удивлением глядели на Аугуста: какое им обоим сейчас дело до девушки в голубой блузке? Но она все-таки оглянулась и ответила:

— Это Зайга Мисынь, дочь того самого... кулака.

Больше Аугуст ни о чем ее не спросил, не посмотрел он и в сторону Зайги, хотя продолжал чувствовать на себе ее взгляд.

Когда все кончилось, родные постояли еще немного у могилы покрытой венками и охапками цветов, и медленно пошли с кладбища. У ворот Аугуст отстал от них и пошел искать Эзериня.

С чувством душевного смятения уходила Зайга с кладбища. Макс Лиепниек, который последнее время скрывался у Мисыней, в яме под каретным сараем, послал ее сюда понаблюдать, как пройдут похороны и не заметно ли чего подозрительного. Прежде всего Зайгу поразило участие

всей волости в похоронах. Пусть даже некоторые, вроде нее самой, пришли из любопытства, — большинство в этом море людей испытывали искреннее, неподдельное горе, провожая бывшего руководителя волости.

«Он, наверно, и сам не подозревал о своей популярности. Оказывается, люди его любили, хоть он и был самый заядлый коммунист... Конечно, Макс об этом нельзя рассказывать — не понравится ему».

После разгрома банды Макс Лиепниек с полгода скрывался в Риге, потом несколько месяцев — где-то в деревне, на Даугаве, а несколько недель тому назад снова появился в Упесгальской волости и стал собирать остатки своей банды. Немного их было — всего несколько человек, которым все равно некуда было деваться.

«Вот не знала я, что у Закиса сын такой красавец», — думала Зайга. Сама того не желая, она мысленно поставила его рядом с Максом. Но нет, Макс безнадежно проигрывал от сравнения с этим молодым подполковником, который так внимательно несколько раз взглядывал на нее. Взгляды эти Зайга истолковала по-своему, и, несмотря на то, что Закис был коммунист и родился в хибарке, они ей польстили. И она снова и снова сравнивала его с Максом. Странно, почему у Макса никогда не было такой благородной осанки, почему она никогда не видела на его лице такого выражения сдержанной мужественной печали? И откуда все это взялось у какого-то Закиса?

Когда она вернулась домой, отца не было — ушел к соседям «отвести душу». Мать сразу предупредила, чтобы при ней про похороны Зайга не говорила. Она была суеверна и боялась рассказов о покойниках: вдруг потом ночью «привидится»! Зайга ушла в свою комнату и стала ждать вечера. Мысли ее все время возвращались к молодому Закису; ее мучила необъяснимая зависть. «Наверно, он любит кого-нибудь. Кто же эта девушка, неужели она лучше меня? И они так же любят друг друга, как мы с Максом?..» Но Макса она ничуть не любит. Просто он в силу обстоятельств имеет право приказывать, а она должна ему подчиняться. И ей это скорее неприятно.

Когда стало смеркаться, Зайга незаметно вышла во двор. Пряча под большим накинутым на плечи платком миску с едой, она пробралась в каретный сарай. В дальнем углу, где было устроено тайное убежище, нащупала творило, приподняла его и, сойдя на несколько ступенек в яму, осторожно опустила. В темноте кто-то громко сопел.

— Где ты? — спросила Зайга. — Дай мне руку.

Держась за Макса, она прошла вперед и, нащупав охапку соломы, села.

— Ужин тебе принесла.

— Давай скорее, я как волк проголодался.

Макс взял у нее миску, покопался в соломе, отыскал ложку и стал есть. Ел он не стесняясь: хлебная суп, громко втягивал его с ложки, с силой высасывал из костей мозг. Наевшись, рыгнул и стал цыкать то одним, то другим зубом. Вдруг схватил Зайгу за руки, пытаясь привлечь, но она решительно отодвинулась.

— Не трогай. Я себя плохо чувствую.

Он помолчал, видимо разозленный ее сухим тоном, потом спросил:

— Ну, рассказывай, что видала на кладбище. Чекистов много было?

— Возможно, и были, — и на кладбище и в лесу народу полно было, — но я не знаю, какие они на вид.

— А, много? Ну, раз такая сенсация, где же тут дома усидеть. Из наших никого не заметила?

— Был один, но я его скоро потеряла из виду.

— Тебе бы надо было предупредить всех, кто живет на легальном положении, чтобы не сидели дома. Иначе большевики обратят внимание.

— Да предупреждала я... Разве в такой толпе всех заметишь.

— Так что же слышно? Рассердились? Грозят, наверно, прочесать все леса? Обычно в таких случаях они...

— Рассердились. Все говорят, надо положить этому конец.

— Кто же положит конец, они или мы? — Макс засмеялся.

— Не знаю. Ты еще долго здесь пробудешь?

— Смотря по обстоятельствам. Пока Эварт не известит, что место есть, мне деваться некуда. Или надоело? Боишься?

— Нет, я так. Просто чтобы знать.

— Пока надо понаблюдать, какая последует реакция. Если они вздумают перевернуть все вверх дном, придется на время воздержаться от новых актов. Маневрировать больше негде, а рисковать мы не имеем права, — организация может остаться без головы. Подождем известий от Эварта.

— Мне никаких поручений не будет?

— Я сказал — надо понаблюдать, какая последует реакция. Бывай чаще на людях, ездь на молочный завод, в лавку, время от времени в исполком заглядывай. Не забудь выведывать, что творится в их колхозе. Не собираются вцепиться друг другу в волосы?

— Все?

— Пока все.

— Тогда мне пора идти. Нельзя ведь надолго исчезать из дому. Тебе

хватит еды до завтрашнего дня?

— Хватит.

Зайга помедлила с минуту: может быть, Макс захочет ее поцеловать? Но он больше не сделал ни одного движения. Зайга вылезла из ямы.

За воротами сарая ее ждали четверо вооруженных автоматами человек. Она даже не вскрикнула, да и никакого смысла не было кричать. Пятый подошел к ней и тихо, повелительно спросил:

— Где он?

Зайга притворилась непонимающей.

— Кто он?

— У кого вы сейчас были. Макс Лиепниек.

Мужчина шагнул ближе, и Зайга узнала Аугуста Закиса. Она вздохнула.

— В правом углу творило. Только осторожнее. У него автомат и ручные гранаты.

— Мы тоже не с пустыми руками пришли, — сухо сказал Аугуст.

Борьба была недолгая, но шуму Макс поднял достаточно — стрелял из автомата, выбросил из ямы две гранаты. Тогда подполковник Закис метнул вниз одну за другой три гранаты, и там все умолкло.

Теперь можно было возвратиться домой и собираться в Москву, в академию.

На другой день Аугуст уехал вместе с сестрой и Петером. Ауэра взяла в Ригу Валдыня — и матери легче будет управляться, и Расма скучать не будет.

Теперь, когда двое бандитских заправил — Зиёмель и Лиепниек — были уничтожены, жизнь в Упесгальской волости стала спокойной.

Воспользовавшись показаниями Зайги Мисынь, Эзеринь за неделю выловил трех остальных участников банды. После этого в округе больше не слышно было ни о каких диверсиях и убийствах.

Председателем колхоза на место Индрика Закиса выбрали бывшего гвардейца латышской дивизии Клогу.

Новое спешило пустить корни все глубже и глубже, и ничто не могло задержать его роста.

Глава четвертая

Еще не совсем рассвело, когда Эльмар Аунынь выехал в поле. Спал он не больше пяти часов, но чувствовал себя свежим и бодрым. После обычной утренней зарядки кровь бежала быстрее, во всем теле чувствовалось приятное напряжение, которое заставляло и голову работать интенсивнее, а думать Эльмару было о чем.

Он был бригадиром тракторной бригады. Чуть только подсохла земля, так что тракторы не увязали в грязи, бригада Эльмара — четыре трактора с прицепным инвентарем — отправилась в большой весенний рейд. Маршрут был составлен еще зимой, причем с таким расчетом, чтобы, кончив работу в одном месте, не приходилось делать вхолостую долгие, по нескольку километров прогоны до следующих хуторов, заключивших договоры с МТС. Если бы этот маршрут нанести на карту, получился бы сильно вытянутый овал. Вначале бригада пахала, бороновала и сеяла близ станции, потом шаг за шагом, километр за километром отдалялась от нее в юго-восточном направлении, пока не достигала самого отдаленного пункта — совхоза, отстоявшего на двадцать восемь километров от станции. Там бригада проработала целую неделю в две смены от зари до зари, не отдыхая даже в воскресенье. Из совхоза, где вся бригада работала в полном составе, повернули на запад, потом еще направо и опять — шаг за шагом, километр за километром стали приближаться к исходному пункту.

Через несколько дней округность должна была замкнуться, а бригада, намного перевыполнив план весенних работ, — возвратиться на машинно-тракторную станцию. Из четырех тракторов только один был новый, полученный в конце зимы, два работали уже несколько лет, а четвертый начал свою деятельность еще до войны. Эльмар прозвал его «дедушкой» и проявлял к нему особое внимание, как к старому, заслуженному работнику. Он сам его ремонтировал, сам ухаживал за ним во время весенних работ и каждый день по нескольку часов работал на «дедушке». Почтенный ветеран отвечал на это внимание похвальным усердием: ни разу не капризничал, не останавливался среди поля без ведома хозяина. Тракторы поновее и то иногда причиняли неприятности, особенно в конце весеннего сезона, а «дедушка» ни на час не вышел из строя, первый из всего парка МТС закончил план работ и упорно боролся за первое место.

«Что это значит? — часто думал Эльмар. — Это значит, что машину надо любить, надо ухаживать за ней, выслушивать, как врач, и вовремя предвидеть и предупреждать каждое возможное повреждение. Как живое существо отвечает любовью на любовь, так и машина всегда отблагодарит своего друга».

Пример с «дедушкой» был показательным, — на нем учились все

трактористы и бригадиры МТС Гаршина, а министерство позаботилось, чтобы опыт Эльмара Ауныня стал известным и в других МТС.

Возле «дедушки» уже хлопотали люди. Тракторист — молодой парень в темном замасленном комбинезоне — проверял линейкой, много ли в баке горючего. Подсобный рабочий и пожилой крестьянин, на участке которого работали сегодня, насыпали в сеялку зерно.

— До обеда кончим? — спросил Эльмар.

Тракторист положил линейку и подошел к бригадиру.

— Чего же тут не кончить. «Старик» еще держится. Вчера к концу дня, правда, начал покашливать, я уж испугался, подумал, не серьезное ли что. Ну, а когда покопался в моторе, оказалось, что немного засорился карбюратор.

— Зента собирается завтра к обеду кончить маршрут, — сказал Эльмар. — Смотри, Кристап, как бы нам с тобой не остаться в хвосте.

Зента работала на новом тракторе тут же, по соседству. Трактористкой она стала еще в 1942 году и два сезона пробыла в одной приволжской МТС. Соревноваться с нею было нелегко.

— Значит, и нам надо кончать, — заключил Кристап. Он тут же проверил, как подготовлены сеялки, заметил направление и сел за руль. Почти в тот же момент, когда запыхтел «дедушка», справа, за березовой рощей, раздался такой же шум. Услышав его, тракторист сморщился, как от зубной боли.

— Вот тоже беспокойная какая. Торопится...

Заскрежетали гусеницы, запахло керосином и маслом. Сеялки спокойно двигались по пашне, семена падали во влажную рыхлую землю.

Эльмар посмотрел, как Кристап пересек поле, сел на велосипед и по извилистой дорожке поехал по направлению к березовой роще.

«Топчешься, топчешься по этим мелким лоскуткам. Трактору развернуться негде, больше времени уходит на повороты и перегоны, чем на работу. Вот если бы колхозы... Поля, что озера, края не видно. Как начал борозду, так и ведешь полчаса в одном направлении. Осенью бы пустил комбайн. Красота...»

Минут через пять он спрыгнул с велосипеда на краю другой полоски. В таком же темном, замасленном комбинезоне, как у Кристапа, в пестреньком платочке на голове, Зента вела свой СТЗ-НАТИ по полю, площадь которого не превышала двух гектаров. Она сосредоточенно смотрела вперед и на приветствие Эльмара ответила рассеянным кивком головы: нет времени, тут не до церемоний, работа очень серьезная.

— Как дела, Зентыня? — спросил Эльмар, когда трактор дотащил

сеялку до конца поля.

— Хорошо! — отчеканила девушка. — Разве я на что-нибудь жалуюсь? Готовь только горючее, — после обеда трактор может стать.

— Горючее прибудет часа через два. Вчера вечером разговаривал с Гаршиным. Когда ты думаешь кончать?

— Завтра вечером. Если бы не эти переезды с места на место, я бы раньше кончила, но ведь ты сам знаешь... пока соберешься, пока доберешься и станешь на линию огня — несколько часов и пропали.

— Не то что в колхозе, правда ведь? — подмигнул Эльмар.

— Никакого сравнения, — досадливо махнула рукой Зента. — Только трепка нервов.

— Будущей весной мы с тобой, может быть, поработаем и на колхозных полях.

— Слышно что-нибудь разве?

— Да, слышно. Марта Пургайлис сейчас только этим и занимается. У них там многие хотят объединиться. К осени, наверно, организуются.

— Вот увидишь, Эльмар, какая жизнь начнется, — мечтательно заговорила Зента. — Я сама знаю, на Волге видела. Тогда нам можно давать не такой план, а оправиться легче будет, чем сейчас.

Первые лучи солнца уже золотили поле. Поднялся извечный друг пахаря — жаворонок. Мычали, выходя из хлевов на зеленое пастбище, коровы, аукались пастухи, издали перебрехивались между собой собаки.

— Хороший будет день, — сказала Зента, посмотрев на небо. — Значит, часа через два можно ждать горючего?

— Точно.

Зента села за руль.

— Кристап хочет завтра к обеду кончить, — будто между прочим уронил Эльмар, поставив ногу на педаль велосипеда. — Не прислать потом тебе на помощь? Тогда вместе поедете домой.

— Еще неизвестно, кто кому будет помогать! — крикнула девушка. — Ты мне вовремя горючее доставь, тогда увидим, кто первый кончит. А в последней усадьбе пускай не ложатся спать вместе с курами, чтобы можно было работать без перерыва, когда перееду к ним.

— Ладно, скажу...

В течение часа Эльмар успел побывать возле всех тракторов, проверил, нет ли поломок, не требуется ли помощь.

— Кристап с Зентой собираются кончить... не прислать ли на помощь?

Вопрос заключается не столько в том, кто первый закончит весенние работы — это было внутреннее дело бригады, — борьба шла за победу

всей бригады, а следовательно и МТС, в республиканском соревновании. У них были все данные выйти на первое место по республике и завоевать переходящее красное знамя, но одна курземская МТС также серьезно претендовала на победу. Последние метры до финиша были решающими, самыми трудными: другие тоже не дремали. Поэтому Эльмар мобилизовал свою бригаду, поэтому Гаршин каждый день интересовался, как идут дела во всех трех бригадах, а из Риги то звонили по телефону в МТС, то посылали на места представителей министерства. Соревновался коллектив с коллективом, каждый соревнующийся чувствовал плечо своего товарища.

Объехав район действия бригады, Эльмар вернулся к «дедушке» и сел за руль. Он испытывал те же чувства, что и осенью на республиканском соревновании по легкой атлетике, пробегая трудную четырехсотметровую дистанцию в большой эстафете. «От твоего успеха зависит успех всей команды; секунду твоего опоздания придется наверстывать твоим товарищам, поэтому всю дистанцию надо пробежать в полную силу».

Перед обедом из МТС приехала грузовая машина с горючим. Черные железные бочки сейчас же повезли на лошадях к тракторам. После обеда Эльмар снова сел на велосипед и объехал товарищей, рассказал им, как дела у соседей, одного успокоил, другого растормошил, а сам уже рассчитал про себя, что завтра к двум-трем часам бригада кончит с заданием и они смогут вернуться в МТС.

Первым переехал на новое место Кристап с «дедушкой». Через час за ним последовала Зента на новом «СТЗ-НАТИ».

Перед вечером приехал на мотоцикле Гаршин. Поздоровавшись с трактористами и рабочими и проверив, насколько подвинулась вперед работа, он отвел Эльмара в сторону.

— Могу тебе сказать по секрету, что твоей бригаде обеспечено первое место, — сказал Гаршин, присев на большой валун возле канавы. Эльмар сел наземь, спустив ноги в канаву, и, сорвав кустик щавеля, начал жевать кислые листочки. Он молчал. Не от удивления: Эльмар не очень удивился, потому что победа эта не была случайной удачей.

— Да, брат, готовься к этому. Но, кроме того, я должен сообщить тебе еще одну новость... — Гаршин хитро улыбнулся и замолчал, давая понять, что новость эта особенная. Эльмар повернулся к директору.

— Что-нибудь насчет станции? — спросил он.

— Нет, Эльмар, это касается тебя персонально. Ну, и для станции это не безразлично, потому что тебя нельзя все-таки отделять от коллектива.

— Выходит, что нельзя. А что там за штука? — не удержался, спросил он.

Ему вдруг подумалось, что усилия, затраченные на достижение этого успеха, в сущности были не так велики, что они каждого привели бы к тому же результату, каждому были бы по плечу. Он забыл в эту минуту, что секрет его победы заключался в правильной организации соревнования. Упорная борьба, начатая еще зимой, во время ремонта тракторов и прицепного инвентаря, действительно не потребовала ни от кого сверхъестественных подвигов, но она заставляла работать по плану, беречь каждую минуту, смотреть далеко вперед.

— Штука такая, что тебе через несколько дней надо собираться в Ригу.

— Ну да! На что я в Риге нужен?

— Вот ты сам даже не знаешь, какая ты известная личность. Поздравляю, Эльмар, тебя включили в республиканскую делегацию для участия во Всесоюзном параде физкультурников. Так что, друг, скоро ты увидишь Москву, увидишь товарища Сталина. Что, рад? Я сам не меньше твоего радуюсь; приятно, черт возьми, что одному из моих ребят выпадает такая честь.

У Эльмара сильно забилося сердце. Не шутит ли Гаршин? Но нет, он так шутить не будет.

— А бригада как же? — неуверенно спросил Эльмар, и лицо у него стало озабоченным. — Как они будут без меня? Тракторы надо проверять... текущий ремонт. За «дедушкой» все время глаз нужен...

— За бригаду ты не беспокойся. Беру ее на свое попечение. Буду твоим заместителем, пока не возвратишься. Ну, а если мне не доверяешь, тогда, может быть, Кристапу?

Они посмотрели друг на друга, и оба засмеялись. Вопрос был решен.

— Желаю тебе удачи на параде. Не беспокойся и не думай, что без тебя здесь все прахом пойдет. И «дедушку» твоего оберегать будем и о ремонте позаботимся, — сказал, улыбнувшись, Гаршин. — Тебе тоже предстоит работа немалая: в течение нескольких недель будете тренироваться, пока добьетесь красоты и точности во всех движениях. В Риге свое усердие и показывай.

О сне в ту ночь Эльмар не мог и подумать. Дотемна он проработал в поле, а после, когда его товарищи уже захрапели на разные лады, он вышел во двор и долго сидел на лавочке.

«Не иначе, Занда приложила руку... — думал он. — Почему же именно меня выбрали? Ну, подожди, мы с тобой еще поговорим об этом с глазу на глаз. На каком основании отрываете бригадира от его обязанностей?»

Он покачал головой и тихо засмеялся.

Двадцать второго июля Эльмар Аунынь, вместе с другими представителями Латвии, вышел из ворот Кремля на Красную площадь, Много увидел он за две с половиной недели, прожитые им в Москве; он был полон впечатлений, которым суждено было долгое время питать его душу...

Последние напряженные дни тренировки, дорога, и вот он — огромный город со своими замечательными зданиями, широкими магистралями и площадями. Московское метро, где каждая станция вызвала в памяти Эльмара слышанные в детстве от бабушки сказки о волшебных замках, Химкинский речной вокзал, стадион «Динамо», гостиница «Москва», непрерывный поток машин в Охотном ряду — все поражало взор юноши. Но глубже всего запечатлелось в памяти Эльмара спокойное мерцание рубиновых звезд на башнях Кремля и тихий мавзолей на Красной площади.

В тот день он был у гроба Ленина — создателя великой партии и Советской страны, того, кто в исторические дни, когда решалась судьба поколений, смело заявил перед всем миром: «Есть такая партия!» Днем поток людей с обнаженными головами тихим шагом проходил мимо гроба, с любовью и благодарностью глядя на дорогие черты, запоминая их на всю жизнь, а ночью вместе со статными воинами, несущими почетный караул, вокруг него бодрствовали все думы советского народа.

Сегодня Эльмар видел Сталина...

Видел и слышал, когда он приветствовал в Большом кремлевском дворце физкультурников советской земли. И Эльмар почувствовал, что сегодня, вот сейчас, он переживает самое значительное событие в своей жизни. Он — простой деревенский парень, латышский пахарь — сегодня в гостях у великого Сталина, сидит с ним за одним столом! Ближайший друг Ленина и продолжатель его дела пригласил к себе Эльмара Ауныня!

И каждый раз, когда Эльмар думал об этом, у него захватывало дыхание. За что ему такое счастье? Лучше ли других он, отличился ли чем-нибудь перед народом? Да ведь таких, как он, тысячи, если не миллионы.

Он видел Сталина, и ему даже показалось, что, обводя взглядом зал, Сталин заметил его и несколько мгновений добрая улыбка вождя предназначалась ему. Может быть, он ошибался, может быть, в эту минуту так же думали и многие другие. Но эту уверенность он спрятал глубоко в сердце и никому бы не уступил ее.

Слышишь ли ты голос моего сердца, любимая, отдавшая жизнь свою за советский народ? Давно ты покоишься в родной земле, замученная врагами, но память о твоём подвиге, твой привет я принес сегодня в Кремль и передал Сталину. Он слышал его и принял, хотя мой язык молчал: он слышит, что говорят сердца. Он видит и слышит всех, даже самого маленького из нас. И я слышал, как он передавал привет моей родине.

Эльмар ходил по московским улицам, ничего не видя, не слыша. Когда потом его разыскала Занда и заставила рассказать обо всем, она была огорчена тем, что он не мог сообщить ей никаких подробностей. Две больших картины Репина, одну справа, другую напротив входа, он запомнил, запомнил еще золотые надписи на мраморных стенах зала, — кажется, названия войсковых соединений и имена военных, награжденных орденам Георгия. Мимо громадного Царь-колокола он прошел, еле взглянув на него, и если бы его спросили, какие деревья растут у стен Кремля, он бы не мог этого сказать.

Убедившись, что Эльмар находится в необычном настроении, Занда оставила его в покое. А после, каждый день понемножку, она узнала все подробности — оказалось, что Эльмар отлично запомнил все до последней мелочи.

Чтобы продумать и прочувствовать в полную силу виденное в Москве, надо было оглянуться на все это с известного расстояния, разобраться в обилии впечатлений.

С первого дня Эльмара и Занду захватило ощущение беспредельной шири, простора. Этот простор, это мощное дыхание, эти гигантские очертания всей страны угадывались в облике самой столицы, ритме ее жизни, в зданиях и людях. Здесь было собрано все лучшее, что дал гений народа в искусстве, культуре и науке. И еще что почувствовали здесь с особой силой Эльмар и Занда — это дух содружества. Они знали, что дружба народов — незыблемая основа советского общества, так воспитывали их партия и комсомол. Но только здесь, встречаясь с представителями многих народов, вместе готовясь к общему празднику, Эльмар и Занда почувствовали это с такой силой. Они подружились с юношами и девушками, приехавшими в Москву и из далеких степей, и с гор, и с берегов далеких морей, — и со всеми, в прямом смысле слова, чувствовали себя, как братья и сестры. Со всех сторон их приглашали приехать в гости, и они не сомневались в том, что везде будут дорогими и желанными гостями.

Наконец — парад. Волшебство красок, звуков и движений,

свидетелями и участниками которого были они сами. Больше сорока тысяч физкультурников участвовали в великом смотре. Сорок тысяч красивых, здоровых юношей и девушек — представителей всех республик и народов — демонстрировали свою силу и ловкость. И в каждом выступлении отразились характерные черты народа и страны. Перед глазами зрителей раскрывалась огромная, многокрасочная панорама, подобной которой невозможно было бы создать при отображении жизни народов других государств. Огромные гербы республик сверкали на солнце, красным пламенем пылал шелк знамен.

Выступление латвийской делегации прошло успешно и получило отличную оценку.

В конце июля они выехали обратно в Ригу.

— Доволен ты теперь, что тебя включили в делегацию? — спросила Занда Эльмара, когда уже тронулся поезд. — Ты ведь знаешь, что я тоже чуточку причастна к этому.

— Я недоволен только, что ты задаешь излишний вопрос.

— Почему излишний? Разве я не могу знать твое мнение?

— Ты отлично знаешь, что такое для меня эта поездка. Другого такого события не было в моей жизни, и неизвестно, будет ли.

— Как знать... — задумчиво сказала Занда. — Мы иногда и сами не подозреваем, какие широкие пути лежат перед нами.

3

Все лето погода стояла словно в теплице: несколько дней лил благодатный, теплый дождь, и опять светило солнце, выгоняя и стебли и колос; потом опять дождь и опять солнце — и так до конца лета. Крестьяне давно не помнили такого богатого урожая.

— Теперь мы живем, — радовались они, налаживая косы. — После военной разрухи можно, наконец, дух перевести.

И звенели дедовские одноручки и двухручки [7], дребезжа двигались по полям жнейки, золотистые крестцы становились в ряд, как на параде.

— Даже старик бог начинает помогать большевикам, — весело шутили крестьяне.

Весной волость обязалась расширить посевную площадь и добиться высоких урожаев по всем зерновым и овощным культурам. Раньше чем в прошлые годы кончили весенний сев и посадку картофеля, заботливее ухаживали за своими полями, и вот налицо богатый урожай, и вот

опрокинуты и высмеяны теории о влажности почвы, о непреложности дедовских сроков сева и пресловутых особенностях Вндземской возвышенности.

Вначале у Марты Пургайлис было очень беспокойно на сердце. Обещание дали, но что, если не выйдет так, как задумано, если будет засуха или выпадут слишком обильные дожди, если сами что-нибудь упустят, наконец? Никогда еще она не изучала так внимательно сводок бюро погоды, не интересовалась естественными и искусственными удобрениями, не следила за тем, чтобы каждая полученная тонна суперфосфата до последнего килограмма попала туда, где ее больше всего ждали. Ко дню Лиго Марта стала успокаиваться — теперь все зависело от самих людей. Вместе с новым председателем исполкома Лакстом она проверила, в — каком состоянии находится сельскохозяйственный инвентарь, жнейки, молотилки, своевременно прикрепила к каждой молотилке коммуниста или комсомольца, заранее выработала и согласовала с крестьянами маршруты, чтобы с первого же дня уборки урожая можно было развернуть молотьбу и сдачу хлеба государству.

Не прошло и года с момента снятия Биезайса, Пушмуцана и Буткевича, а волость из отстающих вышла в передовые и во всех важных начинаниях перегоняла своих соседей. Но Марта была бы плохим парторгом, если бы всю свою энергию отдавала только хозяйственной работе, — на это ведь был деятельный и серьезный Лакст, который болел душой за волость не меньше Марты. Партия послала ее выращивать новых, советских людей, воспитывать коммунистов.

Заметив, что она под впечатлением первоначальных хозяйственных неудач начинает чересчур увлекаться делами, входящими в круг обязанностей председателя исполкома, Гаршин очень осторожно указал ей на это и посоветовал кое-что переделать в плане работы.

Вскоре в волости была организована систематическая учеба для всех членов и кандидатов партии. В Народном доме чаще стали устраивать доклады и лекции, на которых присутствовало много беспартийных; организовали драматический кружок. Быстрее стали расти ряды актива; все больше входила во вкус общественной работы местная интеллигенция.

Марта сама за последние два года политически сильно выросла, и это в немалой степени было заслугой Гаршина. Теперь часто достаточно было брошенного вскользь замечания, и ей становилось ясно, что надо делать, а Гаршин в свою очередь умел передавать свой большой опыт в такой деликатной форме, что ученик даже не чувствовал, что его учат. Особенно чуток и внимателен был он с Мартой. Всеми силами помогал укреплять ее

авторитет в глазах других партийцев и населения волости. Почти все ценные предложения и начинания исходили от Марты, а Гаршин помогал подготовить эти предложения, но при этом старался скромно отступить в тень. Постепенно Марта научилась самостоятельно решать большие и малые задачи, которые ставила перед ней жизнь. Тогда Гаршин понял, что он свой долг выполнил. Он гордился Мартой и немного самим собой, но этого никому не показывал.

За два года работы в волости Гаршин успел познакомиться почти со всеми крестьянами и пользовался среди них большим уважением. Особенно ценили крестьяне то, что он разговаривал с ними на их родном языке. Как-то уж повелось, что в затруднительных случаях многие шли к нему за советом. Стоит ли отпускать сына в школу ФЗО, или нет? Распахать ли поле истощившегося клевера и посеять на нем хлеб, или вновь посеять многолетние травы и держать больше молочного окота? Дочка-комсомолка не хочет конфирмоваться у пастора — плохо это или можно обойтись без конфирмации? Подавать ли на соседа в суд, если его скотина потравила ниву, или помириться? С самыми различными вопросами приходили к Гаршину люди и всегда прислушивались к его советам.

— Побольше бы таких людей, жизнь быстрее шла бы вперед, — часто говорили о нем.

Когда Эльмар вернулся из Москвы, Гаршин собрал как-то вечером всех работников машинно-тракторной станции, и они услышали взволнованное повествование своего товарища о поездке в Москву. Эльмара засыпали вопросами, и рассказ его затянулся до поздней ночи.

— А теперь надо мне браться за дело, Владимир Емельянович, — сказал он, когда все разошлись. — Задолжал я вам всем за это время — не знаю, как и расплачусь. И у самого руки чешутся, работы просят.

Гаршин улыбнулся.

— Во-первых, выбрось ты это из головы: должен, должен... Делали то, что от нас требовалось, а ты тоже выполнял свои обязанности, и мы рады, что ты так хорошо с ними справился. Поговорим о другом. Как у тебя дела с изучением «Краткого курса»?

— Я, Владимир Емельянович, всю зиму занимался в кружке, оценки у меня хорошие. «Вопросы ленинизма» брал с собой в Ригу, по вечерам занимался, конспектировал...

— Дело в том, что на будущей неделе тебе придется поехать на заседание бюро уездного комитета партии. Может быть, зададут кое-какие вопросы, чтобы проверить уровень политических знаний. Сам понимаешь,

не хорошо будет, если старый партизан и бригадир МТС оскандалится.

— Понимаю, товарищ Гаршин, — сказал Эльмар. — По правде говоря, мне надо больше знать, я сам это понимаю. А для чего вызывают? Опять что-нибудь новое? — Эльмар пристально посмотрел на Гаршина.

— Ты как думаешь, позволю я тебе стоять на месте? — издалека начал Гаршин. — В твоём возрасте надо ковать железо, пока горячо.

— А все-таки что?

— Видишь, друг, мне старшие товарищи в уезде давно не дают покоя. Говорят, что я свой долг по отношению к МТС выполнил, пора перейти на другую, более ответственную работу. Им, конечно, виднее... Но я договорился так, что подготовить кандидата на должность директора разрешат мне самому. Здесь нужен молодой, здоровый человек, словом, такой, как ты...

— Я? — испугался Эльмар. — Я же ничего не знаю, не умею.

— И знаешь и умеешь, но подучиться, конечно, тебе нужно. Так что вот осенью придется ехать на курсы директоров МТС. На целый год, Эльмар.

...И опять закипела работа. Во всех концах волости работали молотилки. Вереницы возов с хлебом тянулись к заготовительным пунктам. За несколько недель Эльмар Аунынь объехал со своей молотилкой полволости. Зато и работал — от зари до зари, а иной раз и ночью.

Во время республиканского соревнования мастеров спорта он опять на целую неделю уехал в Ригу. После этого до самой осени без отрыва работал со своей бригадой в поле. Лемеха дружно взрезали целину для новых пашен.

В воскресенье Ирма Лаздынь навестила родителей. Жили они в дальнем конце волости, где им принадлежал порядочный хутор. Младший ее брат Эрик после демобилизации из армии остался в Риге, женился и работал на одном большом заводе. Старший брат Альберт, который вступил в легион СС, был убит в Курземе, и теперь старикам приходилось вдвоем управляться со всем хозяйством. Отец до сих пор продолжал сердиться на младшего сына.

— Нет чтобы жениться на порядочной крестьянской девушке и хозяйничать на хуторе! Теперь бы нас четверо было, с божьей помощью везде бы поспевали. Главное, нельзя взять никого в работники, — живо

зачислят в кулаки.

— Вам, значит, Эрик с женой нужны только как рабочая сила, — насмешливо сказала Ирма.

— А на что же мы его растили? — удивлялся старый Лаздынь. — Когда попрем, хутор ему достанется, не чужому. Да и тебе бросать надо секретарскую должность, жить дома. Много ты видишь пользы от этой работы?

— А дома если жить буду — много будет пользы?

— Помогать отцу с матерью будешь — вот те и польза.

— Ах, вместо батрачки? Только батрачке платить надо, а я даром могу. Нет, спасибо. Если Эрик отказался от хутора, мне и подавно делать здесь нечего. Вы, наверно, успели подыскать кого-нибудь, чтобы взять в примачи.

— А что в том плохого? Смеяться тут не над чем: — обиделась мать. — Твой отец тоже примак, а разве плохо я с ним век прожила?

— Вам до сих пор кажется, что в мире все стоит на одном месте. Никак не хотите понять, что, когда вы были молодые, одно время было, а теперь — другое. Нельзя брать за образец прошлое, приспособливаться к нему, — надо глядеть в будущее. Вы про колхоз ничего не слышали?

— Что, до колхозов уж дожили? — забеспокоился Лаздынь.

— Еще нет, но сейчас у всех крестьян только и разговору, что про колхозы; я думаю, к концу года в волости организуют.

— Что же ты нам посоветуешь? Бросать землю? Вступать? Да кто еще их знает, примут ли нас. Мы ведь не голодранцы, может не понравимся.

— Вы сами взрослые, что я буду вас учить. Только один совет могу дать: надо глядеть вперед, а не назад. Жизнь обратно не идет.

Мало радости доставила Ирме эта встреча с родителями.

В понедельник Гаршин и Марта Пургайлис долго сидели у председателя волостного исполкома Лакста. Они взяли у Ирмы план волости и список усадеб, и в их разговоре часто упоминались такие слова, как колхоз, бригада, инициативная группа и ферма. Марта Пургайлис настаивала на скорейшем выполнении плана хлебосдачи, чтобы развязать руки активу и самим крестьянам, чтобы скорее взяться за великое новое дело, к которому они готовились.

Перед уходом Гаршин немного задержался у Ирмы. Поговорил о работе, рассказал, как провел воскресенье, и под конец спросил, хорошо ли она знает счетоводство.

— Я кончила курсы и года полтора работала счетоводом, — ответила Ирма. Просто ужасно: каждый раз, когда с ней заговаривал Гаршин, она краснела, как девчонка. Особенно в последнее время, когда стало очевидно,

что нет никаких оснований подозревать Гаршина и Марту Пургайлис в каких-то особенных чувствах друг к другу. — Почему это вас так интересует?

— Скоро нам понадобится квалифицированный счетовод для одного интересного начинания, — сказал Гаршин. — Там работать будет куда увлекательней, чем с этими скучными бумагами.

— А, по-вашему, я подойду?

— Подойдете, конечно.

— А кто же будет эту скучную работу делать? — усмехнулась Ирма.

— Найдем кого-нибудь.

— Я вижу, вам хочется выжить меня из исполкома.

Гаршин понял шутку и ответил в том же тоне.

— Ну, конечно, чтобы самому сесть на теплое местечко, — и уже серьезнее добавил: — Подумайте об этом. Уверен, что вы не пожалеете.

Он пожал Ирме руку и пошел к двери, но вдруг что-то вспомнил, вернулся.

— Все не соберусь сказать... В позапрошлом воскресенье вы отлично сыграли свою роль в спектакле. Очень мне понравилось. У вас определенно есть талант. Мой вам совет: не оставайтесь на полпути, развивайте его. В следующий раз я вам принесу книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Не читали, конечно? Ну, я так и знал.

Ирма даже забыла поблагодарить его — в такое смятение привела ее эта похвала.

Когда Гаршин вышел, Ирма быстро убрала на столе (ее рабочий день уже кончился) и пошла к себе наверх, но тут же почувствовала, что в комнате ей не усидеть, и решила прогуляться. Хотя был конец августа, дни стояли теплые, солнечные. Первые желтые листья уже горели в зелени лип и кленов, а воздух приобрел ту ясность, которая так успокоительно действует на человека и придает всем предметам легкость очертаний. Отовсюду неслись сотни звуков: лаяли собаки, чирикали птицы, разговаривали на дворах люди, на большаке скрипели телеги, и откуда-то, совсем уже издалека, слышался шум работающей молотилки. Облачко пыли стояло над дорогой, почти у горизонта — вероятно, ехал автобус.

Ирма свернула с дороги и медленно пошла по тропинке к ближайшей роще. Там, на самой опушке, было у нее любимое местечко: гладкий серый валун, защищенный от ветра. Здесь Ирма могла сидеть целыми часами — читала книгу или просто смотрела на поля, на крестьянские усадьбы, на дорогу.

И сейчас она села на камень и, подперев голову руками, стала думать.

Солнце почти село. От всех предметов далеко протянулись длинные узкие тени. Одинокая птица, внезапно почувствовав, что вечер застиг ее вдали от ночлега, летела, широко и стремительно взмахивая крыльями.

«Актриса... Какая ты актриса, если не можешь даже владеть своим лицом и нервами...» — издевалась над собой Ирма. — «Не оставайтесь на полпути, развивайте его... А если разовью — тогда что? Разве он изменится, чаще станет приходить, останавливаться у моего стола, говорить со мной? У меня талант... Конечно, у меня кое-что получается, я не пугаюсь публики, знаю, куда девать руки, но разве этого достаточно? Нужен талант. Не домашний талант — капелька смелости, капелька воображения, — а пламя, которое жжет сердца. Иначе не стоит, иначе я не хочу...»

В середине октября волость выполнила план хлебопоставок, но крестьяне продолжали сдавать зерно сверх плана, так как урожай действительно был обильный — в среднем шестнадцать центнеров с гектара.

Однажды в воскресенье в Народном доме собралась инициативная группа и постановила организовать колхоз. В него вступили около сорока хозяйств. Центром колхоза решили сделать большую усадьбу Вилдес.

Председателем выбрали молодого, энергичного крестьянина Пуриня, который в начале 1945 года вступил в партию. Новой артели дали название «Латышский стрелок».

Как только колхоз был утвержден и новые колхозники взялись общими силами за осенние работы, в другом конце волости выдвинулась другая инициативная группа и повела разговор об организации второго колхоза. В это время неизвестно откуда распространились слухи, что добровольно объединяться в колхозы разрешат только до Нового года, после чего в административном порядке назначат, кому в какой артели и с какими соседями работать. Узнав об этом, Марта Пургайлис немедленно созвала собрание крестьян и объяснила, что все это сплетни, распушенные с провокационной целью каким-то злопыхателем.

Выдающиеся успехи, с которыми закончили свой первый хозяйственный год некоторые ранее организованные колхозы (куда весь год с разных концов республики отправлялись, как в паломничество, экскурсии крестьян), сильнее всяких слов убеждали даже отъявленных скептиков, и

теперь самые отсталые крестьяне начали понимать, что новое, социалистическое устройство имеет все преимущества по сравнению с индивидуальным хозяйством. Рожденное самой жизнью, само собой, как любой естественный процесс, в республике началось массовое движение за коллективизацию.

Когда Гаршин напомнил Ирме Лаздынь разговор о переходе на должность счетовода, она поняла, что речь идет о работе в колхозе «Латышский стрелок».

— Дайте мне еще немного подумать, — сказала она. — Я еще не знаю, где мне лучше работать. Вполне возможно, что «Латышский стрелок» с самого начала будет крепче стоять на ногах, но мои родители, наверно, запишутся в другой колхоз. Я решила быть вместе с ними.

— Понимаю, товарищ Лаздынь, перевоспитывать стариков хотите? На это возразить нечего. Но тогда вам будет далеко в Народный дом на репетиции ходить...

— У меня есть велосипед.

В конце октября, когда организовали вторую сельскохозяйственную артель «Советский путь», Ирма ушла из волостного исполкома и стала счетоводом нового колхоза.

Марта Пургайлис получила телеграмму. Ее вызывали в Ригу, откуда она должна была вместе с большой делегацией ехать в район Старой Руссы на открытие памятника павшим латышским стрелкам. Такие памятники в ту осень открывали в местах самых памятных боев латышской дивизии и партизан: под Москвой, у Насвы и в Латвии.

Два дня Марта прожила в Риге. Остановилась она у Аи и Юриса, который тоже был включен в состав делегации. Повидала она и Мару Жубур, и Руту, и многих товарищей по курсам в Кирове. Один вечер Марта целиком провела в гостях у Мары; сначала посмотрела спектакль, в котором та играла главную роль, а потом вместе пошли на квартиру. Маленькая Инта, которой уже было полтора года, спала, но Марте ее показали и заставили сказать, на кого она больше похожа: на отца или мать? Жубур видел в дочери копию Мары, а Мара уверяла, что она — вылитый отец. Но когда Марта нашла в ней сходство с обоими родителями, они остались вполне довольны.

Все друзья Марты дали ей обещание приехать к ней летом на праздник Лиго — день именин ее павшего мужа.

Среди покрытой свежесвыпавшим снегом равнины, где каждая пядь земли повествовала суровую быль о минувших великих битвах, на возвышенности, далеко заметной со всех сторон, встал одинокий памятник.

На этом холме когда-то бушевал ураган огня, а теперь расположились тихие могилы героев. Их останки были собраны со всего района битв — из вырубленных снарядами рощ, с окраин уничтоженных пламенем селений и маленьких, окруженных болотами островков. Здесь похоронили и прах Яна Пургайлиса, и на памятнике среди других имен стояло и его имя. Ветер шумел над холмом, крупные снежинки падали на могилы и покрывали их белым плащом. Мысли живых в этот час возвращались к подвигам павших.

Когда митинг, посвященный открытию памятника, кончился, делегаты маленькими группками разбрелись по окрестности. Участники боев рассказывали о событиях, происходивших здесь несколько лет тому назад. Юрис Рубенис отвез Марту на машине к тому перекрестку дорог, где в конце зимы 1943 года пал в бою Ян Пургайлис. Долго стояла она у обвалившегося окопа, откуда Ян Пургайлис управлял боем, старалась навсегда запомнить картину, которую он видел в последний момент своей жизни.

— Здесь его тогда похоронили, тут же после боя... — сказал Юрис. — И командир полка и Андрей Силениек приехали проститься с ним.

Возле первой могилы Яна Пургайлиса лежала каска. Марта подняла ее и взяла с собой.

«Что же это были за люди! — думала она. — Прекрасные, могучие, и самое трудное не было для вас трудным. Умирили, чтобы победить, и это сбылось. Спите спокойно, родные, вечно будет с вами любовь и память народная».

И снова она думала о своей жизни после смерти Яна Пургайлиса. Ни одного дня она не провела праздну. Сурово и повелительно отгоняя мысль об отдыхе, отдавала всю свою силу той жизни, за которую погиб Ян. И так будет продолжать она до конца своих дней. Кое-что сделано и достигнуто, кое-чего она еще достигнет — но не будет ли этого мало? Ей ведь надо работать и жить за двоих — место Яна Пургайлиса не может оставаться пустым.

Она думала, спрашивала себя и ждала ответа. Земля молчала, но сердце подсказывало ей, что путь, по которому она идет, верный, правильный путь.

Глава пятая

Черный жеребец прижал уши и вытянул голову над решеткой стойла, норовя укусить Зандарта.

— Ну, ты, проклятый! — Зандарт замахнулся метлой и для вящей убедительности погрозил еще кулаком. — Будешь у меня стоять, свинья этакая! Кусаться вздумал... Я те покажу, как людей пугать!

Жеребец зафыркал, помотал головой и немного отступил, но когда Зандарт проходил мимо стойла, он не вытерпел и хватнул конюха за кепку.

Гуго Зандарт уже с час убирал конюшню. С некоторыми лошадьми у него установились терпимые отношения — они не кусались, не шарахались и не лягались, когда он с метлой и совком входил в стойло; спокойно, добродушно наблюдали, как он собирал навоз, чистил ясли и при этом все время как-то чудно кривил лицо. Но черный жеребец невзлюбил Зандарта с того самого дня, когда тот появился в конюшне и тренер Эриксон объявил ему, в чем состоят его обязанности.

Да, именно так и обстояли дела: Свен Эриксон, бывший наездник и тренер рысистых лошадей Гуго Зандарта, теперь стал его начальством. Конюшня принадлежала шведскому фабриканту и землевладельцу Акселю Ларсону, а Эриксон наезживал его рысистых лошадей и водил их в состязаниях. Осенью 1944 года, когда Зандарт вместе с другими беглецами прибыл в Швецию, у него не было здесь ни одного знакомого, он не знал ни одного адреса, по которому можно было бы обратиться за помощью. Господа шведы любезно предложили ему немедленно отправиться на торфоразработки в качестве копача, и он почти согласился, если бы не случайная встреча с Эриксоном. Бывший шеф его конюшни вспомнил прежнего хозяина и, зная его любовь к лошадям, помог получить место конюха. Должность, конечно, нельзя назвать выгодной: работа довольно грязная, плата — ничтожная, комнатка рядом с конюшней, которую предоставили Зандарту, больше походит на собачью конуру, а кормят так, что вот-вот ноги протянешь. А на какую еще должность прикажете рассчитывать, когда латышских инженеров посылают чернорабочими на торфоразработки. Поэтесса Айна Перле работает судомойкой во второразрядном ресторане, а известные писатели и бывшие лауреаты Культурного фонда Мелнудркс и Алкснис довольствуются мизерным пособием.

Алкснис прозябал в каком-то глухом городишке и на расстоянии грызся с Мелнудрисом, которому посчастливилось попасть в большой город. «Почему он, а не я? Я более известен, чем этот старый писака, и место редактора нашей газеты по праву принадлежит мне». Мелнудрис в долгу не оставался. Выведав каким-то путем, что Алкснис сверх обычного

продовольственного пайка получает и дополнительный, он настроил заявление бургомистру, прося обратить внимание на «алчного, предающегося своим преступным наклонностям субъекта».

Мелкие интриги, сплетни и склоки составляли главное занятие эмигрантов. Большинство из них привыкли всю жизнь командовать, привыкли жить чужим трудом, а теперь очутились в положении подчиненных. Здесь даже собратья по классу и симпатиям смотрели на них как на обременительный элемент, который приходится терпеть в силу различных политических соображений в качестве дополнительного резерва. Шведские рабочие просто ненавидели эмигрантов, потому что они помогали предпринимателям сбивать зарплату, из их среды вербовали штрейкбрехеров. Работу по специальности латышам не давали, никто не желал признавать их университетских дипломов, врачи не могли получить разрешения на практику. Что им сулило будущее? Все ту же грызню между собой, все то же презрение со стороны шведов и полную нищету.

Зандарт совсем забыл Паулину, лишь изредка вспоминал своих дочек, и скверно становилось тогда у него на душе. Как они там живут, кто о них заботится? Наверно, уехали в деревню к дяде... А ты здесь, в чужой конюшне, корпи, как жук навозный, усердие свое выказывай, когда господин Ларсон соизволит заходить в конюшню. Эриксон уже и покрикивает и скверными словами обзывает, — одним словом, никакого уважения... И никому не интересно, что было у тебя когда-то лучшее в Риге кафе, была конюшня с чистокровными рысаками и красавицы дамы усаждали твою жизнь... Ничего этого теперь не осталось, остался только преждевременно поседевший мужчина с обвислым животом. Когда он выводит чистить лошадей, даже отцветшая старая дева, проходя мимо, — глядит, как на пустое место...

— Зандарт, вам письмо! — крикнул Эриксон, входя в конюшню.

— Мне? Из Латвии? — непроизвольно вырвалось у Зандарта.

Эриксон засмеялся.

— Почему непременно из Латвии? Я этого не сказал.

— Другие же получают, — неуверенно объяснил Зандарт, — почему и я не могу...

— Вы и всерьез воображаете, что в Латвии еще кто-то помнит о вас? — Тренер неприятно улыбнулся. — Очень высокого вы о себе мнения.

— Семья у меня там.

Эриксону, видимо, доставляло удовольствие поиздеваться над Зандартом.

— Была семья, хотите сказать, теперь у вас ее нет.

— Я еще, слава богу, жив...

— Э, какая это жизнь. — Эриксон презрительно дернул плечом. — За такую жизнь я гроша ломаного не дам. И кому, скажите, нужна ваша жизнь? Кому вы нужны? Думаете, здесь, в конюшне, без вас не обойдутся? Великолепнейшим образом, — такого добра везде достаточно.

Зандарт по опыту знал, что спора лучше не начинать, — тогда Эриксон не перестанет пилить до самого вечера, а то, чего доброго, наговорит Ларсону, что теперешний конюх лентяй и растяпа, и завтра же его выгонят. А там иди куда хочешь — или рубить лес, или в шахты, или на торфоразработки. Зандарт проглотил оскорбление и довольно смиренно напомнил:

— Вы сказали, мне письмо...

— Вот оно.

Эриксон достал его из кармана пиджака и положил на скамейку.

«Считает ниже своего достоинства подойти, дать в руки. А сколько лет я его кормил...» — Зандарт подошел к скамейке, взял письмо. Местное: штемпель городской почты. И оно сразу потеряло для него всю ценность. Не спеша, почти с неудовольствием, разорвал конверт, вынул листок бумаги с отпечатанным на машинке трафаретным текстом.

«Глубокоуважаемый единоплеменник!

Приглашаем Вас сегодня в 18 часов в Н. клуб на собрание латышей, проживающих в городе и окрестностях.

Повестка дня:

1. Сообщение о положении в Латвии (докладчик г. Гайлит).
2. Наши текущие задачи (докладчик г. Мелнудрис).
3. Разное.

Ваше присутствие весьма желательно.

По поручению правления

и. о. секретаря Роде».

— Из Латвии, говорите? — съехидничал Эриксон, когда Зандарт прочел письмо.

— Да. Из Латвии, — отрывисто ответил Зандарт и, испугавшись своей дерзости, торопливо добавил: — Из местной Латвии. Хе-хе... На собрание приглашают, важные вопросы нужно решить.

— Президента, наверное, будете выбирать? Или войну большевикам объявите? Вы ведь только об этом и мечтаете.

— От мечтаний до дела еще далеко.

Зандарту надо было кончить работу к четырем часам, чтобы не опоздать на собрание, так как до улицы Оскара, где находился клуб, было далеко. Он в течение часа по крайней мере изливал потоки лести по поводу последних побед Эриксона на ипподроме, и когда тренер стал разговаривать благосклоннее, попросил у него разрешения уйти с работы пораньше.

— Идите... Но только завтра в обеденный перерыв вам придется покрыть лаком качалку.

— Будет сделано, господин Эриксон, как же иначе...

Войдя в свою конуру, Зандарт побрился и переоделся. Старый эрзацкостюм, сфабрикованный, как и многое другое здесь, из древесины, не мог придать ни солидности, ни элегантности его помятой фигуре; ботинки были стоптаны, носки в дырах. Воротничок Зандарт вывернул на другую сторону, показалось, что она почище. Но запах конюшни, насквозь пропитавший его проклятый запах невозможно было уничтожить. Зандарт заранее уже знал, что на собрании никто не захочет сидеть с ним рядом. Это повторялось каждый раз, когда он появлялся в клубе. В чем другом «единоплеменники» давно потеряли всякую разборчивость, а вот носы остались прежние, чувствительные.

«А пусть они повесятся со своими носами, — сердился Зандарт. — Не могу же я ради них из кожи лезть... У самих и в кармане и в брюхе пусто, а они еще фырчат, тьфу!..»

2

Когда Зандарт пришел в клуб, там было человек сто. Медлить с открытием собрания дальше не имело смысла: могли прийти много-много человек десять, больше латышей в городе не было. В тесном зале стояла такая духота, что лица у всех блестели от пота.

— Что же, начнем, — без всякой торжественности объявил Мелнудрис. Он был, как всегда, в черном, академического вида, хотя и сильно поношенном, сюртуке и в полосатых брюках; как всегда, время от времени откидывал назад длинные седые волосы. Несколько секунд он смотрел сквозь роговые очки в зал, пока не затихли разговоры, и начал:

— За последнее время среди нас стали циркулировать всевозможные разговоры. Многие единоплеменники читают различные газеты, слушают радиопередачи из Москвы и Риги: некоторые доверчиво внимают всяким

слухам, распространяемым подозрительными элементами. Все это вместе взятое может сбить с толку даже самого благоразумного человека. Насколько вам известно, некоторые наивные люди поверили большевистской агитации, начали укладывать чемоданы и собираются вернуться в Латвию. Для того чтобы внести ясность в этот существенный вопрос, мы и созвали настоящее собрание. Сегодня вас познакомят с самыми свежими фактами, характеризующими положение в Латвии, и затем с нашими перспективами на ближайшее будущее. По первому вопросу докладывает господин Гайлит. Недавно он имел возможность лично говорить с несколькими единоплеменниками, приехавшими из Латвии. С вашего разрешения прошу господина Гайлита начать.

Мелнудрис сел на председательское место. К столику, который заменял трибуну, подошел высокий, не старый еще человек с лысиной и в пенсне. Он начал с того, что налил стакан воды, отпил глоток, по-видимому приготовясь к длинной речи. Откашлялся, протер пенсне и посмотрел на публику.

— Дамы и господа! Я не стану сообщать вам наиболее известные факты, ибо это было бы напрасной тратой времени. Время, как вы знаете, деньги, а деньги надо беречь. Большевистские агитаторы в последнее время пытаются вбить клин в наши ряды и заманить обратно в Латвию часть — я хочу сказать наименее сознательную часть — наших единоплеменников. Этим лицам, о которых уже упомянул в своей вступительной речи господин Мелнудрис, вероятно еще неизвестно, что в Латвии, как и всюду в Советском Союзе, свирепствует голод в самом страшном значении этого слова. Очевидцы рассказывают, что на улицах Риги люди падают от истощения и умирают на глазах у остальных прохожих. Когда скопившиеся трупы начинают затруднять движение, специальная команда чекистов обходит главные улицы и стаскивает их под ворота или на бульвары. Вечером улицы объезжает черная машина и увозит трупы неизвестно куда...

— Если так много трупов, как же успевают увозить их на одной машине? — раздалось из задних рядов зала.

— Господа, прошу не прерывать оратора, — напомнил Мелнудрис. — Вопросы будете задавать потом...

— Трупы увозят на нескольких машинах, — поправился Гайлит. — Естественно, что в подобных условиях заразные болезни свирепствуют в чудовищных размерах. Почти в каждой семье есть больные тифом, дизентерией, холерой. Водопровод не работает, так что людям нечем мыться, и тому подобное... Во всем городе ходят только два трамвайных

вагона. Они курсируют между Воздушным мостом и набережной Даугавы, и ездят в них только высшие советские чины; остальное население вынуждено ходить пешком. В Риге не осталось ни одной бани, по вечерам город погружается в полную тьму, потому что Кегумскую электростанцию, большевики без шведских инженеров восстановить не могут. Чего только не делали, во всех газетах раструбили, а ничего не вышло, потому что таких специалистов у них нет. По этой причине сейчас закрыты и школы. Только что обсуждали вопрос об отмене семилетнего школьного обучения и введении двухлетнего курса... Прошлой зимой из-за недостатка топлива были срублены на дрова все липы на бульваре Свободы. Из предприятий работают только несколько текстильных фабрик, где ткут мешочное полотно. Теперь у них и костюмы и дамские платья шьют из мешковины.

Тех немногих людей, которые по своему легкомыслию вернулись в Латвию, первые месяцы держат в тюрьме. Потом посылают на тяжелые принудительные работы. Одного известную врача в знак особой любезности послали убирать развалины в Старом городе. Все священники сидят в тюрьме или высланы; церковные колокола сняты и переплавлены для нужд промышленности. В стране везде отчаянная безработица, а если кто и получает работу, заработка хватает лишь на полфунта хлеба в день. Народ ропщет и с нетерпением ждет войны. Последнее нам с вами вполне понятно, если принять во внимание условия, в которых он живет. Вот каково сейчас положение в Латвии, уважаемые дамы и господа. Если имеются вопросы, я готов отвечать.

Гайлит замолчал и отер лицо платком.

— У меня вопрос, — слышалось в задних рядах. — Скажите, пожалуйста, кто, по-вашему, здесь глупее: тот, кто хочет, чтобы мы поверили его сказкам, или тот, кто им верит?

В зале раздался смех, но у большинства людей вид был озабоченный. Неудовольствие выразилось и на лице Мелнудриса.

«Нельзя же так, надо все-таки знать меру и врать в границах правдоподобия, а этот Гайлит потерял доверие даже „наиболее сознательной“ части аудитории. Что у них там, в Стокгольме, ни одного умного человека не нашлось, прислали такого болвана!»

— А вы, случайно, не агент чека? — обратился Гайлит к задним рядам, откуда задали вопрос.

— Сами-то вы чей агент? — невозмутимо продолжал тот же голос.

— Господин Мелнудрис, почему вы не обеспечите порядок в зале? — обидчиво воскликнул Гайлит, оборачиваясь к председателю. — Я не привык выступать в такой обстановке.

Мелнудрис сделал попытку спасти положение.

— Итак, вопросов больше нет, — сказал он, поднимаясь.

— Есть, есть! — крикнул какой-то инженер, сидевший в средних рядах. — Целых три месяца, как я заявил, что желаю репатриироваться в Латвию, а мне до сих пор не дают разрешения на выезд. Нельзя ли тут что-нибудь сделать?

— Вопрос задан не по существу, — объявил сам Мелнудрис. — Об этом спрашивайте в другом месте. Переходим к следующему вопросу. Разрешите теперь мне самому.

— Просим, просим, — щебетнула из первого ряда поэтесса Айна Перле. Платице измятое, под ногтями — черная кайма, щеки побледнели и впали — ох, не сладка жизнь судомойки плохонького ресторанчика! Но она все еще не отказалась от роли избалованной девочки: капризничала, ломалась, поминутно кривила крашенные губы. Она вся извертелась, — ведь когда-то сам Никур голубил ее и называл «конфеточкой».

— Я буду говорить о наших перспективах на ближайшее будущее, — начал Мелнудрис. — Тема очень ответственная. Я буду сохранять полную объективность, я не хочу вводить вас в заблуждение беспочвенными обещаниями. В ближайшее время заметного улучшения в нашем положении не предвидится. Так или иначе, придется пока мириться с прежними условиями. Я думаю, однако, что для нас это уже не представляет особых трудностей, ибо мы с каждым днем все больше ассимилируемся, приспосабливаемся, и таким образом наши потребности начинают соответствовать, так сказать, нашим возможностям. Несколько дней тому назад я, как известно, разговаривал с некоторыми нашими высокопоставленными единоплеменниками, которые поддерживают связь с здешними правящими кругами и с границей. В шведских учреждениях выражают надежду, что со временем они смогут кое-что предпринять для наиболее целесообразного использования перемещенных лиц соответственно, так сказать, возможности применения каждого из них. Это значит, что мы сможем получить работу по специальности, то есть в тех областях, в которых имеем профессиональную подготовку, с известными, конечно, ограничениями. Врачи, например, могут работать фельдшерами в сельских амбулаториях или в качестве санитаров. Инженеры получают возможность выполнять менее ответственную техническую работу, как техники-монтеры, и тому подобное. Хуже обстоит дело с интеллигентами, не получившими специального образования: не зная языка, они лишены возможности заниматься литературным трудом. Но и для них большое значение имеет личная инициатива и удача. Я повторяю, это еще не вопрос

ближайшего времени, я не могу назвать никаких конкретных дат, никто мне их не сообщал. Итак — терпение и еще раз терпение, уважаемые господа и дамы. Латыши, как известно, народ живучий. И если мы будем держаться друг за друга, если будем хранить во всей чистоте национальную мысль, тогда мы вынесем все испытания. Это во-первых.

Он сделал паузу, давая аудитории возможность пережевать не слишком радостное известие и намереваясь, видимо, преподнести на десерт нечто посвежее.

— Я опять-таки не хочу волновать вас слишком определенными обещаниями, но некий луч надежды все же блеснул в нашей серой действительности. Да, в самые последние дни. В Англию приглашен наш представитель на совещание с руководством глазного центра. Ставится вопрос о более правильном и стабильном распределении перемещенных лиц в пределах Британской империи. По-видимому, главный центр получил от некоего английского учреждения известные предложения и обещания, поэтому они так поспешно вызвали представителя латышей, живущих в Швеции.

— Представитель уже известен? — крикнул какой-то нетерпеливый слушатель.

— Выбор пал на меня... Во-первых, потому что я уже бывал в Англии и знаю Лондон, во-вторых, потому что для этого нужен человек, имя которого известно широким слоям общества. Постараюсь добросовестно представлять там ваши интересы. Хорошо, если бы собрание сформулировало свои пожелания в конкретной форме. Прошу высказываться.

— Прежде всего, чтобы разрешали выбирать место жительства по собственному желанию! — крикнул кто-то.

Исполняющий обязанности секретаря Роде записал в протокол предложение.

— Пусть дают работу по специальности без всяких ограничений! — крикнул другой.

— За один и тот же труд — одно и то же вознаграждение, наравне с англичанами и прочими, — высказал свою мечту третий.

— Достаточное пособие на обзаведение хозяйством.

И все остальные высказывания были в том же духе.

Через полчаса собрание закрылось, но «единоплеменники» еще долго не расходились. Спорили, убеждали, нападали друг на друга; одни говорили, что чудес ждать нечего, надо ехать домой, другие стыдили их и даже пускали в ход угрозы. Зандарт больше слушал и лишь изредка

вставлял слово в пользу тех, кто хотел оставаться в эмиграции. Что ему еще делать — пути назад, в Латвию, для него были закрыты, и он завидовал тем, кто не потерял еще возможности вернуться. Он завидовал, но не признавался в этом.

Доклад Гайлита не убедил даже Зандарта.

Документы и деньги на поездку Мелнудрис получил в Стокгольме. Ради такого важного случая он подрезал в парикмахерской свои длинные седые кудри и подстриг усы, но все равно продолжал походить на старого льва. Когда он шел по улицам в буровато-коричневом осеннем пальто и черной фетровой шляпе, все прохожие оглядывались, принимая его за знаменитого ученого или дипломата старого поколения.

Поезд довез его до Зунда, там громадный паром переправил весь состав через морской пролив, и великий дипломат, как ему и полагалось по его высокому рангу, продолжал дальнейшее путешествие почти без задержек.

На другой день Мелнудрису пришлось часов восемь просидеть в одном из городков Западной Германии, который после соединения английской и американской зон оккупации вошел в состав Бизонии. Здесь ему надо было пересесть на другой поезд и далее ехать через Рур, Голландию и Бельгию до самого Кале.

Мелнудрис с интересом наблюдал английских солдат; они с самым непринужденным видом прогуливались по перрону, дымя трубками и сигарами. Англичане сверху вниз смотрели на местных жителей, а те услужливо уступали дорогу каждому англичанину. Почему-то очень много здесь было представителей Армии спасения [\[8\]](#). На станции у них была своя приемная с буфетом и душевспасительными плакатами на стенах. «Шпионят, прохвосты, — благодушно подумал Мелнудрис, с любопытством наблюдая очкастых старых дев в форменных шляпах с надписями. — Пусть они не рассказывают, что занимаются обращением заблудших душ... Вероятно, так надо».

Железнодорожник-немец, воспользовавшись моментом, когда вблизи никого не было, знаками попросил у Мелнудриса сигарету. Старый лев отвернулся, притворившись, что не понял смысла этой жестикуляции: он никогда не увлекался филантропией, а теперь и подавно. Что касается получаемого в Швеции пособия, Мелнудрис рассматривал его как

долгосрочный аванс под будущие великие произведения Впрочем, он и сейчас работает немало, — взять хотя бы эту поездку за границу по государственным делам.

— Одну затяжечку, господин...

Неизвестно, чем кончился бы этот своеобразный поединок между железнодорожником и задетым в своих экстерриториальных чувствах дипломатом, если бы на горизонте в эту минуту не появился персонаж, ради которого Мелнудрис собственно и сделал остановку в этом городке.

Со смиренной улыбкой на лице, в осеннем не первой свежести пальто на плечах к Мелнудрису медленно приближался Альфред Никур, еще издали протягивая руку. Лицо у него немного одрябло, под глазами висели заметные мешочки, усики начали седеть. Мало что осталось от прежнего «превосходительства», разве что глаза, узкие, бегающие по сторонам, старающиеся все схватить, все удержать, — глазки шпиона.

— Здравствуйте, великий писатель! — воскликнул он, с жаром встряхивая руку Мелнудриса. — Ну, не права ли старая поговорка: гора с горой не сходятся, а человек... Как ехалось? Как здоровье? Вижу, что нисколечко не постарели...

— Держимся, господин Никур, держимся, — ответил Мелнудрис, слегка сгибая, по старой привычке, спину, как будто перед ним стоял сам сиятельный министр, а не эмигрант Никур. — А вы как? Почки не капризничают?

— Понемногу. А как поживает госпожа Мелнудрис? По-прежнему полна бодрости, все такая же верная подруга в дни жизненных невзгод?

Внимание Никура льстило старому придворному поэту. Он тоже хотел было осведомиться о самочувствии супруги бывшего министра, но, к счастью, вспомнил, что тот уже во второй раз бросил свою «кошечку», и быстро забормотал что-то о величайшем удовольствии, которое доставит жене внимание Никура. И почти без перехода, деловым тоном спросил:

— Вы, наверное, спешите? По-прежнему ни минуты досуга, по-прежнему множество обязанностей?

— Мм-да, — промычал Никур. — Работы у меня всегда было достаточно... Скажите, это весь ваш багаж? — Он показал на большой чемодан в сером чехле.

— Да, это все. Теперь не станешь так нагружаться, как в молодые годы.

— Зайдемте в буфет. Нам надо обсудить кое-какие актуальные вопросы. Разрешите, я помоложе... — Никур вознамерился взять чемодан. Мелнудриса испугала такая любезность, и он вцепился в свое имущество.

— Я сам... извините... как это можно...

Они любезно поспорили, затем Никур отстал, позволив Мелнудрису самому нести чемодан. Да и не привык еще бывший министр играть роль носильщика.

В буфете они сели за свободный столик и заказали по чашке кофе. За остальными столиками дремали англичане-военные, вытянув ноги во всю длину, так что каждый входящий в буфет вынужден был переступить через них. Возле стойки сержант угощал накрашенную женщину, по-видимому проститутку. Около шкафа, заставленного бутылками, висела фотография английского короля с семьей. Все четверо: король, королева и обе принцессы, улыбались.

— Итак, вы едете в Лондон... — сказал Никур. — Это очень важно, потому что Лондон и есть то место, где можно добиться ясности, определенности...

— Откровенно говоря, поехать надо было кому-нибудь другому, — сказал Мелнудрис. — Например, вам.

— Как сказать, — ответил Никур, осторожно косясь на собеседника: серьезно он говорит или только притворяется? Взгляд Мелнудриса успокоил его — по-видимому, тот ничего еще не знал о значительных переменах в положении Никура. Дело в том, что бывшее превосходительство с некоторых пор официально не занимал ни одной общественной должности. Год тому назад на большом совещании перемещенных латышей ему пришлось выйти из совета, так как по указаниям англо-американских учреждений руководящие круги эмиграции должны были выдвигать новых людей, которые не были скомпрометированы в годы гитлеровской оккупации и ранее, в годы диктатуры Ульманиса. Старые звезды не могли вести за собой смятенные массы эмигрантов. А Никур был один из самых скомпрометированных лиц. Официально его освободили от всех общественных должностей, а неофициально, за кулисами, он продолжал играть одну из главных ролей. Понятно, что его нельзя было послать в Лондон. Для этой миссии требовался человек, которого можно было еще упоминать в газетных отчетах.

— Как сказать... — повторил Никур. — Мы знаем ваши способности. Притом я занимаюсь вопросами иного характера. Последнее время мне все чаще и чаще приходится иметь дело с американским военным командованием и пропагандистскими учреждениями. Я постоянно бываю в лагерях перемещенных лиц, встречаюсь с единоплеменниками, узнаю их настроения. Даже сталкиваюсь с советскими офицерами, которые

организуют репатриацию.

— Ага. Что, есть у них какие-нибудь успехи?

— Надо признать, что да. Многим осточертела жизнь в лагерях перемещенных лиц. Бесперспективность заставляет задумываться даже самых неподатливых людей. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помешать возвращению единоплеменников в Латвию, и наши английские и американские друзья всячески оказывают поддержку в этой трудной и неблагодарной работе. Пожаловаться на недостаток помощи не могу. Поймите, что мы никоим образом не имеем права допускать массовую репатриацию. Во-первых, она подрывает наш авторитет в глазах учреждений Бизонии, нас сочтут несостоятельными организаторами. Во-вторых, репатриация даст оружие в руки большевиков, и это оружие будет направлено против нас. Некоторые из уехавших уже выступали в Риге перед микрофоном и рассказывали разные неприятные вещи о лагерях перемещенных лиц, о нашем поведении и так далее. В-третьих, и это самое главное, нам никак нельзя лишаться масс. Чем мы станем, если все вернутся обратно в Латвию, кто с нами станет считаться, кому мы будем нужны? Пока в нашем распоряжении имеются массы, которыми можно оперировать, распоряжаться, которые можно передавать американцам, англичанам, мы еще — вожди. Но как только мы останемся одни — мы превратимся в нуль и нынешние наши доброжелатели повернутся к нам спиной.

— Это было бы весьма болезненно, — согласился Мелнудрис.

— Это была бы катастрофа. Поэтому надо делать все, чтобы не допустить этого. В Лондоне надо сказать правду в глаза. Положение критическое. Если в Англии не пойдут нам навстречу и не позволят разместить наших эмигрантов в приемлемых условиях в самой Англии, Канаде, Южной Африке и других местах, мы потеряем, упустим из рук реальную силу, которая когда-нибудь пригодится и им. Ведь зачем скрывать: в таких больших государствах, как Англия, без широкой агентурной сети нельзя делать никакой политики. И агентура есть, только надо удержать ее и использовать.

Старый разведчик и шпион сразу взыграл духом, коснувшись родной стихии. Глаза у него блестели, ноздри раздувались, голос стал выразительным.

— Выступайте смелей, требуйте. Вы (говорите не только от своего имени — за вами стоят тысячи.

— Я буду, по возможности, требовать категорически, — сказал Мелнудрис. — Они узнают, насколько серьезно положение.

— Когда вы будете возвращаться, мы непременно встретимся. Я вас познакомлю с некоторыми приемами антисоветской агитации. В Швеции вам пригодится. Пока что вы плохо работаете, это я должен сказать без обиняков. Точно злости в вас нет, а если попробуете рубануть, попадаете мимо. Так нельзя, надо рубить с ручательством. Сейчас у нас появилось в руках новое оружие... Большевики начали вводить в Латвии колхозы.

— Разве? В первый раз слышу.

— Вы еще многого не знаете.

В буфет вошел высокий, с белокурыми усами, майор королевских воздушных сил. Заметив Никура, он незаметно поздоровался с ним одним взглядом, и Никур ответил таким же незаметным кивком головы. Потом они сделали вид, что не знают друг друга. Майор подошел к стойке и заказал кофе, которое тут же, не присаживаясь, выпил, и стал шепотом говорить с буфетчиком. Сержант с проституткой уже ушли. Выходя, майор опять посмотрел на Никура и, сунув пальцы за борт френча, побарабанил по груди.

— Вы останьтесь здесь, а я на минутку выйду, — сказал Никур немного спустя Мелнудрису и вышел вслед за майором.

— Это тот, о ком вы мне говорили? — спросил майор, когда они встретились на перроне.

— Тот самый. Доверчивый и во всяком случае безвредный человек.

— Стоит завербовать?

— Почему же нет? У него довольно обширные связи. Но с ним надо обращаться осторожнее. Остались еще кое-какие дурацкие предрассудки. Может запрявиться.

— Мы его поставим в такое положение, что он будет рад любому выходу. На наших парней можете положиться.

— Я знаю. — Никур улыбнулся.

Возвратясь в буфет, он заказал кофе и пожертвовал Мелнудрису еще полчаса своего драгоценного времени. Потом они распростились.

Вечером Мелнудрис снова продолжал свой путь. Поезд был полон английских военных и девушек из корпуса вспомогательной службы, уезжавших в очередной отпуск в Англию.

Рурский промышленный район они проезжали в темноте, но красновато-белое зарево доменных печей, похожих на разинутые звериные пасти, играло в ночи; непрерывно идущие в несколько рядов составы с углем, рудой и готовой продукцией свидетельствовали о размахе промышленной жизни области, которую захватил в свои руки капитал страны доллара.

«Вот она, великая кузница войны! — думал Мелнудрис, вглядываясь в нескончаемые ряды заводских корпусов, идущие во всех направлениях. — Жаль, что не удалось повидать днем, впечатление было бы еще сильнее. Наверное, нарочно устроили так, чтобы поезд проезжал через Рур ночью, поменьше увидят...»

Проснувшись утром, он увидел за окном однообразную, напоминающую поверхность стола равнину Северной Франции. Мимо скользили серые каменные домики крестьян, дворы с сохнувшим на веревках бельем, узкие каналы и странные неповоротливые лодки, спокойные, проворные люди, вывозившие навоз на поля.

В Кале их встретил мелкий, унылый дождик. До отхода парохода оставалось еще много времени. Сдав чемодан на хранение, Мелнудрис вышел побродить по улицам маленького славного городка, в истории которого многие страницы посвящены борьбе его граждан с английскими захватчиками. Чудесное старинное здание мэрии, знаменитая скульптура Родена «Граждане Кале» на маленькой площади, насквозь продуваемой солеными ветрами Ламанша, — фигуры на памятнике совсем позеленели от сырости. В витринах магазинов выставлены духи, дамские сумочки, пестрые туфли, цена которых выражалась в тысячах франков (кто же может покупать их?). А на улицах — молодые женщины, мальчики и девочки с голыми икрами, без чулок. И это в начале зимы. Не новая ли это мода?

«Покупать не могут, вот в чем штука», — подумал Мелнудрис.

Тех, кто мог купить и покупал обеими руками, он увидел позже, на пароходе. Вся палуба первого и второго классов была полна американских туристов и спекулянтов. Они громадными чемоданами увозили за море из несчастной, ограбленной Франции обувь, чулки, дамские шляпы и платья, шелк, атлас и бархат, а французские дети зимой ходили без чулок.

«Так было всегда, так будет, — примирительно подумал Мелнудрис. — Никогда люди не достигнут равенства...»

В Ламанше его немного помучила морская болезнь, поэтому он очень обрадовался, когда пассажирский пароход пришвартовался к берегу в Дуврском доке. После короткого таможенного осмотра Мелнудрис сел в лондонский экспресс и поздно вечером сошел с него на вокзале Виктории.

Мелнудрису показалось, что он попал в гигантский кипящий котел. После тихих шведских городов лондонский грохот и фантастическое

уличное движение угнетали его. В этом шуме было что-то противоестественное. Непрерывный поток машин — автобусов, такси, лимузинов, «пикапов», мотоциклов — несся в обоих направлениях с предельной дозволенной скоростью. Тысячи гудков, звонков и свистков полицейских сливались в хаос звуков, составлявший как бы нижний слой вечно облачного лондонского неба. Он тяжело нависал над городом, он давил и душил, раздражал барабанные перепонки и нервы.

Дорогой в гостиницу, сидя в такси — одной из тех странных, неудобных коробок, которые во множестве фабриковали во время войны для нужд армии, — Мелнудрис десятки раз вздрагивал, закрывал глаза, в полной уверенности, что в следующую минуту такси столкнется с мчащимся навстречу автобусом. С непривычки пугало и то, что машины едут по левой стороне. Все отчаянно спешили, точно стараясь что-то схватить или вырваться из чьих-то рук.

«И как люди живут в таком аду? — думал он. — Здесь с ума сойдешь. Нет, если бы я был королем, непременно перенес бы свою резиденцию в какой-нибудь тихий городок...»

Но пока он не был ни королем, ни даже придворным и должен был мириться со всем, что предоставляла ему эта туманная страна. Поместили его в большой старой гостинице; окна комнаты выходили на Темзу. Уличные фонари светили белесоватым светом, который не мог рассеять темноту.

— How do you do? ^[9] — здоровались знакомые в вестибюле гостиницы, в лифте, в коридорах.

— How do you do, — равнодушно отвечали им.

После этого и тем и другим казалось, что они хорошо поговорили.

Гордо закидывая голову, словно павлины, везде прогуливались американцы, чувствовавшие себя гораздо больше хозяевами этой страны, чем постоянные ее обитатели. Каждого встречного они окидывали взглядом, который выражал один вопрос: сколько ты стоишь? За сколько тебя можно купить?

Мелнудрис принял ванну, сменил белье и долго рылся в телефонной книге, пока не отыскал номер руководителя главного центра. «Джон К. Папарде... вот как он здесь зовется...» Что означает буква К., вставленная между именем и фамилией, Мелнудрис так и не мог догадаться. «И ловкач же, — подумал он, таким англичанином заделался, что близко не подходит. Будто я не знаю, что ты латыш Янис Папарде, портной-подмастерье, который вышел в дипломаты. Шил, шил смокинги и фраки английским и французским господам, пока не изучил языков — и

карьера готова!»

— Слушаю, — ответил по-английски Папарде. — Ах, это вы, господин Мелнудрис, я ждал вашего приезда только послезавтра. Нет, это ничего, что вы поспешили. Завтра в пять часов вечера я могу принять вас. Тогда обо всем и информирую. До свиданья, мистер Мелнудрис, не забудьте — завтра в пять вечера. Отдохните, осмотрите Лондон. Рекомендую поглядеть французское ревю. Зрелище пикантное. Good bye! ^[10]

Однако вечером Мелнудрис никуда не пошел. Он устал с дороги, а поданный ему ужин был так скуден, что не мог восстановить силы старого льва. Несколько жареных картофелин, которые здесь назывались сэндвичами, прозрачный ломтик говядины, пудинг и чашка чая — вот и все. «С такой еды будешь и не жилец и не мертвец».

Мелнудрис рано лег спать, и долго еще урчало у него в животе. Но он не злился. Плохо только, что такая дороговизна: с тем небольшим запасом фунтов, что он привез, далеко не уедешь. Придется натягивать, чтобы хватило до Швеции... и неизвестно, удастся ли что-нибудь вырвать у Папарде — нет, он не из щедрых.

Поданный на следующее утро завтрак заставил его задуматься еще сильнее. Одно яйцо, тонкий, как бумага, ломтик ветчины и два бисквита с вареньем только раздразнили аппетит.

«Неужели и правда у них так жидко? — удивлялся Мелнудрис. — Да ведь это нищета. Что с тобой стало, Джон Буль?»

Он больше часу ходил по лондонским улицам, посмотрел витрины на Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Какой-то старик пел солдатскую песенку времен первой мировой войны и просил милостыню. Бродячий художник рисовал мелом на тротуаре портреты и протягивал прохожим шляпу. За каждый поданный пенс он кланялся и повторял: «Благодарю, сэр. Благодарю, миледи. Ради Христа, помогите бедному талантливому художнику купить краски и полотно для великой картины... Благодарю, сэр...»

В уголке Гайд-парка, недалеко от Мраморной арки, стояли на столиках ораторы и голосом профессионалов держали очередную речь о вопросах небесной и земной жизни. Возле одного столика стояли лишь две пожилые женщины и паренек лет двенадцати, однако оратор все повышал голос, и из его уст вырывались такие громы, как будто он говорил перед огромным скоплением народа.

— Я спрашиваю: кто дал право членам парламента вводить этот новый собачий налог? Разве для них не имеют значения наши национальные интересы? Собака, как всем известно, принадлежит к наиболее

излюбленным и распространенным видам животных. Многим супружеским парам они заменяют детей. Мы едим с ними из одной тарелки, мы укладываем их в свою постель, они составляют самую великую радость и красоту жизни, и, когда эти любимцы умирают, мы хороним их на кладбище, как самых близких родных, и ставим на незабвенных могилах мемориальные доски и даже прекрасные памятники. «Спи сладко, милая Дженни — мы снова встретимся там, в небесах», — пишем мы золотыми буквами на памятнике дорогим усопшим. Разве не священны эти чувства, разве не должен бы каждый член парламента десять раз подумать, прежде чем подать свой голос за этот бесчеловечный закон? Я призываю вас подать петицию его величеству королю и просить высокочтимую палату лордов не утверждать этот закон. Мы не можем забывать интересы наших многочисленных любителей собак и принуждать их к жестокому шагу — к уничтожению лучших своих друзей. Еще знаменитый натуралист Брем в своем бессмертном труде «Жизнь животных» писал, что...

— Э, да ты, братец, горазд говорить, — пробормотал Мелнудрис и подошел к другому оратору, возле которого столпилось человек сто. Одни слушали его с глубоко серьезным видом, другие посмеивались, третьи позевывали, но не отходили. Привычка.

— Ключи царствия небесного находятся в ваших руках, — кричал склеротического вида толстяк. — Надо только знать, как с ними обращаться. Иной ученый слесарь хочет стать умнее всего света, а когда возьмется за эти ключи и пробует отпереть — ничего не получается, ибо не руками это делается, а сердцами, душами нашими, нашим бессмертным духом. Тот, кто оставляет свой шиллинг в кабаке за пинту пива, веселит свою грешную плоть, но дух его не утоляется, он жаждет иной, влаги. Напротив, тот, кто жертвует один лишь жалкий сикспенс на ремонт убежища для престарелых девиц, возрадуется всеми струнами своей души, и перед ним откроется маленькая скважина в царствие небесное. Не думайте, что в эти ворота пролезут самые тонкие, там каждому своя мера. Леди и джентльмены, жертвуйте на ремонт убежища для престарелых девиц.

Третий оратор устроился шагов на пятнадцать дальше и посвятил свою речь животрепещущей проблеме влияния сапожной мази «Нуджет» на семейное счастье и состояние здоровья лондонских жителей.

— Коммунисты во всех наших трудностях винят капиталистов, говорил он. — Посмотрим, так ли это.

И он столько времени трещал о разных разностях, пока не пришел к заключению:

— Капиталисты ни в чем не виноваты. Эти порядочные джентльмены дают вам работу и средства существования — дай бог, чтобы побольше их было! Виноваты вы сами, потому что чистите свою обувь разными низкопробными мазями и забываете, что только сапожная мазь «Нуджет» отвечает вашим интересам. Вывод ясен: покупайте «Нуджет»!

Убив таким образом с пользой и интересом время, Мелнудрис вернулся в гостиницу и пообедал. Положительно, здешняя еда была ему, что медведю земляника. Приехав в Англию, Мелнудрис еще ни разу не чувствовал себя сытым.

В половине пятого он взял такси и поехал к Папарде.

— Здравствуйте, мистер Мелнудрис. Как приятно видеть вас живым и здоровым, когда столько уже наших друзей покоятся в могилах!

Маленький седой человек пожал гостю руку и с умеренно-радостной улыбкой разглядывал Мелнудриса сквозь пенсне.

— Вы хорошо сохранились, уважаемый поэт. («Он уже забыл, что я пишу романы, а не стихи», — подумал Мелнудрис.) Вы еще можете увлекать женщин... хе-хе-хе. Все пописываете стихи? Чудесно. Чем бы стала наша жизнь без поэзии? Печальной юдолью, в которой мы, бедные грешники, должны влачить свои дни. Пожалуйста, в кабинет, мистер Мелнудрис.

Пятнадцать — двадцать лет службы на дипломатическом посту не могли бесследно вытравить манер портного. Проворный, подвижной, он прыгал вокруг Мелнудриса, постепенно увлекая его к кабинету, оборудованному мебелью какого-то грузного стиля. Посреди комнаты стоял огромный письменный стол. На стенах висели герб буржуазной Латвии и несколько портретов лиц, которых метла истории давно уже вымела на свалку. На столе, на виду, лежал сборник афоризмов и речей Ульманиса с его автографом.

От всего здесь пахло прошлым, а больше всего от маленького седого человечка в полосатых брюках и черном сюртуке.

— Хорошо доехали? — спросил он, опускаясь в кожаное кресло.

— Не могу пожаловаться, — ответил Мелнудрис, начиная чувствовать себя настоящим дипломатом, и поудобнее расположил свои старые кости в глубоком кресле. — В Германии у меня была приятная и полезная встреча с господином Никуром. Он шлет вам самый сердечный привет и просит вспомнить те времена, когда вы вместе охотились в Угальских лесах.

— О, это была богатая приключениями охота, — весело подхватил Папарде. — Итальянский посол отморозил нос и потом целый месяц не мог нигде появиться. Я застрелил кабана и две косули. Так вы говорите, с

господином Никуром?.. — Он вдруг изменил тон и взглянул на часы, намекая Мелнудрису, что времени V них немного. — Какие же известия вы мне привезли?

— Не думаю, что очень вас обрадую. Мы с господином Никуром думали, что лучше всего сообщить вам всю правду, без прикрас и смягчений.

— Это то, чего я хочу, — сказал Папарде.

Мелнудрис рассказал ему все: об условиях жизни в Швеции и в Бизонии, о грозящей катастрофе и о великих надеждах, которые возлагались на Папарде.

— Фактически мы все считаем вас своим главой, — сказал он, стряхивая пепел с сигареты в фарфоровую пепельницу. — Если нас хотят сохранить как реальную силу и как действенный фактор, англичане должны прийти нам на помощь. Одними обещаниями сыт не будешь. Мы уже становимся смешными в глазах масс, и подобное положение с каждым днем все более компрометирует нас. Простите, что я говорю так резко, но вы, надеюсь, поймете причину моей тревоги.

— Понимаю, — равнодушно ответил Папарде. — На что вы еще надеетесь?

— На вашу помощь.

— Помощь — хорошая вещь, если у вас есть чем помогать, если вы хозяин могущественной империи и если у этой империи нет своих неотложных громадных нужд. К сожалению, я только неофициальный представитель в чужой стране.

— Не хотите же вы сказать, что англичане не желают... или не могут оказать нам помощь? — Мелнудрис даже побледнел при этих словах.

— Я еще не сказал, что не могут. Но вы ведь знаете англичан. Они не возьмутся за дело, если оно не рентабельно, если оно не принесет им выгоды. Забудьте все эти иллюзии насчет филантропии и великодушия. Есть только лавка, и в лавке товар и покупатели.

— Мы и являемся товаром, а они покупателями, — вздохнул Мелнудрис.

— И они не хотят заплатить за нас слишком дорого.

— Хоть что-нибудь они обещают?

— Боюсь, что предложенная цена не обрадует вас.

Мелнудрис не стал спрашивать — он испуганно глядел в лицо Папарде.

— На днях у меня был серьезный разговор с одним официальным лицом, — сказал Папарде. — Ему была поручена эта беседа. Я

информировал его об условиях жизни, о всех наших нуждах. Предложения его надо рассматривать как окончательные и официальные. Молодых, физически сильных людей они согласны разместить в угольных районах Англии — в Уэльсе, Нью-Кастле и так далее. Молодые, здоровые женщины могут найти работу в качестве прислуги, причем договора надо заключать на определенный срок. Многих можно отправить в Канаду, будут работать лесорубами и на сплаве. Некоторую часть людей могут использовать бельгийцы в угольных шахтах.

— А старики? Куда им деваться?

— У них здесь хватает своих стариков. Вы знаете, что на этих островах стариков больше, чем молодых, здоровых людей. Этот народ постепенно стареет, и, по расчетам статистики, через каких-нибудь сорок лет Англия станет страной стариков, так лет семидесяти, если они будут доживать до этого возраста. И это совершенно естественно. Рождаемость очень незначительная, молодежь уезжает в доминионы и колонии, разбросанный по всему миру правительственный аппарат империи отрывает от нормальной семейной жизни множество мужчин. Как же не постареть Англии?

— Получается так, что им нужны только работники физического труда, — заговорил упавшим голосом Мелнудрис. — Куда же девать нашу интеллигенцию, ученых, специалистов?

— Интеллигенции придется переквалифицироваться на низшие специальности. Пусть переучиваются на кузнецов, горняков, кочегаров. Пусть начинают привыкать к физическому труду, и чем скорее, тем лучше. Наши врачи и инженеры здесь не нужны.

— И это все?

— К сожалению, все.

Папарде опять посмотрел на часы и встал.

— Как я расскажу об этом, когда вернусь назад? — обращаясь скорее к самому себе, спросил Мелнудрис. — Они там ждут совсем других новостей.

Папарде пожал плечами.

— Пора нам стать реалистами, научиться смотреть правде в глаза... Мне было очень приятно, но через полчаса я должен быть в «Савое» на важном приеме и теперь поневоле вынужден спешить. Но я надеюсь встретиться с вами перед вашим отъездом. Между прочим, когда вы едете?

— Мне здесь больше делать нечего... Могу хоть сегодня... Все равно ничего не добьешься. И с деньгами плохо — не знаю, хватит ли до Швеции. Если бы вы могли... что-нибудь из тех самых сумм... был бы весьма

признателен.

Суммы, на которые намекал Мелнудрис, были запасы золота и валюты, тайно переправленные в 1940 году за границу. Все эти годы они кормили Папарде и прочих ему подобных агентов рухнувшего режима.

Папарде улыбнулся.

— Если вы полагаете, что от этих сумм много осталось, то ошибаетесь. Пропаганда, воздействие на прессу, пособия... Сколько вам нужно?

— Сколько найдете возможным, — залепетал Мелнудрис. — Поймите, мне шестьдесят лет... Надо же учесть известные заслуги... Постоянно в трудах.

Папарде подумал немного и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся. В руках у него была пачка банкнотов.

— Здесь сто фунтов, — сказал он, избегая взгляда Мелнудриса. — Распишитесь, пожалуйста, в получении. На всякий случай, — а вдруг вы сами станете когда-нибудь государственным контролером.

Они распростились — правда, уже не так радостно и громогласно, как встретились. Папарде похлопал по плечу Мелнудриса.

— Не вешайте голову, мистер Мелнудрис. Еще много чего может случиться.

Мелнудрис отпустил такси, когда приехал к Папарде. Район этот был тихий. Лондон уже погрузился в ночной мрак. Старый лев пешком шагал в сторону центра. Часть пути он прошел через парк, потом вышел на Пикадилли. Около часу потолкался на улицах и, наконец, решил посмотреть спектакль в Ковент-Гарденском театре.

Напрасно ходил он по театру в поисках гардероба — его здесь не было. Джентльмены свертывали свои пальто и клали их на пол под стулья. Зрители протискивались к своим местам, наступая на платье, шляпы, но это никого не смущало. Ставили какой-то малоизвестный балет; спектакль не произвел впечатления на Мелнудриса, и он ушел после второго действия. Снова очутился на Пикадилли и медленно зашагал вдоль Зеленого парка по освещенной газовыми фонарями улице. Ему много раз встречались молодые покрашенные женщины, но он чувствовал себя слишком старым, чтобы думать о шалостях. На углу Гайд-парка женщин сменили покрашенные подростки и мужчины.

— Пойдемте, джентльмен, — приглашали они Мелнудриса, назойливо заглядывая ему в лицо. Тут он пришел в ярость, замотал головой и, отмахиваясь руками, как от роя мух, быстро зашагал дальше. Едва успевал он отделаться от одного, как за ним увязывался другой, за подростком

появлялся взрослый, за покрашенным мужчиной — покрашенная женщина. Так продолжалось, пока он не вышел из парка.

— Несчастье с этими искушениями большого города, — вздохнул старый лев. — Стариков и то не хотят в покое оставить. Неужели у меня вид донжуана? Как мухи на мед...

Мелнудрис приписывал чистой случайности то, что его так доняли в этот вечер. Если бы он, бродя по городу, немного внимательнее смотрел вокруг и наблюдал за прохожими, то давно бы догадался, что за ним следят. В Интеллидженс-сервисе его отнюдь не считали опасным иностранцем и, вероятно, не стали даже узнавать, зачем он приехал и с кем встречался, но не случайно еще в Германии майор королевских воздушных сил имел тайный разговор с Никуром на перроне вокзала. Мелнудрис был добычей, а хитроумные загонщики крались по его следам в ожидании подходящего момента, чтобы уничтожить его как независимую личность, каковой он считал себя в простоте душевной.

Так и не удалось никому привязаться к нему до самой гостиницы. Он поднялся в лифте на свой этаж и долго мыл руки и лицо. В насыщенном копотью лондонском воздухе все быстро чернело. Вода, стекавшая с рук, походила на деготь, а когда Мелнудрис взглянул в зеркало на свой воротничок, то пришел в ужас. Утром, когда он надевал его, воротничок был совершенно чистым, а за день стал темно-серым. Он провел по нему пальцем, и на пальце осталась грязь. Как же идти ужинать в таком виде? Если каждый день надевать свежий, не на что будет выбраться из Англии. И он сделал то же, что сделал Зандарт в своей собачьей конуре: вывернул воротничок на другую сторону. Ну вот, теперь можно еще некоторое время проходить в нем. Сидя за ужином в общем зале, Мелнудрис убедился, что у многих англичан и американцев воротнички были еще грязнее. Вероятно, люди примирились с неизбежным злом и такие мелочи их не беспокоили.

Он весь вечер чувствовал себя удрученным и не обратил внимания на красивую девицу, которая старалась все время привлечь его взгляд. Раз это ей почти удалось, и она поспешила улыбнуться, но Мелнудрис думал о своем разговоре с Папарде и не заметил этой улыбки.

«Интеллигенции надо переквалифицироваться, — насмешливо звучало в его ушах. — Будь ты помоложе, то мог бы выучиться на кочегара. Теперь в лучшем случае поедешь пасти скотину. За это ли мы воевали и страдали? К этой ли цели вели нас пятнадцатого мая тридцать четвертого года?»

В одном лишь смысле эта поездка в Англию принесла пользу: теперь по крайней мере ясна истина, горькая, ужасная, но все-таки истина.

«К будущей весне половина людей вернется в Латвию. Останутся

лишь те, кому некуда ехать... если даже они захотят».

Он выпил стакан бордо, купил в вестибюле газету и сигареты и поднялся в свой номер.

Через несколько минут в дверь постучали. Думая, что это горничная (наверно, пришла приготовить на ночь постель), он открыл дверь. В коридоре стояла та самая красивая девушка, которая так настойчиво наблюдала его в общем зале. Мелнудрис ее не узнал.

— Можно? — спросила она таким тоном, как будто пришла по серьезному делу. — Мне нужно кое-что сообщить вам.

— Пожалуйста, — ничуть не любезно ответил Мелнудрис и отодвинулся, пропуская женщину в комнату.

Она обвела взглядом номер, сама закрыла дверь и вдруг улыбнулась Мелнудрису.

— Давайте ляжем, джентльмен.

Мелнудрис чуть не подскочил.

— Что, что вы сказали? На каком основании вы ворвались в мой номер?

Женщина опять улыбнулась и, не обращая внимания на негодующего Мелнудриса, начала быстро раздеваться.

Что-то безумное, бредовое было во всем этом.

— Уходите, уходите отсюда, слышите? — прошипел Мелнудрис, сжимая кулаки. — Я позвоню, я вызову на помощь полицию.

— Не грозись, милашка... — со смехом сказала она и преспокойно нырнула под одеяло. — Какая мягкая постель!.. Ой, как здесь хорошо!

Мелнудрис в полной растерянности смотрел на женщину, не зная, что предпринять. Положение было прямо убийственное. Каждую минуту мог войти слуга, которому он еще днем сказал, что хочет отдать выгладить измявшийся в дороге костюм.

— Послушайте, — почти умоляюще сказал он. — Уйдите отсюда... Я вам заплачу... если уж вам так хочется заработать.

Женщина не переставала улыбаться и ничего не говорила.

В дверь постучали, и, как принято в лондонских гостиницах, не дожидаясь разрешения, в комнату вошел молодой плотный парень в форме гостиничного слуги. С ним был худощавый, средних лет человек в черном костюме, не то старший по этажу, не то еще кто-то из административного персонала гостиницы. Войдя в номер, оба они усталились на лежащую в постели женщину; на их лицах выразилось изумление и негодование.

— Женщина? У нас в гостинице? — в ужасе прошептал слуга. — Если об этом узнают, репутация нашей гостиницы навсегда погибла. Ни один

порядочный человек не захочет здесь останавливаться. Господин, вы поступили против правил, вы нарушили закон.

— Я ее не звал! — трагически выкрикнул Мелнудрис. — Она сама ворвалась в номер. Я вас очень прошу, помогите мне избавиться от этой особы. Я только что хотел позвонить, хорошо, что вы сами пришли.

— Гм... — Служитель вопросительно посмотрел на другого мужчину. — Неприятная история, мистер Грин.

— Мы должны сейчас же донести об этом в Скотленд-Ярд, — возмущенно воскликнул другой. — Сначала только зафиксируем обстановку, чтобы иметь вещественное доказательство. — Он достал из кармана маленький фотоаппарат и быстро сделал несколько моментальных снимков, так, чтобы на фотографиях вышли оба: и Мелнудрис и женщина.

«Я погиб, — с отчаянием подумал Мелнудрис. — Завтра снимки появятся в газетах... Папарде, Никур... все об этом узнают».

— Вы женаты? — строго спросил человек с фотоаппаратом.

— Да... Но это не моя жена, — забормотал Мелнудрис.

— Это мы знаем. А обо всем этом... — молодой человек показал на женщину, которая спокойно, даже с любопытством наблюдала разыгрывавшуюся перед ней сценку, — обо всем этом мы сообщим вашей супруге.

— Ради бога! — воскликнул Мелнудрис. — Только не это... Тогда я погиб.

— Вы сами в этом виноваты.

— Неужели нельзя скрыть этот несчастный инцидент? — детски-жалобным голосом сказал Мелнудрис. — Я готов заплатить какой угодно штраф, только не предавайте его гласности.

Молодой человек смотрел на Мелнудриса, о чем-то в это время думая.

— Сомневаюсь, — сказал он. — Но если хотите, можно попробовать. Только вам тогда придется поговорить с моим начальством.

— Где он? Когда я могу его увидеть?

— Попробуйте вызвать по телефону. А вы, уважаемая... — молодой человек обернулся к женщине. — Одевайтесь-ка да покажите свои документы, мы вас задержим на некоторое время.

— Но он еще не заплатил мне, — сказала женщина и, ничуть не стесняясь, начала одеваться.

Через час к Мелнудрису вошел хорошо одетый, солидный господин с седыми висками и представился как мистер Финчлей.

— Вы скомпрометированы, — бесстрастно сказал он. — За подобные проступки полагается от году до трех лет тюрьмы.

— Да ведь она сама ворвалась в номер! Если бы я знал, что будет вытворять эта тварь, я ни за что бы не открыл дверь! Это форменный шантаж.

— Все так говорят! Если мы будем принимать на веру показания всех обвиняемых, нам придется закрыть свое учреждение. Скажите, пожалуйста, это факт или нет? — Финчлей показал Мелнудрису уже проявленные и отпечатанные фотографии: получились они довольно четкими. — Кому же нам верить: вашим словам или этим фотографиям?

— Я хочу, чтобы вы хоть немного поверили мне.

— Мы верим фактам. Вы же не станете отрицать, что все это произошло в вашем номере?

— Не могу отрицать, но все это произошло против моего желания.

— Мне безразлично, как это произошло. А теперь поговорим, как мужчина с мужчиной. Хотите, чтобы эти фотографии завтра появились в газетах, или же вы предпочтете, чтобы мы замолчали этот случай?

— Вы еще спрашиваете, — чуть не плача ответил Мелнудрис. — Если только возможно, спасите меня от скандала.

— Прекрасно, все останется между нами. Вам только остается подписать эту бумагу. Вечное перо у вас есть? — Он положил перед Мелнудрисом какой-то документ, в котором недоставало лишь подписи под готовым текстом. Начав читать, Мелнудрис слегка опешил, потом прочел более внимательно, и на лице его появилась широкая улыбка. Он посмотрел на Финчлея и спросил:

— Только таким путем и можно устроить?

— Только таким.

Мелнудрис достал перо и размашисто подписался под документом. Майор королевских воздушных сил добился своего — сделал его агентом английской разведки. Протянув бумажку Финчлею, он сказал:

— Вся эта комедия с появлением женщины была совершенно излишней. Вы могли поговорить со мной открыто, не разыгрывая пролога, и я бы не раздумывая подписался под этим обязательством. Я давно ваш и душой и телом, буду рад впредь служить вам.

— Тем лучше, — процедил сквозь зубы Финчлей. — Но это дела не портит. Нет ничего дурного в том, что мы знаем о вас такие вещи, которые вам хотелось бы скрыть от всех людей. Некоторая зависимость только заставит вас служить усерднее.

Финчлей внимательно рассмотрел подпись, подождал, пока чернила высохнут, и сунул бумагу в записную книжку.

— Теперь поговорим о делах, — сказал он, пододвигаясь к

Мелнудрису.

Мелнудрис попробовал улыбнуться и свободнее держаться с Финчлеем: теперь, когда решительный шаг был сделан, он почувствовал некоторое облегчение. Но непринужденности не получилось. Он слишком хорошо понимал, что его одурачили самым циничным образом. И хотя Мелнудрис сам всю жизнь был изрядным циником, сейчас на душе у него было довольно тоскливо. Чего требовали от Мелнудриса? Сообщать резиденту все, что он увидит, услышит и узнает, рекомендовать соответствующих лиц из числа живущих в Швеции латышей для переброски в Советский Союз вместе с другими репатриантами, выполнять каждое указание резидента.

— Пока достаточно и этого, а там посмотрим...

В Англию поехал буржуазный националист, писатель Мелнудрис. Через две недели в Швецию возвратился английский шпион, зарегистрированный в тайных списках Интеллидженс-сервиса за шифрованным номером и буквой. Вот и все, чего он достиг в эту поездку. Но об этом знали только он сам и еще два лица.

Глава шестая

1

Джек Бунте снаряжался в очередную поездку. Фании он весь день не обмолвился об этом ни словом, решив приберечь серьезный разговор на вечер. В его распоряжении был мотоцикл с коляской, солидная сумма денег и выданное одним из союзов кооперации удостоверение, в котором черным по белому было написано, что агент по заготовкам Екаб Бунте уполномочен закупать сырье и сельскохозяйственные продукты. Случилось это так. С Эмилией Руткасте все было покончено больше года тому назад, с момента закрытия ее мясной лавки; теперь эта энергичная женщина работала на Центральном рынке продавщицей в мясном ларьке сельскохозяйственной кооперации, а Бунте стал постоянным сотрудником другой кооперативной системы. Получаемую там зарплату он не считал достаточной; куда больше приносило то, что он скромно называл «посредничеством». Все бы ничего, но последнее время ему приходилось опасаться Фании, которая стала следить за деятельностью мужа не хуже государственных контролеров. Нашло это на нее несколько месяцев тому назад: она вдруг строго заявила,

что пора ему покончить со всяким шахермахерством.

— Два молодых здоровых человека вполне могут прокормить и себя и ребенка без спекуляции. Я ведь тоже могу поступить на работу. Вдвоем мы всегда зарабатываем на жизнь. А то смотри — повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить...

— Что ты, право, так, я же не ворую, — оправдывался Бунте. — Я только частным образом обслуживаю потребителей. Не у всякого есть время ездить в деревню и приобретать продовольствие на месте. А если я беру на себя эти хлопоты, доставляю, так сказать, прямо в руки — кому маслице, кому окорочек, кому кулек крупы, — по справедливости что-то ведь и мне причитается. Как же иначе? А если у людей есть лишние деньги, почему им не платить? Я силой в карман ни к кому не лезу: хочешь — бери, не хочешь — не бери. Ты сама знаешь, нахальство не в моем характере.

Но переубедить Фанию ему не удалось. И вот во имя семейного согласия приходилось кое-что скрывать от собственной жены. Поэтому Бунте и остерегался говорить ей, что при каждой поездке работает немного «налево». Дело в том, что не все продукты, которые он закупал в деревне, направлялись на базы кооператива, некоторая часть попадала прямо в руки потребителям иным путем — без участия союза кооперации. Получаемая таким образом прибыль превышала и зарплату и всякие законные проценты. Часть накопленных денег Бунте совсем не показывал Фании, чтобы не пускаться в длинные объяснения в ответ на расспросы: где достал, да почему так много? А так как он давно лелеял скромную мечту о маленькой, но солидной собственности (например, приличный особнячок в Межа-парке), то потихоньку собирал сотню за сотней. Капитал свой Бунте хранил в очень интересном и секретном месте. Каждый вечер перед сном он посещал это место и проверял свой «банк».

Почему же Фания стала такой строгой? Во-первых, появившиеся в газетах сообщения об осужденных спекулянтах заставляли ее все чаще задумываться о том, что отец ее ребенка может легко попасть в тюрьму. Вторая причина была связана с братом Фании.

Правду о смерти Индулиса она узнала летом 1945 года, вскоре после посещения Эрны Озолинь. Это известие не огорчило Фанию: ей еще в начале войны стало ясно, что он после всех своих преступлений добром не кончит. А когда однажды весной 1946 года к ним явился поздно вечером таинственный незнакомец и, сославшись на Эрну Озолинь, заявил о своем намерении остаться здесь на продолжительное время, Фания позвонила в МВД, сообщила о госте и освободила свою квартиру от его присутствия. Вскоре после этого она получила угрожающее письмо. Фания со

свойственной ей флегматичностью прочла его еще раз, изорвала и ничего не сказала мужу.

Главной заботой в жизни Фании была дочка Дзидра. Девочке уже шел восьмой год, она начала ходить в школу. Что скажет она матери, когда подрастет и узнает, что дядя был отъявленным мерзавцем, отец — спекулянтом? Стыдно будет перед подругами, перед учителями. А Дзидра, как нарочно, приходя из школы, рассказывала, какой у ее соседки по парте, отец храбрый, партизаном был, какие у него ордена, или объявляла родителям, что непременно станет пионеркой. Нет, уж лучше жить попроще, да почестней. И Фания твердо решила сделать все от нее зависящее, чтобы развязаться с прошлым, чтобы черная тень рода Атауга не падала на жизнь дочери. Она даже обменяла свою довольно большую квартиру в бывшем доме отца на другую, поменьше; распродала громоздкую, полученную в наследство мебель и все ненужные вещи.

Вечером, когда Дзидра, приготовив свои несложные уроки, ушла спать, Фания сказала Бунте:

— Ты обещался к концу года подыскать другую работу. Уже декабрь идет, год скоро кончится. Нашел ты что-нибудь?

— Определенного еще ничего нет, — не подымая глаз на жену, промямлил Джек. — На мелкую какую-нибудь должность можно поступить хоть сегодня, но это все не по мне.

— А ты на крупную рассчитываешь? — спросила Фания.

— Господи, ну, конечно, на должность министра или директора треста я не рассчитываю, но директором какого-нибудь маленького предприятия вполне бы мог... На худой конец — заведующим магазином.

— Я так и знала... Заведующим магазином?.. Никаких магазинов, Джек, — тебе нужно подальше держаться от таких мест.

— Спасибо, — обиженно протянул Джек, — ты думаешь, что я и устоять не смогу перед искушением? Плохо ты меня знаешь.

— Очень хорошо я тебя знаю. Знаю, что нипочем не выдержишь, сорвешься, — безжалостно ответила Фания. — Начнешь с мелочи, а кончишь грязными махинациями. А я хочу, чтобы в нашей жизни не было ни одного грязного пятнышка.

— Тебе везде грязь чудится...

— Вот и эта поездка твоя... Спекулировать ведь едешь...

— Не выдумывай, пожалуйста, Фания. Если так рассуждать — кооперация тоже грязное дело. Почему же советская власть поощряет ее?

— Ты на кооперацию свои грехи не сваливай. Ты сам ее обманываешь на каждом шагу. Но меня обмануть тебе не удастся.

— То есть?

— А то и есть, что эта поездка будет последней. Больше по таким делам ты не поедешь.

— А если поеду?

— Тогда мне ясно, что ты жену и ребенка ни во что не ставишь. Тебе барыш дороже всего на свете. Джек, подумай сам, неужели ты не желаешь добра своей дочери?

Джек отчаянно махнул рукой.

— Э, для кого я больше всего и стараюсь? Ну, ладно, будет по-твоему — еду в последний раз. Как только вернусь, тут же откажусь от должности агента и пойду на любую работу, ка какую ты велишь. Довольна, что ли?

— Я тогда буду довольна, когда ты это сделаешь.

— Ну вот тебе честное слово, Фани.

Фания поняла, что раз Джек положил лишнюю пару белья, значит — меньше двух недель не проедит. Он всегда говорил о каких-то сложных маршрутах, по которым обязательно нужно ехать, об окончательных расчетах со старыми поставщиками; вероятно, одной недели ему действительно было мало. Она больше ничего не сказала и, убрав со стола, легла спать.

Уложившись, Бунте вошел в уборную. Защелкнул задвижку, прислушался, не встала ли Фания, после чего перегнулся через унитаз и из укромного уголка позади вытяжной трубы, куда никогда не доставала ни половая тряпка, ни щетка, вытащил коричневый бумажный сверток: это был его тайный «банк». Он развернул толстую бумагу и осторожно пересчитал деньги. Всего было сорок пять тысяч рублей. Маленький особнячок в Межа-парке был почти что в руках. Бунте как наяву видел и трубу, и красивую шиферную крышу, и окна в национальном стиле, а в одном окне — улыбающееся лицо Дзидры.

«И ты меня будешь ругать за это, Фани? — думал он, с удовольствием перебирая приятно шуршащие денежные знаки. — Ни за что не поверю... Как еще расцелуешь!..»

Наглядевшись на свои капиталы, Бунте заботливо завернул деньги в бумагу и спрятал на прежнее место.

Рано утром он сел на мотоцикл и поехал по Псковскому шоссе в северную часть Видземе.

А Фания, проводив Дзидру в школу, отправилась в город по одному давно задуманному ею делу.

Она пошла в трест, к Жубуру, и через секретаря попросила принять ее.

— Я хочу работать, товарищ Жубур, — сказала Фания. — Может быть,

вы мне поможете поступить на какую-нибудь маленькую должность. Я буду благодарна за любую работу, которую мне доверят.

Жубур, подумав немного, позвонил начальнику отдела кадров треста.

Через несколько дней Фания уже работала на одном из предприятий треста счетоводом.

У Бунте во многих местах были «свои люди». У них он останавливался и хранил свой груз, от них, как летчик с авианосца, отправлялся в разведку по хуторам, и не наудачу, а снабженный самой точной информацией: он всегда знал, в каком доме что приберегли для рынка и какими покупками больше всего интересуются хозяин, его жена и взрослые дети. Бунте, как коробейник, появлялся в самый нужный момент, запросто здоровался со всеми домашними и, не торопясь, устраивал свои дела.

— Как здоровье, хозяйка? По-прежнему донимает больной зуб, или уже вырвали? А я только что достал партию подвязочной резины разной ширины и цветов, не возьмете несколько метров? Неизвестно, можно ли будет скоро достать такую... Есть калоши, мыло и дамские чулки высшего качества, замки «молния», бритвы, резиновые сапоги...

Некоторым он привозил товар, заказанный в прошлый раз, что-нибудь такое, что трудно было достать. С молодыми у него был один разговор, со стариками — другой. Завидев на дороге его мотоцикл, люди говорили:

— Опять Джек приехал — значит, будут новости.

Ясно, что Бунте знал решительно все, что происходит на свете, и сельским политикам было о чем побеседовать с ним. Говорили и про Китай и про Индонезию, про Америку и Бизонию, а заодно кое-что продавали и покупали. Мясо, масло, щетина и картофель — все интересовало Бунте. Затем он договаривался со «своими людьми» и отправлял товар в Ригу, а сам ехал в другую волость. Его помощники работали неустанно, они делали всю мелкую и черную работу, заблаговременно собирая мелкие партии товара на «базы». Понятно, что и они получали свой процент.

Удостоверение союза кооперации развязывало Джеку руки: не надо было прятаться от милиционера и избегать встреч с председателем исполкома; приходилось только припрятывать привезенные из города товары, чтобы не возбуждать излишнего любопытства.

В одной крестьянской усадьбе у Бунте были родственники. Он иногда

заезжал к ним и оставался на день, на два. Рижанин, общественный деятель, важная личность, здесь он мог блеснуть своими познаниями решительно по всем вопросам. С Фанией он не мог себе этого позволить, она его рассуждения обрывала одним трезвым замечанием: «Не болтай глупостей, Джек, раз ничего не смыслишь в этих делах». Здесь его слушали разинув рты, и авторитет агента по заготовкам рос с каждым посещением. Послушать его, так он был знаком со всеми знаменитостями.

Если в волостях, где Бунте задерживался по торговым делам, устраивали концерт, спектакль или вечер танцев, он, не спесивясь, шел вместе со своими знакомыми в Народный дом и показывал деревенским людям, как надо танцевать фокстрот или танго. Однажды во время спектакля с Бунте произошел случай, заставивший его посмотреть на самого себя другими глазами.

Он сидел во втором или третьем ряду и с интересом следил за игрой, с готовностью хохоча над каждой смешной фразой. Но это не помешало ему заметить, что за его спиной кто-то все время ворчит и ерзает на месте. «Не может голову понижее опустить, ничего из-за него не видно», — сердился сидящий позади зритель.

Первый раз в жизни Бунте услышал на свой счет такое замечание. Он со своим ростом, оказывается, мог загородить кому-то вид. В порыве смутной благодарности за эту лестную оценку, он весь съезжился, втянул голову в плечи и просидел так до конца пьесы.

Вспоминая данное Фании обещание, что эта деловая поездка будет последней, Бунте старался выжать из нее как можно больше барыша. В Ригу можно было вернуться в конце недели, но ему хотелось подольше продлить пребывание в родной стихии. Покупать и продавать, обменивать и обманывать — в этом заключалась вся прелесть существования для Джека Бунте, и мысль о скором расставании с этой жизнью больно терзала его сердце: он знал, что Фания от своего требования не откажется.

Бунте прибыл на своем мотоцикле в маленький городок северной Видземе. Надо было договориться с одним приятелем, работником кооперации, насчет грузовой машины: товара набралось порядочно, пора было отправлять его в Ригу.

Доехал Бунте с большим трудом. С утра вдруг дал себя знать ишиас, приобретенный, как он полагал, за время сиденья в подвале, когда прятался от немцев. Последний год Бунте совсем позабыл о нем — и вдруг на тебе!

Поровнявшись с одними воротами, его мотоцикл чуть не сбил с ног выходящего со двора рослого мужчину. Тот отскочил в сторону, однако Бунте слегка задел его. Прохожий остановился и процедил сквозь зубы:

— Едет, как слепой.

Бунте остановил мотоцикл и оглянулся, не зашиб ли человека. И у обоих на лицах появилось одинаковое удивленно-настороженное выражение.

Первым нашелся Бунте.

— Алло, добрый вечер, Эрнест! — крикнул он.

— Добрый вечер, — неохотно ответил Чунда. Помешкав несколько секунд, он подошел к мотоциклу и вяло пожал протянутую Бунте руку.

Бунте ничего не слышал про Чунду после того, как тот вышел на свободу, поэтому, встретив его в этом отдаленном углу Латвии, сразу вообразил, что видит в его лице конкурента. «С ним мне трудно будет справиться, он меня в свой район не пустит».

Еще меньше удовольствия доставила эта встреча Чунде. Сразу вспомнилась ему мясная лавка Эмилии Руткасте и все последующие злоключения. Он вдруг почувствовал непреодолимую ненависть к Джеку Бунте. Как это могло случиться, что он, Эрнест Чунда, влопался тогда, как последний дурак, а этот недалекий, малограмотный спекулянтик разъезжает как ни в чем не бывало на мотоцикле и, видимо, дела его в самом цветущем состоянии.

Сам Чунда сильно сдал в последнее время. После ссоры с Лиепинями он приехал сюда, к другу детства, работавшему на лесопильном заводе. Выслушав его историю, а главное, его планы (о последних Чунда рассказывал охотнее), друг решительно заявил, что об ответственной должности ему лучше не помышлять, а надо пойти на самую маленькую работу и заслужить доверие людей. Чунда сначала обиделся, несколько дней ходил по учреждениям, что-то разузнавал, а потом скрепя сердце вернулся к другу и сказал, что, пожалуй, он прав. Тот помог ему поступить счетоводом на завод, где работал и сам. Работать приходилось много, и никакого выдвижения впереди не было видно. А тут еще приехала Элла и своими вечными жалобами то на тесную квартиру, то на необходимость во всем экономить еще больше раздражала Чунду.

— Как тебя сюда занесло? Давно здесь? — спросил Бунте. Ему не терпелось разведать обстановку.

— Еще с прошлой зимы. А ты чего приехал?

Чунде вовсе не интересно было знать, зачем приехал Бунте, спрашивал он только затем, чтобы не отвечать на его вопросы.

— Я только мимоездом. Значит, ты здесь живешь?

— Да, живу.

— Мясная лавка или еще что? — допытывался Бунте.

— Ни то, ни другое. Работаю на лесопилке. А ты?

— Мне живется хорошо. Видишь мотоцикл — это мой собственный. Я теперь работаю в кооперативной системе. Что же это ты так опустился? Наверно, трудно было подняться после такого удара?

— Меня жалеть нечего. Гляди лучше, как бы самому удержаться.

Но, уверившись, что конкуренция со стороны Чунды ему не угрожает, Бунте продолжал в сочувственном тоне:

— Лесопилка... Встретил бы раньше, я бы тебе помог. В здешних местах мне давно требуется агент по заготовкам. Ну, теперь не стоит об этом говорить, скоро я сам перехожу на другую работу. На всякий случай дай мне адресок, кое с кем поговорю насчет тебя.

— Благодарю покорно. Мне твоя протекция не нужна.

Тут не выдержал и Бунте:

— Да что ты в самом деле нос дерешь? Видать, на подноске досок можно больше заработать?

— Он еще издевается, паразит такой!.. — И Чунда, угрожающе помахав кулаком под носом у Бунте, быстро пошел дальше, бормоча ругательства.

Испуганный Бунте тоже поспешил уехать подальше от места неудачной встречи с бывшим компаньоном.

Но неудачи куда ужаснее этой продолжали преследовать его в тот день. Заехав к знакомому кооператору, он узнал, что тот сейчас где-то в волости и вернется только на следующее утро. Жена предложила остаться ночевать у них, и у Бунте не хватило сил отказаться, так как он чувствовал себя с каждым часом все хуже и хуже. В тепле поясница и нога разболелись еще сильнее, так что он, не кончив обедать, должен был встать из-за стола и прилечь на диван.

К вечеру ему стало так плохо, что хозяйка, встревоженная не столько состоянием его здоровья, сколько перспективой ухода за больным, который мог пролежать долгое время в ее доме, побежала в больницу. Там она долго объясняла, что не может держать у себя почти незнакомого тяжелобольного.

— Возьмите его сюда, — твердила она.

Через полчаса приехал врач и, осмотрев Бунте, нашел, что у него приступ радикулита.

— Пожалуй, вас действительно лучше положить в больницу, — сказал врач. — Свободные койки имеются.

— И долго мне придется лежать? — простонал Бунте.

— Как пойдет лечение... Дней десять-то во всяком случае.

— Но у меня дела! Я ни одного дня не могу лежать.

— Не можете, тогда идите и устраивайте свои дела, — улыбнулся врач.

Стараниями энергичной хозяйки Бунте в тот же вечер был перевезен в больницу. Он все время охал и стонал — и от боли и от досады на такую непредвиденную задержку.

Немного успокоившись, он потребовал бумаги и чернил и нацарапал Фании телеграмму:

«По делам службы задержусь дней на десять. Все в порядке. Не волнуйся. Джек».

Обратного адреса он не указал.

3

До сих пор Бунте ни разу не лежал в больнице. Чистая белая палата, мягкий, нераздражающий свет, разговор полупшепотом, тихие шаги сестер и санитарок, запах лекарств и вздохи больных — все казалось ему необычным и странным.

Джек долго не мог уснуть. После принятых на ночь порошков боль чуть-чуть утихла, но мысль о незаконченных делах не давала ни минуты покоя.

«Мясо может испортиться. Если до понедельника не доставить в Ригу, начнет пахнуть, и в сыром виде нельзя будет пустить в продажу. Неужели такое добро пойдет на колбасу — это же расточительство... Кооперативный товар можно списать в убыток — только составить акт придется, а кто возместит мои личные убытки? Заикнуться ведь не посмеешь, что это твой товар — такое потом начнется... А в Маткуле у знакомого хозяина ждет бычок — что за филе, что за вырезка! Теперь в чужие руки попадет!»

Бунте крепко стиснул зубы, чтобы не застонать.

— Новый больной такой беспокойный, — пожаловалась санитарка дежурной сестре.

— Вполне естественно, ему же больно, — ответила сестра.

Знала бы она, где у него болело сильнее всего. Слов нет, поясница и нога мучили ужасно, но разве можно было сравнить эту боль с нестерпимыми муками, которые терзали сердце Бунте! Конечно, главным страдальцем во всей больнице был он.

Под утро удалось уснуть, но тут стали одолевать кошмары: потоки молока и сметаны лились из водосточных труб, ворона несла в клюве огромный круг сыра, а из лесу выбежало целое стадо свиней и с хрюканьем

рассыпалось по полю; свиньи забирались даже в клеть, где были спрятаны покупки Бунте, и все разрыли. «У-у, дьяволы!» — крикнул он не своим голосом и проснулся весь в поту.

Утром ему помогли умыться, принесли завтрак. Потом поставили на поясицу банки и дали лекарство.

— Какой сегодня день? — спросил Бунте у сестры. — Воскресенье, кажется?

— Да, воскресенье. Лежите спокойно; если скучно будет, послушайте радио. Наушники вот здесь.

Она вынула из столика наушники и положила рядом с изголовьем.

Джек понемногу стал знакомиться с соседями по палате. Направо от него лежал пожилой крестьянин с воспалением среднего уха. Дальше — молодой учитель, выздоравливавший после воспаления легких. Соседом слева был старик, который целый день читал толстую книгу. Выздоровливающие читали газеты, подсаживались к соседям и играли в шашки, выходили в коридор выкурить папиросу. Разговор шел чаще всего о том, кого когда выпишут из больницы. И хотя многие занимались тяжелым физическим трудом и здесь могли отдохнуть, всем не терпелось вернуться домой, скорее взяться за работу.

— Вы, наверно, нездешний? — спросил у Бунте старик, отложив в сторону книгу. — Из Риги?

— Да, из Риги. А вы как узнали?

— Я рижанина всегда узнаю по стрижке. Сам парикмахер и знаю, как где работают. Понятно, у нас стригут лучше — не надо так торопиться. Вы как же сюда попали?

— Проездом здесь. Проклятый ишиас подвел, пришлось вот слечь.

— Ишиас, это ничего. Полечат вас, опять будете ходить.

— Мне залеживаться нельзя, работа не позволяет.

— А вы где работаете? — Привыкший развлекать клиентов разговором, парикмахер не мог и здесь удержаться от этой профессиональной замашки.

— В кооперации, — нехотя ответил Бунте и застонал, давая понять, что ему не до разговоров.

Но старик не отступал.

— Как вы считаете, хорошая вещь кооперация? Кому от нее больше пользы: населению или самим кооператорам? У нас один заведующий...

«Иди ты к черту со своим заведующим и оставь меня в покое...» — подумал Бунте и закрыл глаза.

— Сколько вы зарабатываете в месяц?

«Да уж побольше, чем ты своими ножницами и бритвами», — мысленно ответил он, а вслух застонал еще сильнее. Так они поговорили некоторое время: один громко задавая вопросы, а другой отвечая про себя. Это было смешно и даже глупо. Старик, видимо, понял — замолчал и опять взялся за книгу.

После обеда к больным стали пускать посетителей; они рассказывали очередные домашние и служебные новости, приносили с собой отголоски шумной, бодрой жизни, ее освежающее дыхание. После их ухода больные еще сильнее почувствовали запах лекарств и больничную скуку.

Так прошел день.

В шестом часу в палату торопливо вошла дежурная сестра и сказала, что только что звонили из радиоузла: будет важное сообщение из Москвы.

Минуты за две до шести Бунте, следуя примеру соседей, взял наушники.

Некоторое время было слышно только монотонное тиканье хронометра, потом будто сильный ветер зашумел в листве, и заговорил мужской голос — медленно, четко произнося каждое слово.

— Постановление Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары, — читал диктор.

В палате заскрипели койки: все старались устроиться поудобнее, чтобы ничто не мешало слушать правительственное сообщение, и крепче прижимали наушники.

Бунте довольно плохо знал русский язык, но самое главное он понял. Постановление не было прочитано и до половины, как больные заулыбались, начали переглядываться, радостно кивали друг другу. Только Бунте не улыбался; с каждой минутой лицо его все больше зеленело. Когда диктор кончил читать, он в полном бессилии опустил голову на подушку и застонал.

— Что с вами, товарищ кооператор? Плохо стало? — спросил парикмахер.

— Ой-ой, как болит!..

«За десять рублей старых денег — рубль новых. Пропали мои сорок пять тысяч!.. Карточек больше нет... цены понижены... каждый может покупать, что хочет... Это ведь погибель, полное разорение! Не стоит ни покупать, ни продавать... Никому не нужны твои товары, когда в магазинах все можно будет достать гораздо дешевле. Плакали мои денежки...»

А вокруг него звучали радостные голоса:

— Просто замечательно! Какая теперь жизнь начнется!

— Справедливая какая советская власть — маленького человека никогда она не забывает, о нем в первую очередь позаботится.

— А спекулянтам, живоглотам этим теперь конец пришел. Вот, наверно, взвыли сейчас!

Все засмеялись. Больные долго еще не могли успокоиться, и каждое их слово словно нож вонзалось в сердце Бунте, снова и снова напоминая о том, что он потерял. Он попробовал не слушать, укрылся с головой, но слова проникали под одеяло, буравили его мозг.

— Этому, видать, тоже подрезали крылышки, — услышал Бунте голос парикмахера и понял, что сказанное относится только к нему. — Ишь, как ему сразу худо стало...

Бунте высунулся из-под одеяла и томным голосом позвал сестру:

— Сестрица, подите сюда... Дайте мне порошочек.

Ему дали пирамидон. Он проглотил, запил несколькими глотками воды и некоторое время лежал неподвижно, потом повернулся к парикмахеру и сделал попытку улыбнуться.

— Видите, как получается: люди радуются, а я на стену лезть готов. Мочи нет, как колет.

Но парикмахер даже не обернулся к нему.

«Наверно, сердится, что я ему давеча не отвечал... — подумал Бунте, но больше не старался завязать разговор. Да и не было охоты болтать с чужими людьми, они так бесчувственно радовались в присутствии разоренного человека. — Влезли бы в мою шкуру, тогда бы узнали, как это смешно. Нет, Фания-то словно чуяла, что этой жизни скоро придет конец, как она торопила подыскать другую работу... Теперь радуйся...»

Он снова вспомнил свои сорок пять тысяч, и вдруг его как по лбу ударило. Как это он сразу не подумал: ведь обменивать старые деньги можно только до двадцать второго декабря. До того дня вряд ли удастся выбраться из больницы. Значит, что же, пропадут и четыре с половиной тысячи, которые можно получить при обмене! «Почему я не держал их в сберкассе! Приличную бы сумму получил. Нет, думал, в своем кармане сохраннее будет. А теперь как быть?.. Сорок пять тысяч!»

Надо было срочно сообщить Фании. Она, конечно, удивится, рассердится за то, что он скрывал от нее свои капиталы и еще в таком месте, но теперь уж все равно, пускай сердится, а четыре тысячи пятьсот рублей спасти надо.

Он позвал санитарку.

— Мне надо послать телеграмму жене. Будьте так добры, дайте мне бумаги и чернил.

— Да вы вчера только посылали, — удивилась санитарка, однако принесла все, что он попросил.

Устроившись удобнее в постели, Бунте начал сочинять текст телеграммы и сразу стал в тупик. Телеграмма пройдет через многие руки, ее прочтут санитарки и дежурная сестра, слово за словом разберут на телеграфе — сначала здесь, потом в Риге. Если очень ясно будет сказано, где спрятаны деньги, все будут смеяться, а если не написать этого, Фания не найдет их.

Долго ломал голову Бунте, как же все-таки написать про «банк». Наконец, он остановился на следующем тексте, который показался ему достаточно ясным и приличным:

«За кухней в чуланчике в левом углу сорок пять тысяч обменяй не опоздай с поцелуями Джек».

Топография «банка» была указана довольно точно: уборная находилась за кухней, и никаких чуланчиков в квартире больше не было. Бунте подумал немного и добавил: «в темном чуланчике», так как окон там не было.

Он попросил отправить телеграмму. Стало как-то легче на душе: «Фания сразу поймет, где искать, поймет, почему так написал... Она молодец. Я ей потом все объясню». Маленький особнячок в Межа-парке отдалился на значительное расстояние, так что больше нельзя было разглядеть ни трубы, ни окон в национальном стиле, но кое-что от этой прекрасной мечты уцелело. Придет время, будут новые возможности, и заживет кровавая рана... Предприимчивостью и смелостью можно многого достигнуть.

В тот вечер на улицах Риги весело шумели людские потоки, и всюду разговор шел только об историческом постановлении Центрального Комитета партии и правительства. Народ почувствовал, что время трудностей и великих жертв, порожденных войной, остается позади. И как весеннее солнце раскрывает на деревьях и кустах листья, так это известие расцветило радостными улыбками лица людей. Только изредка среди веселой, оживленной толпы мелькала недовольная физиономия и из темноты раздавалось злое ворчанье:

— Радуйтесь, радуйтесь, только смотрите, не рано ли. Думаете, надолго им хватит для вас запасов?

Всем было ясно, чем вызвана эта злоба.

На предприятиях, где в тот день работали, состоялись митинги. Радио извещало весь мир о новой победе, завоеванной советским народом, и миллионы людей во всех уголках земного шара с удивлением упоминали слово «Москва». Давно ли кончилась война, и какая еще страна так пострадала от нее, как Советский Союз, а он уже вступил в пору блистательного расцвета.

Какой-то моряк, остановившись у кино «Форум», громко рассказывал знакомым:

— Англичане раньше ели только белый хлеб, а про черный говорили, что он годится на корм лошадям. А теперь согласны и на сухую овсяную лепешку — подавайте только.

— Мясо и масло они видят только во сне.

— Видал я, какая у них колбаса. Снаружи красивая, раскрашена красной краской, а внутри мука и всякий эрзац, мясом даже не пахнет.

— Что там колбаса... — перебил его другой моряк. — У них весь строй такой — снаружи демократия, свобода, а внутри... — Он махнул рукой.

— Мамочка, теперь всем будет хорошо? — спрашивала Дзидра у матери, когда они возвращались с прогулки.

— Да, дочка, теперь будет хорошо.

— Вот папа обрадуется, да, мама? Ему больше не придется ездить в деревню.

— Папа? Да... придется радоваться и ему. Представив себе, как сейчас должен выглядеть Джек, она невольно улыбнулась. Ну, наконец-то уймется, начнет жить, как все люди, и больше не придется дрожать и бояться за него.

Утром, проводив Дзидру в школу, Фания пошла на работу. Перед началом занятий состоялся митинг. Начальник разъяснил политическое значение вчерашнего постановления и призывал работать так, чтобы за этой всенародной послевоенной победой последовали другие. Пятилетку в четыре года! — за это теперь борется вся Советская страна.

В связи с учетом всех товаров и проверкой кассы Фания засиделась на работе до позднего вечера. Без нее Дзидра сама собрала себе поесть и уже легла. В почтовом ящике Фания нашла телеграмму Джека. Виноват ли был куриный почерк Бунте, завалены ли были в тот вечер на телеграфе работой, или, наконец, передававшая телеграмму телеграфистка была взволнована услышанным по радио постановлением, факт тот, что одно слово в ней

было изменено, и этого оказалось достаточно, чтобы хитроумно составленное сообщение Джека приобрело другой смысл.

«За кухней в темном чемоданчике в левом углу сорок пять тысяч обменяй не опоздай с поцелуями Джек».

Фания сразу поняла, что речь идет о деньгах — что еще могли означать эти сорок пять тысяч? Но откуда у Джека столько денег, и почему они очутились в каком-то темном чемоданчике? В углу прихожей действительно стояло несколько чемоданов. Фания тут же один за другим перерыла их, но ничего, кроме пересыпанного нафталином платья, в них не нашла.

«Здесь что-то не так... — рассердилась она. — Почему в темном, у нас все темные... Запутался в своих махинациях, сам себя не помнит».

Для очистки совести Фания проверила все карманы мужниных костюмов и пальто, все ящики письменного стола, платяного шкафа, комода и буфета, посмотрела даже на полу под мебелью и, конечно, опять ничего не нашла. Тогда она успокоилась.

— Определенно напутал. Больше не стоит трудиться, все равно ничего не придумаю.

Оставленные ей на хозяйство деньги Фания на другой же день обменяла в банке.

Через несколько дней после того, как обмен денег старого образца на новые был закончен, рано утром явился домой Джек. Двигался он медленно, опираясь на палку.

— Что с тобой? — спросила Фания. — Почему ты хромаешь? И где ты так долго пропадал?

— Заболел... Десять дней пролежал в больнице. Мотоцикл пришлось у знакомых оставить. Приехал по железной дороге... Ну как, Фания, деньги обменяла?

— Все, что у меня было, обменяла.

— Ты... быстро нашла? Наверно, удивилась, что я прятал в таком месте? Не сердись, я тебе все объясню.

— Ах, ты об этой телеграмме? Значит, правда, что у тебя дома оставались еще какие-то деньги?

— Что? Не нашла? Не обменяла? — взревел Бунте и схватился за голову. — Я думал, ты умная, а ты меня убила, зарезала...

— Надо было объяснить понятнее, — оправдывалась Фания.

— Куда еще понятнее! Не мог же я прямо назвать... В больнице меня бы засмеяли.

— Ну тогда объясни сам. — Фания встала, разыскала в ящике комода

телеграмму и положила на стол перед Джеком.

Бунте схватил телеграмму и стал читать вслух:

— За кухней в темном чемоданчике в левом углу... Что за чемоданчик?.. В чуланчике должно быть! В чуланчике! В уборной то есть, ты ведь понимаешь, почему я так написал?

Он вскочил, несмотря на больную ногу, быстро вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с довольно объемистым свертком. Никогда еще он не выглядел таким смешным и жалким.

— В самом углу... чтобы ни один вор не нашел, — теперь ты понимаешь, Фани? — говорил Бунте, с неопишуемой грустью глядя на старые деньги, за которые он мог бы купить много хороших, ценных вещей.

Поняв, что произошло, Фания сначала растерялась, потом села на диван, закрыла лицо ладонями и залилась неудержимым хохотом.

Джек стоял посреди комнаты, обеими руками держа пачку денег, и не знал, что делать: обижаться ли на Фанию за ее хохот (нашла над чем смеяться!), или самому захохотать с горя безумным смехом.

— Как же теперь быть? Что нам теперь делать? — наконец, вымолвил он. — На что мы будем жить, женушка?

Фания еще раз фыркнула и, сразу успокоившись, сказала:

— Будем жить, как все люди живут. Я, как ты уехал, поступила на работу. Так уж во всей Риге не найдется для тебя места?

— Ты работаешь?

— Работаю. Ну и что тут такого, чему ты так удивляешься?

В комнате наступила тишина. Слышно было только, как шуршат в пальцах Джека старые деньги.

Глава седьмая

1

В землянке пахло плесенью. На полу стояли лужи воды, в слабом свете свечного огарка она казалась густой черной смолой. Чтобы не замочить ног, приходилось все время валяться на маленьких лежанках, расположенных в один ярус вдоль стен помещения. Всего было пять лежанок, пять узких углублений, вырытых на высоте полуметра от пола. Каждую лежанку покрывала охапка соломы или сена и плащ-палатка, сверху была устроена в

виде уступа полка, где хранилось оружие бандита — винтовка или автомат, несколько ручных гранат — и кое-какая хозяйственная утварь.

Миновали те времена, когда они могли строить удобные и глубокие подземные жилища, которые соединялись между собой целым лабиринтом ходов. В их распоряжении не осталось ни саперов, ни инженеров — самим, своими руками приходилось раскапывать барсучьи норы, в которых нельзя было ни стоять, ни сидеть. Удобные, комфортабельные землянки уже давно были обнаружены и разгромлены, а их обитатели уничтожены, если они не сдавались добром. В чаще леса, в глухих, заброшенных углах продолжали, как могли, свое жалкое существование остатки прежних банд.

В норе находилось трое: двое мужчин и одна женщина. Четвертый стоял на страже.

Зиму они провели у родных или активных единомышленников, укрывались в картофельных ямах и половнях, а как только стали сходить весенние воды, вернулись в лес и запрятались в норах. Земля не уменьшилась, лесные чащи не поредели, но с каждым днем все туже стягивалась петля вокруг обреченных на позорную гибель. Они чувствовали себя, как унесенные в море на тающей льдине рыбаки: солнце и волны делают свое дело, лед продолжает таять, льдина раскалывается на куски, те в свою очередь на мелкие осколки, и больше уже не за что держаться. Пока они промышляли грабежом, налетами на магазины сельпо и крестьянские дворы и убийствами, но после каждого такого налета надо было немедленно уходить в другое место, подальше. Но и это не помогало — сегодня окружали и уничтожали одну бандитскую шайку, завтра — другую.

— Эрна, ты бы вычерпала воду! — крикнул один из мужчин, приподнявшись на лежанке. — Весь день только и знаешь, что лежать, как ленивая корова.

— Вычерпывай сам, — не то пропитым, не то простуженным голосом ответила женщина.

Трудно было бы узнать в ней прежнюю Эдит Ланку: грязные, свалывшиеся в войлок волосы, постаревшее, обрюзгшее лицо. Она лежала на спине и курила, не обращая внимания на спустившийся с ноги чулок, не стараясь прикрыть оголенное толстое колено.

— Сам не бог весть какие горы ворочаешь! — продолжала она, сделав новую затяжку. — Постоишь несколько часов в карауле, а потом с утра до вечера дрыхнешь.

— Не твое дело! — еще громче крикнул мужчина. — В мои дела ты не суйся, а в землянке должно быть сухо. На черта нам женщина, если она не

может помещение держать в чистоте.

— Ну и держи сам, никто тебе не мешает, а меня оставь в покое. Я вам не прислуга и не рабыня!

— Да перестаньте вы... — стонущим голосом заговорил третий бандит. — Сил нет слушать эти вечные споры, того и гляди подерутся. Договоримся для порядка вычерпывать воду по очереди — каждый в свой день. Бросим сейчас жребий, чья очередь первая.

Он разыскал в сене тонкий прутик, разломил его на четыре неравные части и спрятал в кулак.

— Кто вытащит самый длинный кусочек, тот дежурит сегодня. Кто поменьше, тому завтра, и так далее.

— А как с Долговязым? — спросил другой мужчина.

— Пусть Эрн за него вытащит. Тяни, Ансис.

Самый длинный достался Эдит.

— Теперь никуда не денешься! — злорадствовал Ансис. — Вставайте, мадам, и начинайте выполнять ваши обязанности. А мы поглядим, как вы с ними справитесь.

— Ржать ты мастер...

Эдит лениво встала, подняла спустившийся чулок, надела резиновые сапоги, затем взяла в углу ведро и банку из-под консервов. Работать приходилось сидя на корточках. Эдит черпала банкой грязную, мутную жижу и сливала в ведро. Полное ведро вынесла и вылила возле землянки. Ей пришлось повторить это раз пятнадцать, пока на полу не осталась лишь густая грязь.

— Достаточно, мой повелитель? — спросила Эдит, ставя на место ведро и банку.

Ансис спустил ноги с лежанки и сел.

— Теперь еще туда-сюда. Только не думай, что до вечера отделалась. Несколько раз еще придется погнуть спину.

Эдит влезла на лежанку и закурила. Она презирала людей, с которыми вынуждена была жить, знала, что они презирают ее. Их объединяло лишь одно общее стремление — оттянуть момент гибели, хоть на несколько мгновений отдалить час расплаты, который все равно был неизбежен. Они боялись будущего, старались не думать о нем и торопливо, жадно хватались за все, что еще можно было урвать от жизни. После ограбления кооператива они целую неделю жрали и пили с утра до ночи и так прокурили свою нору, что задыхались от дыма.

Год тому назад многое было иначе. Тогда не приходилось томиться в сырой норе, слушать с утра до вечера опротивевшие голоса остальных

бандитов и огрызаться на их скабрёзные замечания. В то время Эдит располагала некоторой свободой передвижения. И в деревне и в Риге было несколько безопасных местечек, где можно было изредка переночевать, подышать другим воздухом. В Риге у Аусмы Дадзис тогда еще была небольшая комфортабельная квартира недалеко от центра, а Эрна Калме принимала обретенных в ресторане знакомых в большой хорошей комнате с отдельным ходом. Теперь не осталось ни той, ни другой. Аусма Дадзис подавала большие надежды. Она довольно быстро познакомилась с несколькими хозяйственниками, и Эдит надеялась, что через них посчастливится сблизиться с каким-нибудь действительно крупным деятелем. Она не торопила ее, позволяла приближаться к добыче легкими, неслышными шагами. Но когда жертва шантажа была намечена, произошло несчастье, которое опрокинуло все расчеты. Оказалось, что Аусма Дадзис из охотника сама превратилась в добычу, и ее противники сумели приблизиться еще более неслышными шагами. Ее арестовали.

Эрна Калме связалась с какой-то воровской шайкой, которая обчищала квартиры и магазины, а иногда выезжала на грабеж в деревню. Склад похищенного был устроен у Эрны. Через несколько месяцев шайка была изловлена, а вместе с ней попала и Эрна. В ее комнате произвели обыск и нашли награбленные вещи. И снова у Эдит одним агентом стало меньше.

Так она потеряла их всех, одного за другим, и в конце концов очутилась одна. Если бы Эдит не меняла так часто местопребывание, не жила бы в разных местах под разными именами, давно бы и ей был конец. Много значила большая практика, приобретенная на службе в гестапо: она изворачивалась даже там, где другой никак не избежал бы ареста.

Наконец, и она почувствовала себя припертой к стенке. Осталось одно — отсиживаться в лесу и ждать, когда западня захлопнется, или надеяться, что где-нибудь чудом образуется спасительная щелочка; впрочем, она сама не верила, что есть еще такая возможность. Эдит с особенной остротой чувствовала безвыходность своего положения еще и потому, что несколько месяцев тому назад она заболела скверной болезнью. Удивительного в этом ничего не было: скорее следовало удивляться тому, что это случилось так недавно. Эдит не пыталась даже отгадать, кто заразил ее да и немислимо было отгадать... Обратиться к врачу она не могла. И ей ни разу не пришлось в голову предупредить своих сожителей, уберечь их от заражения. Если бы она сказала им, что с ней случилось, ее бы прогнали, и она погибла бы. Поэтому Эдит молчала и продолжала жить по-прежнему, не думая о последствиях.

На следующее утро пришел Герман Вилде. Только один-двое бандитов знали, где он скрывается: в последнее время Вилде стал крайне недоверчив и избегал лишних встреч даже со своими. Конечно, об оперативном руководстве не могло быть и речи, но и руководить собственно было некем, когда осталось несколько разрозненных группочек, по три-четыре человека в каждой. Прежний «командир полка» и «батальона» Герман Вилде, он же Эварт, постепенно снизился до положения «командира отделения», хотя его продолжали еще называть «полковником». В прошлом году он скрывался в разных уездах Видземе, но после убийства Закиса опять перебрался в Курземе.

— Есть новости? — спросил он, сев на лежанку Ансиса, который сейчас стоял на посту.

— Какие здесь могут быть новости, — ответил, пожимая плечами, бандит по прозвищу Долговязый. — Болтаемся без дела и ждем лучших времен. Ты, может, расскажешь что-нибудь хорошенькое. Тебе все-таки приходится кое-что видеть. А мы...

— Много я вижу, — проворчал Вилде и как-то странно, задумчиво посмотрел на лежащую Эдит. Затем вздохнул и добавил: — Не густо у нас с хорошими новостями... не густо.

— Живы пока, и то хорошая новость, — засмеялся третий бандит, но сразу замолк, так как остальные его не поддержали.

— Запасы еще есть, что в кооперативе взяли? — спросил Герман.

— Почти все подъели, — ответил Долговязый.

— Жирно живете. Живете только сегодняшним днем. Таких на Северный полюс брать нельзя.

— Что нам на полюсе делать — с белыми медведями разве наперегонки бегать? — опять пошутил третий, но опять никто не засмеялся.

— Ты бы лучше прихлопнул жабры, — сердито сказал Долговязый. — Если нечего сказать, так и молчи в тряпочку. Слушать тошно.

— Заткни уши ватой.

— Смотри, как бы тебя не двинули по морде.

Одно и то же, все одно и то же... Накопившаяся в них злоба медленно тлела, не потухая и не разгораясь настоящим пламенем.

Герман слушал, а сам думал: «С такими далеко не уедешь. Готовы друг другу горло перегрызть, а если спросить, из-за чего, сами не смогут

ответить. Что это такое — начало конца или уже конец?»

— Нам надо выбрать одно из двух, — заговорил он снова, и все замолчали, поняв, что сейчас он скажет что-то важное. — Или ликвидироваться и разбрестись в разные стороны, кто как сумеет, или сделать попытку всем вместе вырваться из окружения и продолжать работу в других условиях.

— Разве из этого окружения вырвешься? — задумчиво сказал Долговязый. — Оно кончается не за этим лесом и не за десятью такими лесами. На каждом шагу нас ждет западня.

— Есть еще дорога через море, — сказал Герман. — За морем находится Швеция...

Он помолчал немного, чтобы остальные успели вдуматься в его мысль, и продолжал дальше:

— Об этом я и хочу с вами говорить. Это не моя выдумка, а конкретное предложение. Мы должны убежать, и если сейчас еще такой возможности нет, то в скором времени она появится.

Эдит приподнялась на лежанке и стала слушать внимательнее.

— Не сейчас. Сейчас еще нельзя. Надо подождать, когда в море разойдется лед и немного потеплеет, иначе замерзнем, как тараканы. На берегу моря в одном рыбацьем поселке у меня есть знакомый из наших. Он недавно вступил в рыболовецкую артель. У них есть моторка. В нужный момент мы ее украдем и тронемся в путь. До Готланда не так далеко. Кто не желает участвовать, пусть скажет сейчас. Кто хочет ехать — пусть готовится. Только надо молчать. Ни жене, ни невесте, ни детям — ни единого слова.

— Я согласен, — сказал Долговязый.

— Я тоже! — крикнул второй бандит.

— А для меня найдется место в моторке? — заговорила Эдит. — Я ездила по морю и морской болезни не боюсь.

Герман посмотрел на нее исподлобья.

— С тобой у меня разговор особый.

Он поговорил еще немного с обоими бандитами о разных мелочах, связанных с предстоящей поездкой, потом показал взглядом на дверь. Поняв, что «командир полка» хочет остаться наедине с Эдит, бандиты разом встали и вышли из землянки.

Герман долго молчал, Эдит несколько раз пробовала улыбнуться, но, убедившись, что Вилде в дурном настроении, сделала равнодушное лицо и широко зевнула.

— Почему ты молчишь? — спросила она. — Ужасно неинтересно

сидеть так и смотреть друг на друга. Мы давно вышли из гимназического возраста...

— Скотина ты! Скотина! — крикнул, глядя на нее в упор, Герман.

— Положим, от скотины это и слышу, — ничуть не удивившись этому взрыву злобы, ответила Эдит.

— Признавайся, свинья, давно ты больна?

— Если ты хочешь, чтобы я отвечала на твои вопросы, то веди себя повежливей. Не забывай, что ты разговариваешь с дамой! На грубости я не отвечаю.

— Кто бы говорил! Да ты сама воплощение грубости! — Герман вскочил, но помещение не было рассчитано на такие резкие движения: он сильно ударился головой о потолок и еще быстрее, чем встал, почти повалился на лежанку. Это его взбесило еще больше. — Шлюха, вот ты кто. Говори правду: ты в лес пришла уже больная или подцепила здесь? Давно ты болеешь?

— С полгода, — ответила Эдит таким тоном, будто разговор шел о выпавшей из зуба пломбе.

— И после этого продолжаешь как ни в чем не бывало жить со здоровыми?

— А что тут особенного?

— Как? Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Ну, понимаю. Я только не знаю, чего ты так злишься?

— Ты заражаешь других!.. Я... тоже болен.

— Трудно сказать, кто кого заразил. Все они больны, только не все понимают, что с ними происходит. Кроме того — разве я кому-нибудь вешалась на шею? Сами не дают покоя, и ты был не лучше других. Возможно, что от тебя я и заразилась. Попробуй докажи, что нет.

Герман не выдержал. С перекошенным лицом он набросился на Эдит и начал ее бить — по лицу, по груди, по спине, по чему попало, наконец повалил на лежанку и стал душить. Он, может быть, и задушил бы ее, если бы Эдит не удалось высвободить руки. Она стала изо всех сил царапать ему лицо. Вилде не выдержал, вскрикнул от боли и отскочил.

Они некоторое время сидели друг против друга, тяжело дыша.

— Что, легче стало? — отдышавшись, заговорила Эдит. — Выздоровел? Как тебе не стыдно!

— Не тебе меня стыдить!

— Мужчина, рыцарь, сильный пол... — издевалась она. — Нашел, на ком демонстрировать свою силу. Еще офицером называется... Вот бы другие увидели, как их командир воюет.

От этих слов Герману стало не по себе. «Черт... не надо было связываться с этой тварью... Вдруг остальным расскажет...»

— Когда разговариваешь со мной, знай границы... — уже более спокойно сказал он. — С тобой последнее терпение иссякнет.

Видя, что Герман пошел на попятный, Эдит тут же сообразила, что сейчас неблагоприятно подливать масла в огонь: они пока не на Готланде, и если слишком разозлить Вилде, он, пожалуй, еще не возьмет с собой. Поэтому она сдержалась и почти спокойно сказала:

— Сотри с лица кровь, пока другие не вернулись. Подумают еще что... Нет, не там...

Она поплевала на носовой платок и начала вытирать Герману лицо. Он не стал противиться.

3

Прошло несколько недель. За это время банда Вилде совершила нападение на молочный завод и вернулась с бочонком масла и двумя большими кругами сыра.

Переговоры относительно моторной лодки шли успешно. Человек, с которым Герман поддерживал связь, сообщил, что все подготовлено к бегству: горючего достаточно, бочонок с водой спрятан в носовой части; на всякий случай в моторке будет и парус. В первую же безлунную ночь можно отправляться.

Вилде предусмотрел даже такую деталь, как переброска всей группы на грузовике, чтобы весь путь до моря проделать в несколько часов. Один шофер потребкооперации согласился, конечно за приличную мзду, услужить им. Шурин шофера когда-то сам состоял в банде, но заболел острым ревматизмом и, с ведома Вилде, легализовался. Бандитам он иногда помогал в качестве связного, и Герман на него вполне полагался.

Было условлено, что в первую же безлунную ночь группа бандитов — всего восемь человек, включая и «командира полка», — будет ждать машину в определенном месте, недалеко от километрового столба. Если дорогой их остановят, они выдадут себя за рабочих, едущих на торфоразработки в Курземе. Километрах в двух от рыбацкого поселка они встретятся со своим агентом и к берегу пойдут пешком — лесом и дюнами. В том районе до сих пор не действовала ни одна банда, так что опасаться строгого надзора не приходилось. До поселка было километров восемьдесят; по шоссе это расстояние можно было покрыть в три часа.

Они с вечера собрались у километрового столба и укрылись в лесу. Движение на шоссе было незначительное, самое большее, если в течение часа проносилась машина или медленно, со скрипом проезжала крестьянская подвода. Вечер был темный, пасмурный. Тучи закрыли даже немногие звезды, которые успели появиться на небе. Изредка капля влаги касалась лица.

— Дождя бы теперь, чтобы на всю ночь, — сказал Герман. — Тогда никакие прожекторы нас не нащупают. К утру будем в нейтральных водах.

Днем довольно сильно пригревало апрельское солнце, поэтому вечер казался особенно прохладным. Бандиты зябко кутались в пальто, ватники и брезентовые плащи. Эдит была в брюках и резиновых сапогах. Сев поодаль, она прислушивалась к разговору, но сама в нем участия не принимала. Два бандита на всякий случай стояли на посту возле дороги. Время тянулось медленно. Все уже думали, что скоро полночь, а когда Герман взглянул на часы, оказалось, что прошел всего час с четвертью.

— Нервы, нервы, — пробормотал он. — Еще одна ночь страхов и тревог, а там можно и отдохнуть.

Будущую жизнь на Готланде или в Швеции Вилде представлял очень туманно. Чем они будут заниматься, на что будут жить, каково будет их общественное положение — об этом он не думал. Ему казалось, что там его ждут с нетерпением и примут как многострадального героя.

«Мы нужны. Без нас никакие перемены в Латвии невысказаны. Мы — авангард, мы — важный резерв в любом политическом заговоре против Советского Союза».

В темноте кашлянула женщина. Герман посмотрел в ту сторону, и его мысли приняли другое направление. Он представил себе такую картину: моторка с восемью беглецами идет по морю, она уже на полпути между Латвией и Готландом. Вокруг безбрежная морская даль, и ни одной лодки, ни одного парохода, только одинокая чайка качается на волнах. Можно говорить полным голосом, кричать, смеяться, вопить, делать все, что вздумается — никто не увидит и не услышит. Герман Вилде соберет шестерых мужчин на носу лодки. «Эта женщина, — скажет он своим сообщникам, — надела вас всех страшной болезнью, от которой вам, может быть, никогда не удастся вылечиться. Вы должны отомстить ей, наказать ее. А наказание может быть лишь одно — смерть. Выбросить ее за борт!» И все бросятся к Эдит Ланке, схватят ее за руки и за ноги... Она будет царапаться, кусаться, вырываться, но это не поможет. Ее раскачают и выбросят в море. Моторка по-прежнему будет продолжать свой путь на

запад, а над волнами еще несколько раз покажется голова Эдит, она будет отчаянно бороться за несколько лишних мгновений жизни.

Только потому и взял ее с собой Вилде. После стычки в землянке он стал держаться с Эдит по-прежнему, чтобы не возбудить подозрений.

— Герман, — полушепотом позвала Эдит, — дай папиросу, очень курить хочется. Не бойся — с дороги не увидят. Я — под плащом.

Он достал из кармана портсигар и протянул ей. Чиркнула спичка, на мгновение осветив маленький уголок чащи: черные стволы деревьев, неподвижные скорчившиеся фигуры людей, которые походили на больших дремлющих птиц, высохший мох под ногами. И снова мрак сомкнулся над чащей, все вокруг стало черно, и в тишине можно было слышать, как вдохнула Эдит дым папиросы.

Через некоторое время послышался отдаленный, неясный еще гул мотора.

— Едут, — прошептал Долговязый. — Это, должно быть, наши.

— Оставайтесь на местах! — тихо приказал Герман, заметив, что некоторые зашевелились. — Если это наша, то мимо не проедет.

На повороте дороги на землю упал желтоватый световой полукруг, затем показались два сверкающих глаза, и в первый миг всем почудилось, что из этих глаз во все стороны рассыпаются снопы потрескивающих искр. Шагах в десяти от километрового столба машина остановилась. Фары светились еще несколько секунд, затем потухли, и тьма стала еще гуще и чернее.

Бандиты по одному вышли на дорогу. Вилде поговорил с шофером и велел остальным бандитам садиться.

— Скорей, скорей, — торопил он.

Уселась за одну минуту. Проверив, все ли в машине, Вилде сел рядом с шофером, и мотор заработал. Вскоре они выбрались из леса, и почти час машина ехала полем, минуя поселки, крестьянские хутора, — старинные барские усадьбы и церкви. Затем опять начался лес и продолжался до самого конца пути. По дороге им встретились три-четыре машины и несколько запоздалых подвод. Их ни разу не остановили. Никто не интересовался грузовой машиной, которая со скоростью тридцати километров ехала по большаку.

В тихом, пустынном месте, возле самых дюн, где росли чахлые, изуродованные ветрами и бурями сосны, машина остановилась. У огромного валуна стоял человек в брезентовом плаще и высоких резиновых сапогах. Бандиты сбились в кучку, окружив его и Германа, и, когда машина отъехала, пошли к берегу. Было слышно, как за дюнами шумело море,

медленно набегали на берег волны.

— Идите смелее, — сказал проводник. — В поселке уже все спят, а патруль пограничников минут десять как прошел мимо. Вернется через час, не раньше.

— Что, моторка возле рыбацких лодок стоит? — спросил Герман.

— Да, с самого края, немного в стороне, — ответил проводник. — В такой кромешной тьме в десяти шагах ничего не увидишь. Сначала, как только отойдем на километр от берега, подыдем парус — на наше счастье сегодня дует береговик. Мотор запустим в открытом море.

— Вам лучше знать, — ответил Герман.

Они шли вдоль внешней стороны дюн примерно с километр. В одном месте, где рыбацья тропа поворачивала по ложбине между двух поросших густым кустарником дюн к морю, их неожиданно ослепила вспышка нескольких карманных фонарей.

— Стой! Руки вверх! — раздался громкий окрик; застучали затворы автоматов.

Шестеро застыли на том месте, где их застал окрик, но двое — Вилде и Эдит Ланка — бросились бежать. Вилде удалось проскочить кустарником сквозь цепь окружения и скрыться за ближайшей дюной. Эдит не могла взобраться на дюну так быстро: ноги вязли в песке, брезентовый плащ стеснял движения. Когда ей, наконец, удалось ухватиться за ивовый куст и подтянуться вверх, позади раздалась длинная автоматная очередь. Она привсталала на колени, хватаясь руками за ветки куста, потом зашаталась, повалилась навзничь и медленно вниз головой начала сползать по откосу. Когда один из подошедших бойцов осветил ее лицо, Эдит была уже мертва.

Долговязому сразу стало ясно, что поимка их банды была отнюдь не делом случая — их ждали здесь с полной уверенностью, что они придут. «Ничего, чисто сработано», — подумал он без всякого удовольствия и вместе с остальными пятью бандитами побрел туда, куда их повели.

Вилде почти час искали по кустам и в лесу. Его следы привели к сосняку, где почва почти сплошь была покрыта мхом, и там они пропали. Без собаки не имело смысла продолжать поиски, так как местность была сложная: тут и густая растительность, и голые пески, а дальше тянулись небольшие болотца.

— Ничего, на этот раз никуда не денется, — сказал руководитель операции. — Завтра он будет в наших руках. Только надо наблюдать за шоссе, чтобы какой-нибудь шофер не подсадил его в машину.

Одолевая песчаный склон, Вилде думал о том, что нужно скорее, как можно скорее миновать лабиринт дюн и добраться до леса. А там — пересечь шоссе, пока не началось планомерное преследование. Как только бойцы доставят арестованных в надежное место, большинство их отправятся в погоню. У них, наверно, есть и собака-ищейка.

Герман слышал позади выстрелы. Он был уверен, что они предназначались ему, поэтому бежал пригнувшись, стараясь воспользоваться каждым укрытием, которое попадалось на пути. Бегство осложнялось еще из-за незнания местности. Чтобы не заблудиться и не вернуться на место засады, Вилде запомнил одно: берег моря все время должен быть слева.

Стрелять перестали. Вилде не слышал уже и шума прибоя: в ушах у него стучало, сердце бешено колотилось, он задыхался. Добежав до леса, Герман остановился. Глубоко и жадно вдыхал он прохладный ночной воздух. Только сейчас он почувствовал, что весь взмок: по лицу, по груди, по спине струйками стекал пот.

Немного отдохнув, он направился дальше. Больше он не бежал, а шагал широкими, спокойными шагами, стараясь не производить лишнего шума. Ужасающе громким казался ему треск сухого валежника под ногами, каждая падающая шишка заставляла его вздрагивать и оглядываться. И все время было такое чувство, будто чье-то горячее дыхание обдает спину.

Так Герман дошел до шоссе. Он перешел через него не в том месте, где вышел из лесу, а сначала метров сто брел по придорожной канаве, где вода местами доходила до колен; если будет погоня с собакой, то здесь следы потеряются и пройдет с полчаса или больше, пока их найдут. Перейдя, наконец, дорогу, Герман опять довольно долго брел канавой, пока не дошел до небольшого болотца. Он выломал себе палку и, пробуя впереди глубину, перебрался через топкое место. Теперь он немного успокоился: минимум предосторожности соблюден, дальше можно идти увереннее, выбирая путь полегче. Всю ночь шел он не останавливаясь; на рассвете впереди показалась вырубка, а за ней поля и несколько крестьянских усадеб. Обойдя вдоль опушки вырубку, Герман достиг лиственной рощи, мимо которой тянулась дорога. Та ли это была дорога, по которой ехал грузовик, или другая, он не знал. На всякий случай решил отдохнуть. Он сел, снял сапоги и вылил из них воду, затем начал обдумывать свое положение.

Куда же, в какую сторону идти? Есть ли такое место, где можно

чувствовать себя в безопасности? Если удастся разыскать какую-нибудь террористическую группу в Видземе или Латгалии, признают там его командиром? И чего он собственно достигнет, если и признают? Снова барсучья нора, снова вши и болотная вода... Конца этому не видать...

Но, как ни беспросветна была эта перспектива, иного выхода Вилде не находил.

Приняв решение о бегстве из Латвии, он уже капитулировал, признал свое бессилие и бесцельность дальнейшей борьбы. К такому признанию за один день не приходят. Он сопротивлялся до последнего, не хотел видеть очевидного, но в конце концов и ему осталось покориться перед лицом фактов. Конец, который Герман так явственно почувствовал в землянке у Эдит и Долговязого, сейчас приблизился вплотную: вчера он еще командовал семерыми подчиненными, давал им задания, приказывал — сегодня он был один, а против него стоял целый мир.

Что выиграл он, убежав от своих соучастников? Свободу? Хороша свобода, когда остается только одно — подохнуть, как псу, вдали от людей, сгнить в полной безвестности. Скоро он будет мечтать, как о величайшем счастье, о черствой корке хлеба. И все-таки... «Ты еще не побежден, ты можешь бороться, нападать, уничтожать, ты еще опасен. И это сила. Не важно, что произойдет завтра, послезавтра, важен настоящий момент, важно то, что ты существуешь сегодня».

Его давно уже мучил голод. Будь он обычным путником, можно было бы зайти в любой дом и попросить хлеба, купить, наконец. Как же счастливы остальные люди, они безбоязненно ходят по дороге, им не надо скрываться в чаще, шараться при всяком шорохе. Герман завидовал им и еще сильнее ненавидел их, потому что они были чисты.

Не успев отдохнуть, Герман услышал отдаленное повизгиванье, — так повизгивает охотничья собака, напав на след зайца. Возможно, это и был Цезарь или Нерон какого-нибудь местного охотника, возможно — бездомная дворняжка или четвероногий помощник пастуха, которого увлек охотничий инстинкт. Но, может быть, это...

И он сразу стал похож на почуявшего опасность зверя. Ощетинился, подался всем телом вперед, точно внюхиваясь в воздух. Герман несколько часов шел по лесу, продираясь сквозь кустарник, прыгая с кочки на кочку, когда на пути попадалось болото, бегом перебегая открытые места. Иногда останавливался и прислушивался. Потеряв направление, вышел к опушке и увидел на дороге вооруженных бойцов. Расположившись цепью, они наблюдали за опушкой.

Герман метнулся назад, в лес. Справа снова донеслось из-за деревьев

повизгиванье собаки. Он ускорил шаг и, выбрав направление, которое в равной мере отдаляло его и от цепи бойцов и от собаки, бросился бежать. Ему показалось, что собака осталась позади. Слева лес стал редеть, в стене деревьев блеснули просветы.

Как хотелось есть! Попадись ему в руки птица, Герман разорвал бы ее и стал жрать сырьем вместе с перьями. Чтобы обмануть желудок, он стал жевать древесные почки, сосал тонкие еще побеги травы. В одном месте ему попало несколько прошлогодних орехов. Ядра были черные, прогоркшие, но он жевал их до тех пор, пока они не превратились в жидкую кашу, и только тогда выплюнул.

Его мысли все чаще обращались к еде, казалось, что мозг переместился в желудок.

«Не догадался сунуть в карман несколько кусков хлеба... — с тоскливой злобой думал он. — С жареной свининой, с салом... И еще с маслом и с сыром. Сыр какой жирный был...»

День кончился. Пасмурный вечер спустился над лесом. Герман давно уже шел как во сне, ничего не видя перед собою от усталости, то и дело спотыкаясь. В одном месте он налетел на огромную муравьиную кучу, упал и тут же уснул.

Вдали залаяла собака. Герман вскочил и побежал, прежде чем проснулся. Уже была ночь. Ветви кустов больно царапали лицо, цеплялись за одежду; он все время падал, подымался и через несколько шагов снова падал. Ему казалось, что и справа и слева раздаются шаги, за каждым деревом подстерегают люди. Но когда он останавливался и прислушивался, они тоже останавливались и наступала полная тишина. Но едва он начинал двигаться, как шаги слышались снова. А вдали, не переставая, лаяла собака.

Наконец, он вышел на берег небольшого озерца. Серовато-стальная поверхность воды резко выделялась на темном фоне деревьев. Герман лег наземь и припал ртом к воде. Пил долго, долго. На самом берегу была небольшая вырубка — шей тридцать. Вилде сел возле толстого гладкого пня, прислонился к нему и облегченно вздохнул, — ему вдруг показалось, что он пришел, наконец, домой и может отдохнуть... Он задремал и тут же вздрогнул, проснулся на мгновение и опять заснул. Это повторялось несколько раз.

Вдруг весь лес точно загорелся, и кругом стало светло, как днем. Вилде увидел, что лес полон людей. Люди шли по берегу озера длинной молчаливой процессией и все глядели прямо на него... И он узнал...

То были его жертвы, у этих людей он отнял жизнь, или убивая их

своими руками, или приказывая сделать это другим. Взрослые и дети, старики и женщины... латышские крестьяне — сельские активисты, которых он расстреливал и вешал летом 1941 года... евреи, которых он велел полуживыми зарыть в огромную могилу... Они подходили все ближе и ближе.

Герман закричал от ужаса и проснулся. Он долго сидел, закрыв глаза ладонями. Спокойно дремало в своих берегах озеро, и тихо шелестел в верхушках деревьев ветер. Светло-серые облака уже окрашивались в красноватые и золотистые тона.

Он поднял голову. За деревьями явственно слышались людские голоса. Но уже показались и сами люди — они были одеты в военную форму и вооружены винтовками и автоматами.

Ему уже не убежать, но он может сопротивляться, дорого продать свою жизнь. Оружие у него есть — он нащупал его и крепко сжал в руке. «Пять пуль вам, шестая себе... Я еще силен, меня еще нужно бояться».

Раз, два, три... отзвучали, упали в вечность секунды, мелкие крупинки времени, за которые он боролся весь вчерашний день и всю ночь. Это были последние — старые песочные часы сейчас перестанут действовать, и время остановится.

Все останется на месте. Озеро будет лежать в своих берегах, пригорки — нежиться на солнце, земля — отдавать свои соки зеленой траве и стеблям хлебов; Будут жить люди — прекрасной, полной жизнью. Но ты не человек, нет тебе места в жизни. Ты исчезнешь с лица земли, и весенний дождь омоет оскверненное место.

Медленно достал он пистолет, приложил дуло к груди, где под заношенной рубахой билось сердце. Затем нажал спуск.

Все потухло, все замолчало.

Глава восьмая

1

В конце мая 1948 года Владимир Гаршин сдавал машинно-тракторную станцию новому директору Эльмару Ауныню. Всю зиму Эльмар учился на одногодичных курсах директоров МТС. Программа была довольно обширная, разносторонняя, заниматься курсантам приходилось много. Только на курсах Эльмар увидел, как далеко ушел он за последние два года,

которые проработал под руководством Гаршина. Ехал он сюда озабоченный, опасался даже, что его найдут непригодным и отошлют обратно. И вот неожиданно для него самого оказалось, что у него была серьезная подготовка по многим предметам, а на практических занятиях он шел чуть ли не впереди всех своих сокурсников. «А все Владимир Емельянович, — часто думал он. — То нужную книжку заставит прочесть, то будто ненароком спросит что-нибудь такое, что сам потом десять книжек прочтешь; так все время и приучал мозгами шевелить».

Словом, занимался Эльмар так успешно, что в министерстве нашли возможным отозвать его с курсов в середине мая. Он охотно остался бы здесь до конца учебного года, но дела требовали его возвращения в МТС — уже в качестве директора: Гаршин недавно был утвержден вторым секретарем уездного комитета партии и должен был немедленно приступить к работе.

Было воскресное утро. Днем должна была открыться очередная сессия волостного совета, и Эльмар с Гаршиным спешили кончить все дела, чтобы принять в ней участие, так как оба они были депутатами. В сущности говоря, акт сдачи-приема был подписан еще вчера, и то, что предстояло им сегодня, скорее можно было назвать инструктивной беседой, деловым совещанием двух старых товарищей, чем юридической процедурой.

Они обошли все хозяйство МТС, задержались в машинном сарае и в ремонтной мастерской, потом осмотрели общежитие рабочих и зашли на минутку в клуб, где Гаршин построил прошлой зимой небольшую сцену.

— Машинно-тракторная станция должна быть не только хозяйственным, но и политическим и культурным центром, — сказал Гаршин, возвращаясь к своей любимой мысли. — Без МТС невозможен переход к социалистическому сельскому хозяйству. Наши тракторы должны поднимать не только засоренные залежи, но, если можно так выразиться, и толстые пласты консерватизма в сознании крестьян. Механизация, новейшая агротехника могут делать чудеса, но только тогда, когда они сочетаются с живым словом коммунистической пропаганды. Машинно-тракторная станция должна стать таким местом, куда будет стремиться каждый крестьянин, зная, что именно здесь он услышит и увидит что-нибудь полезное. Ведь станция, со всем, что здесь имеется, является одной из первых важных ступеней к уничтожению противоположности между городской и деревенской жизнью, между физическим и умственным трудом. Производственные планы — хорошая и важная вещь, и их надо выполнять безоговорочно, но эти планы ни гроша не будут стоить, если за каждым вспаханным гектаром, за каждым осушенным, превращенным в

плодородную землю кочкарником не будет видно смысла работы. А смысл этот в том, чтобы...

— Проторить дорогу к полному коммунизму, — сказал Эльмар.

— Верно, Эльмар. Мы уже имеем право говорить об этом. Я, например, твердо убежден, что мы с тобой увидим это на своем веку, проживем еще в условиях полного коммунизма. Он приближается, он не за горами. И нам надо спешить расти самим и воспитывать других людей, чтобы они были достойными гражданами коммунистического общества.

Они вышли на дорогу. Куда бы ни обращался взгляд, везде он встречал лоснящиеся на майском солнце поля. Зелень уже не была такой прозрачной, воздушной, как весной, но золото лета еще медлило пролиться на нивы.

— Ты погляди, Эльмар, ржи-то какие! Гектаров пятьдесят в одном массиве. Где ты такое видел?

— Колхозное поле? — спросил Эльмар, с наслаждением представляя себе, как трактор шел весной по этому полю, подобно кораблю, который выплыл из узкого канала в открытое море. «Здесь можно было бы пустить даже комбайн», — подумал он.

— Колхозное. С каждым годом их будет все больше и больше. Люди научатся, наконец, считать не на гектары, а на квадратные километры. И душой они будут становиться шире, иные психологические масштабы возникнут. Теперь не будет каждая межа, каждая пограничная канава наглухо огораживать мир латышского крестьянина.

Они уже подходили к тому месту, где лес подступал к самой дороге.

— Здесь меня однажды хотели убить, — сказал Гаршин. — Один из этих людей на днях со слезами просил принять его в колхоз. Может быть, через некоторое время и примут. Раза три был у меня на станции. Сам все рассказал и просил прощения.

Недалеко от исполкома мальчишки гоняли на лугу мяч. Заметив Гаршина и Эльмара, один из них бросил игру и побежал на дорогу.

— Дядя Володя, верно, что вы от нас уезжаете? — степенно спросил паренек. Он поздоровался с Гаршиным и Эльмаром за руку, как взрослый.

— Правда, Петерит, придется. Но это ведь не так далеко, я буду приезжать в гости, да и ты сам, если не забудешь старого друга, кое-когда приедешь погостить недельку-другую.

— Вам, значит, здесь не нравится, да?

— Нравиться-то нравится, да нельзя оставаться.

— Теперь мне не позволят ходить в МТС, — грустно сказал мальчик. — И на тракторе ездить...

— А ты любишь на тракторе ездить? — спросил Эльмар.

— Ох, и люблю! — с жаром воскликнул Петерит.

Весной ему исполнилось девять лет, он уже перешел во второй класс, а теперь, пользуясь каникулами, проводил целые дни в лесу и в поле. Он уже почернел от солнца, зато выгоревшие волосы стали белыми как лен.

— Ну, если так, приходи завтра на станцию, — сказал Эльмар. — Вместо дяди Володи теперь там буду я. Давай твою руку — будем друзьями.

Сначала Петерит вопросительно поглядел на Эльмара, — может быть, шутит? Но, встретив добродушную улыбку, положил свою коричневую исцарапанную лапку на большую ладонь Эльмара и строго спросил:

— Честное слово?

— Честное слово, — ответил Эльмар.

Сессия волостного совета происходила в Народном доме. На повестке дня стояло два вопроса: подготовка к уборочной кампании и ремонт школы. По первому вопросу докладывал председатель волостного исполкома Лакст. Конец зимы и начало весны были неблагоприятны для озимых: после ранней оттепели ударили морозы, потом опять потеплело, а через несколько дней выпал снег. Часть посевов пришлось переборонить и дать им подкормку, чтобы обеспечить урожай.

Прения были оживленные: выступали многие колхозники, участковый агроном и председатели обоих колхозов. И хотя говорили они как будто о разном, но одна мысль пронизывала все речи:

— Урожай ни в коем случае не должен быть ниже прошлогоднего!

Секретарем сессии избрали Ирму Лаздынь, и работы ей хватило до самого вечера. Когда закрыли сессию, к ней подошла Марта Пургайлис и пригласила пообедать.

— Вы так с ног свалитесь, надо немного подкрепиться.

— Ох, и не знаю, еще не кончила протокол переписывать, — озабоченно сказала Ирма.

— Успеется. Завтра ведь уезжает Владимир Емельянович. Посидим с ним в последний раз.

— Да, тогда, конечно...

Эльмар после сессии ушел в МТС, а Гаршина задержали в Народном доме товарищи. Все знали, что он уходит из МТС, и каждому хотелось на прощанье сказать что-нибудь душевное человеку, которого в волости полюбили, как родного.

— Хорошо, что вы остаетесь в нашем уезде, — говорили они. — Значит, будем встречаться. Не забывайте нас, товарищ Гаршин, приезжайте почаще. Мы вас все равно своим считаем.

Гаршин и сам не ожидал, что будет так взволнован и растроган этим прощанием.

После, сидя за столом вместе с Мартой, Ирмой и Лакстом, он снова испытал это волнение. Он и правда чувствовал себя здесь, как в родной семье. Он мог уйти отсюда со спокойным сердцем: Марта, Лакст, Эльмар — смена надежная, с ними можно быть спокойным за волость.

Правда, осенью Марта Пургайлис поедет в Ригу и поступит в двухгодичную партийную школу, но здесь остается Лакст, остается крепко спаянная партийная организация, остается молодой колхозный актив. Марте и не придется возвращаться на старое место, после школы она сможет выполнять любую работу в уездном масштабе. Даже Ирма выросла на его глазах. Счетовод из нее получился образцовый, ее все колхозники уважают. Драматический кружок, которым она руководит, завоевал на смотре художественной самодеятельности первое место по уезду и принимал участие в республиканском смотре. Способная девушка. Ее уже приглашали играть в уездном городе, а она не захотела, отказалась. И если хорошенько рассудить, — правильно сделала. Здесь интереснее работать. Но почему временами у нее такие грустные глаза?

Гаршин не знал почему и уехал, не узнав этого. А Ирма, подавая ему на прощанье руку, глядела ему в глаза и думала:

«Я буду ждать тебя. Ты все равно приедешь ко мне, ведь мы нужны друг другу. Ты не спеши, живи своей работой, а я буду терпеливо ждать тебя и дождусь».

2

В парке, возле площадки для детей, на скамье сидели трое стариков — матушка Спаре, Рубениете и Екаб Павулан. И у каждого был свой подопечный, с которого они не спускали глаз даже в разгар увлекательного разговора с соседями. Самым беспокойным был Андрит Рубенис: ему быстро надоедало играть в песке, голубые глазенки его мечтательно смотрели на детей постарше, которые гоняли поодаль большой резиновый мяч. Ему тоже хотелось ударить ногой по большому мячу, он уже несколько раз перелезал через низкий бетонный барьер и мелкими быстрыми шажками бежал к запретной зоне. Рубениете вскакивала и бросалась ловить его.

— Не ходи, Андрит, к большим мальчикам, зашибут, — каждый раз уговаривала она внука. — Ты ведь еще маленький. На, возьми лопатку,

покопайся в песочке. Смотри, как хорошо играют Инта и Густынь...

На несколько минут для нее наступал покой, но стоило только ей отвернуться, как внук снова оказывался за барьером. Раз ему посчастливилось: мяч покотился прямо на него, и Андрит ударил по нему ногой прежде, чем подросла бабушка. Мальчик засмеялся и захолопал в ладоши.

— Баба, я ударил... ножкой... мячик покотился!

— Да, Андрит, очень ловко ударил, — поддакивала бабушка, взяв его на руки. — А теперь довольно, ты уже наигрался с большими мальчиками. Поиграй с маленькими.

— Я хочу туда, — не сдавался Андрит.

— Если не будешь слушаться, сейчас же пойдем домой и больше никогда не придем сюда.

Наконец, он унялся и стал играть с Интой Жубур и Аугустом Спаре. Инта старалась во всем играть первую роль, а мальчики охотно позволяли ей это. Скоро дети перепачкались до ушей, с таким усердием они работали.

— Прямо беда с этими детьми, — вздыхала Рубениете. — Минутку не дадут посидеть спокойно. И что только из этих выюнов получится, когда подрастут...

— Ведь они живые, — сказал Павулан. — Куда же им свою резвость девать! Сама природа двигаться заставляет.

— Можно бы чуточку спокойнее, — ворчала Рубениете.

— Будто твои дети спокойнее были, — усмехнулась мамаша Спаре. — Я, бывало, за Петером и Айей никогда уследить не могла. А сама-то разве такая уж соня была?

— Какое там, — улыбнулась Рубениете. — Однажды целую банку варенья размазала по полу. Перед тем покойный отец красил полы. Думаю — банка и банка, если большие могут мазать по полу, почему мне нельзя. Разве такой клоп соображает, что краска, что варенье. Спариене, гляди, что твой выделяет! Ишь, как бежит...

Перебравшись за барьер площадки, Аугуст предпринял самостоятельную прогулку по дорожке парка — прямо к воротам. Мамаше Спаре пришлось бежать со всех своих слабых ног: внучек, заметив, что за ним гонятся, пустился бегом. Наконец, почти у самого тротуара удалось его настичь. Бабушка взяла его на руки и понесла обратно.

— Так нельзя, Густынь. Бабушка заболит, если не будешь слушаться. Машина наедет, убить может.

— Ту-ту, — задудел мальчик, подражая сигналу автомобиля. — Где у тебя болит, баба?

— Везде болит, сынок. Если будешь слушаться, тогда болеть не будет.

Гудя моторами, низко над городом летел большой пассажирский самолет. Дети перестали играть и, задрав головы, с интересом наблюдали за могучей птицей, которая, распластав крылья, поблескивая на солнце серебряным корпусом, скользила все ниже и ниже — в сторону Спилве.

— Это «дуглас»! — заявил кто-то из старших мальчиков.

— Нет, это «ИЛ», — горячо возразил другой. — Мой папа летает на «ИЛе» штурманом. Я знаю.

Чистое голубое небо изливало на город потоки света. Хорошо посидеть в такой день в тени деревьев и поговорить со старыми знакомыми, особенно если это воскресенье и спешить некуда. Да и куда спешить теперь старику, который всю свою долгую жизнь знал только суровый труд. Вечера ждать не надо, вечер сам подойдет незаметными, тихими шагами, и если честен был твой долгий путь, ты можешь уснуть со спокойной совестью.

— Деда, почему у тебя такие шишки на пальцах? — спросила Инта. — У меня таких нет.

— Это, доченька, от работы. Машина укусила.

— Баба, а почему у тебя жесткие руки? — уже из подражания спрашивает Аугуст бабушку.

— От работы, сынок. На фабрике я работала.

— А зачем ты работала на фабрике?

— Чтобы хлебушек был. Твой папа был маленький, ему хотелось кушать и тете Айе. Платица, штанишки нужны были. Потому и работала на фабрике. Вот у меня руки такие и жесткие.

— И у меня такие будут?

— Может, будут, а может, и нет.

— Ну, где же, у них такие не будут, — сказал Павулан. — Пока они вырастут, у нас всю грубую работу станут делать машинами. И теперь многое не делают больше руками. А если кто поранит палец, это уж такое происшествие, сам инженер бежит, смотрит, почему так случилось. Раньше даже йод и марлю не давали, бывало кровь ручьем хлещет, а ты завяжешь руку какой-нибудь тряпочкой, и ладно. Вот откуда они, эти шишки.

— Что и говорить, времена такие были, что рабочего человека наравне со скотиной считали.

— А теперь-то... Вон мой старик в прошлом месяце сидел в театре, на самой сцене, за красным столом, — сказала Рубениете. — Дали слово, пришлось говорить о выполнении пятилетки в четыре года. Я сижу на балконе, а сердце у меня так и стучит, как пошел он к этой... ну, к трибуне.

Думаю, что может сказать на таком собрании простой грузчик? Хотя бы по бумажке прочел, читать-то умеет. А он как начал, начал... сама не узнала своего старика. Что же это будет, говорит, если мы не выполним пятилетку досрочно. Он, то есть бригада их, сбрасывает еще полгода и на будущий год к первому июля выполнит весь план. Рассказал, как они этого добьются, чтобы другие тоже попробовали. Когда кончил, все ему хлопали, а старик как ни в чем не бывало, будто дома с женой поговорил.

— Так прямо без всякой записочки? — усмехнулся Павулан.

— А я что говорю! Будто заправский оратор. И когда он научился так? Ну, я понимаю, когда молодые, но такой старик...

— Видать, не такие уж мы старые, — молодцевато сказал Павулан. — В молодом государстве и сам станешь молодым. К примеру, кому бы раньше пришло в голову, что мне, старому токарю, придется стать учителем? Когда я устроил свой «колхоз», партийные товарищи обратили на меня внимание. И твой сынок, Спарие, приходил ко мне... До тех пор уговаривали, пока не согласился пойти в ремесленное училище. Преподавателем. Целую группу дали, а в ней несколько десятков ребят. Так вот с ними и посею сейчас вожусь. Ремеслу, конечно, их научу — за это душа у меня не болит, — но как же это все-таки, думаю: учителем! Сакнит иначе как профессором и не называет. А я его — инженером, он ведь сейчас начальником цеха... Так мы с ним и балагурим. Обоим на пенсию пора, но как тут уйдешь, когда столько дела кругом. Если бы еще нужда заставляла работать, тогда — да, наверно давно захотелось бы на покой, но нужды никакой нет... И сыты и одеты, дети не знают, как и ухаживать за тобой. Выходит, для своего же удовольствия работаешь. Приятно, когда видишь, что и от тебя какая-то польза людям.

— Для того и на свете живем, дядя Павулан, — сказала Спарие. — Какой это человек, если он для себя одного живет? Все равно, что пустой колос — воробью и то нечего клюнуть.

Трое малышей на площадке подняли в это время ужасный шум: какой-то мальчуган, побольше и посильней, хотел взять лопатку, а они не давали. На этот раз подошла Рубениете и водворила порядок.

Пришла за своим Андреем Айя. Вместе с ней ушли мамаша Спаре и Рубениете. Павулан еще немного посидел с внучкой, затем, вспомнив, что она давно не ела, достал бутерброды. Поев, Инта сразу стала вялой и сонной. Павулан посадил ее в колясочку и повез домой. Детская головка клонилась все ниже, глаза слипались. Девочка скоро уснула. Павулан поправил ей шапочку, чтобы солнце не светило в глаза.

— Дядя Павулан! — кто-то весело окликнул его.

Двое бывших его «колхозников» — Андрис Коцинь и Коля Рыбаков — стояли на тротуаре и улыбались. Оба паренька сильно выросли и возмужали. Оба были в одинаковых серых костюмах, в полосатых галстуках, со значками ВЛКСМ на отворотах пиджаков.

— Разрешите помочь, дядя Павулан, — сказал Андрис, пожав старику руку. — Нам в ту же сторону.

Павулан уступил ему колясочку, сперва подробно проинструктировав относительно мер предосторожности.

— Смотрите, не вывалите мне внучку.

— Да вы не бойтесь, дядя Павулан, я и сам понимаю, — успокаивал его Андрис.

— Куда это вы направляетесь? — спросил Павулан, когда они тронулись всей процессией. — Ох, наверно, на свиданье!

— Нет, дядя Павулан, — засмеявшись, ответил Коля. — Мы с комсомольского собрания. Знаете новость — Виктора Шубина выбрали депутатом на съезд комсомола. Наверно, придется выступать, он все время готовится. А мы с Андрисом сейчас идем на футбол. Пойдемте как-нибудь с нами, вам очень интересно будет. Вы бы посмотрели, как центр нападения прорывается и бьет по воротам...

— Идите уж, идите... Мне уже поздно на эти игры смотреть. Вы мне потом все расскажете... и про нападение и про защиту...

На следующем углу они простились. Павулан долго смотрел вслед своим ребятам, и множество мелких морщинок лучилось вокруг его глаз.

В тот же день в одном из рижских музеев происходило открытие выставки работ заслуженного деятеля искусств художника Эдгара Прамниека. Пригласительные билеты были разосланы еще несколько дней тому назад. Получил приглашение и Эвальд Капейка, с которым Прамниека в последнее время крепко подружился. Возникновению дружбы способствовало то обстоятельство, что Капейка на протяжении нескольких месяцев в свободные часы позировал художнику для большой картины. Картина изображала один из эпизодов партизанской борьбы с оккупантами: восемь партизан громят немецкую комендатуру. Лицу коменданта художник придал несколько характерных черточек, по которым многие зрители узнавали шефа гитлеровской пропаганды. Возможно, что и остальные персонажи заставляли вспомнить кое-кого из палачей,

подвизавшихся в тюрьмах и Саласпилском лагере. Но всем, кто смотрел картину, казалось, что они где-то видели эти лица. Поразительный контраст этим перекошенным от страха физиономиям представляли дышащие отвагой и гневом лица партизан. Особенно хороша была фигура Капейки в овчинном полушубке, с автоматом в руке. Она занимала в картине центральное место.

Прамниека больше всего привлекало в бывшем партизане одно качество, которое он стал особенно ценить в людях за последнее время, — это страстная ненависть ко всякой мерзости и подлости. Видя какое-нибудь безобразие, Капейка никогда не утешал себя мыслью, что это не его дело, что за этим другие должны смотреть. Слишком дорого было ему советское общество, чтобы он мог мириться с теми, кто пытался протащить в него старые замашки и грешки. Тут он, не жалея ни сил, ни времени, принимался действовать и всегда доводил дело до конца.

Капейка уже сдавал экзамены за последний курс техникума. Алиса (они поженились еще в начале 1946 года) несколько раз уговаривала его пропустить хоть год, отдохнуть немного, но Эвальд только лихо щелкал языком и отвечал:

— Железо надо ковать, пока горячо. А потом заметь, после войны я еще ни разу не хворал. То-то.

В воскресенье утром он спросил Алису:

— Ну как, на выставку пойдём?

Она ответила шутливым тоном, который давно установился между ними:

— Тебя я думаю оставить дома. Польешь цветы, сваришь обед, а я схожу посмотрю. Интересно, что там Прамниека сделал из моего мужа. Ох, боюсь, достанется ему от меня.

Когда они пришли в музей, там уже было полно народу. Попадалось много знакомых лиц. Группа писателей окружила Жубура и Мару. Саусум стоял рядом с Прамниеком и подшучивал над ним, говоря, что он в черном костюме похож на кающегося грешника, а грехов у него много — все стены увешаны ими.

Народный писатель Калей, портрет которого тоже был представлен здесь, шутя сказал, что группа на одной из картин — чистейший плагиат: Прамниека целиком взял из его последней пьесы несколько типов.

— Правда, Жубур, что ты расходишься с женой? — спросил он с самым серьезным видом, хотя глаза у него смеялись. — Весь театр только об этом и говорит.

— Только на один сезон.

— А может быть, и на два, — улыбаясь, поправила Мара.

Дело в том, что в конце лета она уезжала в Москву учиться в одном из лучших драматических театров искусству режиссуры. Она должна была поехать еще в прошлом году, но тогда Инта была слишком мала, а Жубур готовился к государственным экзаменам, нельзя было сваливать на него все заботы по дому.

Один из профессоров академии художеств произнес вступительное слово. Рассказал о долгом и сложном пути, который прошел Прамниек, о большой честности, которая помогла Эдгару Прамниeku решительно сойти с ложных троп и увидеть широкие горизонты социалистического реализма.

Начался осмотр выставленных картин. Прамниек показал работы последних четырех лет и некоторые довоенные картины. Портреты, жанровые картины, пейзажи, эскизы декораций для двух пьес, иллюстрации к нескольким книгам и, наконец, большой цикл рисунков «Фашистская оккупация», подходя к которым посетители переставали улыбаться и умолкали. Дольше всего люди задерживались перед этими рисунками и большой картиной «Партизаны». Только Капейка не решался приблизиться к ней: ему казалось, что, если он подойдет ближе, люди подумают, что он любит свою былой удалью и приглашает полюбоваться на него.

Но Алиса, не замечая этой робости, тянула его за рукав.

— Как хорошо-то! Эвальд, — почти закричала она, так, что многие обернулись, — ну посмотри же, какой ты здесь!

— Ну, вижу, вижу, зачем говорить об этом... — бормотал Капейка.

— Тебе что, не нравится? — спросила она потише. Потом долго, уже молча, смотрела на картину и обернулась к мужу. — Что же это такое, я столько времени знаю тебя, столько смотрела, а вот не увидела, что ты такой. Теперь вижу.

— Я знаю, что удачно получилось, только не надо говорить об этом здесь — услышат.

— Теперь я понимаю... — Алиса погладила его руку. — Прости, что я так... Мы придем в другой день и посмотрим вдвоем.

— Это дело другое.

Они походили и по другим залам музея. Многие картины им понравились, но на многое они смотрели с недоумением. В одном зале целая стена была увешана работами какого-то художника — все это были букеты цветов, подобранных в разных сочетаниях. Капейка взглянул на них и пожал плечами.

— Цветы, не спорю, красивые, но мне это не нравится.

— А почему? — с удивлением спросила Алиса.

— Не понимаю я, как это хороший художник, который окончил академию и знает свое дело, может всю жизнь рисовать только цветы? Тебе удивительно, почему они мне не нравятся. Потому, что от таких картин людям ни тепло ни холодно. Лучше уж тогда смотреть на живые розы. Нет, настоящая картина должна быть такой, чтобы человек, глядя на нее, чему-нибудь научился, умнее стал, наконец радовался или печалился. Если же этого нет, если я смотрю на нее равнодушными глазами — значит художник зря трудился. Пойдем лучше обратно, посмотрим картины Прамниека, там сердцу теплее становится. Он, мошенник, знает жизнь и людей, любит их. Люди ему интереснее, чем цветы.

Гости постепенно расходились, но зал был по-прежнему переполнен — приходили все новые и новые посетители: военные, студенты, молодые художники. Они подолгу рассматривали картины Прамниека, и не было здесь ни одного равнодушного лица.

«Не напрасно я жил», — думал Прамниека.

Акментынь и Марина выполнили, наконец, обещание, данное Ояру и Руте осенью 1946 года: приехали к ним в гости. В прошлом году Акментынь совсем не пользовался отпуском, и теперь в его распоряжении был весь июнь.

Рута сейчас же позвонила Ояру на «Новую коммуну».

— У нас гости из Лиепаи. Может быть, сегодня вернешься пораньше?

— Криш? Я сейчас пришлю машину, пусть он приедет на завод.

Ояр первым долгом повел Акментыня по всем цехам, показал новые станки и машины, большой корпус, который с месяц только как вступил в действие. Работа шла в три смены, сырьем были обеспечены на целый месяц, технологический процесс разработан до последней мелочи — словом, дела шли блестяще. И однако Криш сразу заметил, что Ояр чем-то сильно озабочен. То же озабоченное выражение можно было прочесть и на лице секретаря партийной организации Курмита.

— Отчего вы оба такие кислые? — спросил Акментынь, когда они втроем вошли в кабинет Ояра. — Судя по газетам, «Новая коммуна» неизменно идет впереди всех заводов в вашей системе. Что вы, право, ненасытные какие? Чего вам еще не хватает?

— Большие огорчения предстоят, — ответил Ояр. — За май первое

место в соревновании достанется не нам. Понимаешь ты, что это значит? Целый год шли впереди всех, и вдруг какой-то заурядный завод начинает тебя нагонять, становится рядом, и — смотришь — обогнал? За все трудные послевоенные годы никто не мог с нами равняться, а теперь, когда все в порядке и остается только производить да производить, — нам начинают угрожать. Ты послушай, что получается. Себестоимость мы снизили, производительность труда за последние пять месяцев подняли на восемь процентов, есть у нас хорошие показатели и по экономии сырья. А что касается дотаций, то мы хозяйничаем без них целый год. Все как будто в порядке, а все-таки не в порядке.

— Все ясно, Ояр. — Акментынь улыбнулся и провел рукой по своим роскошным усам. — Постоянные успехи вскружили вам немного голову, и вы стали работать хуже.

— Ошибаешься, Криш. Работаем мы не хуже прежнего, но другие стали работать лучше нас, вот в чем вся штука. Слабые понабрались сил и сноровки, отстающие догнали ведущих. Выходит, надо работать еще лучше, чем до сих пор, чтобы удержать первое место. Теперь с каждым днем все труднее будет удержаться впереди.

— Ты уж завидуешь чужим успехам?

— Да нет, я им очень рад, приятнее чувствовать рядом сильных товарищей, а не каких-то дохляков. Но беспокойство они мне доставляют. Теперь дальше: мы обязались выполнить пятилетку в четыре года. Но, если в Латвии хоть одно предприятие выполнит пятилетку на месяц раньше «Новой коммуны», нам будет обидно. Верно, Курмит?

— Не так уж страшно. Если с сырьем не будет задержки, мы свое слово сдержим. Шума подымать пока не надо, но в будущем году к Октябрьской годовщине мы все-таки отрапортуем партии и правительству.

— Оптимист ты, как я на тебя погляжу.

— А ты что, в пессимисты записался?

На следующий день, когда к Ояру пришли в гости Петер Спаре с Аустрой, Акментынь убедился, что Петера мучает та же благородная тревога, которая не давала покоя Ояру. «Но если они считают, что только в Риге об этом думают, то весьма ошибаются. Пусть приедут к нам в Лиепаяу и посмотрят...» Акментынь был себе на уме и подробно по этому вопросу не высказывался, но был твердо уверен, что к концу пятилетки Лиепая тоже кое-что подготовит!

Вечером они собирались всей компанией пойти в оперу, а утром в понедельник надо было отправить Акментыней (Валерия они тоже привезли) на Взморье. Ояр отдал в их распоряжение свою маленькую дачу

в Булдури: сам он и Рута ездили туда только по воскресеньям.

Марина уже бойко говорила по-латышски, а ее Валерий был такой хитрый, что с матерью разговаривал только по-русски, а с отцом — по-латышски. Аустре это очень понравилось.

— Если бы мы своего Густыня с самого начала стали учить русскому языку, он бы давно говорил. И в школе ему было бы легче, чем другим детям.

— Еще не поздно, — сказал Петер. — Пусть чаще играет с русскими детьми. За играми и научится.

Акментынь слушал такие разговоры и еще больше гордился сыном. Вот это мальчуган... у кого еще такой?

Он забывал, что то же самое думают про своего ребенка каждый отец и каждая мать.

После обеда к Ояру и Руте пришли еще два гостя — Имант Селис и Юрка Курмит. Юрка недавно кончил ремесленное училище столяром-краснодеревщиком. Он уже работал на мебельной фабрике. В последнее время молодой мастер все свободные вечера готовил подарок Ояру и сегодня торжественно поднес его своему бывшему командиру: это был прекрасный письменный прибор с чернильницами, пресс-папье, ручкой и стаканом для карандашей. Между чернильницами стояла резная деревянная фигура партизана. Автомат, ручные гранаты, даже внушительный кинжал на поясе — все было выполнено удивительно тонко.

*«Командиру полка Ояру Спикеру
на память от бывшего партизана
Юриса Курмита».*

Взволнованный Ояр обнял Юрку.

— Да ты, оказывается, художник, — сказал он. — Если ты так же работаешь над своими столами и стульями, твоя продукция скоро попадет в музей. Ты как находишь, Имант?

Иманту, конечно, было известно, сколько усилий стоил Юрке этот письменный прибор; не раз они совещались вдвоем о каждой детали, по поводу каждой мелочи и особенно о том, как лучше сделать фигуру партизана, чтобы она вышла как живая.

— Я думаю, так и будет, — уверенно ответил Имант. — Он уже сейчас готовит мебель для одного министерства. Когда научится работать еще лучше, может случиться, что его работы попадут даже в Кремль.

Юрка покраснел и стал задумчиво глядеть в потолок.

— А у тебя как дела, Имант? — спросил Ояр.

— Перешел на третий курс. Летом, наверно, отправлюсь в дальнее плавание... в океан.

— Что же, к будущему году штурманом дальнего плавания будешь?

— Если все пойдет хорошо.

Ояр долго глядел на молодых людей, потом с улыбкой обернулся к Петеру и Акментыню.

— Вы вот гордитесь своими сыновьями, а мне разве нечем гордиться? — сказал он. — Такой молодой и уже такие большие, славные сыновья! Партизаны ведь... Так кто же из нас богаче?

Обняв Иманта и Юрку, Ояр сел с ними на диван, и они долго говорили о прошлых днях, когда их домом был лес и великая борьба, беспощадная, полная трудностей и высокого вдохновения, заполняла каждое мгновение их жизни. Там они росли, там учились побеждать, побеждать на каждом фронте, на каждом боевом участке, на который пошлет их советский народ, партия.

Они знали, что так всегда и будет.

Подобно глубокому, полноводному потоку, течет жизнь. Нет ей начала и не будет конца. Отмирает старое, возникает новое, все изменяется. И человек сегодня уже не тот, что вчера: тот, кто пытается остановить ход жизни, становится лишним, того она выбрасывает прочь, как ненужный обломок. Но Новый Человек — рожденный в бурях века, выросший и закаленный в грозных битвах, сильнее и умнее своих предшественников. Он идет под солнцем твердым шагом победителя и творца. Он знает смысл своего существования, знает, для чего живет, и, преисполненный силой убеждения, неотступно приближается к осуществлению самой великой и прекрасной мечты человечества — к коммунизму.

Советская Латвия... Какой маленькой, слабой была ты вчера и какой могучей ты стала сегодня, вступив в великую сплоченную семью братских советских народов! Там, где в крепостное время свистел кнут барского старосты и в дымных ригах звучали скорбные песни рабов, там сегодня царит свободный труд свободных людей — и они поют новую песню об исполнившихся чаяниях, и мысли их летят к великому городу, к сердцу Советской земли.

Много борьбы еще впереди, но борьба не страшит Нового Человека, ибо он знает — ничто не в силах задержать правду на пути ее неотвратимой победы; класс угнетателей и эксплуататоров обречен на гибель, не

повернуть ему вспять колесо истории! Буря, которая недавно потрясла весь мир, еще раз доказала, что новое сильнее старого. Эта буря далеко разнесла семена новой правды — куда ни посмотришь, всюду поднимаются молодые всходы, и их не затоптать никаким мракобесам.

Потому и писатель, изображающий свою эпоху, не может сказать после того, как он поставил точку: «Здесь чему-то конец!» То, что мы иногда рассматриваем в жизни отдельного человека или всего народа как конец какого-то периода, не есть конец, — это лишь переход к чему-то новому, это лишь *начало* новой работы, — новой борьбы, новой эпохи.

1945–1948

Рассказы

Паулина Лапа

© Перевод М. Михалева

1

Над тайгой разгорается заря. Тонкие синие струйки дыма поднимаются навстречу ослепительным лучам солнца. Где-то в самой глубине чащи поют петухи. Солнечные лучи поблескивают золотом на стройных осинах, густых елях и кедрах. Темным морским простором раскинулась тайга. И в этом величавом спокойствии и молчании природы странной насмешкой звучит лай собаки.

Сквозь чащу пробивается узкая дорога. На ней сплетаются могучие корни деревьев, а по обеим сторонам, как изгородь, тянется непроходимый кустарник. Извиваясь зигзагами, дорога уходит в тайгу, и чем дальше, тем гуще становится кустарник, тем теснее запутываются корни. Справа и слева от дороги вдоль и поперек лежат поваленные ветром деревья. Время от времени от дороги ответвляется узкая тропинка. В конце каждой такой тропинки вы увидите небольшую поляну, маленькую вырубку, и построенную из круглого леса лачугу. Около лачуги гуляют куры, на солнце греется сонная собака, а на ближайшей лесной опушке пасется одна или две коровы. Такие полянки расположены на расстоянии четырехсот — пятисот шагов друг от друга, и в утренней тишине хорошо слышно, как хозяйка бранит корову, не желающую стоять смирно, когда ее доят.

Здесь живут беженцы-латыши, которых загнали сюда из родных мест военные невзгоды, — нищие люди, которым нечего спасать, кроме своей чудом уцелевшей жизни. Зарывшись в лесные вырубки, как кроты, они не замечают времени, не видят, как по утрам сверкают в лучах солнца стройные осины, густые ели и кедры. Нет! Солнце и осинки — для тех, кто утром может дольше поспать, кто утреннюю росу знает только по рассказам; рабочему человеку дайте хорошую мотыгу, которой можно поднять целину, и немножко свинины на обед — тогда жизнь станет полноценной. Новоселы должны быть практичными, иначе его величество голод может оказать земледельцу честь, посетив его бревенчатую лачугу. Дымите гнилушками, зажигайте большие костры, и чаща зазвенит разными

голосами, а за окнами защелкает соловей и над гаснущими кострами закружатся ночные бабочки и летучие мыши, — только и тогда вы, незаметные дневные труженики, не прислушивайтесь к звукам тайги, не поддавайтесь чарам природы, не смотрите вверх, где над вершинами векового леса мерцают миллионы миров; если вы это сделаете, ваши жизненные устои основательно пошатнутся и даже может случиться, что вы на несколько дней забудете своего непрощенного гостя, который, однако, вас не забудет.

Единственный, кто может отдаваться этим ночным чарам, — человек, которому принадлежит высокий, обшитый тесом дом на опушке леса у большой дороги. Во дворе у него две собаки, одна из них привязана на цепь возле дверей амбара. Люди болтают, что за этими дверьми висят две большие копченые свиные туши с салом в брусок толщиной. К каждому обеду здесь отрезают кусок такой величины, что его хватило бы на неделю семье любого из новоселов. Но это только незначительная подробность жирного великолепия, царящего там, на опушке. Лес здесь так основательно выкорчеван, что вокруг дома раскинулись тучные покосы, зеленеют широкие поля картофеля, а на косогоре, залитом солнцем, стройными рядами, как солдаты, стоят ульи. Пятнадцать упитанных коров с трудом носят свое вымя, и спины трех сытых лошадей лоснятся, как смазанные жиром. Что уж говорить о Крусе... Это человек, который может все. Он царит над вырубками и лачугами, как некоронованный король, и не найти в тайге человека, который не имел бы каких-нибудь расчетов с Крусой, ибо он не только зажиточный, но и услужливый человек, и хотя эта услужливость требует своих процентов, все же хорошо, что есть кто-то, кому можно эти проценты платить. Когда среди зимы твоим зубам не хватает работы, достаточно пойти к Крусе и откровенно рассказать ему о своей нужде. Сейчас же откроется дверь амбара и будет отрезан кусок мяса, а в мешочек насыплют гарнец картофеля.

«Нужно в сенокос прийти с женой или сыном отработать три дня, и будем в расчете...» — говорит хозяин. И если даже во время сенокоса твой труд будет стоить вчетверо дороже, все равно ты успокоен сознанием, что стучал и тебе отворили. И твоим зубам опять найдется работа...

Да, Круса — золотой человек. Это общее мнение.

Совсем один забрался сюда, в таежную чащу, бедняк Антон Лапа, так далеко от всех остальных, что до его вырубки не долетает ни звука из жилищ других беженцев. Мимо него не проходит дорога, и пробраться к его лачуге можно только по узкой извилистой тропинке, ведущей сквозь

заросли рябины и калинника, через гнилые стволы поваленных деревьев. Некоторые стволы Лапа оттащил в сторону, и знающий дорогу внимательный всадник может проехать на его вырубку верхом. Лапа приехал сюда последним, когда все земельные участки уже были заняты, а те, которые оставались свободными, никому негодились — на них рос слишком густой лес, высились скалы и было много оврагов, — такие места не имело смысла расчищать.

Лапа отыскал этот укромный угол. Здесь протекала маленькая речушка и лежала широкая ложбина с кое-каким покосом. Нужно было только выкорчевать один-другой пенек, оттащить в сторону ствол упавшего дерева и смело пускать в ход косу. Один из горных склонов оказался подходящим для посадки картофеля — следовало только поднять целину и разрыхлить землю.

Каждое утро с первыми лучами солнца два человека начинали свою работу с мотыгами и лопатами в руках. Один из них — человек еще не старый, лет сорока пяти, среднего роста, сухопарый и мускулистый, с худощавым серьезным лицом, заросшим темной щетиной. Острая мотыга легко подымалась и опускалась в его руках.

Другой — совсем молодой парень, лет семнадцати, — почти одного роста с отцом; хотя ему нелегко было справляться с корневищами осин, он старался этого не показывать. Лоб и шея покрывались каплями пота, а напряженное от усилий лицо становилось мрачным, почти злым. Одежду обоих составляли штаны из мешковины, синие рубашки и постолы. Голову отца покрывала маленькая зеленая шляпа, какие прежде имели обыкновение носить охотники. На голове парня была мятая кепка.

Нужно сказать, что они оказались самыми бедными из всех здешних бедняков, когда в середине суровой зимы появились в этих местах, — они оба и жена Лапы Паулина. В то время как все другие беженцы уже имели бревенчатые лачуги, в которых можно было укрыться от сибирской зимы, и по пуре картошки — не говоря уже о тех счастливых, которые обзавелись своими дойными коровами, — они приехали из степи на подводе какого-то крестьянина со своими немногочисленными пожитками и поселились здесь. Сын Карл поставил силки на зайцев, и вскоре можно было есть мясо.

Весною они построили в лесу лачугу и начали делать то же, что и остальные: поднимали целину, корчевали пни и жили. Они были самыми бедными, но, кроме того, еще и неудачниками. У лошади, которую Лапа привел из соседней деревни, выменяв ее на свою шубу, вздуло живот, и она пала. Картофель начал гнить еще в земле, и вторая зима пришла к ним с такой же нуждой и разорением, как первая. Карл опять ловил силками

зайцев, и хотя Паулина морщилась и ее мутило от «давленного» мяса, все же голод был сильнее отвращения. В конце концов она привыкла к мясу удушенных зайцев. Но теперь у них стало не так плохо. Опять наступала весна... может быть, нынче картофель вырастет. Через два месяца должна в первый раз отелиться Буренка, полученная Лапой в прошлую зиму в соседней деревне за двухмесячную работу. Нет, им совсем не так плохо. Особенно, если вспомнить о первой проведенной здесь зиме, когда у них не было своей лачуги. Как они мерзли во временной норе-землянке! Ветер наметал снег в дверные щели, и иногда они просыпались утром почти занесенные снегом.

Еще только месяца два, и у них будет молоко. Изредка можно будет и масло сбить. Тогда они заживут не хуже других беженцев. В жизни ведь столько всяких возможностей — нужно только немного потерпеть.

2

Солнце уже поднялось над вершинами деревьев и широко, самодовольно улыбалось всему миру. И почему бы ему не улыбаться! Оно не настолько глупо, чтобы не понимать, как драгоценны его лучи для обитателей земли. Каждому оно уделяет частичку своих щедрот, никто не обижен. Только пусть люди не думают, что и они нужны солнцу. Нет, нет! Оно знает, что жизнь зарождается от него, — отсюда эта широкая, самодовольная улыбка.

Дымясь, горят сложенные в костры гнилушки и корни. Шагов на двадцать в обе стороны поднят большой кусок целины. В черном дерне лениво извиваются дождевые черви, и весь этот сырой кусок земли, эта крошечная рана на ее теле жирно блестит. У лачуги тоже разложен костер. Паулина снимает котелок с огня и выносит посуду. Это еще цветущая женщина, хотя у нее почти взрослый сын. Недоедание и нужда не стерли румянца с ее круглых щек. У нее высокая грудь, и, когда она идет, ее сильные бедра покачиваются.

Многие считают ее красивой женщиной, и этот одинокий, заброшенный лесной уголок не место для такого существа, как Паулина Лапа.

Посуда — жестяные чашки и самодельные деревянные ложки вынесены из дому и размещены на траве, рядом с караваем хлеба. Паулина, сложив ладони рупором, зовет мужчин:

— Ау! Идите завтракать!

Рот ее полон белых зубов. Паулине, вероятно, не больше тридцати пяти лет — она много моложе своего мужа.

Мужчины выпрямляют согнутые спины, оставляют мотыги и шагают к лачуге. Они выпивают по кружке кваса, хранящегося в глиняном горшке. Завтрак состоит из вареной картошки, жидкой мучной подливки и маленького кусочка мяса каждому. Они берут свои чашки, обмакивают картофелины в подливку и откусывают по крохотному кусочку мяса. Не хочется съесть все сразу — лучше так, по маленькой крошке, тогда приятный вкус мяса дольше держится во рту и в конце концов создается впечатление, что все время ешь только мясо. Да, во всем нужна сноровка, и тогда даже из ничтожного пустяка можно извлечь подлинное наслаждение. Разумеется, нужна и некоторая доля воображения, а чтобы его подогреть, начинаются разговоры о будущем. Главное место в этих разговорах отводится Буренке, которая через два месяца отелится.

Антон Лапа медленно жует горячую картофелину и мечтает:

— Каждое утро у нас будет цикорный кофе с молоком, на обед можно варить молочный суп с картофелем или клецками — наедемся так, что ребра затрещат. Часть молока можно пустить на простоквашу. По воскресеньям к завтраку масло...

Карл не прислушивается к словам отца. Отцу ведь так мало нужно — все его благополучие зависит от молока. Но ему, семнадцатилетнему Карлу Лапе, этого недостаточно, ему этот медвежий угол кажется тюрьмой. И Паулина об этом столько раз твердила! Им обоим очень хочется скорее уехать отсюда куда-нибудь на простор, где люди живут настоящей жизнью. Отцу, возможно, достаточно того, что есть. Родители Карла никогда особенно не ладили между собой, потому что Антон Лапа всегда был в конце концов недалеким человеком. К тому же еще он не считается с тем, что говорит ему жена, которая читает книги. Лапа никогда ничего не читает. У него нет времени. Да он и не верит книгам. Зато Паулина — страстная любительница чтения. Она в свое время прочла много романов и рассказов, страдая и радуясь вместе с их героями; ее голова полна отголосков чужой жизни. Ее собственная жизнь кажется ей достойной сожаления, пустой. В сердце Паулины слабо тлеют запасы нерастраченных чувств; жизнь в тихой тайге заставляет ее мечтать о несбыточном, неизведанном; Антон Лапа — человек уже уставший. Но у Паулины здесь, в лесу, нет книг; иногда она ходит, чему-то тихо и таинственно улыбаясь. Она подолгу думает о вымышленных образах; сердце временами начинает биться сильнее. В такие дни у нее совсем плохое настроение и никто не может ей угодить.

Лапа довольствуется кружкой молока и куском копченого свиного окорока. Его мысли заняты картофельной ботвой, и если когда-либо его взгляд поднимается выше, то только не к солнцу: солнце слишком ярко, чтобы смотреть на него, — можно ослепнуть. Просто Антон Лапа замечает в дупле какого-нибудь дерева пчелиный рой. Будет мед! А где молоко и мед — там страна изобилия!..

Каждый раз, как только Паулина остается вдвоем с Карлом, она раздувает в его душе маленький костер честолюбия, рассказывая о жизни других юношей. Они не носят штанов, сшитых из мешковины. О нет! Некоторые из них имеют приличные черные костюмы, а их шею украшают крахмальные воротнички. Они не расчищают землю под пашню. Они по утрам уходят в магазины, конторы или банки, снимают пальто и садятся за стол, заваленный бумагами. Они расходуют много чернил, и на среднем пальце правой руки от долгого писания у них образуется мозоль. Но их руки белы и мягки, с холеными ногтями. Их зовут господами...

Карл становится задумчивым. Он не отвечает матери, но она знает, что сердце его потеряло покой. Часто он, задумавшись, глядит в пространство... И чтобы больше привлечь сына на свою сторону, Паулина втолковывает ему, какой у него плохой отец — как мало он заботится о своей семье. Почему всем другим беженцам живется лучше? Почему у них есть коровы, лошади, свиньи и даже овцы? Почему они не одеваются в мешковину? Они умеют жить! Они умеют взять от жизни то, чего она не дает сама... Как-то лет десять назад отец дал Карлу пощечину, рассердившись на него за озорство. Эта пощечина вновь и вновь воскрешалась матерью в его памяти и приобрела, наконец, значение ужасного насилия. Действию этой пощечины приписывались периодические зубные боли, мучившие Карла.

Нечего удивляться, что такого отца считают тираном и лишают тех крох любви и уважения, на которые он, дерзкий, может быть, претендует.

Человек, потерявший уважение в глазах своих близких, похож на засохшее дерево. Оно больше не распустится. Сухое дерево срубите на дрова и сожгите. Пусть хоть кому-нибудь будет тепло...

Карл — совсем чужой своему отцу. Он смотрит на него как сквозь закопченное стекло. Все, что приходится делать здесь, в лесу, кажется ненужным: расчистка пашни, посадка овощей, колка дров. Ведь в мире столько хороших отцов, которые вкладывают в руки своих сыновей не мотыгу, а перо.

Однажды их посетил сам Мартин Круса. Он явился как раз в полдень, когда семья Лапы собиралась обедать. Круса приехал верхом на статном гнедом коне. На ногах у него были ярко начищенные высокие сапоги. Он выглядел очень молодцевато, этот широкоплечий мужчина со светлыми усами и румяным лицом. Голос Крусы рокотал, напоминая легкие раскаты грома. Нужно было считать за большую честь, что такой человек, оставив свои дела, отыскал этих ничтожных людей в их уединенном гнезде: ведь с тех пор как в Сибири захватил власть Колчак, Круса стал одним из самых влиятельных лиц во всей волости.

Паулина совершенно не могла сообразить, как принять такого гостя, — он приехал в самое обеденное время. Надо было его чем-нибудь угостить, но не оскорбишь ли этим такого человека?

— Не будет ли у мужчин нескольких свободных дней, и не могут ли они прийти помочь мне поставить новую конюшню? — заговорил посетитель. — Старая конюшня стала тесновата. Подрастают молодые жеребята — новая конюшня совершенно необходима.

Этот человек будет строить новую конюшню! У Лапы не было даже навеса для телки, чтобы укрыть от метели. Лапе не приходится колебаться:

— Конечно, мы оба с сыном можем пойти к вам поработать. Сенокос ведь еще далеко...

— Это хорошо. Работы хватит на неделю. И тогда вы будете в расчете за прошлогодний долг. Если хотите, я могу вам дать пару новых кос, которые мне привезли из города.

Круса даже не слез с коня. Только сказал, чтобы завтра приходили к нему. Хозяйка и одна с домом справится.

Он сказал «хозяйка»! К лицу Паулины прилила кровь, и она вдруг затуманившимися глазами посмотрела вслед плечистому мужчине, скрывшемуся в лесу... Какая честь!..

На другой день рано утром Лапа с сыном отправились к Крусе. В конце концов выгодно таким образом отработать долг... Как хорошо, что в этом нищенском гнезде был такой настоящий богач, как Круса. Он приехал сюда незадолго до начала войны, успел завести основательное хозяйство и приобрел завидный достаток. На военную службу его не взяли, так как он своевременно устроился лесником, что спасало от мобилизации. Хозяйство Крусы вели его мать-старуха, отец и сестра, приехавшие сюда во время войны. Мартин Круса не был женат... Ему было, лет сорок, но казался он

значительно моложе — он ведь всегда ел досыта. Когда мировая война согнала в Сибирь потоки беженцев, небольшая волна их хлынула и в этот уголок тайги, и вокруг усадьбы Мартина Крусы, как грибы, стали вырастать лачуги беженцев. О, он умел хорошо считать! Эти беженцы не были избалованы. Хорошая и дешевая рабочая сила... Амбар Крусы был в своем роде единственной лавкой, где нуждающиеся беженцы могли что-нибудь приобрести. Раз в месяц Круса ездил в город продавать масло, а оттуда возвращался с разными товарами, без которых в тайге не обойтись. Лапти, мотыги, вилы, косы, топоры, гвозди, стекло, мыло, колесная мазь — все это он продавал втридорога не за деньги, а за рабочую силу. Здесь, в тайге, в обращении была одна валютная единица — рабочий день. Курс ее не был стабильным. Круса умел заключить договор в такое время, когда покупателя настигала самая большая нужда, а курс рабочего дня был ниже всего, — зимой. За долги обрабатывались его поля, снимался урожай, заготавливались дрова и делалась всякая случайная работа. Мартин Круса был «спасителем» беженцев.

Лапы были не единственными, кого Круса пригласил строить конюшню. Там от темна до темна работало шестеро мужчин. Их хорошо кормили и за столом приглашали наесться как следует. Изредка хозяин заходил на стройку, давал кое-какие указания и рассказывал о силачах, которые могли носить гигантские бревна и валили с ног быка. Когда рассказывают о таких вещах, каждый хочет быть похожим на замечательных силачей и работает изо всех сил. Поденная работа превращалась в сдельную, и курс валюты, находящейся в обращении, падал все ниже.

Вечером мужчины идут спать в каретник, куда мать Крусы приносит соломы и бросает несколько полушубков. Когда в каретнике все затихает, хозяин берет уздечку и идет на выгон за своим гнедым. Темная фигура исчезает на лесной дороге, и в ночной тишине слышится удаляющийся цокот подков. Утром хозяин стучит в дверь каретника:

— Ну, мужики, как будто пора!

Через две недели конюшня была готова. Правда, оставалось еще крыть крышу, но это сделает отец хозяина. Лапы отработали половину своего долга — другую половину они отработают в сенокос и осенью, на уборке картофеля. При прощании Круса был так великодушен, что дал каждому работнику по куску окорока. Это так, за хорошую работу. А Карлу Лапе, кроме того, — еще баночку, в которой было около фунта меду...

...Никто теперь больше не посещает лесную лачугу. Там каждый опять живет своей жизнью. Паулина молчит, но ее молчание не грустно, нет, нет.

В эти две недели она совсем не была одинока. Уж этот Круса! Как он сумел ловко притвориться, когда приехал приглашать мужчин на работу. Он даже не взглянул на Паулину, только сказал одно слово: «хозяйка» — и уехал. Но через два дня, когда в каретнике все стихло, какой-то всадник завернул на вырубку Лапы. Он привязал коня к дереву и тихо постучал в дверь.

— Кто там? — отозвался встревоженный, дрожащий от волнения голос женщины, полной неясных предчувствий.

— Хозяйка... — сказал он, и сердце Паулины неистово забилося. По одному этому слову она узнала Крусу. Она не раздумывала. Душа ее истосковалась по любви. Паулина отодвинула дверной засов.

В следующий раз Круса приехал спустя месяц. Лес благоухал ароматами тысяч трав и цветов. Лапы убрали свое сено, поэтому приглашение Крусы было как нельзя более кстати. Из чувства чистого человеколюбия он давал этой семье возможность кое-что заработать. Только один раз его взгляд обратился к Паулине, и они поняли друг друга. Паулина взяла корзинку и вышла накопать немного картофеля — в этом году он хорошо уродился. Ее сильные бедра покачивались, а высокая грудь легко поднималась и опускалась. Не было ничего удивительного в том, что глаза Мартина Крусы расширились, а губы под желтыми усами сделались влажными. Он уехал, стройный и властный, как маленький лесной король. Антон Лапа давно не встречал такого ласкового, обходительного человека; прямо благодетель — этот Круса...

Опять Лапы неделю трудились на хуторе Крусы.

Дни проходили в лихорадочной работе. Спешили косить, сушить, метать в стога сено, клевер и тимофеевку. Мужчины работали от зари до зари, и хозяин не жалел для них еды. Вечером, когда в каретнике стихали голоса уставших людей, Круса брал уздечку и шел искать гнедого. В дверь одинокой лачуги стучал человек с желтыми усами. Теперь он говорил.

— Паулина!

Паулина ходила хмельная от счастья. В ее голове гудели тысячи пчел, и ее сон не тревожили образы неизвестных героев. У нее теперь был свой собственный герой. У него пышные желтые усы и блестящие сапоги с голенищами.

В маленькой комнатке было темно и тихо. Они сидели на краю кровати. Как Паулина любила этого сильного человека, рука которого ее обнимала! Все ее нерастраченное чувство, долгие годы занятое выдуманскими героями, теперь устремилось к единственному, настоящему живому человеку, сидящему рядом с нею. Она любила. И она нравилась Крусе. Каждую ночь, когда мужчины спали в каретнике, он ласкал ее.

Сегодня они говорили о будущем. Круса был холостяком. Он хорошо понимал, что его посещения не останутся тайной. Кто-нибудь пронюхает об этом.

— Паулина! Я думаю, что тебе надо оставить эту лачугу. Мне неудобно каждую ночь ездить так далеко, — шутил он.

Паулина дрожала от счастья. Мартин! Он уведет ее, бедную женщину, в свои светлые комнаты, где на окнах стоят горшки с цветами, обернутые зеленой и красной бумагой.

— Но что скажут люди? — шептала Паулина.

Она не спрашивала, что скажет муж, Антон Лапа.

Что скажут люди... Она вдруг представила себе, как во всех уголках леса слышится шепот, приглушенные смешки. Из бревенчатых лачуг высовываются длинные любопытные шеи. Но желтые пшеничные усы нервно вздрагивают. Блестят под лунным светом начищенные голенища сапог.

— Да, так нельзя. Об этом надо подумать, пока Антон Лапа еще... — Крусе не хватало слов. — Пока Антон Лапа жив, придется скрываться. У меня достаточно работы. Как ты думаешь?

— Что я думаю? Если бы не было Антона, ничто не мешало бы нашему счастью. Мой сын...

— Да, как с твоим сыном? — спросил Круса.

— С отцом он не дружит, но меня любит.

Быстро летят минуты. Над тайгой уже занимается утро. Над лачугами новоселов вьются тонкие струйки дыма. Мартин Круса возвращается домой тихой лесной дорогой. Самодовольная улыбка сияет на его лице. Паулина... нет, все же он ее получит! Во всей округе не найти другой такой женщины. Пылкая, чертовка!

Хозяин пускает коня на выгон и медленно приближается к дому.

— Мужики, пора вставать!

Сама преданность встречает ласкового, приветливого человека. Антон Лапа умеет быть благодарным.

Однажды на вырубку Лапы завернул какой-то человек. Он известил, что нужно пойти на хутор Крусы. Предполагается поездка на озера за солью. Антон надел жилет, повязал шею пестрым платком и ушел. Вернулся он возбужденным, издали махал рукой, и на его лице, покрытом

жесткой щетиной, играла лукавая и радостная улыбка.

Знают ли они, как им повезло? Нет, они и не представляют!

Карл решил, что объявили о возвращении беженцев на родину. Антон с таинственным видом, не спеша, закурил трубку и только тогда заговорил:

— Подумайте, Круса предлагает, чтобы мы с Карлом поехали на соляные озера на его конях. Он хочет направить целых три подводы.

Это было заманчивое предложение. Настолько великолепное, что даже в вечерних сумерках было заметно, как заблестели глаза Паулины. Нехватка соли становилась все ощутимее, и ничего не оставалось другого, как ехать самим на озера. Для этой поездки были выбраны лучшие лошади переселенцев.

Утром Паулина проводила мужа с сыном до поворота дороги. Она слегка дрожала, может быть от утренней прохлады.

Всего собралось около двадцати подвод. Около полудня они достигли первой степной деревни. Здесь к ним присоединился обоз местных жителей — тридцать подвод. Это была веселая и шумная поездка. Молодые русские парни непрерывно пели песни.

Проезжая через какую-то деревню, ребята заметили попа. Тут же с одной из телег, окутанной густыми клубами пыли, зазвучала частушка:

Сколь я богу ни молился —
Во святые не попал!

Вся степь, по которой они ехали, казалась необозримым морем хлеба. Колеблемые легким прикосновением ветра, волновались необъятные просторы пшеницы. Зеленые луга по берегам рек лежали, как громадные, причудливо изогнувшиеся змеи. Воздух переливался муаровой лентой, и степь, вся залитая солнцем, была словно затянута сверкающей паутиной. По синеве неба, как льдины во время весеннего половодья, плыли белые облака. Маленькие птички летали над нивами, поклевывая то один колос, то другой, потом всей стаей испуганно вспархивали и исчезали. Высоко-высоко в облаках парил большой ястреб, а может быть, и орел, слетевший с вершин Алтая на свою ежедневную охоту.

На берегу какой-то реки обоз расположился на ночлег. Лошадей спутали и пустили пастись. Трещали костры. Ребята охापками таскали хворост, варили чай. Потом в темноте затренькала балалайка, и раздался тихий, щемящий сердце напев.

Карл лежал, завернувшись в тулуп Крусы, ему было тепло, несмотря

на ночную свежесть. Над темной степью мерцали звезды. В прибрежных ивах тихо шелестел ветер, и где-то за стогами соломы блуждала ночная птица, нарушая тишину тихими причудливыми криками...

«Ку-у-вы! Ку-у-вы!» — кричала она.

...Через два дня обоз достиг Оби. Детище Алтая, одна из самых больших водных артерий земного шара, Еечно бурная, вечно холодная, рожденная в горных ледниках, она пела, несла свои воды на север — через степи, через тундры — в океанские глубины. Ребята бросились купаться, но ледяная вода быстро выгнала их на берег.

На пароме переезжали на другой берег Оби. Прошло несколько часов, прежде чем все подводы переправили на другую сторону. Из Барнаула, шлепая плицами колес, шел против течения белый двухэтажный пароход. Как ярко освещенная гостиница, скользил он через степь. Карл был не в силах оторвать глаз от красивого парохода, лопасти которого молотили воду. Облако водяной пыли сияло радугой. По капитанскому мостику прохаживался штурман. На голове его была белая фуражка. Одет он был в белый китель с блестящими пуговицами.

«Мы, моряки!» — говорил он в городе.

Дорога становилась все пустыннее. Увеличивались расстояния между деревнями, все меньше встречалось пастбищ для коней. Бедные села. Если на той стороне Оби еще можно было достать калач или полкаравая просто так, за спасибо, то здесь было трудно выпросить что-либо и за деньги.

На восьмой день к вечеру обоз добрался, наконец, до соляных озер. Какое-то доисторическое море оставило здесь свои следы и, отступая туркестанскими и каспийскими просторами, раскидало соляные озера — живых свидетелей своего пребывания в этих местах. Морское дно высохло. Человек-завоеватель пришел его вспахать, а за плугом вместе с ним шагал голод со своим жалящим кнутом.

Ночь обоз провел около деревни, и рано утром люди направились черпать соль. Озера были мелкие. Лошадь с телегой въезжала далеко в озеро, люди сгребали соль в кучи и кидали на воз. Бедная скотина, уставшая от знойного солнца, напрасно тянулась к воде, — соленая, она только усиливала жажду.

В тот же день к вечеру они двинулись в обратный путь. Теперь нельзя было спешить и погонять коней. Медленно двигался большой обоз к дому.

То у одной, то у другой телеги загорались оси. Не хватало дегтя. Ломались колеса. Одна неприятность следовала за другой. Антон Лапа, ехавший на хозяйских конях и телегах с железными осями, чувствовал себя спокойнее других. Эти кони выдержат, насчет этих телег нечего

сомневаться. Он даже чуточку загордился. Многие принимали его за владельца подвод, и совсем не так уж неприятно было покрасоваться в чужом оперении. «Круса — умный человек, — думал Лапа, — почему он из всех переселенцев выбрал именно меня с сыном? Никто не отказался бы от возможности заработать себе хлеб на зиму. Но он сказал: „Лапа поедет!“ У него зоркий глаз, он знает, где настоящие люди, кому можно доверять. Мы сумеем за это отблагодарить».

Солнечный зной раскалил высохшую землю. Не слышалось больше песен, не брэнчала балалайка. Люди стали злыми и нетерпеливыми, сердито покрикивали на лошадей, словно те были виноваты в этом зное и усталости. Если кому-нибудь случалось споткнуться о камень, человек сразу же загорался неудержимой злобой на своего коня. Осыпав его градом ударов, возчик утихал, сердце успокаивалось: его страдания разделяло бессловесное животное. Страдания в одиночестве кажутся высшей несправедливостью; если они распространяются на кого-нибудь еще, переносить их делается несравненно легче; если оке страдают все, тогда это превращается в нечто совсем обыкновенное.

Опять Обь, опять купание в ледяной воде. А из Бийска по течению идет белый крылатый пароход.

В прошлый раз пароход назывался «Азиат», этот называется «Китай».

Проходят дни. Лица людей черны не только от дорожной пыли — их обожгло степное солнце. Никакое мыло не отмоев их усталые лица. Они, как копченое тощее мясо: зубами его не возьмешь.

Последняя ночь в пути. Усталые люди, завернувшись в старые тулупы, мечтают о следующей ночи, когда после трехнедельной разлуки они опять будут вместе со своими женами. Парни придумывают, какие небылицы о поездке на соляные озера, про Обь и про белый пароход будут они рассказывать девушкам. Они были очень далеко, увидели почти весь мир. Не так уж он велик...

В тайгу приехали поздно, в сумерках. Скрипучие телеги медленно въезжали по узкой дороге под темные лесные своды. Послышался лай собак. Каждый возчик соли направился к себе, в свою лачугу. Утром они всю соль свезут Крусам, но если один из возчиков вздумает за свою трехнедельную поездку оставить себе какой-нибудь пуд, упрек здесь будет неуместен.

Антон Лапа приехал с сыном к хутору Крусы глубокой ночью. Полная луна озаряла призрачным светом притихший лес. Яростно рвался цепной пес. Во дворе возчиков встречал отец Крусы — сгорбленный старик с зеленоватой бородой.

Хозяин куда-то отлучился, может быть не так скоро вернется. У него столько дел кругом. Пусть выпрягают лошадей и идут ужинать.

Как невидимое, но постоянно ощущаемое бремя, свалилось с плеч сознание ответственности, когда все три лошади были переданы в ведение отца хозяина и возы с солью поставлены под навес каретника. На столе дымился ужин. И было много, много мяса...

После ужина мать Крусы постелила им в каретнике: куда они в такую темень пойдут домой? Завтра заодно все дела приведут в порядок.

Карл все же не остался — хотелось скорей рассказать матери, что все кончилось благополучно.

Антон Лапа остался в каретнике один. В своих непритязательных мечтах он видел лошадь, свою собственную лошадь. Он мог на это надеяться, если Круса захочет помочь небольшой ссудой.

Карл шел медленно. Ночь теплая, и ему некуда торопиться. Он мог так идти до утра. Завтра он будет целый день спать. И всю следующую ночь тоже. Потом встанет, выкупается в речке и опять возьмется за работу. Но этой ночью он свободен, как молодой скворец, который завтра-послезавтра вместе с большой стаей улетит на юг, через Туркестан, Гималаи. Как приятно полной грудью вдохнуть ароматный воздух тайги! Так вдохнуть, чтобы в висках застучали молоточки и от легкого головокружения качнулась земля под ногами.

Карл присел на ствол поваленного дерева. Как хорошо опять вернуться в эту тишь. Здесь — не слышны пароходные гудки, не жужжат назойливо с утра до вечера телеграфные провода. Тянет дымком, и лицо темнеет от копоти, но ее можно смыть. Здесь много воды — горная речка протекает у лачужки.

Карл идет медленно. В его груди звучат струны. Но они затихают. Каждый звук живет определенное время, потом он замирает, и его больше нет...

Из темноты вынырнули очертания лачуги. Какой она кажется маленькой и одинокой. С каким нетерпением она ждет его возвращения. Старчески ласковой улыбкой сияет освещенное луной окно. Карл хочет порадовать мать внезапным возвращением. Он тихо приближается к дверям, минуту прислушивается. В лачуге слышится какое-то шуршание. Наверное, мать проснулась.

Карл осторожно стучит три раза. В комнате движение, кажется, кто-то даже разговаривает. Или это мать спросонья?

— Кто там? — звучит встревоженный голос.

Паулина боится — может быть, пришел кто-то чужой.

— Это я, мама. Мы приехали.

— Ах! — вскрикивает она, но это не возглас радости. — Подожди, сынок, я что-нибудь накину на себя.

Карлу смешно. Мать стесняется? Но он терпеливо ждет. Он устал, страшно устал, и ему хочется спать! Ему кажется, что на той стороне лачуги открылось окно и что-то тяжелое упало на гряды. Он хочет пойти посмотреть, что там упало, но мать уже открыла двери и зовет его в комнату. Карл нагибается, чтобы войти в низкую дверь. И в это время за окном в лунном сиянии мелькает какая-то темная тень и сразу же исчезает в лесу. А мать тянет его в комнату.

— Где отец? — спрашивает она, и голос ее дрожит. Ей холодно, хотя она накинула на себя теплую шерстяную шаль. — Ах, остался в Крусах! Ну, понятно. Мог и ты там ночевать. Зачем было так спешить? Сейчас в тайге не очень-то спокойно. Видели волков.

— Да, — соглашается Карл. — Я тоже недавно заметил одного волка.

Паулина плотнее закутывается в шаль.

— Круса был дома, и все обошлось по-хорошему?

— Нет, Круса куда-то ушел. Нас встретил его отец. Но это ведь неважно.

В маленькой лачуге царит мрак. Так лучше. Карлу только семнадцать лет, но он понимает, что мог искать Круса в одинокой лачуге, где находится единственный человек... его мать. Но почему он такой несообразительный и выпрыгнул на грядку? Там, вероятно, остались следы.

Паулина лежит в своей тепло нагретой постели, но ей холодно. Все плотнее кутается она в одеяло и шаль, но ее тело привыкло к другому теплу.

После полуночи Карл встает и выходит во двор. Он тихо, как кошка, неслышными шагами прокрадывается к окну. Минуту разглядывает следы большого сапога на свекольной грядке. Такие сапоги с подковами на каблуках Карл видел только у одного человека. Так вот в чем причина его приветливости! Добрый, обходительный человек, который избрал из всех прочих именно их. Его обходительность простирается далеко.

Утром Карл просыпается рано. Паулины уже нет в комнате. Подойдя к окну, он видит, что мать рвет свекольные листья, выдергивая иногда вместе с ботвой и свеклу. Корове нужно греть поило. Да, она заботится о своей

единственной корове. Свекольная грядка ровно утоптана.

Вскоре Карл уходит в Крусы сдать свой воз соли. С матерью ему не о чем разговаривать. Он давно знает отца, но мать начинает узнавать только теперь.

В Крусы съехались все подводды. Возчики понесли во двор весы, у столика сидит сам Мартин Круса, по правую руку от него — писарь поселка, парень лет шестнадцати. Они проверяют и записывают вес каждого воза.

Вокруг привезенной соли разгораются споры. Возчик, слишком мало оставивший соли для себя, увидев, сколько привез сосед, вдруг начинает понимать, что тот не такой дурак, как он. Круса берет себе целый воз, а два сдает на общественные нужды. Но и из этих двух он получит свою долю на четырех человек. Полвоза он продаст степным крестьянам, и они еще будут упрашивать его дать фунт соли за фунт масла.

Карла он встречает ласково и говорит, что доволен его работой. В следующий раз он будет знать, где найти хороших возчиков. Лесной владыка в своей любезности идет так далеко, что протягивает Карлу руку. Карл делает вид, что не замечает ее, поворачивается спиной и идет к отцу.

— Пойдем домой, нам здесь больше нечего делать.

Но отцу не хочется уходить. Ему нравится толкаться здесь среди людей — ведь время обеда еще не прошло. Ни для кого не было тайной, что в амбаре Крусы бродит пиво. Настоящее ячменное пиво.

— Времени еще достаточно, — отвечает он сыну. — Дома не горит.

Тогда Карл уходит один. Но он не идет домой. На полдороге он останавливается, присаживается на ствол поваленной ели и ждет отца.

Долго он заставляет себя ждать, этот неприхотливый Антон Лапа. Он появляется, когда солнце опускается за верхушки елей. Он пьян. Давно Лапа не брал в рот хмельного, а после такой поездки по степи, по безводным пустыням, у него была страшная жажда, и добрый человек напоил его.

Отец становится очень болтливым. Он говорит теперь громко и держится прямо, как будто сам сделался вдруг владыкой леса, владельцем трех лошадей и пятнадцати коров.

— Там, где мед и молоко, — говорит он, — там страна изобилия. А что тебе еще надо?

Карл берет его под руку, и они вместе идут дальше. У вырубki их ждет Паулина. Она не удивляется, видя мужа в таком состоянии. Она ничего не спрашивает, она заботлива и нежна. «Муженек», — говорит она, и на лице Антона появляется улыбка, которую он тщетно старается скрыть.

— Я ведь знаю, почему ты так ластишься ко мне, Паулина! — смеется он.

Паулина вводит его в лачугу. Она снимает с Антона сапоги, раздевает его, дает ему квасу. А Антону смешно. Круса опять нашел для них работу — можно будет идти в степь косить хлеб. Дает десять пур за десятину. Паулина улыбается, она так рада, что Антон, наконец, вернулся домой из дальней поездки.

Карл лежит в своем углу, и в нем растет что-то похожее на отвращение. Он встряхивается, чтобы прогнать это чувство.

Ему делается невыразимо жалко этого человека — человека, которому он до сих пор вместо любви платил только презрением. Ему до такой степени становится не по себе, что он натягивает одеяло на голову. На глаза набегают слезы. Он впивается зубами в подушку.

6

Когда наступило время уборки хлебов, Антон Лапа уехал в степь один. Карл, неизвестно почему, заупрямился, не поехал с ним. Паулина совсем притихла. Их отношения стали холодными и сдержанными. Карл целый день возился в поле, вырубая кустарник и заготавливая дрова на зиму. С наступлением сумерек Паулина накидывала на плечи шерстяную шаль и садилась на пень у дверей. Она казалась погруженной в думы, но когда ее взгляд случайно обращался к дороге, в нем на мгновение вспыхивала маленькая беспокойная искра. Женщина была красива, и ее сердце было полно любви и нежности. Но вечера проходили похожие один на другой, и беспокойство Паулины росло. Однажды после обеда ей вздумалось взяться за вязанье. Но у нее не оказалось спиц. Она накинула платок и ушла, сказав сыну, что пойдет занять вязальные спицы, Она была заботливая жена и хотела встретить сибирскую зиму во всеоружий. И случилось так, что заботливость привела ее к дому на опушке леса. Паулина не задумывалась над тем, удобно ли являться в чужой дом с такой пустяковой просьбой. Цепной пес Круссы рвался, как ошалелый, и хозяин сам вышел узнать, что так рассердило доброе животное. Он хорошо владел собой, этот плечистый человек с усами цвета спелой пшеницы.

— Каким ветром занесло сюда госпожу Лапу? Ах, спицы?.. Ну это, наверное, найдется. Заходите же.

Эта старушка — его мать, а этот Мафусаил, дай ему бог здоровья, — его родной отец, имевший удовольствие произвести его на свет. На

подоконнике стоят цветочные горшки, обернутые красной и зеленой бумагой. Большой стол из кедрового дерева, широкие чистые скамьи, простой широкий шкаф, прочный, как сама земная ось, окованные железом нарядные сундуки по углам, а в одном углу даже такое диво, как овальное настенное зеркало, какого не было даже в доме ее отца. Здесь все было так чисто и светло — здесь царил Мартин. В этих комнатах недоставало только цветущей жены и веселых здоровых ребятишек. Когда Паулине дали спицы, Круса пригласил ее посмотреть хлев, где стояли его пятнадцать коров. Он повел ее на солнечный косогор, где, как солдаты, выстроились правильными рядами ульи. Солнце уже садилось за верхушки деревьев, и Паулине пора было уходить.

— Скоро стемнеет, а в окрестностях видели волков, — сказала она с беспокойством.

Мартин тоже слышал об этом, и он не был бы настоящим мужчиной, если бы позволил женщине одной идти домой в то время, когда в окрестностях появились волки. Он взял свою двустволку и пошел провожать Паулину. Сумерки окутывали лес, как траурное покрывало, и багровый закат заслонила непроницаемая чаща. Двое шли, тесно прижавшись друг к другу. Дорогу оплетали корни деревьев. Круса слегка поддерживал Паулину за талию, чтобы она не упала.

Вокруг ни одного жилья, но они говорят вполголоса. У них нет ничего такого, о чем надо было бы кричать на весь свет, — достаточно того, что они знают сами...

— Карл что-то подозревает, — говорит Паулина, — его нужно остерегаться. Не бог весть как приятно будет, если мальчишка начнет болтать.

Они без лишних слов понимают друг друга. Тот, кто сейчас косит хлеб в степи и мечтает о собственной лошади, — лишний. Они не могут без конца ждать свое счастье. Круса приближает свои желтые усы вплотную к самому ее уху и шепчет. Паулина улыбается. Как много еще возможностей таит будущее! Вся ее жизнь с Антоном не стоит одного завтрашнего дня. Паулина похожа на тлеющий костер, раздуваемый свежим утренним ветерком в яркое пламя. Все, что так долго подавлялось, теперь рвется наружу. Она готова завывать от нетерпения, как волчица.

Лес окружает их, принимает в свои объятия и тихо баюкает, вселяя в их взволнованную кровь покой, чуточку покоя, наступающего после всякой бури.

Мартин оставляет ее у самой вырубки. Они слишком неосторожны в своем любовном безумии. Что, если Карл сидит на пенке у лачуги и ждет

мать? Паулине весело. А когда она смотрит на сына, ей становится смешно. Ей хочется потрепать Карла по щеке и сказать: «Все-таки не укараулил, сынок? Твоя мать не так глупа, как ты думаешь» ...

Карл теперь целыми днями одинок, и Паулина не пытается навязать ему свое общество.

Через три недели вернулся Антон. Он убрал две десятины и заработал немало пшеницы. Эту зиму они будут жить припеваючи. И не нужно больше ловить зайцев в силки. Картофель уродился хороший. Они насыпают полный погреб. Потом сушат хмель, собирают ягоды. Они стаскивают в свою лачугу много всякого добра, и теперь Лапы уже не самые бедные в этой лесной стороне — эту честь они могут предоставить другим... Благодаря обильному урожаю хмеля покупка лошади обеспечена, а когда у них будет свой Воронко, жизнь потечет по-иному.

Однажды на вырубке появляется Круса и почти полчаса беседует с Антоном. Антон только одобрительно кивает головой, а в особенно важные моменты, соглашаясь, кланяется всем корпусом. Круса уходит, и Антон спешит сообщить новость: Круса нашел берлогу медведя в тайге и хочет устроить облаву. Большой суматохи затевать не стоит. Так, человека два-три. Лапа должен быть обязательно.

В глазах Паулины загораются маленькие искорки, но все же она говорит:

— Это опасно. Медведь может растерзать кого-нибудь... Нет, я бы не советовала делать такую глупость. Чем вам помешал этот медведь?

Если она и боится за кого-нибудь, так только не за Антона Лапу. Но у каждого человека есть капля самомнения. Антону льстит заботливость жены, он ведь мужчина. Он хочет быть сильным. Он устал, но не бояться же ему какого-то медведя. Он во всяком случае пойдет и примет участие в облаве.

На другой день Карл уходит куда-то из дому и пропадает до самого обеда. Вернувшись, он говорит, что облава не состоится. — Круса должен уехать по делам в степь к лесничему, а потом уже будет поздно. Теперь хочется смеяться Карлу, смеяться так, чтобы все воробьи вспорхнули с изгороди. Смеяться и говорить: «Пусть твой медведь живет до глубокой старости, зачем нам его убивать? Эти славные медведи любят только сладкое, и мясо какого-то старого измученного человека вряд ли им понравится. Зачем нам обманывать честных славных медведей?»

Паулина опять притихла. Ее заботы об Антоне уменьшились. Дни проходят в разных осенних работах, и холодный ветер все ожесточеннее завывает за окном. Выпал снег, и маленькая лачужка делается похожей на

сказочную старушонку, заблудившуюся в лесной чаще.

Паулина бредет по рыхлому снегу. Она опять ходила на опушку. Теперь она несет шерсть и книгу — какой-то доисторический календарь. Вечера теперь такие длинные, и надо чем-нибудь коротать время. Сегодня она необычно нежна с мужем, и когда гаснет маленький сальный светильник в выдолбленной брюкве, она минуту прислушивается к ровному дыханию Карла. Сын спит. Тогда она прижимается к мужу и тихо шепчет. Она радуется: какая у них наступает хорошая жизнь! Всего будет вдоволь. У них уже есть корова, есть картофель, будет и лошадь. Они этим летом хорошо заработали. Одного у них нет. Может ли угадать Антон, чего? Нет, Антон не может угадать. Тогда она говорит: мяса у них нет, а без мяса ведь так трудно обойтись. Вечно одно молоко надоедает. А когда корова перестанет давать молоко, еда станет совсем однообразной. Потом Паулина опять минуту прислушивается, но в комнате тихо. И она продолжает. В ее голове созрел целый план, и она рассказывает о нем мужу. Антон хочет ее перебить, но Паулина опровергает все его возражения. На краю тайги на воле бродит деревенский скот. Никто за ним не присматривает. Один годовалый бычок гуляет так уже целую неделю. «Мясо, — шепчет жена. — Нам нужно мясо...»

Противоречивые чувства борются в сердце мужа. Он воспитан в строгих правилах и немного побаивается бога. «Но ведь нам нужно мясо», — шепчет жена. Его собственная жена, с которой ему приходится общаться чаще, чем с богом. Если уж этот бычок действительно бродит без присмотра, так хозяин, очевидно, не очень-то в нем нуждается. Может быть, у него много таких бычков. И зачем допускать, чтобы нечаянно забредший волк растерзал бедное животное, когда на свете есть люди, которые могут освободить волка от этой заботы.

В конце концов сомнения Антона побеждены, и он готов сделать то, что ему так неотвязно советует его жена.

В комнате темно, поэтому Антон Лапа не может видеть торжествующую улыбку на лице Паулины.

Сразу после полуночи Антон Лапа встает, тихо одевается и выходит из лачуги. Жена провожает его до поворота дороги. На салазках лежит топор и старое лоскутное одеяло. Под ногами Лапы скрипит снег, а Плеяды спускаются по небу все ниже. Он идет быстро, почти бежит и скоро

достигает укатанной лесной дороги. Идти легче. В лесу царит глубокая тишина.

Через час он доходит до лесной опушки. Там начинается деревенский выгон. Косогор порос диким кустарником. Лапа открывает ворота поскотины и пристально вглядывается в темноту. Все вокруг покрыто толстым слоем снега. До деревни отсюда версты четыре.

Поискав немного, Лапа замечает, наконец, свежие следы. Они ведут за пригорок, в кусты черемухи. Там стоят, сбившись в тесную кучку, четыре коровы. Да, там же стоит этот годовалый бычок... сытое животное, кругленькое, как бочонок, мирное и спокойное. Человек вынимает кусок хлеба и протягивает его бычку. Сначала животное недоверчиво пятится назад, обнюхивает хлеб, но, получив кусочек, совсем смелеет. Человек, поглаживая левой рукой шею бычка и при этом что-то бормоча, правой нащупывает топор. Все происходит быстро. Обухом топора бычку нанесен удар в лоб. Легкий стон — и животное падает в снег. Дрожащими пальцами Лапа нащупывает нож и перерезает бычку горло. Темная влага льется на снег, стоящие невдалеке коровы тревожно шевелятся.

Лапа принялся за работу: вспорол брюхо бычка, выпотрошил и зарыл внутренности в яму, которую выкопал в замерзшей земле. Потом разрубил тушу бычка на куски. На востоке зажглась Венера. Времени оставалось немного. Человек лихорадочно работал. Крупные капли пота падали с его лба. Временами он тревожно озирался на дорогу. Кругом стояла тишина, никто так рано никуда не спешил. Лапа успокоился. Но когда он бросил последний кусок туши на салазки и хотел закрыть их лоскутным одеялом, где-то совсем рядом заскрипел снег, и почти в ту же минуту возле Лапы вынырнули две темные фигуры. Остолбенело смотрел он на эти фигуры, темные силуэты которых резко выделялись на белом снегу. Они приближались не говоря ни слова.

Горячая волна пробежала по всему телу Лапы. Приближалось что-то тяжелое, неотвратимо роковое, что должно сокрушить его. Он даже не думал о бегстве. Сама судьба приближалась к нему, и Лапа с опущенной головой предавался ее власти.

Перед ним стояли два бородатых мужика в валенках и добротных полушубках. Лапа получил удар кулаком по лицу, но не почувствовал боли. Он ничего не чувствовал. Он несколько раз падал, сбитый с ног тяжелыми ударами, и опять поднимался и шел. Его вели в деревню. Там его ждала смерть, это он хорошо знал, ибо таков был неписанный закон в этом отдаленном уголке земли. Деревенские богатеи здесь сами судили воров... А Антон Лапа сегодня стал вором.

Солнце золотило стекла лесной лачуги. Паулина грела корове пойло и деревянной мешалкой размешивала куски кормовой свеклы в большом котле. Ночью опять шел снег, и все следы около избушки замело.

Карл обувался. Он надел две пары носков и старательно стягивал завязки постол. Паулина что-то искала на полке. Сын встал перед ней и прямо посмотрел ей в глаза. Она давно ждала этой минуты, и для нее это не было неожиданностью.

— Где отец? — спросил Карл.

— У нас нет мяса, — ответила Паулина. — У лесной опушки уже целую неделю гуляет какой-то бычок. Отец, наверное, пошел добыть нам мясо.

Карл решительно надел на голову белую заячью шапку. У дверей он обернулся. Лицо его было таким серым, словно он пришел с молотьбы.

— Так я пошел... — прошептал он.

— Непонятно, почему его так долго нет, уже второй день. Заверни в Крусы — может быть, ему там какая-нибудь работа нашлась.

Паулина хочет, чтобы и в Крусах знали, что это случилось. Но Карл не идет к высокому дому на лесной опушке. Он спешит в деревню. Он знает здешние обычаи.

Еще издали Карл видит темный клубок посреди улицы, и до него долетают редкие, прерывистые крики. Самосуд состоялся. Тяжелый, ответственный труд судей потребовал много сил. Они устали и охотно возвращают Карлу то, что осталось от Антона Лапы.

Один из парней даже притаскивает салазки Лапы, находившиеся все время в качестве вещественного доказательства во дворе сборни. Кто-то принес охапку соломы, устилает салазки и помогает уложить на них Антона Лапу.

Дорога идет в гору. Карл везет отца и тяжело дышит. Наверху он останавливается и приподнимает одеяло. Он еще жив, этот человек. Карл снимает с шеи платок и вытирает кровь с отцовского лица. Обмакивает в снег и вытирает. Но его прикосновения причиняют отцу только боль, и сплошная рана с двумя широко открытыми глазами стягивается в болезненной гримасе.

Карл молча тащит салазки по занесенной снегом дороге. У ворот выгона он останавливается и поднимает одеяло. Вечный сон смежил усталые веки. Антон Лапа больше не хочет видеть этот лес. В этом лесу

водятся волки. Он, наверное, боится встретиться с этими чудовищами, поэтому он спасовал перед своими страданиями.

Двойные следы тянутся ему навстречу. Они протоптаны совсем недавно. Карл узнает этот кованый каблук. Здесь шла и женщина — у нее маленькая нога, и когда она ступает по земле, носок вывертывается наружу...

Под навесом жалобно мычит корова: уходя, Паулина забыла ее напоить. Наверное, торопилась.

Карл поднимает застывшее тело отца и с трудом втаскивает в комнату. Он весь в крови.

— Ну подожди, Круса... — шепчет Карл. — Скоро такие, как ты, ответят.

Под навесом протяжно, жалобно мычит корова. Она хочет пить. На оконном стекле бьется одуревшая муха. Все другие мухи уже забрались в щели потолка и замерли. И только одна упрямо бьется о стекло и жужжит...

1930

Собачья жизнь

© Перевод Я. Шуман

Бэлла — сука доктора Фридмана оценилась пятью щенками в тот же день, когда Леда, принадлежащая торговцу с барахолки Майсиню, принесла семерых. Собаки были соседками. Хотя темно-серая остроухая немецкая овчарка Бэлла большую часть своей жизни проводила в гостиной, нежась на тигровой шкуре, а дворняжка неизвестной породы Леда свои дни коротала во дворе, они хорошо знали друг дружку. Если бы какому-нибудь досужему американскому генеалогу вздумалось исследовать родословную всех двенадцати новорожденных щенков, то они оказались бы довольно близкими родственниками. Хорошо натасканным ученым, которые за приличную мзду могут любого миллионера превратить в потомка королевского рода, несомненно, было бы под силу привести в порядок и родословную дворняжки...

Молодые отпрыски Бэллы мало радовали доктора Фридмана: из пяти слепых, визжащих маленьких существ только трое казались чистокровными овчарками, а двое определенно были потомками уличных бродяжек. Семья же Леды состояла из представителей самых разнообразных пород. Там были и черные с белыми пятнами, и желтые

длинношерстые, и обещавшие в будущем стать курчавыми. Сама Леда несколько не была привлекательна: длинная, темно-серой масти, с коротковатым, как бы съезжившимся хвостом, с белым пятном на крестце. Как бы там ни было, но своих детенышей она защищала с такой же яростью, как любая собачья аристократка. Даже мальчишки барахольщика Майсиня не осмеливались приближаться к логову Леды в деревянном сарайчике. Каждому смельчаку, который намеревался переступить порог сарайчика, угрожали белые собачьи зубы. Свобода передвижения кухарки доктора Фридмана по кухне была сильно ограничена. Бэлла со своим потомством расположилась в углу за плитой.

Пока щенки были еще слепы, они не отползали дальше своего логова, их вполне устраивала близость теплого мохнатого существа. Это греющее и питающее их тело казалось им всей вселенной. Но в один прекрасный день малыши прозрели. Огромный мир открылся их взорам! Сарайчик и кухня, казалось, были насыщены грозными силами. Чувствовать себя в безопасности можно было только под боком матери, их кормилицы, которую они узнавали по запаху.

Однажды, когда щенки подросли настолько, что начали бродить подальше от своего логова, жена барахольщика Майсиня заманила Леду в квартиру и дала ей полакать немного молока. В это время сам Майсинь уложил щенков в большую бельевую корзину, оставив в логове для утешения Леды только одного. С остальными щенятами Майсинь подался на барахолку. Проходя мимо соседских ворот, он встретился с доктором Фридманом, который услышал визг щенков и поинтересовался содержимым корзины.

— Хм, у меня дома пятеро таких же, — сказал врач. — Дал бы вам хорошо заработать, если бы вы взяли их тоже продать...

Он умолчал о том, что уже предлагал щенков своим знакомым, но у всех были собаки, а увеличивать свое хозяйство животными сомнительных кровей никому не улыбалось. Сейчас были в моде чистокровные породы с родословными свидетельствами.

— Какой у вас породы щенки, господин доктор? — поинтересовался Майсинь.

— Немецкие овчарки. Мать — третье поколение от волка.

Это дельце сулило прибыль, а Майсинь был не из тех, кто упускает случай и возможность заработать. На барахолке Майсинь появился с двумя корзинами.

У Бэллы похитили четырех щенят. Маленькие создания, не чувствуя возле себя привычного тела матери, жалобно скулили и тесно прижимались

друг к дружке. Собачий ряд барахолки навещался разным людом. Иные были действительно серьезными покупателями, они интересовались качествами и достоинствами щенят и справлялись о норове и повадках суки, другие заглядывали сюда, чтобы побалагурить с продавцами. Некоторые продавцы привели с собой матерей щенков и демонстрировали их как образец, гарантирующий высокое качество товара. Несомненно, собаки были стройны, и претендовали на честь родства с волками. Но если бы кто-нибудь из действительных покупателей подробнее поинтересовался родительницами этих щенят, его поразила бы их плодовитость: корзины продавцов ежедневно пополнялись различными шавками, а одну и ту же стройную собаку с наостренными ушами представляли как их доподлинную родительницу. С одинаковым успехом она могла признать своими потомками бульдогов, терьеров или мопсов и сенбернаров. Но публике нужна была гарантия, а для гарантии требовались стоячие остроконечные уши...

Около полудня на базаре появился плотный розовощекий мужчина в серой одежде. На берегу реки Лиелупе ему принадлежали большой хутор и лавка. С ним был долговязый подросток в фуражке школьника.

— Ну, как дела с собаками? — обратился кулак к Майсиню. — Стоящий ли у тебя товар?

Этот человек был знатоком собак. Он перебирал, переваливая с боку на бок, всех щенят Майсиня и испытывал их выносливость, приподымая тремя пальцами за шкурку. Заскуливших он тотчас клал обратно в корзину и больше не уделял им никакого внимания. В конце концов ему понравился щенок черной масти из длинношерстных, который терпеливее всех переносил испытание. Маленький чернушка позволял себя переворачивать и щупать.

— Вот это будет пес. Что просишь за него?

— Десять латов.

— Ну и ну, рехнулся! Десять латов? Все ли у тебя дома? Чтобы за этакое лохмача давать десять латов. Стыдись, человеке!

— Нечего стыдиться. Очень сердитая порода. Жаль, что не привел мать, — настоящая волчиха...

— А почему вислоухий?

— Разве вам не известно, что у щенят немецкой овчарки уши делаются стоячими только на четвертом месяце?

— Гаральд, так ли это? — обратился хуторянин к долговязому подростку.

— Да, так говорят...

Маленького чернушку купили за шесть латов.

— Папа, он не серой масти. Теперь все заводят себе серых овчарок. Нерон у лесничего, Писарев Марс, учительский Фило — все серой масти.

— Ну, и что же?

— Господин, у меня есть и серые... — напомнил Майсинь. — Похожи на настоящих волчат...

Хуторянин немного подумал, почесал подбородок и решил: «В чем же дело? Будем растить двух щенков. Старому Караву скоро придется дать отставку».

Таким образом обыкновенный чернушка Леды, за которого отдали только шесть латов, получил спутника и товарища — серого от Бэллы, стоимостью в десять латов. В тот же вечер, помещенные в пустую корзину, они предприняли свое первое путешествие — их увезли из Риги. Черному дали кличку Боб, серого, как истого представителя породистых собак, прозвали Джеком...

Случилось это в летние каникулы, и за первоначальное образование собак взялся Гаральд. Вооружившись вычитанными в журналах советами по дрессировке и воспитанию собак, он решил применить все известные ему способы, чтобы его воспитанники стали образцовыми экземплярами. Прежде всего следовало определить карьеру каждой собаки. Чистокровного Джека было решено воспитывать, как игрушку, которую по воскресеньям можно было бы брать с собой, когда идешь в церковь, показывать знатным людям волости и, как равного, ввести в общество собак лесничего, писаря волостного управления и учителя. Само собой понятно, что ему надо было пройти лучшую школу, научиться вести себя должным образом, приобрести хорошие манеры. Бобу же решили со временем передать цепь и конуру старого Карава, поэтому от него, как от будущего цепного пса, требовали злости и звериной ярости. Казалось, что характеры обеих собак как нельзя больше подходили к этим карьерам. Джек был смышленной, внимательной собакой. Он быстро понял, что благополучие всецело зависит от долговязого подростка и его отца, что послушное выполнение их приказов избавляет от ударов плетеного арапника и, кроме того, приносит кое-какое лакомство. Отчасти боясь арапника, отчасти соблазняясь кусочками сахара, Джек признал власть подростка и стал подлизываться к нему. Он быстро научился сидеть, становиться на задние лапы, держать в зубах папиросу, ложиться, облизываться по приказанию и носить порученные ему вещи. Это было выгодно, ибо после каждого такого трюка следовало вознаграждение. Джек был хорошей породы и соображал, откуда идет добро. Он заметил, что толстяк с розовыми щеками является здесь

главным, все его боятся, все его слушаются — значит, к нему следовало проявлять особое внимание и привязанность.

На каждый зов или оклик хозяина Джек подобострастно вилял хвостом. Иногда он ложился у ног хозяина и время от времени украдкой лизал ему руку. Это было наивысшей лестью, какую собака могла выразить. Это должно было показать, что нет на свете ничего слаще хозяйской руки. Гаральд научил Джека ненавидеть всех оборванцев, всех чужих, с которыми сам был груб.

С Бобом было труднее. Его предки свободно кочевали по улицам пригородов, промышляли пропитание и не привязывались ни к одному из тех двуногих существ, которые при каждом удобном случае угощали их пинком или камнем. Уже при первой попытке дрессировки команда «ложись» пробудила в нем чувство сопротивления. Он не понимал, к чему такое лежание, и совсем не давал себе труда упражняться в нем. Но каждый раз, когда он упрямо вставал на ноги, его били; если не помогали оплеухи, его хлестали арапником. Всовывать себе в рот папиросу он тоже не позволял, и однажды, когда Гаральд попытался силой разжать ему челюсти, он впервые укусил его. И странно: грозное двуногое существо отпрянуло в сторону, вытерло пальцы и никогда больше не пыталось лезть в пасть Боба. Порку он, конечно, получил, но она отнюдь не вселила в него благоговение: он еще больше возненавидел это злое, причиняющее боль создание. Позже, когда порки стали повторяться слишком часто, Боб понял, что их можно избежать. Не надо только при каждом окрике подростка боязливо прижиматься к земле. Издали тот ничего плохого сделать не мог, а камни, которые он швырял, не попадали в цель. На зов Гаральда Боб теперь не реагировал — он притворялся глухим. Он совсем не смотрел в его сторону и, занятый каким-нибудь своим делом, убегал подальше. Наконец, педагог бросил всякую надежду сделать из него умное, послушное животное. Однажды этот вопрос был обсужден на семейном совете за ужином.

— Ну, если он не хочет ничему учиться, не надо, — заключил хозяин. — Ему эта учеба и не нужна. Был бы только злым, тогда все в порядке...

Все приметы Боба свидетельствовали об отваге. Чтобы развить в нем врожденный инстинкт недоверия к людям и сделать злость преобладающим качеством характера, его стали систематически злить по специально продуманному методу. Боба запирали в комнату и часами всячески дразнили. Тыкали в морду палкой, ловили за хвост, за шиворот, словом — тиранили. Вначале, устав от таких мучений, Боб пытался вымолить сострадание, жалобно скулил, стараясь найти прибежище у ног хозяина и

хозяйки. Но его никто не жалел, все его отталкивали, и протесты несчастного животного становились все отчаяннее. Он начал грызть палки, которыми его дразнили, с оскаленными зубами набрасывался на своих мучителей, а если осмеливались хватать его за хвост, Боб, не задумываясь, впивался в руку. Его дразнили, старались причинить боль, и животное стало избегать человека. Часто он прятался где-нибудь в сторонке и в одиночестве жалобно стонал и тихо скулил, жалуясь на непонятную ненависть, с которой обрушивался на него весь мир. Людей он стал считать своими врагами и на всех, пытающихся к нему приблизиться, скалил зубы и предостерегающе рычал. Боб день ото дня становился все злее, в нем росла слепая ненависть к людям.

Со временем Боб поумнел. Наблюдения привели его к выводу, что преследовали его лишь на своем дворе, там, где все подчинялись толстому, краснолицему человеку, а на улице и на берегу реки его никто не трогал. Встречались даже такие странные двуногие, которые старались его приласкать и бросали ему что-нибудь съестное. Но недоверие к человеку так глубоко засело в сознании Боба, что он никого к себе не подпускал. Поняв, что вне его собственного двора никто не дернет его за хвост и не будет совать ему палки в морду, Боб все чаще предпринимал продолжительные прогулки. Вместе с другими молодыми собаками он мог целыми часами, бегать по лугам и полям так далеко от своего дома, что постройки хозяйского хутора скрывались из виду. В обществе собак он был спокоен. Ему не приходилось никого опасаться; наоборот, здесь все боялись оскала его зубов и сердитого рычаний. Даже старые псы почтительно относились к его рычанию и обнюхивались с Бобом как с равным, не пытаясь продемонстрировать свои боевые способности.

После многих трепок и колотушек Боб так привык к физической боли, что незначительные царапины, которые случалось ему получить при буйной возне с другими собаками, его совсем не беспокоили. Что это была за радость — в веселой, резвой и шаловливой своре носиться по полям, валяться на лугу, окрести землю, пока не заболят когти. И там еще была река... Когда в полуденный зной становилось слишком жарко, можно было заплывать далеко-далеко. Охваченное приятной прохладой тело становилось бодрее, дыхание легче, не надо было больше высовывать язык. Хорошо! Выкупавшись, собаки отряхивались и, чтобы согреться, гонялись друг за дружкой. Унаследованный от предков охотничий инстинкт заставлял их сливаться с землей, как бы таиться от врага, чтобы затем внезапным прыжком бросаться навстречу одна другой. Боб озорничал, охваченный

диким восторгом. Первым кидался в воду, переплывал реку, часами гонялся за воронами. На воле и в постоянном движении его тело быстро развивалось, лапы становились сильными и приобрели ловкость. Единственной тенью, ложившейся на его радости, было возвращение домой. Неизвестно за что хозяин каждый раз кричал на Боба, топал ногами, иногда даже хватал за шиворот и бил вожжой. Очередная порка была делом привычным, но так как за ней следовала миска с ужином, то первое не могло еще отпугнуть Боба от дальнейших странствований.

Джек был слишком умен, чтобы причинять страдания своему телу, поэтому он слушался своего воспитателя. Он не бегал, не шатался с грязными собаками, сопровождал Гаральда по вечерам на прогулках. Обычно, забежав шагов на двадцать вперед хозяина, Джек останавливался и поджидал его... Во всех его повадках было заметно влияние культуры.

Наступила вторая половина лета. Сенокос был закончен, на полях убирали хлеб. Боб не понимал, почему в тот день хозяин пришел к реке и поманил его. Остальные собаки остановились и с безопасного расстояния наблюдали это странное явление. Хозяин подбрасывал Бобу лакомые куски и показывал, что у него в руке их еще больше. Искушение было слишком велико, и Боб подошел к хозяину. Вокруг шеи ему обвязали веревку и повели домой. Оглядываясь, Боб видел, что стайка оставшихся собак вновь оживилась, там снова началось веселое озорство. Он хотел вернуться к друзьям, но едва начал упираться, как хозяин просто поволок его по земле. Приятного в этом было мало. Боб не знал, что старый Карав взбесился и хозяин пристрелил его сегодня утром. Конура была пуста, цепь валялась на песке. На Боба надели кожаный ошейник, цепь и оставили одного.

— Набегался, голубчик, теперь ты мне побегаешь...

Боб никак не мог понять, почему на этот раз его не били и так скоро оставили одного. Ворота были открыты, а по дороге как раз проезжал на рессорной телеге крестьянин. За телегой, высунув язык, бежала большая пестрая собака. Боб встrepенулcя, вскочил на ноги и бросился к воротам, но тотчас же произошло нечто необычное. Что-то резко ударило его спереди по горлу, сперло дыхание, и ужасное незримое существо не позволило ни шагу шагнуть вперед. Когда Боб немного отступил, стало легче дышать и двигаться. Странно! Еще много раз вскакивал Боб на ноги, бросался то в одну, то в другую сторону, но всегда на определенном расстоянии от конуры ему сжимало шею и незримая рука не пускала его дальше. Только к вечеру Боб понял, что он неразрывно связан с цепью и принадлежащей теперь ему конурой. Если бы в его силах было потащить за собой конуру, он смог бы уйти отсюда. Пес, цепь и конура составляли одно

целое. Тогда Боб утихомирился и загрустил. Он прилег возле конуры и грустно глядел в глаза каждому проходившему мимо него. Ведь это было только небольшим капризом хозяина, кто-нибудь должен прийти и отпустить его на волю. Жалобно скуля, Боб улыбкой приветствовал хозяйку, Гаральда, батрачку, но никто не обращал на него внимания, не находил для него ни одного слова. Вечером пришла батрачка, принесла и оставила миску с едой, но Бобу и на ум не приходило полюбопытствовать, чем сегодня полна миска. Поняв, что никто не собирается помочь его беде, Боб отчаялся. Тоска по свободе заставляла его снова и снова вскакивать и рвать цепь. Все яснее сознавал он, что эта бренчащая тонкая привязь является единственной причиной, мешающей ему уйти отсюда. Его обуяла невероятная злость. Он прилег на землю и начал грызть цепь. Сначала яростными, быстрыми укусами, потом — медленными, но рассчитанными. Зубы скрежетали, но перегрызть цепь было невозможно. Боб долго отряхивался в надежде стряхнуть с себя этот обременяющий предмет. Но все было напрасно.

Наступила ночь. Кур загнали в курятник, и двор опустел. В одиночестве отчаяние Боба усилилось еще больше. Он скулил и коротко, отрывисто завывал. Всю ночь не замолкал он, всю ночь бряцала цепь, поскрипывала от резких рывков конура. Около полуночи на двор вышел хозяин. Думая, что его сейчас освободят, Боб начал радостно прыгать, но его ошарашил внезапный свист кнута. Острая боль ожгла спину, еще и еще... Градом сыпались на него удары. Боб нырнул в конуру.

— Перестанешь ли, сатана этакий! Развозился так, что весь дом ходуном ходит. Попробуй мне еще повить, я те задам...

И чтобы пес запомнил надолго его слова, хозяин впридачу ударил еще кнутовищем по крыше конуры. Но только закрылись за хозяином двери дома, Боб снова вылез из конуры и снова принялся жаловаться; сначала он скулил боязливо, тихо и, наконец, завыл громко, отчаянно. Так он вел себя всю ночь. Не переставал и после того, как хозяин второй раз вышел из дому и оглушил его арапником... А утром, когда ожил двор, его охватило неудержимое чувство жалости к себе. По двору свободно расхаживал Джек, а по улице и полям бегали на свободе другие собаки. Боб всем своим существом рвался к ним, вел себя, как безумный, и грыз углы конуры. В полуденный зной он вспомнил о прохладных водах реки. Ему надо было выкупаться, поплавать, любой ценой добиться этого. Приходили люди, бранили, бросали в него палки и не хотели понять, почему он так воет. Он не вымаливал ни костей, ни остатков супа, ни молочной сыворотки — он хотел только, чтобы его кто-нибудь освободил. Но и в этой малости люди

ему отказывали. Только к вечеру второго дня Боб впервые обнюхал свою миску с едой. Голод подавил отчаяние.

Никто не освобождал Боба от цепи. Он был присужден к пожизненному заключению. Отчаяние первых дней прошло, и пес примирился со своей судьбой. Он больше не скулил от грусти — он научился подолгу выть. По ночам, когда ветер доносил до него лай чужих, свободных собак, Боб садился перед своей конурой и подолгу, без остановки выл. Эти жуткие, протяжные звуки раздражали домашних. Вой Боба не переносил даже Джек, который в такие минуты вскакивал со своей подстилки и в смущении вертелся около конуры Боба.

Джек стал стройным остроухим псом. Он научился всяким премудростям. Ему купили шикарный ошейник с приклепанными никелированными бляшками, на одной из которых было выгравировано европейское имя «Jack». Когда ему не хотелось спать или не надо было сопровождать Гаральда, Джек от скуки приходил играть со своим сводным братом. Это были самые светлые минуты в жизни Боба. Позабыв о бряцающей привязи, Боб оживал, припадал всем телом к земле, следя за каждым шагом Джека, и стоило только тому приблизиться, как Боб делал стремительный прыжок вперед. Редко удавалось ему схватить Джека. Тот был достаточно умен, чтобы не подходить совсем близко, поэтому в большинстве случаев Боб оставался в дураках. Джек тогда издали дразнил Боба, прыгал перед его носом, подходил ближе, давал Бобу время приготовиться. Но едва тот приседал для прыжка, Джек отскакивал назад. Бобу оставалось только повизгивать. Ему так хотелось потрепать серую шубу Джека, дать пощипать свою шею! Иногда Джек действительно подходил совсем близко, ложился перед конурой и, валяясь на спине, озорничал с Бобом. Но стоило только зубам Боба слишком глубоко впиться в шерсть Джека, как умный, культурный пес снова уходил. Напрасно пленник скулил и заискивающе вилял хвостом. Остроухий не подходил... Неумолимое всего он был тогда, когда хозяин или Гаральд собирались куда-нибудь уходить. В ожидании предстоящей прогулки он с важным и гордым видом садился у ворот, как будто выполняя какое-то особое поручение. Горделивее своего господина выбегал он за ворота, туда, где по дороге ездили и бегали чужие собаки. А Боб мог только рвать цепь и пугать диким лаем людей.

— Ведь это же настоящий лев. Сорвется — растерзает на месте! — говорили они.

Боб ненавидел все недостижимое для него, все, что двигалось за

пределами того полукруга перед его конурой, который ежедневно вычерчивался его цепью. Маленькое пространство, до трех метров в ширину и до шести в длину, было запретным для всех углом двора. Страшное чудовище грозило там с утра до вечера. Боб ненавидел всех без исключения: животных, птиц и людей. Все его боялись. Один только хозяин осмеливался приближаться к конуре, так как в его руке был плетеный арапник. Боб уважал арапник, похожий на живое существо, умевший кусаться сильнее любой собаки. Если во двор входил кто-либо из чужих, Боб бесновался, как одержимый. Беспреданно носился он по полукругу, быстро поворачиваясь, и лаял, захлебываясь, так яростно, что у каждого, кто это слышал, пробежали по спине мурашки при одной только мысли о том, что пес сорвется с цепи... Но цепь была прочная, старый Карав безуспешно дергал ее целых шесть лет.

Да, сторож из собаки вышел на славу, иной сосед плевался от зависти: «Эх, будь у меня такой!..»

Дикость, привитая ему людьми, ценилась, как заслуга. Если бы Боб ночью перегрыз какому-нибудь бродяге горло, его бы восхваляли, а утром батрачка принесла бы подойник и дала бы ему вылизать молочную пену...

У хозяина был большой желтый откормленный кот. Общий баловень, он мог себе позволить все: мог посещать лавку, тереться около мешков с сахаром, нюхать сельдяную бочку. В комнатах ему разрешалось прыгать на любую кровать и ложиться на подушки. Его любили, так как с каждым днем он все больше жирел, свидетельствуя этим хозяйское процветание и зажиточность. Во дворе он любил прилечь где-нибудь в тени и лениво потягиваться, переваливаясь с боку на бок, пока его внимание не привлекал какой-нибудь воробышек или жук. Боб ненавидел этого желтого кота. От злобного напряжения его лай становился хриплым, пес весь дрожал от невыразимого стремления дорваться до отвратительного существа. Хладнокровие и непоколебимое спокойствие кота еще больше бесило пса. Кот был осторожен, никогда не подходил слишком близко к конуре. От лени его хвост волочился по земле. Однажды этот умник все же оплошал. Он влез на крышу конюшни, у дверей которой стояла собачья конура. Возможно, он забрался туда в погоне за воробьями, а может быть, просто так, снедаемый необъяснимой любовью к приключениям. Кто-то, наверное, его спугнул, — впопыхах он спрыгнул с крыши на землю, совершенно не обратив внимания на то, что находится внизу. Спрыгнув, он очутился прямо перед Бобом. Пес от неожиданности даже не зарычал. Но мгновением позже кровожадность и ненависть вспыхнули в нем с такой

силой, что коту не помог и последний его виртуозный прыжок обратно на стену — когти не удержались, он соскользнул, а внизу его ждала раскрытая пасть Боба.

Боб мотал кота из стороны в сторону, как старую тряпку, стиснув зубы в мертвой хватке. Только один дикий вопль успел издать кот и мгновенно превратился в кровавый бесчувственный комок... Но Боб еще долго не выпускал его из своих зубов. Он бил его оземь, пока, наконец, не бросил на песок, прижал лапой и радостно заскулил, торжествуя победу.

Хотя собака только демонстрировала привитый ей людьми характер, хозяин не мог простить Бобу смерть любимого кота. Если бы это был соседский кот или даже какое-нибудь создание людской породы, тогда — другое дело. Можно было бы даже порадоваться: вот это собака! Но желтый Мурка был так дорог, что Боб снова получил порку — на сей раз его били новой прогулочной плеткой, которой пороли только Джека. Для Боба это было большой честью, но он, сорванец, не признавал этого и, жалобно скуля, зализывал свои новые раны.

Еще три года Боб провел на цепи. От постоянного лая голос его охрип. Лай стал истеричным. Начав внезапно, пес лаял без остановки, но так же внезапно замолкал и, скрывшись в конуру, злобно наблюдал оттуда за своими владениями...

Однажды весной, когда солнце уже высушило лужи, Боб, обегая свой полукруг, вдруг почувствовал что-то необычное, что-то забытое. Тяжесть на шее исчезла, а брнчащая цепь больше не путалась в ногах. Удивительно легкими стали шаги, тело стало как бы невесомым. В первое мгновение пес не сообразил, что же в действительности случилось. Боб пробежал еще несколько раз по полуокружности, поворачиваясь в обычных местах, затем остановился и, обнюхивая землю, двинулся к воротам. И странно: у обычной границы ошейник не врезался больше в шею, можно было двигаться вперед. Тогда он несмело, вприпрыжку побежал по двору, все еще ожидая удара в шею. Но удара не последовало, он мог бегать повсюду. Конура осталась где-то далеко позади, перед ним на песке валялась его цепь. Наконец, Боб понял, что он свободен. Старая цепь проржавела, и одно звено лопнуло. На шее у Боба было всего только несколько звеньев. Обезумев от радости, пес, вертясь волчком, начал ловить свой хвост. Но тогда и люди заметили случившееся. Толстая служанка от ужаса в первую минуту потеряла дар речи. Грозный пес сорвался с цепи — что же теперь произойдет! С криком ворвалась она в дом и подняла всех на ноги. Хозяин выскочил во двор и стал подзывать к себе Боба, но тот, казалось, совсем

оглох, — без оглядки он выбежал на дорогу и, не раздумывая, пустился со всех ног наутек — только вперед, только вперед!.. Затекившие лапы ныли. С рысцы он перешел на галоп. По дороге навстречу шли люди. Боб не обращал внимания на их испуганные лица, не замечал он и того, как люди перескакивают через канаву, точно ожидая нападения вырвавшегося из неволи зверя. Он не чувствовал злобы ни к кому из них, ему совсем не было времени думать о чем-либо подобном. Свобода, прекрасная, долгожданная свобода, наконец-то она снова обретена! В один день ему хотелось вернуть все утерянное им за эти годы. Вот впереди виднеется река, дальше — лес. Всюду ему нужно поспеть!.. Он бросился в прохладную воду, проплыл изрядный круг и вылез на берег продрогшим, но довольным; потом, крепко отряхнувшись, вывалялся в песке и снова бросился бежать. Не оглядываясь по сторонам, он несся вперед с такой поспешностью, словно там его ждало что-то совершенно неотложное... На перекрестке Боб свернул вправо. Скоро он очутился на узкой проселочной дороге. От долгого бега Боб устал, шаги его замедлились, и он стал оглядываться по сторонам. Удивительно, каким чужим казалось ему здесь все. Не видно было ни хозяйских окон, ни кур, ни конюшни. Вокруг — зеленые поля, вдали — незнакомые хутора, там и сям слышен лай чужих собак. Из какой-то усадьбы выскочили два пса. Задорно лая, они добежали до самой дороги, но, увидев Боба, остановились и, смущенно виляя хвостами, подошли, чтобы познакомиться. Боб уже давно не обнюхивался с чужими собаками, поэтому он тоже остановился. Опьянение свободой и неистовство прошли. Бобу захотелось поиграть, и так как обе чужие собаки ничего против этого не имели, он резвился, озорничал и бегал с ними. Но вскоре со стороны чужой усадьбы раздался повелительный голос: «Дукси, Мунтер! Домой!»

Оба героя проселочной дороги незамедлительно вернулись домой. Боб продолжал свой путь. Он бегал повсюду. Уже смеркалось. Все больше давал себя чувствовать голод. Под вечер Боб снова увидел свой хутор. Все строения и прилегающая местность ему были знакомы. Каждую мелочь он знал издавна. Голоса, которые доносил ветер, были ему так же привычны, как приближающиеся запахи. Бессознательно, руководимый инстинктом, Боб снова очутился у дома своего хозяина. Усталый, прилег он отдохнуть на пригорок и, тяжело дыша, глядел на усадьбу. За ворота вышел хозяин. Он шел прямо к нему. Боб приподнялся, готовый убежать. Тогда хозяин остановился. Ах, как участливо смотрел он на Боба, каким ласковым и воркующим был его голос! Он что-то держал в руке и показывал Бобу. А когда Боб не сообразил, в чем дело, он отломил кусок и бросил ему. Это

был не камень. Камни не намазывают желтой лакомой едой. Боб жадно проглотил этот подброшенный ему и намазанный маслом хлеб. Вкусный кусок вызвал еще больший аппетит. Хозяин был совсем добрым. Он не бранился, и в руке у него не было арапника. Вот он снова бросил кусок и подошел еще ближе. В руке у него оставалась еще изрядная краюха хлеба.

— Подойди же, Бобик, си, си, си... Пойдем домой! Кушай, Бобик, кушай, кушай, песик!

Все ближе подходил хозяин, все явственнее виднелась намазанная маслом краюха хлеба в его руке.

Только несколько мгновений сомневался Боб. Тяжело было противостоять тайному искушению. Он капитулировал: смущенно повил хвостом и покорно прижался к земле, когда хозяин взял его за ошейник. Хлеб с маслом он получил, но ласковый двуногий перестал его гладить. Волоком притащил он опешившего Боба к себе во двор...

В тот вечер Бобу досталась новая цепь. Ее только что привезли из Риги, и она была намного тяжелее старой. Ее должно было хватить на всю жизнь.

Два года прошло с тех пор, как Боб порвал свою старую цепь. Снова наступило лето. На конуре обновили крышу, — состоятельный хозяин внимательно относился к грозному сторожу своего владения.

У Боба стали обнаруживаться первые признаки старости. Все меньше его тянуло порезвиться с товарищами. Когда молодые собаки заигрывали с ним, он их кусал. Волосы на кончике его морды поседели. Больше всего ему нравилось лежать, и часто он засыпал длительным, подобным человеческому сном. У него повыпадали зубы. Он стал мрачен и почти никого к себе не подпускал. Лаять он лаял меньше прежнего, но свою неослабную ярость выражал ужасным рычанием. Иногда, как бы что-то надумав, начинал лаять, но сразу же обрывал свой лай и сконфуженно заползал в конуру.

Когда на дворе никого не было, Боб погружался в полудремотное состояние. Он мечтал, и ему снились разные сны. Обыкновенно ему снились лакомые куски, перепадавшие изредка за его долгую собачью жизнь, но чаще всего в мечтах он видел себя на свободе — без цепи, где-нибудь на зеленом лугу, на берегу реки, в беззаботной толпе других свободных собак. Как хорошо было бы порезвиться, убежать куда глаза глядят, поиграть, а то и подраться с другими псами... Да, хорошо... Но он не может никуда уйти — тяжелая цепь держит крепко.

Однажды из Риги приехал Гаральд, только что окончивший университет. Вместе с ним явилась молодая светловолосая барышня, с ног

до головы одетая в снежно-белый наряд. Их прибытие подняло на ноги весь дом. Встретить гостей вышла вся семья. Оттилия — так звали молодую барышню — уделяла всему живейшее внимание и с любопытством осматривала постройки, хозяйственные орудия и машины. Ничего не скажешь — у ее нареченного были состоятельные родители. Это обстоятельство гарантировало счастливую жизнь. Заинтересовавшись голубятней, Оттилия подошла почти к самым дверям конюшни. Она не видела подстерегающий взгляд Боба, не заметила, как он изготовился к прыжку! Только в последний момент хозяйка успела крикнуть:

— Ой, барышня, бегите! Собака!..

Но было уже поздно. Эта снежно-белая двуногая, которая так необычно пахла, переступила запретную границу владений Боба. Без рычания пес бросился вперед и, обуреваемый злобой, впился зубами в маленький полуботинок.

Мужчины набросились на Боба, женщины окружили пострадавшую. Полуботинок был изгрызан, нога, правда, не пострадала, зато телесного цвета шелковый чулок был изорван когтями Боба. Оттилия нервно улыбалась. Она с удовольствием заплакала бы, если бы это не испортило ее миловидного личика. Оттилия от души возненавидела ужасного пса. Боб получил такую основательную трепку, какой ему никогда не приходилось испытывать. Даже гордый Джек испугался; взволнованный, он держался поодаль, льстиво виляя хвостом и наблюдая за экзекуцией над сводным братом. Оттилия получила полное удовлетворение. Собаку наказали, а она выпила принесенный хозяйкой стакан холодной воды. Порванный чулок удалось зачинить в тот же вечер, ибо у хозяина в лавке как раз оказались штопальные нитки телесного цвета. Единственно полуботинок нельзя было исправить, и Оттилии волей-неволей пришлось обуться в захваченные с собой теннисные туфли. Правда, это не гармонировало с остальным туалетом, но что эти крестьяне понимали в таких вещах. Пес внушал ей ужас, и она не осмеливалась больше одна выходить во двор: что будет, если это чудовище сорвется с цепи?..

В тот вечер у хозяина с хозяйкой было небольшое совещание.

— Старый Боб уже никуда не годится, — сказала хозяйка. — Оглух, сторожить дом больше не может. Зря только хлеб жрет. Разве на свете не хватает молодых собак? Зачем нам держать такого?

— Ну что ж, — согласился хозяин, — можно ему камень на шею — и в реку.

— Оттилии это тоже будет приятно.

— Хорошо, я это сделаю, — обещал хозяин. — Пожил, полаял, пока

мог, и хватит — не пенсию же платить дряхлой твари.

Нареченные тоже совещались о чем-то — они условились встать пораньше и встретить восход солнца на берегу реки. Оттилия несколько лет посещала Академию художеств, ее интересовали пейзажи.

На следующее утро Гаральд и Оттилия встали задолго до восхода солнца. Никем не замеченные, они вышли за ворота. Хотя Боб и зарычал в конуре, никто этого не услышал. Они подошли к берегу реки. На землю нельзя было сесть — выпала роса. Поджидая восход солнца они молча прохаживались по берегу, настраиваясь для восприятия восхитительного зрелища, которое готовила им природа. Пройдя некоторое расстояние, они повернулись и зашагали обратно. Оттилия шла босиком, а Гаральд, не желая замочить брюки, засучил их.

— Гаральд, кто это так рано ходит по лугу? — спросила Оттилия.

Гаральд взглянул. В предутренних сумерках с холма к реке спускался отец. Он был не один. На поводу он вел пса, который, в восторге от ранней прогулки, кружился около своего хозяина; но тот отнюдь не был в веселом расположении духа, со злостью дергал за веревку и отводил душу тихой руганью.

— Волочись живей, проклятущая тварь! — И он пинал собаку ногой.

Нареченные остановились и стали наблюдать. Хозяин дошел до берега, усадил пса в лодку, сел на весла и погнал ее на середину реки. Там он привязал к шее собаки порядочный камень.

Оттилия отвернулась, она была так чувствительна! Но пес заметил их с лодки. Грозно зарычав, он начал лаять. В тот же момент хозяин спихнул его в воду. Пес был так охвачен злобой, что не понял происходящего. Еще в воде он продолжал лаять, и его последнее «вау» заглушила струя, хлынувшая ему в горло. Чересчур много было этой воды. Он проглатывал ее, но не мог с нею справиться...

Хозяин привязал лодку к шесту и ушел через пригорок домой, а Оттилия тяжело оперлась на руку Гаральда.

Эти люди очень уважали Оттилию и каждое желание узнавали по ее глазам... Благодарная Оттилия подарила Гаральда улыбкой и тесно прижалась к его плечу. Они ушли в лес, ибо Оттилия очень любила природу...

1930

В метель

© Перевод В. Вильнис

Вся равнина, до самой опушки леса, была как бы завернута в белое клубящееся и угрюмо шуршащее снежное облако. Северо-восточный ветер резкими, яростными порывами гнал сыпучий снег через луга и поля к речным заводям. На пути, где встречался куст или пень, снежный поток задерживался и начинал вихриться. Через несколько мгновений на этом месте вырастали белые бугры и сугробы.

Вдоль реки, по занесенной снегом дороге, изогнувшейся, как хребет доисторического животного, шел мальчуган лет восьми. Идти ему было очень тяжело. Каждый шаг требовал больших усилий. Злой колючий ветер толкал его в грудь или, как удары бича, стегал по лицу. Снег порошил глаза, а холод неотвратимо и назойливо пронизывал его сквозь одежду. Иссеченное снежной крупой лицо мальчика было красным и мокрым.

Иногда он поворачивался спиной к ветру и пробовал так двигаться вперед. Но метель немедленно бросала ему за шиворот снег.

Мальчугана до костей пробирала дрожь. Страшно мерзли руки, — они чуть ли не до локтей высывались из рукавов старенького пальтишка. Пока он в одной руке держал школьную сумку — другую прятал в карман. Но это плохо помогало.

Медленно брел он по сугробам, с трудом переставляя ноги, временами останавливался, прислушивался к завыванию ветра.

— Не слышно еще... Неужели сегодня не поедут?

И снова брел вперед, снова останавливался, прислушивался, оглядывался. Но равнина была закрыта опустившейся на землю белой непроницаемой завесой.

А вот и придорожный куст; только верхушка его еле торчит из сугроба. Каждое утро на этом месте маленький Рудис Линдынь поджидал соседа Брингу, возившего в школу своих детей и племянников.

Останавливая лошадь, тот обычно говорил:

— Залезай в сани и ты, кузнечик. Сколько веса в такой козявке — лошадь даже не почувствует.

У занесенного куста мальчик стал ждать. Ноги его глубоко ушли в снег, а спина начала покрываться белой пушистой пеленой. На левой ноге больно саднил большой палец. Морозило. Рудис чувствовал, как по телу пробежал холодок, словно под рубашку залезли муравьи.

«Почему же Бринга сегодня запаздывает?» — думал мальчик, все глубже втягивая голову в плечи. Наконец, где-то за Снежной завесой прозвучал бубенчик. На дороге показался темный силуэт лошади. Мальчик прошел немного вперед и остановился у самого края дороги. Бринга, в шубе с высоко поднятым барашковым воротником, восседал на передке

саней, а за его широкой спиной укрывались от ветра четверо ребят. Тесно прижавшись друг к другу, они глядели по сторонам сквозь узкие щели платков. Бринга посмотрел вбок и увидел стоящего у дороги малыша. Красное простодушное личико улыбалось ему. Бринга дернул вожжой и ударил лошадь по спине кнутовищем.

— Шевелись, старая!

Лошадь от неожиданности присела и рванулась вперед. Сани пронеслись мимо мальчика, чуть не задев его. Рудис еле-еле успел отскочить и, завязнув в сугробе, с удивлением смотрел вслед быстро удалявшимся саням.

— Папа, это же Рудис Линдынь, — тронул за рукав Брингу сынишка. — Смотри, вон он стоит у дороги.

— Знаю, знаю! — пробурчал отец и снова ударил лошадь кнутом.

— Дяденька, возьмите меня с собой! — прозвучал слабый детский голосок, сразу же заглушенный воем метели. — Дяденька, почему... вы не берете?

Сани скрылись из виду. Спустя миг их след был запорошен.

А метель все кружит. Теперь уже нельзя отличить, где небо, где земля. Маленькая детская фигурка бредет вперед без дороги, даже не зная, где эта дорога. Метель завывает, оглушая мальчика. Временами ветер сбивает его с ног, и он катится, как клубок, от сугроба к сугробу, встает и снова бредет, потом проваливается по пояс в снег. Белый снежный вихрь угрожающе проносится над ним, как огромная хищная птица. Мальчик совсем запутался. Он пробует подняться на ноги, делает несколько шагов и снова проваливается в снег. Озирается вокруг: дороги нигде не видно, излучина реки уползла куда-то далеко за белую непогоду. Он думает о школе — сегодня он опоздает на первый урок, учитель в тетрадке запишет замечание... оставит после уроков. От этой мысли Рудис сразу чувствует себя покинутым и одиноким.

Сквозь вой ветра слышится частое детское всхлипывание. Вся равнина до самой опушки леса стонет. Снежная буря проносится над лугами и заводями, задерживаясь только около маленького человечка. Над ним постепенно вырастает снежный бугорок.

Мальчик больше не плачет. Метель танцует вокруг него, и из снежного бугорка вырастает сугроб.

К вечеру метель утихает, и из-за туч на свинцово-синем небе показывается солнце.

...Возле школы дочка Бринги, вылезая из саней, спрашивает отца:

— Папа, почему ты сегодня не взял Рудиса?

Бринга, стряхнув с попоны снег, насмешливо отвечает:

— Пусть Линдынь сам заботится о своих чадах. Разве я виноват, что у него нет лошади?

Отвернувшись в сторону, он сердито бурчит так, что трудно понять его слова:

— Когда выбирали в волостное правление, я оказался для него плох... голосует за гнид и хибарочников. А я развози его ребятишек?.. Не-ет...

Девочка посмотрела на отца и больше ни о чем не спросила.

1931

Старый кочегар

© Перевод Я. Шуман

Резкий встречный норд-вест катил седогривые волны. Трехтысячетонный пароход «Дзинтар», груженный углем, тяжело подпрыгивал и переваливался с боку на бок, идя по бушующему простору Северного моря. На командирском мостике, вобрав голову в воротник пальто, насупившись, шагал капитан. К нему поднялся матрос, посланный на корму отметить показания лага, и доложил, что судно за последний час прошло меньше мили.

— Свинство! — проворчал про себя капитан. — Ветер шесть баллов, море вовсе не такое бурное. Мисинь! — крикнул он юнге, который шел из баталерки ^[11]с бачком картофеля в руках. — Сбегай-ка вниз и спроси машиниста, в чем там дело. Мы совсем не двигаемся с места.

— Есть, господин капитан! — ответил юнга и пустился бегом по качающейся палубе. Через несколько минут он вернулся.

— Машинист говорит, что прочищали топки и в котлы накачивали воду. Поэтому давление спало.

Недовольным жестом капитан отпустил юнгу и, сойдя с мостика, направился лично проверить причину тихого хода судна. Он обогнул каюты командного состава и по межпалубному трапу спустился в машинное отделение. Дежурным оказался второй механик, седой одутловатый старик в очках, с пышными усами и измазанными отработанным маслом руками. Его спецовка цвета хаки лоснилась и была покрыта пятнами красок и жира.

— Мы топчемся на месте! — крикнул капитан, не ответив на приветствие механика. — Какое давление?

— Сто пятнадцать фунтов...

— В чем дело? Разве при чистке топок давление у вас всегда спадает

на пятьдесят фунтов?

— Нельзя сказать, чтобы всегда, капитан. Все зависит от того, какой кочегар у топок.

— Чья сейчас вахта?

— Старого Карклиса.

Капитан сплюнул.

— Я давно уже говорил чифу [\[12\]](#), что стариков незачем брать в море. Судно не богадельня.

Раздосадованный капитан оставил механика и скрылся в темном проходе кочегарки. Сверху доносился шум подкатываемой угольщиком тачки. Грохот сброшенного угля звонко отозвался в стенах полупустого бункера. Пройдя вдоль сильно, нагретых котлов, капитан остановился в конце узкого темного хода. Старый Карклис, занятый чисткой топок, не заметил его прихода. Постояв некоторое время молча и понаблюдав за работой кочегара, капитан укоризненно покачал головой, сплюнул и, ощупью пробравшись мимо котла, вернулся в машинное отделение.

— Скажите, чтобы первый механик пришел ко мне... — обратился он к машинисту. — С убогими нечего возиться.

В то время как наверху, в капитанской каюте, двое стариков — капитан и первый механик — решали судьбу третьего, тот, обливаясь потом, выламывал из топки шлак и подбрасывал уголь. Старому Карклису было шестьдесят два года. Ниже среднего роста, смуглый, жилистый и сухопарый, он казался высохшим в этой адской жаре, созданной шестью пылающими топками. словно огненные пасти каких-то чудовищных хищников, стояли они перед ним, вечно голодные и ненасытные.

Вот уже сорок лет, как он кормит их то в одном, то в другом конце земного шара. Горы угля прошли через руки старого Карклиса — когда-то крепкие, мускулистые руки, и он играючи насыщал ими жадные пасти топок. А сегодня... Впервые в жизни старый Карклис не мог справиться со своим извечным противником. Лопата с углем казалась тяжелее, а дверцы топок выше, чем обычно... Страшно... очень страшно...

Дряхлое тело обливало потом. Соленые капли стекали со лба и щек, разъедали глаза. Карклис работал суетливо и лихорадочно. Звон лопаты чередовался со стуком крюков и ломов. Одна за другой открывались пылающие пасти топок, выбрасывая клубы горячего воздуха. Громадные куски накалившегося шлака лежали на кучах золы и шипели, когда их обдавали водой.

Недавно набранная в котлы вода уже нагрелась, в очищенных топках снова полыхало яркое пламя, а стрелка манометра никак не могла перейти

за сто двадцать фунтов. Карклис все больше нервничал. Где-то внутри защемило — было задето чувство собственного достоинства старого кочегара. Он старался изо всех сил, используя ловкость и опыт, добытые долгими годами тяжелого труда. Но ему так и не удалось поднять стрелку манометра хотя бы на несколько делений. Время дежурства подходило к концу, и все его усилия были напрасны. Мысль, жуткая и безжалостная, мелькнула в сознании старого человека: это — старческая немощь, дряхлость!

Он понял, что в его дежурство стрелка манометра никогда больше не поднимется до ста шестидесяти фунтов...

Самое ужасное — что он не может бороться с этим, воспрепятствовать происходящему, предотвратить неизбежное. Старое судно отводят в док, заменяют в обшивке несколько поврежденных стальных листов, окрашивают подводную часть и обновляют машины. После этого оно снова может плавать по морям, пока вконец не износится, и только тогда его ставят на прикол. Так стоит оно до тех пор, пока не найдется какой-нибудь предприимчивый спекулянт, который разберет его на железный лом. И судна больше нет. Но для человека нет ни одного дока; выбывшего из строя сразу «ставили на прикол» — отдавали в жертву бедствиям и гибели.

Старый Карклис хорошо знал это. Он не хотел становиться на прикол. Мысли его шли в ногу с бодрым и задорным ритмом жизни, хотя тело не поспевало. Как страшно... очень страшно...

Туманным ноябрьским утром «Дзинтар» вошел в рижскую гавань. Кочегары вычистили машину, привели себя в порядок и получили отпуск на берег. Сейчас же после обеда стюард пришел на бак и, осторожно ступая, чтобы не запачкать свой белоснежный китель, просунул голову в двери каюты.

— Карклиса в салон!

Старый Карклис ни о чем не спрашивал. Смущенно опустив глаза, стараясь уклониться от удивленных взглядов товарищей, он молча последовал за стюардом.

Все произошло так, как он и предполагал.

— Вы слишком стары для работы кочегара, — сказал капитан. — Нами получено распоряжение пароходства... Но если вы согласны работать трюмным, то мы оставим вас на «Дзинтаре». Я уже разговаривал с механиком. Он согласился на такую перемену. Что вы на это скажете?

Хотя предложение капитана не было неожиданностью для старого кочегара, он побледнел и некоторое время не мог вымолвить ни слова.

Затем на лице его появилась гримаса, он посмотрел в глаза капитану и засмеялся дрожащим, нервным смешком.

— Трюмным... вы говорите... хе-хе... начать все сначала, стать подручным кочегара, приносить ему питьевую воду, подметать каюту и мыть посуду и, если понадобится, бегать на берег за папиросами?! Нет, этого от меня не ждите! Я благодарен вам, капитан, но это предложение направлено не по адресу. Возможно, что на «Дзинтаре» в кочегары я уже не гожусь, но я найду другое судно...

— Как знаете... — пожал плечами капитан. — Я полагал, что это было бы для вас не так уж плохо...

— Вы так думаете? Возможно... Но что бы вы сказали, если бы владелец судна Бривкалн сообщил вам, что вы уже стары для должности капитана и, если вам угодно, можете оставаться штурманом? Мы с вами почти однолетки. Разве вы остались бы и согласились выполнять распоряжения какого-нибудь молодчика, вашего бывшего ученика?

— Значит, вы хотите получить расчет? — спросил капитан.

— Да, если уж того не миновать...

В тот же вечер Карклис собрал свои вещи и попрощался с командой «Дзинтара». Сорок лет своей жизни он отдал пароходным топкам, объездил все уголки мира, пропитал своим потом уголь всех стран и вместе с ним, крупицу за крупицей, сжигал свои силы. Когда было создано «независимое» Латвийское государство, Карклис служил на океанском нефтяном танкере, который совершал рейсы в Персидский залив и в порты Черного моря. Ему надоело вечно скитаться среди чужих людей, и в Антверпене он нанялся кочегаром на латвийское торговое судно «Дзинтар», которое только что было приобретено рижским купцом Бривкалном. Это был первый пароход судоходного предприятия Бривкална, старая ржавая посудина, про которую моряки острили, что она не разваливается только благодаря смоле и молитвам. Но ржавая посудина ходила по морю, приносила хороший доход и скоро дала своему хозяину возможность приобрести еще несколько таких же посудин, только немного поновее, побольше и подороже. И в то время, пока Карклис седел, высыхал, становился все более тощим и слабым, насыщая огненные пасти котлов, пароходство Бривкална все богатело. Бривкалн покупал один пароход за другим, строил в Риге громадные пяти- и шестизэтажные дома, построил самую роскошную на взморье дачу, приобрел несколько автомобилей, яхту и моторную лодку и время от времени переводил изрядные суммы валюты в более надежные иностранные банки. Богатство Бривкална увеличивалось, росли капиталы, могущество и почет. Только Карклис ничего не мог

накопить. Гол как сокол, он даже не успел жениться, и когда в день увольнения сошел с парохода, то унес с собой на берег лишь полупустой мешок с грязным бельем и мелким хламом, обычно накапливающимся у моряков. За все эти годы он ничего не приобрел, если не считать впалой груди да ревматизма. Но этим хвастаться не приходилось.

Ни один хозяин без нужды не будет продавать молодую лошадь, но когда она становится старой и немощной, загнанное животное начинает ходить по рукам. Цыгане водят ее по ярмаркам, продают, меняют. Она живет то у одного, то у другого хозяина, но все стараются как можно скорее от нее избавиться. Судьба старого рабочего мало чем отличается от судьбы старой лошади: его тоже никто не желает оставлять у себя. Его не берут на работу и выгоняют, когда он приходит предлагать свои рабочие руки.

Старый Карклис стал кочевать с одного судна на другое. В то время пароходства, как бы состязаясь, покупали новые суда, возникало много пароходных компаний, ибо ни одно предприятие не сулило такую верную и солидную прибыль. Все, у кого накопились лишние деньги, старались поместить их в дело пароходства, и владельцами и совладельцами их становились самые различные люди: бывшие президенты, депутаты, биржевые маклеры, фабриканты, профессора, адвокаты, нотариусы и врачи. Каждую неделю в порты отправлялись новые судовые команды. Одно время даже ощущалась нехватка в морях.

В эти годы старого Карклиса нанимали в экипажи, отправляемые за границу для привода судов. Но ни на одном пароходе его не оставляли дольше чем на один рейс, — по приходе судна в Ригу капитан вызывал Карклиса в салон и давал расчет. «Вы слишком стары...» — говорили ему.

Карклис забирал свои вещи и сходил на берег, чтобы записаться в новую команду и отправиться за новым пароходом. Старику довелось участвовать в приводе большинства судов латвийского торгового флота, побывать на их крестинах, после чего от него сразу же отбирали ребенка. Карклис ходил по конторам пароходств, слонялся по набережной, встречал и провожал товарищей моряков, становясь с каждым днем все более ненужным, лишним. А когда прошла лихорадка с приобретением новых судов, старый Карклис окончательно остался на берегу. Даже угольщиком его не брали теперь ни на один пароход. Юнгой же работать он не мог — был слишком неповоротлив.

Прошло три года с тех пор, как Карклиса рассчитали с «Дзинтара», и вот его старый кормилец в начале зимы появился в Риге. Всякое пришлось

испытать за это время старому моряку. Более года он провел на берегу, слоняясь по гавани, выпрашивая у коков остатки обеда, скитаясь с бродягами по пригородам Риги. Первое время, пока еще в кармане изредка появлялись сантимы, Карклис снимал койку в одной из квартир Московского предместья. Позже он находил убежище в приютах Армии спасения или городских ночлежках, а летом обходился без крова. Случалось, ему разрешали переночевать на каком-нибудь судне, если там оказывался знакомый моряк. Зимой, когда пароходов в гавани не было и сквозь ветхую одежду и рваную обувь мороз яростно кусал старое тело, Карклис старался укрыться от холода в городских столовых или в комнатах ожидания на бирже по найму судовых команд, где всегда собиралось много безработных моряков. Голодные, опустившиеся, без всяких перспектив, старые мореплаватели рассказывали друг другу свои приключения. Когда узнавали о прибытии судна, все скопом шли в гавань в надежде получить немного супу или кусочек хлеба. Однажды, когда у Карклиса уже третий день ничего не было во рту, им овладела безумная мысль — разыскать владельца своего бывшего судна и попросить помощи. Бривкална он встретил возле конторы пароходства, по пути на биржу. Так как вблизи оказалось несколько знакомых, Бривкалн вынужден был подать Карклису лат, и тот в знак благодарности снял кепку.

— Чтобы это было в последний раз... — строго промолвил Бривкалн. — Что это за привычка — приставать на улице!

Да, вот до чего докатился старый Карклис. Бродяга... Нищий... Подонок... Бродя по набережной гавани, в толпе беспечных молодых парней, он с горькой иронией думал:

«А что ожидает их? Отработают свои годы на судах, постареют, и в один прекрасный день им скажут: „Вы слишком стары... Можете идти!“ Как старый прогнивший зуб их вырвут из челюсти и выбросят в помойную яму. Такова судьба...»

Карклису становилось грустно, когда он слышал смех молодых моряков: они ведь еще не понимали, что их ожидает впереди, поэтому и радовались успехам пароходной компании, ее блеску. Когда Бривкалн приобрел новый пятиэтажный дом на Гертрудинской улице, они шли полюбоваться на него — так гордо стоял он во всем своем великолепии, с маленькими башенками на углах и балконами на всех этажах. Они даже чувствовали какую-то гордость, словно дом этот принадлежал им...

И вот когда «Дзинтар» снова пришел в Ригу, старый Карклис заштопал дыры на брюках и старой рабочей блузе и явился на пароход, где еще служило несколько его товарищей. Пока выгружали уголь и принимали

новый груз, старого Карклиса пустили в каюту кочегаров. Надо было мыть посуду, подметать пол и присматривать за огнем в печке. На две недели он был обеспечен хлебом и кровом. Когда пароход должен был снова выйти в море, кочегары положили в мешок старика черствый хлеб, немного маргарина и пустые бутылки из-под водки. Какой-то матрос отдал Карклису свою старую куртку.

— Жди нашего возвращения и приходи снова, — говорили моряки, прощаясь со старым товарищем.

На трапе Карклис встретился с капитаном. Он приветствовал его.

— Ну, как живется, Карклис? — покровительственно спросил капитан.

— По-всякому, господин капитан, как придется... — пробормотал старый кочегар, смущенный тем, что капитан не забыл его. Еще более смутился Карклис, когда капитан стал рыться в жилетных карманах и набрал лат мелочью.

— На, возьми... Жаль, что больше нет с собой.

Это неплохо получилось, ведь на берегу стояло много людей: сам Бривкалн, судовые маклеры, родные и близкие моряков, пришедшие попрощаться. Капитан, самодовольно побрякивая, поднялся на мостик. Старый Карклис, переполненный благодарностью, отошел в сторону от толпы провожающих и присел на сваю.

Отдали концы. Буксир повернул судно по течению, на баке и на берегу замахали платочками. Бривкалн поглядел, как его собственность медленно двинулась в открытое море, сел в лимузин и уехал. Группа провожающих понемногу рассеялась. Родные моряков разошлись по домам, чтобы через несколько недель ждать писем. Все разошлись... Только старый одинокий моряк сидел на свае и, пока вдали маячил темный силуэт парохода, провожал его глазами. Никто не знал, как дорого ему было уходящее судно. На нем он снова после долгого перерыва почувствовал уют морской жизни, спал на теплой койке, был сыт, слушал веселые, задорные речи молодых парней и старых моряков. Теперь этого нет. Впереди суровая, безжалостная зима, голод, попрошайничество и ночи без крова. Когда вернется «Дзинтар»? Через месяц, следующей весной, может быть через год... А за это время... за это время что станет с тобою, старый Карклис?

Пустая гавань застыла в мертвой тишине. По гладким камням, как тени, скользили сутулые фигуры людей. Все они поглядывали в сторону моря. А море молчало, дым не поднимался над горизонтом, ни одно судно не приближалось к тихому, замершему городу. Далеко, в других морях, дымились пароходные трубы, из порта в порт устремлялись потоки товаров, накапливались ценности, росли капиталы, новые дома вырастали

вдоль улиц, на бирже менялись курсы. И каждый день какой-нибудь капитан в той или иной гавани земного шара говорил кому-нибудь из тех, кто сжег в постылом рабстве свою жизнь: «Вы слишком стары...»

Волки загрызают своих состарившихся, больных товарищей. Сытые же люди предоставляют другим людям право — погибать самим. Это называется у них гуманностью.

1933

Полуночное чудо

© Перевод М. Михалева

Вечером под Новый год, по дороге, которая сворачивала с шоссе и вела через болотистый ольшаник, шел человек среднего роста, лет тридцати с небольшим. Он был одет в светло-серое зимнее пальто, голову его покрывала пушистая кепка, шея была повязана полосатым шелковым шарфом. Подняв воротник пальто и засунув руки в карманы, он шел подмерзшей топкой дорогой неторопливо, как бы прогуливаясь, и пытливо вглядывался в лица редких прохожих. Появление чужого человека в этой уединенной местности и странный интерес, проявляемый им к каждому встречному, возбуждали любопытство людей, но он ни с кем не говорил. Медленно, уверенно, будто здешний старожил, шагал он через болото. Приближаясь к домам, он еще более замедлял шаг и внимательно разглядывал их.

Дойдя до середины болота, где возвышался недавно построенный дом инвалида войны Русиня, он в замешательстве остановился и долго изучал окрестности.

Слева к болоту прижимался длинный вал блуждающих дюн. Полоса песков широким четырехкилометровым фронтом наступала на болотные топи, год от году продвигаясь вперед. Стволы старых ольх, росших у подножия дюн, были наполовину занесены песком. Местами деревья были погребены под песком почти целиком — так, что торчали только верхушки.

Прохожий успокоился. Все было прежним, его смущал только этот новый дом. Он подошел к забору, подождал, пока кто-нибудь выйдет на лай собаки. Хромая, к нему приблизился новый хозяин.

— Не будете ли вы так любезны сказать, куда ведет эта дорога? — спросил незнакомец, произнося слова с иностранным акцентом, слегка картавя.

— Она идет к дому лесника Гриестина, — отвечал Русинь. — Это

около двух километров отсюда. Но если вы хотите добраться туда, не сворачивайте по дороге влево — она кончается на краю болота у дюн, где избушка Лазды. А куда вам нужно пройти, сударь?

И Русинь подошел поближе к калитке, очевидно желая завязать более обстоятельный разговор. Незнакомец приподнял кепку и поблагодарил.

— Совершенно верно, мне как раз туда и нужно... — проговорил он, уходя.

— Куда, к Лазде или к Гриестину? — крикнул вслед ему инвалид.

— Да... — ответил незнакомец, не оглядываясь.

«Странный человек, — подумал новосел, возвращаясь в дом. — Поди знай, что ему на самом деле нужно...»

Незнакомец дошел до перекрестка и свернул налево. Начало смеркаться. Стая ворон располагалась на ночлег в ветвях болотной ольхи. Ветром мело сухой снег. Местами на дороге образовались сугробы. Путник шел до тех пор, пока не заметил у подножия дюн слабо светящийся огонек — он тускло мигал, то вспыхивая, то совсем исчезая, когда снежная завеса сгущалась. Остановившись, путник поглядел на карманные часы.

— Еще рано... у меня много времени... — прошептал он и повернул обратно. Так он ходил взад и вперед — до перекрестка и назад к дюнам. Наступила ночь. Над вершинами деревьев взошла луна и замерцали звезды, издали доносился слабый шум моря. Путник продолжал свою уединенную прогулку, временами поглядывая на часы.

У самых дюн, наполовину занесенная песком, стояла старенькая, полусгнившая избушка с провалившейся крышей. Там жил старый Лазда с женой и слепым сыном Юрием, потерявшим зрение во время взрыва в каменоломне.

Накануне Нового года хозяйка подоила козу — единственную свою скотину — и испекла в золе картофель. Тяжелые времена настали для этой заброшенной семьи. Летом не было никаких заработков. Старики собирали грибы и ягоды и носили на продажу в Ригу. Осенью недели две они были заняты уборкой картофеля у соседей, а Юрий плел корзины и изредка зарабатывал несколько латов для приварка.

Козье молоко и картофель были единственной надеждой и пищей в течение зимы.

За ужином огня не зажигали — света хватало от печки. Они сидели освещенные красноватым отблеском, катая в руках горячую картошку, разламывая ее пополам, дули на ее мучнистую мякоть, чтобы скорее остывала, потом макали в соль, насыпанную матерью на стол. Слепой Юрий не мог нащупать соль, и его картофелина часто касалась голой доски

стола, но он ничего не говорил и ел без соли. Наконец, мать заметила, что соль была насыпана слишком далеко. Она захватила щепотку и, высыпая ее на край стола, где сидел слепой, сказала:

— Макай сюда...

— Впервые у нас такой плохой новогодний вечер... — заговорил отец.

— Не всегда же так будет, — вздохнула мать. — Бог даст, на будущий год откормим поросенка, вырастим вторую козу — вот и приварок будет.

— Если бы мы могли продать корзины, которые плетет Юрий, тоже было бы неплохо. Но некому покупать.

— Все наладится, — сказала мать. — Какие времена были... Неурожаи, дожди, засухи, падеж скота — все прошло, выжили...

— Так-то так... — согласился отец.

Только слепой ничего не говорил. Невидящим взором смотрел он в темноту и, медленно разламывая картофелину за картофелиной, даже не замечал, как хрустят на зубах зола и кусочки угля. В мечтах он находился далеко от этого бедного жилья и печального вечера. Поев, Юрий придвинул скамью ближе к печке и уселся в углу. Черный кот ластился к его ногам до тех пор, пока он не взял его на руки. Мурлыканье кота долгое время было единственным звуком, нарушавшим тишину в избушке.

Убрав со стола, мать достала четыре разноцветные свечки, оставшиеся от прошлого рождества.

В углу на скамейке стояло маленькое деревцо — елочка без украшений, без блестящей канители и яблок. Свечи она укрепила на елке проволокой, но не зажгла, чтобы они не сгорели до наступления Нового года.

Это был вечер, когда семья оглядывалась на прошлое и в своих воспоминаниях жила вместе с теми, кого уже не было здесь... Мать вынула из ящика в шкафу старый, бережно хранимый альбом, под села поближе к печке и принялась рассматривать пожелтевшие фотографии и открытки. Так незаметнее проходило время. Один за другим разглядывали старики свои снимки в дни молодости: здесь они стоят улыбающиеся, уверенные в будущем, молодые и сильные; здесь мать сидит с маленьким мальчиком на коленях — это Мартин, их старший сын; здесь два стоящих рядом мальчика — пятилетний Мартин и двухлетний Юрий, оба такие маленькие и смешные, с пухлыми детскими ручонками и насупленными личиками. Потом Мартин предстает уже четырнадцатилетним подростком — смелым, сильным и здоровым. Эту фотографию она разглядывала дольше других.

— Таким он был, когда уезжал... — прошептала мать.

— Да, таким мы его видели в последний раз... — вздохнул отец. —

Сколько ему теперь было бы лет?

Они начинают подсчитывать. С тех пор как в маленькой семье не стало Мартина, прошло немало лет. С детства он мечтал о море. И ему представилась возможность осуществить мечты: по ту сторону дюн к своим родным приехал какой-то капитан. Мартин до тех пор не давал отцу покоя, пока тот не пошел вместе с ним и не договорился о зачислении сына в команду парусного судна дальнего плавания. Поздней осенью, когда на море бушевали ветры и гибли корабли, он уехал на чужбину, чтобы больше не вернуться. В течение двух лет они получали письма и открытки из далеких иностранных портов; то он находился в Англии, то в Испании, то посылал известия из далекого Тринидада. Уезжая, Мартин пообещал привезти матери пестрый шелковый платок, отцу — трубку из морокой пенки, а Юрию бенгальский огонь — обычные подарки моряков своим родным. Потом они получили маленькую открытку из какого-то французского порта: «Поздравляю с Новым годом, до скорого свидания в будущем году. Завтра отправляемся в Южную Америку. Мартин». Это были последние строки, последний его привет. Спустя несколько месяцев семья Лазды получила от владельца парусника извещение, что при гибели баркентины ^[13]«Альбатрос» в Атлантическом океане их сын, вместе с остальными моряками, утонул. С тех пор они остались только втроем, и почта никогда больше не приносила им приветов из далеких стран.

— Дай мне эту открытку, — сказал Юрий и протянул руку к матери. Он бережно взял в руки маленький кусок картона и долго ощупывал его, точно кончиками пальцев стараясь почувствовать написанное на нем.

— Да... — прошептал он, глядя слепыми глазами на тлеющие угли. — Где обещанные бенгальский огонь, трубка из морской пенки и пестрый шелковый платок?

Наступило тягостное молчание. Наконец, мать взглянула на стенные часы — до конца года оставалось полчаса. Вздохнув, она встала и зажгла свечи. В комнате сразу стало светлее. Черный кот проснулся, зевнул и спрыгнул с колен слепого. Но пробудившиеся воспоминания уже не давали людям покоя. Они опять заговорили о Мартине.

— У Мартина была привычка, — сказала мать, — незадолго до наступления Нового года незаметно выскользнуть из комнаты, а затем неслышно подойти к дверям. Тогда он трубил: «Ту-ту-ту!» — и спрашивал, ожидаем ли мы Новый год — он уже пришел...

— Да, и он тогда повязывал голову твоим клетчатый платком и красил щеки красной бумагой, чтобы его не узнали... — заметил отец. — И в самом деле, каким он казался смешным в своих штанишках и курточке, с

головой, повязанной женским платком. Мы каждый раз очень смеялись.

— А голос он всегда изменял, — улыбнулся слепой. — Говорил сердито и грубо, как бужа, который пришел путать маленьких детей.

— Он однажды и в самом деле напугал тебя, — вспомнила мать.

— Тогда я еще был маленький.

— Вы оба были маленькими, — сказала мать.

Отец вдруг стал прислушиваться.

— Нет ли там кого за окном? — спросил он. — Мне показалось, что мелькнуло чье-то лицо.

— Это тебе показалось, — ответила мать. — Кому сюда прийти?

Отец все же встал и подошел к окну. Но снаружи было тихо и никого не было видно.

Стенные часы однообразно тикали. Трещала загоревшаяся хвоя, когда огонек свечи дотягивался до верхней ветки. Семейство притихло, погрузившись в воспоминания прошлого. Но как печальны были эти воспоминания, как мрачна окружающая их действительность без каких бы то ни было надежд! Одинокие и покорные своей судьбе, они ожидали полночи.

Вдруг за окном действительно послышались шаги. Тяжело и уверенно закрипели они по замерзшей земле, приблизились к двери и смолкли. И вслед за тем все услышали импровизированный звук рожка.

«Ту-ту-ту!» — трубил кто-то, приложив ко рту ладони. Потом опять, теперь уже ближе и отчетливее, раздались шаги, и сильные удары в дверь отозвались далеким эхом в болоте. Измененным, грубым голосом кто-то сказал:

— Вы ожидаете Новый год? Вы бодрствуете и готовы принять его подарки? Я прибыл с новым счастьем и новыми судьбами. Открывайте дверь и встречайте меня.

В комнате слышалось только тяжелое, взволнованное дыхание трех человек. Знакомые слова, голос, звучащий только в воспоминаниях далекого прошлого, воскрес после долгих, долгих лет с такой точностью, что они не осмеливались поверить своим ушам: происходило ли это на самом деле, или это был сон, галлюцинация слуха, которая иногда случается с усталыми людьми. Неужели это лишь жестокая шутка? Кто мог так зло шутить?

Потрясенные и взволнованные, они не в силах были произнести ни слова. Мать, закрыв лицо уголком передника, начала всхлипывать, отец мрачно нахмурился.

— Отец... — побледнев, прошептал слепой охрипшим голосом. —

Иди посмотри, что там.

Отец вздохнул и направился к дверям. Слепой почувствовал струю холодного, морозного воздуха, ворвавшуюся в открытую дверь.

Незнакомый путник вошел в комнату. Сняв кепку, он стоял у дверей в пальто, покрытом снегом, в сапогах, сразу запотевших в тепле комнаты. Он смотрел то на одного, то на другого. Неприкрытая нужда, выглядывавшая отовсюду, догорающие свечи на ветвях, боль и недоверие, отразившиеся на лицах этих людей, глубоко взволновали его.

— Неужели... неужели вы меня не узнаете? — подавленно спросил он. — Ведь это я. Видите, пришел, чтобы сдержать слово. Мать, получай свой пестрый шелковый платок, а тебе, отец, трубка из морской пенки. Вот бенгальский огонь для Юрия. Ты увидишь, как здорово он горит, разбрасывая искры; если хочешь, я зажгу сейчас одну палочку. Ну, скажите, ведь я ничего не забыл?

Вдруг он почувствовал, что не может больше продолжать эту веселую болтовню... Губы его задрожали, глаза застлало туманом, и он не мог произнести ни слова.

В избытке раздался крик, вырвавшийся одновременно у всех троих:

— Мартин, это ты?! — И шесть рук, жаждавших его обнять, протянулись навстречу.

Потом они сидели до самого утра и слушали рассказ Мартина — о том, как он перед выходом «Альбатроса» в море оставил корабль и благодаря этому не утонул вместе со старой баркентиной; о том, как он скитался из одной страны в другую, долго томился без работы — там, за океаном, и, наконец, с пустым сердцем и пустыми карманами, вернулся на родину. Шарф, трубка, бенгальский огонь — все это у него хранилось уже несколько лет, и, кроме этого, почти ничего он и не привез. А когда заговорили о будущем, отец как бы мимоходом заметил:

— Ты еще молодой и сильный. У мельника Гаркална недавно умер батрак. Может, попытать счастья?.. Не исключено, что Гаркали примет тебя на работу.

— Да, конечно... — задумчиво отозвался Мартин. — Не исключено, что Гаркалн даст работу... Придется завтра сходить к нему.

«Вот оно — новое счастье... — думал он. — Батрак у Гаркална. Везде и всегда одно и то же. Стоило ли из-за этого объехать почти весь мир?»

За исключением одной великой страны — там, на востоке, куда ему не суждено было попасть, — богатые люди одинаково угнетали и грабили бедных, это он теперь хорошо знал, и, чтобы убедиться в этом, стоило, пожалуй, объехать мир.

Соколик**© Перевод В. Вильнис**

Соколик вовсе не был птенец. Это малыш с крохотными проворными ножонками, вечно вымазанным личиком и мягкими льняными волосами, как у многих ребят — его сверстников. Весной ему исполнилось пять лет — возраст весьма почтенный. По правде говоря, малыша вовсе не звали Соколиком. Его имя Ян, Янтис. Соколиком его называл только отец.

Вернувшись с моря и стянув тяжелые сапоги, отец каждый раз брал сынишку на колени, которые пахли, так же как его руки и сапоги, свежей рыбой и водорослями. Этим запахом были пропитаны сети, и черная рыбацья лодка, и комната, где они жили.

— Ну, Соколик, как дела? — подбрасывая сына на коленях, спрашивал отец.

Иногда он шутливо спрашивал у малыша:

— Скажи-ка, чей ты, Соколик? Не тот ли ты Соколик, что ловит полевых мышей?

Мальчик застенчиво прятал лицо в складках отцовской одежды и чуть слышно шептал:

— Твой, папа, Соколик...

И они долго смеялись. Потом отец гладил своей большой красной рукой голову мальчугана и опускал его наземь. Удивительно, как эта грубая рука могла так нежно ласкать. Корявые, распухшие пальцы отца настолько ловко и легко вытаскивали репей, запутавшийся в волосах Соколика, что тот даже не чувствовал боли.

Жили они очень дружно. Да и как могло быть иначе, если их было только двое в этом маленьком домике, стоящем ближе всех рыбацких хижин к морю. Когда-то здесь жили трое. Отец хорошо помнил это время, но Соколик знал лишь то, что этот третий человек была его мать — одно из тех существ, которые ходят, повязав голову платком, и водят с собой или носят на руках таких же малышей, как он. У всех мальчиков и девочек в поселке были добрые матери, которые вытирали им запачканные лица и иногда водили гулять. Только у него одного не было матери. У него был отец — большой, верный друг, который качал его на коленях, а иногда сажал к себе на плечи и нес от залива до дому. Он ничуть не хуже тех, которые ходили повязав голову платком. И он был намного выше их ростом

и сильнее всех — Соколик сам видел, как отец один сталкивал в море тяжелую рыбачью лодку.

Если отец отправлялся на дальний лов — что чаще случалось весной, — он отводил Соколика в поселок к тете Ане, где тот оставался и на ночь. Там были еще другие мальчики и девочки, но тетя Аня относилась к Соколику, как ему казалось, лучше; чем к другим. Ребята затевали игры, бегали, а вечером вместе ужинали.

Но, несмотря на все это, Соколику больше нравилось дома, хотя там был только единственный товарищ по играм — серый кот Минка, с которым трудно сговориться. Впрочем, Минка был большим охотником до шуток. Стоило только Соколику найти веревочку, привязать на конце щепочку или тряпочку и побегать по комнате — что тогда Минка начинал вытворять! Забравшись в угол и прильнув к полу, он внимательно наблюдал за движениями привязанного предмета. Зеленые глаза Минки начинали светиться, хвост сердито молотил по полу, и кот, сжавшись в комок, делал большой прыжок. Несмышленьш Минка, наверное, думал, что на конце веревочки что-то живое. А когда ему надоедало играть, он, мурлыкая, ласкался у ног Соколика и смотрел на него такими умными глазами, точно хотел сказать: «Ну, хватит, поиграли, и будет».

Да, Минка был умный. Вечерами, когда отец Соколика возвращался с рыбной ловли, он бежал вместе с мальчиком к берегу залива и встречал рыбаков. Усевшись возле того места, где обычно стояла их лодка, Минка терпеливо смотрел на море. Как только рыбаки сходили на берег, он, тихо мяукая, начинал ходить вокруг отца Соколика, выгибал спину и держал хвост свечой. О, он хорошо знал, что этот человек никогда не возвращается с пустыми руками и уж какая-нибудь рыбешка припасена и для него. Это была хорошая и веселая жизнь.

Еще интереснее было летом, когда в солнечные дни чинили сети, развешанные на дюнах для просушки. Тогда Соколик мог целый день провести на берегу залива. Минка, принюхиваясь ко всему окружающему, крутился вокруг лодки, а потом, устроившись поудобнее на скамейке, мирно дремал. Соколик строил из песка домики. Отец быстро и ловко чинил сети. Порой он откладывал работу и подсаживался к сыну на песок.

— Ну, Соколик, что ты тут строишь? — спрашивал он.

И Соколик ему рассказывал:

— Вот это, поменьше, — дом, в котором они живут, а это, побольше, — лавка...

Но он еще хочет построить будку для Минки.

Иногда отец задумчиво смотрел на море и, посадив рядом с собой

Соколика, показывал вдаль, где морская ширь сливалась с горизонтом.

— Знаешь ли ты, Соколик, что там?

Нет, Соколик не знал, но он хотел бы узнать. Тогда отец, обняв его за плечи, привлекал к себе.

— Когда-нибудь потом, когда у моего Соколика вырастут крылья, он слетает туда и сам посмотрит. Может быть, он тогда прилетит обратно и расскажет отцу обо всем, что видел, а может быть... — голос отца становился глухим, и он грустно улыбался, — может быть, и не вернется обратно...

Так они жили. Возможно, другим жилось лучше, веселее, — этого Соколик не знал. Ему и так было хорошо. То же самое, наверное, чувствовали и отец и Минка.

Наступила осенняя пора. Вода в море уже не была такой теплой, чтобы, засучив штанишки, бродить по отмели. Временами задувал штормовой ветер и свирепые волны обрушивались на берег, грозя все смыть в море. Тогда рыбаки затаскивали свои лодки подальше на песок. Соколик уже не мог бегать вдоль берега и собирать красивые ракушки. А Минка, этот хитрый франт, который больше всего на свете боялся замочить свои белые лапки, не смел подойти к морю ближе, чем до гряды высоких дюн.

В такие дни отец никогда не выходил в море, а Соколику и Минке некого было ожидать на берегу залива.

Но однажды все случилось по-иному. Предобеденное время не предвещало ничего плохого — небо было чистое, а море спокойное, только где-то на горизонте постепенно выросло перистое облачко... К отцу пришел его товарищ, и они решили, что не вредно бы поставить в море сети, которые вчера развесили для просушки. Можно было ожидать хорошего улова — ночью другие рыбаки привезли порядочно корюшки.

Оба рыбака сняли с шестов сети, отыскали якоря и все это отнесли в лодку.

Перед уходом в море отец отвел Соколика домой, отрезал от каравая большой ломоть хлеба, намазал его маслом и положил в кухонный шкафчик.

— Если тебе захочется кушать, откроешь шкафчик и возьмешь, — сказал он. — А пока поиграй с Минкой и не ходи на берег. Я скоро вернусь.

Отец ушел. Соколик еще долго глядел в окно; он видел, как лодка отошла от берега и постепенно становилась все меньше и меньше, пока не исчезла из виду совсем. Дольше смотреть в окно не было интереса. Тогда Соколик разыскал веревочку с привязанным лоскутком и начал заигрывать

со своим четвероногим другом.

— Лови, Минка, лови! Поиграем немножко, а потом побежим на берег встречать отца.

Оба так расшалились, что не заметили, как прошло время, — только усталость прекратила игру. Соколик залез в кресло и посмотрел на море — может быть, отец уже возвращается. Но лодки не было видно. Пока они играли, море стало темно-свинцовым. Огромные волны с седыми гребнями с разбегу налетали на берег. Ветер со свистом и шуршанием срывал с дюн песок и низко пригибал к земле покалеченные штормами низкорослые сосенки. Казалось, их раскачивает и гнет чья-то невидимая рука. Соколик знал — если так качаются деревья, это нехороший признак. Отец в таких случаях всегда говорил: «Крепчает погода, быть буре — рыбакам сидеть на печи». Соколик знал, что рыбаки, застигнутые штормами в море, торопятся вернуться обратно. Значит, отец скоро будет дома.

Но лодка все не возвращалась. Спускались сумерки. На горизонте нельзя уже было различить, где кончается море и начинается небо. Ветер все усиливался, и от его порывов содрогалась крыша домика. Теперь-то отцу пора бы вернуться, непонятно только, почему он так медлит?..

Соколик нахлобучил на голову шапку и, как был в одной рубашонке, без пальтишка вышел из дому. Минка, не ожидая приглашения, побежал следом. Он тоже знал, что хозяину пора вернуться и угостить его свежей рыбкой.

Идти к берегу было очень трудно; ветер дул прямо в лицо и чуть ли не валил с ног. Отцовской лодки ни на берегу, ни в море не было. Собственно говоря, в море трудно было что-либо различить. Разбушевавшийся водный простор был темен и мрачен. Но отца все-таки надо было ожидать — он мог вернуться каждую минуту, иначе что ему делать в море? Если бы он отправился на дальний лов, то непременно отвел бы Соколика в поселок к тете Ане. Значит, он должен вернуться сегодня.

Соколик присел на скамейку с сетями и стал ждать. Солнце уже давно скрылось, и в просветах между облаков кое-где зажглись бледные звезды. Наступила ранняя осенняя ночь, а Соколик все еще сидел на скамейке и неотрывно смотрел в море, которое в темноте казалось чернее смолы. Он прислушивался, не раздастся ли плеск весел, но на это трудно было рассчитывать — уж слишком силен вой ветра и грохот прибоя.

Соколику не хотелось возвращаться домой — ведь там тоже темно, а зажечь лампу некому. Сам он был еще слишком мал для такого дела.

Тихо, как бы спрашивая, мяукнул Минка и прижался пушистым боком к ногам Соколика. Потом он мяукнул еще раз и, не дождавшись ответа,

тихо побрел к домику. Минке надоело так долго ждать. «Ну и пусть уходит, — подумал Соколик, — за это он не получит рыбы...» Нет, он будет ждать, пока вернется отец. Ведь отец возьмет его на руки и понесет домой. Но почему он все-таки не возвращается? Может быть, отец отправился далеко, за край моря, и хочет узнать, что там есть? Вот тогда, вернувшись, он рассказал бы много интересного. Соколику тоже очень хотелось посмотреть, что делается там, где сходятся море с небом. Как жаль, что он такой маленький и надо долго ждать, пока вырастут крылья...

В ночной темноте с диким свистом завывает ветер, грозно ревет и стонет разбушевавшееся море, за дюнами, на отшибе, стоит маленький домик — темный и холодный.

Никто не приходит звать Соколика домой, да и звать некому. Он сидит и сидит, пряча одеревеневшие от холода ножки под сети, и терпеливо ждет.

1937

Капитан Силис

© Перевод М. Михалева

Это произошло за несколько лет до первой мировой войны, когда рижские пароходы еще ходили под русским флагом и капитанами на многих русских кораблях были латыши. Их всюду считали прекрасными моряками; такими они и были на самом деле. Только о капитане Силисе моряки не сходились во мнениях. Владельцы некоторых пароходных компаний ценили его, но не говорили, за что; моряки же, которым доводилось плавать вместе с Силисом, не были столь скрытны, но у них не находилось доброго слова для своего бывшего капитана, и немногие из них соглашались еще раз плавать под его командованием. Исключение составлял лишь первый механик Пурэн. Каждый раз, когда Силис переходил на другой корабль, за ним следовал и Пурэн; и там, где эти двое бывали вместе, всегда можно было ожидать чего-нибудь неладного.

«Серафим» был старой, вконец изношенной посудинной. Через полгода кончался срок его классификации, и поговаривали, что ее не возобновят, так как в этом случае пришлось бы производить капитальный ремонт и платить слишком высокие проценты за дальнейшую страховку. Владельцам «Серафима» следовало дотянуть оставшиеся до срока месяцы, а затем пустить пароход на слом. Это был самый простой способ завершения долгой жизни старого парохода — если только его Хозяева не оказывались людьми слишком расчетливыми и не пытались извлечь из этого какую-

нибудь выгоду. Владельцы «Серафима» были расчетливы и поэтому заранее позаботились, чтобы судьба парохода сложилась иначе. Когда «Серафим» в последний раз пришел в Рижский порт с грузом угля, капитан получил расчет и перешел на другой пароход той же компании — поновее и получше.

Вначале еще не было известно, кто придет на его место. Но вот явился Пурэн и стал первым механиком, приняв эту должность от своего предшественника, последовавшего за прежним капитаном на другой пароход. Команда призадумалась, в кубриках началось приглушенное, подозрительное перешептывание. Несколько дней спустя явился капитан Силис, и всем стало известно, что отныне «Серафимом» будет управлять он. Тем самым подтвердились подозрения команды, и с уст моряков срывались мрачные проклятия.

— Обе акулы вместе — начнутся теперь дела!.. — со злобой говорил судовой плотник, старый Меднис. — Учужали падаль! Будь у меня другие шансы, я бы забрал свои пожитки и смылся... Считайте, что песенка «Серафима» спета.

Хмура встретила команда нового капитана. На каждом шагу он мог убедиться в неприязни. Хотя его по утрам и приветствовали, но в этих приветствиях не было сердечности, люди ходили насупившись, в их голосах слышалась угроза, а во взглядах мелькало презрение и упрямство. Вечерами, после окончания работ, матросы говорили только о Силисе и Пурэне, а старый Меднис в сотый раз повторял, что песенка «Серафима» почти что спета.

— Уж если соберутся вместе оба эти молодца — обязательно жди какой-нибудь пакости! — утверждал он. — Кем они были лет десять тому назад? Один плавал вторым механиком, другой — штурманом; а достатка у обоих было ничуть не больше, чем у нас с тобой. Затем на Черном море возле Керчи ушла на дно «Екатерина» и оба были на ней. После этого Силиса назначили командовать каким-то «одесситом» и Пурэн сделался чифом; у обоих с тех пор завелись денежки. Год спустя «одессит» наскочил на скалу у берегов Норвегии. После этого Силис сразу же начал постройку дома в Агенскальне ^[14]. Друзья переходили из одной пароходной компании в другую и за короткое время сплывали на дно шесть посудин. Просто удивительно, до чего их любят заправила пароходных компаний, — дня не дадут просидеть без дела! Где бы ни появилось изношенное скопище железного лома — Силис и Пурэн тут как тут, поплавают малость и доживают до счастливой аварии. Теперь у них деньги во всех банках. «Серафим» тоже, говорят, застрахован на солидную сумму. Неизвестно

только, когда они его отправят на дно — идя туда или обратным рейсом...

Следствием этих разговоров было то, что некоторые матросы и кочегары взяли расчет и перешли на другие пароходы, а на «Серафим» пришлось набрать разный сброд, так как порядочные моряки наниматься не хотели.

Силис и Пурэн понимали, конечно, причину мрачного настроения команды. Но это были крепкие, закаленные люди, и такие мелочи их не смущали.

— Крысы бегут с тонущего корабля... — усмехнулся Пурэн, когда Силис сказал ему об отказе боцмана продолжать службу. — Пусть бегут те, кто трусит. А мы останемся. Я должен еще подзаработать на крышу для дома...

— А я на плату за обучение сына... — заметил Силис.

Оба они только что явились в Ригу с Черного моря, а после завершения очередного дела их ожидал пароход на Дальнем Востоке. Оба были средних лет — Пурэн сухощавый, с гладко выбритым лицом, Силис полный, со светлой бородкой клинышком. Пурэн был холостяком. Силис же третий год как овдовел. Единственный сын его Альбин, которому недавно исполнилось двенадцать лет, жил у тетки и учился в реальном училище. За несколько дней до выхода «Серафима» в море Альбин пришел на пароход и всю ночь провел у отца. Это был стройный, крепкий мальчик. Отец показал ему на палубе парохода все заслуживающее внимания: навигационную рубку, капитанский мостик; Пурэн водил Альбина по машинному отделению. Мальчик хотел пройти и в кубрик, к матросам, но отец не разрешил, опасаясь, что команда может ему что-нибудь наговорить.

Капитан Силис любил своего сына. В его чувствах была не просто обычная привязанность родителей к своему ребенку, а нечто большее — смесь надежды и гордости, радость за каждое произнесенное мальчиком слово и готовность жертвовать собой, лишь бы только ему было хорошо. Все, что предпринимал Силис, делалось ради сына; вся жизнь его заключалась в Альбине. Рука капитана, эта тяжелая, сильная рука, которая ни разу не дрогнула, когда надо было совершить что-либо запретное, каждый раз вздрагивала от счастья, лаская белокурую голову сына, а сердце переполнялось множеством нежных, ласковых слов, остававшихся невысказанными, так как чрезмерная нежность не соответствовала натуре Силиса. Вечером отец с сыном сидели вдвоем в кают-компании и играли в домино. На этот раз Альбин меньше чем обычно интересовался игрой, и отец сразу же почувствовал, что сына мучает какая-то неотвязная мысль.

— Не прекратить ли игру? — спросил он после первой партии.

— Да, папа, — согласился Альбин. — Лучше поговорим о чем-нибудь...

— Может быть, рассказать, как в Желтом море нас трепал тайфун? — спросил капитан.

— Нет, папа, об этом ты уже рассказывал. Сегодня я сам хотел бы тебе кое-что рассказать.

Силис улыбнулся и удобнее расположился в своем кресле.

— Ну, ладно, рассказывай!

То, о чем Альбин хотел рассказать, видимо, было чрезвычайно важным, он никак не мог решиться начать разговор и время от времени исподтишка поглядывал на отца. Как всегда, лицо отца было ласковым и обнадеживающим. Тогда мальчик заговорил:

— Этой весной я получил хорошие отметки...

— Да, сынок, я уже видел их.

— Меня перевели в следующий класс...

— Так и должно быть.

— Теперь у меня каникулы до конца августа...

— Отдохни как следует и не читай Пинкертон [\[15\]](#) — тогда будущей зимой тоже будешь иметь хорошие успехи.

— Папа, я хотел тебя спросить, когда «Серафим» вернется в Ригу? — зардевшись, спросил Альбин.

— Вернется? — Капитан закусил кончики усов. — Думаю, что к концу июля.

Небольшая пауза, а затем несмелый, приглушенный шепот:

— Ты обещал взять меня когда-нибудь в плавание. У меня теперь каникулы. До начала занятий я успел бы вернуться...

Долго собирался с ответом капитан Силис. Он смутился, как уличенный во лжи мальчишка. Своему сыну он ни в чем никогда не отказывал; давным-давно уже обещал он взять его с собой. Неизвестно, сложатся ли вновь когда-нибудь обстоятельства так удачно, как этим летом... И все же... Он знал, какая судьба уготована пароходу во время рейса, и мысль о том, что в это время на борту будет находиться Альбин, сжала его сердце, лоб покрылся холодной испариной. Как блестят глаза мальчика, как жаждет он этой поездки и с какой надеждой ждет ответа отца. Как же отказать ему? И все же иначе ответить капитан не мог.

— «Серафим» — старый, неказистый пароход... — сказал Силис. — И в этом рейсе не будет ничего интересного.

— Мне безразлично — лишь бы плавать!

— Нет, Альбин, на этот раз еще останься на берегу. Будущим летом я

перейду на лучший пароход и возьму тебя с собой.

Тон отца, не допуская возражений, смутил мальчика; он не стал настаивать. Однако по натуре Альбин был таким же предприимчивым и настойчивым, как его отец; он решил самостоятельно осуществить задуманное. Спустя два дня, когда пароход должен был выйти в море, Альбин попрощался с отцом и сошел на берег. Но он остался на пристани, и как только отец спустился в свою каюту, маленький сорвиголова пробрался на пароход и спрятался в угольном трюме. Пурэн показывал ему все закоулки, и теперь он легко нашел надежное убежище. Никто его не искал.

Поздно вечером «Серафим» вышел в море. С восьми до двенадцати была вахта первого механика, и Пурэн все это время провел в машинном отделении, наблюдая, как поддерживают кочегары нужный уровень пара. Машина кряхтела, стонала, топки поглощали слишком много угля, но это его несколько не тревожило: так или иначе, все пойдет ко дну вместе с пароходом. Котлы не прочищались несколько месяцев, и толстый слой накипи препятствовал поднятию нужного давления. Семь узлов в час — максимальная скорость — по силам «Серафиму» при хорошей погоде.

В десять часов вечера Пурэн сошел в кочегарку и некоторое время наблюдал за работой новых кочегаров. Это были совсем зеленые юнцы, неловкие в движениях и без малейшего опыта в этом деле. Когда они бросали уголь в топку, лопата всегда ложилась или слишком высоко, или слишком низко, и половина угля сыпалась на пол. Выламывая шлак, они обжигали руки о раскаленные ломы, так как заранее не приготавливали ветоши; заливая золу, один из кочегаров едва не выжег себе глаза. При других обстоятельствах, на другом пароходе, которому не предназначена была бы судьба «Серафима», Пурэн выругал бы этих неучей, но сейчас ему было на руку, что кочегары ничего не знали, — следовательно, они ничего не поймут из дальнейших событий. Поэтому у Пурэна не сорвалось резкого слова, он отечески посоветовал молодежи раздобыть кусок брезента и смастерить себе рукавицы. Из кочегарки Пурэн поднялся до межпалубного помещения и узким лазом пробрался во внутренний бункер. В руках он держал сильно чадившую масляную лампу. Осмотрев запасы топлива, механик собрался уйти, но внезапно в углу зашуршали куски угля и тонкий детский голос позвал его:

— Пойдите, господин Пурэн!

Весь испачканный углем, маленький Альбин переполз через кучу угля и подошел к механику. Тот сначала не узнал мальчика и, решив, что это какой-нибудь удирающий за границу «заяц», резко, во весь голос, крикнул:

— Как ты попал сюда? Что тебе здесь надо?

— Господин Пурэн, неужели вы меня не узнаете? — улыбнулся мальчик.

— Альбин?.. — Лицо механика вытянулось, и он перешел на шепот. — Скажи пожалуйста! Неужели тебе в каюте мало места, что ты ночью шатаешься по бункерам?

— Отец не знает, что я на борту... — объяснил мальчик. — Я просил взять меня с собой, а он не захотел. Ну вот... я и забрался в бункер... Он, правда, рассердится, что я еду без его разрешения, но теперь отослать меня назад уже невозможно!

— Гм!.. — протянул механик.

— Господин Пурэн, как вы думаете: могу я теперь идти в каюту к отцу? — спросил Альбин, улыбнувшись Пурэну, как своему сообщнику. Тот долго не отвечал и только недовольно тянул свое «гм...», затем тщательно закрыл люк.

— Отойди подальше от люка, чтобы тебя кто-нибудь не услышал, — проговорил он, наконец. — Я должен основательно подумать, что и как...

Они прошли в самый дальний угол. Пурэн уселся на старой бочке изпод керосина, поставив лампу на пол; лица его теперь нельзя было разглядеть. Мальчик напряженно ждал ответа механика, не догадываясь, какую сложную проблему создавало его пребывание на «Серафиме».

«Этакий негодник!.. — думал про себя Пурэн. — Его следовало бы высечь... Нашел подходящее время забраться на пароход. Если мы в Северном море спустим „Серафима“ на дно, каждому из нас компания уплатит по десять процентов; это неплохой куш. А если Силис узнает, что на борту мальчишка, он не станет топить эту калошу и наши денежки пропадут. Как же быть? Ясно, что „Серафим“ должен утонуть. А с мальчишкой ничего не случится, если он несколько часов посидит в шлюпке. Если мы это можем, почему же не может и он? Не такой уж он маленький. Значит, Силис не должен знать о мальчишке до тех пор, пока дело не будет сделано. Когда команда будет садиться в шлюпки, я скажу ему, в чем дело, и все будет в порядке».

Обдумав все это, Пурэн подозвал Альбина к себе поближе и тихонько сказал:

— Если ты сейчас пойдешь к отцу, у него будут крупные неприятности. С нами вместе плывет один из владельцев компании; это очень занозистый господин, и он пожалуется, что твой отец катает на «Серафиме» своих родственников. Поэтому оставайся в бункере и пережди, пока мы не придем в Голландию; там этот тип сойдет на берег, и обратный

рейс ты проведешь в каюте отца...

— Мне все равно... — проговорил Альбин. — Только как я проживу: у меня нет ни одеяла, ни еды.

— Об этом не беспокойся... — успокоил его Пурэн. — Я позабочусь обо всем. Лучше, если ты не будешь разгуливать по межпалубному помещению, а останешься здесь. Тогда никто тебя не обнаружит.

Альбин согласился. И хотя подобный способ путешествия несколько не привлекал мальчика, он не терял присутствия духа. Ведь обратный рейс он проведет на палубе, и это будет наградой за все трудности. На том и порешили. Никто не узнал, что на «Серафиме» находится тайный пассажир. Пурэн приносил ему еду, помог удобнее устроиться в темном убежище, а капитан Силис спокойно рассматривал мореходные карты, выбирая наиболее подходящее место для погребения «Серафима». Иногда капитан и механик совещались, разрабатывая план потопления. В этих делах они имели опыт, приобретенный каждым в отдельности и совместно, и поэтому они договорились без лишних споров.

Пароход прошел уже мыс Кулэн, и далеко впереди слева мигали огни Гансгольмского маяка. За час до полуночи Пурэн, поднимаясь на палубу, у дверей кают-компания встретился с капитаном.

— Погода тихая... — проговорил Пурэн. — Кажется, ветра ждать не придется...

— И я так думаю... — согласился Силис. — До берегов Гансгольма не больше двенадцати миль.

— Начинать? — тихо спросил Пурэн.

— Лучшего момента не найти... — так же тихо ответил капитан и, поднявшись на мостик, размеренно зашагал по нему. Временами он подходил к компасу и проверял, верно ли штурвальный держит курс. О борта парохода тихо плескалась вода; море было спокойно, как поверхность пруда.

Механик спустился в машинное отделение и спросил смазчика:

— Почему стучит машина рулевого управления. Когда вы ее смазывали?

— Час тому назад, чиф... — ответил тот.

— Пройдите смажьте еще раз, да основательно. Я побуду здесь.

— Слушаю, чиф! — ответил смазчик и, взяв масленку, поднялся наверх, к машине рулевого управления. На мгновение исчез и Пурэн. Когда смазчик, выполнив поручение, вернулся назад, первый механик стоял у динамо и вытирал ветошью руки.

— Смазали? — равнодушно спросил он, взглядываясь в шкалу

амперметра.

— Все в порядке, чиф! — ответил смазчик.

— Хорошо. Оставайтесь здесь и проследите, когда нужно будет подкачивать в котлы воду. Я буду в своей каюте.

Вытерев руки, Пурэн положил ветошь на слесарный верстак, находившийся рядом с динамо, и, позевывая, стал подниматься по узкому железному трапу. Ему, видимо, хотелось спать, но свежий воздух подбодрил его. Выйдя на верхнюю палубу, он уже не зевал. Оглянувшись, нет ли кого поблизости, он пошел к капитанскому мостику и тихо кашлянул. Наверху у навигационной рубки виднелась темная фигура капитана.

— Сделано... — еле слышно прошептал механик.

Капитан кивнул головой и продолжал расхаживать по мостику. Чиф прошел в свою каюту и прилег на маленьком диване; его снова одолевала дрема. Чтобы не беспокоил свет, Пурэн опустил абажур настольной лампы.

Слева спокойно и размеренно мигали огни маяка.

Над миром безучастно сияли звезды. «Серафим» шел на юго-запад со скоростью семи миль в час. Обливающиеся потом кочегары пили воду, становились под трубы воздухопровода, но и там свежесть почти не чувствовалась.

За четверть часа до полуночи капитан послал в трюм проверить уровень воды.

— Не может быть! — воскликнул он, когда матрос доложил, что вода прибыла на целый фут. Не доверяя никому, Силис сам пошел проверить промер. Он тщательно натер мелом промерный шест и опустил его в контрольную трубу: еще тщательнее при свете фонаря он осмотрел омытый водой конец шеста.

— Странно! — пробормотал он. — Вода прибывает на дюйм в минуту...

Взволнованный, он рывком бросился на среднюю палубу и рванул дверь в машинное отделение:

— Хелло, чиф!.. Хелло, дункмэн!.. Немедленно приведите в действие все насосы!

Из дверей кают выглядывали сонные лица свободного от вахт командного состава. На ходу застегивая пиджак, в машинное отделение спешил механик Пурэн. Скоро к равномерному шипению машин присоединились новые звуки — возбужденный стук насосов. На пароходе началась приглушенная тревога, о которой кочегары у котлов и матросы в кубриках еще ничего не знали.

— Вода продолжает прибывать! — докладывали штурманы, через каждые пять минут измерявшие уровень воды в отсеках.

В полночь, когда сменилась вахта, капитан не пустил на отдых сменившихся. Тщетно неисправные насосы боролись с водой, мощным потоком врывающейся через открытые кингстоны ^[16] в отсеки парохода. Лишь двое из всей команды знали, что кингстоны открыты и насосы испорчены, но именно они наиболее решительно и энергично боролись с надвигающейся катастрофой.

А затем — словно несчастье еще не дошло до предела — отказала и динамомашинка; на миг, пока зажгли фонари и карбидные лампы, весь пароход погрузился во мрак.

— До берега двенадцать миль... — сказал капитан первому штурману. — Если удастся продержаться наплаву еще два часа, мы сможем посадить пароход на мель.

— Но для этого мы должны немедленно изменить курс!..

— Лево руля! — скомандовал Силис штурвальному. — Держать прямо на Ганегольмский маяк!

Матрос поспешил выполнить приказание, но руль не подчинился. Решив, что матрос неверно понял команду, капитан сам бросился к штурвалу и попытался повернуть его, но тот поворачивался только вправо.

— Рулевой механизм отказывает! — мрачно оповестил Силис. — Этого еще не доставало!

Тем временем вода прибыла на несколько футов и уже хлынула в грузовой трюм. Кочегары работали по колено в воде; вместе с кусками угля они бросали в топку угольную жижу. Топки покраснели, пламя темнело, и давление пара резко падало. Машины работали все медленнее и медленнее, испорченные насосы икали, как пьяницы с похмелья; капитан Силис нервно покусывал кончики усов.

— Спустите шлюпки! — приказал он, наконец, и его голос звучал глухо, как бы в бессильном отчаянии.

Когда приказ об оставлении парохода дошел до машинного отделения, Пурэн со всей трюмной командой поднялся на палубу. Пока другие хватали свои пожитки и толпились около шлюпок, он подошел к капитану и тихо проговорил:

— Я должен тебе кое-что сказать...

— Потом, чиф! — нетерпеливо отмахнулся Силис и, будто только сейчас спохватившись, поспешил в свою каюту за судовыми документами и деньгами.

Первая шлюпка, резко визжа блоками, уже села на воду и спешила

отвалить от тонущего парохода. Пурэн положил свой чемодан и вещевой мешок во вторую шлюпку и остался на палубе, пока не вернулся капитан.

— Капитан... — снова проговорил он к схватил Силиса за рукав кителя, — мне кажется, что в бункере... человек.

Но Силис не слушал его. Освободив рукав, он начал торопить к спуску вторую шлюпку.

— Сам заботься о своих зайцах! Немедленно садись в шлюпку! — заорал Силис.

Пурэн посмотрел в лицо капитану, подумал, но больше ничего не сказал и спустился в шлюпку.

— Живей, живей, ребята! — распорядился капитан. — У нас не остается времени еще лазить по бункерам, — бросил он Пурэну. — А теперь на весла! Налегайте, как полагается!

А Пурэн думал про себя: «Пароход пойдет ко дну. Если вместе с „Серафимом“ туда, на дно морское, отправился бы и капитан, мне бы не пришлось делить с ним вознаграждение за оказанную услугу. Деньги, которые пароходная компания наметила выплатить нам обоим, я получил бы один... Стоящая штучка!»

И он молчал еще несколько минут, а шлюпка отходила все дальше от тонущего парохода. Когда Пурэну стало ясно, что «Серафим» продержится над водой самое большее минут десять, он посмотрел в глаза капитану и сказал:

— В бункере остался твой сын, Силис...

Лицо капитана посерело. Он схватил Пурэна за плечи и рванул к себе, его пальцы впились в тело механика.

— Альбин? — не своим голосом закричал он и снова затряс механика. — Почему ты не сказал мне раньше? Почему сел в шлюпку? Пурэн... ты бредишь, не так ли?

Ответом ему был тупой взгляд Пурэна.

Внезапно капитан опомнился, отпустил механика и вскочил:

— На весла, ребята! Назад! К пароходу! Живей, ребята, не щадите сил!

Но ни одно весло, повисшее в воздухе во время разговора механика с капитаном, не опустилось в воду. Мрачный ропот людей был ответом на приказ.

— Нельзя! Пароход сейчас пойдет ко дну. Водоворот затянет и шлюпку...

— Пошли! — стонал Силис. — Я вам приказываю! Вы обязаны подчиняться.

— Мы еще хотим жить, — проговорил столяр Меднис.

— Я прошу вас! Ведь совсем недалеко. Доставьте меня на пароход, а сами уходите от него. Там же мой сын — понимаете ли вы это?

— Нельзя, капитан, теперь слишком поздно!..

Тогда Силис уже не приказывал и не умолял. Он оттолкнул в сторону шкатулку с документами, сорвал с себя пальто и бросился в море.

Люди видели, как он доплыл до парохода и по шлюпочным канатам взобрался на палубу.

— В правом бункере, в самом низу! — вслед ему прокричал Пурэн.

Нос «Серафима» медленно уходил в воду, и так же медленно из воды поднималась корма. Старый пароход напоминал теперь молящегося индуса, припавшего лбом к земле; темные мачты, словно простертые в отчаянии руки, поднимались к небу.

Силис толчком раскрыл дверцу межпалубного помещения и, спотыкаясь, влетел в бункер.

— Альбин, сынок, где ты? — звал он. — Откликнись, Альбин, иди ко мне!..

Скатываясь вниз, в темноте грохотал уголь, так как пароход все больше клонился на нос.

— Альбин, почему ты не отвечаешь? Скорее иди ко мне — мы тонем!

Тогда он услышал тихий стон и наудачу бросился на звук, но дорогу преградила груда угля. Он зажег спичку и пополз через груды. За нею была наполовину засыпанная углем впадина; при свете угасающей спички Силис успел рассмотреть голову и плечи сына. Все его туловище было засыпано скатившимся углем.

— Папа... — снова застонал мальчик. — Мне больно, я не могу двинуться. Помогите мне встать.

Корма парохода поднималась все выше и выше, и на мальчика обрушилась новая осыпь. Окровавленными пальцами с обломанными ногтями капитан выдирает из завала большие куски антрацита и выбрасывал их из впадины. Но освобожденное пространство тут же вновь заполнялось. Под углем стонал раненый мальчик. Над ним, словно разъяренный тигр, в отчаянии метался отец, сбрасывая уголь.

— Великий боже, если ты существуешь, удержи гибель парохода! — Силису казалось, что он шепчет, но это был крик, отдавшийся во всех уголках межпалубного помещения. — Всего лишь несколько минут... не ради меня, а ради этого невинного ребенка. Все дурное я совершал ради него. Он этого не знал. Если твой праведный гнев требует возмездия, уничтожь меня, заставь меня слепым и нищим дожить мои дни, но пощади его, о великий боже!

С каждым куском угля, который ему удавалось вырвать из груди, в его голосе пробуждались сотни лихорадочных мыслей, преисполненных диким отчаянием и бурным самоунижением. Он не спорил с судьбой — он унижался перед ней. Он выпрашивал лишь маленькое снисхождение: возьми меня всего и то, что я имею, но пощади его, ибо он не виноват!

Но судьба не пожелала сделать этой уступки, она не довольствовалась жизнью и имуществом капитана Силиса, ей нужны были еще и его муки.

В то время как снаружи вокруг этих людей море и сила притяжения земли делали свое дело, они тоже продолжали делать свое, как будто у них, у этих ничтожных пигмеев, была какая-то надежда победить в этой борьбе, исход которой уже заранее был predetermined.

Наконец, Силису удалось освободить сына. Но когда он взял его на руки и бросился к выходу, мальчик закричал от боли и оттолкнул отца:

— Пусти! Папа, не трогай меня! Больно...

У Альбина было что-то повреждено. Каждое прикосновение отца обжигало его, как огнем, и Силис понял, что сына ему не спасти. Ему самому, возможно, еще удалось бы спастись, но эту мысль он отбросил, едва она зародилась. Бережно, будто боясь испачкать мальчика вымазанными кровью руками, он взял его на колени и прижался лбом к его голове. Он ничего не говорил, не ласкал его, а мысленно просил прощения и обещал навсегда остаться с ним.

— Альбин, сынок мой, тебе ведь не страшно? — робко спросил он, когда пароход закачался в агонии.

— Нет, папа, ведь ты со мной... — шептал мальчик. — Это хорошо, что ты не двигаешься... Так мне лучше...

— Я навсегда останусь с тобой!.. — тихо ответил Силис.

Когда первый поток воды хлынул в межпалубное помещение и докатился до них, мальчик дернулся и попытался подобрать ноги.

Тогда капитан встал и поднял своего маленького сына над головой, чтобы холодная морская вода не коснулась его.

И пока только он мог, он держал его так, будто принося жертву, словно человек, в смятении и смирении отдающий свою дань судьбе.

1937

Четыре поездки

© Перевод Г. Цейтлин

Черная лодка шла морем. Люди возвращались на ней из церкви в

рыбацкий поселок Грива. Парус был поднят, но мужчине пришлось грести — пока длилось богослужение, береговой ветер стих. Гребец лениво поднимал весла, время от времени поглядывая через плечо в сторону берега — не пора ли поворачивать к стоянке. Кроме него, в лодке было еще двое, третьего же, который лежал на руках матери завернутый в синее бумазейное одеяло, еще нельзя было назвать в полном смысле слова человеком. Но поездка в церковь была предпринята именно ради него: сегодня его крестили. В честь крестного отца мальчика называли Симаном.

Когда ребенок забеспокоился, мать расстегнула кофточку и дала грудь. Хотя один из мужчин — тот, который греб, — был ее мужем, а другой, Симан Дауде, слишком стар, чтобы его стыдиться, она все же слегка покраснела и отвернулась.

Мужчины говорили о рыбной ловле. Крестный Симан жевал табак и поминутно сплевывал в море бурую жидкость, похожую на грязную кровь.

Достигнув стоянки, они причалили и вытащили лодку на берег. Там было много таких же черных лодок и таких же стариков, как крестный Симан. Несколько лодок было вытащено на берег и опрокинуто вверх дном; на поломанных киях сидели старики. Они посасывали трубки и глядели на море — как толпа призраков, стерегущих пустынный берег. К этой компании принадлежал и Симан Дауде, но сегодня он был крестным отцом и ему не пристало здесь сидеть.

— Пойдем к нам обедать, — предложил Екаб Пурклав, отец маленького Симана. — У меня есть водка.

Мужчины пошли вперед, а мать с ребенком на руках следовала за ними на некотором расстоянии. До самого дома они ни разу не оглянулись на Анну, и за все время она не сказала ни слова — у них шел свой разговор. Поселок был невелик — всего девять домов, разбросанных на узкой полосе земли между маленькой речкой и песчаным пустырем. Самый большой дом принадлежал Симану Дауде; крыша дома была покрыта черепицей, а стены обшиты досками. Дойдя до домика Екаба Пурклава, Симан вручил Анне рубль.

— Это крестнику на костюм!

Анна покраснела и до тех пор мяла рубль в руке, пока тот не стал влажным от пота.

Екаб сейчас же достал водку, и все уселись за стол.

Анне тоже пришлось сесть с мужчинами и немного выпить, так как Симан Дауде, старый холостяк, любил за выпивкой пошутить с женщинами. Он был состоятельным человеком.

Маленького Симана уложили в другой комнате, и он быстро заснул.

Анна завесила окно бумазейным одеялом, чтобы ребенка не кусали мухи. Взрослые могли теперь спокойно пообедать.

— Куда ты? — спросил крестный, когда Анна спустя некоторое время хотела пойти взглянуть на сына.

— У вас ведь свои разговоры, — улыбнулась она смущенно. — Что ж мне...

— Так сиди и слушай, — сказал Симан.

И Анна сидела, слушала разговор мужчин и не говорила ни слова. Она была из дальних мест, поэтому никто из ее родных не мог явиться на крестины. Когда часть водки была выпита, Симан начал рассказывать. Если он говорил что-нибудь не так, Екаб ему возражал, и Анна не знала, с кем она должна соглашаться. К вечеру в маленьком домике стоял такой шум, как будто там Собрались все болтуны поселка.

Когда Екаб опрокинул и разбил бутылку, маленький Симан проснулся. В комнате было темно. Темнота и одиночество напугали ребенка. Он заплакал, но из-за пьяного шума взрослые не слышали его жалобного зова. Он плакал долго и громко, стучал маленькими ножками в стенку колыбели, но никто к нему не приходил.

Седые старики, сидевшие на берегу, разбрелись, а черные лодки по-прежнему лежали — под летним небом, темнея на желтом песке.

Конфирмованные вышли из церкви сразу же — после причастия. Музыканты играли хорал. Родственники и знакомые конфирмованных толпились на маленьком дворе и поздравляли молодежь. После того как фотограф снял их общей группой, они отправились в ризницу поблагодарить пастора, поцеловали ему руку и затем разошлись в разные стороны.

Молодежь поселка Грива возвращалась домой морем. Их лодки были украшены березовыми ветвями. Симан Пурклав уселся на скамью рядом с мачтой и уперся ногами в поперечины, так как сегодня на нем были новые сапоги, а старая лодка давала сильную течь — под настилом все время плескалась вода.

На руле сидел отец Симана. От долгой работы на море он сторбился так же, как все старики поселка Грива. Он жевал табак, оплевывая в море. В лодке было еще трое: батрак Пурклавов, эстонец с острова Саарема, и две немолодые женщины, тетки Симана со стороны матери. Мать не поехала в церковь — кто-то должен был остаться дома, чтобы позаботиться о праздничном обеде.

Дул свежий норд-ост. Чтобы лодка не слишком уклонялась в сторону и

на двух галсах пришла домой, одному из мужчин нужно было грести веслом с подветренной стороны.

— Не надо! — сказал отец, когда Симан хотел взяться за весло. — Пусть гребет Юхан.

Симан послушно остался на своем месте. Это был стройный восемнадцатилетний юноша, с красными руками, темно-коричневым, как бы просмоленным лицом, неловкий и робкий. Каждый раз, когда отец что-нибудь говорил, он вздрагивал и украдкой посматривал на него. Если ему задавали вопрос, он отвечал негромко и торопливо, глядя в сторону. Сам он никогда ни о чем не спрашивал и не вступал в разговор с другими. Праздничный костюм Симана был сшит из толстого черного сукна. Парус защищал от ветра, солнце жгло немилосердно, и жесткий воротник резал шею. Парень впервые в жизни был так нарядно одет; он сидел, застыв, как изваяние, не решаясь пошевелиться, чтобы не измять и не выпачкать брюки смолой, растопившейся под лучами солнца по швам лодки.

Через час они добрались до пристани. Другие лодка были уже на месте и стояли, покачиваясь, в бухте.

— Ты, Юхан, останься и вычерпай воду, — сказал Екаб Пурклав батраку, когда они пристали к берегу. — К вечеру нужно будет снять с жердей сети. Они, наверное, уже высохли.

Обе тетки с отцом шли впереди — торжественные, с серьезными лицами и молитвенниками в руках. Симан шагал на небольшом расстоянии позади и смотрел в землю. Песок, раскаленный солнцем, слепил глаза и скрипел под ногами.

Недалеко от дома отец оглянулся и сказал:

— Чего отстаешь? Ты что — хромой?

Симан вздрогнул и заторопился, догоняя остальных.

— Застегни пиджак, — продолжал отец. — Смотри, уже пятно на штанах.

Он старался сказать это ласково, как дружескую шутку, но его голос по привычке звучал резко и повелительно, а на лице появилась презрительная усмешка. Симан закусил губы и стал отскабливать ногтем прилипший деготь.

Дома их ждала мать и несколько соседей.

— Теперь ты большой парень, — сказал Симан Дауде. Для самого Симана наступила уже восьмидесятая осень жизни и во рту не оставалось ни одного зуба. — Да, как подумаешь, что такое жизнь человеческая! Давно ли я держал его на руках, а теперь он уже подтвержден и ростом перегнал своего крестного.

Анна Пурклав посмотрела на мужа, но тот не улыбался. Тогда и она взгрустнула и тихонько вытерла слезу. На отдельном столе лежали подарки ко дню конфирмации. Симан должен был их осмотреть и всех поблагодарить. Старый Дауде, крестный, подарил ему молитвенник. Тетка — маленькую книгу нового завета; остальные — разные вещи: вязаную фуфайку, полосатое одеяло собственного тканья, две картинки, изображающие ангелов, со стишками из евангелия, напечатанными серебряными буквами. Больше всего Симану понравился матросский нож, присланный двоюродным братом — моряком.

Наконец, все тихо и чинно уселись за стол. Симан Дауде прочел молитву; все выпили по стакану вина за здоровье молодого парня и закусили сдобным хлебом с изюмом. Пока ели суп, никто не говорил; было слышно только причмокивание да стук ложек. Языки развязались за вторым блюдом — жареной свининой с капустой, когда подали также водку и пиво. Мужчины заговорили о рыбной ловле, хвастались своими подвигами в молодости, вспоминали старые обиды и попрекали друг друга. Кулаки уже тяжелее ударяли по столу, кое у кого рюмки опрокидывались, и жены потихоньку толкали мужей в бок: «Угомонись, чего ты разошелся...»

Симан впервые в своей жизни получил право чокаться с мужчинами. Но те не обращали на него внимания и не выслушивали его мнение. Тогда Симан понял, что, несмотря на конфирмацию, он все еще остается мальчишкой и ему не место среди взрослых... Огорченный, он не пил больше ни водки, ни пива, а вместе с женщинами ел клюквенный кисель с молоком. В начале обеда его присутствие еще изредка замечали — это ведь был его день, — но потом он стал чувствовать себя все более одиноким и заброшенным. Все прислушивались к ссоре старика Дауде с отцом Симана. Женщины встали из-за стола и перешептывались по углам; некоторые вышли посмотреть на огород Пурклавов, другие заглянули в кухню — узнать, много ли еще осталось еды. Эстонцу Юхану обед подали в клеть, где он спал.

Симан тоже тихо встал из-за стола и вышел на воздух. В других дворах, где были конфирмованные, раздавалось пение. Из одного дома доносились звуки гармошки и скрипки. Но Симан не слушал далекую музыку, не слышал ссоры в своем доме. Его взгляд был устремлен на серый бревенчатый дом за рекой, где не звучала праздничная музыка и не было вянущих березок у дверей. В одном из окон дома виднелась девушка в белой кофточке: она сидела на подоконнике и смотрела через реку. Глаза Симана заблестели; он улыбнулся, покраснел, потом, осмотревшись, не видит ли его кто-нибудь, вновь посмотрел на серый дом, отломил веточку

сирени и помахал ею в воздухе. Девушка в ответ помахала ему рукой. В этот момент Симан услышал голос матери:

— Что ты бродишь по двору, сынок! Иди же к гостям!

Он сразу же пошел к двери, не оглядываясь на серый дом за рекой.

Под вечер гости стали расходиться. Остались только Симан Дауде и еще один гость. Они пили и разговаривали; костюмы их были в пятнах от еды и пивной пены. Симан сидел и слушал. Вдруг старому Дауде захотелось поцеловаться с крестником, и он уселся рядом с Симаном.

— Я тебя когда-то на руках носил, а теперь ты большой парень... — шамкал старик своим осклизлым от жевательного табака ртом, похожим на гнойную рану. — Поцелуемся, крестник!

Тошнота подступила к горлу Симана.

— Не надо, крестный... — пробормотал он и встал. Напрасно отец моргал ему и угрожающе стучал пальцем по краю стола — он не мог без отвращения смотреть на рот крестного.

— Нет, я не хочу... Разве нельзя без этого...

Симан Дауде обиделся и сейчас же ушел домой. Екаб и Анна Пурклавны напрасно старались его умиловить — он не слушал их.

— За это ты получишь, — прошипел отец Симану на ухо и опять уселся за стол. Когда все было выпито и последнего гостя проводили за ворота, Екаб Пурклав спросил у батрака-эстонца:

— Юхан, ты уже сложил сети в лодку?

— Да, хозяин, — ответил батрак.

— Почему же ты не выходишь в море? — гневно продолжал хозяин, пошатываясь от выпитого вина.

— Кто поедет со мной? — спросил батрак.

— Симан, ты еще не переоделся? — заревел Пурклав на весь двор.

— Я думал, что мне сегодня не надо будет ехать... — отозвался сын.

— Заткни рот, когда говорит старший! — закричал на него отец.

Симан переоделся в рабочее платье. Когда он вышел во двор, отец схватил его за грудь и начал трясти:

— Что ты натворил, сопляк! Почему не поцеловался со старым Дауде? Как ты осмелился рассердить крестного!

Говоря так, он тряс сына, и похоже было, будто каждое слово он вытряхивает из своей разбушевавшейся груди. Сегодня было много выпито, в спорах с гостями обнажено много старых ран, — оскорбленная душа бунтовала и требовала удовлетворения. Шутка ли, ведь у старого Дауде не было наследника.

Симан ничего не отвечал, он смотрел на отца широко раскрытыми

глазами и старался запрокинуть голову как можно дальше. Тогда та самая рука, которую он сегодня утром целовал, благодаря за воспитание, ударила его по лицу. Пурклав держал Симана левой рукой за куртку и правой наносил удары.

— Екаб, зачем ты... — робко вмешалась мать. — Сегодня ведь его праздник...

— Что? — рывкнул отец; затем, как будто одумавшись, отпустил Симана и, стыдясь, отошел в сторону. Но, желая отступить с честью, погрозил жене и сыну кулаком. — Смотрите вы у меня...

Анна ничего не сказала; она только тихо всхлипывала и утирала глаза уголком передника. Симан взял весла и пошел к морю. Юхан ушел раньше. Сосны на дюнах шумели в вечерних сумерках. Темное и спокойное, как уснувший зверь, лежало море в лунном свете. Когда Симан вышел на берег, там не было ни души — только он и Юхан. И еще черные лодки, лежавшие здесь днем и ночью, зимой и летом — всю человеческую жизнь.

Через восемь лет Симан Пурклав ехал морем в третью торжественную поездку в своей жизни. Это был день его свадьбы. Правда, родители невесты, богатые хозяева с другого конца прихода, хотели, чтобы в церковь и обратно ехали на лошадях, но для этого Пурклавам пришлось бы занять у кого-нибудь лошадь, чего не хотели ни Екаб, ни Анна. Симан при этом не возразил ни слова, так же как не возразил ничего, когда родители объявили, что выбрали для него невесту — Еву Тилтнек. Ей давали в приданое двух коров, платяной шкаф, кровать с подушками и бельем и, кроме того, триста рублей деньгами. Она была на шесть лет старше Симана.

После венчания родители невесты уселись в свою рессорную повозку и, звеня бубенцами, поехали в поселок. Все остальные возвращались морем. Лодки были украшены поздней осенней зеленью; маленькие бумажные флажки весело трепетали от ветра, и голоса ехавших звучали беззаботно. Во второй лодке посредине сидели новобрачные. Ева накинула на плечи большой платок поверх подвенечного платья и держала Симана под руку. Ее немного знобило.

Гости начали поддразнивать Симана, что он не умеет согреть молодую жену, — хоть бы обнял ее за талию.

Он обнял ее, и оба они покраснели. Симан чувствовал себя так неловко, что не смел взглянуть на Еву. Когда другие шутили и смеялись, он улыбался и смотрел на дно лодки, но ему совсем не было весело. За всю поездку он только два раза заговорил с Евой.

— Не будет тебе дурно от качки? — спросил Симан, когда они

отчалили от берега.

— Не знаю, увидим... — ответила Ева.

По дороге ее действительно стало мутить, но она выдержала. Дул хороший попутный ветер, и за час они достигли пристани. Тогда Симан заговорил во второй раз:

— Теперь мы скоро будем дома.

— Как я выберусь из лодки? — спросила Ева.

Симан довел ее до конца лодки, первый выпрыгнул на берег, приподнял и высадил Еву. Гости построились парами и пошли к дому Пурклавов. У ворот их встречали Екаб и Анна, родители невесты и гости постарше, не присутствовавшие в церкви. Играли четыре музыканта. Соседи из-за оград своих домов смотрели на свадебное шествие — идти смотреть под окна было еще рано. Раздавались поздравления, лаяли собаки, и две одинокие чайки кружились над рекой. Симан поглядел на серый дом за рекой, но там никого не было видно — ни в окнах, ни во дворе.

— Теперь пойдем в дом, — предложил старый Пурклав. Ева опять взяла Симана за руку, и они вошли.

— Улыбнись же, не гляди так сердито... — шепнула мать на ухо Симану. И он стал улыбаться. Кресла молодых были украшены гирляндами зелени. Все смотрели на молодоженов, и от этих пытливых и любопытных взоров они смущались так оке, как когда-то смущались их отцы и матери. Гости пили вино и кричали: «Горько!» Симан охотно дал бы в ухо тому, кто первый произнес это слово, но старый обычай заставлял его сдерживаться и целовать свою невесту для утешения гостей. Он сделал это торопливо и тихо, но тут все закричали: «Горько!.. Мало сахару!.. Горько!.. Горько!..»

Гости были безжалостны. Они не унялись, пока два чужих друг другу человека на глазах у всех не подтвердили, что признают состоявшееся соединение для общей жизни и подчиняются выбору родителей. Симан думал о том, как легко ему было бы сделать это, если бы рядом с ним в кресле, увитом зеленью, сидела другая девушка. Целуя Еву, его губы сжимались плотнее, и ему было стыдно того, что он делает. Он слегка дрожал, как и Ева, но в его дрожи не было ее молящего томления.

Музыканты сыграли застольный марш. Затем начались танцы. Соседи под окнами смотрели, как жених танцует с невестой и что едят гости. Самые бесцеремонные лезли в кухню и не уходили, пока им не выдавали чего-нибудь. Большая пивная кружка обходила стол по кругу, развязывая языки даже у самых молчаливых. Родители невесты хвалили Еву, Пурклавы хвалили Симана.

— Он у меня хороший сын, — сказал Екаб. — С малолетства я

приучил его трудиться и быть серьезным. Пусть теперь живет своей жизнью и ладит с женой так же хорошо, как ладил со своими родителями.

Тут Симан вспомнил день своей конфирмации, и левая щека у него загорелась, как будто кулак отца вновь обрушился на нее тяжелым ударом.

Старуха Тилтнек заплакала, перечисляя достоинства Евы; в ее взгляде, обращенном на Симана, мелькнуло недоброжелательство.

Снова плясали и снова ели. С наступлением темноты затуманились головы людей, сильнее заговорили первобытные инстинкты. Казалось, комнату наполнила толпа фавнов; они говорили двусмысленности все смелее и грубее, стараясь перещеголять друг друга в непристойных остротах. То была насмешка старого, очерстневшего мира над стыдливостью юности, зубоскальство грязной повседневности над чистотой и мечтами молодых — первое испытание на том неведомом пути, на который Симан и Ева сегодня вступили. И чем больше они смущались и краснели, тем навязчивее преследовала их похоть старых фавнов.

Тогда Симану опять захотелось кого-нибудь ударить. Он сидел перед завывающей толпой, как загнанный в угол волк, и его рот подергивался, обнажая зубы. Но все думали, что он улыбается. Опьяневшая Ева сильнее прижалась к нему и положила голову на его плечо. Это его еще больше смутило, но застенчивый и просящий взгляд Евы вызывал сочувствие, и тогда в первый раз он отыскал под столом руку жены и дружески пожал ее. Ева сразу как будто расцвела и улыбнулась ему, благодарная за эту ласку.

После полуночи их отвели наверх и оставили вдвоем. Опять плакала мать; опять слышались насмешки стариков над их чистотой. Гости внизу продолжали шуметь и пить, а наверху, в темной комнате, стояла тишина. Симан не зажег свечи на столе у кровати. Пока Ева раздевалась, он стоял у окна и смотрел в сырую осеннюю ночь. За рекой был дом. Симан долго смотрел в ту сторону, но за окном клубилась тьма, шумело море, и ни в одном из окон серого дома не светился огонь... В комнате тоже было темно, я в самом темном углу сидело чужое существо, стыдливо дожидаясь ласк Симана. Симан знал, что теперь ему всю жизнь придется оставаться с глазу на глаз с этим чужим человеком, которого он не мог ни любить, ни ненавидеть. Для чего это понадобилось? Почему и земля и море вновь дождутся утра, а его жизнь этой ночью должна погрузиться в непроглядную тьму, без надежды на светлый день?

— Симан!.. — позвала его Ева. — Что с тобой?

Он еще раз посмотрел за реку. Там было темно.

Сорок лет они прожили вместе и вырастили несколько сыновей и

дочерей.

У рыбацкой пристани гроб Симана Пурклава вынесли из моторной лодки и поставили на покрытый черным сукном катафалк. На колокольне раздавался погребальный звон. У церкви похоронное шествие на минуту остановилось, затем медленно двинулось дальше. Приходилось ехать потихоньку: дорога была песчаная и разъезженная. Старая Ева Пурклав хотела идти пешком за гробом своего мужа, но не хватило сил, и с полдороги ее усадили в повозку. На головах дочерей и невесток были черные шляпы с широким траурным крепом; каждая держала в руках по душистому венку из еловых веток; сыновья — Екаб и Мартин — шли без шапок, с выражением мрачной торжественности на загорелых лицах.

У ворот кладбища гроб открыли в последний раз, и семья посмотрела на темное, цвета меди, лицо, которое даже смерть не сделала светлее. В течение тридцати лет, с тех пор как его согнул ревматизм, старик Пурклав не лежал так прямо и не казался таким высоким. Седая борода была подстрижена, волосы причесаны на пробор с левой стороны, косматые брови бросали тени на запавшие глаза. Если бы Симан мог слышать сейчас, сколько хорошего говорилось о нем, такого, чего никто не высказывал ему, когда он был жив! Если бы глаза его могли открыться, он увидел бы заплаканные лица, опухшие, воспаленные веки — и, может быть, перестал бы жалеть о своей убогой жизни. Теперь он больше не видел и не слышал — и жалость родных трогала его так же мало, как теплый весенний ветер, в последний раз развевающий его седые волосы.

Мужчины подняли гроб на плечи и внесли на кладбище. Через пятьдесят шагов их сменили другие, а затем до могилы гроб несли друзья молодости покойного, такие же старые и седые, как он. Погребальный колокол звонил, на гроб сыпался песок, и женщины громко плакали. Когда все кончилось, кто-то из сыновей должен был поблагодарить пришедших на похороны. Екаб посмотрел на Мартина: ни одному не хотелось принимать на себя эту обязанность. Наконец, Екаб собрался с духом и, выйдя из толпы, сказал громко:

— От имени семьи сердечно благодарю за проводы моего... — тут он остановился и закончил тихим голосом: — за проводы моего дорогого отца к месту последнего упокоения.

Окончив свою короткую речь, он вытер пот и украдкой посмотрел на Мартина. Тот чуть улыбнулся, потому что в этой речи было одно слово, которое они не умели произносить, — оно говорилось в первый раз и прозвучало фальшиво. Они никогда не говорили «дорогой отец»; мысленно они называли его только стариком.

На лопату могильщика набросали мелких денег, затем посторонние разошлись, а семья осталась еще ненадолго у могилы.

— В будущем году нужно будет сделать ограду... — заговорил Екаб. Он был старший сын и наследовал усадьбу.

— Это должен сделать ты, — сказал Мартин.

— Я взял на себя похороны, — ответил Екаб. — Что же, мне одному обо всем заботиться?

— Дешевле ты не мог найти гроба? — отрезал Мартин. — Я бы постыдился такой покупать.

— Что же не купил лучшего? — не оставался в долгу Екаб.

Тут и сестры пришли на помощь Мартину, упрекая Екаба в том, что на похоронах не было музыки.

— Старик безусловно заслужил, чтоб его похоронили с оркестром.

— Почему же он не записался ни в одно общество? — протестовал Екаб. — Были бы музыка и знамена.

Наконец, матери удалось успокоить ссорившихся, и все с достоинством, молча пошли к морю. Но когда моторная лодка вышла в открытое море, ссора вспыхнула снова. Приходилось говорить громко, чтоб перекричать шум мотора.

— Ты подмазался к старику, потому тебе и досталось все! — кричал Мартин. — Но это не по закону, и я не успокоюсь, пока не получу своей доли.

— Старик сам так захотел, — ответил Екаб. — Разве я у него просил?

— Ты вертелся вокруг него угрем, это каждый видел!

— Отстань и не кричи, ты сидишь в моей лодке! — напомнил Екаб.

— В твоей? — издевался Мартин. — Ты ее делал?

— Если ты не замолчишь, я высажу тебя на мель! — грозил Екаб.

Мать пыталась примирить сыновей, но ее слабый голос пропадал в криках ссорящихся и шуме мотора. Ссора разгоралась все сильнее и дошла до драки; братья бросились друг на друга. Младший был сильнее. Свалив Екаба на дно лодки, он уперся ему коленом в грудь и бил по голове. Оба были в крови. У черного сюртука Екаба оторвался воротник. Наконец, зятьям надоело смотреть на отвратительную драку, и они вдвоем затолкали Мартина на нос лодки.

— Это еще не все! — задыхался он, вытирая окровавленное лицо. — Он еще получит.

Заметив у поселка людей, зятя остановили мотор за третьей мелью и не подъезжали к берегу до тех пор, пока братья не умылись и кое-как не привели себя в порядок. Но на берегу драка началась опять, и все

поселковые бездельники сбежались смотреть на нее. Затрещали жерди, полетели каменные грузила; наконец, явился полицейский и составил протокол. Тогда братья приутихли и вспомнили, что нужно идти домой справлять поминки. Они пошли вместе, не доверяя друг другу, и каждый боялся, что другой выльет лишний глоток водки.

Солнце зашло. Песок на берегу потемнел, и ветер, шумевший над дюнами, над серыми рыбацкими хижинами и черными лодками, казалось, стал свежее. У опрокинутой большой лодки стояли старики. Они курили и смотрели на море, как будто ждали возвращения того, кого сегодня увезли и кто больше не вернется. И казалось, что эти седые старики и черные лодки торчат здесь с самого сотворения мира. Когда Симан Пурклав в первый раз увидел море, они были здесь, такие же, как и сегодня, когда он ушел от них, чтобы больше не возвращаться. Их век близился к концу. Сегодня они еще стояли, суровые и мрачные, утверждая незыблемость прошлого, но люди уже не могли не изменить этот мир.

Они еще стояли здесь, эти седые старики и черные лодки. Ветер свежел.

1937

Возвращение отца

© Перевод В. Вильнис

1

Екаб Тирелис тогда еще жил на окраине города. Кончился весенний день. Смеркалось. Ветер и капли дождя стучали в стекла окон. Екаб и Марта сидели в полутемной комнате. Оба молчали и неотвязно думали все об одном и том же. Скоро их семейство должно увеличиться. Что будет тогда? Екаб — снова безработный. Где найти работу?.. хлеб?.. Эти думы никак нельзя было назвать весенними.

В тот вечер в маленьком домике на окраине Екаб и Марта оставались только вдвоем — соседи по квартире ушли к родным на семейное торжество.

Да... Кое-как прожита суровая зима. Уже давно приходится испытывать лишения. И никаких определенных видов на работу! Но они не очень унывали — будет же когда-нибудь лучше, в жизни ведь случается всякое.

Долго они размышляли о будущем. О платяном шкафе, который приобретут в рассрочку, как только Екаб накопит денег для первого взноса, о гардинах для единственного окна их комнаты и о том, каким именем назовут своего ребенка. Они думали только о себе, только о своей маленькой обыденной жизни. Так мало требовалось, чтобы сделать ее счастливой.

— Как думаешь, примут тебя обратно на фабрику, когда начнет работать вторая смена? — спросила Марта.

Екаб ответил утвердительно — ему это обещали еще осенью. Но он не сказал, что вчера в разговоре с мастером Уписом пришлось немного поспорить.

— Куда я тебя такого дену, если ты готов господам глаза выцарапать? — сказал ему мастер. — Думаешь, не знают, кто на фабричном заборе пишет лозунги? Есть такие, кто видит...

Екаб ни словом не обмолвился и о том, что прошлой ночью среди рабочих лесопилки произведены аресты. В этом, конечно, не было ничего особенного, так как приближалось Первое мая. Каждый год в это время предусмотрительная полиция сажала в тюрьму подозрительных, чтобы потом было меньше хлопот. Это действительно довольно тяжелый труд — в первомайское утро соскабливать воззвания, которые были так хорошо приклеены к стенам зданий и заборам, что приходилось работать в поте лица. Но самое неприятное для полиции заключалось в том, что из года в год в ночь на Первое мая воззваниями заклеивалась также одна из стен полицейского участка, а на двух самых высоких фабричных трубах величаво и вызывающе развевались красные полотнища. Многие диву давались: как такое можно совершить? Ведь за несколько дней до Первого мая у всех фабричных труб выставлялись специальные наряды полиции, везде кишмя кишели шпики, к тому же все подозрительные лица заранее были «изъяты из обращения».

Екаб невольно усмехнулся, вспомнив, что произошло в прошлом году. Тогда тоже, несмотря на все меры, принятые полицией, над двумя заводскими трубами взвились красные флаги. Начальник участка неистовствовал, как белены объевшись, грозился разогнать всех своих подчиненных, но это ничуть не помогло делу. Алые стяги гордо развевались над городом, посылая привет угнетенному народу и возвещая его праздник, который пытались запретить какие-то самодуры. Утром рабочие, направляясь на работу, как ни были они загнаны и подавлены, смотрели на флаги с любовью и надеждой, отвечая кивком головы или улыбкой их приветствию.

Начальник участка из кожи вон лез, но один флаг продолжал реять до самого обеда. Это была самая высокая фабричная труба во всем районе, и ее видно было довольно далеко. Ни у кого из полицейских не хватило духу залезть на ее верхушку и снять флаг. Они добирались только до половины и спускались обратно — выше скобы были густо намазаны смолой и варом.

У подножия трубы собрался целый табун ребятишек. Они наблюдали за суматохой и зубоскалили по поводу неудач полицейских «верхолазов». Тогда начальник участка обратился к ребятам с предложением:

— А ну, кто из вас хочет заработать один лат? Тот, кто снимет флаг и спустится с ним вниз, получает деньги наличными.

Но ребят не так-то легко было соблазнить на это дело.

— Полезай сам. Мои штаны стоят больше, чем твой лат.

Начальник проглотил обиду и обещал больше.

— Получите новые штаны и еще лат впридачу.

Но и это предложение оказалось безрезультатным. Было очевидно, что ребята набивают цену. Когда начальник назвал новую ставку — десять латов и штаны, — с этим предложением чуть было не согласился сын лавочника Фрейманиса. Однако ребята ему угрожающе шепнули на ухо:

— Попробуй только лезть вверх — мы тебе покажем, где раки зимуют!

Сын торговца сразу успокоился. Начальнику участка ничего не оставалось, как вызвать пожарных, однако и те сегодня почему-то не торопились. И верно — ведь ничего не горело.

Когда Марта спросила Екаба, почему он улыбается, тот рассказал о происшествии. Она рассмеялась.

— Как ты думаешь, нынче на трубах тоже появятся флаги?

— А как же иначе? — ответил Екаб.

Марта хотела что-то сказать, но вдруг почувствовала предродовые схватки.

— Может быть, пригласить акушерку? — встревожился Екаб. — Я схожу за ней.

— Еще рано, — ответила Марта. — Подождем до утра.

Но боли становились все сильнее и сильнее. Марта судорожно стиснула руку мужа. На лбу у нее выступил пот.

— Утра незачем ждать, — сказал Екаб. — Я схожу за акушеркой, а ты сейчас же ложись в постель.

— Да, да... иди... — Молодая женщина тяжело дышала. — Иди, конечно...

Екаб разыскал свою шапку и, бросив взгляд в сторону кровати, уже

собрался идти, как вдруг снаружи раздались чьи-то шаги и стук в дверь.

— Кто там? — спросил Екаб.

— Открывайте! Полиция. Ну, быстрее, быстрее пошевеливайтесь!

Екаб открыл дверь.

— Прошу потише, в комнате больная, — шепнул он, впуская пришедших.

Их было трое — двое полицейских и один в штатском. Он, очевидно, был за главного, — полицейские беспрекословно выполняли его приказания.

— У вас нет лампы побольше? — спросил шпик, когда Екаб засветил маленькую керосиновую коптилочку.

— Нет, только эта.

— Ну хорошо, обойдемся.

Шпик нажал кнопку карманного электрического фонарика и обшарил пучком света все углы. Потом быстро, испытующе взглянул на Марту и подошел к Екабу.

— Как звать?

— Екаб Тирелис.

— Зимой были на общественных работах?

— Да. Две недели на очистке улиц.

— И принимали участие в подстрекательстве безработных, а когда к вам явился министр, вместе с другими учинили скандал?

— Извините, пожалуйста, никакого скандала не было. Мы только заявили свои просьбы.

— Это мы лучше знаем. — Агент охраны переглянулся с полицейскими. — Одевайтесь, вам придется пойти с нами.

Когда в квартиру вошли чужие, Марта примолкла. Широко раскрытыми глазами встревоженно следила она за всем происходящим. Услышав приказание шпика, она вдруг вскрикнула и тихо застонала, закусив зубами угол подушки.

— Послушайте, вы, эти штучки вам не помогут. — Шпик усмехнулся и направил ослепительный луч электрического фонарика прямо Марте в глаза. — Этим вы ничего не добьетесь. Лучше поберегите свой прекрасный голос.

В груди у Екаба что-то заклокотало, и сознание на какой-то миг помутилось. Не помня себя, он подскочил к шпику, вырвал у него из рук фонарик и бросил на пол. Потом Екаба Тирелиса били... кулаками, стеками, рукоятками револьверов. Никто не обращал внимания на лежавшую в постели стонущую, мечущуюся в предродовых муках

женщину. Схватив руку Екаба, Марта крепко-крепко прижала ее к своей груди. Она так цепко держала руку мужа, что тот не мог высвободить ее и обороняться.

— Пустите его, звери! — закричала Марта.

Но никто ее не слушал.

Екаба оторвали от кровати и вытолкали в коридор. С порога он еще раз оглянулся назад. На столике около кровати горела маленькая керосиновая лампочка. Он увидел лицо Марты, ее широко раскрытые, полные ужаса глаза. Неподвижным взором смотрела она на него. Потом двери захлопнули, и он очутился на улице, в темноте. Ветер шуршал хвоей сосен. В лицо брызгали редкие дождевые капли.

Из маленького домика слышался дикий, нечеловеческий вопль. Екаб вздрогнул, рванулся обратно: она там была одна, совсем одна.

— Смилуйтесь, ведь жена рожает! — воскликнул Екаб. — Неужели вы дадите ей погибнуть?

— Молчать... — сквозь зубы прошипел шпик.

Екаба сильно толкнули в спину. Как оглушенный, шел он сквозь тьму все дальше и дальше от маленького домика на окраине, откуда все слабее и слабее доносились стоны Марты.

Эти стоны никогда не переставали звучать в его ушах, как бы далеко он ни ушел от этого места, какой бы долгий срок ни прошел с этого дня. В тюрьме и на свободе — везде, где бы он ни был, его преследовал этот терзающий стон.

С тех пор он больше не видел Марту.

Когда прошло Первое мая, этот грозный для всех угнетателей день — день могучей переключки угнетенных всех стран, — Екабу Тирелису за сопротивление полиции пришлось пробыть в тюрьме еще некоторое время.

Однажды вечером он вернулся домой. Марты уже не было. Своего маленького сына, не знавшего материнской груди, он разыскал в приюте. Они начали жить вдвоем.

Екаб Тирелис с той памятной ночи стал мрачнее и серьезнее. Он теперь думал не только о себе, о своей маленькой обыденной жизни. В ту ночь была открыта новая страница его жизни, и она родила новые думы. Потеряв навсегда свою милую Марту, Екаб Тирелис нашел новых друзей: это были его товарищи по классу, которых не могли запугать никакие угрозы и унижения. Это были те, кто высоко и смело держал красное знамя борьбы и свободы — так высоко, что ни один пресмыкающийся не был способен дотянуться и запятнать его, так высоко, что оно развевалось над всеми городами, над всей землей, приветствуя своих друзей и угрожая

врагам.

Екаб Тирелис сошел с поезда на разъезде за пять километров до своей станции. Оттуда до усадьбы Калнакродзиниеков можно было добраться пешком за час. Но Екаб знал, что на станции будет много людей: местные крестьяне и, конечно, полицейские. Кто-нибудь из них непременно его узнает. А это вовсе не входило в расчеты Екаба — никто не должен знать, что он здесь.

Вместе с Екабом на разъезде сошли какой-то крестьянин и два землекопа. Все трое сейчас же сели в повозку и уехали. И хотя Екабу надо было идти по той же дороге, он, однако, перешел на другую сторону железнодорожного пути и по кочковатой, болотистой тропе направился в противоположную сторону. Дойдя до опушки леса, Екаб остановился и присел на пенек отдохнуть. Снег уже повсюду стоял. Кое-где появилась сочная молодая зелень. Кругом стояла такая тишина, что стук дятла был слышен за километр. Ранняя нынче весна...

Выкурив папиросу и убедившись, что за ним никто не следит, Екаб продолжал свой путь. Сделав большой крюк и миновав разъезд, он перешел через железнодорожное полотно и выбрался на проезжую дорогу. Он не торопился. Все равно до наступления темноты близ усадьбы появляться нельзя. Как бы его ни тянуло туда, где он не был долгие годы, сознание подсказывало, что надо укоротить шаг, надо быть осмотрительнее и осторожнее. Дважды ему пришлось сходить с дороги и прятаться в кустарнике, чтобы избежать встречи с пешеходами. Потом он чуть было не столкнулся с лесником, который так бесшумно ехал на своем велосипеде, что за десять шагов не было слышно.

Лишь с наступлением сумерек Екаб почувствовал себя в безопасности. Почти в полночь он подошел к усадьбе Калнакродзиниеков. За яблоневым садом в темноте светились окна хозяйского дома. Большой скотный двор стоял возле самой дороги. Остальные хозяйственные постройки широким полукругом расположились вокруг дома, находившегося на возвышенности. О зажиточности хозяина усадьбы можно было судить хотя бы по тому, что он владел двумястами пурвиет земли, четырьмя лошадьми, двадцатью коровами, большим количеством сельскохозяйственных машин, а в летнее время нанимал на работу шесть-семь батраков. Когда-то Екаб ходил в школу вместе с сынишками хозяина. Теперь они уже взрослые

люди и живут в Риге: один работает в министерстве чиновником, второй — в окружном суде. Когда Екаба Тирелиса судили первый раз, молодой Калнакродзиниек объявлял приговор суда — и сделал вид, что не узнал своего школьного товарища.

По другую сторону дороги, напротив усадьбы, стояла старая покосившаяся хибарка, в которой старый Тирелис прожил — полжизни. Хорошо, что хибарка находилась вдали от хозяйского дома. Ни одна собака не твякнула, когда Екаб подошел к лачужке. Дверь была на запоре, а внутри темно и тихо. На пороге сидела белая грязная кошка.

Екаб легонько постучал в окно. После тяжелого трудового дня сон спящих был глубок. Екабу пришлось постучать еще раз, и только тогда внутри послышался шорох. В окне — показалось сухощавое лицо матери, изборожденное глубокими морщинами. Екаб кивнул ей и пошел к дверям. Но мать, очевидно, его не узнала.

— Что надо? — угрюмо спросила она, не отодвигая засова.

Екаб прижался лицом к дверной щели и тихо шепнул:

— Открывайте, мамаша, это же я, Екаб...

В ночной тиши жалобно скрипнула дверь. Кошка ловко шмыгнула в дом. Теперь никому до нее не было дела, и она осталась там до утра, вместе с ночным пришельцем, который так незаметно подошел к дому.

Сейчас, когда вся семья была поднята на ноги, Екаб, присев рядом с отцом, полушепотом объяснял, почему никто не должен знать о его появлении в этих краях. Если пронюхают, ему придется плохо. В полиции есть такой список, куда занесены фамилии тех, кого разыскивают повсюду. У него и у некоторых его товарищей — выдуманные фамилии, совершенно не похожие на те, что в списке. Им надо скрываться, жить под чужими именами, хотя они не грабители, не убийцы, не жулики и вообще никаких злодеяний не совершали. Единственное их преступление состоит в том, что они хотят сделать так, чтобы всем бедным и угнетенным людям — жилось на свете легче и лучше. Именно поэтому их и преследуют, поэтому они и вынуждены скрываться. Теперь должно быть понятно, почему Екаб Тирелис не мог днем прийти в усадьбу Калнакродзиниеков и навестить своих родных.

— Я не знаю, сынок, как у вас получается, но, может быть, тебе лучше бросить это и жить так, как все живут, — несмело заикнулась мать. — Ну подумай сам, что это за жизнь? Собаке и то лучше живется. И что вы им можете сделать? У них в руках вся власть, а у вас — ничего.

— Правда на нашей стороне, мать, — улыбнулся Екаб. — Правда — оружие посильнее винтовки и пушки. Если люди, большинство людей

поймут эту правду, то никакая власть, никакая сила на свете не спасут неправды. Людям надо помочь разобраться, а непонятное разъяснить. Кому-то ведь этим делом надо заниматься?

— А какая будет польза, если самого схватят и посадят в тюрьму?

— Когда всем будет хорошо, то и нам будет не плохо.

Они поспорили. За последние годы Екаб Тирелис прочел довольно много книг и многому научился. Когда он разговаривал с отцом и матерью, то старался подбирать для объяснения сложных вопросов самые простые, самые понятные слова. Но он приехал сюда не для того, чтобы агитировать и убеждать своих стариков, — сама жизнь убеждала их в его правоте. У Екаба в маленьком чемоданчике лежал почти новый матросский костюмчик для мальчика лет шести. Это был подарок сыну ко дню рождения. Целых пять лет он не видел его: три года просидел в тюрьме, один год был в отъезде, а теперь жил и работал под чужим именем. За все это время Екаб не написал ни одного письма родным и близким, не бывал у знакомых. Когда его арестовали, маленького Андриса взяли к себе родители Екаба.

А как ему хотелось увидеть своего малыша! Надо ли об этом рассказывать... Теперь он был здесь. Андрис спал в старой деревянной кроватке в углу комнаты, где когда-то спал и маленький Екаб. Он стоял с огарком свечи в руке и с волнением всматривался в личико спящего ребенка. Маленькие поцарапанные кулачки Андриса были прижаты к груди, а щечки со следами весеннего загара казались почти коричневыми. Свет потревожил мирный сон малыша, и мальчик нехотя повернулся на бок. Екаб поправил одеяло и, легонько дотронувшись до лба сынишки согнутым пальцем, отошел от кроватки. Им овладело какое-то непривычное чувство — не то грустное, не то радостное. Он сидел в сторонке и молчал. Никто не тревожил его дум. На припечке сонно мурлыкала кошка.

Когда утром Андрис проснулся, бабушка помогла ему умыться, затем налила в кружку парного молока, а на ломоть ржаного хлеба, намазанного маслом, положила много творогу, как в большие праздники.

— Андрис, ты знаешь, какой сегодня день? — спросила бабушка. Когда мальчик не придумал, что ответить, она снова спросила. — Куда зайчик делает скачок, когда ему исполнится шестой годок?

Теперь Андрис понял.

— В седьмой годок! — воскликнул малыш и соскочил со стула. Наконец-то настал день его рождения! Ведь бабушка все время говорила, что в день рождения он обязательно получит подарок. В прошлом году она для него связала новые красивые чулочки с такими яркими полосками,

каких ни у кого не было. А дедушка сделал сам и подарил ему замечательную дудочку. И если бабушка напомнила, что сегодня день его рождения, значит снова припасли что-то интересное. Но Андрис стеснялся спрашивать и старался скрыть нетерпение и любопытство; только когда бабушка пошла в угол комнаты, он с волнением поглядел ей вслед.

— Иди, иди сюда, сынок. Тут тебе гостинец привезли ко дню рождения. Надень-ка, посмотрим, какой ты в нем будешь.

От радости бурно забилося маленькое сердце, щеки покраснели, глаза заблестели. Возбужденный Андрис влез в штанишки, терпеливо ожидая, пока бабушка застегнет матроску. Потом он надел белые носочки и черные туфельки. Когда все было готово, в карманчик матроски положили свисток.

— Полюбуйтесь, какой большой парень!

Больше всего Андрису понравились длинные штанишки, хотя и все остальное было красиво. Никогда еще в своей жизни он не чувствовал себя таким значительным и большим, как теперь. Он, наверное, и на самом деле скоро будет большим парнем.

— Бабушка, а где ты это взяла?

— Пока ты спал, к нам приходил один хороший дядя. Вот он и привез. А ты знаешь, кто это тебе прислал?

— Папа!

Бабушка вздохнула и, отвернувшись, украдкой вытерла слезу.

— Да, Андрис, это твой папа прислал. Своему сыночку прислал ко дню рождения. Видишь, какой у тебя хороший отец!

— А почему он сам не приехал?

— Он не мог приехать, сынок. Ему надо быть... в другом месте.

— А дядя тоже уехал?

— Дядя ушел по делам. Но он еще придет, и тогда ты попросишь его поблагодарить отца. Ну, а теперь снимай новый костюмчик — целее будет к лету. Ты только, сынок, никому не говори, что у нас был дядя с подарками.

— А почему?

— Твой отец не хочет, чтобы знали об этом.

— Тогда не скажу.

Грустно было расставаться с красивым матросским костюмчиком, но, наверное, так надо. Когда бабушка вышла, Андрис осторожно потрогал и матроску и штанишки, потом надел на голову бескозырку и даже тихонько дунул в блестящий свисток. А какие бы сделали глаза другие мальчишки и девчонки, если бы увидели Андриса во всем новом! У других ребят частенько бывает что-нибудь новое, только не у него. А теперь у Андриса такой костюм, как ни у кого, но об этом нельзя говорить. Станный у него

все-таки отец...

Этот день был особенным. Посреди хозяйского двора стоял черный блестящий автомобиль — из Риги приехали гости. Сам хозяин, толстый, как пивная бочка, водил своего сына, члена окружного суда, по хозяйству и все показывал. Они осмотрели скотный двор, машинный сарай, полюбовались лошадьми и, перейдя дорогу, подошли к хибарке Тирелиса. В это время дед и бабушка были в отлучке — ушли помогать хозяйке: шуточное ли это дело — принимать таких важных господ.

— Ну, шпингалет, что ты тут один делаешь? — спросил молодой Калнакродзинiek, потрепав Андриса по щеке. — Ишь какая круглая мордашка! Наверное, хорошо живется. Смотрите-ка, что за бескозырка у этого барчука! Где ты ее взял?

— Отец прислал ко дню рождения, — вырвалось у Андриса.

— Ишь ты. — Судья покачал головой, выражая крайнее удивление.

— Значит, твой отец приехал в гости?

Отец с сыном многозначительно переглянулись.

— Нет, он не приехал. Это дядя привез... — ответил Андрис.

— Ах, дядя! Ну, а где же этот добрый дядя?

Растерявшийся Андрис молчал. Нежданные гости осмотрели комнату, заглянули в кладовку и только потом ушли.

— Надо разыскать, — тихо шепнул сын отцу. — Наверное, где-нибудь поблизости крутится. Пусть только появится...

Не торопясь, они пошли обратно в хозяйский дом. Молодой Калнакродзинiek тут же позвонил по телефону в полицию. Когда в полдень бабушка, спрятав под передником миску с едой, проскользнула в сарайчик, член суда, наблюдавший в окно, удовлетворенно усмехнулся... Скоро одним коммунистом будет меньше.

Это было перед вечером. Маленький Андрис сидел на заборе и смотрел, как вокруг их сарайчика толпились чужие люди. Насупившиеся дедушка и бабушка стояли перед дверью. Когда Екаба Тирелиса уводили, они вытирали слезы и угрюмо смотрели на чужих. Уходя, Екаб увидел Андриса. Он остановился, улыбнулся мальчику и помахал рукой.

— Будь здоров, сынок. Я еще вернусь, тогда все будет по-другому!

Он хотел подойти к сыну, но чужие не пустили:

— Как бы не так! В Риге по тебе давно соскучились, нечего задерживаться.

Когда Екаба уводили, он все оглядывался на малыша, который по-прежнему сидел на заборе и изумленно смотрел на чужих людей, не понимая происходящего. Он еще долго так сидел на заборе, и никто о нем

не вспоминал. Только когда наступили сумерки, бабушка его позвала.

— Иди, сынок, домой. Пора баиньки.

— Бабушка, а зачем приходили чужие? Кого они нашли в сарайчике?

— Твоего отца, Андрис...

— Но ты же говорила, что отец в городе? Куда же он ушел с чужими?

— У него дела, сынок. Но придет время, и он вернется.

— А когда это будет, бабушка?

Бабушка ничего не ответила.

3

Высоко в небе слышался гул моторов. Андрис, взобравшись на валун и закинув голову, смотрел на металлических птиц, которые летели в сторону Риги. Крылья самолетов так сверкали в лучах солнца, что в глазах рябило. Казалось, самолеты летят не так уж быстро, но, когда Андрис стал наблюдать за их тенью, которая проплывала по земле, он удивился скорости полета этих птиц и с восхищением глядел им вслед. Даже когда они скрылись и затих гул моторов, он все еще был под впечатлением этого красивого зрелища.

— Это советские самолеты, — говорили крестьяне.

Это были гости из той большой страны, о которой говорили и хорошо и плохо. Хорошо отзывались о Стране Советов как раз те, кому жилось труднее всего, — бедняки, батраки, поденщики. Зато кулаки зло шипели и издевались, если кто-нибудь заводил речь об этой огромной стране. Но почему это так, Андрис не знал, так же как не знал и многого другого. Около двух недель в округе происходило что-то странное. С тех пор как эти металлические птицы появились в воздухе, кулаки и прочие местные вельможи почти перестали зубоскалить и заметно присмирели. Парии и девушки теперь совсем без опаски распевали звонкие песни о свободе, о борьбе за счастье народное. У всех на устах было имя одного человека. Его портрет можно было увидеть в газетах и книгах. Незаметно, тайком от хозяина, Андрис тоже вырезал его портрет из газеты и, поместив в простую картонную рамочку, прикрепил к стене над изголовьем своей кровати. В углу за печкой, где он спал, всегда было темно. Наверное, до сих пор никто и не заметил, иначе не уцелеть бы портрету, узнай о нем хозяин или его сыновья.

Андрису было одиннадцать лет. Пять лет назад он первый и последний раз видел отца, когда тот тайно приехал в гости и привез ему ко дню

рождения такой красивый подарок. Матросский костюмчик был давно изношен, дедушка и бабушка покоились на кладбище, а Андрис уже третий год пас скот у кулака Упениека. После смерти бабушки волостное правление отдало мальчика на воспитание тому, кто меньше всех требовал приплаты. Жадным и суровым был этот Упениек и настолько скуп, что даже не кормил собственных собак. В полдень те пробирались в свинарник и лакали помои из корыта. Иногда Андрису становилось жаль старого умного пса Дуксиса, который умел так хорошо охранять стадо, что пастуху не надо было следить за каждой коровой. Мальчик наливал в углубление камня молоко и давал собаке. Каждый раз после этого Дуксис благодарно облизывался, радостно махал хвостом и бежал проверять, не разбрелось ли стадо.

Андрис не знал, где отец и что с ним. Как-то соседи говорили, что его осудили на десять лет каторжных работ. Другие рассказывали, что он работал где-то в каменоломнях и уже несколько лет как умер. «Если бы он был жив, вот бы порадовался теперь», — подумал Андрис. Все, — кто были вместе с отцом, вышли из тюрьмы на волю и начали управлять делами страны без господ и богатеев.

По рассказам, уже прошло две недели, как их выпустили из тюрьмы. Если бы отец был жив, он, конечно, давно бы приехал к нему в гости.

Какая-то тяжесть лежала на сердце. Казалось, на свете не хватает чего-то большого и важного, оставалась пустота, которую ничто не может заполнить. Андрис Тирелис вдруг почувствовал себя совершенно одиноким на этой освещенной солнцем равнине, среди роц и перелесков, среди речушек и болот. Он сам и его маленькая жизнь стояли вне всего, а все, что было вокруг него, тоже существовало само по себе. Казалось, на свете нет ничего такого, что могло бы соединить все это вместе.

Пока он так сидел и думал, погрузившись в свои грустные размышления, и пока старый пес лакал молоко, налитое в углубление камня, две коровы, отбившись от стада, забрались на клеверное поле и с большим рвением щипали сладкую траву. А Упениек в это время стоял у овина и, покусывая тонкие губы, издали наблюдал за происходящим.

— Ну, погоди, теперь ты у меня получишь, дохлятина этакая. Не позволю мой хлеб даром жрать!

Пока хозяйка кликала пастуха, чтобы гнал коров домой, Упениек сходил к реке и наломал изрядный пук ивовых прутьев. Вернувшись, он положил прутья около собачьей конуры и стал ждать Андриса. Хозяйские дети и ребята поденщиков сразу сообразили, что предстоит. Собравшись кучкой у скотного двора, они говорили друг другу:

— Андриса опять будут пороть...

Когда стадо вернулось домой и коровы разошлись по своим стойлам, батрачки привязали их и, присев на скамеечки, начали доить; Андрис уже хотел направиться к дому, но хозяин его окликнул:

— Подойди сюда!

Держа в руках пук розог, хозяин улыбнулся; Андрис знал цену этой глумливой и жестокой издевке над его страхом. Он растерянно переминался с ноги на ногу, не двигаясь с места.

— Подойди сюда! — приглушенно крикнул хозяин еще раз. — Снимай штаны. Я тебе покажу, как травить клевер! Ну, чего ждешь? Или тебя упрашивать надо?

Насмешливой улыбки уже не было. Глаза хозяина теперь зло сверкали, багровое лицо перекошилось.

— Не идешь? — Он сделал шаг в сторону Андриса. Мальчик попятился назад. — Ах, ты! Не слушаешься? Теперь ты получишь...

Хозяин, бросив прутья, взял в руки уздечку. Но когда он хотел приблизиться к Андрису, тот внезапно схватил вилы и повернул их против взбешенного Упениека.

— Хозяин, не подходи! Заколю! Не позволю больше пороть... Если посмеешь, убегу в Ригу и пожалуюсь...

— Ах ты, дохлятина, каторжное семя, угрожать мне будешь! Убью, чертово отродье! Одним подлецом меньше будет.

Швырнув прочь уздечку, Упениек схватил косу и погнался за Андрисом.

— Эй ты, верзила, кончай куражиться. Оставь мальчика в покое, — неожиданно раздался чужой голос.

Какой-то мужчина стоял посреди двора — во время суматохи его прихода никто не заметил. Даже не слышали, как подкатил и остановился серый автомобиль.

— Что?.. А вам какое дело? — злобно прошипел Упениек, немного присмирив. — Кто мне запретит проучить пастуха, если он потравил посевы?

— Он это часто делает? — спросил у ребят незнакомец.

— Почти каждый день колотит Андриса... — ответили те.

У незнакомого мужчины дрогнули губы. Подавив взволнованный вздох, он подошел к Андрису и, слегка пригладив его спутанные волосы, сказал:

— Пойдем домой, сынок... Что, ты не узнаешь меня? Ну, вспомни-ка... У Калнакродзиниеков. Тогда меня увезли, а теперь я снова вернулся к

тебе. Только на этот раз мы уедем отсюда вместе. Ты поедешь со мной?

— Да, отец... — Андрис крепился, крепился, но это было уже чересчур. Слишком все быстро сегодня менялось. Одно событие следовало за другим. Прижавшись лицом к груди отца и стиснув зубы, он зарыдал.

Упениек стал совсем тихим и спокойным. Ошеломленный, он повесил косу под навес, спрятал уздечку и повернулся спиной к Екабу Тирелису. Неловко было смотреть в глаза.

— У тебя есть какие-нибудь вещи, которые ты хочешь взять с собой? — спросил отец у сына. — Если есть, забирай, и сейчас же поедем.

Они оба вошли в дом. У Андриса были какие-то отрепья, но Екаб не разрешил их брать с собой. Тогда Андрис снял со стены портрет в обыкновенной картонной рамочке, взял небольшую коробочку с фотографиями, которые остались после бабушки. Вот и все. Ребята облепили со всех сторон серый автомобиль, стоящий у ворот усадьбы. Андрис попрощался с ребятами и вместе с отцом сел в машину. Но тут он заметил Дуксиса. Старый пес тоже пришел проводить своего друга. Он от волнения чихал, вилял хвостом и заглядывал Андрису в глаза.

— Отец, позволь мне взять с собой Дуксиса, — несмело заикнулся Андрис.

— Что ж, он тебе друг, что ли? — спросил Екаб.

— Конечно. Он мне помогал пасти скот. Здесь его голодом морят.

Екаб открыл дверцу и позвал собаку. Но Дуксис залез в машину только по зову Андриса. Автомобиль, пыля, покинул усадьбу Упениека.

...Оба — и отец и сын — чувствуют себя необычно. Они долго молчат, иногда посмотрят друг на друга и, смутившись, улыбнутся. Машина проносится мимо роц и крестьянских дворов. Навстречу им выбегают собаки и, отчаянно лая, пока хватает сил, бегут рядом, потом отстают и исчезают в пыли.

— Он тебя часто бил? — спрашивает отец, сжав пальцы сына в своей большой руке. У обоих твердые мозолистые ладони, но пожатие все-таки получается теплым и нежным.

— Каждый раз, когда ему что-нибудь не нравилось, — отвечает Андрис.

— Теперь, сынок, тебя никто больше не будет бить. С этого дня мы начнем жить вместе.

...По дороге в Ригу Екаб Тирелис рассказывал сыну о новом времени, которое началось в Латвии, о своей жизни и работе. Солнечная июньская буря пронеслась по земле и чудесно изменила все. Ворота тюрем раскрылись, Екаб Тирелис покинул каменоломню и стал одним из

строителей новой жизни своей страны. Это не сон и не сказка, а самая настоящая явь.

1932–1940

Эдик

© Перевод М. Михалева

Когда шоссе, извиваясь, взобралось на пригорок, Эдик на минуту остановился и окинул взглядом окрестности. Занималось утро. На востоке горизонт золотили лучи восходящего солнца, но леса в долинах были еще полны глубоких теней. В крестьянских дворах пели петухи. Где-то звенела коса, но раннего косца не было видно.

Шоссе дымилось. Всюду двигались пешеходы — где группами, где в одиночку, налегке, с маленькими узелками на спинах. Они направлялись на северо-восток, куда всю ночь тянулись обозы и колонны грузовиков.

Эдик с матерью шли всю ночь. Дважды их обстреливали из леса, они прятались в канаву и, согнувшись, продолжали так путь, пока обстрел не прекращался. Эдик мог идти гораздо быстрее, но тогда мать не поспевала бы за ним. Маленький узелок — одеяло, полотенце и сверток с едой — они несли по очереди.

Только теперь Эдик рассмотрел, каким серым стало лицо матери. Это от дорожной пыли; и у него самого тоже песок хрустит на зубах.

— Мама... Остановимся у реки, умоемся и позавтракаем.

— Да, сынок, — ответила мать, и нельзя было понять, от усталости или от глубокого горя ослабел ее голос. С печальной лаской скользнул ее взгляд по фигуре мальчика, его лба коснулась жесткая рабочая рука матери.

Они пошли дальше. У маленькой речки свернули в сторону, омыли пыль с лица, шеи и рук. Июльское солнце, только что поднявшееся над вершинами деревьев, сразу стало припекать. Они присели в тени кустов. Мать развязала узелок с едой; там оказалось полкаравая ржаного хлеба и четыре вареных яйца.

— Ешь, сынок, — сказала она. Сама отломил кусочек корки и по крошке стала отправлять ее в рот. Она жевала долго, медленно, как бы нехотя. Эдик очистил два яйца и одно насильно зажал в ладони матери.

— Ешь ты тоже. Ты и вчера ничего не ела.

— Мне не хочется, сынок.

— Нет, тебе нужно есть. Иначе не сможешь идти.

Эдик понимал, что мать бережет еду для него. Он был голоден, как всякий подросток, но ему было стыдно прикасаться к еде, когда мать ничего не ест. Он до тех пор настаивал, пока она не послушалась его... С жадностью уничтожая свой ломоть хлеба, Эдик глядел на спокойное течение речки и думал: «Может быть, это приток Айвиексты? Тогда поток воды дойдет до Даугавы, сольется с ней и потечет мимо нашего дома, в море. Через сколько времени эта вода может дойти до Карклаев?» Он так ясно представил себе домик на берегу Даугавы, где родился и вырос, дровяной сарайчик, колышек с привязанной к нему лодкой, развешанные на берегу рыболовные снасти и большой камень посреди двора, на котором мать стирала белье, как будто все это находилось здесь, перед его глазами. От этих мыслей сразу стало тяжело на душе. Еще тяжелее становилось, когда он вспоминал об отце, даугавском якорщике, о том, как он учил Эдика правильно грести, брал с собой на рыбную ловлю, как бранился, когда Эдик в первый раз один переплыл Даугаву — туда и обратно. Теперь отца больше не было. В самые первые дни войны он вступил в отряд истребителей и отправился ловить фашистских диверсантов, которых враг сбрасывал на парашютах для взрыва железнодорожных и телеграфных линий. Вместе с товарищами он уничтожил много таких диверсантских групп. Однажды его привезли домой тяжело раненным. Всю ночь он харкал кровью. Утром его положили в наспех сколоченный из досок гроб и зарыли в садике за домом. Потом и Эдику с матерью пришлось уйти.

Эдик положил пол-ломтика хлеба обратно к оставшейся еде. Хватит, больше не хочется.

Он отломил от куста сухой сучок и бросил вводу. Сучок медленно поплыл вниз по течению. Может быть, вода донесет его до Даугавы... Через Кегум... К дому. Там он заплывет в заливчик и пристанет к берегу у колышка, где привязана лодка.

Снова и снова его мысли возвращались туда, к родным местам, и ему представлялось, что он еще дома. Так хотелось этого. Из полусонных грез его вывело внезапное оживление на шоссе. Люди, спокойно шедшие по обочинам дороги, вдруг заторопились, побежали, испуганно перекликаясь. Одни ложились в придорожные канавы, другие спешили через открытое поле к опушке леса. Но до леса было около километра. Женщины с детьми прижимались к серым стенам здания, стоявшего у края дороги. Двое юношей на велосипедах промчались через мост — они еще надеялись доехать до леса.

В воздухе стоял гул. Эдик увидел три немецких самолета. Они летели совсем низко, в кабинах можно было рассмотреть лица пилотов. Один из

самолетов держался прямо над шоссе, чуть повыше телеграфных столбов, два других летели по обеим сторонам дороги. Эдик ясно видел, как от самолетов отделяются небольшие черные комки... Раздались взрывы, в воздух поднялись столбы земли и пыли. Серое здание, к стенам которого прижимались женщины с детьми, внезапно обрушилось. С визгом рвались телефонные провода, повалились два столба, то здесь, то там падали люди.

По мере того как затихал рокот самолетов, становились слышны стоны раненых, плач детей, причитания женщин. Рухнувшее здание горело.

— Побежим подальше от дороги! — закричал Эдик матери. Они схватили свой узелок с вещами и бросились в рожь, где спрятались те, кто убежал раньше. Но в эту минуту раздался рев приближающихся самолетов. Фашистские хищники возвращались. Их было еще больше. Один самолет кружил прямо над ржаным полем. Затрещал пулемет. То здесь, то там опять падали окровавленные люди. Фашистские летчики гнались за бегущими. Сбрасывали бомбы, стреляли из пулеметов, не переставая осыпали обочины дороги градом пуль.

— Ложись на землю, мама! — вскрикнул Эдик.

Они притаились у куста и сидели не шевелясь. Эдик все время не спускал глаз с противно воющих самолетов, и все время рука матери, как бы защищая, гладила его плечо. Один самолет развернулся и помчался как раз над тем местом, где они сидели. Вокруг с визгом падали пули. Когда тень самолета пронеслась над кустом, Эдик почувствовал, что мать тяжело привалилась к нему. Рука ее соскользнула с его плеча.

— Эдик... Мой мальчик, — как стон вырвалось из груди матери. Потом она затихла, и ее затуманенные слезами глаза, угасая, глядели в синеву неба.

— Мама, что с тобой?.. Тебя ранило? — прошептал Эдик.

Мать больше не отвечала, — на ее кофточке расцвело мокрое кровавое пятно. Она была мертва. Эдик бережно положил ее голову на траву и остался сидеть рядом, не выпуская из своих пальцев ее жесткую, уже остывавшую руку.

Полчаса еще неистовствовали фашистские летчики над шоссе, потом они скрылись. Оставшиеся в живых вылезли из канав, вышли из ржи и продолжали свой путь. Раненых забрали с собой проезжавшие мимо красноармейцы. Убитых оттащили с дороги и прикрыли их лица. Потерявшая разум женщина ходила вокруг горящих развалин и, баюкая, качала на руках убитого ребенка.

Через некоторое время на дороге, рядом с тем местом, где сидел Эдик, остановился грузовик. Красноармейцы пригласили мальчика сесть в

машину. Он только покачал головой и остался на месте. Мимо непрерывно стремился поредевший поток беженцев. Наступил вечер. Прошла короткая летняя ночь. Эдик все сидел рядом с телом своей матери и держал ее холодную мертвую руку.

Когда настало утро, по другую сторону дороги показались пятеро мужчин. Они направлялись навстречу потоку беженцев. У всех у них под одеждой были спрятаны разобранные винтовки, за поясами — ручные гранаты. Они заметили мальчика у края дороги. Его странный, угрюмо сверкающий взгляд привлек их внимание, и они подошли к нему.

— Что с тобой? Что ты здесь делаешь, сынок?

Эдик кивнул головой в сторону матери.

— Маму убили... С воздуха. — Что-то сдавило ему горло. Он сердито тряхнул головой и сдержал рыдание.

— Ты не сын Яна Каркляя? — спросил один из мужчин.

Эдик взглянул ему в лицо и узнал товарища своего отца, молодого Калея.

— Маму надо похоронить, — сказал Эдик.

— Мы сделаем это, — ответил Калей.

Шагах в двадцати от того места, где пуля убийц оборвала жизнь матери, они на красивом пригорке вырыли могилу. Эдик принес охапку душистых трав и устлал ими дно ямы. Когда могила была засыпана, он положил в изголовье букет полевых цветов.

Из разговоров мужчин Эдик понял, что все пятеро возвращаются на берега Даугавы, навстречу врагу — жить в лесах и с оружием в руках бороться против захватчиков и предателей, которые отняли у Эдика все — отца, мать, родной угол и детство.

— Возьмите меня с собой, — попросил он. — Мне двенадцать лет. Я вам пригожусь. Научусь стрелять, бросать гранаты. Пойду в разведку. Я не боюсь ничего.

Мужчины колебались, но когда молодой Калей рассказал про отца Эдика, они согласились.

Уходя, Эдик долгим пристальным взглядом простился с могилой матери, стараясь навеки запечатлеть в памяти это место... И до тех пор, пока с дороги был виден свежий могильный холм, он с волнением оглядывался. Мужчины делали вид, что не замечают этого.

Они возвращались на юг, навстречу милой Даугаве — отомстить за мать Эдика, за многих мальчиков и девочек, смятых кровавой стопой врага.

1942

Происшествие на море

© Перевод А. Уссит

Когда Дуксис предупредил Ингу Мурниека о том, что назавтра ему предстоит отвезти в город груз копченой рыбы, последний ответил на это молчанием. Да и не было смысла возражать. Разве кто в поселке осмелился бы отказаться, если подобное предложение исходило от Дуксиса? Попробуй откажись — сейчас же донесет фашистам. Ведь в доме Дуксиса, бывшего трактирщика, спекулировавшего лесом, жил фельдфебель Фолберг со своей вооруженной шайкой. Оттуда исходили все распоряжения, там решались судьбы рыбаков. И поэтому все приказания Дуксиса выполнялись беспрекословно.

— В котором часу выйдем в море? — спросил Инга.

— Время укажет фельдфебель Фолберг, — ответил Дуксис.

С синевато-багровой, дряблой физиономии трактирщика, выдававшей пристрастие его к крепким напиткам, никогда не сходило сонное выражение. Он постоянно зевал, а попав в теплое помещение, сейчас же начинал тереть глаза, чтобы не задремать.

С приходом фашистов Дуксис перестал ходить щеголем; он предусмотрительно припрятал широкое золотое обручальное кольцо и часовую цепочку с брелоками: он прекрасно знал, что фрицы равнодушны к подобным вещичкам. Увидят — и спрашивать не станут, хоть это их же ставленник Дуксис. О простых рыбаках нечего и говорить. Отдавай без лишних разговоров — фюреру все пригодится...

— Надо же мне знать, когда разогревать мотор, — проворчал Инга, — прикажет в последнюю минуту, а потом я же окажусь виноватым.

— Тебя разбудит солдат, — пояснил Дуксис, — скажу, чтобы он сделал это заблаговременно. Да и малышу придется ехать. Мы возьмем на буксир лодку с рыбой. Все, что наготовили за это время, надо свезти. Вот малыш и будет управлять лодкой. Погода обещает быть ясной и тихой. Так-то вот...

Словно хозяин, отдавший приказания батракам, ничуть не сомневаясь в том, что его распоряжения будут беспрекословно выполнены, Дуксис самодовольно щелкнул языком и удалился. Он с минуту задержался возле отца Инги, старого Мурниека, который стамеской скоблил новое весло. О чем они беседовали, Инга не слышал. Да это его и не занимало, у него в голове было другое. Как хорошо, что посторонние не могут разгадать его мыслей. Да, если бы люди знали...

Инга угрюмо усмехнулся. Обождав за сараем для спасательных лодок,

пока ушел Дуксис, Инга подошел к отцу.

— Я пройду к взморью, — сказал он. — Когда вернется Эвалд, передай ему, что завтра поедем в город.

— Об этом мне Дуксис уже говорил, — пробурчал старый Мурник, не отрываясь от работы.

Седой, сгорбленный, с обгрызенной трубкой в зубах, копошился он возле клетки — тихий и смирный. Всю свою долгую жизнь он провел в суровом, сопряженном с опасностями труде, вырастил двух сыновей и дочь. Среди белых песков, за дюнами, виднелся покрытый мохом серенький домик. В бухте качалась на якоре старая моторная лодка, на жердях по берегу развешаны были для просушки сети и невода. Это было все его имущество, все, что накопил он за долгую трудовую жизнь. Скромная, незатейливая была эта жизнь. Соленая морская вода и ветер, солнце и песок. Три раза в году всей семьей посещали церковь. После удачного лова — бутылка водки. Заблаговременно закрепленный уголок на кладбище, возле могилы отца и рано умершей жены.

Необычайная тяжесть давила сердце Инги. Он потрянул головой и, не сказав больше ни слова, направился к дюнам. Однако, дойдя до леса, он не сразу пошел к взморью, где лежали насквозь пропитанные соленой влагой рыбацьи лодки и развевались на ветру просохшие сети. Через покрытый мохом холм Инга зашагал к мысу, уходившему далеко на запад, туда, где полоса дюн глубоко врезалась в побережье.

То была неприветливая, пустынная местность. Белые пески застыли здесь, словно могучие волны, выброшенные далеко на берег западными ветрами. Поросшая высокими соснами цепь прибрежных дюн правильным полукругом опоясала эту маленькую пустыню. Инга остановился возле старой ветвистой сосны, Искалеченное, истерзанное морским ветром дуплистое дерево стояло особняком на самой вершине дюны, и его кривой, узловатый, покрытый наростами ствол напоминал натруженное тело старого рабочего. Внизу, у его подножия, в бурой дымке лежало спокойное серое море. В одном месте, у самой воды, на песке виднелось множество белых пятен. То были стаи отдохавших здесь чаек. Дальше вокруг кучи каких-то черных предметов двигались темные точки.

Там была рыбацья пристань, там суетились рыбаки и расхаживал немецкий солдат с винтовкой и биноклем. Несколько рыбацких лодок возвращалось домой из открытого моря. И хотя лодки были еще далеко, все же Инга отлично видел за несколько километров, как поднимались весла, как гребцы откидывались при каждом взмахе весла. «Минут через двадцать лодки пристанут к берегу, — подумал про себя Инга. — Солдат подойдет к

ним, будет влезать в каждую лодку и обнюхивать все уголки, заглянет под слани ^[17], обшарит карманы рыбаков — не спрятана ли где-нибудь рыбешка...»

«Проклятые... — заскрежетал зубами Инга.. — Живоглоты жадные... Последнюю рыбку косточку норовят отобрать, все глотают... Взвешивают улов до последнего грамма, как в аптеке, расплачиваются же ничего не стоящими бумажками — какими-то оккупационными марками. По всему побережью разносится дым от рыбокоптилен — приятный запах копченой камбалы, килек, салаки. И все это богатство попадает в руки врагов, изголодавшихся гитлеровских трутней. Ты рыбачишь, радуешься — а есть-то будут другие. Ты можешь умирать с голоду, но для них это сущие пустяки: ведь ты не человек, а только раб».

Неохотно оторвал Инга взгляд от любимого моря и побережья. Медленно, осторожно, словно боясь раздавить что-то, Инга бережно опустил на землю в нескольких шагах от старой сосны. Выражение боли и нежности легло на его лицо. Ласково глядя рукой песок, он погрузился в думы.

«Я пришел, дорогая... Я еще ничего не сделал, еще нет. Но я сделаю это, быть может завтра же сделаю. Ты будешь отомщена. Твой Инга ничего не забыл и не забудет...»

Здесь, среди белых песков, под сенью старой сосны, похоронена Айна... маленькая, солнечная Айна Сниедзе. Об этом до сегодняшнего дня еще не знает ни один человек: ни родители Айны, ни Дуксис, ни фельдфебель Фолберг. И не узнают до тех пор, пока не будет уничтожен на родной земле последний гитлеровский оккупант-грабитель. Лишь тогда можно будет сказать обо всем, обнести могилу оградой и поставить знак памяти о ней. До тех пор она должна лежать в одиночестве, и только он, Инга, будет иногда в вечерний час навещать ее и в мыслях рассказывать ей о жизни, о людях, о великой борьбе.

Раньше они приходили сюда вдвоем, скрывая от любопытных глаз свою большую дружбу. Здесь, в дюнах, в теплые летние ночи сидели они на мягком песке, прислушиваясь к отдаленному плеску волн и наблюдая за отражением звезд в море. Здесь вдвоем они лелеяли великую и чистую мечту о будущем, о далеком, прекрасном пути. Иногда Инга уезжал через просторы вод в чужие страны, к далеким островам. И после каждой такой поездки он приносил Айне на память какую-нибудь вещичку: шелковый платочек, коробку из ракушек, коралловое ожерелье, виды далеких стран и городов. Но нынешним летом Инга Мурниек покинул корабль, чтобы остаться на суше и начать новую жизнь вместе со своей Айной.

За несколько дней до начала войны она заболела воспалением легких. Когда передовые части фашистской орды стали приближаться к их рыбацкому поселку, Айна все еще лежала больная. У Инги не хватало сил и решимости уйти вместе с товарищами. Он надеялся, что его Айна поправится и тогда они вдвоем вырвутся из-под власти врага. Вот почему Инга Мурниек остался на месте, покорно гнул свою упрямую рабочую спину под ярмом чужеземных захватчиков.

Во второй половине июля в поселке обосновался фельдфебель. Его считали как бы заместителем коменданта на этом участке побережья, растянувшемся на двенадцать километров. Без его разрешения ни одна рыбацья лодка не могла уйти в море, и под его надзором распределялся улов.

Трактирщик Дуксис, который с момента прихода фашистов не знал, чем и услужить им, сразу же сделался доверенным лицом фельдфебеля Фолберга. По указке Дуксиса составлялись черные списки советских работников, коммунистов и подозрительных в политическом отношении людей. За две недели в волости расстреляли и повесили шестьдесят человек. Пятьдесят человек загнали в концентрационный лагерь.

Брат Аины Сниедзе, который недавно был избран в члены волисполкома, ушел вместе с частями Красной Армии, и фельдфебель Фолберг долго допрашивал стариков Сниедзе и Айну. Однажды в субботу Айну увели в трактир Дуксиса. Батрачка трактирщика Лизе Арайс слышала через стену, как пьяный фельдфебель приставал к Айне, грозил ей концентрационным лагерем. Ни угрозы, ни ласки не действовали на Айну, она вырывалась, умоляла оставить ее в покое и плакала. Тогда фашист взял ее силой.

На другое утро тело Аины Сниедзе висело на суку сосны у самой дороги. На грудь ей прикрепили дощечку с надписью: «За сопротивление руководству германской армии!» Мертвое тело запретили снимать и хоронить. Фельдфебелю Фолбергу хотелось, чтобы все проезжие и прохожие передавали о виденном в других поселках и волостях, внушая страх перед оккупационными властями.

Точно пойманный и запертый в клетку зверь, метался все эти дни Инга Мурниек. Он никому не говорил о своей муке, о своей ненависти к врагам и жажде мщения, — свои чувства он скрыл под маской покорности и простодушия, но участь, ожидавшая фельдфебеля Фолберга, была предопределена им, Ингой.

В темную и дождливую ночь Инга Мурниек снял с дерева тело любимой девушки и перенес его к дюнам. Он завернул его в парусину и

зарыл под той самой сосной, — где они с Айной часто сидели летними вечерами.

Фельдфебель Фолберг долго кричал, угрожая кому-то, но в конце концов унялся и постепенно забыл об этом происшествии. А Инга Мурниек по ночам тайком пробирался к дюнам. Вместо цветов или зелени он приносил сюда лишь свою немую боль и бесконечное терпение человека, жаждущего мщения и не забывающего о нем ни на минуту.

Долго сидел Инга в раздумье, его глаза горели ненавистью. Он нежно гладил сыпучий песок на могиле.

«Да, это будет расплата за все страдания и муки Айны, за моих товарищей и друзей. Не я один ненавижу этих проклятых... Их ненавидит каждый честный человек!»

В ветвях сосен шелестел ветер.

Вместо немецкого солдата Дуксис сам явился к Мурниекам и предупредил их, что через час надо отправляться в путь.

Когда Инга со своим младшим братом, шестнадцатилетним Эвалдом, вышли на берег, было еще темно. Рабочие погрузили ящики с рыбою в моторку и во вторую лодку. Инга принялся разогревать мотор.

— Ты, братишка, оденься потеплее, — сказал он Эвалду. — В открытом море будет свежо. А то замерзнешь, как таракан-прусак.

— Стану я пугаться какого-то ветерка, — отозвался Эвалд со свойственной мальчишкам самонадеянностью.

— Еще подует покрепче, — тихо промолвил Инга. Когда же Эвалд перегнулся через люк кабины посмотреть, как идет дело с разогревом мотора, старший брат наклонился к его уху и быстро зашептал: — Надень пробковую жилетку, но сделай все это так, чтобы ни одна живая душа не заметила. Понятно?

— Ты думаешь, непогода разыграется?

— Погода — не погода, не в этом дело. Главное, надень спасательную жилетку. Иногда и в тихую погоду приходится нырять.

Они переглянулись. Потом Эвалд усмехнулся, кивнул головой в знак того, что все понял, и отправился за вещами.

Пришел Дуксис в дорожных сапогах с длинными голенищами, поверх вязаной шерстяной фуфайки он надел стеганый ватник. Погрузка уже близилась к концу, когда тракторщик послал одного из постовых солдат за фельдфебелем.

Ни один мускул не дрогнул в лице Инги, когда явился фельдфебель Фолберг. Они с Дуксисом укрылись от ветра Между кабиной мотора и

ящичками с рыбою. Один солдат с винтовкой расположился рядом с Ингой, другой влез во вторую лодку, к Эвалду.

Медленно и осторожно провел Инга лодки через первую полосу отмелей и тогда уже запустил мотор. Навстречу им с открытого моря катились гладкие волны. Инга зорко вглядывался в серый утренний сумрак. Там, за мысом, — он ясно видел это — разбивались гребни волн. Над морем по направлению к берегу неслись низкие голубовато-серые тучи. С застывшим, непроницаемым лицом наблюдал молодой рыбак за морским простором, и его пальцы твердо держали рукоятку штурвала. Лодка послушно отзывалась на малейшее движение его руки. Отличная старая моторная лодка. Пять лет они бились с долгами, пока рассчитались с лодочным мастером и фирмой за мотор. А вот сейчас нашлись другие хозяева; хорошо еще, что хоть изредка Инге позволяли водить в море его собственную лодку. В эти минуты ему казалось, что он снова становится ее хозяином.

Эвалд отлично управлял шедшей на буксире лодкой, хотя изредка волны и перекатывались через борт. Оглянувшись, Инга увидел, как гитлеровец вытирал лицо. «Ничего, утирайся, утирайся. Море — это тебе не помещение комендатуры...»

У фельдфебеля Фолберга, очевидно, из головы еще не выветрился вчерашний хмель. Он вытащил из кармана шинели заготовленную бутылку водки, хватил из нее изрядный глоток, потом передал бутылку Дуксису. На закуску тут же из ящичка взяли по копчущке. После второго глотка Фолберг кивком головы указал на Ингу.

— Инга! — позвал Дуксис, стараясь перекрыть шум мотора. — Господин фельдфебель предлагает тебе хлебнуть разок. Сразу станет теплее.

Подбадривая Ингу, Фолберг почти по-приятельски подмигнул ему. Инга в ответ покорно заулыбался, приложил свободную руку к сердцу и промолвил:

— Danke, danke ^[18], герр Фолберг...

У него дрожали руки, и фашист подумал, что это просто от жадности. Он что-то шепнул Дуксису, и пока Инга пил, оба глядели на него и громко смеялись. Инга вернул им бутылку и снова превратился в застывшую, словно примерзшую к мотору статую с безжизненным лицом, обращенным к морю. Рядом с ним в своей тонкой шинелишке поживался от ветра солдат. Иногда он поглядывал на пьющих и облизывался. Но никто ему водки не предложил.

А лодки неслись с волны на волну, кренились то на один, то на другой

борт, по временам их подхватывала большая волна и качала на своем гребне. Они миновали мыс и держались теперь параллельно берегу.

Заметив, что у берега море гораздо спокойнее, Фолберг спросил Ингу, почему он не держится ближе к земле.

— Там подводные камни... — пояснил ему Инга.

— Ах, так... тогда ничего не поделаешь...

Но Инга теперь уже не отрывал взгляда от видневшейся впереди и стоявшей особняком огромной сосны. Когда между носом лодки и далекой сосной показался небольшой, поросший кустарником бугорок, Инга немного повернул руль управления вправо, и моторка пошла наискосок к берегу. Взгляд Инги неуклонно выслеживал среди белых пенистых гребней какую-то одну огромную постоянную волну. Каждый раз, когда к намеченной им точке приближалась волна, она как бы разламывалась надвое, потом с ревом распадалась и затихала. Там, на расстоянии трех километров от берега, со дна моря поднималась гигантская каменная гряда с острыми ребрами, почти достигавшая своей вершиной поверхности воды. На этом месте не раз терпели аварию неопытные и зазевавшиеся моряки. Занесенные песком, лежали здесь на дне остовы многих и многих парусников.

Фельдфебель старательно закупорил опустевшую бутылку и спрятал ее в карман. Продрогший солдат забрался в кабину, чтобы посидеть возле разогревшегося мотора. Инга оглянулся назад, встретил вопрошающий и озабоченный взгляд младшего брата. Он улыбнулся ему, подмигнул многозначительно, потом направил лодку наперерез волнам, прямо на подводную гряду. На полную мощность бился и гудел мотор, но еще быстрее понес обе лодки морской вал. Сидевшим в лодке казалось, что чья-то огромная рука влекла их через водный простор. Быстрота опьяняла, от нее кружилась голова.

В тот миг, когда огромный вал с сокрушающей, дикой силой обрушился на подводную скалу, Инга выдернул железную рукоятку штурвала и изо всей силы нанес удар по голове Фолбергу. По правде сказать, можно было обойтись и без этого — фельдфебель все равно уже не мог спастись, но сердце не выдержало. Затаенная ненависть теперь потребовала действия, разрядки.

Инга увидел кровь своего врага, его разможенную голову, его дряблое, сползшее безжизненное тело. Затем страшный удар из глубины моря расколот днище, и тяжелая лодка мгновенно исчезла в пучине. Но еще раньше Инга успел выпрыгнуть из нее.

Когда его голова показалась над водой, рядом на волнах качались

обломки лодки, несколько весел и порожние ящики из-под рыбы. Над самой подводной скалой покачивалась наполненная до краев водою буксирная лодка. В ее борта вцепились Эвалд и фашистский солдат.

Инга подхватил одно из весел и подплыл к обломкам лодки.

— Держись, малыш! — крикнул он брату.

— Проклятый фриц хватается за меня, — отозвался Эвалд.

Инга обогнул камень и очутился позади гитлеровца. И как ни цеплялся тот за одежду Эвалда, Инге удалось оторвать его от брата. Солдат пошел ко дну. И остальные все потонули, лишь качалась на волнах фуражка Дуксиса с блестящим козырьком.

Теперь можно было и умереть. Но стоило жить. И человек-мститель восставал против смерти. Инга Мурниек один за другим перевалил все ящики с рыбою за борт лодки. Лодка немного приподнялась. Подхватив одной рукой брата подмышки, другою держась за нос лодки, Инга направил ее к берегу. Ветер и волны несли лодку по течению все ближе к земле, навстречу жизни и новой борьбе.

Благодарность Тениса Урги

© Перевод М. Михалева

Осенью, когда западный ветер гонит в залив волны из открытого моря и дождевые тучи идут низко-низко, темными лохматыми грядками чуть не касаясь белых гребней, побережье становится неприветливым, холодным и угрюмым. Но никогда еще Тенису Урге родной берег не казался столь мрачным и пустынным, как в этом году.

Здесь он родился и вырос, весь его суровый и тернистый жизненный путь, все события прошлого были связаны со здешними местами. Семьдесят долгих лет, прожитых в тяжелом труде и нужде... Сотни раз морской ветер заносил песком тропинки, протоптанные меж дюн человеческой ногой, и сотни раз рыбаки протаптывали новые — от серых деревянных лачуг на опушке леса к берегу моря. Молодые деревца на глазах у Тениса превратились в большие деревья, а многие из них приходились ему ровесниками, такие же старые, сгорбленные и корявые, как он сам. Но сейчас ему казалось, что он живет в чужом мире и все здесь странное, незнакомое, полное угрозы и томительной неопределенности.

Но, может быть, ничего этого и нет, просто он сам постарел и изменился?

Может быть.

Лачуга Тениса Урги находилась у северной окраины поселка. Прежде она стояла, вплотную прижавшись к другим рыбацким домам, но когда ветхие, покосившиеся хибарки стали разваливаться одна за другой, рыбаки младшего поколения уже не старались восстанавливать их. Нет, молодежь стала строиться на противоположной окраине поселка, где пролегла грунтовая дорога. Один только Тенис Урга продолжал чинить и подправлять свое старое жилье и с течением времени все больше отдалялся от других, становился все более одиноким посреди дюн, — сейчас от ближайшего соседа его отделяло уже шагов триста.

Тому были свои причины. Тенису не очень повезло с этим самым молодым поколением, не то что многим из его старых друзей. Правда, он вырастил двух сыновей и дочь, но у каждого из них была своя собственная судьба. Старший сын погиб в первую мировую войну, не оставив детей. Младшего сына расстреляли немцы во время оккупации 1918 года: он был большевиком и руководил сопротивлением. Он покоем тут же, на опушке леса за дюной, в поросшей жесткой травой могиле. Больше никакие растения там не выживали, морской ветер затягивал холмик белым песком.

Да, Вольдемар был любимый сын Тениса Урги, смелый, стойкий парень, горячий в работе и бесстрашный в борьбе. Там, где другие теряли смелость и надежды, он рвался вперед. Глаза у него сверкали, когда он слушал рассказы отца о пятом годе. Он восхищался отважными борцами за свободу, которые восставали против царского самодержавия и черной власти помещиков, с юношеским бесстрашием смотрели в глаза смерти, стоя под виселицей, пели песни борьбы и с гордо поднятыми головами шли в ссылку, на каторгу. Сам Тенис тоже тогда принимал участие в революционных выступлениях, посещал собрания и пел новые, гордые песни, возвещавшие наступление справедливости и свободы; за это карательная экспедиция впоследствии подвергла его порке.

И вот в 1918 году немцы расстреляли Вольдемара. Тенис похоронил любимого сына в песках дюн (хоронить на кладбище пастор не разрешил) и стал воспитывать своего маленького внука, оставшегося круглым сиротой: жена Вольдемара в 1919 году ушла с красными стрелками в Россию и в годы гражданской войны умерла от тифа. Маленькому Эмилю в то время еще года не было, так что родителей он совершенно не помнил.

В 1928 году умерла подруга жизни Тениса — Лиене Урга, и он остался вдовцом с внуком.

Эмиль рано научился грести, править рулем, забрасывать сети в открытом море. Зимой он учился в начальной школе, а с весны до осени помогал деду в рыбной ловле. То, чему парнишку не научила школа

буржуазной Латвии, он узнавал от старого деда, жадно слушая его рассказы о пятом годе и недолгой бурной жизни отца.

Летом 1940 года, когда пала фашистская власть Ульманиса, впервые на протяжении долгих лет Тенис Урга почувствовал, что и в его жизни наступил праздник, а Эмиль, уже взрослый парень, — тот с головой окунулся в строительство нового.

Наблюдая за большими переменами в жизни людей, Тенис понял, что исполняется то, о чем он мечтал всю жизнь. Маленький человек, порабощенный и униженный, мог, наконец, облегченно вздохнуть. Правда восторжествовала над темными, злобными силами. Это было наградой Тенису Урге за все страдания, за смерть Вольдемара, за его собственную тяжелую жизнь. Осуществлялось то, за что погиб Вольдемар.

Рыбаки, которых раньше обирали жадные перекупщики, впервые стали получать справедливую плату за свой улов. Просто удивительно, сколько мог теперь зарабатывать человек! Люди в течение года успели погасить долги, в которые их загнала многолетняя нужда, а главное, они были избавлены от заботы о завтрашнем дне, о куске хлеба и о судьбе своих детей.

Тенис Урга был безгранично благодарен новой, справедливой власти и людям, которые проявляли такую братскую заботу о его жизни и жизни ему подобных простых людей.

И вдруг разразилась война.

Сердце Тениса Урги кровью обливалось, когда он видел, какие тяжелые дни переживал его народ. Отряды фашистов-грабителей рыскали по всем дорогам. Жгли, убивали, издевались над правами и жизнью людей.

Над родиной и народом Тениса спустилась черная ночь. Вот когда чужим и мрачным показалось ему родное побережье. словно в мир проникла волна чужого воздуха, насыщенного ненавистью и смертью. Небо стало серым и неприветливым, природа поникла, и люди начали задыхаться. Померк свет жизни и ее радости. Рука жадного грабителя протянулась к плодам сурового труда латышей. Злобой и кровожадностью веяло от нахлынувшей орды чужеземцев-:

Все дальше отодвигался грохот сражений. С надеждой и глубоким волнением прислушивался Тенис к отзвукам борьбы. Он не мог поверить, что люди позволят торжествовать этой злой силе. Тогда всему конец, тогда не зазвучит больше в мире смех; мрак и ледяной холод умертвят всю радость, всю красоту жизни.

Вести, доходившие до Тениса, говорили, с каким героизмом и стойкостью защищают советские люди свою страну и свободу. То была

страшная борьба, трудная и кровопролитная. Тенис непрестанно думал о ней, и ему казалось, будто он видит дорогого, близкого человека в смертельной схватке с хищником. Зверь, неожиданно набросившийся на него сзади, стремится его растерзать, а человек сильной рукой сдавил глотку зверя и не отпускает его. Зверь яростно мечется и терзает тело человека, но человек крепко держится на ногах, не падает. И Тенис понял: за все то добро, какое сделал ему этот человек, он обязан прийти ему сейчас на помощь, отблагодарить делом, оказать услугу, быть ему полезным. Совесть и воля твердили, что он не смеет взирать на борьбу со стороны.

Но как это сделать?

Молодые ушли с бойцами. Многие поступили, как Эмиль: ушли в леса и с оружием в руках охотились за зверем, выслеживая его, где бы он ни появлялся.

Тенис Урга хотел помочь. Уж если молодежь отдавала свои жизни за правое дело, тем легче было умереть ему — старику... Но что мог сделать седовласый старик, стоящий одной ногой в могиле?

Тенис долго ожидал часа, когда судьба призовет его.

Иногда, после нескольких недель отсутствия, в доме появлялся Эмиль, рассказывал о своем партизанском отряде и, захватив с собой запас продовольствия, вновь исчезал на долгое время.

Тенис чинил сети и думал, что он отделяется мелкими услугами в такое время, когда каждый честный человек должен отдать себя всего, целиком великой борьбе. Он был готов пожертвовать всем, но никто ничего от него не требовал.

Время шло. Наступила осень с ливнями и бурями. Жесткая трава на могиле Вольдемара грустно шуршала под ветром.

И, наконец, Тенис Урга дождался своего часа.

Темная ветреная ночь была на исходе, когда в ставень легонько постучали. Тенис Урга спал чутким сном: накануне вечером снова пришел Эмиль. Старый рыбак мгновенно проснулся, приподнялся на кровати и стал прислушиваться. Когда стук повторился, он ощупью в темноте добрался до постели Эмиля и, коснувшись плеча внука, прошептал:

— Эмиль... сынок, слышишь? Кто-то стучится.

Теперь прислушивались оба. После недолгой тишины в ставень снова постучали.

Эмиль быстро и бесшумно оделся, поставил на боевой взвод трофейный автомат и встал в углу за печкой против двери.

— Погляди, дед, что там такое... — сказал он шепотом.

Тенис вышел. Эмиль слышал за дверью приглушенные голоса. Немного погодя дед вернулся.

— Какой-то флотский, из русских. Говорит, будто бежал через залив с эстонских островов. Просит помочь ему. Думаю, надо что-нибудь для него сделать. Как ты полагаешь, сынок?

— Если наш, так обязательно надо помочь. Он один?

— Больше никого не видно.

— Зови его в комнату да зажги огарок; посмотрим, кто он такой.

Тенис вышел и тотчас вернулся, пропустив вперед пришельца. Когда свечка была зажжена, Эмиль увидел изможденное, обросшее щетиной лицо, воспаленные глаза и покрытый засохшей грязью бушлат краснофлотца. Не выпуская из рук автомата, Эмиль вышел на середину комнаты.

— Документы есть?

Незнакомец вздрогнул, и несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза — двое преследуемых, окруженных опасностями людей. Но что-то заставляло предполагать в пришельце своего. Не спуская глаз с Эмиля, он достал из внутреннего кармана бушлата бумажник, извлек из него маленькую книжку в коленкоровом переплете и подал партизану.

— Все в порядке, товарищ Королев, — произнес Эмиль, ознакомившись с документом. — Вы находитесь у своих.

Молча они пожали друг другу руки. Спрятав документы в карман, моряк рассказал, как он попал в поселок.

— Наш отряд нес службу береговой обороны на острове. Там были аэродром и несколько батарей артиллерии. Когда фашисты напали на остров, мы долго сопротивлялись, не давали десанту высадиться на берег. Но в конце концов нам пришлось отступить. Их было куда больше, да к тому же фашистская авиация вывела из строя наши батареи. И боеприпасы кончились. Тогда все мы, кто остался в живых, отошли в центральную часть острова — пытались прорваться. Несколько дней назад нам удалось раздобыть рыбацью лодку. Вечером, с наступлением темноты, мы, двадцать человек, отправились в путь и вот, полчаса тому назад, достигли берега. Меня послали в разведку — выяснить, где мы находимся и каким образом пробраться отсюда к своим.

— Где же остальные? — спросил Эмиль.

— Здесь они, в дюнах. Ваш домик окружен со всех сторон. Если бы со мною что-нибудь случилось... — Он улыбнулся.

— Правильно, — сказал Эмиль. — Действовать нужно осмотрительно. Но на этот раз вам просто повезло. Ничего страшного, конечно, не

произошло бы, если бы вы попали в какой-нибудь другой дом, но там везде женщины, дети. Могут проболтаться.

— Нас привлекло то, что домик стоит отдельно, в стороне. Легче выбраться, если что и случится.

— Как у вас с продовольствием?

— Мы уже несколько дней ничего не ели...

Эмиль переглянулся с Тенисом.

— Как ты полагаешь, дед?

— Думать тут нечего. Надо накормить людей. Я поставлю на огонь котел с картошкой. Наварю трески.

Правильно, дедушка. Пошли, товарищ, — кивнул Эмиль краснофлотцу. — Пока тут дед приготовит поесть, мы спрячем лодку.

Они ушли.

Тенис принес картошки, рыбы и начал стряпать. Давно он не чувствовал себя таким бодрым и веселым, как в это утро. Теперь в его жизни появилась настоящая цель! Теперь он может, наконец, помочь великому делу! Если он спасет этих двадцать бойцов, они потом уничтожат не один фашистский гарнизон. Гитлеру придется заменять выбывших другими, вместо того чтобы посылать их на передовую линию. Хотя небольшое, а все-таки будет облегчение на каком-то клочке фронта.

Несмотря на то, что двадцать краснофлотцев были измучены до крайности, лодку все-таки перенесли в дюны и спрятали там в кустарнике. Сейчас, в осеннюю пору, никто в эти края не заезжал. Сами краснофлотцы укрылись в лесу. Эмиль и еще несколько человек ждали Тениса в дюнах, неподалеку от дома. Спустя некоторое время старик принес туда вареной картошки и рыбы. Потом Тенис отправился в поселок, побеседовал с соседями о лове и как бы невзначай показался старосте Лединю. От соседей он узнал, что Лединь в этот день собирается ехать в комендатуру, по-видимому для получения новых инструкций. Собачья служба — следить за каждым человеком и доносить обо всем, фашистам. Купили его мелкими подачками — табаком, сахаром. И он сам знает, что все жители поселка отвернулись от него. Знает и, видать, не особенно хорошо себя чувствует. Постоянно ходит пьяный как стелька... Разумеется, не от хорошей жизни это. Однако остерегаться его необходимо.

После полудня, когда нужно было отнести краснофлотцам обед, в лес отправился сам Тенис Урга. Все они годились ему во внуки, хотя по их изможденным, обветренным и давно небритым лицам им можно было дать значительно больше лет, чем было на самом деле.

Они обсудили план дальнейших действий. Эмиль согласился вывести

их глухими лесными дорожками и болотными тропинками к своему партизанскому отряду. Но на острове ждали еще сорок человек. Как быть с ними?

Тенис прислушивался к разговорам и раздумывал. Здесь оставалась их лодка... Если на ней могли один раз перебраться через, залив, то почему не проделать это еще раз? Но сорок человек за один раз не перевезешь. И как это двадцать человек решились отправиться в море на такой посудине? Чистое безумие. В нее можно усадить, ну, скажем, человек двенадцать — тринадцать. Если бы ночь выдалась поненастнее, неизвестно еще, чем бы дело кончилось.

У Тениса была большая лодка, на которой он ходил в открытое море. Он еще не вытащил ее на зиму и паруса не убрал. При хорошем боковом ветре можно было за ночь добраться до острова. А назад? По его расчетам, на операцию требовалось несколько дней. Лединь непременно заметит, что лодки нет, — ведь в его обязанности входит следить, когда та или другая лодка уходит в море и когда возвращается. На лов в открытое море теперь никто не выезжал. «Где был? — спросит. — Зачем отправился в море без разрешения?» Ясно, что отвечать будет нечего. И не менее ясно, что последует за этим. Фашисты долго разговаривать не станут. Если им что не нравится — на сук или три пули в ребра.

Тенис Урга ясно отдавал себе отчет в том, что его ожидает, но не это волновало его сейчас. Главное — удалось бы переправить через залив и доставить в безопаснее место сорок ценных бойцов, которым сейчас грозит гибель. Что ж, он готов заплатить за это головой. Вот это будет уже не мелкая услуга, какими он до сих пор платил советской родине за все, что она дала ему. Это будет нечто настоящее. Ради этого стоит жить... и умереть. Не стыдно будет лечь рядом со своим любимым сыном в песках дюн.

И Тенис Урга, раскурив трубочку, попросил выслушать его.

— Сынки... Я думаю, нужно сделать так...

Двадцать юношей и мужчин обступили плотным кольцом седого деда и слушали его с глубочайшим вниманием.

— У меня большая лодка. В ней могут поместиться человек тридцать и даже больше. Есть и мачта и парус. Вы останетесь здесь до вечера, а как стемнеет, отнесете обратно на берег и спустите на воду свою лодку. Один из вас, кто лучше помнит дорогу к тем, что остались на острове, поедет со мной. На двух лодках мы за один раз всех перевезем.

— Дедушка... — мягко, взволнованно заговорил Эмиль. — В таком случае уж лучше поеду я.

— Ты проводишь товарищей к своим, — сказал Тенис. — Постарайся только поскорей вернуться, ведь потом и тех, которые приедут, нужно будет проводить.

— А если на море с вами что-нибудь случится?

— Так и с тобой может случиться. А кто же тогда проведет товарищей через леса и болота? Так-то. Я сейчас пойду домой и поставлю котел на огонь. Тем, на остров, тоже надо отвезти чего-нибудь поесть.

Краснофлотцы, один за другим, подходили к старику и с благодарностью пожимали руку. Тенис Урга слегка смутился.

— Вот это дед!.. Ну и дед... — говорили они, провожая Тениса глазами.

...Как только стемнело, краснофлотцы перетащили свою лодку назад к берегу и спустили на воду. Оки помогли Тенису перенести парус и продукты для оставшихся на острове товарищей. Маленькую лодку привязали канатом к большой. С Тенисом отправился Королев.

Оставшиеся на берегу долго наблюдали, как темные лодки скользили по воде. Вот они прошли за вторую отмель. Широко развернулся серый парус, ветер надул полотно, и лодки исчезли в ночной тьме.

Эмиль долго всматривался в потемневший простор моря. Луна не взошла. Пенясь и рокоча, набегали на прибрежный песок волны — они катились наискось, с севера на юг. Холодный ветер обжигал лицо. Наконец, Эмиль повернулся.

— Ну, тронемся.

Небольшой отряд направился в лес.

Среди дюн одиноко темнела лачуга Тениса Урги.

Благодаря попутному ветру Тенис Урга и Королев до острова добрались в первую же ночь, и Королев быстро, без всяких затруднений, разыскал своих товарищей. Спрятав лодки среди камышей в устье небольшой речки, они дождались вечера и с наступлением темноты пустились в море.

Плыть приходилось наискось против ветра. Лодки дрейфовали, отклоняясь от курса, и каждые полчаса нужно было делать проверку. К рассвету им удалось достигнуть только середины залива. Нечего было и думать пристать к берегу днем. Тенис спустил парус и мачту, и весь день они качались среди воли. Чтобы ветер не отнес лодку слишком далеко на юг, двое все время оставались на веслах. К вечеру они очутились так близко от берега, что могли различить над линией горизонта на востоке шпиль церковной колокольни. За третью ночь они проделали оставшуюся

часть пути.

Все продукты были съедены еще на второй день, но разжигать огонь и варить ужин было опасно: не могло быть, чтобы в деревне не заметили исчезновения лодки и отсутствия Тениса.

Ранним утром Тенис Урга подвел свою лодку к берегу километра на два севернее поселка. У маленькой лодки краснофлотцы пробили дно, нагроутили ее камнями и утопили в полукилометре от берега. Пользуясь оставшимся в их распоряжении часом темноты, они наполнили водой и большую лодку, сняли с нее якорь, парус и мачты и оставили ее без привязи между первой и второй отмелью. Они помогли Тенису доставить парус домой.

Весь день Тенис провел со спасенными в лесу: хотелось дожидаться Эмиля и самолично убедиться в том, что и второй отряд уходит верной и безопасной дорогой.

Он наполнил два мешка картошкой, выловил из бочки оставшуюся соленую треску и предложил краснофлотцам взять все это с собою в лес.

— У тебя самого-то ничего не остается, дедушка, как ты проживешь до весны?

— Обо мне не беспокойтесь, — ответил Тенис. — У меня есть еще полбочонка салаки, а в дюнах зарыто мешка два картошки. Много ли мне, старику, нужно.

Расположившись на траве у лесной опушки, Тенис время от времени посматривал в сторону моря и на свою лачугу вдаль. Два раза за этот день он видел, как к домику подходили люди — человек пять или шесть... Обойдут кругом, постучатся, заглянут в окно, облазят все углы и уйдут обратно в поселок. Ну, конечно, разнохивают... что-то почуяли. Ждут...

...Под вечер возвратился Эмиль. Первая партия благополучно добралась до базы партизанского отряда и временно остановилась там, а Эмиль немедленно поспешил обратно. Он был готов, не отдыхая, снова отправиться в путь.

Краснофлотцы вскочили на ноги, взяли винтовки и построились. Эмиль подошел к деду.

— Дедушка, нам пора двигаться.

— Идите, сынки, идите, — сказал Тенис. — Вас ждет работа. Одно я хочу внушить вам накрепко... — Он побряхтел, как бы подыскивая слова. — Не кладите оружия, прежде чем наша земля не будет очищена от последнего врага... Это сорняки... нельзя давать им разрастаться, пускать корни — они заглушат у нас все доброе и хорошее. Надо искоренить их поскорее, пока ости не погубили всех честных и порядочных людей.

Торопитесь, сынки, торопитесь... ведь вы наши защитники и спасители.

— Исполним, дед, все исполним. Такую баню зададим этим грабителям, что им тошно станет. Но ты должен пойти с нами.

— Нет, сынок, мне лучше остаться здесь, на берегу. Там, в лесах, я мало чем смогу вам помочь, а здесь... кто знает, могу когда-нибудь еще пользу принести. Обо мне не беспокойтесь — уж я как-нибудь...

Никакие уговоры не помогли: Тенис не хотел связывать бойцов. Да и надеялся задержать ищеек. Об этом он не сказал никому.

На прощание Эмиль обнял деда и поцеловал.

— Скоро я приду сюда с товарищами. Если только фашисты осмелятся причинить тебе зло, дедушка, им придется дорого заплатить за это.

Эмиль и краснофлотцы ушли. Тенис медленно двинулся вдоль опушки к поселку.

Возвратившись домой, Тенис закрыл ставни и при свете свечи побрился, надел чистое белье. Перед тем как улечься, он достал старый альбом и долго разглядывал выцветшие, пожелтевшие фотографии. С каждой из них были связаны далекие воспоминания о прошлом. Перед глазами его прошла вся жизнь: детские шалости... мечты и стремления юности... беспощадные удары судьбы. Но как бы то ни было, за прожитую жизнь кое-что сделано. И после того как его самого, Тениса Урги, не будет на свете, останется борьба, стремление людей к справедливости, к свободе, к лучшей жизни. Молодые совершат то, о чем Тенис думал всю жизнь. И в этом сохранится некоей крошечной частицей его труд, его мысли и жизнь. И он приложил руку к общему делу. Стало быть, не даром жил.

...Утром через дюны по направлению к лачуге Тениса Урги шли четыре человека — Лединь и трое вооруженных фашистов.

Тенис заметил их и сразу понял, зачем они идут. Подсев к окну, он смотрел через головы идущих на берег, где темнели на песке черные кили вытасненных на сушу лодок, на море, которое пенилось и волновалось под натиском бури.

Вода отливала синеватым и зеленым, как спинка салаки. Против ветра летела чайка; временами ей удавалось прорваться вперед, подняться повыше, но затем порыв бури швырял ее назад, вниз, прижимая почти к самым гребням волн. Птица не сдавалась, снова и снова взмывала кверху, взмахивала крыльями и устремлялась навстречу ветру.

1942

Лангстинь идет на охоту

Ансис Лангстинь стоял, пригнувшись в кустах, и смотрел на изъезженную дорогу, по которой ночью доставляли на передовую боеприпасы и питание. На этом участке фронта было относительное затишье. Редкие очереди из автоматов да одиночные орудийные выстрелы, которые через каждые пять минут раздавались где-то позади, в зарослях кустарника, в счет не шли.

День выдался тихий и спокойный, но на сердце у Лангстиня было тяжело и тоскливо. И вовсе не потому, что моросил мелкий, надоедливый, осенний дождь, — брезентовая плащ-палатка хорошо защищала от сырости. К тому же в полевых условиях слякоть — явление обычное и не вызывает особого раздражения.

— Эх, шут меня возьми... — тихо выругался Лангстинь. — Не мог минутку потерпеть! И все было бы в порядке... А теперь — кусай себе локти.

В землянке командира роты, куда недавно зашел начальник штаба полка майор Креслинь, по всей вероятности, происходил крайне неприятный разговор. Лангстинь ясно представил себе, как его прямой начальник, командир разведывательной роты капитан Свикис, стоит вытянув руки по швам, и так как потолок землянки низок, а ростом природа его не обидела, то он держит голову наклоненной, как проштрафившийся школьник. Капитан Свикис — орел, а не человек! Однако он обязан терпеливо выслушивать резкие замечания начальника штаба и только иногда смущенно вставляет:

— Понимаю... Учту... Больше это не повторится...

— Это же просто позор, капитан Свикис, просто позор! — наверное, говорит Креслинь. — Где это видано, чтобы у разведчика произошел случайный выстрел?

Лангстинь ладонью смахнул со лба пот. На нем даже гимнастерка взмокла от пота. Проклятая невыдержанность... Ведь это он выстрелил, когда группа немецких разведчиков находилась в двадцати шагах. Он просто не мог совладать с собой: при свете луны немцы были так хорошо видны, любого бери на мушку. Ну и началась тогда музыка... Стреляли со всех сторон, только двум фашистам удалось удрать, остальные остались там же, на болоте. Но вражеские трупы ведь ни к чему... нужен живой. Если они не добудут «языка», то на днях обязательно придется вести разведку боем. «Из-за тебя, Ансис Лангстинь, может пролиться

драгоценная кровь товарищей... Может, это будет твой друг Рейнис Эзис из четвертой роты или твой брат Петер Лангстинь — пулеметчик...»

На сердце у Лангстиня с каждой минутой становилось тяжелее. Его высокая фигура сгорбилась, будто огромная каменная глыба легла ему на плечи.

— Нет, нет... — не то умоляюще, не то протестующе шепчет он и встряхивает головой. Со стальной каски скатываются капли дождя. — Этого нельзя допустить!

Уже одно то страшно угнетало, что по его, Лангстиня, вине командиру роты приходится получать нагоняй. Капитану Свикису, этому бесстрашному и безупречному командиру, надо стоять с опущенной головой, как провинившемуся. А как он заботится о своих бойцах... С каким вниманием и любовью, точно родной отец, он их обучал, закалял и водил на выполнение первых боевых заданий. За него каждый из разведчиков отдал бы свою жизнь. А теперь его, капитана Свикиса, наверняка бранят и стыдят за оплошность Лангстиня.

Ансис Лангстинь не привык давать волю своим чувствам. Но от таких мыслей спазма сдавила ему горло и глаза стали влажными. Своей большой рабочей рукой он смахнул каплю с кончика носа и тяжело вздохнул. «Ты будешь скотиной, Ансис, если к утру не восстановишь его добрую славу во всем полку. Ты это обязан сделать во что бы то ни стало».

Сменившись с поста, Лангстинь зашел в землянку, соскоблил бороду безопасной бритвой и, умывшись болотной водой, отправился к командиру роты.

— Разрешите, товарищ капитан?

Капитан Свикис рассеянно посмотрел на Лангстиня и, продолжая сосать свою старую почерневшую трубку, кивнул в знак согласия головой. Может быть, он обдумывал план ночного поиска, а может, вспомнил неприятный разговор с начальником штаба.

— Ну, Лангстинь, в чем дело? — спросил он вошедшего.

Низкий потолок землянки заставил Лангстиня согнуться в три погибели. Он переминался с ноги на ногу и щурился от яркого света.

— У меня к вам большая просьба, товарищ капитан, — наконец, выдавил Лангстинь и вздохнул. — Прошлой ночью мы оскандалились... не достали «языка». Если бы вы мне разрешили попытать счастье охотника... одному, на свой риск. Ручаюсь, что достану. Прошу вашего разрешения, товарищ капитан.

Командир роты несколько мгновений задумчиво смотрел на Лангстиня, барабаня пальцами по неоструганным доскам стола. Казалось,

этой гнетущей паузе не будет конца. Наконец, Свикис спросил:

— А как вы думаете это сделать?

Лангстинь изложил ему свой — план. Сержант пускал в ход все свое красноречие. Казалось, этот большой, неуклюжий на вид парень борется за свою собственную жизнь. Он говорил, что не переживет отказа. Он умолял, и уговаривал, и старался убедить. В настойчивости Лангсгиня было что-то непреодолимое, и Свикису стало его жаль — он не мог отказом огорчить своего разведчика.

— Ну хорошо, идите, — сказал он. — Но помните, вы должны вернуться самое позднее завтра к полудню. Понапрасну не рискуйте.

— Благодарю, товарищ капитан! — Лангстинь хотел лихо щелкнуть каблуками, но получился только странный скрип: подошвы сапог застряли в щелях жердяного пола землянки. Разрешите идти?

— Идите.

Широкая улыбка сияла на лице Лангсгиня, когда он вышел из землянки. Красный и все еще сгорбившийся, он быстро шагнул в свое подразделение.

— Куда так спешишь? — обратился к нему один из товарищей. — Наверное, табак получил?

Лангстинь махнул рукой и ничего не ответил.

...Лангстинь бесшумно пробирался через болото. Здесь не было ни дороги, ни пешеходной тропы. На зыбкой земляной корке кое-где росли мелкие кустики, да на кочках стелилась клюква. Иногда Лангстинь проваливался в трясины по колено, а то и по пояс. Он старался ступать так, чтобы не было слышно ни всплеска воды, ни чавканья болотной жижи. Время от времени он останавливался, припадал за кустарником на колени и на несколько минут замирал. Не заметив ничего подозрительного, он продолжал двигаться дальше.

Не переставая, моросил дождик. Луна и звезды скрывались за плотной пеленой облаков, ночь была темной — хоть глаз выколи. Направо, над равниной, расстилавшейся между передними краями — нашим и немецким, — все время взлетали ракеты. Едва потухала одна, как в воздух взлетала другая, озаряя все вокруг своим бледным таинственным светом. Под этим светом все окружающее — кустарники и даже окопы — казалось мертвым и безжизненным.

Как обычно, по ночам гитлеровцы нервничали. Постреливали из пулеметов, а иногда даже выпускали несколько мин. Заметив на нашей стороне малейшее движение, они открывали бешеный огонь и усиливали освещение местности. В воздухе гудели самолеты, и световые щупальцы

прожекторов скользили по облакам.

«Боятся, мерзавцы, — подумал Лангстинь. — Не любят темноты. Ничего, погодите немного, мы снова зададим вам перцу!»

Так, шаг за шагом, он пробирался дальше, пока часа через два не достиг западной оконечности болота. Разведчики еще раньше выяснили, что здесь нет ни одной огневой точки гитлеровцев. Очевидно, немцы рассчитывали, что болото непроходимо.

Лангстинь уже ранее тщательно изучил западный берег. Как-то раз он целый день наблюдал за ним, лежа в болоте. Он знал: левее, на склоне холма, расположен единственный «секрет» противника, поэтому надо держаться правее и выйти на берег шагов на двести севернее опасного места.

Выбравшись из болота, Лангстинь немного отдышался, оглянулся вокруг, прислушался и, убедившись, что остался незамеченным, продолжал свой опасный путь. Первая линия обороны немцев теперь была позади — справа и слева от болота. Проникнув еще на полкилометра вглубь расположения немцев; он повернул на север. На этом месте росла старая ива. Вершина дерева была сломана ударом молнии или срезана осколком снаряда, — эту примету разведчик хорошо запомнил.

Углубляясь во вражеский тыл, Лангстинь хорошо знал, что рискует жизнью, поэтому нервы его были напряжены до предела. Но всеми действиями его в этот час управляло жгучее желание: во что бы то ни стало добыть «языка». И не какого-нибудь, а способного дать ценные сведения. Без этого возвращаться нельзя, тогда уж лучше сгнить в болоте. Лангстинь подумал, что от результата поиска зависит — жить ему или умереть. И хотя так никто вопроса не ставил, он сам себя убедил, что так оно должно быть.

Да, задание нужно выполнить и самому остаться живым.

Лангстинь был опытным разведчиком, при ходьбе он старался ноги не отрывать от земли, а рот держать полуоткрытым — так дышалось легче; скользящие по траве шаги были почти бесшумными. Когда в сапогах стала хлюпать вода, он разулся, вылил воду и выжал мокрые портянки.

Только к полуночи Ансис Лангстинь достиг крутого обрыва, поросшего кустарником, где немцы, подобно стригам, выдолбили несколько гнезд-землянок. К одной из них тянулись провода — там, очевидно, помещался штаб. Время от времени к землянке подходили люди, навстречу им раздавался окрик часового. Проверив пароль, часовой пропускал их дальше.

Бесшумно, как тень, Лангстинь полз по кустарнику, подбираясь все ближе к часовому. На этот раз он был бесконечно терпеливым. Неожиданно

ему в щеку вонзился острый сучок, но, несмотря на сильную боль, разведчик не шевельнулся. Только дождавшись, когда из землянки вышел какой-то немец, он воспользовался шорохом его шагов, чтобы выдернуть сучок из ранки.

Целых полчаса потратил Лангстинь, чтобы подползти к часовому. Минут десять он стоял за его спиной, внимательно изучая окрестность и прислушиваясь к неясным голосам в землянке. Ему казалось, что часовой слышит его дыхание. Хорошо, что дождевые капли все время барабанят по листе кустарника.

На узкой тропинке, круто сбегавшей вниз, вспыхнул свет электрического фонарика. Часовой окликнул идущего и, осветив своим фонариком его лицо, поспешно вытянулся. Лангстинь успел заметить офицерские погоны и висевшие на боку у немца планшет и полевую сумку. У входа в землянку офицер столкнулся с другим, выходящим оттуда. Выходивший услужливо уступил дорогу, прижавшись к стенке прохода.

Как только затихли шаги ушедшего немца, Лангстинь приступил к делу. Его длинные железные пальцы сдавили горло часового, и вскоре тот лежал на земле без движения. Затащив труп в кусты, Лангстинь стал на место часового. На голове у него была немецкая каска, а на плечах плащ-палатка убитого гитлеровца.

Прошла минута, другая, третья... может быть, четверть часа. «Мне чертовски везет... — подумал Лангстинь. — Никто не появляется и, по-видимому, не появится, пока тот выйдет...»

Медленно открылась дверь землянки. В полосе света Лангстинь увидел худощавое улыбающееся лицо офицера. Это был тот, с полевой сумкой и планшеткой. Мурлыча себе под нос какую-то мелодию, офицер приближался к часовому. Лангстинь вытянулся и, отдав честь, пропустил его мимо. Только мимо себя, но не дальше.

Короткая, бесшумная схватка. Лангстинь оглушил офицера ударом кулака в висок, засунул в рот кляп, связал руки и, взвалив живую ношу на спину, направился вверх по крутому склону.

«Мне пока чертовски везет...» — Эта бодрая мысль заставила разведчика улыбнуться. По той же дороге, по которой прошел, Лангстинь торопился убраться подальше от землянки. Пройдя триста — четыреста шагов, он остановился, положил свою ношу на землю и проверил, крепко ли связаны у офицера руки. Планшет и полевую сумку Лангстинь нацепил на себя, пистолет и бинокль немца спрятал в карманах. Потом пощупал у своего пленника пульс и прислушался к дыханию. «Жив, стервец. Все в порядке... Теперь — к своим».

Лангстинь все дальше тащил свою добычу. То клал офицера на одно плечо, то перекладывал на другое, то брал в охапку, не отпуская ни на минуту. Дойдя до болота, он уже не таился так, как раньше, и меньше обращал внимания на хлюпанье болотной жижи и треск сучьев.

Когда позади взвились в воздух несколько ракет, Лангстинь лукаво усмехнулся: «Фрицы всполошились, наверное обнаружили пропажу... Что ж, ищите, ловите ветер в поле... Теперь уж не отдам. Не отпущу». Он еще крепче прижал к себе драгоценную ношу, которая ему казалась не тяжелее, чем матери ребенок. Весь измазанный грязью и тиной, промокший до нитки, он не чувствовал холода. Да и можно ли было сейчас думать об этом? За спиной разведчика все время взлетали ракеты, и пули со свистом проносились над болотом.

Когда Лангстинь выбрался из болота, на востоке появилась серая полоса, близился рассвет. Немного отдохнув и расправив затекшие суставы, он взвалил немца на спину и, выпрямившись во весь рост, медленно пошел вперед.

...Усталый и злой сидел капитан Свикис в своей землянке и сосал трубку. Уже несколько раз он намеревался позвонить начальнику штаба полка. Но каждый раз его рука невольно опускалась.

Как звонить, если он не может сообщить ничего нового и ценного? Этой ночью ходили в разведку все три взвода. С первым взводом участвовал в поиске лично сам Свикис. Обшарили всю нейтральную полосу, пробовали прощупать первую линию обороны противника, но все безрезультатно. Словно сам леший отводил их от немцев. И нельзя ведь сказать, что парни не старались. Каждый из разведчиков прекрасно знал, какое важное задание они получили: достать «языка» хоть из-под земли.

Неизвестно, была ли тому причиной поднятая прошлой ночью кутерьма, или что другое, только немцы держались так чутко и зорко, что разведчики и на этот раз вернулись ни с чем.

Свикис представил себе ехидное замечание начальника штаба, которым тот встретит его сообщение. Он скажет: «Я же знал, что у вас ничего не получится».

Положение не из приятных! Но ничего не поделаешь: эту горькую пилюлю все равно придется проглотить.

Он протянул руку к телефону и снова не снял трубку: «Успею. Позвоню утром. Креслинь, поди, еще спит. Зачем человеку сон зря перебивать?»

Снаружи слышались тяжелые шаги. Кто-то спускался по ступенькам и остановился у двери. Раздался стук.

— Кто там? — спросил Свикис.

— Сержант Лангстинь. Разрешите войти, товарищ капитан?

Капитан вздохнул.

— Войдите!

Ему показалось, что в землянку втиснулась лошадь и никак не может повернуться. Вошедший Лангстинь держал в охапке безжизненное тело вражеского офицера и в нерешительности озирался по сторонам.

— Куда бы его положить, товарищ капитан? Может, разрешите на топчан?.. Офицер все-таки... вшей не должно быть...

— Пленный? — Свикис поспешно вскочил на ноги.

— Так точно, товарищ капитан, — ответил Лангстинь.

— Кладите на топчан. Это ничего, что он в грязи, после вытрем. А вы, чертов сын, Лангстинь, все-таки молодец! Давайте его сюда, давайте!

Взглянув на лежавшего, Свикис определил, что перед ним майор гитлеровской армии. Вот это удача, так удача, черт возьми! Всю усталость и злость сразу как рукой сняло.

Лангстинь развязал пленнику руки и вынул изо рта кляп, потом встряхнул немца, чтобы тот пришел в себя. Но майор лежал, как куль мякины, — неподвижный, рыхлый и не открывал глаз.

— Встать! — по-немецки гаркнул Свикис. — Нечего тут нежиться, уже утро.

Майор не пошевелился. Свикис нагнулся над ним, приложил ухо к груди, потом осмотрел шею, руки. Лицо командира разведчиков посерело, в глазах мелькнула тень разочарования и огорчения.

— Что вы меня дурачите? — Капитан Свикис негодуя глянул на Лангстиня. — Я ведь не посылал вас подбирать фашистские трупы.

Теперь побледнел Лангстинь.

— Не может быть, товарищ капитан. Я же его взял живым... как есть живым... Даже не душил, только легонько стукнул по голове. Может, фриц без сознания?

— Да, без сознания... — сердито буркнул Свикис.

Затем они вдвоем взялись приводить немца в чувство. Вздволенные, как будто спасали жизнь близкого друга, с молчаливой поспешностью и старанием они около получаса возились с пленным, трясли его, переворачивали с боку на бок, делали искусственное дыхание, обливали водой. Временами прекратив возню, то один, то другой прикладывали ухо к груди пленного и слушали, бьется ли сердце. Потом, кряхтя и сопя, снова принимались за работу.

На обратном пути Лангстинь так помял майора, что у того, как

говорится, душа еле-еле держалась в теле... Теперь этого, почти мертвого, врага надо было воскресить. Они были готовы отдать даже частицу своей жизни, лишь бы вырвать из небытия лежавшего перед ними пленного майора.

Наконец, тот стал приходить в себя. Как только он начал подавать признаки жизни, Свикис разыскал припрятанную к годовщине дивизии бутылку вина и влил немного этой драгоценной жидкости майору в рот. Немец облизнулся, причмокнул губами и, открыв глаза, стал озадаченно озираться.

— Мой бог... — пролепетал майор, увидев, где он находится, и снова потерял сознание.

— Нет, голубчик, не выйдет, — воскликнул Свикис, и в его глазах снова мелькнула веселая искорка. — Хочешь не хочешь, а мы тебя теперь поставим на ноги.

И он принялся щекотать немца подмышками, потом еще раз спрыснул его водой. На этот раз майор быстро пришел в себя.

— Ну, кажись, будет жить... — облегченно сказал Лангстинь.

— Сейчас уже нечего горевать! — ответил Свикис. — Теперь он в наших руках. Расскажите-ка лучше, где это вам такого зверя удалось выследить?

Лангстинь рассказал все как было. Свикис только качал головой и тихо смеялся.

— Но вы-то что — в своем уме? Так стукнуть его, а потом сжимать в своих объятиях! Что бы мы стали делать, если бы он не очнулся?

— Виноват, товарищ капитан. — Лангстинь, сконфузившись, опустил глаза. — Что делать, если у меня рука тяжелая. К тому же он... фашист, грабитель. Вот и придавил чуть покрепче.

— В другой раз давите с расчетом.

— Постараюсь, товарищ капитан.

Лангстинь положил на стол перед командиром отобранные у пленного планшет, полевую сумку, пистолет и бинокль.

— Это трофеи, товарищ капитан. Может, пригодятся.

Свикис сразу набросился на содержимое полевой сумки. А когда вытащил из планшета карту с пометками, глаза его засверкали.

— Тут же нанесены все последние данные! — воскликнул Свикис. — Все, абсолютно все! Минные поля... пулеметные гнезда... батареи... Ну, вот что, Лангстинь, видно придется дать вам орден. Очень ценные сведения вы раздобыли, дорогой. Присмотрите-ка за майором, пока я буду говорить по телефону.

Свикис взял трубку и соединился со штабом полка. И тогда началось самое интересное. Пленного тут же приказали доставить в штаб дивизии, оттуда в штаб армии, но и здесь его долго не держали. Пленный, оказавшийся начальником оперативной части штаба дивизии, майор Эрнст Зевальд, представлял интерес и для командования фронта.

...Выспавшийся Ансис Лангстинь под вечер встретился с командиром роты. На миг замешкавшись, он обратился к нему:

— Позапрошлой ночью, товарищ капитан, когда получился этот случайный выстрел и мы не добыли «языка»... это я выстрелил. И вовсе не случайно... затмение на меня нашло... Не мог выдержать, когда перед моим носом крутился живой фашист. Прошу извинить, если можно. Больше такое никогда не повторится.

— Ну, хорошо, будем считать, что все в порядке, — ответил командир роты. Он крепко пожал Лангстиню руку и посмотрел ему в глаза с такой сердечностью и дружеской теплотой, что на душе у бойца стало легко и весело. — Хорошо, Лангстинь, все в порядке, — повторил он.

Спустя две недели сержант Ансис Лангстинь получил правительственную награду — орден Красного Знамени.

1945

Чувство долга

© Перевод Я. Шуман

В начале лета 1947 года мне пришлось присутствовать на республиканском совещании крестьян, которое происходило в промежутке между весенним севом и уборочными работами. На совещание съехалось несколько сот крестьян, рабочих совхозов, представителей первых колхозов Советской Латвии. Они рассказывали об успешном завершении весеннего сева и подготовке к уборочным работам. Этой весной крестьянство республики обязалось засеять большую площадь, чем когда-либо раньше, добиться высокого урожая всех сельскохозяйственных культур и досрочно рассчитаться по всем видам государственных поставок. Я помню, как многие товарищи, давая это обещание, покачивали головами, опасаясь, будут ли они в силах выполнить взятые на себя обязательства: это была проверка, смотр силы и сознательности крестьянства Латвии. И надо прямо сказать, что эту проверку оно с честью выдержало, — представители крестьян, прибывшие со всех концов республики, единодушно заверили: «Свое обещание мы не только выполним, но и перевыполним». Им можно

было поверить, ибо это были люди, не привыкшие бросать слова на ветер.

Мое внимание привлек к себе один из ораторов, выступивший вечером в конце прений. Его молодежавое худое лицо, если всмотреться повнимательнее, было покрыто множеством глубоких морщин, голубые глаза ласково и добродушно глядели на собравшихся, и взгляд его был спокоен и ясен, как у человека, который сознает, что выполнил все, что было в его силах. Он был председателем одного из молодых колхозов. Простыми, удивительно понятными словами рассказывал он совещанию о работе сельскохозяйственной артели, ни разу не подчеркнув своей личной роли. Но за простотой и скупостью его сообщения чувствовался страстный пафос и сдерживаемое вдохновение, железная воля и непоколебимая вера в свое дело. Целеустремлен и логичен был ход его мыслей, и хотя он не произнес ни одной витиеватой фразы, он завладел аудиторией с первых слов и держал в напряжении весь зал в течение всей своей десятиминутной речи. В конце выступления, когда он сообщил совещанию, что его коллектив уже в начале сентября рассчитается с государством по поставкам и закончит озимый сев, кто-то из членов президиума бросил реплику: «А если это окажется только обещанием? Чем вы можете подкрепить свои слова?»

Оратор повернулся к задавшему вопрос и несколько мгновений смотрел на него...

— Чем? Но ведь это наш долг перед народом и партией. Как можно не выполнить своего долга?

— Этот выполнит... — тихо промолвил сосед, давнишний мой знакомый. — Этого человека я знаю. Нет такой силы, которая могла бы его удержать, если он дал слово что-либо сделать.

Председатель совещания объявил перерыв до следующего утра, и мы с моим знакомым вышли на улицу.

— Признаюсь, во время последнего выступления я нарочно наблюдал за тобой, — заговорил он у выхода из здания. — Хотел убедиться, обратишь ли ты внимание на этого человека. Признайся, ты слушал его речь с напряженнейшим вниманием, с начала до конца.

— Ты прав, — ответил я.

— Если у тебя найдется полчаса времени, я рассказал бы об этом человеке и его жизни несколько подробнее. Тебе, как писателю, это может со временем пригодиться.

— Ладно, расскажи, — сказал я.

Мы уселись на скамеечке в парке около канала, и мой знакомый рассказал мне повесть про Яна Ауструма, которую я постарался

воспроизвести в точности такую, какую услышал из его уст.

— До войны я работал секретарем партийной организации на заводе «Пролетарий», — начал свой рассказ мой знакомый. — Ян Ауструм в то время был сменным мастером в одном из ведущих цехов нашего завода. До того товарищи по работе знали его как хорошего мастера, а сейчас мы убедились, что он обладает и незаурядными способностями организатора и новатора. Уже в конце сорокового года наш завод, наверное, был одним из первых в Риге, и в этом Яну Ауструму принадлежали наибольшие заслуги.

У него была семья — жена и шестилетний сынок Андрит, такой маленький, шустрый, светловолосый постреленок. В дни отдыха они все втроем выезжали куда-нибудь за город — в Сигулду или в Огре — или же отправлялись по грибы в окрестности Белого озера. Каждый понедельник Ауструм рассказывал мне и другим товарищам по работе, как он провел воскресенье, и стоило ему упомянуть о своем сынишке, как его лицо озарялось простодушной гордой улыбкой. Однажды он признался мне с откровенностью, характерной для чистосердечных людей, что для него в мире нет более дорогого существа, чем его маленький сынишка. Он сам изобретал и строил ему игрушки — маленькие оригинальные механизмы, которые так же мало походили на трафаретные игрушки из магазинов, как ваза, сделанная художником, на изготовленную простым гончаром глиняную посуду. Погруженный всю неделю в свою производственную работу, Ян Ауструм в субботу не мог дожидаться вечера; он радовался теплой ванне, которая ожидает его дома, и тому, что снова сможет один день целиком провести с женой и Андритом, — прочие вечера он возвращался домой так поздно, что заставал мальчика спящим. Мне кажется, что он был счастлив и доволен своей жизнью.

Это случилось в субботу, накануне Октябрьских праздников. На наш завод прибыли новые станки для механического цеха, и Ян Ауструм руководил их монтажей. Мы хотели сдать эти станки в эксплуатацию до седьмого ноября, чтобы до конца года значительно превысить производственный план. Каждый вечер монтажники работали сверхурочно, а к той субботе работа настолько продвинулась, что большинство рабочих можно было отпустить домой вовремя, — на заводе осталась лишь небольшая группа во главе с Яном Ауструмом. Директор завода и главный инженер уехали в Москву к наркому согласовывать вопрос о сырье и ассортименте, а меня вызвали на какое-то вечернее совещание в ЦК партии, так что Ауструм остался на заводе за хозяина.

Часов в семь вечера, когда все рабочие и конторские служащие уже разошлись и на заводе осталась только группа Ауструма — четыре

человека, в одном из цехов, рядом со складом готовой продукции, внезапно вспыхнул пожар. Несомненно, это было делом рук диверсантов, — агония старого, умирающего мира. Пожар заметили только тогда, когда пламя показалось в окнах цеха. Ауструм со своей группой немедленно бросился к месту пожара и организовал его тушение: пустили в работу огнетушители, местные пожарные краны и вызвали пожарных. Пока прибыли пожарные, пламя охватило весь цех и угрожало перекинуться на склад готовой продукции и механический цех. Из всех присутствующих, наверное, только Ауструм понимал, что означала бы гибель механического цеха. — завод вышел бы из строя на несколько месяцев. Спасти цех — означало спасти завод. Разыскав начальника пожарной команды, Ауструм заставил его сосредоточить струи брандспойтов на подходах к механическому цеху и к складу готовой продукции. Ему все время казалось, что пожарные слишком флегматично выполняют свои обязанности, хотя они делали все, что было в их силах. Сам он находился в непрерывном движении: появлялся в самых опасных местах, голыми руками отрывал занявшиеся доски какого-то сарая, затапывал горящие головешки. Наверное, он не чувствовал, что струйки соленого пота стекали по его щекам и шее и, смешиваясь с золой и сажой, совершенно измазали его лицо.

Спустя полчаса после начала пожара, когда пламя бушевало с наибольшей силой, прибежал дежурный заводоуправления и сообщил Ауструму, что его вызывают к телефону.

— Пусть позвонят позже! — отмахнулся Ауструм. — Вы же видите, что творится.

Дежурный ушел, а Ауструм продолжал тушить пожар. Пламя стало убывать, и главный очаг пожара — деревянная конструкция крыши цеха, крытая толем, рухнула, взметнув при этом вверх громадный вихрящийся столб искр. В эти минуты надо было проявить особую бдительность, чтобы заметить каждый маленький очажок огня на окружающих зданиях, вызванный падающими искрами.

В этот момент снова прибежал дежурный из конторы и, схватив Ауструма за рукав, до тех пор тряс его, пока Ауструм не обратил на него внимания.

— Ну, что опять? — спросил он.

— Вам звонят из дому, — взволнованно выкрикнул дежурный, стараясь перекричать шум пожара. — Весьма срочное и важное дело. Обязательно подойдите к аппарату.

— Сейчас нельзя! — крикнул в ответ ему Ауструм. — Пусть подождут. Позже я сам позвоню. И вообще, пока не потушен пожар, не

дергайте меня.

Дежурный хотел еще что-то сказать, но Ауструм не стал его слушать. Тогда дежурный, смущенный и недовольный, вернулся обратно в контору.

Через час им удалось окончательно обуздать стихию. Пламя потухло, в сгоревшем цехе еще тлели угли и догорали отдельные куски стропил. Пожарные заливали водой эти маленькие очаги пожара, пока и их не погасили. Только тогда Ауструм пошел в заводоуправление и позвонил домой. К аппарату подошла его старушка мать. Узнав голос сына, она заплакала.

— Янит, случилось большое несчастье... Андрит на улице попал под машину. Час тому назад его увезли в больницу. Навряд ли выживет. Все ждали тебя...

— Где Анна? — спросил Ауструм.

Дежурный с удивлением взглянул на него — таким чужим и изменившимся стал голос Ауструма.

— В больнице... У Андрита... — продолжала всхлипывать мать.

— Я сейчас же иду к ним... — сказал Ауструм и положил трубку...

Четверть часа спустя он был уже в больнице. С большим трудом ему удалось выяснить, в каком корпусе находится его сын, еще больших усилий стоило найти палату и заставить дежурного врача впустить его таким, каким он был в это время — грязным от работы и тушения пожара. Следующие полчаса он, точно немой, просидел у смертного ложа сына, держа в своей руке его маленькую, уже похолодевшую ручку и всматриваясь в его личико с такой лаской и болью, как будто все то, что перенес Андрит, повторялось сейчас в его собственном существе. Жена сидела по другую сторону кровати и всхлипывала, сдерживая рыдания. Ауструм, не глядя на нее, по временам произносил какие-то слова утешения.

Он опоздал на полчаса. Но он знал: если бы там, во время пожара, ему сказали, что произошло, даже и тогда он не пришел бы раньше. Все равно Андрит умер бы, не дождавшись своего папы.

Через некоторое время он встал, погладил еще раз холодное личико сына и сказал жене:

— Пойдем домой, Анна...

Он проводил ее до дому, впустил в квартиру, а сам направился обратно на завод. Сердце его обливалось кровью, и он ощущал щемящую боль от ужасной потери, но в то же время беспокоился и за завод: ликвидированы ли все очаги пожара? Как бы опять где-нибудь не начало тлеть...

Ночью он ходил около сгоревшего цеха, осматривал то, что еще

осталось от укрощенной стихии, — черные угли и обгоревшие стропила... повсюду запах гари. Да, огонь был погашен, склад и механический цех удалось спасти, и завод сможет работать без перерыва — сгоревший цех восстановят, не прекращая остальной работы. Теперь пламя боли начало полыхать в его собственной груди. Но ведь этого никто не видел, это чувствовал и об этом знал только он сам. Чтобы как-нибудь уменьшить эту острую боль, он направился к новым станкам в механический цех и работал там до утра над монтажей какого-то станка.

Больше всего его мучило то, что он не смог быть у сына в момент его смерти.

— Но я ведь не мог уйти, пока пожар не потушили... — говорил он мне потом. — Мне надо было быть там до самого конца. Ведь это был мой долг...

Летом 1942 года, по поручению Центрального Комитета партии, мне надо было отправиться на Северо-западный фронт и прочесть несколько докладов бойцам Латышской стрелковой дивизии. То было грозное время, когда фашистская армия, сконцентрировав громадные массы военной техники, вновь рвалась вперед, стремясь достигнуть Волги. Весь советский народ с глубоким напряжением следил за исходом титанической битвы в южнорусских степях, и на устах человечества было одно слово: «*Сталинград*».

Под вечер, накануне отъезда, я прибыл в штаб одного из полков, чтобы повидаться с другом детства, тогда майором, исполнявшим должность начальника штаба. Ты ведь сам тоже не раз бывал на фронте и знаешь, что значит гостить на передовой линии. Телефонные звонки, связные, взрывы мин то впереди, то позади тебя, обрывающийся разговор с непредвиденными паузами после каждой фразы... Командный пункт полка находился в землянке на склоне небольшой ложбины, откуда ухабистая дорога вела ко второй линии обороны, а впереди, до самых неприятельских позиций, простиралось ровное, открытое место, на котором кое-где виднелся мелкий кустарник. Посреди этой равнины, на участке правого фланга полка, подымалась, вроде островка, метров на пятнадцать, небольшая высота. Она находилась в руках фашистов, и они старались удержать ее любой ценой, так как оттуда можно было хорошо обозревать местность. Уже несколько раз наши пытались отбить эту высоту, но пока безуспешно: слишком открытое место не позволяло развернуть более крупные силы.

Штаб полка получил приказ в следующую ночь овладеть высотой во

что бы то ни стало, так как она была необходима для успешного проведения предстоящей более крупной операции наших войск. Овладение высотой предписывалось сделать небольшими силами, под покровом темноты, специально подобранными испытанными бойцами — без артиллерийской подготовки, которая в этом случае была невозможна. Вся операция строилась на внезапности атаки и неожиданности ее для неприятеля.

Как только в ротах стало известно о боевом задании, сразу же вызвалось много охотников, но больше одного стрелкового взвода для этого дела не требовалось, поэтому командир полка безжалостно отсеивал охотников и выбирал только лучших. Под вечер их собрали в кустарнике около командного пункта полка. Все, как на подбор, оказались комсомольцами и коммунистами, молодые парни и бессемейные мужчины, — командир дивизии приказал в эту операцию семейных не посылать. Ясно, что люди шли на смерть.

Не был только еще решен вопрос о командире штурмового взвода. Вызвались многие, но командир полка не решил, кого из них предпочесть. Затем в штаб полка явился какой-то младший лейтенант, и я стал невольным свидетелем необычного спора, который, наверное, мог произойти только в подобной обстановке. Командир полка всячески старался доказать, что этот человек не подходит к руководству предстоящей операцией, ибо в тылу на его иждивении находились мать и жена, но младший лейтенант выдвинул такие доводы, которые трудно было опровергнуть: разве в окопах при оборонительных боях семейные люди не могут пасть? Разве Красная Армия все свои соображения строит, рассчитывая только на холостяков? Главное сейчас не в том, останется ли жив, или погибнет младший лейтенант Ян Ауструм, а в том, чтобы овладеть высотой. Из всего среднего командного состава полка, считая и командиров батальонов, он, Ауструм, является единственным, побывавшим на этой высоте, — его взводу пришлось уступить ее врагу, и вот как раз потому он имеет сейчас предпочтительное право на ее освобождение.

— Это мой долг чести, товарищ полковник... — убеждал он. — Ведь вы не захотите лишиться меня возможности погасить старый мой долг.

В конечном счете в этом споре победил младший лейтенант Ауструм. Когда командир полка в конце концов дал свое согласие назначить Ауструма командиром штурмового взвода, я попросил разрешения на короткую беседу с Ауструмом, с которым мы не виделись уже более года.

Здороваясь, он крепко пожал мне руку, и в глазах его засветилась неподдельная радость.

— Где только нам не приходится встречаться! Что ты ищешь в таких суровых местах?

— То же, что и ты, — победу, — ответил я.

Он рассказал мне, как в начале войны вместе с эшелоном эвакуированного завода попал на Урал и несколько месяцев работал на большом военном заводе. Он считался почти как на военной службе, имел «броню» от призыва в армию. Когда туда пришла весть о формировании латышской дивизии, он сразу же стал просить директора завода об увольнении.

Директор категорически отказал ему в этом.

— Здесь вы нужнее, чем на фронте. В дивизии одним рядовым больше или меньше — ничего не значит, а на заводе вы сможете руководить цехом, будете командиром и снабдите снарядами всю дивизионную артиллерию. В ваши годы романтика подростка не к лицу.

— Товарищ директор, здесь речь не о романтике, этих подростков вы лучше оставьте в покое — они своей романтикой сегодня творят чудеса, — отпарировал Ауструм. — Мы оба коммунисты, поэтому поговорим попартийному: желаете ли вы, старый член партии, чтобы я, один из молодых ее членов, стал дезертиром? А я им стану, если вы сегодня же не отпустите меня с завода.

Наконец, Ауструма отпустили, и в конце сентября он прибыл в лагерь, где формировалась Латышская стрелковая дивизия. Он дрался под Москвой, перенес трудный полуголодный период у реки Ловати, когда дивизия из-за весенней распутицы несколько недель получала продовольствие только по воздуху. Командиром взвода он был назначен в конце апреля, тогда же, когда его наградили орденом Красной Звезды.

Нашу беседу пришлось вскоре прервать, ибо штурмовому взводу надо было с наступлением темноты занять исходные позиции. Прощаясь, Ауструм еще раз крепко пожал мне руку и, глядя в сторону, сказал:

— Моя жена работает на одном из больших уральских военных заводов. Если что-нибудь случится, передай привет. Скажи ей, что я должен был это сделать.

Спустя некоторое время он со своими бойцами выступил, взвод слился с мелким кустарником и зеленеющими полянами покрытой сумраком равнины. Над передним краем взвилась ракета.

Около полуночи, когда я уже вернулся в политотдел дивизии, с высоты внезапно донесся шум боя. Ясно различались торопливые, яростные автоматные и пулеметные очереди; похоже было, что там гудит раздраженный осиный рой; фосфоресцируя, проносились трассирующие

пули, бухали мины.

— Началось... наши ребята штурмуют высоту... — проговорил инструктор политотдела.

Выйдя из землянки, мы некоторое время наблюдали за битвой. Вокруг высоты в воздухе вспыхивали ракеты, и там было светло, как днем. Немного спустя шум боя затих, и у всех готов был сорваться один вопрос, задать который все же никто не решался.

«Удалось ли Ауструму? В чьих руках сейчас высота — у гитлеровцев или у нас?»

Как бы в ответ на этот невысказанный вопрос примерно через четверть часа гитлеровская артиллерия начала яростно обстреливать высоту. Значит, все же — в наших, и противник спешит уничтожить горстку смельчаков, пока к высоте не подошли наши более крупные силы. Снаряды рвались вокруг одиноко стоящей высоты, при свете ракет было видно, как она дымилась. Потом артиллерия умолкла, но сразу же послышалась трескотня автоматов и пулеметов — это, наверное, пошла в атаку вражеская пехота.

После этого наступила тишина до самого утра. Вздремнув несколько часов в политотдельской землянке, я в предутренних сумерках направился с одним сержантом к наблюдательному пункту командира артиллерийского дивизиона, устроенному на высоком восточном берегу небольшой речки. Командир дивизиона, молодой капитан, украинец, накануне пригласил меня посмотреть на действие наших «катюш». Мы подождали, пока окончательно рассвело; тогда капитан передал мне свой бинокль, показал через смотровую щель, куда будут ложиться снаряды «катюш», и, связавшись по телефону со своим начальством, велел открыть огонь. Метрах в трехстах от наблюдательного пункта внезапно запылали огнем кусты. Некоторое время казалось, что воздух наполнился ревом бури; реактивные снаряды, со сказочной быстротой следовавшие один за другим, проносились через нейтральную зону. В одном из секторов неприятельской оборонительной линии закипела, казалось, сама земля; все закружилось, задымилось, горели кусты, все почернело. Невозможно полностью описать последствия взрывов реактивных снарядов — это надо видеть собственными глазами, только тогда можно получить точное представление о мощи этого оружия.

Еще не прошел мой восторг от результатов действия «катюш», как с западной стороны из облаков вынырнули восемнадцать «юнкерсов» и, кружась над высотой, начали бомбить ее. Каждый бомбовоз, перед тем как сбросить бомбы, пикировал, и почти все бомбы падали на одинокую сопку. Почти все бомбы накрывали цель. Громадные столбы земли выбрасывались

в воздух и, падая обратно, засыпали высоту, погребая под собой все живое на ней. Наблюдая за этим адом, я все время невольно думал о Яне Ауструме и его товарищах: если они еще живы, то сейчас немецкая авиация на моих глазах зарывает их в огромную могилу. Каждому, кто видел, что сейчас происходит на высоте, было ясно, что там ни одному человеку не уцелеть.

Дальше произошло то, что можно было предвидеть: как только «юнкеры» закончили бомбежку, цепи гитлеровцев поднялись в атаку, спеша занять высоту. Но тут случилось невероятное: высота ожила, изрытая сплошными ямами земля заговорила языком автоматов, и цепям самоуверенных фашистов, которые уже предвкушали близкую победу, пришлось залечь и спешно отползти на свои исходные позиции.

Через час я покидал дивизию — машина уже ждала меня у штаба. Как раз в это время новая волна «юнкеров» приближалась к высоте, и началась еще более свирепая бомбардировка, чем в первый раз. Если во время первого налета кому-либо из храбрецов и удалось уцелеть, то теперь должны были погибнуть и последние герои. Я не видел, чем закончилась бомбежка и ужасный ураганный артиллерийский огонь, следовавший за ней, так как маленькая штабная машина уже выехала на шоссе и быстро пронеслась через выгоревший лесок к тылу, но конечный результат и так можно было себе представить. И хотя Ян Ауструм, погибая в бою за овладение высотой, только выполнял свой долг воина и гражданина, точно так же, как это делали многие другие благородные советские люди, на сердце у меня стало тяжело... Весь путь до Крестцов и Валдая я молчал, — не мог освободиться от мрачных дум: как рассказать об этом жене Ауструма?

В следующий раз я его встретил уже в Риге, весной 1945 года, сразу же после окончания войны. В то время ЦК КП(б) Латвии мобилизовал несколько сот коммунистов города для работы на селе. Я был тогда членом отборочной комиссии, которой надо было ознакомиться с каждым кандидатом и выяснить его пригодность для партийной работы на селе. Мне пришлось в связи с этим побывать почти во всех партийных организациях одного из районов Риги, участвовать в партийных собраниях и беседовать со многими товарищами. Рига только-только начинала оживать от причиненных ей гитлеровцами разрушений. Уже действовал водопровод, в домах и на улицах появилось электричество, начал работать трамвай, через Даугаву был построен новый деревянный мост, один за другим становились в строй заводы и фабрики, во всех театрах возобновились спектакли — жизнь, как принято говорить, вступила в свои

права. Поэтому не удивительно, что кое-кому из товарищей не хотелось уезжать из города, тем более что на селе происходила довольно острая, а часто и совершенно открытая классовая борьба. Руководители больших предприятий в свою очередь не желали терять своих лучших работников, и некоторые пытались отделаться формальным выполнением мобилизационного задания, рекомендуя для работы в деревне менее ценного для предприятия человека. Одним словом — работы было в достатке.

Яна Ауструма я встретил на партийном собрании того же завода, где мы работали с ним до войны. «Пролетарий» был полностью восстановлен. Вернувшись осенью 1944 года из эвакуации, Ауструм тотчас же был назначен начальником цеха. В бою за высоту он потерял левую руку и носил протез — ты этого, наверное, не заметил на совещании. Мать его умерла в эвакуации, жена часто хворала.

Партийной организации «Пролетария» предстояло мобилизовать двух товарищей для работы парторгами в волости. Казалось, выдвинуть двух подходящих человек из двадцати четырех членов партии и шести кандидатов — не такая уж трудная задача. На самом же деле это было не так просто: партийное собрание длилось уже второй час, а вопроса еще не решили. Каждый раз, когда выдвигали действительно подходящего кандидата, директор завода сопротивлялся:

— Вы хотите забрать мои лучшие кадры! С кем я буду выполнять производственный план? Кто будет обучать новых рабочих?

И каждый раз он был прав.

В конце концов с большим трудом договорились об одном кандидате — тот вырос в деревне и был согласен поехать на работу в свою родную волость. Но второго кандидата так и не удалось подобрать. Секретарь первичной организации предложил обратиться в райком с просьбой уменьшить мобилизационное задание для «Пролетария» до одного человека. Вполне естественно, что это предложение собранию не понравилось. Коммунисты смущенно переглядывались, директор неловко побрякивал и глядел в пол. Наступила тягостная тишина.

Тогда поднялся человек и попросил слова. Это был Ян Ауструм.

Выйдя вперед, он заговорил, обращаясь не к собранию, а к сидящим в президиуме.

— Позором было бы для нас, если бы мы не выполнили этого задания. Просить райком, чтобы освободили? На что это похоже? Если уж выходит так, что товарищ директор никого не может отпустить, то мною, одноруким инвалидом, он пожертвовать может. Запишите меня. Согласен работать в

деревне.

Через неделю Ауструм уехал в один из самых отдаленных углов Латвии парторгом волости. Это был беспокойный район: в лесах бродили диверсанты, по временам случались и террористические акты против советских активистов, кулаки саботировали каждое начинание советской власти. На третий день после приезда на новую работу парторг получил записку: «Если ты сейчас же не уберешься отсюда, мы повесим тебя у дороги на старой сосне».

Ауструм не дал себя запугать, а энергично взялся за работу. В короткое время ему удалось сплотить в волости крепкий актив и перетянуть на свою сторону всех новохозяев и середняков, интеллигенцию и молодежь. Он наладил работу волостного исполнительного комитета, выдвинул способных и честных людей, научил уважать советские законы и бдительно следил за их точным выполнением. С помощью актива он обуздал и кулаков, а чтобы они не артачились и не надеялись на шайку террористов, Ауструм организовал крепкую истребительную группу.

Осенью его волость одной из первых по уезду выполнила план государственных поставок, зимой раньше всех закончила заготовку и вывозку лесоматериала. Ауструм смело шел к крестьянам, глубоко вникал в их жизнь и знал все их радости и беды. Бескорыстие и справедливость Ауструма были очевидны для всех, а когда он проработал полгода, его авторитет уже перешагнул пределы волости.

Позже завод «Пролетарий» принял шефство над волостью Ауструма, помогал ремонтировать сельскохозяйственные машины, присылал агитаторов на время больших хозяйственно-политических кампаний. Таким образом, Ауструм больше не чувствовал себя оторванным от своего прежнего коллектива и как бы продолжал жить с ним совместной жизнью. Через несколько лет, когда все станет на свои рельсы и в волости вырастет достаточно сильная партийная организация, Ауструм надеялся вернуться опять в Ригу и снова работать на своем заводе, — там все-таки были его настоящий дом и родная стихия. Его жена, родившаяся и выросшая в городе, с нетерпением ждала этого дня: деревенская жизнь казалась ей слишком однообразной, и она никак не могла с ней примириться.

— Ладно, Анна, — подбадривал ее Ауструм, — когда организую в волости первый колхоз, моя миссия здесь будет окончена и я попрошу партийное руководство разрешить мне вернуться в Ригу. До того времени тебе все же придется потерпеть.

К весне 1947 года он уже подготовил крепкую инициативную группу — двенадцать крестьян, которые желали вступить на путь новой жизни и

организовать колхоз. Мне было поручено участвовать в организационном собрании этого коллективного хозяйства, и в один из воскресных дней в начале марта я прибыл туда вместе с первым секретарем уездного комитета партии и председателем уездного исполкома.

Собрание ознакомилось с уставом сельскохозяйственной артели и подробно обсудило каждый пункт. После этого крестьяне посоветовались со своими женами, сосед посоветовался с соседом. Когда каждая мелочь была выяснена, собрание приняло решение: «Признать необходимым и целесообразным организовать сельскохозяйственную артель и перейти с индивидуального хозяйства на коллективное».

— Колхозу нужен хороший председатель, — заговорил теперь секретарь уездного комитета партии. — Обдумайте хорошенько, кто из вас мог бы стать председателем правления колхоза.

Как бы сговорившись, все участники собрания взглянули на Ауструма. Он понял, что крестьяне хотели этим сказать, и заметно смутился.

— Надо бы объявить перерыв, — проговорил он. — Пусть люди с полчасика подумают и поговорят о кандидате. Возражений не будет? Нет! Объявляю перерыв.

Сам он тотчас же ушел на) квартиру, которая находилась вблизи волисполкома, по ту сторону дороги. Может быть, он удалился, чтобы не влиять на участников собрания, может захотел переговорить с женой...

Участникам собрания не нужно было ни полчаса, ни десяти, ни даже пяти минут для совещания.

— Если Ауструм встанет во главе нашей артели, тогда дело у нас получится, — сказал один из крестьян.

— Правильно! — отозвались остальные. — Ауструм должен стать председателем!

— А если он откажется или партия отзовет его на другую работу? — подал я реплику. — Что тогда?

— Тогда мы попросим вас обоих, с секретарем уездного комитета, уговорить Ауструма, чтобы он не бросал нас.

Я переглянулся с секретарем укома, тот улыбнулся.

— Придется эту просьбу выполнить.

Мы оба пошли на квартиру к Ауструму. Он стоял у окна и, задумавшись, глядел в сад. Его жена сидела на скамейке в углу комнаты и при нашем появлении досадливо нахмурилась и отвернулась от нас — не то рассерженная, не то испуганная. Мне стало жаль ее.

Я не навязывал своего личного мнения Ауструму и только рассказал, что собрание единодушно выразило желание видеть его во главе нового

колхоза.

— Люди ждут ответа. Что им сказать?

Ауструм тихо вздохнул и сразу же покраснел, наверное устыдившись того, что невольно выдал свои чувства.

— Тогда уж придется пойти к ним, — сказал он.

Его жена поднялась со скамьи. Глаза ее покраснели, грудь взволнованно дышала.

— Вспомни, Ян, что я тебе сказала... — начала она. — Если ты дашь себя уговорить, то оставайся один. Я здесь больше не останусь.

— Анна... — сказал Ауструм. — Подумай, что ты говоришь.

— Полтора года я думала... дни и ночи. Больше размышлять мне не о чем.

— Но как можно отказать народу, если он зовет?

— Неужели тебе самому ничего уже больше не принадлежит? Неужели ты не вправе иметь свои личные интересы и желания?

— Мне принадлежит доверие народа, и я счастлив обладать этим великим богатством. Не делай глупостей... — добавил он и вышел из комнаты.

Мой знакомый замолчал и, погружившись в раздумье, глядел в воды канала, совсем зеленые от отражавшейся в их зеркале листвы деревьев. В густо зеленеющей мураве начали драку два воробышка. Мимо нас, громко сигналив, проносились легковые машины и грузовики. Из дверей университета на бульвар высыпала кучка весело смеющейся молодежи. Жизнь бурлила — звонкая, вечно молодая и неугомонная.

— Ну, а дальше? — нарушил я молчание.

— Дальнейшее ты уже знаешь. Ауструм стал председателем колхоза. Он работает от зари до зари. Учится сам и учит других. Молодой колхоз расцветает и ожидает этой осенью такого урожая, какого не видывали здесь уже десятки лет. И хотя это только самое начало, все же молодой коллектив уже сегодня стал образцом для всего района, примером того, как надо работать, как вести хозяйство на нашей земле.

Что касается Анны, то она стгоряча действительно уехала в Ригу, но через несколько недель вернулась обратно, ибо оказалось, что Ауструм сильнее, чем предполагала Анна: от него не так легко уйти. Насколько мне известно, они живут дружно — о мелочах, возможно, иногда и поспорят, но о больших делах — никогда.

Вот и все, что я хотел тебе рассказать про этого человека. Если у тебя будет время и ты захочешь, съездим когда-нибудь к нему в гости — он будет очень рад.

Все люди добрые**© Перевод Я. Шуман**

Дом Катита стоял на лесной опушке, довольно далеко от шоссе, поэтому здесь редко можно было увидеть чужого человека. Хозяйство было небольшое: вся площадь его составляла двенадцать гектаров вместе с покосом, пастбищем и ни на что не годным куском болота, которое с северной стороны вклинивалось в землю Катита. Три дойные коровы, несколько свиней, овцы и кое-какая птица составляли все богатство маленького хозяйства. Сам хозяин, Екаб Катит, был человек незаметный — невысокого роста, жилистый, костлявый, преждевременно сторбившийся. Когда он в субботу сбривал бороду, то выглядел еще довольно молодо — вряд ли ему дали бы больше сорока лет, потому что волосы его слегка вились и в них не видно было ни одной серебряной нити, — но к середине недели, когда на лице пробивалась щетина — почти вся белая, — хозяин старел по меньшей мере лет на десять.

У него была жена Кристина, тихая и скромная труженица, сын Карлуша, которому весной исполнилось пятнадцать лет, и дочка — маленькая Ильзочка, года на четыре моложе своего брата.

Карлуша этой весной окончил основную школу и стал хорошим помощником отцу на полевых работах. Учитель, правда, говорил, что у мальчика есть способности и следовало бы его учить дальше, но это не совпадало с планами семейства Катита, поэтому Карлуше пришлось остаться в отцовском доме, которому ведь понадобится когда-нибудь новый хозяин. Ильзочку — ту можно и учить, если у нее будет желание. «Принуждать не нужно», — говорили родители.

«Разве плохо жить на своих двенадцати гектарах? — думал Катит. — Если будешь работать, хлеб, кусок мяса и одежда найдутся. Ты сам в своем доме хозяин и владыка, никто не сидит на твоей шее. Дети воспитываются в твердых правилах, и, когда ты состаришься и обессилеешь, твоя старость будет обеспечена».

По границе усадьбы Катита протекала маленькая речушка, она кишела раками, да и рыбы хватало. За березовой рощей темнели строения соседа, немного подалее виднелась группа других построек — там жил лесник со своей семьей и целой сворой собак. Правда, здесь не открывались далекие и просторные виды. Горизонт, очерченный лесом, холмами и рощами, был

довольно узок. Но что дает человеку простор? Он не накормит, не напоит, домой его не унесешь. Все это только выдумки и фантазии.

Катит был самым тихим и уживчивым человеком во всей волости; может быть, потому соседи прозвали его Пелите ^[19]. Иногда даже так и обращались к нему, и он не думал обижаться — ведь люди этим не хотели его унижить или высмеять. Никогда ни с кем он не вступал в пререкания, никогда никому не навязывал свои мнения. Уступчивый, смиренно-приветливый, прожил он свою жизнь и выработал свое собственное отношение ко всем превратностям судьбы. Он был убежден и пытался разъяснить своей семье и другим, что с каждым человеком можно ужиться, потому что в каждом человеке, по мнению Катита, заложено что-то хорошее и доброе. Нужно только уметь найти это хорошее и отыскать подход к нему, даже если человек запрятал его за десятью замками.

Никогда Катит не ответил никому злом на зло или грубостью на грубость. Его терпение и смиренная приветливость обезоруживали даже самых грозных людей, и они разговаривали с ним приветливее, чем со всеми остальными.

— Что посеешь, то и пожнешь... — имел обыкновение говорить Катит. — Какой мерой будешь мерить сам, такой и тебе отмерят.

В волости его считали честным, но недалеким человеком, потому что большинство людей не в силах было понять, почему Катит, за всю жизнь не сделавший вреда ни одному живому существу, держался так робко и униженно, точно он был виноват перед всем миром. Были даже такие, что считали его подхалимом, рабской душонкой. До Екаба Катита эти пересуды не доходили, поэтому он продолжал жить в мире вечного согласия, воздвигнутом им в своем воображении.

Он остерегался делать что-либо такое, что нравилось бы одним, но могло не понравиться другим. Когда существовали различные партии, он держался в стороне от них и отдавал свой голос на выборах в сейм каждый раз за другой список. В годы диктатуры Ульманиса начальник местных айзсаргов Друкис, один из самых зажиточных хозяев (а брат его был одним из директоров земельного банка), пригласил Катита вступить в айзсарги. Катит сердечно поблагодарил за высокую честь, оказанную ему Друкисом, но в айзсарги не пошел, — а те имели право носить мундир, оружие и всячески вмешиваться в жизнь своих соседей. Он сослался на занятость, слабое здоровье, низкое образование, умолял не сердиться на него за это и в конце концов отделался от Друкиса.

«Так нельзя... — думал он. — Если вступлю в айзсарги, что обо мне подумает беднота? Будут насмехаться надо мной».

В 1940 году, когда в Латвии установилась советская власть, Катита хотели избрать членом волостного исполнительного комитета. И опять он умолял, ссылаясь на слабое здоровье и низкое образование... и остался в стороне.

«Если буду работать в волостном исполнительном комитете, что подумают обо мне крупные хозяева? — рассуждал он сам с собой. — Скажут, что я присоединился к коммунистам».

По этой же самой причине, чтобы не огорчить волостных богачей, Катит не позволил сыну Карлуше вступить в комсомол, а Ильзочке — в пионерки, хотя они оба очень хотели этого.

— Мы с матерью прожили свой век без всяких партий и организаций, — пояснил отец. — И чем нам плохо? Разве мы от этого стали хуже других людей? Берите пример с родителей — это пригодится в жизни.

Летом 1941 года, когда началась война, Катит и не думал об эвакуации.

— Нельзя же оставить дом без хозяина, — говорил он. — Что станет с землей и скотиной, если мы уйдем на чужбину? Все пропадет. И почему мне нужно бежать? Я никому ничего дурного не сделал, и мне некого бояться. Если я не стану вмешиваться в политику, меня не тронут.

С большой сердечностью и задушевностью проводил он в далекий неведомый путь тех, кто уходил вместе с Красной Армией, — пожелал им всего наилучшего, счастливого пути и возвращения, некоторым из близких своих знакомых даже дал на дорогу по туюску масла и по кусочку копченого свиного окорока. И, надо сказать, он действительно от всего сердца желал им самого хорошего, но дом Катита все же стоит неизмеримо дороже, чем любая дружба. Поэтому Екаб остался на своем месте — твердый и непоколебимый в своем решении, как скала.

С пугливой, тихой улыбочкой ожидал он фашистскую армию. Дом Катита стоял довольно далеко от главных дорог, и можно было ожидать, что вражеские солдаты не сунут сюда носа. Так и случилось: прошла неделя, другая, и ни один оккупант не показывался во владениях Катита. И ему уже начало казаться, что все бури грозного времени промчатся, минуя этот остров мира и согласия, что удастся спокойно прожить бурные годы великой борьбы, не давая втянуть себя в орбиту ее и сохранив невредимым свой маленький мирок.

Когда прошла и третья неделя и никто не добрался до Катитов, Екаб сказал своей жене:

— Видишь, как хорошо, что мы ни во что не вмешивались. Теперь никто нас не трогает. И разве я не был прав: фашисты — такие же люди. Почему мы должны их бояться, как зверей?

Однажды из волостного правления пришло извещение, что Катиту на следующий день нужно явиться туда для получения наряда на гужевую повинность. Это распоряжение встревожило Екаба.

Что им там понадобилось, если они в самую горячую, сенокосную пору отрывают крестьянина и вызывают его в волостное правление?

Он долго вертел листок извещения и обстоятельно разглядывал подпись и печать. Волостным старшиной был опять старый Грантскалис — тот самый, который здесь распоряжался во времена Ульманиса. Одна только подпись с энергично вычерченным, удивительно извилистым хвостом занимала четверть листа. А какая точка была поставлена рядом с подписью! Попробуй такой не подчиниться — тогда и твоему благополучию точка.

Катиту очень не хотелось ехать. Он имел довольно туманное представление о том, что сейчас происходило и как жилось в оккупированной фашистами Латвии. Он совершенно не знал, как ему держаться, что следует говорить и как быть. Карлуша сказал, что на гужевую повинность мог бы поехать и он, совсем незачем отцу тащиться в такую даль в волостное правление. Вначале Катит почти согласился, но потом рассудил, что волостной старшина может дурно истолковать это и получатся большие неприятности.

Нет, нет, будет лучше, если он сам явится в волостное правление и покажется Грантскалису: смотрите, вот я прибыл по вашему распоряжению!

В конце концов решили ехать оба с Карлушей. Если они увидят, что гужевая повинность задержит их на несколько дней, один сможет вернуться домой и рассказать Кристине, в чем дело, чтобы она не тревожилась напрасно.

Они выехали рано утром, рассчитывая около девяти часов быть у волостного правления. Не зная, какое будет задание, Катит взял с собой лопату, топор и связку веревок.

Было теплое солнечное утро. В траве сверкали капли росы. В поле и кустах щебетали птицы, учились летать молодые скворцы, и, нужно отдать им справедливость, с неплохими результатами, — ни лисичка-сестричка, ни вышедший на охоту кот ничего не смогли бы поделаться с этими представителями младшего поколения скворцов.

Кое-где крестьяне косили траву, используя утренние часы, когда коса лучше всего берет. Катит говорил косцам: «Бог в помощь», обменивался с каждым из них несколькими словами о погоде, здоровье и ехал дальше.

Карлуша давно нигде не бывал. Когда телега выехала на шоссе,

мальчик с жадностью окинул взором обширный мир, раскрывшийся его глазам. Изредка на шоссе показывались гитлеровцы на мотоциклах, в автомашинах, некоторые на велосипедах. Карлуша смотрел на них со сдержанным любопытством. Екаб Катит, заметив фашистов, издали сдергивал с головы шапку, и когда они проезжали мимо, он усердно кланялся. Некоторые кивком головы или движением руки отвечали на его приветствие, другие подозрительно приглядывались к крестьянину, а иные даже не поворачивались в его сторону и проносились на большой скорости мимо. Крестьянин с улыбкой смотрел вслед им и комкал в руках мятую шапку — он не надевал ее до тех пор, пока немцы не удалялись.

Карлуша выехал без шапки. Его пышные светлые волосы золотились, освещаемые утренним солнцем. Мальчика временами одолевало чувство стыда за отца: что уж он так усердно кланяется этим фашистам? Как будто они были невесть кто или знали его! Наконец, он не вытерпел:

— Отец! Ты бы лучше сунул шапку под сено — тогда не нужно будет ее все время снимать. Смотри, как я... кто ко мне может придаться?

— Ты этого еще не понимаешь, — отвечал отец. — Если на мне не будет шапки, фашисты не увидят, что я их приветствую. Нужно, чтобы они это видели.

— Зачем?

— Они будут хорошо думать о нас.

— Не все ли равно, что они о нас думают. Они ведь с нами незнакомы и не знают, где мы живем. Что они могут нам сделать?

— Не говори так, Карлуша. В жизни всегда надо смотреть вперед, думать о будущем. Сегодня он проехал мимо тебя, завтра обстоятельства приводят тебя к нему, и он вспоминает, что вчера видел тебя на шоссе и что ты его благопристойно приветствовал. Тогда ему становится ясно, что ты порядочный, надежный и хорошо воспитанный человек, и он обходится с тобой хорошо. Но попробуй ты не приветствовать его... Нет, лучше всегда по-хорошему. Слушай меня, и ты не ошибешься.

Шоссе круто повернуло налево, как бы стремясь навстречу проселочной дороге, которая сразу же за поворотом соединилась с ним.

— Что это? — вскрикнул вдруг Катит и от неожиданности даже остановил лошадь. И хотя вблизи не было ни одного солдата, он опять снял шапку, и его взгляд не мог оторваться от какого-то предмета, видневшегося впереди — в остром клине, где соединялись шоссе и проселочная дорога. Теперь и Карлуша посмотрел туда, и от внезапного потрясения у него онемели ноги: на краю дороги у телефонного столба, рядом с которым в землю был врыт другой столб, соединенный с первым перекладиной, висел

человек. Это был молодой парень, почти мальчик. Руки его были связаны за спиной конопляной веревкой, ноги босы. На нем были только штаны и синяя трикотажная рубашка. Мертвец медленно поворачивался вокруг собственной оси, раскачиваемый утренним ветерком. В соседней роще нетерпеливо стрекотали сороки. По пашне разгуливали вороны и издали наблюдали за повешенным.

— Отец! — закричал Карлуша и в волнении схватил отца за плечи. — Ведь это Рейнис Скуинь!

— Это тот комсомолец? — спросил Катит. — Тот самый агитатор, что приходил к нам во время выборов?

— Да, отец... тот самый, — шептал Карлуша. — Он только на два года старше меня. За что его... так?

Катит разом натянул вожжи и принялся хлестать кнутом лошадь. Хотелось скорее миновать это страшное место. Лошадь поскакала галопом. Когда дорога свернула в кустарник и виселица скрылась из виду, Катит пустил лошадь легкой рысью.

— За что? — ответил только теперь он Карлуше. — За то, что комсомолец. Теперь ты видишь, как хорошо, что ты не вступил в комсомол. Возможно, что и ты бы там висел. Теперь же тебя никто не тронет. Всегда надо слушаться старших.

— Но разве за это надо вешать? — продолжал Карлуша. — Рейнис Скуинь был самым честным парнем в волости. Он ни одному человеку не сделал зла. Как ты думаешь, отец, разве это справедливо... разве это хорошо?

— Они, вероятно, знают, зачем это делают, — уклончиво проворчал Катит. — А тебе я дам хороший совет: ты много не болтай об этом Рейнисе... что честный, хороший и тому подобное. Еще подумают, что вы дружили и еще неизвестно что...

— Но ведь действительно дружили!

— Кто теперь должен об этом знать? — сказал отец. — Этим ты только накличешь беду. Оставь теперь Рейниса в покое, ему больше не нужна твоя дружба. Лучше подумай, как самому сохранить шкуру.

Карлуша вздохнул и долго молчал. Колеса громко стучали и поднимали пыль. Дорога спускалась вниз, в ложбину, склон которой был покрыт густым ельником. Дальше за ложбиной простирался лесной массив; там, на противоположной опушке, находился дом волостного правления.

Карлуша опять вспомнил Рейниса. Почему он не ушел с Красной Армией? Вероятно, не успел...

Дорога свернула в лес. Могучие зеленые деревья стройно поднимались

над землей, вытягивали свои ветви навстречу солнцу, и такой покой, такая торжественная тишина царила в лесу, как будто ему не было дела ни до каких мирских бурь. Внизу, под сенью высоких деревьев, прятался папоротник, то там, то сям, внезапно, как маленькое чудо, из моха выглядывал ярко-красный подосиновик или подберезовик. Покачиваясь, как на волнах, через дорогу перелетел дятел, а в кустах орешника оживленно прыгала рыжая белка, хозяйственно прикидывая на глаз, какой урожай орехов можно ожидать этим летом.

Посреди леса левая сторона дороги в одном месте круто обрывалась, образуя изрытый песчаный откос. На краю этого обрыва стояли пятеро мужчин со связанными за спиной руками. Целый отряд людей, вооруженных винтовками, автоматами и пистолетами, преграждал путь. Катит оторопел и хотел повернуть лошадь обратно или свернуть в сторону. Эта встреча ему не понравилась, он начинал кое-что понимать — слишком уж ясна была ситуация там, на краю обрыва.

«На расстрел привели... — подумал Катит. — Посторонний глаз в таких случаях нежелателен. Те, что с винтовками, не очень обрадуются нашему появлению». Среди пятерых, что стояли со связанными руками, Катит узнал своего двоюродного брата Яна Иесалниека. Это был человек примерно одних лет с Катитом, только гораздо выше его ростом. При советской власти Иесалниека работал в комиссии по землеустройству и национализировал у кулаков лишние, сверх положенных тридцати гектаров, земли. Говорили, что он принят в партию.

«Ах ты, неразумная голова... — подумал Катит про своего родственника. — И почему ты не уехал, когда видел, что приближаются гитлеровцы? На что ты надеялся?»

Катиту не удалось уклониться от встречи с вооруженной группой. Его уже заметили. В тот самый момент, когда он хотел повернуть лошадь в лес, его остановил повелительный окрик:

— Обожди, Катит! Езжай сюда!

По голосу Катит узнал начальника айзсаргов Друкиса. Он опять носил свой старый мундир.

— Не знаю, как быть, господин Друкис.— отозвался Катит. — Лошаденка у меня пугливая... как бы не понесла. Еще убьет кого-нибудь.

— Езжай, езжай, Пелите! — смеялись айзсарги. — С тобой ничего не случится, а твоя лошадка нам скоро будет нужна.

— Я еду на выполнение гужевой повинности... — пояснил Катит.

— Вот и прекрасно, — сказал Друкис. — Тогда ты свою повинность здесь и отработаешь. Не беспокойся — я сообщу Грантскалису, что мы тебя

задержали и дали другое задание. Ну, как тебе нравятся эти молодчики? — Он указал на пленных у обрыва. — Один краснее другого. Трудно сказать, кто из них самый ярый. Как тебе кажется? Да вылезай же из телеги, разомни ноги.

Катит отдал вожжи Карлуше и слез с телеги. Следуя приказанию Друкиса, он взглянул на тех пятерых, которые, ожидая решения своей участи, стояли со связанными руками на краю обрыва. Самым старшим из них был Иесалниек; он стоял посередине группы, выпрямившись во весь свой громадный рост, и с видом полного безразличия смотрел поверх голов айзсаргов, куда-то вдаль. Направо от него стоял молодой плечистый парень с непокрытой головой и босыми ногами, в сильно поношенных брюках армейского латвийского образца — синий кант свидетельствовал, что они принадлежали артиллеристу; рубашка парня разорвана была в клочья и пестрела пятнами крови. Рядом с ним, опираясь на атлетическое плечо соседа, стоял бледный тонкий юноша, почти мальчик: не нужно было быть особенно наблюдательным, чтобы определить, что они братья — один зрелого возраста, возмужавший, второй еще подросток. По другую сторону Иесалниека стоял небольшого роста усатый милиционер в гимнастерке с сорванными петлицами и крестьянин лет тридцати в домотканной серой одежде и в постолах. Лица всех, за исключением подростка, заросли недельной щетиной и казались поэтому хмурыми и грязными. Видно было, что люди успели пройти через такие страшные муки, что даже сознание приближающейся смерти уже не волновало их. Ни один из этих пяти человек не пал духом и не просил пощады ни словом, ни взглядом.

— Ну, Пелите, что ты скажешь? — заговорил Друкис. — Солидная компания, не правда ли? Через полчаса они будут у преддверия ада играть в карты: кто проиграет, первым полезет в котел с кипящей смолой.

Смущенный и взволнованный, Катит смотрел на обреченных на смерть людей и мучительно соображал, как бы уйти из этого страшного места, прежде чем айзсарги начнут стрелять. Но он ничего не придумал и чувствовал, что находится в полной зависимости от Друкиса. О каком задании он говорил? Можно будет гужевую повинность отработать здесь... значит, нечего и думать об отъезде, пока все не кончится.

Катит почувствовал, как все его тело покрывается холодным потом. Он не знал, куда девать глаза.

— Да... — бормотал он. — Ну, да... господин Друкис.

Друкис что-то надумал. Он подмигнул айзсаргам, усмехнулся и сказал Катиту:

— Ты не желаешь поупражняться, Пелите? Неизвестно, представится

ли тебе еще когда-нибудь такая возможность.

— Как «поупражняться»? — Катит обалдело взглянул на Друкиса.

— Ну, так — возьми и пошли одного из них на тот свет, — ответил Друкис. — Вот тебе автомат, возьми его и открой огонь. Мишенью выбери любого из этих пятерых. Я бы рекомендовал тебе вон того, долговязого, который стоит посередине. Это Иесалник — ты должен знать его.

Иесалник, вероятно услышав, что говорят о нем, повернулся к ним. Несколько мгновений его спокойный, острый взгляд как бы мерился силой с растерянным, смущенным взглядом Катита, затем на губах Иесалника мелькнуло подобие усмешки, и он отвернулся. Катит опустил глаза и тяжело вздохнул.

— Господин Друкис... — мямлил он. — Это большая честь, что вы так... мне разрешаете... но я ведь не умею стрелять. На военной службе не служил... получил белый билет. Я ничего в этих делах не понимаю. Только не сердитесь... Я бы охотно выполнил, но что поделаешь, если не обучен таким делам.

Друкис вытаращил глаза и сделал сердитое лицо.

— Что? Ты отказываешься? Ты пренебрегаешь большой честью, которую тебе оказывают?

— Нет же, нет, я только...

— Как «нет»? — закричал Друкис. — Ты не желаешь стрелять потому, что заодно с ними! Если так, становись рядом с этими пятерыми. Вместе отправитесь на тот свет!

— Господин Друкис, зачем вы так говорите! — умоляюще воскликнул Катит. Он не заметил, как Друкис, усмехнувшись, перемигнулся с остальными айзсаргами, не понял, что над ним потешаются. — Вы же знаете, что я за человек. Понимаю ли я что-нибудь в политике? Кто может сказать про меня что-нибудь плохое... я...

— Довольно, хватит... — отмахнулся Друкис. — Нечего тянуть. Становись рядом с ними. Ребята, помогите Пелите отыскать свое место.

Два айзсарга взяли Катита под руки, отвели в сторону от дороги и поставили у обрыва, рядом с подростком.

— Стой здесь и не двигайся с места, — пригрозили они ему и вернулись обратно.

Катит упал на колени и жалобно посмотрел на Друкиса.

— Я не виноват, господин Друкис. Ни с какими коммунистами я никогда не связывался. Я не пошел работать членом исполнительного комитета, мои дети не вступили в комсомол... Я всегда дружил с такими, как вы, господин Друкис. Ну, помилуйте меня, дорогой господин! Ведь я же

честный человек, вы это знаете. Что я могу поделаться, если не умею стрелять. Если бы умел, я бы не стал упираться, а сделал бы все по вашему приказанию... Простите меня.

Карлуша все это время сидел в телеге, и никто не обращал на него внимания. Когда отца поставили рядом с теми, кто был приведен на расстрел, сердце мальчика дрогнуло. Он не мог сдержаться и громко заплакал. Иесалник, за ним милиционер посмотрели в его сторону, потом к телеге подошел Друкис и приглушенным голосом сердито прошипел: «Не ори, молокосос! Неужели ты не понимаешь, что это шутка? Твоего отца никто не собирается расстреливать... только немножко попугаем».

Карлуша замолчал и, пораженный, наблюдал за происходящим. Когда отец бросился на колени и, хныкая, начал упрашивать Друкиса, Карлуша почувствовал, что его заливают горячая волна стыда; пятеро, которым действительно предстояло умереть этим утром и которые знали о том, что они скоро умрут, стояли и спокойно смотрели на своих палачей, и никто из них не просил пощады, тогда как отец... он валялся в дорожной пыли и выпрашивал прощение, унижался.

В эту минуту Иесалник еще раз посмотрел на Катита и проговорил так, чтобы все слышали:

— Стыдись, Екаб. Если уж нужно умереть, то умри так, чтобы твоим детям не приходилось краснеть за тебя. Что они могут нам сделать? — кивнул он головой в сторону айзсаргов, и его голос сделался громче; каждое слово, как пощечина, хлестало по лицам палачей, и они дергались и вздрагивали, как бы физически ощущая удары, а красные пятна на их щеках сменялись бледностью. — Расстрелять? Это они могут. Но уничтожить нашу правду, победить наше дело они не в силах. Они бессильны сейчас и во веки веков. Мы победим, настанет день, когда народ потребует отчета за все причиненные ему обиды. Ведь с нами партия и Сталин! Советский народ победит! А вы, мелкие кровожадные хорьки, вы не избегнете расплаты! Не долго осталось вам бесноваться!

— Что? Как? Ты осмеливаешься... — сиплым от душившейся его злобы голосом захрипел Друкис. Он хотел кинуться на Иесалника, его плечи тряслись от бешенства, но в эту минуту за поворотом дороги заревел мотор грузовика. Вслед за громадной машиной, наполненной солдатами, закручиваясь вихрем, несло облако пыли. Заметив приближавшуюся машину, айзсарги отошли на обочину дороги. Друкис встал в положение «смирно» и приветствовал фашистов. Машина резко затормозила и остановилась рядом с повозкой. Карлуша на мгновение потерял из виду отца и остальных. Он дернул вожжи, проехал несколько шагов вперед и,

когда стали видны выстроенные на краю обрыва люди, остановил лошадь. Отец, наконец, поднялся на ноги и, сгорбившись, стоял у дороги, не спуская глаз с Друкиса. Из кабинки шофера вылез длинный обер-фельдфебель с засученными рукавами куртки.

— Что здесь происходит? — резко спросил он. — Что это за люди?

— Это коммунисты, — поспешил разъяснить Друкис. — Мы их привели на расстрел. Сейчас будет исполнено, господин офицер.

Обер-фельдфебель сделал вид, что не слышит грубей лести, — не впервые подобострастные людишки называли его офицером. Он махнул рукой солдатам и что-то крикнул. Двое солдат с автоматами в руках выпрыгнули из машины и встали посередине дороги лицом к обрыву. Обер-фельдфебель зевнул и сказал Друкису:

— Я вижу, что вам с вашими людьми не справиться. Вероятно, нет опыта в таких делах. Мы поможем вам и покажем, как это делается. Готовы? — спросил он солдат. — Огонь!

— Господин офицер, один из них не подлежит расстрелу, — воскликнул Друкис. — Он только...

Но было уже поздно. Треск продолжительной очереди заглушил крик Друкиса. Шесть окровавленных тел упали в дорожную пыль. Рядом с другими, с застывшим на лице недоумением, навзничь лежал Катит.

— Что вы хотели сказать? — спросил обер-фельдфебель Друкиса, когда выстрелы стихли.

— Сейчас произошло небольшое недоразумение... — сказал Друкис. — Одного из них не надо было расстреливать. Мы его поставили рядом с осужденными просто так, чтобы попугать.

— Зачем вы его пугали?

Друкис в нескольких словах рассказал ему все. Обер-фельдфебель и солдаты слушали с большим интересом. Когда Друкис замолк, обер-фельдфебель расхохотался. Увидев это, солдаты тоже засмеялись.

— Не был коммунистом? Ха, ха, ха! Ну, святой Петр там наверху выяснит, кто кем был. В конце концов не такое уж большое несчастье. Одной латышской свиньей больше или меньше — не важно.

Они уселись в машину и уехали, и долго еще доносились громкие раскаты смеха. Прислушиваясь к ним, Друкис почувствовал некоторое облегчение.

— Обер-фельдфебель прав, — сказал он. — Ничего особенного не произошло. Стрелять-то ведь он отказался! Из одной породы с теми пятью был. Все произошло совершенно правильно.

— Конечно, правильно, — согласились остальные айзсарги.

Только теперь они заметили Карлушу. Бледный, оцепеневший, со сжатыми губами, мальчик глядел через дорогу на край обрыва, где на песке лежал Екаб Катит. Карлуша больше не плакал. Он ничего не говорил, только, не веря своим глазам, не мигая смотрел на труп отца.

Воцарилось неловкое молчание. Айзсарги избегали смотреть на Карлушу и друг на друга. Из этого неловкого состояния их вывел резкий, повелительный окрик Друкиса:

— Ну, чего смотрите! Грузите их на телегу, и свезем в лес! Слишком много чести будет, если мы этих большевиков похороним у дороги. Ну, мальчик, что тарацишь глаза? Поворачивай свою лошадь и вылезай из телеги.

Карлуша понемногу освобождался от охватившего его оцепенения, но Друкису пришлось повторить свое распоряжение — только тогда мальчик понял, чего от него хотят. Расстрелянных положили в телегу и увезли в лес, метров на двести от дороги. Здесь айзсарги вырыли у подножия какого-то холма неглубокую, фута в два, яму.

Когда айзсарги потащили расстрелянных за ноги к яме, Карлуша собрался с духом и потянул Друкиса за рукав:

— Господин Друкис, я вас очень прошу... Нельзя ли свезти отца домой? Мы никому не скажем... похороним в углу сада у погреба. Разрешите, господин Друкис...

— Еще чего захотел! — вспыхнул Друкис. — Отстань! И попробуй кому-нибудь рассказать о том, что ты здесь видел, — узнаешь тогда. — Он выхватил револьвер и потряс им перед лицом Карлуши. — У меня очень легкая рука на такие дела. Ты намотай это себе на ус.

Карлуша замолчал и отошел.

...Под вечер Карлуша приехал домой. Он выпряг лошадь и отвел ее в загон, затем вернулся и убрал под навес амбара сбрую. И только после этого разыскал мать. Они уселись на скамейке возле дома и тихо заговорили. Кристина, подавляя рыдания, глотала слезы, а Карлуша, не выпуская из своих мальчишеских ладоней грубую рабочую руку матери, поглаживал ее. Когда все было рассказано и мать хоть немного успокоилась, Карлуша сказал:

— Этого нельзя так оставлять, мама... Отец всегда думал, что все люди добрые, но мы теперь видим, что эти добрые люди с ним сделали. Нельзя так оставлять... ни за что. Говорят, там, в большом лесу за Журавлиным болотом, есть партизаны, — я слышал, как айзсарги говорили о них. Вам с Ильзочкой придется некоторое время остаться вдвоем. Мне... надо идти.

Мать привлекла его к себе, прижала голову сына к своей груди и стала гладить. Оба молчали.

Ночью, когда стемнело, Карлуша вышел из дому. Он хорошо знал глухие, уединенные тропинки, которые вели в большой лес за Журавлиное болото. Он мог идти смело и решительно, зная, что не встретит на своем пути ни айзсарга, ни фашиста. Он очень спешил, чтобы скорее попасть к партизанам и вместе с ними отомстить за отца, Рейниса Скуиня, Иесалниека, за всех остальных... за весь народ... и чтобы бороться с теми людьми, которые не были добрыми.

1949

Самое ценное

© Перевод Я. Шуман

В субботнее утро, когда Микелис Вимба и еще два члена рыболовецкой артели «Коммунар» вышли в море — выбрать заброшенные сети для салаки, — «цельсий» показывал всего лишь пять градусов ниже нуля и погода была такая тихая, что рыбаки не сочли нужным брать с собою парус. Товарищи Вимбы, сорокалетний Эдгар Андерсон и восемнадцатилетний комсомолец Паулис Салтуп, считались отличными гребцами, а Вимба сидел на руле. Сети были заброшены километрах в трех от берега. Через каких-нибудь полчаса рыбаки достигли опознавательного буйка первого порядка и начали выбирать сети в лодку. Улов обещал быть хорошим. Больше всего рыбы попало в сеть, которая стояла мористее. Вместе с салакой на сланях лодки кое-где трепыхались мелкая треска и бычки.

Управившись с первым порядком, рыбаки снова взялись за весла и приблизились к следующему — всего им надо было выбрать три порядка сетей. Прошло больше часа, пока все сети очутились в лодке.

Целиком погрузившись в работу, люди не смотрели по сторонам и не заметили, что между лодкой и берегом, подобно подгоняемой легким ветерком дымке, все больше и больше сгущалась охладевшая испарина моря, похожая на туманную мглу.

Первым это заметил Андерсон. Уложив в лодку последний буй с черным флажком, Андерсон похлопал себя по бокам, чтобы согреть руки, и потянулся, выпрямляя затекшую спину. Вдруг его худое, гладко выбритое лицо озабоченно вытянулось.

— Гм... — проворчал он. — Море парит. Берега не видать.

— Давайте-ка скорей домой, — сказал и Вимба. — Скоро пропадет всякая видимость.

Но они и сейчас ничего не видели. Дымчатая мгла сгущалась с каждым мгновением все больше, и скоро морские испарения так уплотнились, что далее двадцати шагов ничего нельзя было различить.

Андерсон с Паулисом снова взялись за весла. Вимба правил наугад, выбрав, как он думал, самый короткий путь к берегу. Когда вот-вот сквозь завесу мглы должны были показаться темные контуры берега, Вимба достал лот и измерил глубину.

— Тьфу ты, нечистая сила... — разозлился он, вытаскивая бечеву лота. — Двенадцать саженей!

Сети были поставлены на глубине восьми сажен. Значит, они отошли от берега еще дальше.

— Сейчас самое разумное — выбросить якорь и остаться на месте, — предложил Андерсон. — Иначе занесет нас черт знает как далеко от дому.

— Я тоже думаю, что это самое разумное, — согласился Вимба.

Андерсон поднялся, достал якорь и выбросил его за борт. Когда якорь зацепился за дно и веревка натянулась, Андерсон опустил на банку и закурил папиросу.

— Так... сели... — Он сплюнул. — Поди узнай, как долго придется проторчать здесь.

Вимба молчал, только грубой натруженной рукой погладил свою рыжую бороду и, погрузившись в думы, пристально всматривался в непроглядную мглу. Он слыл бывалым рыбаком, и за свою долгую жизнь ему не раз приходилось попадать в самые затруднительные положения. Он знал по опыту, что при охлаждении моря эта испарина иногда висит над ним целыми неделями, пока задует более теплый ветер или, наоборот, мороз усилится настолько, что вдоль берега образуется ледяная корка. Но что хорошего можно ждать от оста, который с прошлой ночи дал почувствовать свое леденящее дыхание?

— Неужели к вечеру все же не прояснится?.. — пробормотал он. — Если будут видны звезды, то мы и ночью найдем берег. Не впервой...

— Да, не впервой... — саркастически отозвался Андерсон.

Паулис Салтуп, юноша среднего роста, уже третий год являющийся единственным кормильцем больной матери и двух маленьких сестренок (отца убили гитлеровцы, когда отступали берегом залива на юг), понимал, что по молодости лет ему не следует вмешиваться в серьезный разговор, и все же не удержался:

— Если до утра не вернемся, нас начнут искать.

Сказав это, он невольно взглянул на Андерсона, чувствуя, что тот сейчас же возразит и опять расскажет что-нибудь о своих приключениях и наблюдениях по ту сторону Атлантического океана. В молодости Андерсон проплавал на кораблях более десяти лет, некоторое время жил в Америке и два года работал на рыболовецких паровых суденышках, промышлявших на Ньюфаундлендских отмелях, о чем любил вспоминать и рассказывать к месту и не к месту. Человек, выдавший на своем веку виды, мог себе позволить глядеть с известным скептицизмом на все происходящее вокруг, не восторгаться тем, что другим казалось достойным восторга и радости. В остальном он был неплохим человеком и во всяком случае хорошим рыбаком, знавшим свое дело и не боявшимся трудностей.

Предположение Паулиса сбывалось: не успел он закончить фразу, как Андерсон пожал плечами, скривил рот в ироническую улыбку, и через борт, описав кривую, полетел в море плевком.

— Будут искать? — ухмыльнулся он. — Экая нужда кому-нибудь болтаться в воскресный день по морю. Если бы мы ушли на моторке, тогда дело другое. Артель не захотела бы терять моторку, министерству тоже небезразлично, как выполняется план. А сейчас — что за беда, если сгинет какая-то старая сетевая посуда, которую все равно придется скоро пустить на дрова?

— А люди?.. — пытался вставить Паулис.

— Люди — вещь дешевая, о таких простых мужланах, как мы, голова ни у кого не заболит. Когда я последний год работал на канадском рыболовном суденышке, однажды мы очутились в зверском тумане. День и ночь звонили мы в колокола, трубили, выпускали ракеты, — неподалеку проходил большой трансатлантический путь из Европы в Америку. Несмотря на все сигналы, один лайнер днем наскочил на суденышко и пустил ко дну нашу старую калошу со всей командой и бочками, полными рыбы. Он даже не остановился, с его борта даже паршивого спасательного круга не сбросили. Еле живыми подобрала меня и еще одного товарища команда какого-то другого рыболовного суденышка, а остальных — поминай как звали... Когда корабль погибает, об отдельных людях заботы мало. Знаем мы, как в таких случаях нас ищут, как пытаются спасти.

И еще раз, как бы ставя точку, по прежней кривой пролетел через борт в море его плевком.

— То было в Америке, — не отступался Паулис. — А мы живем в советском государстве... Товарищ Сталин сказал, что самым ценным и дорогим капиталом в мире являются люди.

— Там посмотрим, насколько мы дороги и ценны... — проворчал

Андерсон.

Воцарилось неловкое молчание. Всем захотелось есть, а хлеба никто не захватил — все были уверены, что к обеду вернутся на берег. Первым прервал молчание Вимба.

— Мороз крепчает. К вечеру зацепит еще сильнее. Мы замерзнем, как воробьи, если будем сидеть сложа руки. Надо шевелиться.

— Много ты здесь нашевелишься... — буркнул в ответ Андерсон, но тут же разыскал плицу [\[20\]](#) и вычерпал воду, скопившуюся на дне от мокрых сетей и просочившуюся в лодку сквозь расшатанные борта старой посуды. Остальные тоже не сидели без дела: сбивали лед с бортов, с весел, уключин и с полотна сетей, аккуратнее укладывали сети, поплавки и грузила, а когда все было сделано, взялись за весла и начали медленно грести.

Вимба вынул из сети несколько салак, выпотрошил и стал есть, макая сырую рыбу в соль, которую, по старой привычке, всегда брал с собой, уходя в море. Глядя на него, остальные тоже принялись потрошить салаку, и вскоре голод был несколько утолен. Вместе с тем вернулось и хорошее настроение, и все как будто успокоилось. Чтобы скоротать время, рыбаки рассказывали о разных давних и недавних происшествиях в своем рыбацком поселке. Мысли Паулиса Салтупа, прислушивавшегося к рассказам своих старых товарищей, не задерживались на прошлом. Он думал о том, что есть, и о том, что будет. На рижской судоверфи строились две мощные моторки для их артели. Скоро он отправится на курсы и станет мотористом... а может быть, лучше поступить в техникум и получить более основательную специальность — тогда можно будет пойти на рыбообрабатывающий завод, руководить консервным цехом... Но это придется отложить на годик. Нужно заработать побольше, иначе матери и сестрам придется туго. А потом?.. Хоть раз в жизни ему хотелось попасть в Москву, повидать метро, Красную площадь, где происходят военные парады и демонстрации, где стоит Мавзолей Ленина, седой Кремль, где живет и работает товарищ Сталин...

Прошел вечер, наступила ночь, но в пасмурном небе не заблестела ни одна звездочка. Тихо шумели вокруг них застывающие воды моря. Устав от разговоров, рыбаки сидели на банках лодки и думали о своих семьях и товарищах на берегу — как они себя сейчас чувствуют, что делают? Сообщил ли председатель о происшествии министерству в Риге, или будет ждать до утра? Когда от мороза начинали коченеть руки и ноги, рыбаки хлопали себя по бокам, вычерпывали воду, гребли и возились до тех пор, пока не становилось тепло. Вимба выдирает из бороды льдинки, и все то и

дело терли щеки, застывшие на ледящем зимнем воздухе. С одной стороны, было неплохо, что не поднимался ветер, но с другой — не повредил бы и умеренный бриз — от трех до четырех баллов, — тогда появилась бы надежда, что дымка разойдется и они скорее увидят землю.

Утро не принесло изменений. Море парило по-прежнему, было трудно определить, в какой стороне потемневшего неба находится солнце, и единственным звуком в море было шуршание волн.

За ночь Вимба смастерил из старой жестяной банки, которую нашел в кормовой части лодки, нечто вроде трещотки. По очереди били по ней уключиной, а в промежутках кричали:

— А-хой!

Но в плотной мгле все звуки замирали вблизи. Кроме того, и легкий береговой ветер не давал им долетать до суши, о местонахождении которой они не имели ни малейшего представления.

— А что, если еще раз попробовать добраться до берега? — заикнулся Андерсон.

— Попробовать, конечно, можно, если б только знать, где он находится, — отозвался Вимба. — Был бы у нас компас!

— Лучше оставаться на месте, — возразил Паулис. — Когда товарищи станут нас искать, они в первую голову прощупают все близки поселка, а если мы уйдем к северу или югу, им труднее будет найти нас.

— А ты все еще веришь, что кто-нибудь выползет сегодня в море? — усмехнулся Андерсон. — Ведь никого не видать! Если бы они вздумали нас искать, то мы уж, наверное, кого-нибудь заметили бы.

И он начал явно высмеивать юношу:

— Сейчас вся Рига только и думает о нас. В море вышли спасательные катера, а вдоль берега летают с юга на север самолеты. В поселке уже топят баню и вдоль побережья разъезжают, поджидая нас, машины скорой помощи. А в доме правления артели накрыт стол — на нем и жареное, и пареное, и бутылки с добрым вином, чтобы угостить трех самых дорогих в мире рыбаков, когда те наконец-то сжалятся над измученными заботами людьми и придут на берег. Чего ты, Паулис, хлебнешь — коньяку или портвейну? Ежели угодно — пожалуйста! — отведай шампанского и закуси черной икоркой...

— Перестань трепаться, — спокойно возразил ему Паулис. — Вот увидишь, Андерсон... у нас не Ньюфаундленд и не Америка.

— Что верно то верно, здесь не Америка, а только Рижский залив, — с ухмылкой согласился Андерсон. — И морозец здесь несколько сильнее, чем летом на Ньюфаундлендских мелях.

Они снова принялись потрошить салаку и закусывать, обмакивая ее в соль Вимбы, запас которой уже кончился, но утолить жажду было нечем — кругом целое море воды, а попить нечего.

Часов в десять они услышали гудение мотора в воздухе. Какой-то самолет, судя по звуку — на бреющем полете, пронесся над местом, где находились сейчас рыбаки. Напрасно кричали они и били уключиной в жестяную банку — окутанную туманом лодку нельзя было обнаружить с воздуха, да и шум мотора способен был заглушить более громкую сигнализацию, чем слабый звук их трещоток и голосов.

— Ну, разве я не говорил, Андерсон? — спросил Паулис.

Лицо Андерсона вытянулось и стало похожим на большую грушу, но он все еще не думал сдаваться.

— Это проще всего — выслать разведчика, — отпарировал он. — Полетает для виду над морем, пока хватит бензина, убедится, что ни черта не видать, и отправится домой на боковую.

— А вас там, на Ньюфаундлендских мелях, случалось, тоже самолетами разыскивали? — задал вопрос Паулис.

Андерсон не ответил.

Снова послышался гул мотора. И снова рыбаки кричали, били в банку, но металлическая птица незримо пролетела над ними, ничего не разглядев, и снова морские воды, булькая, плескались о борта лодки, как бы напоминая, что эта лодка и трое одиноких людей в ней являются их пленниками.

Еще дважды покружился над ними самолет и скрылся. Но около полудня во мгле резко завывла сирена.

— Это траулер! — воскликнул Андерсон. — Узнаю по звуку.

Он встревожился и засуетился. Недавний скептицизм с него как рукой сняло.

— Теперь давайте кричать и шуметь... может быть, услышат. Они нас ищут — не иначе.

— Конечно, ищут, — откликнулся Паулис.

Они снова стали кричать, колотили в жестяную банку, сиюсь рассмотреть хоть что-нибудь сквозь дымчатую мглу. Сирена временами затихала, и тогда становилось слышно глухое постукивание мощного мотора рыболовецкого траулера. Звук этот все приближался к лодке. Наконец, сквозь дымку над морем рыбаки различили темный силуэт траулера — он проскользнул мимо лодки метрах в пятидесяти, но шум мотора был так силен, что на траулере, наверное, не расслышали отчаянных криков трех людей. Если бы они догадались выключить мотор,

то во всяком случае хоть крики рыбаков были бы услышаны.

Стук мотора удалялся. В тумане опять послышалось резкое завывание сирены. Андерсон присел на банку и подпер голову кулаками. Вимба достал плицу и не спеша начал вычерпывать из лодки воду. А глаза Паулиса Салтупа сверкали, как звезды ясной ночью, и сердце наполнилось теплом и невыразимой гордостью. О них думают, о них заботятся, предпринимают все возможное и невозможное для их спасения. Они не брошены на произвол судьбы — множество людей делают все, что в их силах, борются с туманом, чтобы помочь трем простым людям, находящимся в опасности. Они не могут погибнуть!

Через некоторое время траулер вернулся и снова совсем близко проскользнул мимо рыбацкой лодки. Когда он исчез и шум мотора заглох вдали, трое одиноких рыбаков уже не чувствовали себя брошенными. Есть связь с товарищами, с берегом, со всеми теми, кто находился в Риге, в Москве — повсюду, где жили и делали свое огромное дело советские люди.

В воздухе снова загудел мотор самолета. До вечера рыбаки слышали еще два раза сирену тральщика: первый раз — близко от себя, второй раз — подальше. Было ясно, что ищущие старались прощупать затянутое мглой пространство моря по поясам — ближе и дальше от берега.

— Кто знает, сколько они там извели бензина, — сказал Андерсон. — И сколько сегодня людей занимается только нами! Чем мы оплатим за это, когда попадем на берег? Прямо-таки неловко становится, что из-за нас у них столько хлопот. — После изрядной паузы он добавил: — Если мне будет суждено еще сойти на берег, всю жизнь буду работать, как зверь. Иначе нельзя...

«Если будет суждено...» Эта мысль все чаще вкрадывалась в их сознание, и каждый из них, по-разному и все же с одинаково острой тревогой, думал о своем бедственном положении. Это были не страх и отчаяние, которые лишают людей способности ясно мыслить и заставляют действовать необдуманно, это было напряженное бодрствование, когда человек с открытыми глазами всматривается в действительность, ясно видит ее трагизм, понимает свое бессилие перед обстоятельствами, но не перестает надеяться на благополучный исход. Полная опасностей работа с детства приучила их ко всевозможным непредвиденным трудностям и опасностям, и гибель в море являлась только одной из многих опасностей — самой большой потому, что ее не преодолеть.

И еще одну ночь провели они, мрачно бодрствуя в открытом море, больше всего опасаясь заснуть, так как для них это означало смерть. Как только кто-нибудь собирался уснуть, товарищи начинали расталкивать его.

Жутким было море в непроглядной тьме, когда находящийся на корме не мог разглядеть своих товарищей, сидевших на средней банке лодки. Темень омрачала их думы, и мысли их были сейчас гораздо безнадежнее, чем днем. Рыбаки думали о неминуемой гибели, о своих родных и близких: как они будут жить без кормильцев, что станется с детьми и чего только не придется перенести любимым, если отец или брат не возвратятся с моря. Спокойнее и хладнокровнее всех казался Вимба, и если в ту ночь иногда и вырывался из его груди вздох, то был он настолько тихим, что товарищи его не слышали. Андерсон не скрывал своих забот и охотно делился с остальными. Чтобы рассеять мрачные предчувствия, он время от времени начинал рассказывать про всякие смешные события из жизни односельчан. И все же ночь была слишком длинной, а холод таким же безжалостным. Тяжелым гнетом давила усталость, и очень, очень хотелось спать; по сравнению с муками вынужденной бессонницы даже нестерпимая жажда казалась сущим пустяком.

Когда наступило утро, сон уже не одолевал их так, как ночью, и с сумрачным рассветом, проступившим из окружающей мглы, стало легче на сердце.

На третий день до обеда они слышали несколько раз гул самолета и сирену тральщика, но самого судна увидеть вблизи им не удалось.

После обеда подул довольно сильный ветер, и толстая завеса, скрывавшая рыбаков от тех, кто их искал, раздвинулась.

Вскоре к старой рыбацкой посудине приблизилась мощная моторка, и смертельно измученные рыбаки, чьи замерзшие лица походили на гипсовые маски, еще издали узнали своих товарищей, стоявших на носу моторки и приветственно махавших руками.

Вимба медленно перевалил через борт якорь, который казался ему тяжелым, как якорь большого корабля, хотя это был всего-навсего небольшой якорышка. Паулис улыбался так радостно и широко, как только позволяли ему застывшие щеки, а Андерсон, откинувшись на кормовое сиденье, всхлипывал, как ребенок, и совсем не стыдился своих слез, которые обильно текли по щекам, цепляясь за щетину бороды, быстро превращаясь в крупинки льда.

Спасенных рыбаков поместили в моторную кабину. И пока они отогревались, товарищи угостили их коньяком и глинтвейном, припасенным в термосе, и рассказали, что на берегу стоит легковая машина министерства и врач поджидает их со всякими лекарствами и мазями, а у Вимбы истоплена баня. Трудно было сказать, сколько людей поднято на ноги вдоль побережья и в Риге. Центральный Комитет Коммунистической

партии Латвии и правительство все время следили за поисками лодки. О происшествии, кажется, известно даже в Москве.

Андерсон сидел рядом с мотором и не мог преодолеть глубокого волнения. Он прислушивался к словам своих товарищей, а в горле чувствовал ком и глаза то и дело становились влажными. Наконец, он тряхнул головой и тихо заговорил сдавленным голосом:

— Ну, это уж слишком, это чересчур... Стоило ли поднимать из-за нас такой тарарам? Ничего ведь такого из ряда вон выходящего не случилось, и в конце концов кто же мы такие — только простые, обыкновенные люди.

Но Паулис улыбнулся и заметил:

— Теперь ты знаешь, что у нас самое ценное?

Лицо Андерсона стало чрезвычайно серьезным и торжественным, когда он ответил:

— Знаю и запомню навсегда. И вперед постараюсь поступать так, чтобы люди не подумали, будто они спасли того, кого вполне спокойно можно было оставить в море.

Поздно вечером, когда врач оказал спасенным рыбакам первую помощь, после того как они попарились в бане и во всех подробностях рассказали о происшествии членам своих семейств, друзьям и товарищам по работе, — из Риги позвонили в правление артели и сообщили, что на всех троих уже выписаны путевки в санаторий и они могут прибыть туда уже завтра — легковая машина министерства отвезет их. И как ни ворчали Андерсон с Вимбой, что это ненужная роскошь и расточительность, и как ни пытались они заверить, что через несколько дней смогут снова выйти в море, — ни министерство, ни правление артели не приняло во внимание их возражений — им пришлось уехать в санаторий втроем.

1950

notes

Примечания

1

Здесь игра слов: асарит по-латышски — окунек.

2

Вонунг — квартира, жильє (*нем.*).

3

Янтарным морем латыши называют Балтийское море.

4

Берковец— старинная мера веса, равная 10 пудам (163,8 кг).

Форман — бригадир грузчиков, руководящий погрузочно-разгрузочными работами на торговых и пассажирских судах, ответственный за укладку грузов в трюмах.

Сакта— круглая металлическая застёжка, принадлежность латышского национального женского костюма.

«Дедовские одноручки и двухручки» — различные виды кос.

Армия спасения— реакционная религиозная организация, основанная в 1865 году лондонским священником Бутсом и копирующая своей структурой армию, с подразделением своих членов на «солдат», «офицеров», «генералов» и т. д.

Поддерживаемая финансовым капиталом, Армия спасения ведет в США, Англии и других капиталистических странах клеветническую реакционную, антисоветскую и антикоммунистическую, пропаганду.

9

Как поживаете? (*англ.*).

10

До свидания! *(англ.)*.

Баталерка, баталер-камера — помещение баталера, ведающего денежным, пищевым и вещевым довольствием экипажа судна.

Чиф — первый механик на торгово-пассажирском судне.

Баркентина — шхуна-барк, парусное судно с двумя и более мачтами и, как правило, косыми парусами.

Агенскали — район Риги, расположенный на левом берегу Даугавы и заселенный в основном семьями моряков.

«Пинкертон», то есть «Приключения Пинкертона» — анонимные бульварные издания, воспевавшие «подвиги» американского сыщика Пинкертона и возникшие первоначально в США с целью рекламы «Национального сыскного агентства» Аллана Ната Пинкертона и его сыновей, «прославившихся» своими гнусными провокациями в среде участников рабочего движения. Из пинкертоновщины в настоящее время выросли пресловутые американские «комиксы», духовно растлевающие миллионы детей капиталистического мира.

Кингстоны — клапаны в подводной части судна, открывающие забортной воде доступ в трюмы.

Слани — деревянный настил в трюме судна.

Danke — спасибо (*нем.*).

«Катит» — по-латышски означает «кошечка», а «Пелите» — «мышонок».

Плица — черпак, ковш, с помощью которого вычерпывают воду из лодки.